

ЯПОНИСТИКА
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
СОЦИОЛИНГВИСТИКА
ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. М. Алпатов



PHILOLOGICA
STUDIA

S T U D I A P H I L O L O G I C A



В. М. Алпатов

ЯПОНИСТИКА
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
СОЦИОЛИНГВИСТИКА
ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

2-е издание



Издательский Дом ЯСК
Языки славянской культуры
Москва 2017

ББК 81
УДК 80/81
А 51

Алпатов В. М.

А 51 Японистика. Теория языка. Социоллингвистика. История языко-
знания. — 2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК: Языки славянской
культуры, 2017. — 520 с. — (Studia Philologica.)

ISBN 978-5-94457-304-9

В данное издание включены работы лингвиста, члена-корреспондента РАН Владимира Михайловича Алпатова, написанные более чем за сорок лет. Они сгруппированы по основным темам его научной деятельности: это японский язык, теория языка, социоллингвистика, история науки. Книга рассчитана как на специалистов — лингвистов и востоковедов, так и на всех, кто интересуется многообразными проблемами, связанными с языком.

УДК 80/81
ББК 81

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-94457-304-9



9 785944 573049 >

© В. М. Алпатов, 2017
© Издательский Дом ЯСК, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
-------------------	---

Японистика

Курс лекций «Лексикология японского языка»	13
О соотношении исконных и заимствованных элементов в системе японского языка	85
О показателях множественности и категории числа в современном японском языке	96
Что такое прилагательное в японском языке?	107
Статус основных форм существования в японском языке	114
Падежное варьирование в современном японском литературном языке. ...	125
Вариативность японского языка в связи с типами языкового существования	134
Нестандартные видовые категории в современном японском языке	141
О психологической адекватности основных понятий европейской и японской лингвистической традиции	147
Сасими или сашими?	156
Есть ли в японском языке падежи?	164

Теория языка

О разных значениях термина «факультативность»	171
О двух подходах к выделению основных единиц языка	177
К типологической характеристике айнского языка	186
Об уточнении понятий «флективный язык» и «агглютинативный язык» ...	193
О разных подходах к выделению частей речи	202
Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку	215
Еще раз о флексии, агглютинации и изоляции	230
Прогностика и реконструкция	239
Структура устного и письменного текста	245
Проблема слова и психолингвистика	251

Социолингвистика

Литературный язык в России и Японии (опыт сопоставительного анализа).....	261
Норма языка в современной Японии	292
Американизация японского и русского общества по языковым данным. ...	304
Глобализация и развитие языков.....	314
К вопросу о языковых реформах.....	322
Массовое сознание и язык: Япония и Россия.	330
Стёб вчера и сегодня (размышления о статье Ю. Л. Воротникова)	346
К проблеме иерархии языков	353

История языкознания

О понятии слова в европейской и японской традициях	361
«Грамматика Пор-Рояля» и современная лингвистика (к выходу в свет русских изданий)	369
Махмуд Кашгарский и кокугакуся	382
Предварительные итоги лингвистики XX века	390
Некоторые заметки по истории лингвистики	397
Компаративистика, ее критики и герои.	404
Исследователи фактов и создатели теорий	419
Откуда происходят основные понятия языкознания?.....	428
Лингвистическое описание и языковая компетенция лингвиста.....	440
Лингвистика вчера и сегодня. Размышления над статьей К. Ф. Седова «Языкознание. Речеведение. Генристика».....	451
Особенности русской лингвистики	463
Два подхода к изучению языка	471
Литература	485
Summary	507

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книге собраны мои работы более чем за сорок лет моей научной деятельности: с 1975 г. до настоящего времени. Публикуется оставшийся в полном варианте неизданным курс «Лексикология японского языка», трижды прочитанный в Дальневосточном государственном университете (Владивосток) в 1975, 1978 и 1983 гг. Этот курс ранее издавался лишь в сильно сокращенном виде в 1981 г. под названием «Методические указания по курсу “Лексикология японского языка”». Впервые также печатается статья «Откуда происходят основные понятия языкознания?», написанная в 2010 г. Остальные статьи ранее публиковались в журналах и сборниках.

Набор статей отражает основные области моих исследований за прошедшие годы. Эти исследования могут быть сведены к четырем направлениям: японистике, общему языкознанию, социолингвистике, истории науки о языке.

Первоначально моей основной специализацией в Институте востоковедения РАН, с которым связаны 44 года моей жизни (1968–2012), было японское языкознание, которому были посвящены две первые мои книги, обе диссертации и ряд статей. До 80-х гг. я больше всего занимался вопросами японской морфологии. Разработка этих вопросов требовала обращения к общей теории языка и типологии, которым был также посвящен ряд моих публикаций. В 80-е гг., особенно после командировки в Японию в 1984–1985 гг., я также начал заниматься вопросами общественного функционирования языка в этой стране, а затем и взаимоотношениями японского языка и японской культуры. Наряду с этим я со второй половины 80-х гг. начал заниматься и социолингвистическими проблемами других стран, прежде всего СССР и современной России, и сопоставительными исследованиями в этой области, что также отражено в сборнике. Наконец, еще со второй половины 70-х гг. я начал заниматься изучением японской лингвистической традиции в сопоставлении с европейской и историей отечественных исследований японского языка. Затем эта тематика постепенно расширялась, с одной стороны, в сторону охвата различных лингвистических традиций, с другой — в сторону изучения всей истории языкознания в разных странах, прежде всего в России и СССР. Однако ввиду ограниченности объема сборника в него включены лишь публикации, связанные с историей научных идей и направлений. Политическая история науки в нашей стране, отраженная в ряде книг и статей, здесь не получила

отражения: это особая тема. Поэтому статья «Исследователи фактов и создатели теорий» включена в сборник в сокращенном виде.

При разбросе тематике публикуемых статей, они (по крайней мере, большинство из них), как мне кажется, имеют некоторый общий стержень. Когда я начал работать в лингвистике, приоритетным считалось рассмотрение ее объекта, языка, с позиции извне. Исследовательские процедуры принципиально строились без учета того, как пользуется языком говорящий на нем человек. Долгое время принимая постулаты структурализма, я уже тогда заинтересовался вопросом, почему японская традиция выделяет звуки и слова не так, как это делают начиная с античности в Европе. На этот вопрос не мог ответить структурный подход. Мне понадобился сопоставительный анализ различных лингвистических традиций (в первую очередь, европейской и японской), а также национальных вариантов европейской традиции (прежде всего, русскоязычного и англоязычного). Этот анализ показывал и их сходство, обусловленное общими свойствами человеческого языка, и различия, связанные с разным строем базовых языков традиции; могли играть роль и культурные факторы. Столкнувшись с многочисленными и противоречивыми друг другу определениями слова и частей речи, я пришел к выводу, что эти два базовых понятия, всегда, но по-разному отражаемые в лингвистических традициях, являются не чисто лингвистическими, а психолингвистическими понятиями, отражающими строение языкового механизма человека. Активно развивающиеся в последнее время психолингвистические и нейролингвистические исследования, как мне кажется, это подтверждают. Важно принимать во внимание и социальные и культурные факторы, также требующие сопоставительного изучения. Еще одна тема, проходящая через ряд статей, — общие закономерности и этапы развития мировой науки о языке; показано, что современный этап характеризуется как раз стремлением к изучению функционирования языка, использования его человеком.

В сборник включены статьи разных лет, за это время точки зрения автора по тем или иным вопросам могли меняться. Ср., например, трактовку японских прилагательных в курсе лексикологии и в статье «Что такое прилагательное в японском языке?». В статьях 80–90-х гг. я исходил из того, что, как сказано в статье «О двух подходах к выделению единиц языка», психолингвистический механизм един для носителей любого языка. Сейчас же (см. статьи «Проблема слова и психолингвистика» и «Особенности русской лингвистики») я пришел к выводу о том, что морфологический его компонент не столь универсален. Иногда в разное время я предлагал разные подходы к одному и тому же явлению; так произошло, например, в статьях «Об уточнении понятий “флективный язык” и “агглютинативный язык”» и «Еще раз о флексии, агглютинации и изоляции». К сожалению, включенные в сборник статьи в некоторых пунктах повторяют друг друга. Однако все публикуемые работы, кроме статьи «Исследователи фактов и создатели теорий», печатаются без содержательных изменений. Но произведена унификация транскрипций. В частности, в примерах из японского языка в разных публикациях использовались разные транскрипции,

в том числе русская транскрипция Е. Д. Поливанова и латинская фонематическая транскрипция С. А. Старостина. Однако в целях единообразия во всем тексте теперь избрана наиболее стандартная и принятая в разных странах латинская транскрипция Хэпбёрна. Она обладает существенными недостатками, которые обсуждаются в статье «Сасими или сашими?», но, по-видимому, в целях унификации иного выхода нет. Кроме того, содержащиеся в статьях ссылки на те или иные работы объединены в общую библиографию и введены перекрестные ссылки на статьи, публикуемые в данном издании. Статьи распределены по четырем разделам, в пределах каждого раздела они расположены в хронологическом порядке.

В. М. Алпатов

— ЯПОНИСТИКА —

КУРС ЛЕКЦИЙ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА»

Данное учебное пособие составлено на основе курса лекций, прочитанного в Дальневосточном государственном университете в 1975 г. Оно рассчитано на студентов-японистов, прошедших курс японского языка в объеме стандартного учебника. В пособии излагаются вопросы лексикологии японского языка. В то же время, поскольку для понимания этих вопросов необходимо иметь представление об общих проблемах лексикологии, которые недостаточно освещаются в курсе «Введение в языкознание», в пособии освещается и общелексикологическая проблематика. Вопросы лексикологии иллюстрируются в основном примерами из японского языка, однако для лучшего понимания ряда положений привлекаются и примеры из других языков, в первую очередь русского.

Задача данного курса — дать возможность студентам-японистам рассматривать японскую лексику в более широкой перспективе, связать вместе изучаемые факты языка, лучше уметь пользоваться словарями. В пособии также говорится об особенностях японского языка и его отличиях от русского и других языков.

В связи с ограниченным объемом пособия в нем не даются ссылки на литературу по общему и японскому языкознанию, материал которой в нем используется; наиболее важные книги и статьи включены в список рекомендуемой литературы. Наряду с опубликованной литературой, нами использованы материалы неопубликованного курса А. А. Пашковского по японской лексикологии, читавшегося в ИСАА при МГУ, а также кандидатские диссертации Т. И. Корчагиной и Е. В. Струговой.

§ 1. Предмет и задачи лексикологии

Предмет нашего курса — лексикология японского языка. Прежде чем заниматься ее конкретными вопросами, нам необходимо выяснить, что такое лексикология, какими вопросами и в каком аспекте она занимается.

Термин «лексикология» происходит от сочетания двух греческих слов: *лексис* ‘слово’ и *логос* ‘слово, учение’, то есть лексикология — учение о слове. Однако, как мы увидим дальше, не всё, относящееся к слову, изучается лексикологией: словом занимаются и другие разделы языкознания, прежде всего грамматика. Обычно

лексикологию определяют как раздел языкознания, изучающий словарный состав языка. Однако само понятие словарного состава, так же как и понятие слова, достаточно неопределенно. Для уточнения этих понятий и более точного выяснения того, чем занимается лексикология, необходимо кратко выяснить некоторые общие понятия языкознания.

Язык — это система знаков, обозначающих объективную действительность, служащая средством общения людей. С точки зрения своего строения язык — сложная система, состоящая из единиц разной протяженности: фонем, морфем, слов, предложений (в следующем параграфе мы более подробно остановимся на характере некоторых единиц языка). Каждая единица языка, за исключением элементарных единиц — фонем и сем (о семмах см. § 4), состоит из единиц низшего ранга, соединенных по определенным правилам, причем свойства языковой единицы — не простая сумма свойств единиц низшего ранга: каждая единица языка имеет свои специфические свойства. Единицы языка, начиная от морфемы (морфема и более протяженные), обладают двумя основными характеристиками. Первая из них — форма, т. е. строение языковой единицы из единиц низшего ранга. Вторая характеристика — значение, на ней мы должны остановиться подробнее.

Как мы уже говорили, одна из основных целей языка — передавать информацию о внеязыковой действительности. В различных единицах языка: морфемах, словах, предложениях и др. — содержится какая-то часть этой информации (как мы увидим далее, единицы языка могут передавать и другую информацию, но язык прежде всего существует для передачи информации о внеязыковой действительности). Несколько огрубляя реальное соотношение, можно сказать, что информация, содержащаяся в единице языка, и составляет значение этой единицы.

Отметим, что эта информация может передаваться по-разному. Когда мы говорим *А. С. Пушкин, автор «Евгения Онегина», основатель новой русской литературы*, мы имеем в виду одно и то же лицо, однако это лицо именуется по-разному. Это происходит потому, что в значении языковой единицы могут отражаться различные стороны объективной действительности. Как известно, любой предмет «имеет бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и “опосредствований” со всем остальным миром» [Ленин 1961: 289]. В значении языковой единицы, обозначающей предмет, свойство или отношение, не может быть отражена вся эта бесконечность сторон и взаимоотношений, в них могут отражаться лишь некоторые из них, причем в одном случае могут быть отражены одни стороны, а в другом — другие (ср. *автор «Евгения Онегина» и основатель новой русской литературы*), могут быть и единицы, прямо не отражающие каких-либо свойств предмета или явления, а лишь указывающие на него (ср. *А. С. Пушкин*).

Таким образом, мы имеем, во-первых, некоторый факт реальной действительности (предмет, явление), во-вторых, некоторую единицу языка, в-третьих, значение языковой единицы, т. е. некоторое представление о данном факте, содержащееся в данной единице.

Из этих трех величин первичен факт действительности, однако значение обладает определенной независимостью. Это видно из того, что в ряде случаев значение может существовать и тогда, когда факта действительности нет. В самом деле, мы в равной степени можем говорить об авторе «Евгения Онегина», лице, реально существовавшем, и о самом Евгении Онегине, которого на самом деле не было: мы можем говорить о мифологических и фантастических существах (Зевс, русалка, каппа), о гипотетических понятиях, нереальность которых доказана наукой (теплород, флогистон). Ясно, что вопрос о существовании и несуществовании того или иного предмета или явления решается не языкознанием, а другими науками; для лингвиста важно лишь то, что соответствующие им языковые единицы имеют некоторое значение, отношение языковой единицы и ее значения существенно не меняется, независимо от того, существует или нет обозначаемый факт в действительности.

Существуют и некоторые другие классы единиц, значение которых прямо не связано с фактами действительности. Некоторые единицы обозначают не сами эти факты, а отношение к ним говорящего, ср. русские *возможно*, *вероятно* или японские *tabun*, *osoraku*, где отражается степень реальности некоторого факта (обозначенного другими единицами языка) с точки зрения говорящего. Такой тип значения мы будем называть *модальным*. Наконец, значение некоторых единиц состоит в указании на отношение между самими единицами языка. Например, значение японской единицы *ga* состоит в указании на то, что некоторая единица, к которой примыкает *ga*, является подлежащим и имеет синтаксическую связь с другой единицей, являющейся сказуемым. Такого рода значения мы будем называть *синтаксическими*.

Значения единиц, которыми занимается лексикология, в первую очередь слова, часто сближают с понятиями. Действительно, понятие — мысль о предмете, свойстве или отношении, выделяющая в нем существенные признаки, оно имеет языковую форму; значение также выделяет в предмете, свойстве или отношении существенные признаки. Однако значение и понятие не следует отождествлять. Прежде всего, понятие, хотя и имеет языковую форму, едино, независимо от того, на каком языке оно сформулировано, значение же зависит от того, к какой языковой системе принадлежит данная единица (ср. русское *вода*, в значении которого не входит указание на температуру, и соответствующие японские *mizu* и *yu*, обозначающие соответственно холодную и горячую воду, подробнее см. об этом § 14). Кроме того, понятие о некотором предмете или явлении природы едино в данный момент времени (оно лишь может изменяться с развитием науки), тогда как значений, связанных с данным предметом или явлением, может быть много (см. выше). С другой стороны, при изменении понятия может не происходить изменения значения соответствующей языковой единицы: вряд ли значение слов *вода* или *mizu* изменилось после того, как носители данных языков узнали химическую формулу воды; значение может со временем стать противоречащим понятию: ср. *восход солнца* или *hi no de*, существующие в современных языках, хотя в понятиях отражено,

что движется не солнце, а Земля. В значениях отражена не строго научная, а «наивная» картина мира (ср. толкования слов в толковых и энциклопедических словарях, см. § 15). Ближе всего к понятиям находятся термины, недаром они, как правило, не имеют синонимов, и во многих науках наблюдается тенденция к созданию интернациональной терминологии.

Из всего сказанного ясно, что языкознание, в том числе лексикологию, прежде всего интересуют единицы языка и их значения; вопрос о связи значений и реальных предметов и явлений изучается другими науками, в частности вопрос о правильности терминологии какой-либо науки изучается данной наукой, а не языкознанием. Обращаться непосредственно к предметам действительности нам придется лишь в отдельных случаях: для определения границ синонимии, а также при изучении исторического развития слов.

Более детально изучая значения единиц языка, можно видеть их неоднородность, для примера возьмем японскую фразу *Untenshu ga jidoosha o ugokasu* 'Водитель двигает автомобиль'. Здесь можно выделить следующие значимые единицы: морфемы *un, ten, shu, ga, ji, doo, sha, o, ugok, as, u* (мы не имеем возможности здесь обосновывать именно такое членение на морфемы) и их последовательности: *unten, untenshu, untenshuga, jidoo, jidoosha, jidooshao, ugokas, ugokasu* (а также предложение в целом, которое мы не рассматриваем). Из них *unten, untenshu, untenshuga, jidoo, jidoosha, jidooshao, ugokasu* могут быть самостоятельными членами предложения, остальные единицы лишены этого свойства. Первые два члена предложения делятся прежде всего на две части: первая из них (*untenshu, jidoosha*) может употребляться самостоятельно и имеет более конкретное значение, связанное с передачей внеязыковой действительности, вторая часть (*ga, o*) не употребляется самостоятельно и имеет синтаксическое значение (см. выше). В последовательности *ugokasu* хотя ни одна из частей не употребляется самостоятельно, но по сходству значения и здесь можно выделить части *ugokas* и *u*, последняя часть имеет не только синтаксическое значение (здесь также присутствуют значения времени и модальности), однако синтаксический компонент значения здесь присутствует тоже (*u* указывает на позицию заключительного сказуемого или определения). Единицы, подобные *ga, o, u*, мы будем называть *реляционными*.

Последовательности *untenshu, jidoosha* можно в свою очередь разделить на две части, первая из которых (*unten, jidoo*) способна к самостоятельному употреблению и имеет более конкретное значение, вторая часть (*shu, sha*) не употребляется самостоятельно и имеет не синтаксическое, но достаточно абстрактное значение: присоединяясь к последовательностям со значением действия или признака, *shu* придает целому значение лица, производящего данное действие или обладающего данным признаком; *sha* обладает значением «нечто движущееся». Последовательность *ugokas* мы можем также разделить на две части: *ugok* и *as*. Хотя *ugok*, в отличие от *unten* или *jidoo*, и не может употребляться самостоятельно, можно видеть, что *ugok* относится к тому же классу единиц, что *unten* и *jidoo*, а *as* — к тому же классу, что *shu* и *sha*; значение *as* — указание на то, что некоторое действие (в данном случае

движение) совершает не лицо, обозначенное подлежащим, это лицо заставляет совершать действие другое лицо или предмет. Единицы, подобные *unten*, *jidoo*, *ugok*, а также их значимые части (*un*, *ten*, *ji*, *do*) мы будем называть корневыми, а единицы типа *shu*, *sha*, *as* — деривационными. Последовательности, состоящие из корневых и деривационных единиц, называется основами.

Корневые, деривационные и реляционные единицы, как уже сказано, различаются по значению. Однако это различие не абсолютно. Некоторые значения могут выражаться только лексическими элементами: таковы значения имен конкретных предметов типа «стол», «книга» или имен собственных; другие значения могут выражаться только реляционными элементами (синтаксические значения). Однако многие значения могут выражаться в разных языках и даже в одном и том же языке по-разному, ср. *домик* и *маленький дом*, где значение уменьшительности выражено по-разному: в первом случае деривационным, во втором случае корневым элементом, или яп. *hito* 'человек', где в корне выражено значение, аналогичное значению деривационных единиц типа *sha* или *shuu*; значение предположительности в японском языке может выражаться как корневыми элементами типа *tabun*, так и реляционными элементами в формах предположительного наклонения, в русском языке данное значение выражается только корнями слов типа *возможно*, *вероятно* и др. Поэтому разграничение корневых, деривационных и реляционных элементов часто связано с трудностями.

Данные классы единиц имеют и другие различия, на основе которых их можно разграничить более четко. Число корневых единиц каждого языка практически бесконечно, мы не можем их перечислить полностью (даже самые полные словари не включают в себя какие-то единицы). Число деривационных и реляционных единиц сравнительно невелико, мы их можем полностью перечислить. Реляционные единицы отличаются от остальных своей регулярностью: мы их можем присоединять к любой или почти любой основе определенного класса. Например, показатели *ga* и *o* мы можем присоединять к любому имени, а показатель *u* — почти к любой глагольной основе. Сочетаемость деривационных единиц более ограничена; мы можем сказать *ugokasu* 'заставить двигаться, двигать', *nomasu* 'заставить пить, поить', но в значении 'заставить читать' мы не можем употребить *yomasu*, а в значении 'заставить писать' — *kakasu* (для передачи этих значений мы должны сказать *yomaseru*, *kakaseru*, см. ниже). Для обозначения водителя мы можем сказать *untenshu*, *untensha*, но не *untenka*, в то же время 'капиталист' будет по-японски *shihonka*, а не *shihonshu* или *shihonsha*. С какими корнями сочетается какой деривационный элемент, мы не можем предсказать, исходя из значения этого элемента; какова эта сочетаемость, мы должны запоминать в каждом конкретном случае; то же относится к сочетаниям корней между собой.

Разберем еще один подкласс элементов. В значении 'двигать' можно сказать не только *ugokasu*, но и *ugokashimasu*, где имеется дополнительный элемент *imas*, значение которого — вежливость к собеседнику. Это *imas* не относится к элементам с синтаксическим значением: само по себе оно никак не указывает

на синтаксические связи данного глагола. Однако *imas* отличается регулярностью: оно может присоединяться к любой глагольной основе. Кроме того, в значении 'двигать' можно сказать и *ugokaseru*, где показатель *ase* имеет то же значение побудительности, что и у *as* в *ugokasi*, однако *ase* (или его вариант *sase*) можно присоединить почти к любой глагольной основе, почему и принято только в этом случае говорить об особом побудительном залоге (тогда как *ugokasi* считается особым глаголом). Учитывая их регулярность, мы будем такие единицы, как *imas*, *ase*, также относить к реляционным.

Теперь мы можем более четко определить границы лексикологии. Лексикология — область языкознания, занимающаяся корневыми и деривационными единицами: их значениями и способами их соединения. Реляционными единицами и способами их соединения с основами лексикология не занимается, их изучает грамматика.

§ 2. Основные единицы лексикологии

Чтобы окончательно определить предмет и задачи лексикологии, необходимо остановиться на основных единицах лексикологии, прежде всего на том, что такое слово.

Это понятие на первый взгляд кажется очевидным, однако попытки определить, что такое слово, показывают, что понятие слова одно из самых сложных в языкознании. Это связано, в частности, с тем, что термином «слово» называют несколько часто совпадающих между собой, но всё же различных единиц. Этих единиц можно выделить по крайней мере четыре, из них лишь одна изучается в лексикологии.

Первое понятие — понятие фонетического слова. Именно в этом смысле термин употребляется тогда, когда говорят, что слово имеет одно ударение или внутри слова нельзя сделать паузу. Эти два фонетических признака являются основными при выделении фонетического слова; они могут давать разные результаты, но в целом членение на фонетические слова достаточно четко. Полученные единицы далеко не всегда совпадают со словами в привычном для нас понимании; например, служебные слова с фонетической точки зрения не будут словами, а будут частями слов, иногда частями фонетического слова могут быть и знаменательные слова. Членение на фонетические слова несоотносимо с выделением корневых, деривационных и реляционных элементов. Отсюда ясно, что фонетическое слово не является единицей, изучаемой лексикологией.

Второе понятие — понятие синтаксического слова. Именно эту единицу имеют в виду, когда говорят, что предложение состоит из слов. Это та единица, которая может составить предложение или быть его частью. Часто эта единица совпадает со словом в обычном понимании, но это бывает не всегда: служебные слова также — не слова в этом понимании. В состав синтаксического слова входят

корневые, деривационные и реляционные элементы, причем характер синтаксического слова определяется его реляционными элементами (а также его порядком в предложении и др.), поэтому данная единица также не изучается лексикологией, ее исследует раздел грамматики — синтаксис. В дальнейшем для того, чтобы отличать синтаксическое слово от слова в другом понимании, мы будем называть эту единицу не словом, а *синтаксемой*.

Третье понятие — грамматическое слово, т. е. последовательность морфем, определенным образом организованная: в его состав входят корневые и деривационные единицы, а также те реляционные единицы, которые наиболее тесно связаны с основой и не могут быть легко от нее отделены; эти реляционные единицы принято называть аффиксами словоизменения. Реляционные единицы, менее тесно связанные с основой (в частности, способные отделяться от нее другими основами), в состав грамматического слова не входят; принято считать, что они сами являются словами; именно их называют служебными словами. Именно грамматические слова (а не фонетические и не синтаксические) и есть те единицы, которые во многих языках (например, во всех современных европейских) отделяются друг от друга пробелами. В частности, служебные слова являются словами только в этом смысле. Любые две последовательности, различаемые каким-нибудь одним из составных элементов, являются разными грамматическими словами. Например, *дом, дома, доме* — разные грамматические слова, так же как и *угоки, ugoita, ugoite*. В дальнейшем для отграничения грамматического слова от других единиц мы будем называть его словоформой.

Словоформы по-разному выделяются в разных языках. Для европейских языков именно словоформы — наиболее четко определенные единицы, недаром именно они выделяются на письме, в японском языке словоформы, наоборот, выделяются труднее всего (показательно, что если японские тексты иногда и имеют пробел, то им отделяются не словоформы, а синтаксемы): по этому вопросу в европейской японистике нет единства, а японская наука вообще не выделяет эти единицы.

Однако, как ни важен вопрос о выделении словоформ, этот вопрос не имеет отношения к лексикологии, поскольку он в основном сводится к вопросу о выделении двух классов реляционных элементов (аффиксов словоизменения и служебных слов), а лексикология отвлекается от реляционных элементов. Словоформы изучает не лексикология, а грамматика, прежде всего тот ее раздел, который принято называть морфологией.

Четвертое понятие, самое для нас важное — лексическое слово. Именно эта единица имеется в виду, когда говорят, что слово выражает понятие; именно эти единицы (не всегда последовательно) фиксируют в словарях.

Важно понять, чем лексическое слово отличается от единиц, о которых мы говорили выше, прежде всего от грамматического слова, с которым его чаще всего смешивают. Как уже было сказано, *дом, дома, дому...* или *угоки, ugoita, ugoite...* — разные словоформы. Однако достаточно ясно, что члены каждого из этих рядов

тесно связаны друг с другом; это объясняется общностью корневых элементов. Такие же ряды мы можем выделить и при наличии деривационных элементов: *домик, домика, домику...* или *ugokasu, ugokashita, ugokashite...* С точки зрения передачи основного значения — информации о внеязыковой действительности — все члены ряда одинаковы, они различаются лишь абстрактными значениями реляционных элементов. Лексикология отвлекается от этих различий, с точки зрения лексикологии здесь *представлена* одна и та же единица — лексическое слово или лексема.

Вопрос о границах лексем может решаться по-разному. Можно считать, что лексема состоит из одного или нескольких корневых элементов вместе с примыкающими к ним деривационными, то есть лексема равна основе. Такая точка зрения принята в японской науке. Однако в европейской (в частности, в советской) науке этот вопрос обычно решается по-другому: считается, что лексема равна словоформе, но словоформе, взятой в отвлечении от своей реляционной части: *дом, дома, дому...* или *окно, окна, окну...* относятся к одной и той же лексеме. Такая точка зрения связана с тем, что в таком языке, как русский, словоформа четко выделяема, а основу выделить значительно труднее. В японском языке, как мы уже говорили, словоформа выделяется с трудом, и границы ее неочевидны, тогда как границы основы (исключая глагол) достаточно ясны.

С этим вопросом связан другой, чисто практический: какие единицы записывать в словаре. В любой словарь, как правило, заносятся лексемы, отдельные словоформы включаются в целях практического удобства лишь в некоторых случаях, обычно тогда, когда разные словоформы одной лексемы слишком отличаются друг от друга (например, в словарь обычно заносят формы прошедшего времени неправильных глаголов английского или немецкого языка). В случае если лексема приравнивается к основе, она записывается в словаре в виде основы (отметим, что в японской традиции здесь нет противоречия: по ряду причин, главная из которых — отказ от проведения границ между значимыми единицами внутри слога, для японской традиции *юта, уоти, уоте* — нечленимые по значению последовательности). Если лексема приравнивается к словоформам, то в словарях она записывается в виде одной из словоформ: например, для русского языка имена в форме именительного падежа единственного числа, глаголы в неопределенной форме. Отметим, что для японского языка, несмотря на разный взгляд ученых на лексему, существует единая традиция подачи лексем в словаре, соблюдаемая как в Японии, так и за ее пределами.

По-видимому, обе точки зрения на границы лексем правомерны, хотя для конкретного языка в зависимости от его особенностей может быть более оправданной та или другая из них. В дальнейшем мы не будем делать различия между этими подходами, а лексемы называть так, как это обычно принято в словарях: для японского языка имена в виде основы, а глаголы и предикативные прилагательные — в форме настояще-будущего времени.

Лексема — основная единица лексикологии, именно лексема, как правило, имеет соотнесенность с понятием, о которой мы говорили в § 1. Хотя лексема

может члениваться на более мелкие значимые единицы — морфемы, она обладает единым значением, непосредственно соотносящимся с внеязыковой действительностью. Хотя яп. *untenshu* и его русский эквивалент *водитель* члениятся на морфемы, его обозначаемым является класс людей, причем никакая часть этого класса не может обозначаться ни одной из составляющих морфем, ср. также *водитель* и *шофер*, лексемы с близким значением, хотя первая из них членима на морфемы, а вторая состоит из одной морфемы (если отвлечься от нулевого падежного показателя). Значение лексем, как правило, не равно сумме значений входящих в ее состав морфем (это свойство называется идиоматичностью): *jidoosha* — не всякое самостоятельно двигающееся средство передвижения, а автомобиль, *untenshu* — не всякое лицо, приводящее в движение некоторый предмет, а водитель и т. д. Значение лексем, как правило, сохраняется при вхождении ее в состав более крупных единиц (исключение составляет случай фразеологизма, см. ниже), значения же отдельных морфем поглощаются значением лексемы в целом. Таким образом, лексема играет очень большую роль в человеческом общении.

Укажем на то, что во введенном здесь понятии лексемы фактически содержатся два разных понятия. Известно, что слова (лексемы) многозначны. Вопросы многозначности будут разобраны в § 9, однако важно отметить, что часто словом или лексемой называют как единицу, имеющую одно значение, так и всю совокупность единиц, одинаковых по форме и связанных между собой по значению. Мы в первом случае будем говорить о лексеме, во втором — о вокабуле. Термин «лексема» будет употребляться и в тех случаях, когда противопоставление лексемы вокабуле будет для нас несущественно. Термин «слово» в дальнейшем будет употребляться только как синоним термина «лексема», в других случаях мы будем употреблять другие термины («синтаксема», «словоформа», «вокабула», о фонетическом слове мы больше нигде говорить не будем).

Можно сказать, что лексикология в узком смысле слова исследует лексем и вокабулы с точки зрения их значения. Этот раздел языкознания исследует структуру значения отдельных лексем, а также отношения между лексемами: проблемы классов лексем, синонимии, антонимии, омонимии, многозначности и др.

Но лексем могут состоять из более мелких значимых единиц — морфем и последовательностей морфем. Значением этих более мелких единиц, а также правилами их соединения для образования лексем занимается особый раздел языкознания, именуемый словообразованием (о многозначности термина «словообразование» см. § 10). Словообразование тесно связано с лексикологией в узком смысле слова, поэтому следует считать, что словообразование входит в состав лексикологии в более широком понимании этого термина.

Содержание лексикологии в широком понимании этим не исчерпывается. Возьмем последовательности типа *бить баклуши* или яп. *seiben o tsukeru* 'захватить инициативу'. По своей форме они представляют собой последовательности синтаксем (словосочетания), ср. *бить противника* или *jidoosha o tsukeru* 'остановить автомобиль (около чего-либо)'. Однако по значению (если исключить значение

реляционных элементов) данные последовательности неразложимы, здесь имеет место идиоматичность. Хотя по формальным признакам мы не можем здесь считать их единичными лексемами, по значению данные последовательности ничем не отличаются от лексем. Следовательно, изучение значения таких единиц также относится к лексикологии. Эти единицы называются фразеологизмами, а раздел языкознания, их изучающий, — фразеологией. Фразеология исследует фразеологизмы лишь с точки зрения их значения, по форме они ничем не отличаются от сочетаний синтаксем, не обладающих идиоматичностью, и вместе с последними изучаются в синтаксисе.

Таким образом, лексикология в широком смысле слова состоит из трех дисциплин: лексикологии в узком смысле слова, изучающей значение лексем, словообразования, изучающего строение лексем и значение их составных частей — морфем и последовательностей морфем, и фразеологии, изучающей значение сходных с лексемами более крупных последовательностей — фразеологизмов. Лексеммы и фразеологизмы вместе составляют лексику языка.

Можно видеть, что лексикология в основном занимается значением единиц языка (или, что то же самое, их семантикой; последний термин удобен тем, что от него может быть образовано прилагательное «семантический»). Лишь словообразование частично занимается вопросами формального строения единиц языка.

В следующих семи параграфах мы будем говорить о проблемах, связанных с лексикологией в узком смысле термина, § 10 будет посвящен словообразованию, § 11 — фразеологии. Последние параграфы будут посвящены лексической системе языка в целом.

§ 3. Классификация лексем

Лексеммы каждого языка составляют очень сложную систему и могут быть классифицированы по разным признакам, формальным и семантическим.

Наиболее известной из классификаций, основанных в первую очередь на формальных признаках, является классификация по частям речи. Хотя по частям речи обычно классифицируют словоформы, это деление имеет важное значение и для лексем, причем деление на части речи словоформ и лексем (даже если считать последние равными основам) оказывается, как правило, аналогичным (кроме того, что при классификации словоформ могут члениться и служебные слова, тогда как при классификации лексем подобные классы не выделяются).

Выделение частей речи в первую очередь основано на признаках, лежащих вне лексикологии — на сочетании лексем с теми или иными реляционными элементами (аффиксами словоизменения и служебными словами) или на синтаксических функциях синтаксем, в состав которых входят данные лексеммы. Однако принадлежность к части речи сказывается и на внутренней структуре лексем, в состав которых могут входить деривационные элементы, специфические для

данной части речи (например, упоминавшиеся показатели лица в японском языке *sha, shu* и др. специфичны для имени, а показатель побудительности *as* — для глагола). Но даже если отвлечься от того, что принадлежность лексемы к части речи связана с ее словообразовательными характеристиками, деление на части речи должно учитываться в лексикологии, поскольку принадлежность к части речи — явно одна из самых важных характеристик лексемы. Недаром в любых словарях дается информация о принадлежности той или иной лексемы к части речи.

Выше было сказано, что части речи выделяются по грамматическим признакам. Однако выделение частей речи определенным образом связано со значением лексем. Например, в любом языке лексика, обозначающая конкретные предметы, относится к именам, а типичным (хотя часто не единственным) средством обозначения действий являются глаголы. Однако полного совпадения между семантической классификацией и делением на части речи нет. Например, если мы возьмем русские лексемы *приезжать* и *приезд*, мы вряд ли сможем увидеть в них какую-либо разницу в значении (если, естественно, отвлечься от значения реляционного элемента, входящего в состав *приезжать*). Тем не менее ясно, что *приезжать* — глагол, а *приезд* — имя (существительное). Различие их связано с тем, что они по-разному сочетаются с реляционными элементами (как с аффиксами, так и со служебными словами) и образуют разного типа синтаксемы (например, синтаксема *приезд* не может быть сказуемым, а синтаксемы *приезжаю, приезжает* и т. д. могут).

Хотя мы в лексикологии и отвлекаемся от реляционных элементов, но мы не можем отвлечься от различий, например, между глаголом и именем со значением действия, поскольку эти две единицы не только по-разному соединяются с грамматическими элементами, но и по-разному сочетаются с другими лексическими единицами в составе предложения. Поэтому нам следует остановиться на выделении частей речи в японском языке.

На материале европейских языков давно выработана система частей речи, хорошо известная по школьным учебникам. В соответствии с ней (если исключить классы служебных слов) выделяются такие части речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, а также междометие. Такая схема применялась к различным языкам мира, в том числе к японскому. Однако для японского языка эта классификация связана с трудностями. С одной стороны, если во многих европейских языках местоимения и числительные имеют формальные особенности, отличающие их от других частей речи (ср. особенности согласования с числительными в русском языке, сохранение склонения местоимений при полной или почти полной его утрате для существительных в английском или французском языке), то в японском языке местоимения и числительные могут быть выделены в особые классы лишь по значению, но таким же образом могут быть выделены и другие классы, не именуемые частями речи (см. ниже). С другой стороны, вне классификации оказываются слова типа *aru* 'некоторый', *iwayuru* 'так

называемый’ и в один класс прилагательных попадают явно различные по свойствам единицы типа *takai* ‘высокий’ и *shizuka* ‘спокойный’.

Японская наука независимо от европейской выработала теорию частей речи, которая тем не менее главными чертами близка к теории частей речи в европейской науке. Наиболее существенным считается противопоставление тайгэнов (неизменяемых лексем) и ёгэнов (лексем, имеющих чередования в основе); тайгэны и ёгэны различаются также семантически. Ёгэны делятся на глаголы, предикативные прилагательные типа *takai* и непредикативные прилагательные типа *shizuka*. В составе тайгэнов часто выделяются (под европейским влиянием) существительные, местоимения и числительные. Как особые классы рассматриваются наречия, союзы типа *keredomo* ‘однако’ и т. н. приименные — не сочетающиеся с какими-либо реляционными элементами единицы типа *aru*, *iwayuru*, образующие определительные синтаксемы; эти классы иногда включаются в тайгэн, иногда рассматриваются отдельно. Особо выделяются междометия.

В целом такое выделение частей речи следует считать достаточно рациональным. Действительно, в японском языке наиболее четко противопоставлены друг другу как по значению, так и по формальным признакам тайгэн (имя) и ёгэн (предикатив). Среди предикативов четко выделяются три части речи: глаголы, предикативные прилагательные и непредикативные прилагательные. Имя же составляет единую часть речи: как было сказано выше, местоимения и числительные в японском языке могут быть отграничены от существительных только по значению, и выделение их как особых частей речи основано на принципах, отличных от тех, по которым мы выделяем части речи во всех других случаях. В то же время от имен следует отличать наречия и приименные, которые, в отличие от имен и предикативов, не могут сочетаться ни с какими реляционными элементами. Эти два класса лексем имеют различные свойства: наречия образуют обстоятельственные синтаксемы (подчиненные предикатным), а приименные — определительные синтаксемы (подчиненные именным); поэтому можно считать, что наречия и приименные — разные части речи (тогда как союзы типа *keredomo* можно считать разрядом наречий). Особую часть речи составляют междометия. Итого мы выделяем в японском языке семь частей речи: глагол, предикативное прилагательное, именное (непредикативное) прилагательное, имя, наречие, приименное, междометие.

Таким образом, выделение частей речи в японском языке может быть несколько иным, чем, например, в русском. В русском языке нет двух разрядов прилагательных и обычно не выделяется как часть речи приименное (хотя в какой-то степени аналогами приименных можно считать, например, слова *беж*, *хаки* в сочетаниях *цвет беж*, *цвет хаки*); с другой стороны, в русском языке есть больше оснований для выделения местоимений и числительных как частей речи. Кроме того, языки могут различаться соотношением частей речи между собой. Например, в русском и ряде других языков прилагательные близки к существительным (ср. сам термин «имя прилагательное»), в японском же прилагательные, особенно предикативные, близки не к имени, а к глаголу. Вообще, предикативное

прилагательное — часть речи, не имеющая прямых соответствий в европейских языках; по существу они соотносимы не столько с русскими прилагательными, сколько с сочетаниями прилагательного и глагола-связки; довольно часто японские предикативные прилагательные соответствуют в русском языке глаголам (*nai* ‘не быть, не иметься’, *itai* ‘болеть’ и т. д.).

Наряду с делением на части речи могут быть и другие классификации лексик, основанные на формальных признаках; обычно эти классификации связаны с делением на части речи (отдельно классифицируются глаголы, отдельно имена и т. д.). Можно указать, например, на деление глаголов на переходные и непереходные (для японского языка — деление глаголов на способные сочетаться с именами с показателем *o* и лишённые этой способности) или же деление глаголов на сочетающиеся и не сочетающиеся с показателем страдательного залога; в ряде европейских языков эти классификации дают один результат (страдательный залог образуется от переходных глаголов), в японском они соотносятся лишь в одну сторону (каждый переходный глагол сочетается с показателем страдательного залога, но этот показатель может сочетаться и со многими непереходными глаголами). Могут быть и другие классификации подобного рода, основанные так или иначе на сочетаемости данной лексемы с теми или иными реляционными элементами. Эти классификации некоторым образом соотносятся со значением лексем, например, переходные глаголы обычно обозначают активные действия, однако это соотношение не всегда выдерживается, например русские глаголы *утрачивать* и *лишаться* имеют одинаковое значение, но первый из них — переходный, а второй — нет.

Наряду с этими классификациями могут быть и другие, связанные со значением лексем; именно они в первую очередь интересуют лексикологию. Эти классификации могут быть тем или иным образом связаны с делением на части речи, но могут быть и независимы от него.

Для дальнейшего изложения нам придется ввести несколько понятий. В языке говорится о тех или иных событиях, ситуациях, соотносимых в действительности (или в чьем-то воображении и т. д.). Имя, название того или иного события называют в языкознании *предикатом* (не путать с понятием предикатива — группы частей речи в японском языке, о которой говорилось выше). Каждое событие предполагает его участников, например событие «сон» — наличие того, кто спит, событие «давание» — того, кто дает, того, кому дают, и того, что дают. Названия участников ситуации мы будем именовать актантами. Участником события может быть не только конкретный предмет или лицо, но и другое событие, например, когда мы говорим *Иван слышит шум*, мы имеем событие, одним из участников которого является другое событие, в данном случае *шум* (у последнего имеется свой участник — тот, кто шумит). Таким образом, одни и те же лексемы могут быть в зависимости от ситуации и предикатами, и актантами.

В соответствии с этим вся лексика языка делится на две большие группы: лексику, способную выступать в качестве предикатов, и лексические единицы,

которые могут быть только актантами. Первый класс лексики мы назовем классом предикатной лексики, второй — классом непредикатной лексики. К непредикатной лексике относится прежде всего т. н. конкретная лексика, т. е. имена людей, животных, растений, вещей, местностей, типа рус. *дом, книга, ребенок, Москва* или яп. *ie, hon, kodomo, Mosukiwa* и т. д. Непредикатная лексика может обозначать весьма сложные понятия, связанные с высоким уровнем абстракции (*пролетариат, гелий, электрон* и т. д.), однако во всех случаях она обозначает какой-то класс конкретных лиц или предметов, выделяемых по тем или иным (простым или сложным) признакам. Предикатная лексика не может обозначать лиц или предметы; то, что она обозначает, нельзя «пощупать»: это названия событий в широком смысле этого слова: действий, состояний, признаков, например рус. *писать, спать, красный, уверенность*, яп. *kaku, nemuri, akai, kakushin*. В японском языке, в отличие от русского, есть обобщающие слова для предикатной и непредикатной лексики, это соответственно *koto* и *mono*.

Выделение предикатной и непредикатной лексики связано с делением на части речи. Вся непредикатная лексика любого языка входит в одну часть речи: имя (если в языке можно выделить существительные и местоимения, то она может входить в эти две части речи), предикатная лексика распределяется по различным частям речи, причем к ней могут относиться и имена: ср. *уверенность* или *kakushin* — имя некоторого события, имеющего двух участников: того, кто уверен, и того, в ком или в чем уверены; то же значение может быть передано иначе (*быть уверенным, kakushin-suru*).

Предикатная и непредикатная лексика может делиться на более дробные классы. Среди непредикатной лексики можно указать на выделение имен одушевленных и неодушевленных (предикатные имена по традиции тоже относят к неодушевленным, что оправдано с формальной точки зрения (согласование в языках типа русского), но по значению признак «одушевленность-неодушевленность» бессмыслен для предикатной лексики), имен деятеля, имен орудия действия, имен места действия и т. д. Особый класс среди непредикатной лексики составляют имена собственные. Если непредикатная лексика более конкретна, чем предикатная, то имена собственные еще более конкретны, чем другие непредикатные имена. Они обозначают либо индивидуальные предметы в широком смысле этого слова (*Волга, Сапоро, «Аврора», Сириус, Сохэ* и т. д.), либо классы предметов (как правило, людей и животных), объединяемые не по какому-то содержательному признаку, а по условному наименованию (*Иван, Петров, Кимура, Полкан, Микэ* и т. д.), которые служат для отличия данного лица от других.

Среди классов предикатной лексики можно выделить названия действий, признаков, состояний и т. д., а также названия признаков признаков, типичное средство обозначения последних — наречия (*очень, totemo*).

Могут быть лексемы, которые трудно отнести как к предикатной, так и к непредикатной лексике. Это уже упоминавшиеся в § 1 модальные слова типа рус. *конечно, возможно* или яп. *zehi, osoraku*. Они не могут быть ни предикатами,

ни актантами, но они обозначают отношение говорящего к тому или иному событию.

Особый семантический класс, выделяемый как в предикатной, так и в непредикатной лексике, составляют местоимения; независимо от того, имеют ли они особые формальные признаки или нет, при семантическом анализе они должны выделяться. Местоимения указывают на некоторый предмет, признак или действие, не выделяя никаких его постоянных свойств; в зависимости от ситуации одно и то же местоимение может относиться к разным предметам (признакам, действиям). Часто местоимения замещают ту или иную лексему, уже упомянутую ранее (яп. *kare, kore* и т. д.), другие местоимения указывают на говорящего или слушающего (*watakushi, boku, anata* и т. д.).

Классификация лексики по значению может производиться с разной степенью дробности. Наряду с выделением крупных классов могут быть вычленены сравнительно небольшие классы лексики, объединенные наличием общих семантических компонентов (это понятие будет введено в следующем параграфе), такие классы называют *семантическими полями*. Можно выделить, например, поля имен родства, названий цветов, глаголов движения и т. д. Одна и та же лексема может входить в разные поля. Например, лексема *лошадь* или *uma* входит: 1) в группу названий домашних животных (*корова, собака... или ushi, inu...*), 2) в группу названий непарнокопытных животных (*осел, носорог... usagiuma, kurosai...*), 3) в группу названий средств передвижения (*поезд, автомобиль... kisha, jidoosha...*) и т. д. Таким образом, лексема оказывается связанной со многими другими лексическими единицами и образуется сложная лексическая система. Каким образом это происходит, мы разберем в двух следующих параграфах.

Лексика языка может классифицироваться не только по формальным свойствам или по значению. Система языка неоднородна, в нее входит большое количество более частных подсистем (разговорные, книжные, профессиональные и др.), лексика может классифицироваться по принадлежности к этим подсистемам, такую классификацию обычно называют стилистической. Кроме того, лексика может классифицироваться в зависимости от ее происхождения (исконная, заимствованная). Об этих классификациях мы будем говорить позже (§§ 12 и 13).

§ 4. Семантическая структура лексемы

Каждая лексема обладает сложной семантикой, состоящей из компонентов. Это хорошо видно из того, как эта лексема толкуется в словаре. Сразу надо отметить, что в этом параграфе будет говориться только о структуре значения лексемы, независимо от того, отражается ли она в членении ее на морфемы; мы будем на равных правах рассматривать сложные и простые с формальной точки зрения лексемы.

Мы будем исходить из того, что сложное значение каждой лексемы может быть разложено на элементарные компоненты — *семы* и что из ограниченного числа сем можно получить значение практически бесконечного количества лексем того или иного языка (ср. образование практически бесконечного количества лексем и других единиц языка из небольшого количества фонем; конечно, сем в языке значительно больше, чем фонем). Современное языкознание далеко от того, чтобы составить исчерпывающий перечень сем того или иного языка; также пока не разработаны критерии, позволявшие считать, что те или иные элементы семантической структуры — действительно семы, то есть они не могут быть разложены на более мелкие компоненты, поэтому рассмотрение нами тех или иных единиц в качестве сем условно, многие из них, возможно, представляют собой сочетание сем. Такая неразработанность теории сем, в отличие от теории фонем, связана с тем, что семы мы, в отличие от фонем, не можем соотнести с какими-то частями того, что произнесено. Семы могут быть выделены лишь на основе выявления общего и различного в значении разных лексем.

Семы по-разному выделяются для предикатной и непредикатной лексики. Значение единиц непредикатной лексики может быть описано независимо от того, актантами каких событий они могут быть. Например, при описании значения слова *мальчик* мы не обращаем внимания на то, в каких событиях может участвовать лицо, обозначенное этим словом; зато нам будут важны такие компоненты значения, как «предметность», «одушевленность», «личность», «невзрослость», «мужской пол». Эти признаки частично упорядочены, что видно, например, из того, что при отрицании (*Это не мальчик*) отрицаются не все компоненты значения, а только компоненты «не-взрослость» или «мужской пол». Однако эта упорядоченность неполна: мы вряд ли можем указать, в каких отношениях между собой находятся два последних компонента. В целом структуру единиц непредикатной лексики можно рассматривать как неупорядоченный набор компонентов (сем). Например, в значении лексемы *ани* можно выделить, помимо наиболее общих по значению компонентов «предметность», «одушевленность», «личность», также компоненты «мужской пол», «одно поколение с некоторым лицом», «прямое родство с некоторым лицом», «старше некоторого лица», «нейтральная вежливость» (ср. *niisan*).

Уже на примере непредикатной лексики можно видеть, что не всегда значения лексемы можно описать в отвлечении от единиц, связанных с данной лексемой. Так мы можем описать лексемы типа *мальчик*, но уже лексему *брат* или *ани* мы не можем описать в отвлечении от того, что данное лицо находится в родстве с некоторым другим. При указании компонентов значения мы должны вводить в них некоторую переменную величину (то, что выше мы именовали «некоторое лицо»).

Еще сложнее структура значения предикатной лексики. Это видно из того, что такую лексику всегда бывает сложно толковать в словарях. В сущности, толкование лексемы и есть описание структуры ее значения. Толкование лексемы (или целого высказывания) может быть определено как синонимичное высказывание,

состоящее из большего числа слов и дающее разложение значения данной лексемы (высказывания) на более простые компоненты. Лексемы могут толковаться с разной степенью подробности, в идеале можно дойти до разложения на семы. Непредикатная лексика, как уже говорилось, может толковаться в виде набора неупорядоченных или частично упорядоченных компонентов, примерно так она и толкуется в обычных толковых словарях. Однако предикатную лексику так толковать не удастся, в связи с чем в толковых словарях обычно ограничиваются указанием на их синонимы, что может быть достаточно для практических целей, но явно недостаточно для объяснения значения слов.

Эти трудности связаны с тем, что предикатные лексемы нельзя толковать вне состава более сложного высказывания, в состав которого они входят. Дело в том, что эти лексемы обозначают некоторые события, которые нельзя описать без указания на их участников, поэтому мы не можем описать значение лексемы без указания на соответствующие актаны хотя бы в виде переменных. Мы не можем сказать, что значит *toru*, но можем описать, что значит *X-ga U-o toru* (какие лексемы могут быть подставлены вместо X и U, нас в данном случае не интересует, поэтому мы в подобных случаях будем говорить о переменных). Так же будут описываться и предикатные существительные (*уверенность X-a в U-e*, то же *kakushin*), прилагательные (*X-ga takai*), наречия (*очень* — X обладает свойством U в большой степени, то же *totemo*). Таким образом, толкование (описание значения) высказывания, в состав которого входит данная лексема, имеет вид предложения. Например, значение высказывания *X сжигает U* может быть описано таким образом: X делает так, чтобы U начал не существовать, при помощи выделения огня.

Основным критерием того, что значение описывается правильно, будет одинаковость толкования равнозначных высказываний и различие толкований разных по значению высказываний.

Компонентный анализ значений предикатной лексики в японском языке пока еще разработан недостаточно. Один из немногих классов, уже достаточно изученных в этом смысле, — глаголы движения.

Каждое событие, обозначенное глаголом движения, имеет по крайней мере одного участника — того, кто (или что) движется, для части глаголов также важны указания на других участников (места движения, его исходных и конечных точек и др.). Сопоставление значения различных глаголов движения дает возможность выделить их компоненты значения.

Например, событие, обозначенное глаголом *kuru*, имеет двух участников: движущееся лицо или предмет (субъект действия) и конечный пункт движения; другие возможные участники события: исходный пункт движения, место движения и т. д. не влияют на значение *kuru* 'приходить' (в этом и других примерах не следует смешивать указание на актаны, имеющиеся в значении лексемы, и реальное наличие этих актантов в предложении; последние могут и отсутствовать, если они очевидны из контекста; так, всё предложение может состоять из одного *kuru*, однако это не значит, что при этом в значении *kuru* нет указания на актаны). Можно

указать на следующие (явно неэлементарные) компоненты значения *kuru*; точнее, значения высказывания *X-ga U-e kuru*: 1) X приближается к У, 2) X имеет контакт с У (ср. *chikazuku* ‘приближаться’, где имеется отсутствие контакта), 3) до контакта с У X проходит достаточно большое расстояние (ср. *hairu* ‘входить’, где нет этого компонента).

Для других глаголов движения в состав значения могут входить: характер субъекта (человек, одушевленный предмет, неодушевленный предмет, иногда нерасчлененная масса людей: *nadarekomi* ‘хлынуть массой’), способ перемещения субъекта (*aruku* ‘идти пешком’, *hau* ‘ползти’, *tobikosu* ‘перескакивать’), направление движения вверх или вниз (*agaru* ‘подниматься’, *oriru* ‘спускаться’), темп движения (*tsuppashiru* ‘мчаться’), наличие или отсутствие шума (*abarekomi* ‘вламываться’, *shinobiyoru* ‘подкрадываться’), целенаправленность движения или ее отсутствие (*mitawaru* ‘делать обход’, *urotsuku* ‘слоняться’), характеристика среды, в которой проходит движение (*oyogu* ‘плыть’, *tobi* ‘летать’), и многие другие компоненты.

Значение компонентов имеет различный характер. Наряду с компонентами значения, связанными с информацией об объективной действительности (выше мы говорили только о них), имеются очень часто и компоненты, связанные с отношением к действительности говорящего. К их числу относятся компоненты, указывающие на степень уверенности, желание, положительное или отрицательное отношение говорящего. Уже говорилось, что имеются т. н. модальные слова, значение которых целиком складывается из таких компонентов, однако такие значения (мы их будем называть модальными) могут составлять лишь часть значения лексемы. Например, яп. *tsura* имеет в своем значении немодальные компоненты, в сумме дающие значение «передняя часть лица», а также модальный компонент, связанный с отрицательным отношением говорящего к человеку, о лице которого говорится, ср. *kao* ‘лицо’, где последнего компонента значения нет.

В японском языке особенно важное значение имеют модальные компоненты, связанные с передачей общественных (в самом широком смысле этого слова) отношений между говорящим и другими людьми. Известно, что большое место в системе японского языка называют т. н. формы вежливости. Вопрос о формах вежливости во многом относится к грамматике, однако различия по вежливости могут передаваться и лексически, т. е. компоненты, связанные с вежливостью или невежливостью, могут находиться в самой лексеме. Примером этого могут служить личные местоимения, например 1-го лица: *watakushi* в разговоре с высшим или при подчеркивании собственной вежливости, *watashi* преимущественно в разговоре с равным и в случае, когда не нужно четко указывать отношение к собеседнику, *boku* (только в мужской речи) в разговоре с равным и с низшим без подчеркивания своего превосходства (у молодых мужчин *boku* во многом вытесняет *watashi* (см. § 13)), *ore* в разговоре с низшим с подчеркиванием своего превосходства и т. д. В значении ‘жена’ может употребляться 17 японских лексем (включая устарелые): *tsuma*, *fujin*, *kanai*, *sai*, *saijun*, *naiga*, *nyoobo*, *shufuu*, *okusan*, *okugata*, *kisaki*, *hi*, *reikei*, *reifujin*, *daikoku*, *okami*, *kakaa*. Такая дифференциация лексики специфична для

японского языка, однако выражение вежливости в лексике так или иначе существует в любом языке (тогда как грамматического выражения вежливости в русском и многих других языках нет). Ср. рус. *врач* и *доктор* (второе вежливее, поэтому только оно используется в позиции обращения).

§ 5. Отношения между единицами лексики и их сочетаемость

В предыдущем параграфе мы рассматривали вопрос о том, как устроено значение отдельной лексемы, вне ее связи с другими лексемами. Теперь нам нужно выяснить, как единицы лексики взаимодействуют, какие отношения между ними могут существовать. Отношения, о которых мы будем говорить, это в первую очередь отношения в системе лексики, а не отношения между конкретными единицами в составе предложения, однако отношения в системе влияют и на отношения в предложении, определяя то, как лексемы могут сочетаться друг с другом; в частности, могут быть случаи, когда одна лексема требует обязательного наличия какой-то другой или, наоборот, не допускает ее существования.

Отношения между единицами лексики разнообразны, и мы не можем говорить о всех видах отношений, для нас будут важны в первую очередь регулярные отношения, то есть отношения, в которые может вступать достаточное количество лексических единиц, отношения, широко распространенные в системе языка.

Можно выделить два вида отношений между лексическими единицами: отношения замены и параметрические отношения. Отношение замены — отношение между лексемами, которые в принципе могут быть заменены друг на друга без изменения значения или с определенным, единым во всех случаях его изменением (тут важно подчеркнуть слова «в принципе», поскольку, например, не всегда реально можно заменить лексему на ее синоним). Важно то, что лексемы, связанные отношением замены, не могут, как правило, встретиться в одном предложении (исключая случай, когда они оформлены как однородные члены). Наиболее важные случаи отношения замены — синонимия и антонимия — будут разобраны в двух следующих параграфах. К заменам также относится отношение между лексемами, совпадающими по значению, но принадлежащими к разным частям речи (рус. *приезжать* — *приезд*, *учиться* — *учебный*, *политика* — *политически*, яп. *samui* — *samusa*, *hataraku* — *hataraki*). Отметим, что в плане образования такого рода лексем японский язык, во-первых, регулярнее русского: в последнем существует много способов образования, например, отглагольных имен, тогда как в японском только один (т. н. 2-я основа), во-вторых, в японском языке в ряде случаев нет соответствующих пар (например, там почти не образуются отыменные прилагательные).

В дальнейшей части параграфа мы будем говорить о параметрических отношениях между лексемами. Параметры — средства, которыми при данной лексеме выражаются некоторые значения, связанные со значением данной лексемы. Если

лексемы, связанные отношением замены, обычно не употребляются вместе, то лексемы, связанные параметрическим отношением, часто употребляются в одном и том же предложении.

Мы будем рассматривать только регулярные параметрические отношения. Некоторые из них выражаются в языке одним способом при любом слове. Например, со значением большого количества имен, обозначающих конкретные предметы, может быть связано значение «имеющий большой вес»; это значение практически при любом слове русского или японского языка может быть выражено одинаково (рус. *тяжелый*, яп. *отой*). В других случаях значение при параметрическом отношении может выражаться по-разному (примеры см. ниже). Какие именно значения выражаются одинаково, а какие — по-разному, зависит от языка. Например, со значением имен животных связано значение «издавать звук, типичный для данного животного», в японском языке имеется стандартный способ его выражения: глагол *наки*, в русском языке такого способа нет: в зависимости от того, какое имя животного имеется, используются разные глаголы: *лаять*, *мяукать*, *мычать*, *кудахтать*, *чирикать* и т. д. Тем не менее значение каждого из этих глаголов можно описать по сути одинаково: «издавать звук, типичный для ...», вместо многоточия проставляется имя животного (мы сейчас отвлекаемся от того, что у некоторых животных может быть несколько типичных звуков, это усложняет ситуацию, но принципиально ничего не меняет). Различие значений всех этих лексем определяется только тем, с какой лексемой они находятся в параметрическом отношении. В этом состоит основная особенность лексем, являющихся параметрами некоторых других лексем (находящихся с ними в регулярных параметрических отношениях): их значение может быть представлено как некоторое значение (часто одно и то же для очень большого количества лексем) плюс указание на лексему, параметром которой она является (то, что выше было отмечено многоточием).

Укажем на несколько параметров, выраженных разнообразными способами в японском языке. Одним из наиболее богатых по способам выражения является параметр, связанный с обозначением высокой степени, интенсивности признака, действия, состояния или свойств данного предмета; этот параметр может выражаться при лексемах самого различного характера (предикатных и непредикатных, относящихся к разным частям речи), ср. рус. *брюнет* — *жгучий*, *спать* — *крепко*, *тьма* — *крошечная* и т. д. Примерами на выражение этого параметра в японском языке могут быть, например, *kuroi* при *kage* 'тьнь', *fukai* при *kankei* 'связь'. Эти примеры показывают, что выражение тех или иных параметров в разных языках различно: ср. рус. *густая тень*, *тесная связь* и *kuroi kage*, дословно 'черная тень', *fukai kankei*, дословно 'глубокая связь'.

Обратите внимание на то, что в *kuroi kage* и *kuroi hon* 'черная книга' *kuroi* имеет различное значение (исходя из терминов, принятых в § 2, можно сказать, что здесь одна вокабула, но две лексемы): значение 'черный' свободно сочетается с большим количеством значений (*kuroi hon* 'черная книга', *kuroi neko* 'черная кошка' и т. д.),

значение «высокая степень свойства» сочетается лишь с небольшим числом значений, и в описание значения *kuroi* в этом случае должно входить указание на то, что *kuroi* сочетается с такими лексемами, как *kage*.

Отметим, что значения, связанные параметрическим отношением, могут быть выражены одной лексемой. Например, упомянутое значение высокой степени, интенсивности при *дождь*, *ате* может быть выражено отдельной лексемой (рус. *проливной*, яп. *hidoi*), но это значение может быть выражено в той же лексеме, что и значение «дождь» (рус. *ливень*, яп. *yudachi*). Такое выражение можно назвать склеенным.

Рассмотрим еще несколько параметров. Один из них связывает название действия или состояния и лексему со значением «делать так, чтобы... происходило». В японском языке имеется регулярный способ выражения последнего значения — побудительный залог, имеются и другие способы (*ugoku* 'двигаться' — *ugokasu* 'двигать', *kuu* 'есть' — *kuwasu* 'кормить', *yakeru* 'гореть' — *yaku* 'жечь', *deru* 'выходить' — *dasu* 'вынимать'). В японском языке, как правило, лексемы, связанные этим отношением, соотносятся не только по значению, но и по форме (хотя и не всегда регулярно), в русском языке очень часто этим отношением связаны разнокоренные лексемы (ср. переводы). Другой параметр связывает названия действия или состояний и лексемы со значением «начинать ...»: *дружить* — *подружиться*, *дружба* — *завязывать*, *жить* — *рождаться*; в японском наряду со случаями типа *ikiru* 'жить' — *umareru* 'рождаться' имеется стандартный способ склеенного выражения данного параметра: 2-я основа соответствующего глагола + *hajimeru*. Аналогичный параметр связан со значением «начинать не ...»: яп. *oboeru* 'помнить' — *wasureru* 'забывать', *ikiru* 'жить' — *shinu* 'умирать', для него также имеется стандартное склеенное выражение: 2-я основа + *owaru*.

Параметрическая лексика всех типов, указанных выше, имеет собственное значение. Однако есть лексемы, значение которых сводится к указанию на синтаксическую структуру предложения, в состав которого они входят, плюс указание на лексему, параметром которой данная лексема является. Чтобы понять, каким образом это получается, вспомним введенные в § 3 понятия события, его участников и их выразителей — предиката и актантов. Наиболее типичным предикатом является предикатив (сходство двух терминов не случайно): для русского языка — глагол, для японского — глагол или предикативное прилагательное. Однако для большого количества языков мира, в том числе для европейских языков и для японского, возможны случаи, когда роль предиката играет имя, ср. *приезд учителя* или *kyooshi no toochaku*. Но имя во многих языках само по себе не может быть сказуемым. Чтобы соответствующее предложение имело сказуемое, могут быть использованы два способа: во-первых, особый реляционный элемент (связка) типа японских *da*, *desu*, во-вторых, использование «пустой» глагольной лексемы. К этой лексеме присоединяются реляционные элементы, характерные для глагола, в результате чего образуется синтаксема, играющая роль сказуемого, однако собственного значения эта лексема не имеет. Например, в предложении *Kimura ni denwa ga*

kakaru ‘Кимуре звонят по телефону’ событие «звонить по телефону» обозначено лексемой *denwa*, а *kakaru* — «пустая» лексема, значение которой лишь в том, что она указывает на определенную синтаксическую структуру (имя события оформляется как подлежащее, а имя его участника — как дополнение), плюс указание на лексему, параметром которой *kakaru* является, ср. *katsudoo ga okonawareru* ‘деятельность осуществляется’, где также имя события оформляется как подлежащее, но параметрический глагол другой.

Употреблением различных «пустых» глаголов одно и то же содержание может быть выражено разными синтаксическими способами: ср. *A изменяет B* (сказуемое — имя события, субъект — подлежащее, объект — дополнение), *A вносит изменение в B* (сказуемое «пустое», субъект — подлежащее, имя события и объект дополнения), *изменение происходит в B под влиянием A* (сказуемое «пустое», имя события — подлежащее, субъект и объект — дополнения).

Использование «пустых» глаголов в японском языке (как и в русском) широко распространено. К числу наиболее распространенных «пустых» глаголов относятся *suru*, *yaru*, *okonau*, *okonawareru*, *tsuki*, *kakaru* и др. Соответствующие вокабулы могут не иметь других лексем (*okonau*), но могут и иметь: ср. *denwa ga kakaru* и *gaitoo ga kakaru* ‘пальто висит’, где *kakaru* имеет собственное значение.

§ 6. Лексическая синонимия

Мы переходим к рассмотрению одного из основных отношений между единицами лексики — отношения синонимии. Если понимать синонимию широко — как совпадение в значении при различии в форме, то синонимия существует на различных уровнях языка: можно говорить о синонимии грамматических показателей, о синонимии словосочетаний, предложений и т. д. Мы в своем курсе будем говорить только о синонимии лексических единиц, именно этот вид синонимии чаще всего изучается в языкознании.

Под синонимами мы будем понимать разные, по-разному звучащие лексемы, имеющие одинаковое значение. Однако в науке часто к синонимам относят не только лексемы с одинаковым значением, но и лексемы с близкими, но все же несколько различными значениями. Чтобы не смешивать разные вещи, которые иногда называют одинаково, мы с самого начала будем разграничивать синонимию в строгом смысле слова от случаев сходства в значении. К последним относятся: 1) т. н. стилистические синонимы, т. е. лексемы, передающие ту же информацию о действительности, но различающиеся модальными компонентами, сюда относятся, в частности, лексемы, различающиеся по вежливости (о них уже говорилось выше), сюда же относятся такие пары, как *лицо* — *морда* или *kao* — *tsura*; 2) стилевые синонимы, т. е. лексемы с одинаковым значением, относящиеся к разным подсистемам языка, например яп. *kumo* и *unēi* имеют одно значение ‘облако’, но *kumo* может употребляться как в книжной, так и в разговорной речи,

тогда как *inēi* — принадлежность книжной подсистемы и не может встретиться в бытовом разговоре, *onaka* ‘живот’ употребляется мужчинами и женщинами, а его синоним *hara* — только мужчинами; 3) квазисинонимы или неточные синонимы, т. е. лексемы, близкие по значению, но имеющие некоторые отличия, например рус. *нести* и *тащить* близки по значению, но в *тащить* есть компонент «с усилием», которого нет в *нести*, поэтому можно сказать *нести мешок* и *тащить мешок*, но нельзя сказать *тащить карандаш* (точнее, можно только в шутку, суть которой очень часто состоит в том, что реализуются связи между лексемами, вообще говоря недопустимые в языке; во всех подобных случаях мы отвлекаемся от возможности шуточного использования); 4) контекстные синонимы, т. е. лексемы, не являющиеся синонимами, но способные замещать друг друга в определенных контекстах, указывая на одно и то же. Например, если мы знаем из контекста, что Ямада по профессии инженер (яп. *gishi*), то мы можем называть одно и то же лицо *Yamada* и *gishi*, из чего не следует, что эти лексемы — синонимы; универсальное средство выражения контекстной синонимии — местоимения. В дальнейшем от контекстных синонимов мы будем отвлекаться, поскольку их тождество — по существу факт внеязыковой; стилистические и стилевые синонимы можно считать синонимами в широком смысле этого слова, поскольку их основное значение совпадает, однако их надо отличать как от собственно синонимов, так и от квазисинонимов.

С другой стороны, синонимы следует отличать от вариантов одной и той же лексемы, не различающихся значением и незначительно различающихся по звучанию, типа рус. *галоши* — *калоши* или яп. *mizukashii* — *mutsukashii* ‘трудный’, *nihon* — *nippon* ‘Япония’, *amari* — *amamari* ‘слишком’, но если различия достаточно велики, например рус. *обогнать* — *перегнать* или яп. *gyooba* — *ryooba* ‘место рыбной ловли’, мы будем говорить о синонимии. Кроме того, синонимами не принято считать лексемы разных частей речи, даже если их значение одинаково.

Лексика языка синонимизируется по-разному. Легче синонимизируется предикатная лексика, большинство случаев синонимии относится именно к ней. Непредикатная (особенно конкретная) лексика обычно не имеет синонимов, за исключением стилистических и стилевых.

На практике довольно трудно отграничить синонимии в строгом смысле слова от стилистической, стилевой синонимии и квазисинонимии, это можно будет сделать только тогда, когда значения всех лексем будут точно описаны. В дальнейшем рассмотрении мы будем говорить о синонимии в строгом смысле слова (в конце параграфа — также о квазисинонимии), хотя некоторые приводимые нами примеры, может быть, не являются при более строгом рассмотрении синонимами.

Некоторые синонимы совпадают не только по значению, но и по употреблению: один из них всегда может быть заменен на другой: ср. рус. *бросать* — *кидать* или яп. *untenshu* — *untensha* ‘водитель’. Однако очень часто синонимы по-разному сочетаются с другими лексемами. Например, рус. *прекращаться* и *переставать* имеют одно значение, но *прекращаться* сочетается со многими лексемами,

а *переставать* только с названиями атмосферных явлений: *дождь*, *снег* и т. д. Ср. также яп. *mitsu* и *san* ‘3’, значение которых одинаково, но в сочетании с другими лексемами вступает только *mitsu*, тогда как *san* используется лишь при отвлеченном счете (*ichi, ni, san...* ‘1, 2, 3...’). В последнем случае синонимы ни в каком контексте не могут быть заменены друг на друга. Ср. также рус. *недомогать* и *нездоровиться*, синонимичные, но неспособные заменяться друг на друга, так как они употребляются в разных синтаксических конструкциях (*он недомогает, ему нездоровится*).

Теперь остановимся на некоторых особенностях лексической синонимии в японском языке. Первое, что бросается в глаза в этом языке, — большое количество синонимов. Основная причина этого в наличии, помимо исконных лексем (*ваго*), большого количества лексем, составленных из морфем китайского происхождения (*канго*), как правило, каждая исконная лексема имеет синоним среди канго (обратное существует не всегда, многие понятия обозначаются только с помощью канго); в последнее время количество синонимов увеличилось также за счет европейских заимствований (*гайрайго*). Наряду с такой синонимией существует и синонимия среди единиц одного происхождения, особенно среди канго. Еще одна причина большого количества синонимов — неупорядоченность во многих случаях японской терминологии, что хорошо видно при сопоставлении ее с русской или английской. Даже для самого термина «синоним» в японском языке существует несколько названий, которые употребляются разными авторами фактически без принципиальных различий в значении: *doogigo, dooigo, ruigigo* и т. д.

Еще одна особенность синонимии в японском языке — большое количество синонимичных полных и кратких лексем. Длинные канго, состоящие из большого количества морфем, часто сокращаются до двух-трех морфем (точнее, до двух-трех последовательностей, пишущихся одним иероглифом): так, *bankoku-hakurankai* ‘всемирная выставка’ было сокращено до *bampaku*, а *shokuryoo-kanriseido* ‘система нормирования продовольствия’ — до *shokkansei*. Очень часто в языке одновременно существуют более длинный и более краткий вариант, что еще больше увеличивает число синонимов, иногда стилевых (более длинные варианты могут быть книжными, а более краткие — разговорными, однако книжными могут быть и оба варианта). Длинные гайрайго и изредка ваго сокращаются по-другому: отсекается часть лексемы, обычно конечная, например *puroguramu* ‘программа’, *puroretariaato* ‘пролетариат’, *purofessionaru* ‘игрок-профессионал’ имеют одинаковые по звучанию краткие варианты — *puro*.

Еще одна особенность японского языка — большое количество синонимов, противопоставленных по вежливости, об этом мы уже говорили в § 4. В японском языке более четко, чем, скажем, в русском, лексика различается по вхождению в подсистемы, в частности более четко противопоставлены разговорная и книжная лексика: большинство канго встречается лишь в книжной речи, тогда как синонимичные им ваго обычно разговорны (ср. *kyuusoku* и *yasumi* ‘отдых’). В литературный японский язык в довольно большой степени проникает диалектная

лексика, дающая еще один большой класс стиливых синонимов. Наконец, в японском языке имеется немало случаев синонимов, противопоставленных с точки зрения употребления их мужчинами или женщинами (типа *onaka* — *hara*), что, например, для русского языка нехарактерно.

Таким образом, в японском языке имеется ряд особенностей, приводящих к появлению большого количества синонимов. Эти синонимы определенным образом взаимодействуют между собой, часто одни синонимы постепенно вытесняют другие, особенно это относится к терминологии. Так, в начале XX в., когда появилась необходимость в термине со значением «электричество», некоторое время существовало четыре синонима: *erekutorishitii*, *ereki*, *inazuma* и *denki*, однако до настоящего времени сохранился лишь последний. В этом случае, как и во многих других, наиболее удачным оказался термин-канго, поскольку канго отличаются краткостью, компактностью и прозрачностью структуры. Однако их недостаток — большое количество омонимов (см. § 8), поэтому в последнее время часто канго вытесняются синонимичными гайрайго. Например, в значении «стыковка (космических аппаратов)» первоначально употреблялись канго *renketsu* и заимствование из английского *dokkingu*, но в последнее время употребляется лишь последнее. В то же время может быть так, что сохраняются оба синонима, но в разном значении, например *hito* и *ningen* 'человек' в прошлом были стиливыми синонимами (*hito* разговорно, *ningen* книжно), в современном языке они уже не различаются с точки зрения подсистем, но приобрели разное значение: о конкретном человеке говорится *hito*, а о человеке как существе, отличном от животных (контексты типа *Человек произошел от обезьяны*), только *ningen*.

Такого рода конкуренция синонимов происходит обычно только в отношении непредикатной лексики, особенно терминологической, где наличие синонимов свидетельствует о неупорядоченности терминологии и мешает общению. В то же время синонимия в области предикатной лексики, а также стиливая и стилистическая синонимия делают языковые средства более богатыми, давая возможность по-разному говорить об одном и том же. Поэтому такого рода синонимы обычно не вытесняют друг друга.

В заключение параграфа остановимся на квазисинонимии. Квазисинонимы можно разделить на два типа. Первый тип — квазисинонимы с более общим и более частным значением, ср. приводившийся выше пример рус. *нести* — *тащить*, а также *искусственный* — *фальшивый* (искусственный, сделанный с целью обмануть), яп. *hookoku* 'доклад' — *hookokusho* 'доклад в письменном виде', *yaaku* 'перевод' — *hon'yaaku* 'письменный перевод'. Различия в значении этих квазисинонимов могут стираться в некоторых контекстах, ср. *нести мешок* — *тащить мешок* или *hookoku o kaki* и *hookokusho o kaki* 'писать доклад'. Второй тип — когда значения имеют общую часть, но у каждого из квазисинонимов есть компоненты значения, которых нет у других. Ср. рус. *мыть* — *стирать* или яп. *hito* — *ningen*, упоминавшееся выше. Нельзя сказать, что значение какого-то из членов пары

более общее по сравнению с другим. Различия в значении такого типа, как правило, всегда существуют, что видно при сочетаемости данных лексем с одними и теми же лексемами, ср. *мыть пальто* (тряпкой, не погружая в жидкость) и *стирать пальто* (погружая в жидкость). Отметим, что японские *arai* и *sentaku-suru* относятся к квазисинонимам первого типа: *arai* имеет более общее значение, соответствующее и 'мыть', и 'стирать', а *sentaku-suru* значит только 'стирать'.

§ 7. Лексическая антонимия и конверсия

Другим важным отношением между лексемами является отношение антонимии. Под антонимами обычно понимаются слова с противоположным значением. Однако нужно уточнить, что такое «противоположное значение».

Противопоставление антонимов в самой общей форме связано с противопоставлением чего-то и его отрицания (далее мы это уточним). Как и в отношении синонимов, мы будем считать, что антонимами могут быть только лексемы одной части речи.

Рассмотрим различные типы антонимов. Самый простой случай антонимии — случай, когда значение одного антонима — отрицание значения другого (случай А — не А). Сюда относятся такие примеры, как *соблюдать* — *нарушать* (*нарушать* — не *соблюдать*), *истинный* — *ложный* (*ложный* — не *истинный*), яп. *shyusseki-suru* 'посещать' (занятие, заседание) — *kesseki-suru* 'пропускать' (занятие, заседание). В языках имеются стандартные способы образования такого рода антонимов: рус. *не-*, *без-*, яп. *fu-*, *hi-*, *mi-*, а также грамматический способ — образование отрицательной формы глаголов и прилагательных (конечно, при различиях грамматического характера мы не можем говорить об антонимах, здесь одна и та же лексема, а антонимы — всегда разные лексемы).

Антонимами также принято называть и пары, связанные между собой отношением другого рода, ср. рус. *начинать* — *переставать*. *Переставать* не значит «не начинать», его значение можно представить как «начинать не». Ср. также их японские аналоги *hajimeru* — *owaru* или *hairu* 'входить' — *deru* 'выходить'. Здесь мы имеем как бы обратные действия. Если мы начнем толковать лексемы типа *hairu* или *deru*, мы на некотором этапе дойдем до различия типа «начинать — начинать не». Например, *А входит* или *А ga hairu* значит «А начинает находиться в некотором пространстве», а *А выходит* или *А ga deru* — «А начинает не находиться в некотором пространстве». Отметим, что в отличие от первого типа антонимов здесь отрицается не всё значение лексемы, а лишь его часть.

Помимо антонимов, в значении которых есть противопоставление «начинать — начинать не», могут быть антонимы с другими, но близкими ему противопоставлениями. Например, возьмем пару *утверждать* — *отрицать* (яп. *shuuchoo-suru* — *hitei-suru*). В их толковании, видимо, мы не выделим компонент «начинать». Но *А отрицает Б* то же самое, что *А утверждает не Б*. Таким образом,

их противопоставление сводится к противопоставлению «утверждать — утверждать не». Здесь также отрицается не всё значение, а его часть.

В общем случае два последних типа могут быть обобщены как противопоставление вида $A — A$ не. Если в антонимические противопоставления типа $A — не A$ в принципе могут вступать любые лексемы (правда, и в этом случае чаще предикатные), то в противопоставления типа $A — A$ не может вступать только предикатная лексика, как правило названия действий или состояний. В японском языке антонимия этого типа часто представлена у сложных глаголов со вторыми компонентами типа *hajimeru, komu, kireru, owaru, dasu*.

Третий тип антонимии — противопоставления типа *большой — маленький, глубокий — мелкий, далекий — близкий* (яп. *ookii — chiisai, fukai — asai, tooi — chikai*). Часто это противопоставления прилагательных, но это не обязательно (ср. рус. *много — мало* или *излишек — недостаток*, первому противопоставлению в японском языке соответствует противопоставление прилагательных *ooi — suginai*). Эти противопоставления можно свести к противопоставлению «больше нормы — меньше нормы». При этом предполагается, что имеется некоторая норма величины, глубины, расстояния, многочисленности и т. д., и антонимы откладываются по обе стороны этой нормы. Связь с отрицанием здесь оказывается более сложной, чем в двух первых случаях, но она есть и здесь («быть меньше нормы» — по сути отрицательная величина, а «быть больше нормы» — положительная).

Таковы три основных типа антонимов. Противопоставления антонимов здесь различны, но везде они связаны с противопоставлением утверждения и отрицания в чистом виде (первый тип) и в осложненном (второй и третий). Обычно к антонимам относят также некоторые пары, которые не попадают ни в один из этих классов: *белый — черный* (яп. *shiroi — kuroi*), *мужчина — женщина* (яп. *otoko — onna*) и др. Мы не можем свести различия между ними к каким-нибудь регулярным противопоставлениям, поэтому мы не будем считать их антонимами.

Антонимы могут быть более сложного значения, когда в значении имеется несколько противопоставлений утверждения и отрицания. Например, *брать* (яп. *toru*) — *давать* (яп. *ataeru*): *X берет A у Y* значит «X делает так, что Y не имеет A и X имеет A», *X дает A Y* значит «X делает так, что Y имеет A и X не имеет A». Здесь мы имеем два противопоставления типа $A — не A$.

Отметим, что если синонимы по своему значению одинаковы и мы поэтому не можем сказать, что один из них по значению проще другого, то один из антонимов по значению, как правило, проще: в значении одного из них есть отрицание, которого нет в значении другого. Исключение составляют лишь сложные антонимы типа *брать — давать* (в значении каждого из членов пары по одному отрицанию).

Всё сказанное выше относится к антонимии в строгом смысле слова, когда члены пары отличаются только регулярным различием значения. Однако, так же как в случае синонимов, можно выделить неточные антонимы (квазиантонимы), где кроме различий в значении, описанных выше, существуют еще некоторые.

Ср. рус. *бездонный* — *мелкий* или яп. *atsui* ‘горячий’ — *tsumetai* ‘прохладный’, где имеется противопоставление «больше нормы — меньше нормы», но степень отдаленности от нормы различна, ср. также *toru* ‘брать’ — *yaru* ‘давать’, в последней лексеме имеется значение направления действия от говорящего. Могут быть также стилистические и стилевые антонимы: те же *toru* и *yaru* противопоставлены и тем, что *yaru* указывает на действие, направленное в отношении лица, не являющегося уважаемым для говорящего, в *toru* этот компонент значения отсутствует.

Еще один тип отношений между лексическими единицами, отличный от синонимии и антонимии, — лексическая конверсия. Сюда относятся пары типа *продавать* — *покупать* (яп. *uru* — *kau*) или *побеждать* — *проигрывать* (яп. *katsu* — *makeru*). О каждом члене данных пар можно сказать, что в нем говорится то же, что и в другом: если А выиграл у Б, то Б проиграл А и т. д., однако об одном и том же говорится с разными акцентами: главное внимание обращается на того из участников события, кто обозначен подлежащим. В отношении конверсии может вступать только предикатная лексика. Если вспомнить термины, введенные в § 3, можно сказать, что здесь по-разному обозначается одно событие: ее участникам по-другому соответствуют актанта.

Конверсия близка к синонимии, однако здесь имеется разная расстановка акцентов, чего в случае синонимии нет, не случайно, что пары типа *покупать* — *продавать* не принято считать синонимами.

Во многих языках имеется стандартное средство выражения конверсии — страдательный залог, которое в таком языке, как японский, можно назвать грамматическим. В отличие от синонимов, конверсивы никогда не могут заменяться друг на друга, так как они связаны с разной синтаксической структурой предложения.

Как и в случае синонимии и антонимии, можно говорить о квазиконверсивах (*входить* — *состоять из*: последнее предполагает перечисление всех составных частей, тогда как для *входить* это не обязательно), о стилистических и стилевых конверсивах.

§ 8. Лексическая омонимия

В предыдущих двух параграфах мы говорили о таких отношениях между единицами лексики, когда при различном звучании значение либо совпадает (синонимы, конверсивы), либо частично совпадает (антонимы, квазисинонимы и квазиконверсивы). В языке существует и обратное явление, именуемое омонимией.

Омонимию, как и синонимию, можно понимать широко, выделяя омонимию грамматических показателей, предложений и т. д. Интересно, что синонимия и омонимия на разных уровнях языка проявляются по-разному: синонимичных слов больше, чем синонимичных морфем, а синонимичных предложений еще больше (одно и то же можно выразить по-разному, даже если слова в отдельности — не синонимы), тогда как омонимия менее протяженных единиц часто снимается на более

высоком уровне: так, омонимичные лексемы могут входить в состав предложений, понимаемых однозначно, поэтому омонимичных предложений сравнительно немного. Мы в нашем курсе будем говорить лишь об омонимии на уровне лексем.

Об омонимичных лексемах говорят тогда, когда две лексемы с разным значением имеют одинаковое формальное выражение. Но для выделения омонимов нужно уметь различать два явления: омонимию и полисемию (многозначность). Эта проблема очень сложна и до сих пор окончательно не решена в науке. Ясно, что иногда одинаковые по звучанию лексемы имеют значения, тесно связанные друг с другом (полисемия), а иногда — не связанные между собой (омонимия). Например, во фразах *Этот ребенок уже хорошо читает* и *Он читает книгу* значения *читать* различны, тем не менее они тесно связаны друг с другом и нет оснований говорить об омонимии. Ср. также яп. *hanashi* со значениями 'разговор', 'рассказ', 'слухи', 'переговоры'. В то же время рус. *ключ* (от замка) или *ключ* (источник), яп. *kashi* 'сласти' или *kashi* 'сдача внаем' — явные омонимы. Однако имеется много неясных случаев. Например, считать ли омонимами рус. *час* — *часы* или яп. *toru* 'брат', *toru* 'снимать' (шляпу) и *toru* 'фотографировать'?

Ответ на этот вопрос, видимо, может быть получен путем разложения значения каждой из лексем на семы. Если при этом у лексем не окажется общих компонентов значения, кроме самых общих типа «действие», «предмет», то можно говорить, что это омонимы, в противном случае мы имеем полисемию. С этой точки зрения, видимо, *час* и *часы* относятся к полисемии (общий компонент «время»), так же как и *toru* 'брат' и *toru* 'снимать' (шляпу) — когда мы снимаем шляпу, мы ее берем, но берем особым образом, тогда как *toru* 'брат' и *toru* 'фотографировать' — омонимы: общность их значения лишь в том, что это действия, имеющие субъект. Однако поскольку методика разложения на семы значений лексем до конца не разработана даже для русского языка, не говоря уже о японском, практически мы не всегда четко можем на современном этапе развития языкознания отграничить полисемию от омонимии.

В отношении сказанного выше следует сделать одну оговорку, связанную со спецификой японского языка. Если мы возьмем *uchuu-sen* 'космический корабль' и *uchuu-sen* 'космические лучи', то, безусловно, в их значении имеется общий содержательный компонент, но вряд ли можно здесь говорить о полисемии, явно рациональнее считать их омонимами, ср. также *gak-kai* 'научное общество' и *gak-kai* 'научные круги' (для русского языка такие случаи нехарактерны, это во многом связано с тем, что японским сложным канго в русском часто соответствуют словосочетания). В данных примерах мы имеем омонимию на уровне морфем (*sen* 'корабль' и 'лучи', *kai* 'общество' и 'круги'), причем омонимичны семантически главные элементы, поэтому, даже если мы к данным значениям добавляем уточняющие компоненты, одинаковые для обоих членов пары, мы не имеем полисемии.

Далее в настоящем параграфе мы будем говорить об омонимах, предполагая, что мы уже знаем, что в том или ином случае это действительно омонимы. Полисемии будет посвящен следующий параграф.

Омонимия в языкознании может рассматриваться как для лексем, так и для словоформ. Именно при рассмотрении омонимии в последнем смысле выделяются т. н. омоформы типа рус. *стекло* (существительное) — *стекло* (от *стечь*) или яп. *subete* ‘всё’ — *subete* ‘скользя’. Мы будем рассматривать только омонимию для лексем, обязательным условием которой является совпадение в звучании основ.

В отношении омонимов обычно не считается необходимым рассматривать лексемы только одной части речи (в отличие от случаев синонимии, антонимии и полисемии), поскольку омонимия — явление по существу случайное и совпасть в звучании могут в принципе какие угодно лексемы. По этой же причине неинтересны семантические классификации омонимов: хотя они и возможны, но вряд ли они позволят вскрыть какие-либо закономерности. Омонимы классифицируются на других основаниях, нежели синонимы или антонимы.

Омонимы могут классифицироваться с точки зрения их происхождения, с точки зрения их вхождения в подсистемы и т. д., а также с точки зрения того, относятся ли они к устному или письменному варианту языка. До этого параграфа мы отвлекались от последнего различия, так как с точки зрения языковых значений оно несущественно. Однако с точки зрения формального выражения оно важно, потому что между единицами устного и письменного вариантов языка нет взаимно однозначного соответствия. Особенно это несоответствие заметно для такого языка, как японский, с его частично иероглифической, частично фонетической системой письма, но оно существует и для русского и других языков. В связи с этим выделяется три класса омонимов: омофоны, совпадающие по формальному выражению только в устной речи, но пишущиеся по-разному; омографы, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся; и собственно омонимы, имеющие одинаковое выражение в устной речи и на письме.

Японский язык имеет в плане омонимии ряд существенных и интересных особенностей, отличающих его от русского и других языков. Эти особенности определяются прежде всего двумя факторами: наличием большого количества канго и иероглифическим характером письменности. Если мы возьмем морфемы китайского происхождения, заимствованные вместе с иероглифами, то увидим, что они обладают специфической структурой: они либо односложны, либо двусложны (причем на структуру двусложных налагаются большие ограничения), эти слоги, как и вообще слоги японского языка, могут состоять либо из согласного и гласного, либо из одного гласного, либо из согласного и гласного (или только из гласного) плюс *n*. Многие различия в звучании, имевшиеся в китайском языке, при переходе в японский язык исчезли. В то же время количество таких морфем очень велико, и их значения многообразны. Такие условия не могли не привести к большой омонимии этих морфем. При соединении морфем в лексемы эта омонимия во многом снимается, но далеко не полностью. В качестве примера можно привести тот факт, что звучание *коо* имеет более 400 китайских морфем, *шоо* — более 300. Даже морфем, записывающихся иероглифами современного минимума, звучащих как *коо* — 60, а звучащих как *шоо* — 51.

Иероглифический характер письменности только способствует сохранению омонимов, поскольку на письме они обычно различаются. В связи с этим в японском языке (в отличие от русского) большинство омонимов относится к омофонам, даже если омонимы записываются одними иероглифами, они могут быть различены на письме, если один из них пишется иероглифами, а другой каной. Собственно омонимов и омографов в японском языке очень немного. Как правило, это заимствования из европейских языков, которые не имеют иероглифической записи типа упоминавшихся выше *riyo* 'программа', 'пролетариат' и 'спортсмен-профессионал'. Отметим особый случай, не распространенный в русском языке (исключая редкие случаи типа *иод* — *йод*), — т. н. омофоны-синонимы. Здесь при одном значении или очень близких значениях и одинаковом произношении написание может быть различно. Например, лексема *yoi* 'хороший' записывается тремя иероглифами, лексема *kawa* 'река' — двумя. В более широком рассмотрении огромное количество японских лексем относится сюда же, так как они могут быть записаны как иероглифами, так и каной.

Следует указать еще на одну особенность японского языка, способствующую большому развитию в нем омонимии. Японское ударение в меньшей степени, чем, например, русское, помогает в различении омонимов. Для языков с сильным ударением пары, различающиеся только ударением, типа *му́ка* — *мука́* не считаются омонимами, японские же пары типа *hana* 'цветок' — *hana* 'конец', *yakusha* 'переводчик' — *yakusha* 'актер', *kaeru* 'менять' — *kaeru* 'возвращаться' считают омонимами, хотя они и различаются ударением. По-видимому, эти различия в ударении часто не дают возможности различить омонимы на слух. Но, конечно, строго говоря, это не омонимы, а лишь лексемы, близкие по звучанию, по аналогии с квазисинонимами и квазиантонимами мы их можем назвать квазиомонимами.

Среди большого количества омонимов японского языка преобладают по причинам, указанным выше, омонимы-канго, большинство приводимых нами примеров связано с ними. Однако бывают омонимы и других типов: внутри ваго — *hanasi* 'отделять', 'отпускать', 'говорить', *hiku* 'тянуть', 'пилить', 'молоть', 'играть на музыкальном инструменте', 'отступать', *kawa* 'река', 'кожа', *atsui* 'горячий', 'толстый'; ваго-канго — *ichi* 'позиция', 'один' (канго), *ichi* 'рынок' (ваго), *kami* 'добавление' (канго), 'верх', 'божество' (ваго); внутри гайрайго — *naito* 'ночь', 'рыцарь', *rokku* 'скала', 'замок' (отметим, что в первом случае заимствованы два омонима английского языка, причем английские омофоны становятся собственно омонимами, во втором случае омонимами становятся лексемы, не являющиеся омонимами в английском: *rock* и *lock*); канго-гайрайго — *sooseji* 'недоношенный ребенок' (канго), 'колбаса' (гайрайго), *hokku* 'жанр японской поэзии' (канго), 'крюк' (гайрайго); ваго-гайрайго — *ana* 'отверстие' (ваго), 'диктор' (гайрайго); ваго-канго-гайрайго — *tai* 'морской окунь' (ваго), 'тело' (канго), 'галстук', 'ничья' (гайрайго).

Омонимы японского языка можно классифицировать и с точки зрения принадлежности к подсистемам. Большинство омонимов принадлежит к книжной подсистеме. Именно то, что эти лексемы сравнительно редко употребляются в устной речи,

поддерживает их существование в языке. Часто в устной речи (во время лекций, по радио и т. д.) они заменяются синонимами или эквивалентными словосочетаниями. Но существуют и омонимы, распространенные в устной речи, типа *kawa* ‘река’ и *kawa* ‘кожа’, однако обычно они употребляются в таких контекстах, где вряд ли можно спутать эти лексемы. Наконец, омонимами могут быть книжная и некнижная лексема, например *sooseji* (из двух упоминавшихся выше лексем первая книжна, вторая — нет), эти омонимы также четко различаются контекстом.

Омонимы возникают в языке различными путями. Наряду с омонимией исконных и заимствованных лексем, а также с омонимией заимствований, пришедших из разных источников (примеры для японского языка мы приводили выше), может быть и омонимия, возникшая в самом языке. Появляется она двумя путями: во-первых, полисемичные единицы могут разойтись по значению настолько сильно, что их следует считать омонимами, ср. *toru* ‘брат’ и *toru* ‘фотографировать’, *on* ‘звук’ и *on* ‘онное чтение иероглифа’, *kaku* ‘писать’ и *kaku* ‘сгребать’, ‘скрестить’ (во многих языках исторически связаны значения ‘писать’ и ‘скрестить’); во-вторых, могут совпасть в звучании лексемы, раньше произносившиеся по-разному, например *kashi* ‘сдача внаем’ и раньше произносилось так же, а *kashi* ‘сладости’ произносилось *kwashi*. Такие омонимы по орфографии, действовавшей до 1946 г., часто по-разному писались каной. Таким образом, в системе языка (если оставить в стороне заимствования) омонимия может возникнуть либо в связи с изменением значения одинаково звучащих лексем, либо в связи с изменением звучания различных по значению лексем.

Наряду с этими способами образования омонимов, встречающимися, видимо, в любом языке, имеется способ, особо характерный для японского языка, — сложносокращения (он, вообще говоря, есть и в русском языке, ср. омонимы-аббревиатуры типа НСО: «научное студенческое общество» и «нормативная стоимость обработки»). Такие омонимы часты как среди канго: *san'in* ‘родильный дом’ и *san'in* ‘верхняя палата японского парламента’ (последнее — сокращение от *sangiin*), *tokkyuu* ‘экспресс’ (сокращение от *tokkyuu-ressha*) и *tokkyuu* ‘жалованье по особому разряду’ (сокращение от *tokkyuukyuu*), так и среди гайрайго, ср. уже упоминавшиеся омонимы *puro*.

В заключение параграфа остановимся на особенностях функционирования омонимов в современном японском языке. Уже говорилось, что наряду с омонимами, не вызывающими трудностей в общении, в нем имеется большое количество омонимов, в устном общении плохо воспринимаемых (отметим, что омонимия не вызывает трудностей для говорящего, для которого ее по сути не существует, но для слушающего, которому нужно по звучанию восстановить значение, она может создать большие помехи). Особенно трудно различимы омонимы, способные выступать в тех же самых или сходных контекстах, типа *gakkai* ‘научное общество’ и *gakkai* ‘научные круги’, *kyoodoo* ‘объединение, союз’ и *kyoodoo* ‘сотрудничество’, *kagaku* ‘наука’ и *kagaku* ‘химия’ и т. д. Однако иногда могут вызывать трудность и омонимы, как будто различные по значению, например во фразе *Gen'in wa shingo futatsu no tame de*

atta имеется *futatsu*, что может значить ‘неполадки’ и ‘2’, поэтому фраза может быть понята двояко: *Главная причина (аварии) в неполадках со светофорами* и *Главная причина (аварии) в том, что (было) два светофора*.

Такая распространенность омонимии неоднократно приводила и приводит к ошибкам, иногда серьезным, на практике. Особенно серьезным положение стало в наше время, когда широкое распространение получили радиовещание, телевидение, телефонная связь и т. д. Сейчас проводится определенная языковая политика по устранению из языка (по крайней мере, из его устного варианта) непонятных на слух канго; на радио и телевидении строго соблюдаются определенные правила. Непонятные на слух канго заменяются на ваго с тем же значением (*ketsugoo* ‘объединение’ на *musubiai*, *fubo* ‘отец и мать’ на *chichihaha*), на гайрайго с тем же значением (*sokudo* ‘скорость’ на *supiido*, *shuikyuu* ‘футбол’ на *futtoboru*), на эквивалентные словосочетания (*danjo* ‘мужчины и женщины’ на *dansei to josei*, *kaisoo-suru* ‘посылать морем’ на *fune de okuru*), на более понятные канго (*unsoo* ‘перевозка’ на *umpan*), иногда на смешанные образования (*sooryoo* ‘плата за пересылку’ на *okuriryoo*). В письменных текстах эти, не рекомендуемые, лексемы, как правило, продолжают употребляться.

§ 9. Полисемия

Переходим к явлению, во многом близкому омонимии, но несколько отличному от нее, — к полисемии (многозначности). Об отличии полисемии от омонимии мы говорили в предыдущем параграфе. Здесь мы будем исследовать те лексемы, про которые заранее предполагается, что они находятся между собой в отношении полисемии, а не омонимии, хотя при более детальном рассмотрении некоторые из них могут оказаться и омонимами.

Для лексикологии полисемия более интересна, чем омонимия, поскольку здесь в отличие от омонимии могут быть найдены определенные закономерности в плане соотношения значений. В то же время вопрос о полисемии в японском языке разработан хуже, чем вопрос об омонимии, поэтому многие проблемы мы можем рассматривать лишь в самом общем виде.

С одной стороны, полисемия граничит с омонимией, с другой — полисемию следует отличать от случая, когда мы имеем одну и ту же лексему. Нельзя всегда считать, что если обозначаются несколько разные вещи, то мы имеем разные лексемы. Например, когда мы говорим *есть яблоки* и *есть яйца всмятку*, мы фактически говорим о разных действиях (когда мы едим яблоки, мы их откусываем и пережевываем, с яйцами всмятку мы так не поступаем), однако вряд ли можно говорить, что глагол *есть* здесь имеет разные значения, скорее здесь мы имеем единое значение, в котором отдельные способы еды не детализируются (всё сказанное о *есть* относится и к яп. *taberu*). Также, видимо, не следует считать, что у яп. *arau* есть два значения ‘мыть’ и ‘стирать’, такая точка зрения может появиться

только в случае, когда исходят не из значения, а из русского перевода. Скорее можно считать, что здесь имеется общее значение мытья какого-то предмета безотносительно к тому, погружается ли он в жидкость или нет.

Для того чтобы выяснить, имеем ли мы дело с одной или несколькими лексемами, можно посмотреть, могут ли два значения совмещаться в одном предложении. Например, вполне можно сказать *На завтрак он съел яйца всмятку и яблоки*, то же с яп. *taberu*, но известные шутки типа *Шел дождь и два студента* основаны на том, что нормально так сказать мы не можем. Мы будем считать, что если два значения совместимы в одном предложении, то здесь имеется одна лексема с одним значением, которое может дифференцироваться в контексте; если же имеется несовместимость значений, здесь две разные лексемы, которые в случае полисемии могут быть объединены в одну вокабулу, чего нельзя сделать в случае омонимии (ср. разную подачу полисемии и омонимии в словарях: омонимы даются в разных словарных статьях, полисемичные лексемы — в одной статье под разными номерами).

При полисемии во многих случаях можно выделить некоторое общее значение полисемичных лексем, т. е. те компоненты значения, которые присутствуют во всех лексемах одной вокабулы. Например, для рус. *идти* в самых разных значениях можно выделить компонент значения, связанный с движением. Однако общего компонента значения во всех лексемах одной вокабулы может и не быть, например в рус. *левая рука* и *левая партия* или соответствующих яп. *hidari no te* и *hidari no seitoo* нет общих компонентов значения для *левый* или *hidari*. Если бы в языке не было бы других значений для *левый* или *hidari*, была бы омонимия. Однако имеются и другие значения, которые можно расположить так, что у каждых двух соседних будут общие компоненты (ср. *левая рука* — *левая скамья в парламенте* — *левая парламентская фракция* — *левая партия*, то же для *hidari*). Поэтому здесь имеется единая вокабула, а не группа омонимов.

Теперь необходимо рассмотреть вопрос о соотношении между разными лексемами одной вокабулы (в более обычных терминах — разными значениями одного слова). Довольно часто (но не всегда) среди значений, входящих в одну вокабулу, можно выделить основное, которое также называют прямым в отличие от переносных. Например, можно сказать, что для яп. *kuchi* прямым значением будет 'рот', а значения 'отверстие', 'вход', 'пробка' и т. д. переносны. Прямое, основное для современного языка значение надо отграничивать от исторически первичного, например для рус. *поезд* значение 'железнодорожный состав' исторически не первичное (ср. выражения типа *свадебный поезд*, существовавшие до появления железных дорог), но для современного языка именно оно основное, то же самое в яп. *kuro*, где исторически первична именная основа, а основа прилагательного производна, в современном же языке соотношение обратно. Основное значение — прежде всего наиболее широко используемое и наименее зависимое от контекста, переносные значения чаще всего имеют более ограниченную сочетаемость с другими значениями лексем. Например, рус. *идти* сочетается с большим количеством

лексем в прямом значении, но весьма ограниченно сочетается с другими лексемами, представленными в случаях типа *дождь идет* или *время идет*; яп. *hiki* в значении 'тянуть' имеет очень большую сочетаемость, а в значении 'привлекать' сочетается только с лексемами типа *chuu* 'внимание', в значении 'отводить' — лишь с *te* 'рука' и *ashi* 'нога'. Крайний случай таких ограничений в сочетаемости составляют фразеологизмы (см. § 11).

Часто переносные значения связаны с системами профессиональной лексики, имеющими ограниченную сферу употребления, чего не имеют лексемы с прямым значением, ср. рус. *сапог* или яп. *takura* 'подушка' и 'станина'.

Как переносные значения могут соотноситься с прямыми? Можно выделить несколько способов соотношения. Мы будем говорить только о соотношениях в системе языка в какой-то данный период (например, в современном японском или современном русском языке), отвлекаясь от исторического соотношения, которое может быть аналогичным, но может быть и другим (примеры см. выше). При переходе от прямого значения к переносному может происходить расширение значения (яп. *ojisan* — прямое 'брат отца или матери', переносное 'любой мужчина определенного возраста', ср. рус. *дядя*; *wabin* — прямое 'японский текст', переносное 'литература на японском языке'), сужение значения (яп. *tori* — прямое 'птица', переносное 'курица', *hito* — прямое 'человек', переносное 'человек, отвечающий некоторым требованиям').

Другие два важных типа перехода от прямого значения к переносному — метафора и метонимия. Метафора — ассоциативный перенос значения, когда у двух разных предметов, действий и т. д. подмечаются какие-то общие признаки, на основе которых они могут одинаково по звучанию обозначаться. Приведем примеры для японского языка: *boozu* — прямое 'буддийский монах', переносное — 'ребенок с бритой головой'; *kasa* — прямое 'зонт', переносные — 'конусообразная шляпа', 'абажур'; *boshi* — прямое 'мать с ребенком', переносное 'капитал и проценты'.

Метонимия — перенос значения по смежности, когда одинаково по звучанию обозначаются два предмета, действия и т. д., постоянно связанных друг с другом. Примеры для японского языка: *take* — прямое 'бамбук', переносное 'бамбуковая дудочка', *akafuda* — прямое 'красный ярлык', переносное 'товар по сниженной цене', *gindokei* — прямое 'серебряные часы', переносное 'человек, с отличием окончивший Токийский университет' (поскольку такие выпускники награждались серебряными часами).

Исторически при появлении новой лексемы (нового значения слова) она образуется тем же способом: с помощью расширения или сужения значения, метафоры или метонимии. Как мы уже говорили, исторически соотношение может быть не таким, как в современном языке. Так, в современном японском при переходе от *sakana* в прямом значении 'рыба' (вообще) к переносному 'рыба как закуска' происходит сужение значения, исторически было наоборот (значение 'рыба как закуска' первично).

Рассмотрим теперь более конкретные соотношения между значениями лексем, входящих в вокабулу. Такие соотношения могут быть регулярными, повторяющимися во многих вокабулах. Дальше мы будем говорить только о таких соотношениях в японском языке.

Часто соотносятся имя действия и имя деятеля: *tachiuri* ‘продажа вразнос’, ‘разносчик’, *garasukiri* ‘резка стекла’, ‘стекольщик’, несколько более сложное соотношение в *kyooju* ‘преподавание’, ‘профессор’ (лицо, которое преподает, но не всякое). Другое регулярное соотношение — «название действия — орудие действия»: *garasukiri* также значит ‘алмаз’, также *hasami* ‘резание ножницами’, ‘ножницы’, *tom-botsuri* ‘ловля стрекоз’, ‘ловушка для стрекоз’. Третье регулярное соотношение — «название действия — результат действия»: *koosei* ‘составление, формирование’, ‘результат, структура’, *kyotei* ‘соглашение’ (как действие, процесс), ‘соглашение, пакт’ (ср. рус. *соглашение*), *koosetsu* ‘снегопад’, ‘выпавший снег’, *hibiki* ‘звучание’, ‘отзвук, эхо’.

Соотносятся могут не только название действия и имя деятеля, но и название признака и имя его носителя: *binsai* ‘сообразительность’, ‘сообразительный человек’. Среди других регулярных соотношений значения можно назвать следующие: название организации — название члена организации: *keisatsukan* ‘полиция’, ‘полицейский’, *koozoku* ‘императорская семья’, ‘член императорской семьи’ (такое соотношение имеют часто канго с морфемой *-kan*, имеющей значения ‘государственная служба’ и ‘государственный служащий’); растение — плод (в широком смысле): *wata* ‘хлопчатник’, ‘хлопок’, *nashi* ‘груша’ (растение), ‘груша’ (плод); животное — человек, похожий на это животное (последние лексемы обычно имеют в значении модальный компонент неодобрительного отношения говорящего): *tanuki* ‘енотовидная собака’, ‘хитрый человек’, *tako* ‘осьминог’, ‘человек, регулярно выступающий в роли донора’.

Все приведенные выше регулярные соотношения характерны не только для японского языка, но и для других, в том числе для русского. Возможны даже прямые параллели, возникшие, по-видимому, независимо друг от друга (ср. упомянутые выше *соглашение* и *kyotei*, *груша* и *nashi*). Однако набор таких соотношений, вообще говоря, специфичен для каждого языка. Например, в японском языке часто в одну вокабулу входят лексемы со значением места действия и имени деятеля: *booshiya* ‘шляпная мастерская’, ‘шляпник’, *kusuriya* ‘аптека’, ‘аптекарь’ и другие вокабулы с суффиксом *-ya*, совмещающим эти значения, *garasusho* ‘стекольный магазин’, ‘торговец стеклом’, *kauntaa* ‘касса’, ‘кассир’. С другой стороны, некоторые регулярные отношения для русского языка нехарактерны для японского. Например, соотношение по значению, аналогичное значению непобудительных и побудительных форм глагола, распространенное в русском языке (*лекарство капает — капать лекарство; вода брызжет — брызгать воду*), редко в японском, поскольку здесь имеется регулярное средство — побудительный залог.

До сих пор, говоря о полисемии, мы исходили из того, что разные лексемы одной вокабулы относятся к одной части речи; обычно полисемия именно так

и рассматривается. Но существует явление, находящееся на грани между полисемией и словообразованием: словообразовательная конверсия (не путать с лексической конверсией, о которой мы говорили в § 7, это совершенно различные явления). Отношением конверсии связаны лексемы, которые имеют одинаковую по форме основу, имеют фактически одно значение, но относятся к разным частям речи. Ср. рус. *ударить* и *удар* или яп. *kuroi* ‘черный’ и *kuro* ‘нечто черное’ (но не *kuro* ‘черные в шахматах’). Это явление очень широко распространено в таком языке, как английский, где существует очень много пар типа *to love* — ‘любить’ и *love* — ‘любовь’, *pen* — ‘ручка’ и *to pen* — ‘что-либо делать ручкой’. В японском языке наиболее частый случай конверсии — наличие лексем именного характера (в основном канго) и глаголов с *-suri* типа *shuppatsu* ‘отправление’, *shuppatsu-suri* ‘отправляться’, также имеются пары канго — имен и именных прилагательных. В целом конверсия широко распространена в канго и довольно редко встречается среди ваго.

В сущности, конверсия сводится к тому, что одинаковые по форме и значению основы по-разному сочетаются с реляционными элементами (аффиксами и служебными словами) и образуют разные по свойствам синтаксемы. При этом могут лексемы совпадать словоформами (ср. английские примеры), но этого может и не быть (ср. *удар* — *ударять* или *kuroi* — *kuro*).

Лексемы, находящиеся в отношении конверсии, можно рассматривать по-разному. Конверсию можно рассматривать как особый случай полисемии, если считать, что в вокабулу могут входить не только лексемы, отличающиеся по значению, но и лексемы, отличающиеся не значением, а сочетаемостью с реляционными показателями, а также с другими лексемами. Отметим, что разные отношения с реляционными элементами иногда могут быть и в случае явной полисемии. Для японского языка это нехарактерно, но для русского можно привести примеры типа *учителя* (как педагоги) и *учители* (как люди, оказавшие какое-то влияние) или *тормоза на автомобиле*, но *тормозы развития*, кроме того, бывает, что среди лексем одной вокабулы есть как сочетающиеся, так и не сочетающиеся с показателями множественного числа (*произведение*, *кирпич* и др.). Конечно, здесь нет конверсии, так как это единицы одной части речи.

Однако существует и другая точка зрения, по которой здесь нельзя говорить о полисемии, а конверсия относится к словообразованию. Чтобы понять, как это может быть, надо изучить вопросы словообразования.

§ 10. Словообразование

Термин «словообразование», как и многие другие лингвистические термины, употребляется в различных значениях, по крайней мере в шести, которые можно сгруппировать в три пары; члены каждой пары связаны отношением: «языковое явление — раздел языкознания, изучающий это явление». Первая пара терминов

обозначает образование новых слов в языке и изучение их образования. Но образование новых слов может осуществляться разными способами. Об одном из них мы говорили в предыдущем параграфе — это появление нового слова с помощью полисемии, когда для выражения нового значения, как-то связанного со значением, уже существующим в языке, используется лексема, выражающая последнее значение (в обычных терминах, у слова появляется новое значение). Второй способ — заимствование лексемы из другого языка, о нем мы будем еще говорить. Третий способ — создание новой лексемы с помощью словообразования в другом смысле, о котором мы будем в основном говорить в этом параграфе. Четвертый способ — создание новой лексемы без связи с уже существующими в данном или другом языке — встречается крайне редко (как примеры «изобретения» слов приводят случаи типа *ллипут*, однако и здесь была «изобретена» лексема лишь в значении ‘житель фантастической страны’, лексема в значении ‘маленький человек’ появилась обычным путем — с помощью полисемии).

Другое понимание термина «словообразование» заключается в том, что так называют формальные и семантические правила сочетания корневых и деривационных элементов в составе лексемы и, соответственно, изучение этих правил. То есть словообразование изучает, из каких частей состоит лексема и как эти части соотносятся по форме и по значению. В дальнейшем мы будем говорить о словообразовании только в этих двух смыслах, в других случаях мы будем говорить не о словообразовании, а об образовании новых лексем и изучении этого образования.

Во многих языках, в том числе и в японском, имеется два основных способа словообразования: словосложение, или композиция, когда лексема состоит из нескольких корней; и деривация, когда лексема состоит из корня и деривационных элементов; словосложение, и деривация могут комбинироваться друг с другом, ср. яп. *roodoosha* ‘рабочий’, где есть два корневых элемента *roo* и *doo* и деривационный элемент *sha*. Третья пара терминов «словообразование» связана с тем, что словообразованием иногда называют только деривацию и, соответственно, изучение деривации; мы будем пользоваться термином «деривация», а о словообразовании говорить в более широком смысле, включая в его состав и словосложение, и другие типы, о которых речь пойдет в следующем абзаце.

К сравнительно более редким типам словообразования относятся: 1) чередования в корне, когда лексема не членится на значимые части, но изменение некоторых ее звуков создает изменения в значении, ср. рус. *бежать* — *бег* или *ходить* — *хаживать*, в японском случаи чередований очень редки, причем чередования всегда сочетаются с другими типами словообразования, ср. *sake* — *sakazuki* ‘чашечка для sake’; 2) изменения ударения, когда две лексемы имеют одинаковый морфемный состав, но различаются ударением, ср. англ. *present* ‘подарок’ — *to present* ‘дарить’; в японском языке примеры нам неизвестны; 3) аббревиации, когда лексема не может быть разделена на значимые морфемы, однако она делится на части, которые соотносятся со значимыми единицами языка и представляют собой их сокращения, ср. рус. ГУМ (Государственный универсальный магазин) или яп. *en-eichi-kei*

‘Японская радиовещательная компания’ (от *nihon-hoosoo-kyookai*); 4) сложносокращения, когда лексема состоит из частей, являющихся морфемами, но в отличие от словосложения эти морфемы непосредственно не связаны между собой по значению, а соотносимы с некоторыми лексемами, сокращением которых они являются (по существу этот случай близок к аббревиации), сложносокращения специфичны для японского языка (тогда как аббревиации в чистом виде появляются в нем под влиянием английского), их примеры мы приводили выше, в § 8; 5) конверсия, о которой мы говорили в конце предыдущего параграфа; можно считать, что, например, *курс* как именная лексема равна лексеме прилагательного плюс изменение ее сочетаемости, при таком понимании конверсия может рассматриваться как тип словообразования, хотя ее можно рассматривать и как вид полисемии (см. выше).

Все эти типы словообразования имеют в языках, как правило, более частный характер по сравнению со словосложением и деривацией, в японском языке из них широко распространено лишь сложносокращение. В дальнейшей части параграфа мы будем исследовать лишь словосложение и деривацию.

Можно выделить более частные типы словосложения и деривации как по формальным, так и семантическим признакам. Среди формальных типов деривации можно выделить в первую очередь суффиксацию, когда деривационный элемент стоит после корня; префиксацию, когда он стоит перед корнем (примеры префиксов и суффиксов очевидны); инфиксацию, когда деривационный элемент вставляется внутрь корня; конфиксацию, когда корневая и деривационная части образуют как бы гребенку, т. е. за частью корня идет часть деривационного элемента, далее часть корня, опять часть деривационного элемента и т. д. (конфиксация свойственна языкам типа арабского, где корень состоит из согласных, а гласные относятся к деривационным и реляционным элементам); трансфиксацию, когда корень вставляется внутрь деривационного элемента (ср. рус. *побережье, поречье*). В японском языке нет инфиксации и конфиксации, трансфиксация свойственна грамматике, ср. *юти* ‘читаю, читаешь...’ и *о-юти ни нари* с тем же значением плюс значение вежливости к лицу, осуществляющему действие (корень *-ют-* вставляется внутрь аффикса вежливости *о-...-inar-*), но мы не имеем достоверных примеров для словообразования. Таким образом, в этом языке распространены лишь суффиксация и префиксация, первая значительно чаще.

Как в случае деривации, так и в случае словосложения могут быть выделены два класса сложных лексем: лексем, значимые части которых соединены непосредственно (рус. *стон-кран*, яп. *roodoosha*), и лексем, части которых соединены с помощью соединительных элементов (рус. *пароход*, яп. *kaerimiru* ‘оглядываться’, подчеркнуты соединительные элементы). Использование соединительных элементов очень характерно для русского и других европейских языков, распространено оно и в японском языке, но только для ваго, а канго соединительных элементов лишены.

Для дальнейшего рассмотрения нам надо ввести понятие производности лексем. Сложные по своему строению лексем могут вступать с другими лексемами

языка, как сложными, так и простыми, в отношении производности. В самом общем виде отношение производности можно охарактеризовать как отношение большей и меньшей сложности: производная единица равна единице, связанной с ней (производящей), плюс нечто. Однако большая или меньшая сложность может быть по форме и по значению. Формальная производность заключается в том, что производная единица равна производящей плюс какой-то элемент (корень, аффикс или их последовательности). Производность по значению бывает тогда, когда значение производящей лексемы составляет часть значения производной лексемы. Формальная и семантическая производности могут совпадать друг с другом, например яп. *shidoosha* ‘руководитель’ явно производно от *shidoo* ‘руководство’ и формально (добавлен суффикс *sha*), и семантически (руководитель — лицо, которое руководит). Однако производности могут и не совпадать, например рус. *двигаться* формально производно от *двигать*, соотношение по значению здесь обратно (А двигает Б = А делает так, чтобы Б двигалось), ср. японские *ugoku* ‘двигаться’ и *ugokasu* ‘двигать’, где формальная и семантическая производности совпадают. Поэтому мы будем строго различать эти два вида производности.

Две лексемы могут и не находиться между собой непосредственно в отношении производности, но иметь в то же время косвенную связь в этом плане, например восходить к одной производящей единице. Поскольку части многих лексем (по форме или по значению) могут не употребляться как самостоятельные лексемы, но в то же время выделяться из сопоставления с другими лексемами, то мы обобщим понятие производности и будем говорить, что лексема может быть производной (по форме или по значению) не только по отношению к другой лексеме, но и по отношению к некоторым другим единицам, например *sekigaisen* ‘инфракрасные лучи’ может рассматриваться как производное по форме и по значению от *sekigai* ‘инфракрасный’, хотя последнее не является лексемой.

Непосредственно сложная лексема членится не на морфемы, а на те части, непосредственно производной от которых по форме является данная лексема. Например, *doobutsugakusha* ‘зоолог’ делится не на *doo* ‘двигаться’, *butsu* ‘предмет’, *gaku* ‘наука’, *sha* ‘лицо’, а на *doobutsugaku* ‘зоология’ и *sha* ‘лицо’, *doobutsugaku*, в свою очередь, членится на *doobutsu* ‘животное’ и *gaku* ‘наука’ и лишь целое *doobutsu* делится на *doo* и *butsu* (формальная и семантическая производности здесь совпадают).

Отношение между формальной и смысловой структурой сложной лексемы бывает различным. Во многих случаях между формальным и семантическим строением лексемы имеется прямое соответствие (например, в упоминавшихся выше *shidoosha*, *doobutsugakusha*), но это не всегда так (ср. *двигаться*). В случае если такое совпадение имеется, может быть так, что значение лексемы составляется из значения ее частей (например, значение *kaioiro* ‘цвет лица’ складывается из значения *kao* ‘лицо’ и *iro* ‘цвет’), но такие случаи сравнительно редки. Еще в самом начале курса говорилось о том, что значение лексемы чаще всего обладает идиоматичностью и не равняется сумме значений компонентов. Даже если значения компонентов четко выделяются

в значении лексемы, в значении лексемы могут быть компоненты, отсутствующие в значении ее частей, в то же время некоторые компоненты значения частей могут отсутствовать. Приведем примеры. Значение *doobutsu* 'животное' не равно сумме значений *doo* 'двигаться' и *butsu* 'предмет', такой компонент значения *doobutsu*, как 'живой', вовсе отсутствует в значении его частей. Значение *doobutsugaku* 'зоология' также не равно сумме значений *doobutsu* и *gaku* 'наука': не всякая наука о животных именуется *doobutsugaku* (ср. *juuigaku* 'ветеринария'). Даже значение *doobutsugakusha* 'зоолог' не равно значению *doobutsugaku* плюс значение суффикса лица *sha*: не всякий человек, связанный с зоологией, будет *doobutsugakusha* (например, им не будет сторож зоологического музея или читатель книги по зоологии).

Степень идиоматичности бывает различна, например для *doobutsu* она явно будет выше, чем для *doobutsugakusha*. Крайний случай идиоматичности бывает тогда, когда в значении лексемы вовсе не вычлениются значения ее составных частей. Например, в японском *omoshiroi* 'интересный' формально выделяются части *oto* и *shiroi*, сопоставимые с лексемами *oto* 'лицевая сторона' и *shiroi* 'белый', однако по значению эти единицы для современного языка несопоставимы, поэтому основа лексемы *omoshiro-i* нечленима на морфемы (хотя исторически *omoshiroi* действительно восходит к *oto* + *shiroi*). Такие случаи широко распространены и в русском языке (*довольный*, *окладистый*, *пир* и т. д.). Бывают и случаи, когда по значению выделяется только одна из составных частей, ср. *untēn* 'вождение, управление' (транспортом), где *ten* 'катиться' может быть выделимо, чего нельзя сказать об *un* (исторически связанном с *un* 'судьба'). В этом случае мы должны считать, что лексема делится на части, хотя одной из них трудно приписать какое-либо значение. Ср. также рус. *буженина*, где выделим суффикс *-ин* со значением 'сорт мяса' (ср. *свинина*), тем самым мы можем выделить и корень.

Остановимся более подробно на деривации. Одно из основных свойств деривационных аффиксов — регулярность. Следует различать формальную и смысловую регулярность. Смысловая регулярность заключается в том, что аффикс добавляет к значению разных единиц, с которыми он сочетается, одинаковое значение. Например, японский суффикс *-koō* регулярен по значению: он образует названия лиц по их профессиям, то же относится к суффиксу *-shugi*, образующему названия идеологических учений, суффикс *-sha* менее регулярен, так как он может обозначать как суффикс лица без дальнейшей конкретизации (*dokusha* 'читатель'), так и суффикс лица по профессии (*kagakusha* 'научный работник') и т. д.

Формальная регулярность проявляется в том, что тот или иной деривационный аффикс может присоединяться к достаточно большому количеству производящих единиц. Такая регулярность всегда относительна, мы уже говорили (§ 1), что вообще деривационные элементы малорегулярны в отличие от реляционных. Однако сами деривационные элементы регулярны в разной степени. Такие японские суффиксы, как упоминавшиеся *-sha* и *-shugi*, довольно свободно могут присоединяться к производящим единицам; более регулярен по значению, чем *-sha*,

суффикс *-koo* формально менее регулярен, входя в состав довольно ограниченного числа лексем; есть же аффиксы совсем нерегулярные, например префикс вежливости *omi-* в современном языке сочетается лишь с *ashi* ‘нога’ и *obi* ‘пояс кимоно’, этот префикс регулярен по значению, но не по форме.

С формальной регулярностью связана продуктивность — способность использоваться для создания новых лексических единиц. Японские *-sha*, *-shugi* продуктивны, тогда как *omi-* и др. непродуктивны.

Среди значений, регулярно выражаемых деривационными элементами, можно назвать: именное обозначение события (рус. *-ство* в *производство*, яп. *-i* в *hataraki* ‘работа’), обозначение деятеля (рус. *-чик*, *-щик*, яп. *-sha*, *-shu*), места действия (рус. *-лк-* в *сушилка*, яп. *-jo* в *annaijo* ‘справочное бюро’), уменьшительность (рус. *-ик* в *домик*, яп. *ko-* в *kobito* ‘карлик’), разного рода модальные значения, передаваемые т. н. ласкательными и пренебрежительными аффиксами, а также показателями вежливости. Соотношения по значению производящей и производной единицы могут быть аналогичны отношениям лексем в прямом и переносном значении, например обозначение деятеля, места действия и пр. (ср. примеры в предыдущем параграфе), но могут быть и соотношения, типичные для деривации, например в случае обозначения уменьшительности. Значения, выражаемые деривационными единицами, специфичны для каждого конкретного языка, например в русском имеются суффиксы со значениями средства действия (*-к* в *замазка*, *приманка*) и неполной степени качества (*-оват* в *беловатый*), в японском подобные суффиксы отсутствуют. С другой стороны, для японского характерны аффиксы вежливости, отсутствующие в русском языке.

Наряду с регулярными противопоставлениями производящих и производных единиц, где имеется соотношение по форме и значению, могут быть случаи, когда две единицы соотносятся тем же образом по значению, но формальная общность отсутствует (ср. рус. *летать* — *летчик*, но *шить* — *портной* или яп. уст. *akindo* ‘торговец’ при *иги* ‘продавать’). Здесь имеется семантическая, но не формальная производность, случай, во многом обратный случаям типа *omoshiroi*, где есть формальная производность, но нет семантической.

Теперь рассмотрим более конкретно деривацию в японском языке. В отличие от русского языка, где широко распространена деривация и не очень часто словосложение, в японском языке соотношение обратно. Бесспорных деривационных элементов здесь не так много. Деривационных аффиксов с высокой регулярностью немного, особенно это относится к подсистеме ваго. Многие аффиксы трудно отграничить от корневых элементов, мы будем рассматривать только те аффиксы, которые выделимы более или менее четко.

Деривационные элементы японского языка, как и других языков, можно разделить на аффиксы, изменяющие часть речи производящей единицы, и аффиксы, не меняющие часть речи. В японском языке имеется стандартный способ преобразования глагола в имя: суффикс *-i* (который у глаголов т. н. 2-го спряжения является нулевым). Как правило, здесь имеется регулярное значение имени действия,

однако связь между значениями может быть и нерегулярной (*hanashi* ‘рассказ’ от *hanasu* ‘разговаривать’, *hasami* ‘ножницы’ от *hasami* ‘зажимать’). По существу, это единственный деривационный показатель, образующий отглагольные имена (субстантивизация с помощью *-no*, *-koto* и т. д. — явление чисто грамматическое, мы на нем здесь останавливаться не будем). Обратный случай — перевод имени в глагол — осуществляется чаще всего с помощью реляционного элемента (служебного слова) *suru*. Деривационные же элементы такого типа редки. К ним относятся суффикс *-buru* с регулярным значением ‘казаться тем, кого обозначает данное существительное’: *gakushaburu* ‘изображать из себя ученого’, *-jimiru* ‘выглядеть так, как тот, кого обозначает данное имя’: *inakashajimiru* ‘выглядеть деревенским человеком’ (*-buru* и *-jimiru* обычно связаны с неодобрительным отношением говорящего), *-meku* со значением ‘походить на то, что обозначено данным именем’: *joodammeku* ‘походить на шутку’. Имеются два сравнительно распространенных суффикса, образующих имена от предикативных прилагательных, *-sa* и *-mi*: *samusa* ‘холод’, *kokoroyasusa* ‘близость, дружеские отношения’, *akarumi* ‘светлое место’. Суффикс *-sa* довольно регулярен, его можно присоединить почти к любому предикативному прилагательному, значение его чаще всего связано с образованием имени признака в чистом виде; показатель *-mi* менее регулярен и часто добавляет дополнительные компоненты значения, в частности места признака: ср. *takasa* ‘высота’ и *takami* ‘возвышенность’. Суффикс *-sa* может присоединяться и к непредикативным прилагательным: *koofukusa* ‘счастье’. Обратный переход — от имени к прилагательному — не имеет регулярных аффиксов, за исключением *-rashii* со значением ‘схожий с тем, что обозначено именем’: *onnarashii* ‘женственный’, часто у *-rashii* имеется значение ‘схожий со стандартным представлением о предмете’; *amerashii* значит не ‘нечто, похожее на дождь, но не являющееся дождем’, а ‘дождь, который можно назвать дождем в полном смысле слова’. К нерегулярным аффиксам относятся *-gamashii* со значением неодобрения: *kattegamashii* ‘эгоистичный’, совсем редок суффикс *-shii*: *otonashii* ‘послушный’. Из суффиксов, образующих непредикативные прилагательные от имен, очень распространен *-teki*, присоединяемый, как правило, к канго, практически почти к любому канго с предикативным значением можно присоединить *-teki*, указывающий на то, что данное событие является участником (свойством) какого-то другого. Также образует непредикативные прилагательные от имен суффикс *-gachi* со значением частоты, преобладания данного явления: *nishi yori no kazegachi* ‘преимущественно западный ветер’. Среди аффиксов, изменяющих принадлежность к части речи в пределах предикатива, следует назвать известный префикс *ma-* со значением высокой степени признака. Этот префикс нерегулярен и имеет сложные правила присоединения: *masshiro* ‘белоснежный’ от *shiroi* ‘белый’, *massao* от *aoi* ‘синий’, *makka* ‘совершенно красный’ от *akai* ‘красный’, он присоединяется как к предикативным, так и к непредикативным прилагательным и образует непредикативные прилагательные. Имеются очень нерегулярные суффиксы, превращающие прилагательные в глаголы: *kanashii* ‘печальный’ — *kanashimu* ‘горевать’, *futoi* ‘толстый’ — *futoru* ‘толстеть’.

Наряду с перечисленными могут быть аффиксы, не изменяющие принадлежности к части речи. Таких аффиксов почти нет в системе предикатива, если не считать префикса *ta-* для непредикативных прилагательных и нерегулярных способов выражения значения, аналогичного значению побудительного залога типа *-as-* в *ugokasu* ‘двигать’ (ср. *ugoki* ‘двигаться’) или *nomasu* ‘поить’ (ср. *nomi* ‘пить’); иногда аффикс может быть выделен в обоих членах соответствующей пары: ср. *hajimeru* ‘начинать’ и *hajimaru* ‘начинаться’, иногда суффикс выделяется только в более простом по значению члене пары: *yaku* ‘жечь’ — *yakeru* ‘гореть’ (ср. рус. *-ся* в *двигаться*).

Более распространены аффиксы в системе имени. Среди префиксов можно выделить префикс *o-* / *go-*, имеющий регулярное значение вежливости (префикс в этом случае можно считать грамматическим) и ряд нерегулярных (*naka* ‘пространство внутри’, *onaka* ‘живот’, *cha* и *ocha* значат ‘чай’ без явных различий в значении), нерегулярные префиксы вежливости *gyo-*, *omi-*, *mi-*, *ese-*, соответствующие русскому *псевдо-*; префикс порядковости *dai-*, присоединяемый к числительным; префиксы отрицания: *fu-*, *mi-*, *hi-* (в канго).

Среди именных суффиксов один из наиболее важных классов составляют суффиксы лица. К ваго присоединяются *-te* (разговорно, редко встречается в терминах), *-ko* (чаще относится к женщинам), *-ya* (чаще всего соединяется с основами, обозначающими конкретные предметы, и обозначает человека, изготавливающего эти предметы или торгующего ими); к канго — *-sha* (один из самых распространенных, может обозначать лицо в чистом виде, название профессии, постоянного занятия и т. д.), *-shu* (чаще всего обозначает лицо в чистом виде), *-ka* (обычно обозначает лиц интеллигентских профессий или носителей идеологии), *-shi* (обычно обозначает лиц по профессии), *-koo* (обычно при обозначении рабочих профессий), *-fu* (обычно при обозначении профессий лиц низкой классификации). Часто одно и то же значение (обозначение лица в чистом виде или название профессии) обозначается разными суффиксами в зависимости от того, с чем эти суффиксы сочетаются (*dokusha* ‘читатель’, но *untenshu* ‘водитель’; *gishi* ‘инженер’, но *sakka* ‘писатель’), однако эти суффиксы не всегда синонимичны, ср. *toogyuu* ‘бой быков’, *toogyuushu* ‘торeadор’, *toogyuuka* ‘предприниматель по бою быков’, *toogyuusha* ‘любое лицо, связанное с боем быков’.

Среди других именных суффиксов выделим *-sei* со значением признака, качества, регулярный суффикс *-shugi*, соответствующий русскому *-изм*, суффиксы со значением ‘способ данного действия’: *-kata*, *-buri*, *-yoo*, суффикс *-ka* со значением ‘превращение в то, что обозначено данной основой’ (ср. рус. *-ация*). Большинство этих аффиксов (кроме *-kata*) присоединяется к канго.

Таким образом, деривационная аффиксация в японском языке сравнительно невелика. Лишь несколько аффиксов можно считать регулярными по форме (*-i*, *-teki*, *-shugi*, *-sa*, *-sha*). Довольно широко представлена аффиксация в канго, большинство регулярных аффиксов встречается именно здесь. Среди ваго (исконных лексем) аффиксация распространена мало, и имеющиеся деривацион-

ные аффиксы обычно нерегулярны. Что касается гайрайго (новых заимствований), то они не сочетаются с большинством аффиксов, за исключением наиболее регулярных, обычно присоединяемых к канго: *reeninshugi* 'ленинизм', *reeninteki* 'ленинский'.

Значительно шире распространено в японском языке словосложение. Оно также неравномерно представлено в подсистемах единиц, выделяемых по происхождению. Очень редко оно среди гайрайго, которые, как правило, не членятся на морфемы (даже если они сложны по составу в языке, откуда произошли). Довольно редки и случаи, когда в одну лексему входят части разного происхождения, хотя и можно привести определенное количество примеров вроде *furuhon'ya* 'букинистический магазин' (*furu* 'старый' и *ya* 'магазин' исконны, *hon* 'книга' китайского происхождения) или *tabakoire* 'табакерка' (*ire* 'вместилище' исконно, *tabako* 'табак' заимствовано из португальского). В то же время среди канго словосложение распространено настолько широко, что является скорее нормой, чем исключением. Хотя одноморфемных канго больше, чем иногда считают: одноморфемны не только *on* 'милость' или *teki* 'враг', но и *aisatsu* 'приветствие', *gisei* 'жертва', которые для современного языка не разложимы на морфемы по значению, хотя по традиции пишутся двумя иероглифами, но всё же большинство морфем китайского происхождения не употребляется самостоятельно и должно сочетаться с другими корнями внутри лексемы. Подсистема ваго находится в данном отношении в промежуточном положении между двумя другими.

Если в отношении деривации мы могли описывать отдельно каждый аффикс японского языка, то мы не можем так поступить в случае словосложения, поскольку корневые элементы языка в отличие от деривационных нельзя перечислить. Мы можем говорить лишь об основных типах словосложения, под отдельный тип может подпадать очень большое количество реальных лексем.

Прежде всего следует выделить два типа словосложения. В одном случае сочетаются единицы, которые могут сами выступать в качестве лексем (*mitawaru* 'осматривать' состоит из способных к самостоятельному употреблению *mi* и *tawaru*), в другом случае сочетаются не образующие отдельно лексем корни (*doobutsugakusha* 'зоолог'). Первый тип мы будем называть основосложением, второй — корнесложением. Основосложение в основном свойственно ваго, корнесложение — канго. Только при основосложении встречаются соединительные элементы. Таким образом, два типа словосложения японского языка противопоставлены по нескольким признакам; хотя вообще говоря, в отдельных случаях эти признаки дают разные результаты, однако для типичных примеров корнесложения и основосложения все эти признаки присутствуют. Отметим, что если в одной лексеме сочетаются компоненты китайского происхождения и исконные компоненты, она чаще всего может быть отнесена к основосложным, так как в такие сочетания обычно вступают единицы подсистемы канго, способные к самостоятельному употреблению (*ishidan* 'каменные ступени', где *dan* 'ступени' может быть лексемой китайского происхождения).

Другие классификации типов словосложения могут быть основаны на количестве компонентов, их принадлежности к тому или иному классу, их порядке, а также на смысловых соотношениях в составе лексем.

Классификация по количеству компонентов не очень содержательна, так как сложные лексемы японского языка, как правило (а возможно, и всегда), по смыслу можно разделить непосредственно на две части, которые в свою очередь могут допускать дальнейшее членение на две части.

Основосложные лексемы можно классифицировать по тому, к какой части речи могут относиться основы, равные компонентам данных лексем. Например, *otoidasu* ‘вспоминать’ состоит из глагольных компонентов, а *yamamichi* ‘горная дорога’ — из именных.

С этой классификацией не надо смешивать семантическую классификацию сложных лексем по значению их компонентов (она независима от деления на основосложные и корнесложные лексемы). Могут быть выделены компоненты с предметным, процессным (связанным с действием или состоянием), качественным значением. Например, корень *ka* ‘дом’ имеет предметное значение, *nyuu* ‘входить’ — процессное, *shin* ‘новый’ — качественное. Могут быть и корни со значением, указывающим на связь между другими единицами, например *chuu* ‘середина’, *zen* ‘перед’. Такая классификация дает основания для других классификаций сложных лексем, основанных на семантических отношениях между их компонентами.

Семантические отношения между компонентами сложного слова могут быть равноправными, когда нельзя сказать, какой из компонентов главный, а какой подчиненный, и неравноправными, когда выделяются главный и зависимый по значению компоненты. Это явление аналогично тому, что на синтаксическом уровне называется соответственно сочинением и подчинением. Например, в *kyoodai* ‘братья’ (из *kyoo* ‘старший брат’ и *dai* ‘младший брат’) или в *shinrin* ‘лес’ (оба компонента *shin* и *rin* также значат ‘лес’) нельзя сказать, какой из компонентов главный, а в *hakushi* ‘белая бумага’ главный по значению — компонент *shi* ‘бумага’, а компонент *haku* ‘белый’ подчинен ему.

Только неравноправные по отношениям между компонентами лексемы можно классифицировать в зависимости от порядка их компонентов. Как правило, главный компонент стоит после зависимого, это общее правило для японского языка, проявляющееся и в других случаях (ср. японский порядок слов), такой порядок обычен для ваго и для канго: ср. все отношения между компонентами в канго: *doobutsugakusha* или ваго *usugoori* ‘тонкий лед’. Однако в канго бывают и исключения (связанные с тем, что иногда сохраняется порядок, характерный для китайского языка): например, в *nyuukoo* ‘вход в порт’ главный по значению компонент *nyuu* ‘входить’ стоит в начале, то же в *shuttan* ‘добыча угля’ и др.

Сложные лексемы с равноправными отношениями между компонентами встречаются преимущественно среди канго. По значению можно выделить здесь такие типы сложных лексем: 1) лексемы с синонимичными компонентами типа

shiken ‘экзамен’ (*shi* и *ken* значат ‘испытывать’) или упоминавшегося *shinrin* ‘лес’, при этом и целая лексема сохраняет то же значение, такие лексемы существуют потому, что многие морфемы-канго не могут сами образовывать лексему и должны обязательно с чем-то сочетаться; 2) лексемы с близкими по значению компонентами типа *kyoodai* ‘братья’, значение лексемы — обобщающее по отношению к значению компонентов; 3) лексемы с антонимичным значением компонентов типа *ageoroshi* ‘подъем и спуск’ (*age* ‘подъем’, *oroshi* ‘спуск’), где значение лексемы также обобщающее, причем различия антонимов нейтрализуются и остается то общее в значении, что у них имеется.

Среди лексем с неравноправными отношениями также можно выделить ряд типов. Один тип можно назвать предикатно-объектным, семантические отношения между компонентами сходны с теми, которые бывают у сказуемого и дополнения; его примеры — упоминавшиеся *nyuukoo* ‘заход в порт’, *shuttan* ‘добыча угля’; именно этот тип характеризуется тем, что главный компонент стоит впереди. Другой тип связан с тем, что первый компонент уточняет значение второго. Такого рода отношение может быть и в случае, когда второй компонент обозначает предмет: *yatamichi* ‘горная дорога’ (*yama* ‘гора’, *michi* ‘дорога’), *amagaki* ‘сладкая хурма’ (*amai* ‘сладкий’, *kaki* ‘хурма’), и в случае, когда второй компонент имеет процессное значение: *shibakari* ‘сбор хвороста’ (*shiba* ‘хворост’, *kari* ‘сбор’), *tachiuchi* ‘стрельба стоя’ (*tachi* ‘стояние’, *uchi* ‘стрельба’). Отношение между компонентами в этом случае аналогично отношению между определяемым и определением. Лексемы данных двух типов обычно неидиоматичны или в малой степени идиоматичны (см. примеры).

Возможны и случаи, когда компоненты сложной лексемы составляют лишь часть ее значения, а существенная часть значения лексемы не содержится в значении компонентов. Такое приращение значения может быть регулярным. Сложная лексема может иметь значение деятеля: *hatafuri* ‘стартер’ (*hata* ‘флаг’, *furi* ‘махание’), *sutoyaburi* ‘штрейкбрехер’ (*suto* ‘стачка’, *yaburi* ‘подрыв’), орудия действия: *nejimawashi* ‘гаечный ключ’ (*neji* ‘гайка’, *mawashi* ‘верчение’), *jikeshi* ‘резинка’ (*ji* ‘знак’, *keshi* ‘стирание’), результата действия: *hiyake* ‘загар’ (*hi* ‘солнце’, *yake* ‘горение’), *mizutamari* ‘лужа’ (*mizu* ‘вода’, *tamari* ‘скопление’), места действия: *monomi* ‘наблюдательный пункт’ (*mono* ‘предмет’, *mi* ‘видение’). Особый тип бывает, когда второй компонент нужен для того, чтобы уточнить положение в пространстве или времени того, что обозначено первым компонентом; *senzen* ‘перед войной’ (*sen* ‘война’, *zen* ‘перед’).

Теперь рассмотрим семантические типы сложных глаголов, которые всегда основосложны. Здесь также могут быть выделены лексемы с равноправным отношением компонентов: *nagesuteru* ‘швырять’ (*nage* ‘бросать’, *suteru* ‘выбрасывать’), *tomariaruku* ‘бродить’ (*tomari* ‘останавливаться’, *aruku* ‘ходить’), семантические связи здесь те же, что в сложных именах этого типа. В другом типе сложных глаголов основная информация о действии содержится в первой части, а вторая часть уточняет, конкретизирует ее, например в *miorosu* ‘смотреть вниз’ основное действие обозначено *mi* ‘видеть’, а *orosu* уточняет, что действие направлено сверху

вниз. Вторыми компонентами глаголов такого типа бывают *-ageru* (указывает на направление действия вверх), *-orosu*, *-kudasu* (указывают на направление действия вниз), *-ireru*, *-komu* (указывают на направление действия внутрь), *-tawaru* (указывает на направление действия по кругу), *-au* (указывает на взаимность действия, ср. рус. *-ся* в *бороться*), *-hajimeru*, *-dasu* (обозначают начало действия), *-owaru*, *-kiru*, *-yatsu* (обозначают конец действия, последние два — внезапный конец), *-nokoru* (обозначает, что действие прервано, но будет продолжено), *-tsuimeru* (обозначает непрерывность действия), *-kaneuru* (обозначает возможность совершения действия), *-kaneru* (обозначает невозможность совершения действия), *-sugiru* (обозначает, что действие совершено в слишком большой степени) и т. д. В глаголах третьего типа главное значение содержится во втором компоненте, а первый часто имеет довольно неопределенное значение, иногда указывая на большую интенсивность действия, обозначенного вторым компонентом, например *taosu*, *uchitaosu*, *hikitaosu* имеют значение ‘опрокидывать’. Первыми компонентами таких глаголов бывают *uchi-*, *buchi-*, *tori-*, *moti-*, *oshi-*, *hiki-*, *furi-*, *kaki-*, *sashi-*, *meshi-*, *ai-*. Не следует смешивать эти случаи со случаями, когда те же самые компоненты полнзначны, ср. *uchiawaseru* ‘ударять друг о друга’, где *uchi-* имеет значение ‘бить’, и *uchikatsu* ‘побеждать’ (*katsu* ‘побеждать’). Иногда глаголы с такого рода первыми компонентами приобретают особое значение, несколько отличное от значения глагола, где нет первого компонента, ср. *ageru* ‘поднимать’ и *uchiageru* ‘запускать’ (космический объект).

Большинство сложных глаголов японского языка представляет собой сочетание двух глаголов с соединительным элементом. Сочетания типа «имя + глагол» редки и идиоматичны: *mezasu* ‘добиваться’ (*me* ‘глаз’, *sasu* ‘показывать, направлять’), *kokoromiru* ‘пробовать’ (*kokoro* ‘сердце’, *miru* ‘видеть’).

Сложные прилагательные, наоборот, чаще имеют вид «имя + прилагательное». Многие из них сходны с сочетаниями типа «имя + глагол» (*kokorozuyoi* ‘уверенный’ из *kokoro* ‘сердце’ и *tsuyoi* ‘сильный’; *mimitooi* ‘глухой’ из *mimi* ‘ухо’ и *tooi* ‘далекий’). Имеется регулярный тип сложных прилагательных со вторыми компонентами *-nikui* и *-gatai* ‘трудный’, *-yasui* ‘легкий’. Тип «прилагательное + прилагательное», представленный примерами типа *akaguroi* ‘темно-красный’ (*akai* ‘красный’, *kuroi* ‘черный’), редок.

Еще один тип сложных лексем японского языка, о котором мы до сих пор не говорили, — лексем, образованные путем повтора одинаковых компонентов. Таких лексем в японском языке довольно много, хотя некоторые из них редко употребляются. Значение лексем-повторов разнообразно: может быть значение множественности (*hitobito* ‘люди’), интенсивности (*matamata* ‘вновь и вновь’ от *mata* ‘вновь’), разделенности на части (*tokidoki* ‘время от времени’ от *toki* ‘время’), кроме того, вид повтора часто имеют звукоподражательные и образоподражательные лексем типа *potsupotsu* ‘кап-кап’, *mikumuku* (изображение толстого человека), компоненты таких лексем обычно отдельно не употребляются. Лексем-повторы в большинстве случаев относятся к наречиям.

Наконец, нельзя не упомянуть про такую особенность японского языка, как распространение т. н. сцеплений. Сцепления — это последовательности, состоящие из большого количества морфем, соединенных без каких-либо грамматических показателей, и оформленные как один член предложения; как правило, части сцеплений способны употребляться как самостоятельные лексемы. Как примеры сцеплений можно назвать *nihon-kokumin* ‘японский народ’, *toonai-katsudoo-bunshi* ‘партийный актив’, *jintai-jikken* ‘опыт над живым человеком’, *shuuiin-kaisan* ‘ропуск нижней палаты парламента’, *nennai-kaisan-setsu-hitei* ‘отрицание слухов о роспуске (парламента) в течение года’. Сцепления, как правило, образуются из канго (см. примеры, приведенные выше), значительно реже в состав сцеплений входят ваго и гайрайго: *kinkyuu-taisaku-mooshiire* ‘предложение срочных контрмер’ (*mooshiire* ‘предложение’ исконно), *kuromo-oosen* ‘загрязнение хромом’ (*kuromu* ‘хром’ — новое заимствование). В современном газетном тексте количество сцеплений очень велико.

Довольно трудно решить вопрос о том, являются ли сцепления лексемами или последовательностями лексем. По-видимому, по крайней мере многие сцепления могут рассматриваться как лексемы. По семантическим отношениям между компонентами сцепления могут быть разделены на те же классы, что и обычные сложные лексемы. По значению многие сцепления неидиоматичны и эквивалентны свободным (нефразеологичным) словосочетаниям, которые могут быть получены из сцеплений вставлением между их компонентами грамматических элементов типа *-no*. Однако возможны и идиоматичные сцепления: *doppo-kanja* ‘амбулаторный больной’ из *doppo* ‘хождение своим путем’ и *kanja* ‘больной’.

§ 11. Фразеология японского языка

До сих пор мы рассматривали лексемы (слова). Однако, как уже говорилось в § 2, лексикология изучает также более протяженные по длине единицы языка, по значению аналогичные лексемам. В первую очередь это сочетания лексем (словосочетания), именуемые фразеологизмами. Формально фразеологизмы делятся на словоформы, и мы можем из них вычленить лексемы, которые могут совпадать с реальными лексемами языка, но мы не можем установить, какие из компонентов значения всей последовательности к какой лексеме относятся (или можем установить это лишь частично). Например, в рус. *бить баклуши* ‘бездельничать’ или яп. *te o samasu* ‘проснуться’ по формальным признакам можно выделить *бить*, *баклуши*, *те*, *samasu*, которые могут равняться реальным лексемам (*бить*, *те* ‘глаз’), но могут и не встречаться вне данных сочетаний (*баклуши*, *samasu*). Однако мы не можем разделить значение *бить баклуши* или *те o samasu* на составные части так, чтобы эти части равнялись значению формально выделенных частей или хотя бы соотносились с ним. Мы не можем говорить о значении *баклуши* или *samasu*, значение имеет лишь всё сочетание *бить баклуши* или *те o samasu*.

В основе выделения фразеологизмов лежат два признака: идиоматичность и устойчивость. Об идиоматичности мы уже говорили в связи со словообразованием, но это свойство можно обнаружить и при исследовании фразеологизмов. Крайний случай идиоматичности мы имеем в т. н. сращениях, когда значение целого абсолютно неразложимо на значение компонентов. Сюда относятся не только случаи типа упомянутых выше *бить баклуши* или *те о samasu*, но и случаи, когда все компоненты фразеологизма равны реальным лексемам: рус. *ни в зуб ногой* или яп. *abura o toru* ‘проучить’ (дословно ‘брать масло’). Другой класс идиоматичных фразеологизмов составляют т. н. фразеологические единства, также с неразложимым сочетанием, в котором однако имеется связь со значением исходного свободного сочетания; здесь имеется как бы переносное значение словосочетания, часто основанное на метафоре: рус. *лить воду на мельницу* или яп. *те о tsuburu* ‘умереть’ (дословно ‘закрывать глаза’).

Наряду со случаями полной идиоматичности могут быть случаи частичной идиоматичности, когда, например, значение одной лексемы сохраняется, однако значение другой лексемы отлично от значения ее вне данного сочетания: яп. *ago o kuwasu* ‘ударить в подбородок’ (дословно ‘накормить подбородок’) или *akai kokoro* ‘чистое сердце’ (дословно ‘светлое сердце’); может быть и так, что в значении целого можно выделить компоненты, связанные со значением каждой из частей, однако имеются компоненты значения, появляющиеся лишь в составе сочетания в целом: рус. *железная дорога* или яп. *shita o dasu* ‘показать язык’ (дословно ‘вынуть язык’).

Другой признак фразеологизмов — устойчивость — связан с тем, насколько широка сочетаемость той или иной лексемы с другими. Устойчивые лексемы сочетаются только с одной лексемой или с небольшим количеством синонимичных или квазисинонимичных лексем (например, рус. *скоропостижный* сочетается с *смерть*, *кончина*).

Чтобы считать сочетание лексем фразеологизмом, нужно, чтобы либо сочетание было идиоматичным, либо хотя бы один из его членов был устойчивым. Фразеологизмы могут быть одновременно идиоматичными и устойчивыми (*те о samasu* или *agura o kaki* ‘сидеть, скрестив ноги’, где *agura* больше нигде не встречается), могут быть идиоматичными, но неустойчивыми (*abura o toru* или *ago o kuwasu*) могут быть устойчивыми и неидиоматичными, ср. рус. *оскалить зубы* или яп. *hana o katu* ‘высморгать нос’. Последний случай связан с тем, что некоторые действия обязательно предполагают наличие некоторого предмета; в отличие от *баклуши*, *samasu* мы можем установить, что значат *оскалить*, *katu*, однако сами эти действия предполагают обязательное наличие того, что обозначается лексемами *зубы*, *hana*.

Наряду с полной устойчивостью возможна частичная устойчивость, когда лексема сочетается с небольшим числом несинонимичных лексем, например яп. *shikameru* ‘сморщить’ сочетается с *kao* ‘лицо’, *hitai* ‘лоб’.

Наряду с классификацией фразеологизмов по признакам идиоматичности и устойчивости возможны другие классификации фразеологизмов. Наряду с двухкомпонентными фразеологизмами (примеры см. выше) можно выделить

фразеологизмы, состоящие из большего числа компонентов: яп. *mizu no awa to naru* 'пойти прахом' (дословно 'стать пеной воды'). Большинство фразеологизмов может употребляться всегда в одном и том же виде (с точностью до изменения грамматических элементов), но бывают и фразеологизмы, имеющие варианты: яп. *ki ni iru* и *ki ni mesu* 'нравиться', *hana de ashirau* и *hana no saki de ashirau* 'относиться свысока'. Классификация фразеологизмов по синтаксической структуре возможна, но малоинтересна, поскольку она у них такая же, как и у свободных сочетаний.

Еще одна классификация фразеологизмов, независимая от всех предыдущих, связана с тем, что состав одних фразеологизмов всегда постоянен (или допускает небольшое варьирование), таково большинство примеров, приведенных выше, но многие фразеологизмы имеют в своем составе переменные члены: обязательно требуется их заполнение, но это заполнение может быть различным. Например, в яп. *ne o tatsu* 'вырвать с корнем' перед *ne o* обязательно должно быть определение, показывающее, что именно вырывается с корнем; фактически фразеологизмом является не *ne o tatsu*, а *X no ne o tatsu*.

Фразеологии отдельных языков могут иметь особенности. Например, в японском языке много фразеологизмов, имеющих вид сочетания глагола и имени, и сравнительно мало фразеологизмов, состоящих из нескольких имен. В отличие от русского, для японского языка нехарактерны фразеологизмы-термины типа *удельный вес*. Это связано с тем, что такого рода термины обычно создаются с помощью сложных канго или сцеплений.

Семантическое единство фразеологизмов приводит к тому, что на их базе могут образоваться единые лексемы. В русском языке такое явление редко (можно привести лишь отдельные примеры типа *шапкозакидательство*), в японском языке многие фразеологизмы имеют варианты, представляющие собой единые лексемы: ср. *abura o uru* и *aburauri*, *me o samasu* и *mezamashi*, *neko o kaburu* 'лицемерить' (дословно 'надеть на голову кошку') и *nekokaburi*.

Фразеологизмы, как и большинство лексем, существуют в системе языка как готовые единицы и не создаются заново при их употреблении; этим они отличаются от свободных словосочетаний и предложений. Однако готовые единицы могут быть и большей протяженности, в частности равняться предложениям. Примером могут служить пословицы и поговорки, по значению часто идиоматичные. Такого рода единицы можно считать аналогами фразеологизмов на уровне предложений.

§ 12. Заимствования

Мы (по необходимости кратко) разобрали вопросы, связанные с внутренним строением (семантическим и формальным) лексических единиц языка и с теми отношениями между единицами лексики, которые обусловлены этим строением. Наряду с этим лексическая система языка имеет свойства, обусловленные

внеязыковыми причинами. Эти свойства также изучаются в лексикологии. Одним из этих свойств является наличие в любой языковой системе исконной и заимствованной лексики. Появление в языке заимствований обусловлено внеязыковыми причинами (влиянием одного народа на другой, заимствованием тем или иным народом новых для него предметов или понятий, которые могут заимствоваться вместе с их обозначениями). Однако появление заимствований — существенный факт в языковой системе, которая в связи с этим может сильно измениться (могут появиться или исчезнуть некоторые фонемы, может измениться грамматический строй и т. д.). Мы в этом параграфе будем исследовать лишь вопросы, связанные с лексическими заимствованиями.

Разные элементы языка обладают разной способностью к заимствованию. Реляционные (грамматические) элементы заимствуются редко, во многих языках заимствованных грамматических единиц может не быть, в японском они в небольшом количестве есть лишь как заимствования из китайского (префикс *go-*, суффикс *-kun*, показатель повелительного наклонения *-choodai* и др.). Несколько чаще заимствуются деривационные элементы; они заимствуются не сами по себе, а в составе лексем; если таких лексем заимствуется много, то деривационный элемент может начать выделяться и в языке, в который перешли эти лексемы, а затем он может сочетаться и с исконными единицами, ср. рус. *-изм*, *-ист*; в японском имеются деривационные элементы, заимствованные из китайского, некоторые из них (*-teki*, *-shugi*) могут сочетаться и с ваго.

Как правило, из одного языка в другой заимствуются лексемы, обычно в виде одной из своих словоформ — однако в языке, в котором они заимствуются, грамматические элементы превращаются в часть основы: ср. рус. *рельс* из англ. *rails* или яп. *toochika* ‘огневая точка’ из русского, где соответственно показатель множественного числа *-s* и показатель именительного падежа единственного числа *-a* стали частью основы; заимствованная лексема, как правило, оформляется исконными грамматическими показателями. Членимость на морфемы, имеющаяся в языке, откуда лексема заимствована, обычно не сохраняется (она может появиться в случае, если заимствований из данного языка много и их сопоставлением можно выделить в лексемах значимые части), это хорошо видно на примере японских гайрайго (но не канго, см. ниже). Заимствоваться могут и единицы, более протяженные, чем словоформы, чаще всего фразеологизмы, как правило, в заимствующем языке они превращаются в лексемы, часто нечленимые на морфемы: яп. *kuudetaa* ‘государственный переворот’ восходит к французскому фразеологизму *coup d'état*.

Разные лексемы имеют разную способность к заимствованию в зависимости от их значения. Легко заимствуется т. н. культурная лексика: названия орудий труда, технических средств, растений, животных, кушаний, видов одежды и т. д., а также научные термины. Очень легко заимствуются имена собственные: по существу любое собственное имя потенциально является лексемой любого языка мира и немедленно появляется в нем, когда появляется необходимость назвать данный предмет или лицо. В то же время местоимения, названия частей тела,

числительные первого десятка, названия привычных явлений природы и др. заимствуются редко, чаще всего они обозначаются исконной лексикой. Способность к заимствованию зависит и от части речи: имена обычно заимствуются легче, чем прилагательные и глаголы.

Заимствованные единицы по-разному входят в систему языка. Система языка неоднородна: в ней есть единицы, наиболее важные для всех говорящих на языке, они составляют центр языка, другие единицы находятся как бы на его периферии (подробнее о центре и периферии см. в следующем параграфе). Заимствованные лексемы, как правило, находятся, особенно вскоре после заимствования, на периферии языка, но некоторые из них проникают и в центр, в таких случаях говорят, что заимствования освоены системой языка. По степени освоенности можно выделить четыре группы заимствований. Во-первых, некоторые, когда-то заимствованные, единицы уже перестали ощущаться как заимствования и ничем не отличаются для говорящих на языке, если это не историки языка, от исконных единиц: рус. *кнут, стул, вино, товар, собака* и др. или японские *buta* 'свинья' (позднее заимствование из алтайских языков), *tera* 'буддийский храм' (из корейского), *uma* 'лошадь', *e* 'картина', *ie* 'дом' (заимствования доиероглифического периода из китайского), *ama* 'монахиня' (из санскрита). Во-вторых, бывают лексемы, которые входят в основной словарный фонд и широко употребляются всеми носителями языка, но иноязычное происхождение которых ощущается, по крайней мере, образованными людьми: рус. *трактор, революция*, яп. *tabako* 'табак', *biiru* 'пиво'; лексемы этого типа могут иметь и формальные признаки, свидетельствующие об их неисконности (несклоняемость в русском языке, наличие нехарактерных для исконной лексики фонем вроде долгого *i* в японском). В-третьих, это лексемы, относящиеся к специальной лексике, обычно книжной, употребляемые не всеми говорящими на языке, а в основном специалистами: рус. *карбид, диссимиляция, индуктор*, яп. *kiseroforumu* 'ксероформ', *potensharu* 'потенциал'. Многие из лексем этого типа являются интернационализмами и распространены в одном значении с некоторым генетическим варьированием в большом количестве языков (интернационализмы есть и среди лексем второго типа). В-четвертых, это т. н. экзотизмы, обозначения реалий других народов, употребляемые только при описании событий, происходящих в какой-то чужой стране, экзотизмы — наиболее периферийные среди заимствований, часто их не считают даже полноценными словами данного языка. К экзотизмам относятся, например, почти все заимствования из японского языка в русский, употребляемые лишь в тех русских текстах, где говорится о Японии (*токонома, сёдзи, гейша, дзайбацу* и т. д.); пожалуй, лишь лексемы *тайфун, цунами, кимоно* и *дзюдо* уже нельзя считать экзотизмами. К экзотизмам относятся, как правило, заимствованные имена собственные, но русские личные имена (среди них почти нет исконных) относятся к первому типу.

С точки зрения определенного состояния языка (например, современного) также можно делить лексику на исконную и заимствованную, но грань здесь будет

не та, как в случае, если мы будем делить лексику по историческому происхождению: заимствованными можно считать лишь лексемы последних трех типов, лексемы первого типа ничем, кроме происхождения в прошлом, не отличаются от исконных. Для японского языка в современном его состоянии исконными будут все ваго (недаром этот термин употребляется именно для обозначения единиц, отличных от канго и гайрайго по своим свойствам, хотя их происхождение различно). Более того, мы вообще не знаем, что для японского языка действительно исторически исконно: родственные связи этого языка до конца не установлены, в области лексики имеется слой, общий с алтайскими (тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими) и корейским языками: *kuroi* 'черный', *iro* 'цвет', *katana* 'меч', *korosu* 'убивать', *kiru* 'резать' и др., и слой, общий с малайско-полинезийскими языками: *me* 'глаз', *se* 'спина', *semai* 'узкий', *ebi* 'креветка' и др. Из этих двух слоев исконен лишь один, но какой — пока не установлено (большинство ученых считают более вероятным, что исконен алтайский слой). Кроме того, в состав ваго входят лексемы неустановленного происхождения и древние, обычно дописьменные заимствования (примеры см. выше). Для современного языка всех этих различий нет, ваго представляет собой единый класс, противопоставляемый канго и гайрайго.

Особый случай заимствования представляет собой калькирование. При калькировании перехода лексем из одного языка в другой не происходит, но под влиянием одного языка в другом происходит образование новой лексемы способом полисемии. Например, под влиянием китайского, где в одну вокабулу входят лексемы со значением «трава» и «черновик», значение «черновик» получило и японское *kusa*. Калькирование часто происходит на уровне фразеологизмов и параметрических сочетаний, например яп. *chuuu o harau* 'обращать внимание' (дословно 'платить внимание') — калька с англ. *pay attention*.

Японский язык имеет ряд особенностей в плане соотношения исконной и заимствованной лексики. Если в большинстве языков можно выделить два класса лексики: исконную и заимствованную, то в японском языке четко выделяются три класса: ваго, канго и гайрайго. Если в отношении гайрайго (заимствований последних веков, в основном из европейских языков) верно всё, что говорилось выше про заимствования: если гайрайго, как правило, относятся к культурной лексике, заимствуются целые лексемы, обычно не членимые в японском языке на морфемы, и большинство гайрайго находится на периферии языка и недостаточно освоено японским языком, то для канго многие свойства отличны от тех, которыми обычно обладают заимствования: с помощью канго обозначается почти всё, в том числе то, что обычно не обозначается заимствованиями, канго четко членимы на морфемы, из этих морфем в японском языке легко образуются новые лексемы. Необычно велико и количество канго: потенциально онное чтение любого сколько-нибудь употребительного иероглифа представляет собой единицу японского языка, обычно равную морфеме (хотя и не всегда, например, в уже упоминавшихся случаях типа *aisatsu* 'приветствие'), которая может служить для образования новых лексем.

В то же время канго обладают рядом особенностей, противопоставляющих их ваго; многие из них уже упоминались в предыдущих параграфах: канго, как правило, многоморфемны, канго легко образуют сцепления, канго сами по себе могут быть лишь именами и именными прилагательными, а глаголы от них образуются с помощью *суру*, омонимия в основном распространена среди канго. Кроме того, канго обладают и фонологическими особенностями, обычно не свойственными ваго. Наконец, имеются различия и в значении: среди ваго почти нет специальной терминологии; с другой стороны, большинство канго имеет книжный характер и в бытовой речи не употребляется. Следует иметь в виду, что все эти различия неабсолютны и всё, что свойственно канго, можно иногда встретить и среди ваго, но значительно реже (верно и обратное), что объясняется длительным сосуществованием подсистем канго и ваго и их влиянием друг на друга. Тем не менее, как правило, и сейчас принадлежность лексемы к канго или ваго не вызывает сомнений (что во многом поддерживается характером письменности и традициями обучения письму).

Чтобы понять такое место, занимаемое канго в системе японского языка, надо обратиться к истории языка. Из Китая японцы заимствовали письменность, которая была приспособлена к японскому языку. Вместе с иероглифами были заимствованы и морфемы, записывавшиеся этими иероглифами; конечно, их звучание было приспособлено к фонетическим нормам японского языка. Наряду с заимствованием морфем происходило и заимствование целых лексем, которое продолжалось и после того, как заимствование иероглифики было завершено. Однако наряду с заимствованными из китайского лексемами в состав канго входит большое число лексем, созданных в Японии из китайских по происхождению морфем. Сейчас канго уже не могут заимствоваться (фонетика китайского языка изменилась по сравнению с периодом, когда в Японии были заимствованы иероглифы, и новые заимствования из китайского языка не имеют связи с онными чтениями иероглифов и относятся к гайрайго), но процесс образования новых канго в японском языке продолжается до настоящего времени.

В течение веков канго постепенно осваивались системой японского языка, многие из них вошли в основной словарный фонд. Часто такие канго приобретают свойства, характерные для ваго: они могут образовывать глаголы, где *-suru* уже нельзя отделить от основы, типа *kanjiru* 'чувствовать', к ним присоединяется префикс вежливости в виде *o-*, а не *go-*: можно сказать только *o-denwa* 'телефон', *o-sooshiki* 'похороны'.

Большой распространенности к устойчивости подсистемы канго способствовали не только исторические и культурные причины, но и собственно языковой фактор: легкость словообразования для канго. С помощью морфем-канго легко создавать новые лексемы с четкой семантической структурой, что особенно важно для терминологии. Большим преимуществом канго является и их сравнительно небольшая длина, тогда как сложные ваго часто бывают довольно громоздкими. Особенно ясны преимущества канго для образования сложных лексем видны на письме, где для них обычно нет проблемы омонимии. Однако в устной

речи неудобства канго в связи с сильной омонимией очень заметны, поэтому в последние десятилетия проводятся меры для ограничения числа канго в языке (см. выше, § 8).

В состав канго входят и лексемы некитайского происхождения, пришедшие в японский язык через китайский, особенно санскритизмы (*danna* ‘господин’, многие буддийские термины). Для современного языка они неотличимы от других канго, также никак не противопоставлены друг другу лексемы, заимствованные из китайского, и лексемы, появившиеся в самом японском языке в подсистеме канго.

К классу гайрайго относят лексемы, появившиеся в языке в течение последних примерно четырехсот лет. Их обособленность от других лексем отражается в системе письма: их принято писать катаканой, лишь самые ранние заимствования типа *tabako* ‘табак’ могут быть записаны иероглифами. Гайрайго сильно отличаются от ваго и канго по фонологическим признакам, имея во многом особый состав фонем и правила их комбинирования. О других особенностях гайрайго уже говорилось выше.

Самые древние из гайрайго — заимствования из португальского, появившиеся в XVI в.: *tabako* ‘табак’, *pan* ‘хлеб’, *botan* ‘пуговица’. Эти лексемы уже почти не ощущаются как заимствования, например *tempura* ‘название кушанья’ кажется исконно японской лексемой, хотя происходит от португальского *tempora*. То же можно сказать и о появившихся несколько позже, в XVII–XVIII вв., голландских заимствованиях типа *koohii* ‘кофе’, *garasu* ‘стекло’, *biiru* ‘пиво’. Можно видеть, что наиболее ранние гайрайго связаны с появлением в Японии новых для этой страны реалий, которые в дальнейшем широко вошли в японский быт. Абстрактная лексика в этот период не заимствовалась, в этой сфере господствовали канго.

После революции Мэйдзи (1867–1868 гг.) в японский язык начало проникать большое количество заимствований из европейских языков, которые обозначали не только проникавшие в Японию из Европы и Америки реалии, но и абстрактные понятия, а также явления, уже известные японцам. Можно выделить два периода заимствований: во второй половине XIX — первой половине XX в. в японском языке появлялись слова из разных европейских языков, особенно английского, немецкого и французского, после Второй мировой войны количество заимствований резко возросло, но почти все из них происходят из английского языка в американском его варианте.

Наряду с заимствованиями из английского, немецкого (*ideorogii* ‘идеология’, *arubaito* ‘временный рабочий’ из *Arbeit* ‘работа’ — сдвиг значения), французского (*zubon* ‘брюки’, *wakansu* ‘каникулы’) и других языков в состав гайрайго входят и заимствования из русского. Помимо лексики, обозначающей явления советской жизни, можно назвать *interi* ‘интеллигенция’, *toochika* ‘огневая точка’, в последние годы широкое распространение получило слово *kombinato* ‘комбинат’. В состав гайрайго входят и заимствования из языков Азии, в том числе из китайского: *gappa* ‘труба’, *gaaten* ‘китайская лапша’.

Теперь рассмотрим некоторые особенности гайрайго в современном языке. Уже говорилось, что почти все современные гайрайго происходят из американского варианта английского языка (этим объясняются во многом их отклонения по звучанию от более известного у нас английского варианта). Некоторые гайрайго, заимствованные ранее из других языков, начинают произноситься «по-английски»: *betto* ‘кровать’, заимствованное из немецкого, стало произноситься и писаться *beddo* в связи с англ. *bed*. В японском языке возможны и составленные из английских единиц лексемы, которых нет в английском: *sarariiman* ‘человек, живущий на жалованье; служащий’ из англ. *salary* ‘жалованье’ и *man* ‘человек’, *ootobai* ‘мотоцикл’ из англ. *auto* ‘авто-’ и сокращенного варианта *bicycle* ‘велосипед’. Само по себе их существование еще не означает их членимости на морфемы в японском языке: они могли быстро исчезнуть из английского, но заимствоваться за это время в японский или быть созданными в среде лиц, владеющих обоими языками, и войти в японский язык в готовом виде. Однако *sarariiman* можно считать членимой лексемой и в японском: существует лексема *sararii*, а *man* входит в состав ряда лексем. При заимствовании может происходить сдвиг значения: например, *wanman* в японском языке уже не значит ‘один человек’ (англ. *one man*), а значит ‘автобус без кондуктора’. Появление новых значений может происходить и в самом языке, например вокабула *toranjisutaa* в японском имеет лексему в значении ‘маленький, живой человек’, чего нет в англ. *transistor*.

Подсистема гайрайго сосуществует с подсистемами ваго и канго, и иногда грани между ними начинают стираться: возможны сложные лексемы, в состав которых входит гайрайго, например *onnaboi* ‘официантка’, изредка гайрайго даже оформляются как глаголы: *saboru* ‘прогуливать занятия’ из французского (тот же корень, что в рус. *саботаж*). Чаще гайрайго оформляются как именные прилагательные: *haikara(na)* ‘щегольской’ из англ. *high collar* ‘высокий воротник’. В подавляющем большинстве гайрайго, как и канго, являются именами.

В современном языке имеется большое количество гайрайго, считается, что они составляют около 3 % лексики языка, но эта цифра относится, видимо, только к гайрайго, прочно укоренившимся в языке. Многие же гайрайго появляются в языке на недолгое время и быстро исчезают, их появление и исчезновение часто связано с модой. Например, в 50-х гг. была очень распространена лексема *reeja* ‘отдых, свободное время’ (из англ. *laisure*), сейчас она почти исчезла. За последнее время создалось такое положение, что заимствоваться из английского может практически любая лексема или даже целое словосочетание вместе с предлогами, артиклями и т. д.: когда по телевидению показывался американский фильм под названием *Name of the game* ‘Имя игры’, то оно не переводилось на японский, а было заимствовано непосредственно: *neimuozaigeimu*. Могут заимствоваться лексемы, обозначающие то, для чего уже есть названия, например *waiifu* ‘жена’, и даже английские числительные. Это указывает на очень большое влияние английского языка на японский. Однако большинство таких лексем явно периферийно и надолго не удерживается в языке. Кроме того, часто близкие по смыслу гайрайго и канго

или ваго — не синонимы: *raisu* значит ‘рис, сваренный по-европейски’ (ср. *gohan* или *meshi*), *teeburu* — ‘стол европейского типа на высоких ножках’ (ср. *tsukue*).

Соотношение ваго, канго и гайрайго в японском языке во многом зависит от того, о чем идет речь. В бытовой речи преобладают ваго, хотя некоторое количество канго и гайрайго проникло и сюда. В политических текстах имеется большое количество канго, тогда как ваго и гайрайго немного, в еще большей степени такое соотношение видно в военных текстах. В технических текстах и текстах по естественным наукам много канго и гайрайго и мало ваго. В текстах, связанных со сферой потребления (реклама, инструкции к товарам, особенно в отношении одежды и бытовой техники), где американизация проявляется наиболее сильно, очень много гайрайго, иногда они составляют большинство лексики.

§ 13. Стратификация лексики

Мы уже говорили о многих классификациях лексики: по частям речи, по значению, по происхождению и т. д. Во всех этих классификациях лексика языка обычно рассматривается как принадлежащая к единой системе, мы отвлекаемся здесь от того, могут ли те или иные лексические единицы встретиться в одном и том же тексте (понятие текста здесь используется максимально широко: мы можем говорить не только о письменном тексте, но и о разговоре как тексте особого рода); лишь в одном случае мы учитывали это: когда говорили о классификации синонимов. Между тем лексика языка неоднородна по своему использованию: в разговоре о покупках мы не можем употребить многие из тех лексем, которые мы употребляем в деловом письме, верно и обратное. Такая неоднородность лексической системы языка может быть названа стратификацией лексики. Фактически любая языковая система складывается из большого количества особых подсистем, которые всегда имеют какие-то общие части (иначе нельзя было бы говорить о едином языке), однако в чем-то различается. Такого рода подсистемы (стили) выделяются, в частности, и в лексике. Понятие подсистемы в этом смысле не следует смешивать с другим случаем подсистемы, когда вся система разделяется на непересекающиеся части, имеющие какие-то особенности (например, подсистемы канго, ваго и гайрайго).

Принадлежность к подсистеме в смысле, в котором мы говорим о подсистемах в этом параграфе, обычно отмечается в словаре в пометах типа *разг.*, *книжн.*, *поэт.* и т. д. Мы остановимся более подробно на этих терминах.

Среди лексем языка можно выделить лексемы, которые не связаны с какой-то определенной подсистемой, а входят в большое количество подсистем, иногда во все подсистемы данного языка. Такие лексемы образуют т. н. основной словарный фонд языка, например в японском к ним относятся *hito* ‘человек’, *mizu* ‘вода’, *iku* ‘идти’, *hataraku* ‘работать’ и т. д. На таких лексемах в первую очередь основывается единство лексической системы языка. В словарях они обычно не сопровождаются

никакими пометами. Чаще всего из нескольких синонимов в основной словарный фонд входит лишь один.

Однако могут быть случаи, когда ни один из членов синонимического ряда не входит в основной словарный фонд, хотя его значение может выражаться в текстах разного рода. Например, в значении 'лес' в японском языке в бытовых текстах употребляется *hayashi*, а в книжных используется *shinrin*. Обычно основным членом синонимического ряда в таких случаях считают разговорную лексему, поскольку она употребляется большим числом людей.

Теперь мы можем уточнить противопоставление «центр — периферия», о котором говорилось в предыдущем параграфе. К центральным единицам языка относятся лексемы основного словарного фонда. Лексемы, входящие лишь в одну узкую по употреблению подсистему, относятся к периферии. Конечно, нельзя говорить, что лексемы делятся только на два класса: центральные и периферийные; можно выделить несколько степеней периферийности, на чем мы сейчас останавливаться не будем. Вопрос противопоставления центра и периферии имеет и большое практическое значение, например, в отношении того, что помещать в словарь того или иного объема или какую лексику давать раньше в учебнике.

Отнесенность той или иной лексики к основному фонду во многом зависит от особенностей жизни говорящих на данном языке. Например, в японском языке сюда относятся лексемы *tokonoma*, *shoji*, поскольку предметы, ими обозначаемые, занимают большое место в жизни японца; в русском же языке соответствующие лексемы находятся на самой дальней периферии, поскольку встречаются лишь тогда, когда говорится о японском быте. Однако отношение лексем в плане центра и периферии зависит и от чисто языковых причин.

Лексике основного словарного фонда противопоставляются другие классы лексики, входящие в одну или несколько подсистем. Как бы по одну сторону лексики основного фонда находятся лексика книжная и поэтическая. Общее у этих классов — то, что они не употребляются в устном бытовом общении. Как правило, они употребляются в расчете на неопределенного собеседника; научный, газетный или поэтический текст рассчитан на восприятие большим количеством людей, о которых автор может ничего не знать, это во многом сохраняется и для устных текстов такого рода (публичные лекции, чтение поэзии в концерте и т. д.); отметим, что термин «книжный» не следует смешивать с термином «письменный»: книжная лексика вполне может употребляться в устных докладах, лекциях и т. д. Конечно, книжная и поэтическая лексика часто связана и с особыми значениями, которых, как правило, нет нужды выражать в быту. Но последнее может быть не всегда, например, японские книжные лексемы типа *shinrin* 'лес' такого значения не имеют.

Особенности книжной лексики в отличие от поэтической в том, что она, как правило, лишена модальных компонентов значения (впрочем, некоторые ее подклассы, например политическая лексика, включают в значение своих единиц компоненты, связанные с положительной или отрицательной оценкой), лишена в связи с этим того, что называют эмоциональностью, экспрессивностью, в книжной

лексике большую роль играет терминология (хотя книжная лексема и термин — не одно и то же, см. ниже). Книжную лексику можно делить на подклассы: политическую лексику, научную лексику и т. д. Эти подклассы могут делиться на еще более дробные подклассы: лексику отдельных наук и т. д.

Поэтическая лексика, наоборот, отличается большой эмоциональностью, в значении таких лексем большое место занимают модальные компоненты различного вида, часто значение в основном сводится к ним. Как правило, в ее составе не бывает терминов. В составе поэтической лексики много лексем, образованных с помощью метафоры и метонимии, и лексем индивидуального характера, используемых тем или иным автором в целях большей выразительности и больше никем не употребляемых. В других подсистемах, прежде всего в книжной, лексем индивидуального характера стараются избегать, если же какой-то автор предлагает новую лексему, он рассчитывает на то, что она будет употребляться и другими.

Как бы по другую сторону лексики основного словарного фонда расположена лексика разговорная и просторечная. Разговорная лексика — та, которую любой достаточно образованный носитель языка может употребить в бытовом общении, но не в текстах книжного или поэтического характера. Отметим, что бытовое общение может быть и письменным (личная переписка). Главная особенность устных и письменных текстов, связанных с бытовым общением, в том, что они рассчитаны на определенного, конкретного собеседника (или нескольких собеседников). В разговорной лексике большую роль играют модальные компоненты значения, терминов здесь сравнительно мало. Просторечная лексика также связана с бытовым общением, в ней также большую роль играют модальные компоненты значения. Однако в отличие от разговорной она употребляется в основном недостаточно образованными людьми и не входит в литературный язык (см. ниже). Разновидностью просторечной является грубая лексика, связанная с отрицательным отношением говорящего к собеседнику.

В японском языке к книжной лексике относится большинство канго, многие из них рассчитаны на письменное употребление. Имеются и книжные ваго: *chiyo* ‘тысяча поколений’. Примерами поэтической лексики могут служить *tamaarare* ‘град’ и др. Очень развитая поэтическая лексика существовала в классической поэзии на старописьменном языке, однако далеко не все из этих лексем перешли в современный язык. К разговорной лексике относятся *poribukuro* ‘полиэтиленовый мешок’, *urusagata* ‘придира’, *katatsumbo* ‘глухой на одно ухо’. К просторечию относятся *bakabakashiku* ‘ужасно, чертовски’, *noroma* ‘дубина, болван’, *pombiki* ‘обжуживание’ и др.

Вопрос о разграничении разговорной и просторечной лексики приводит нас к вопросу о том, что такое литературный язык. Наличие подсистем в системе языка необходимо и неизбежно, но оно во многом мешает общению: человек, знающий только одну подсистему, не во всем будет понимать человека, владеющего только другой подсистемой. Для понимания языка всеми говорящими на нем из большого

количества подсистем отбирается определенная часть, которая становится тем или иным путем нормой языка. Эти подсистемы должны быть понятны каждому, говорящему на языке, и могут использоваться для общения в самых различных ситуациях. Становление нормы языка того или иного народа обычно происходит на этапе образования наций; в первую очередь нормируется письменный вариант языка. В Японии письменная норма существовала в том или ином виде со средних веков, этой нормой было т. н. бунго, сильно отличавшееся от разговорного языка. В конце XIX — начале XX в. происходит становление новой нормы для письменного варианта языка и появление нормы для устного варианта. В настоящее время в Японии существует определенная норма, образующая литературный язык, на котором ведется обучение, на котором печатается литература, ведутся радио- и телепередачи.

Хотя в литературном языке имеется меньше подсистем, чем в языке вообще, и он не может не быть неоднородным: в частности, в него входит общая, книжная, поэтическая и разговорная лексика. Помимо просторечия в него не входят лексемы диалектные (в отличие от просторечия, она свойственна речи лиц, проживающих на определенной территории) и жаргонные (лексика узких профессиональных групп, обычно не понятная людям, не входящим в эти группы). Такая лексика, в первую очередь диалектная и жаргонная, понятна лишь части лиц, говорящих на данном языке, и не может служить целям общения между всеми его носителями. Конечно, и литературный язык может быть непонятен некоторой части говорящих на этом языке, которые могут, например, владеть только диалектом, но с ростом образования число таких людей уменьшается. В современной Японии почти нет людей, совершенно не знающих литературный язык, хотя степень владения им, конечно, различна. Нелитературная лексика обычно используется людьми с низким уровнем образования, но это не всегда так (ср. студенческие жаргоны и т. д.).

Мы за недостатком времени не будем останавливаться на диалектной и жаргонной лексике японского языка. Несмотря на широкое распространение литературного языка, диалекты в Японии продолжают существовать и оказывают некоторое влияние на литературный язык.

Более подробно следует остановиться на профессиональных подсистемах. Помимо жаргонов, лежащих вне литературного языка, имеются терминологические подсистемы, входящие в литературный язык. Противопоставление терминологической и нетерминологической лексики не надо смешивать с противопоставлением книжной и не книжной лексики: термины могут не быть книжными, ср. рус. *рубанок*, *бульдозер* и т. д. Чтобы понять сущность термина как лексемы особого рода, нужно вернуться к тому, что мы говорили в § 1 о значении и понятии. Термины — это те лексемы, значение которых почти совпадает с понятием (с точностью до того, что значение связано с конкретным языком). При толковании термина мы фактически описываем некоторое понятие. С изменением понятия меняется и значение лексемы, например лексема *атом* в прошлом означала «неделимая частица» (она происходит

от греческого *атомос* ‘неделимый’), теперь ее значение изменилось. Этим терминологическая лексика отличается от нетерминологической. В большинстве случаев термины не имеют синонимов, поскольку при ясном и четком значении термина наличие другого термина с тем же значением явно избыточно; наличие синонимии в терминах указывает на неупорядоченность системы терминов в данном языке, обычно из нескольких таких синонимов со временем остается один (см. выше, § 6). Часто по строению термина уже можно понять его место в системе, в виде примера как в русском, так и в японском языке можно привести названия сложных органических веществ; японскому языку в целом это более свойственно, чем русскому, благодаря широким словообразовательным возможностям канго. Термины обычно не имеют модальных компонентов значения, однако термины общественных наук часто включают в свое значение компоненты, связанные с отношением говорящего к тому, что обозначается термином.

В японском языке в сфере терминологии господствуют канго, в последнее время появилось и много терминов-гайрайго. Исконная лексика, как правило, нетерминологична, лишь в последнее время широко начали создаваться термины-ваго для замены непонятных на слух канго.

Терминологические системы языка влияют друг на друга, термины могут переходить из одной системы в другую (что, конечно, сопровождается появлением в вокабуле новых лексем); часто такие переходы происходят в массовом масштабе: многие авиационные термины (как в русском, так и в японском языке) стали терминами космонавтики, во многих языках военные термины широко проникают в спортивную терминологию: ср. яп. *kyoori* ‘дистанция’, *jinchi* ‘позиция’. Термины могут появляться и за счет переосмысления нетерминологической лексики: яп. *nakasugi* ‘посредничество’ и ‘реле’, *daisandan* ‘третья ступенька (лестницы)’ и ‘третья ступень (космического аппарата)’. Могут происходить и обратные переходы, например яп. *jiuui* ‘свобода’, *byoodoo* ‘равенство’ и др. происходят от буддийских или конфуцианских терминов.

Другим важным подклассом лексики является экспрессивная лексика. Этот класс в какой-то степени противоположен терминологии: в значении этих лексем большую роль играют разного рода модальные компоненты, а значение, связанное с внеязыковой действительностью, часто отходит на второй план; экспрессивная лексика богата синонимами. Поэтическая и просторечная лексика, как правило, экспрессивны, но экспрессивная лексика может входить и в основной словарный фонд: рус. *конечно*, яп. *zehi*.

Наконец, в языке можно выделить подсистемы, связанные с полом и возрастом говорящего. Для каждого языка можно выделить подсистему, в которую войдет всё то, что могут употреблять мужчины, говорящие на данном языке, и подсистему, в которую войдет всё то, что могут употреблять говорящие на нем женщины. Для русского и других языков эти подсистемы почти совпадут друг с другом, и ограничить их очень трудно. В японском языке имеются значительно более явные различия. Как правило, если мы возьмем письменную фиксацию бытового разговора,

не зная, кто говорит, мы безошибочно сможем определить, что произнесено мужчиной, а что — женщиной. В книжных текстах различия мужской и женской речи сглаживаются, и пол автора не играет существенной роли.

Мужская и женская подсистемы японского языка различаются во многих отношениях (особенно ясно различаются они модальными частицами). Среди их различий есть и лексические. Например, *hara* 'живот' женщины вне фразеологизмов не употребляют, а *okabe* 'соевый творог', *ogushi* 'волосы' не употребляются мужчинами. Особенно заметны эти различия в личных местоимениях, например местоимения 1-го лица *boku*, *ore* употребляются только мужчинами, а *atashi* — только женщинами; местоимения 2-го лица *kimi*, *omae* в основном употребляются мужчинами, женщины так говорят лишь в особых случаях.

Особыми чертами обладают и детские подсистемы, ср. особые лексемы вроде яп. *porro* 'пазуха', *potron* 'живот' и др.

Несколько по-разному говорят и взрослые люди в зависимости от возраста, хотя здесь различия менее четки, чем при выделении мужской и женской подсистем. Например, в Японии женщины употребляют местоимение 1-го лица *watashi* независимо от возраста, мужчины обычно употребляют его, лишь если им больше 50–55 лет. Мужчины среднего и младшего поколения обычно вне официальных ситуаций и случаев обращения к низшим называют себя *boku*, мужчины старшего поколения употребляют *boku* лишь в фамильярных ситуациях. Другое местоимение 1-го лица (довольно грубое) *washi* употребляют лишь пожилые мужчины.

Противопоставление возрастных подсистем во многом связано с выделением в языке устарелой лексики (архаизмов). Например, *washi* в современном языке уже становится архаизмом и, видимо, имеет тенденцию вовсе исчезнуть из системы языка. То же относится к лексике, употреблявшейся в вежливой переписке (т. н. *soorobun*), которая еще иногда встречается, но используется уже редко. Обычно архаизмы сохраняются некоторое время в речи старшего поколения.

Некоторые архаизмы уже не употребляются вовсе, но еще могут быть понятны, и поэтому возможно их применение в целях того, чтобы сделать текст старомодным (например, в самурайских фильмах говорят на современном языке, но с использованием некоторых архаизмов). От архаизмов следует отличать историзмы — лексемы, обозначающие исчезнувшие явления, типа яп. *shogun*, *ronin*, *genro*. Эти лексемы не исчезли из системы языка и обычно не проявляют тенденции к исчезновению, но под влиянием внеязыковых причин они из центра языка перешли в его периферию, став историческими терминами. Иногда архаизмы могут вновь стать употребительными: яп. *ikusa* 'война', *ijin* 'иностранец', одно время не употреблявшиеся, в недавнее время стали вновь появляться в книжных текстах.

В какой-то степени обратное архаизмам явление — неологизмы, т. е. лексемы, недавно появившиеся в языке и воспринимающиеся как новые, т. е. еще не вошедшие в большинство его подсистем. В отличие от архаизмов, неологизмы могут

не быть связанными с возрастными различиями в языке. Как пример японских неологизмов можно привести *kenkyuushin* ‘сотрудник научно-исследовательского института’, *kaikyooyuikoku* ‘ядерные державы’ и др. Как уже говорилось, много неологизмов среди гайрайго.

§ 14. Особенности лексической системы современного японского языка

О многих таких особенностях уже говорилось в различных параграфах этого курса. Здесь мы суммируем кратко наиболее важные из них.

К ярким особенностям японского языка относится выделение трех классов единиц разного происхождения (ваго, канго и гайрайго), обладающих различными свойствами. Во многом следствием этого является обилие синонимов в японском языке; во многом существование данных классов способствует и другой особенности: большому количеству омонимов. Японский язык также отличается большими возможностями образования сложных лексем: помимо их образования путем словосложения (особенно в канго), широко используются разные виды сокращений, а также преобразование словосочетаний (в частности, фразеологизмов) в лексемы; преобразовываться в лексемы могут образования самого различного типа, ср. *ganjanaiabyoo* из *gan ja nai ka* ‘не рак ли?’ и *byoo* ‘болезнь’ (название психической болезни, при которой человеку представляется, что он болен раком). Если сравнить японский язык с русским, то можно видеть, что японским сложным лексемам очень часто соответствуют русские словосочетания (свободные или фразеологизмы).

Конечно, практически невозможно подсчитать общее количество слов в языке (даже в какой-то определенный момент времени), даже самые полные словари не могут включить в себя всю лексику. Поэтому нельзя ставить вопрос о том, в каком языке больше лексем, а в каком — меньше. Но имеются подсчеты, показывающие, что 5000 самых употребительных слов французского языка покроют примерно 96 % текста, в английском языке — 93,5 %, в японском тот же процент, что в английском, будет составлять не 5000, а 15 000 слов (по-видимому, при этом подсчете учитывались не лексемы, а словоформы), 96 % японского текста покрывают 22 000 слов. Таким образом, в японском тексте одной и той же длины содержится больше разных слов, чем в английском или французском (сопоставления с русским языком пока не проводились). Эти подсчеты показывают, что для достаточного владения японским языком, видимо, надо выучить больше лексем, чем в случае английского или французского.

Отметим тот факт, что средняя длина японской лексемы довольно велика, имеется много более чем двухсложных лексем. В литературе указывалось, что английские или французские пьесы в японском переводе требуют иногда в два раза больше времени для исполнения, чем те же пьесы в оригинале.

Уже говорилось о том, что в японском языке ударение не играет такой смысловоразличающей роли, как, скажем, в русском; помимо самого характера ударения здесь играет роль и то, что в разных диалектах ударения во многих лексемах различны, а литературные нормы здесь не столь строги, как в других случаях.

Следует также очень кратко сказать об особенностях, связанных с современным состоянием японской письменности. Несмотря на ряд мер по упорядочению системы письма, японские лексемы часто не имеют устойчивого написания; ряд вариантов написания признается и реформой, кроме того, иероглифы, исключенные из иероглифического минимума, в некоторых случаях продолжают употребляться; также нет четких правил в отношении окуриганы (написания каной части словоформы, обычно грамматической). Помимо этого, на лексическую систему оказывает влияние сам характер письменности, во многом иероглифической. Иероглифическое написание (особенно при отсутствии окуриганы и фуриганы — дублирования написания каной) дает возможность неоднозначного прочтения текста. Это приводит к большому количеству ошибок, некоторые из которых могут закрепиться в языке и стать нормой: вежливый глагол *gozaimasu* 'быть' появился из-за ошибочного прочтения глагола *owashimasu* по ону вместо куня.

Наконец, специфика японского языка проявляется еще в одном вопросе, которого мы до сих пор не касались в этом курсе. Этот вопрос мало изучен, однако по существу он один из центральных в языкознании. Это вопрос языкового именования, того, каким образом в том или ином языке обозначаются те или иные языковые явления. Мы коснемся лишь одного аспекта этого вопроса — насколько дифференцированы те или иные значения в японском языке. Этот аспект указывает на то, что с точки зрения японского языка является более важным, а что — менее существенным; всё это, конечно, тесно связано с условиями жизни и культурой того или иного народа. Безусловно, эта связь во многих случаях далеко не прямая; кроме того, лексическая система языка может меняться в существенных чертах медленнее, чем условия жизни, поэтому, например, дифференциация японской лексики может отражать не культуру современных японцев, а культуру прошлого. Отметим, что часто изучение дифференциации лексики того или иного языка может дать данные по истории соответствующего народа, особенно если у нас нет прямых исторических свидетельств: даже если бы мы не знали историю японцев, мы могли бы на основе данных языка предполагать, что этот народ издавна связан с морем и морской промысел там был развит больше, чем животноводство.

Конечно, мы не можем считать, что какое-то значение не может быть выражено в таком-то языке. Каждый язык достаточно богат, чтобы можно было на нем выразить любое значение, в выражении которого есть необходимость (в том числе и путем заимствования, на основе которого в данном языке появляются новые лексемы). Однако всё же эти значения в разных языках выражаются по-разному. Во-первых, некоторое значение может в одном языке выражаться лексемой, в другом — длинным описательным выражением, например некоторые названия японских реалий

мы можем перевести на русский язык только описательно (другой способ — прямое заимствование этих лексем), фактически мы не столько здесь переводим, сколько толкуем. Такие случаи могут быть не только при обозначении реалий, ср. яп. *uzamate* ‘озноб после принятия горячей ванны’, не имеющее прямых соответствий в русском. Во-вторых, какие-то различия в значении могут быть прямо отражены в одном языке и не отражены в другом, тем самым одной лексеме одного языка в другом может соответствовать несколько несинонимичных лексем; например, рус. *вода* соответствуют яп. *mizu* и *ui*, различие между которыми может быть передано лишь толкованием (соответственно ‘холодная или умеренной температуры вода’ и ‘горячая вода’). В-третьих, одно и то же значение может передаваться единицами центра в одном языке и периферии — в другом; помимо реалий, где это очевидно, бывают более сложные случаи, например рус. *кишки*, *печень* и соответствующие лексемы европейских языков распространены широко как в научных текстах, так и в бытовой речи, а их японские эквиваленты *choo*, *kanzoo* представляют собой медицинские термины, обычно не употребляющиеся в быту; вне сферы медицины и биологии данные значения в Японии просто очень редко выражаются.

Таким образом, хотя в любом языке можно как-то выразить любое значение, но возможности эти различны. Рассмотрим, каковы эти возможности в японском языке.

В японском языке довольно мало лексики с качественным значением. Прилагательных, особенно исконных, в нем мало. Многим русским качественным прилагательным вроде *бородатый*, *носатый*, *красочный*, *пахучий* и т. д. в японском не соответствуют лексемы, соответствующие значения могут выражаться только описательно.

В плане конкретной лексики можно отметить следующее. Мало дифференцированы названия домашних животных. Если в европейских языках много разнокоренных лексем, обозначающих самцов, самок, детенышей, иногда животных разного возраста, то в японском, как правило, для названия каждого животного имеется одна лексема (*uma*, *ushi* и т. д.). Зато очень много лексем, связанных с морским промыслом и рыболовством (характерно, что часть из них записывалась иероглифами, изобретенными в Японии, ср. рус. *рыба* соответствуют яп. *sakana* (живая рыба или приготовленная в пищу), *uo* (только живая), *gyoourui* (как зоологический термин), *gyooniku* (как продукт питания), *kaigyoo* (морская рыба), *kawazakana* (речная рыба).

Богата лексика, связанная с погодой (здесь тоже много иероглифов японского изобретения), ср. особые лексемы типа *kogarashi* ‘холодный осенний ветер’. Разнообразны названия сезонов года. Мало дифференцированы названия небесных светил, названия планет и звезд очень периферийны и относятся к специальной астрономической лексике (в русском же языке названия планет и некоторых звезд широко известны); это, кстати, указывает на то, что японцы обычно не плавали на дальние расстояния.

Весьма дифференцированы названия рельефа и морских просторов (ср. *oki* и *nada* ‘открытое море’ — не синонимы, хотя различие их для нас трудно объясни-

мо), в этой сфере лексики почти нет канго. Условиями жизни японцев легко объяснить и то, что там очень дифференцирована лексика, связанная с водой (ср. много лексем, обозначающих промокание и отсыревание).

Лексика, обозначающая растения, птиц и насекомых, весьма богата, что связано с большим количеством их в Японии.

Как уже говорилось, названия человеческих внутренностей в японском языке периферийны и обычно не употребляются в быту. В то же время обозначения запахов тела и характера кожи более разнообразны, чем в европейских языках, ср. *wagika* 'запах пота из подмышек', *mochihada* 'нежная белая кожа', *samohada* 'шершавая кожа'.

Лексика, обозначающая ощущения, довольно бедна. Например, рус. *твердый* и *жесткий* соответствует одна лексема *katai*. Характерно, что *miru* 'видеть' и *kiku* 'слышать' могут быть записаны несколькими иероглифами, здесь семантические различия китайского языка отсутствуют в японском. Впрочем, здесь недифференцированность значения компенсируется за счет большого количества сложных глаголов с *miru* и реже *kiku* как с первым компонентом.

Лексика, связанная с психологическими состояниями, весьма богата. Например, при обозначении грустных эмоций используются *kanashii*, *aware(na)*, *sabishii*, *setsunai*, всё это не синонимы. Некоторые лексемы такого рода труднопереводимы на русский язык, например *oshii*, *kawaii*; мы должны эти частые лексемы толковать или переводить неточно.

Много имеется модальных лексем типа *tabun*, *osoraku*, *nantonaku* и т. д. Что касается глаголов, то дифференциация глаголов движения несколько меньше, чем в русском языке, зато очень много глаголов, связанных с работой. Весьма дифференцированы глаголы со значением приготовления пищи: *niru* 'варить', *wakasu* 'кипятить', *fukasu* 'варить на пару', *yuderu* 'варить, кипятить'. Отметим и часто замечаемую дифференциацию глаголов со значением 'надевать': *kiru* (одежду), *haku* (брюки, обувь), *kaburu* (головной убор), *hameru* (перчатки, кольцо), *shimeru* (пояс), *kakeru* (очки, значок).

Еще раз следует отметить, что в японской лексике богато отражены социальные отношения, находящие отражение в компонентах значения, связанных с вежливостью. Во многих случаях в лексемах имеется указание на то, что то или иное лицо (собеседник или же лицо, связанное с тем, что обозначается данной лексемой) рассматривается как высшее равное или низшее по отношению к говорящему или какому-то другому лицу. Например, *aisuru* 'любить' употребляется лишь тогда, когда объект любви не является высшим по отношению к тому, кто любит, то же относится к *kawaigaru* 'любить, быть ласковым', причем *aisuru* еще можно употребить при обозначении чувств к равному, а *kawaigaru* можно только низшего. Напротив, *uyatai* 'почитать' обозначает отношение низшего к высшему. В плане отражения социальных отношений следует указать и на особый класс лексики, употребляемой только в отношении императорской семьи; в последнее время, впрочем, почти вся эта лексика стала исчезать.

С социальными отношениями связано и то, что в японском языке много обозначений подарков, благодарностей, извинений, часто довольно трудно выявить различия в значении между ними.

В последние десятилетия в японском языке появилось большое количество лексем, противопоставленных по признаку «нечто в японском стиле — то же в европейском (точнее, американском) стиле» (ср. упоминавшиеся выше пары *gohan* — *raisu*, *tsukue* — *teeburu*).

Имеет японский язык особенности и в плане передачи пространственных отношений. В чем-то дифференциация в нем меньше, чем в русском: рус. *на* и *над* соответствует яп. *ue*, но иногда пространственные уточнения в японском более детальны, ср. распространенную лексему *ekimae* ‘пространство, площадь перед вокзалом’, переводимую на русский лишь описательно, или специфические для японского языка лексемы *tate* ‘вертикаль, отвес’, *yoko* ‘горизонталь, поперечник’, *oki* ‘пространство в глубине’.

Система японских числительных очень богата за счет наличия большого количества счетных элементов (классификаторов): помимо *hitotsu* и *ichi* ‘один’ имеются *hitori* ‘один человек’, *ippon* ‘один цилиндрический предмет’, *ichimai* ‘один плоский предмет’, *ippatsu* ‘один выстрел’, *ippuki* ‘одна доза’, *hitosuji* ‘один лентообразный предмет’, *hitokumi* ‘один набор’ и т. д.

Наконец, особенностью японского языка является наличие большого количества звукоподражательных и образоподражательных лексем. Они составляют особый, четко выделяемый класс лексики. В отличие от русского языка, где встречаются главным образом звукоподражания, в японском широко распространены и образоподражания, в которых некоторым образом выражаются зрительные, осязательные и др. представления. Такого рода лексика в японском языке менее периферийна, чем в русском, в отличие от последнего звукоподражания и образоподражания японского языка могут встречаться в самых разных текстах, включая научные; даже в военных текстах они могут встретиться, когда указывается, какие звуки издаются при разрыве снарядов того или иного типа, а также для указания на действия газов.

Таким образом, японская лексика имеет ряд интересных особенностей в плане большей или меньшей дифференциации тех или иных значений.

§ 15. Основные типы словарей

Нам осталось рассмотреть вопрос о том, как лексика языка отражается в словарях.

Все словари прежде всего можно разделить на двуязычные и одноязычные. Одноязычные словари можно разделить на толковые (в широком смысле этого слова) и словари-тезаурусы, представляющие собой списки слов. Толковые словари можно, в свою очередь, подразделить на собственно толковые, энциклопедические и идеологические.

Двуязычные (реже — трехязычные, четырехязычные и т. д., о которых мы специально говорить не будем) словари создаются в целях перевода с одного языка на другой, поэтому в них устанавливаются переводные эквиваленты между языками. Такими эквивалентами являются в большинстве случаев лексемы или фразеологизмы, толкования применяются лишь в редких случаях, когда лексема не поддается прямому переводу (примеры см. в предыдущем параграфе), также могут даваться указания на сочетаемость лексем, обычно в случаях, когда сочетаемость переводных эквивалентов различна, на подсистемные характеристики (пометы).

Бывают два основных типа двуязычных словарей: словари для перевода с чужого языка на родной и словари для перевода с родного языка на чужой. Эти словари строятся по-разному. Например, в японско-русском словаре для русских при иероглифическом написании японских лексем необходимо давать их транскрипции, что обычно не нужно в японско-русском словаре для японцев, зато в последнем необходимо указывать род и тип склонения русских существительных, чего не нужно в словаре для русских. Поэтому для каждой пары языков, например русского и японского, необходимы не два, а четыре словаря.

Большую важность имеет вопрос о том, какую лексику включать в словарь. Конечно, включение всей лексики в словарь невозможно, но многие двуязычные словари включают в себя максимально возможное в данном случае количество лексики, причем не обязательно лексику литературную (вопрос об отборе литературной лексики для двуязычных словарей, особенно для перевода на родной язык, не так актуален, как в случае одноязычных словарей), примером такого словаря является Большой японско-русский словарь под редакцией Н. И. Конрада. Напротив, в небольшие двуязычные словари включается лишь лексика основного словарного фонда. Могут быть и словари какого-то подъязыка. Довольно редко встречаются словари какого-то подъязыка в целом (к этому типу близок Японско-русский словарь Л. А. Немзера и Н. А. Сыромятникова, куда входят основной словарный фонд и лексика политического характера), чаще встречаются словари, куда входят только лексемы, специфические для подъязыка (технические, внешне-торговые, военные и др. словари).

К двуязычным близки и словари, где даются переводные эквиваленты двух разновидностей одного языка: исторические словари (два разных временных состояния языка), диалектные словари (литературный язык и диалект, иероглифические словари без толкований (два вида письменной фиксации одного языка)). Обычно в них включается не вся лексика: в исторические и диалектные включается лишь лексика, не совпадающая с современным литературным языком, в иероглифические — лишь лексика, записываемая иероглифами. Исторические и диалектные словари бывают лишь одного типа, аналогичного словарям для перевода с чужого языка на родной, поскольку в создании словарей другого типа нет необходимости.

Из одноязычных словарей прежде всего следует сказать о толковых (в узком смысле этого слова) и энциклопедических словарях. Общее между ними в том, что их цель — объяснить то, что значат те или иные лексемы. Однако объясняют они

по-разному: толковые словари объясняют значение, а энциклопедические — понятие. Энциклопедические словари дают представление о современном словарном уровне научных знаний, толковые — отражают те компоненты значения, которые можно выделить у данной лексемы.

В связи с этим в толковые и энциклопедические словари включается разная лексика. В энциклопедические словари обычно включаются лишь термины. В толковые словари, в зависимости от их размера, включается или по возможности вся лексика языка, или ее наиболее существенная часть. Как правило, в толковые словари включают лишь литературную лексику (бывают и исключения типа словаря В. И. Даля). В европейской словарной традиции, кроме того, принято не включать в толковый словарь или давать отдельно имена собственные, в японских толковых словарях это ограничение не накладывается. Могут быть и словари, обладающие одновременно свойствами толковых и энциклопедических (т. н. «Большой Ларусс» во Франции, некоторые японские словари, в частности «Кооҗиен»).

Помимо вопроса о включении в словарь тех или иных лексем современного языка при составлении толкового словаря встает вопрос о том, в каких исторических пределах включать в словарь лексику. В русские толковые словари обычно включается лексика периода от времени творчества А. С. Пушкина до наших дней. Для японских толковых словарей, особенно первой половины XX в., характерно стремление включать в той или иной степени лексику всех исторических периодов, зафиксированных на письме.

Наряду с общими толковыми словарями бывают и словари, включающие в себя лишь какой-то класс лексики, обычно вызывающий трудности у говорящих на языке: бывают словари иностранных слов, архаизмов, неологизмов (последние два класса словарей не распространены у нас, но широко известны в Японии) и др. К особым типам толковых словарей можно отнести и фразеологические словари в случае, если они снабжены толкованиями.

К толкованиям в словаре предъявляются следующие требования (не всегда выполняемые в реальных словарях): однотипность (тот же компонент значения должен выделяться везде, где его можно выделить, и во всех случаях одинаково называться), отсутствие круга в толковании (не должно быть так, чтобы лексема А толковалась с помощью лексемы Б, а Б — с помощью А), расчленение значения на компоненты (в идеале на семы).

Обычный толковый словарь помимо толкований включает также пометы, указывающие на вхождение лексемы в те или иные подсистемы, фразеологизмы, в состав которых входит данная лексема, и примеры употребления лексем. Усовершенствованный тип толкового словаря — т. н. толково-комбинаторный словарь (пока существуют лишь фрагменты такого словаря для русского языка) — включает также типичные способы выражения значений, связанных со значением данной лексемы (синонимы, антонимы, конверсивы, параметры), и данные о сочетаемости лексемы с другими (типы управления и сведения о семантической сочетаемости).

Идеологические словари отличаются от толковых и энциклопедических способами подачи материала. Здесь не разъясняется значение лексемы или соответствующее понятие, а, наоборот, указывается на то, как может быть выражено данное значение или обозначено дано понятие. Порядок таких словарей — не алфавитный, а содержательный; определенным образом классифицируются понятия или значения. Идеологических словарей русского и японского языка пока не существует (некоторое представление об идеологическом словаре может дать «Детская энциклопедия», где, однако, не выделяются словарные статьи), но для французского, испанского и некоторых других языков они были составлены. Поскольку системы языковых значений пока недостаточно разработаны, существующие идеологические словари соотносятся с энциклопедическими, а не с толковыми.

Словари-тезаурусы представляют собой списки лексем без толкований или с толкованиями лишь части из них. К этому типу относятся: 1) словари, показывающие нормы языка — орфографические и орфоэпические (словари правильного произношения и ударения); 2) словари единиц языка, находящихся в регулярных отношениях, — словари синонимов, антонимов, омонимов; 3) частотные словари, дающие данные о том, насколько часто встречаются в текстах те или иные лексемы; 4) словари основной лексики языка, составляемые обычно в учебных целях; 5) словари рифм; 6) обратные словари, где лексемы (или чаще словоформы) расположены в алфавитном порядке не по первым буквам, а по последним; для языков с развитой суффиксацией такие словари позволяют сблизить словоформы с общей суффиксальной частью; 7) словари пословиц и поговорок, крылатых слов и т. д. К словарям-тезаурусам могут относиться и фразеологические словари, а также словари лексики какого-то писателя или памятника, часто такие словари являются одновременно частотными (у нас — словарь языка А. С. Пушкина, в Японии — большое количество словарей языка классических памятников), однако эти словари могут быть и толковыми: подготавливаемый словарь языка В. И. Ленина будет толковым для лексики, специфической для марксистско-ленинского учения, и тезаурусом для общеобиходной лексики.

Особый тип словаря, который нельзя включить ни в один из указанных классов, — этимологический словарь, в котором объясняется происхождение той или иной лексемы и даются ее соответствия в родственных языках. Для многих языков, в том числе русского, имеются выполненные на высоком научном уровне этимологические словари, для японского пока таких словарей не существует.

В заключение назовем ряд наиболее значительных толковых словарей японского языка (следует отметить, что словарное дело в Японии находится на очень высоком уровне и количество изданных словарей весьма велико). Первым словарем такого рода был составленный в начале века словарь, выполненный виднейшим ученым Оцуки Фумихико. В 30-х гг. Симмура Идзуру составил толковый словарь «Jien», а несколько позднее — его расширенный вариант «Коојien», бывший до последнего времени самым полным словарем; этот словарь неоднократно

переиздавался, а в 1969 г. вышло его расширенное издание, подготовленное коллективом авторов под руководством Симмура. В настоящее время издается коллективный двадцатитомный словарь японского языка, по объему значительно превосходящий все предыдущие. Следует также отметить словарь под редакцией Токиэда и Ёсида, меньший по объему, чем все вышеуказанные, но отличающийся большой строгостью и тщательностью толкований, ряд средних по объему словарей, в частности словарь под редакцией Киндаити Кёсукэ, а также ежегодно выходящие словари новых слов, в частности словарь, выпускаемый газетной компанией «Асахи».

О СООТНОШЕНИИ ИСКОННЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Хорошо известно, что языки оказывают то или иное влияние друг на друга; эти явления приводят к различного рода изменениям в языковой системе. Процесс языкового контакта и изменения в языке, им вызываемые, неоднократно исследовались советскими и зарубежными лингвистами¹.

Процесс изменений, происходящих в одном языке под влиянием другого, может изучаться в различных аспектах. Наряду с изучением этого процесса в историческом развитии интерес, как нам кажется, представляет и изучение его результата, т. е. того, как в системе того или иного языка распределяются между собой исконные и заимствованные элементы, какие особенности они имеют. Некоторые ученые отрицают возможность синхронного описания исконных и заимствованных элементов ввиду того, что при таком описании многие заимствованные единицы ничем не будут отличаться от исконных². Однако часто в системе языков можно в той или иной степени выявить особенности, которыми обладают только исконные или только заимствованные элементы, причем эти особенности четко осознаются носителями языка. Поэтому, как нам представляется, синхронное описание исконной и заимствованной подсистем системы языка, проводимое, в частности, чехословацкими лингвистами³, вполне правомерно.

При таком описании соотношение исконных и заимствованных элементов в языке может оказаться отличным от их соотношения, выявленного на основании изучения истории языка. Например, многие лексические заимствования в языке могут ни по фонетическому, ни по грамматическому облику, ни по семантике не отличаться от исконных единиц (ср. в русском языке такие слова, как *собака, лошадь, товар, плуг, кровать* и т. д.); эти единицы могут быть выявлены как заимствования лишь ученым-лингвистом путем исторического анализа языка и сопоставления его с другими, с точки зрения современного языка такие единицы

¹ См., например, работы, включенные в сб. [Новое 1972], а также: [Серебренников 1952; Розенцвейг 1972] и др.

² См.: [Хауген 1972].

³ См.: [Trnka 1964].

не отличаются от исконных⁴. Для многих языков такие единицы составляют значительную часть лексики, однако в таком языке с четко разграниченными исконной и заимствованной подсистемами, как японский, элементов такого рода сравнительно немного. В то же время другие заимствованные единицы сохраняют особенности, отсутствующие у исконных элементов. Многие заимствования имеют и семантические особенности, связанные с передачей ими иностранных реалий; наконец, многие заимствования могут быть выделены в связи с ограниченностью функционирования: они свойственны не всем подъязыкам (стилям), а лишь некоторым, прежде всего книжным, часто они также используются не всеми носителями языка, а лишь некоторыми, наиболее образованными или принадлежащими к особым социальным группам. Выделяя эти особенности, можно разграничить в языке подсистему исконных единиц и одну или несколько подсистем заимствованных единиц, каждая из которых обладает определенными признаками.

Соотношение систем исконных и заимствованных элементов в разных языках различно. Например, в современном русском языке подсистема заимствованных элементов явно периферийна в системе языка (заимствованные в прошлом элементы, вошедшие в базовую лексику, как правило, неотличимы от исконных), эта система довольно едина (признаки, которыми в русском языке заимствованные элементы могут противопоставляться исконным, свойственны заимствованиям из самых различных языков). В современном английском языке можно, по-видимому, выделить не одну, а две подсистемы заимствованных элементов: подсистему романских заимствований и подсистему заимствований из других языков; из них лишь вторую можно в полном смысле слова назвать периферийной. В то же время русский и английский, как и многие другие языки, сходны тем, что исконная и заимствованная системы в них нечетко отграничены друг от друга.

С другим явлением мы имеем дело в современном японском языке. Под влиянием специфических исторических условий, в результате которых на японский язык влияли языки, резко отличные от него по строю, в японском языке на разных уровнях выделяются четко отграниченные друг от друга подсистемы единиц различного происхождения.

Можно выделить три основные подсистемы: исконную подсистему, подсистему китайских заимствований и подсистему европейских заимствований. На периферии языка находятся также не образующие единой системы единицы иного происхождения, обладающие особыми чертами: заимствования из старописьменного языка, заимствования из диалектов.

К исконной подсистеме относятся те единицы, которые могут быть признаны исконными с точки зрения современного языка (эти единицы в японской лингвистике именуются «ваго»). Вопрос о том, какие единицы этого класса действительно

⁴ [Trnka 1964: 185].

исконны, окончательно не решен наукой, так как родственные связи японского языка до конца не выяснены⁵. В состав ваго входят и несомненные заимствования: поздние заимствования из алтайских языков, заимствования дописьменного периода из китайского языка⁶. Однако для современного языка эти различия не имеют значения: все ваго представляют собой достаточно давно существующие в языке единицы, осознаваемые как исконные и противопоставленные китайским и европейским заимствованиям.

Наряду с исконными единицами в японском языке в течение уже длительного времени существует большое количество заимствований из китайского языка, так называемые канго. Эти заимствования занимают особое место в системе японского языка, отличное как от места исконных единиц, так и от места других заимствований. Причины этого заключаются в том огромном влиянии, которое оказала в свое время на Японию китайская культура. Одним из проявлений этого влияния было заимствование китайской иероглифической письменности. Процесс заимствования иероглифики продолжался в течение нескольких веков, в VIII в. уже существовала развитая литература, записывавшаяся иероглифически, но читавшаяся по-японски. Иероглифические тексты могли читаться в Японии и по-китайски, при этом китайское произношение сильно менялось под влиянием фонологической системы японского языка. Таким образом, вместе с иероглифами заимствовались и китайские морфемы и слова, записывавшиеся этими иероглифами, постепенно сложилась система китайских заимствований со своими фонологическими, грамматическими и семантическими особенностями. Первоначально эта система реализовалась в основном в текстах официального, религиозного и др. характера, записывавшихся чисто иероглифически (так называемый камбун)⁷, в чисто японских литературных памятниках IX–XII вв. китаизмов еще мало⁸; по-видимому, немного их было и в устной речи того времени. Однако постепенно количество китаизмов в литературе росло, проникали они и в устную речь, хотя большинство китайских по происхождению единиц и в современном языке имеет книжный характер (см. ниже)⁹.

В результате указанного выше процесса сложилась современная система китайских по происхождению единиц. Эта система представлена большим количеством элементов: каждый иероглиф, кроме иероглифов, изобретенных в Японии,

⁵ В японском языке, по-видимому, выделяются два слоя лексики, сопоставляемые с лексикой алтайских и малайско-полинезийских языков: на то, какой из этих слоев действительно исконный, существуют разные точки зрения (см.: [Сыромятников 1972; Murayama 1974; Miller 1971]).

⁶ См.: [Сыромятников 1975; Miller 1967].

⁷ Наряду с иероглифами с VIII в. стали появляться специфически японские системы письма (виды так называемой каны) на основе иероглифов.

⁸ См.: [Сыромятников 1983].

⁹ Об истории китайских заимствований в японском языке см.: [Конрад 1954; Nihongo 1963–1965; Yamada 1937; Toodoo, Kondoo 1960; Miller. 1967].

имеет, хотя бы потенциально, «китайское чтение» (он)¹⁰, т. е. имеется единица китайского происхождения, записываемая данным иероглифом. Именно «он» прежде всего является единицей, непосредственно заимствованной из китайского языка; среди лексем, которые в большинстве случаев состоят из нескольких онов, есть как прямые заимствования из китайского языка, так и лексемы, возникшие в самой Японии и не имеющие параллелей в китайском языке.

Европейские заимствования стали появляться в японском языке с XVI в., когда японцы впервые столкнулись с европейцами. Заимствования этого периода типа *pan* 'хлеб', *tabako* 'табак' во многом потеряли характер заимствований и сблизились с исконными единицами. Массовый характер заимствования из европейских языков приняли после буржуазной революции Мэйдзи (1867–1868), когда в Японии шло освоение западной культуры. Особенно интенсивным процесс заимствования стал в послевоенные годы. До первой половины XX в. заимствовались единицы различных европейских языков, в последнее время почти все заимствуемые элементы приходят из английского языка, обычно в его американском варианте. Заимствования, восходящие к другим языкам, чаще всего приходят в японский язык через английский, что отражается в их фонетическом облике¹¹. Процесс заимствований из европейских языков по своему характеру во многом отличен от процесса заимствования из китайского. Единицы европейского происхождения появляются в японском языке в основном устным путем; как правило, передается их произношение, а не написание, что отличает их как от китайских заимствований в японском, так и от большинства заимствований из одного западноевропейского языка в другой. В отличие от заимствований из китайского, заимствования из европейских языков — как правило, целые лексемы. Лишь изредка встречаются лексемы, образованные в Японии: существуют слова *sarariiman* 'служащий', *eagaaru* 'стюардесса', хотя в английском соответствующие сочетания *salary man*, *air girl* не фиксируются.

Так в японском языке сложилась система, в которой четко выделяются три основные подсистемы единиц, различающихся своим происхождением. Эти подсистемы до сих пор четко осознаются носителями языка. Хотя происходит взаимопроникновение подсистем и некоторые различия между ними стираются, принадлежность той или иной единицы языка к той или иной подсистеме не вызывает сомнения ни у лингвиста, ни у достаточно образованного носителя языка, чему способствует система японского письма: европейские заимствования, как правило¹², не записываются иероглифически, а пишутся одной из двух национальных азбук — катаканой, которая в современном языке в основном применяется для

¹⁰ После Второй мировой войны был установлен иероглифический минимум, в который не включены многие оны, однако и они еще в определенной степени употребляются.

¹¹ Об истории и современном состоянии европейских заимствований в японском см.: [Неверов 1966; Miller 1967: 240–244, 249–256].

¹² Исключение составляют наиболее адаптированные слова.

этих целей; китайские заимствования до реформы письма 1946 г. писались только иероглифами; исконные единицы пишутся частично иероглифами, частично другой национальной азбукой — хираганой. После реформы 1946 г. китаизмы в ряде случаев пишутся хираганой, а иногда и катаканой, что делает менее различимыми единицы в зависимости от их происхождения. Однако до сих пор каждому иероглифу приписываются «китайское чтение» (он) и «японское чтение» (кун), которые разграничиваются в словарях и в процессе обучения; даже если иероглиф связан с одним чтением, известно, к чему оно относится: к онам или кунам. Но, безусловно, кроме указанной традиции и особенностей письма на выделяемость единиц в зависимости от их происхождения влияют их особенности на разных ярусах языковой системы, которые мы, по необходимости кратко, рассмотрим в данной статье.

Прежде всего рассмотрим строение фонологического яруса в каждой из трех подсистем, т. е. системы фонем и правила комбинирования их в составе слога в каждой подсистеме¹³. Системы фонем сами по себе отличаются друг от друга сравнительно мало: к числу основных отличий можно отнести существование в европейской подсистеме как особых фонем *f* и *ts*, которые в двух других подсистемах являются позиционными вариантами соответственно *h* и *t*; некоторые периферийные фонемы, например долгие *a*, *i*, не встречаются в китайской подсистеме; долгое *m* существует лишь в исконной подсистеме (впрочем, вопрос о существовании данной фонемы в японском языке спорен). Однако положение многих фонем внутри подсистем различно, разную роль играют и некоторые противопоставления фонем. Это прежде всего противопоставления согласных и гласных по долготе и краткости и противопоставление согласных по твердости — мягкости, а также положение в системе конечнослоговой фонемы *n*¹⁴. Все указанные противопоставления отсутствовали в древнеяпонском языке и появились первоначально в китайских заимствованиях, это же относится и к конечнослоговому *n*; позднее, ввиду взаимодействия подсистем, эти специфические черты китайской подсистемы проникли в исконную, существуют они и в европейской подсистеме. Однако в исконной подсистеме, за исключением отдельных случаев, долгие и мягкие фонемы, так же как конечнослоговое *n*, периферийны, встречаясь в составе

¹³ Существует другой подход, по которому, например, фонологическая система европейских заимствований в японском языке понимается как система особенностей, отличающих заимствования от исконных единиц; см. [Неуступны 1967: 170]. Однако, на наш взгляд, правомерно считать, что европейские (как и китайские) заимствования в японском языке обладают, в частности, общей фонологической системой, куда входят все фонемы и их сочетания, возможные в данном классе элементов языка.

¹⁴ Мы исходим из наиболее распространенной в советской японистике точки зрения, в основном восходящей к работам Е. Д. Поливанова. Существуют другие взгляды на многие указанные здесь явления, например, мягкие согласные трактуют как сочетания с йотом, однако разные способы описания могут лишь по-разному распределить данные особенности между составом фонем и составом слога.

небольшого количества морфем, часто экспрессивного характера. В европейской подсистеме, хотя единиц, в которых содержатся долгие фонемы, численно много, противопоставление по долготе — краткости имеет сравнительно небольшое смысловозначительное значение, что проявляется в значительных колебаниях их написания¹⁵. В китайской же подсистеме все указанные фонемы распространены очень широко и противопоставления по твердости — мягкости и краткости — долготе играют большую смысловозначительную роль. Вообще китайская подсистема не имеет четкого деления фонем на периферийные и непериферийные, что свойственно исконной подсистеме. Однако в обеих этих подсистемах периферийная фонема *p*, встречающаяся лишь в ономастопозитической лексике, в европейской подсистеме *p* встречается чаще.

Структура слога в исконной и китайской подсистемах весьма проста: за исключением слогов с конечнослоговым *n* в основном употребляются слоги типов CV и V. Структура слога в европейской подсистеме сложнее, в ней в большей степени допустимы стечения согласных. Сочетаемость фонем внутри слога с учетом указанных выше различий в исконной и китайской подсистемах принципиально не отличается друг от друга, в европейской же подсистеме существуют слоги, не встречающиеся в двух других: *du, tu, ye* и др.¹⁶

Наряду с фонологическими особенностями подсистемы имеют и морфонологические, проявляющиеся в разной слоговой структуре морфем. Подсистемы различаются, во-первых, разным количеством слогов в морфеме, во-вторых, возможностью или невозможностью проведения морфемных границ внутри слога. Единицы исконной и европейской подсистем не имеют принципиальных ограничений на количество слогов в морфеме, в обеих подсистемах преобладают многосложные морфемы. В китайской же подсистеме преобладают односложные морфемы и очень редки более чем двусложные. Это связано с тем, что единица китайской подсистемы, записываемая одним иероглифом (так называемый он), имеет очень строгие правила строения: они бывают либо односложными, либо двусложными, причем вторым слогом может быть лишь один из четырех: *ki, ku, chi, tsu*. В большинстве случаев «он» равен морфеме, однако бывают случаи, когда последовательности, записываемые несколькими иероглифами, семантически неразложимы (например, *aisatsu* 'приветствие', *mahi* 'паралич'), в этих случаях морфемы китайской подсистемы имеют более сложное строение, чем обычно. Однако такие случаи не так часты.

В исконной подсистеме (только в глаголе) возможно проведение морфемных границ внутри слога (ср. *yomi* 'читаю, читаешь, читает...' *yomi* 'читаю', *yome* 'читай!'). Такие случаи не свойственны ни китайской, ни европейской подсистемам, но по разным причинам. В европейской подсистеме они принципиально возможны, но нехарактерны, так как европейские заимствования, как правило, лексемы,

¹⁵ См.: [Неуступны 1967: 152].

¹⁶ [Там же: 155–158].

для японского языка не разложимые на морфемы, поэтому случаи, когда две заимствованные морфемы идут подряд, вообще редки. В китайской подсистеме эти случаи невозможны, так как они невозможны в языке-источнике, а процесс пере-разложения в японском языке не происходил.

Характер морфем в каждой из подсистем различен. Если исходить из предложенного Э. Сепиром деления единиц языка по значению на лексические, деривационные, конкретно-реляционные и чисто-реляционные¹⁷, то можно видеть, что лишь исконной подсистеме свойственны все четыре класса единиц. В китайской подсистеме встречаются лексические, деривационные (суффикс прилагательных *-teki*, суффикс *-shugi*, соответствующий русскому *-изм*, и др.), конкретно-реляционные (префикс вежливости *go-*, показатель императива *-choodai*, показатель вероятности *-yoo* и некоторые другие¹⁸), но не чисто-реляционные единицы. В европейской подсистеме встречаются лишь лексические единицы. Такая картина отражает обычное в языках соотношение исконных и заимствованных элементов, однако наличие китайских по происхождению деривационных и особенно конкретно-реляционных элементов указывает на большое влияние китайского языка на японский.

Большие различия существуют и в области словообразования. Лексемы европейской системы, как правило, одноморфемны, случаи многоморфемных лексем типа *sarariiiman* 'служащий' немногочисленны, в европейской подсистеме отсутствуют продуктивные словообразовательные типы (но возможно образование сцеплений, см. ниже). Как бы другой полюс представляет собой китайская подсистема, лексемы которой, как правило, состоят из двух и более морфем; лексемы же, созданные за последние десятилетия, как правило, не менее чем трехморфемны¹⁹. Исконная подсистема занимает промежуточное положение: в ней распространены как одноморфемные, так и многоморфемные лексемы.

Исконная и китайская подсистемы имеют ряд продуктивных словообразовательных моделей и обладают своим набором деривационных аффиксов, которые, как правило, сочетаются с лексическими морфемами той же подсистемы. При словосложении китайские морфемы, как правило, сочетаются с китайскими, а исконные — с исконными, причем китайские морфемы сочетаются непосредственно, а исконные — обычно с помощью соединительных элементов²⁰.

Хотя исконная подсистема имеет продуктивные модели словообразования, ее словообразовательные возможности ограничены²¹. Морфемы же китайского происхождения имеют почти неограниченные возможности для их комбинирования

¹⁷ См.: [Сепир 1934: 69–72].

¹⁸ Эти единицы заимствовались как лексические и получили грамматический характер в самом японском языке.

¹⁹ См.: [Лаврентьев 1966: 171–172].

²⁰ Подробнее см.: [Пашковский 1955; 1959: 44–48].

²¹ См.: [Kindaichi 1957].

и создания новых лексических единиц. Способствует этому и краткость китайских морфем по сравнению с исконными. Это во многом явилось причиной того, что исконных лексических единиц очень мало среди научной, технической, политической, военной и пр. терминологии. До середины XX в. в этих областях безраздельно господствовали китаизмы, которые в последнее время заметно вытесняются европейскими заимствованиями.

Однако лексемы китайской подсистемы имеют особенность, препятствующую их широкому распространению в устной речи. Простая структура слога в японском языке вообще и простая слоговая структура морфемы в китайской подсистеме приводят к исключительно большому числу омонимов, точнее, омофонов (в иероглифическом написании они обычно различаются). Поэтому языковая политика в Японии последнего времени, особенно в области средств массовой коммуникации, заключается в ограничении использования единиц китайской подсистемы и замене их на исконные и европейские²².

Китайской подсистеме свойствен словообразовательный способ аббревиации, заключающийся в образовании сложных слов путем отсечения части онов от словосочетаний и сцеплений типа *zennoo* (дословно ‘все сельское хозяйство’, а фактически ‘Всеяпонский крестьянский союз’ — сокращение от *Zenkoku-noominkumiai* с тем же значением). Аббревиация свойственна и европейской подсистеме, но другого характера: происходит отсечение части слогов многосложной лексемы, например *puratohoomi* ‘платформа’ сокращается до *hoomi*. Исконной подсистеме оба типа аббревиации не свойственны.

Только в китайской подсистеме возможны случаи типа *пуиикoo* ‘заход в порт’, где зависимый элемент *oo* ‘порт’ присоединяется к главному элементу *пуии* ‘заход’ постпозитивно. Здесь сохранен китайский порядок компонентов и нарушен общий закон порядка в японском языке, по которому всегда зависимый элемент предшествует главному.

Особым явлением, свойственным преимущественно китайской подсистеме, является существование так называемых сцеплений — последовательностей, состоящих из потенциально неограниченного числа лексических морфем, соединенных непосредственным соположением без участия каких-либо грамматических показателей; эти последовательности грамматически оформляются как единое целое и составляют один член предложения. Весьма сложным является вопрос о том, что представляют собой такие единицы: сложные слова или словосочетания. В советской японистике представлены как первая²³, так и вторая²⁴ точка зрения.

В любом письменном японском тексте можно встретить очень большое количество таких единиц, большинство которых состоит только из морфем китайского происхождения. Вот несколько примеров, взятых только из одного абзаца статьи

²² См.: [Корчагина 1975: 10].

²³ См.: [Плетнер, Поливанов 1930: 44–45].

²⁴ См.: [Пашковский 1963].

из газеты «Акахата» за 14 июня 1975 г.: *am-poo-haki-shookuuu-kantetsu-chiuoo-jikkoo-iinkai* 'центральный исполнительный комитет по исполнению требований о разрыве (договора) безопасности', *kempoo-kaigi* 'конституционная конференция', *jiyuu-hoosoo-dan* 'группа юристов-демократов', *goodoo-toosoo-hombu* 'объединенный штаб борьбы', *seiji-shikin-kiseihoo-ryookai-aku-an* 'план изменения в худшую сторону двух законопроектов о регулировании средств, расходуемых на политическую деятельность', *ryookai-aku-an-soshi* 'задержка плана изменения в худшую сторону двух (законопроектов)', *san'in-dankai* 'стадия (прохождения законопроекта через) палату советников'.

Во всех приведенных выше примерах все морфемы китайского происхождения. Однако можно встретить и сцепления смешанного характера: в том же номере газеты *shoohisha-beika-hikiage* 'повышение потребительских цен на рис' (*hikiage* 'повышение' исконно), *Oohira-zooshoo* 'министр финансов Охира' (фамилия исконно японского происхождения), *kokunaisei-remon* 'лимоны, произведенные в Японии' (*remon* 'лимон' — европейское заимствование). Могут быть и сцепления из одних европейских единиц (часто — прямая передача английских словосочетаний): в телепрограмме того же номера газеты *buruusukai-dansu-ookesutora* 'танцевальный оркестр «Blue sky»'. Сцепления из одних исконных единиц почти не встречаются. Несомненно, хотя в этом плане китайская подсистема влияет на исконную, сцепления остаются преимущественно особенностью китайской подсистемы.

Различия между подсистемами проявляются и в распределении лексем по частям речи. Все европейские заимствования, за незначительным исключением, существительные. Лексемы китайской подсистемы, как правило, существительные, и лишь немногие из них могут быть непредикативными прилагательными²⁵, причем основы китайской подсистемы не имеют признаков части речи, которые проявляются лишь в разной сочетаемости с грамматическими показателями. Некоторые основы могут сочетаться и с показателями, характерными для существительных, и с показателями прилагательного. Все единицы других частей речи исконны.

На уровнях более высоких, чем уровень лексемы (фактически на уровнях более высоких, чем уровень основы слова), если не учитывать сцепления, различия между подсистемами невелики. В плане сочетания основы слова с аффиксами словоизменения и в плане сочетания знаменательных слов со служебными европейские лексемы практически не отличаются от исконных. Единственное частное отличие можно увидеть в том, что по нормам языка европейские заимствования не рекомендуется сочетать с вежливым префиксом *o- / go-*, однако на практике такие сочетания вполне возможны²⁶. Более заметны особенности китайской подсистемы. Во-первых, они также проявляются в сочетаемости с вежливым префиксом.

²⁵ Если считать особой частью речи в японском языке числительное, то китаизмы будут входить и в этот класс.

²⁶ См.: [Алпатов 1973: 90–91].

Для единиц исконной подсистемы нормой является их сочетаемость с его вариантом *o-*, для единиц китайской подсистемы — с вариантом *go-* (сами варианты различаются по происхождению). Однако из этих правил существуют многочисленные исключения²⁷. Во-вторых, более существенными являются различия в образовании глагольных синтагм. Как уже говорилось, среди лексем китайской подсистемы нет глаголов; но член предложения глагольного характера может быть образован от потенциально любого элемента китайского происхождения присоединением служебного слова *suru* (как самостоятельный глагол означает ‘делать’). Такие конструкции — яркая черта китайской подсистемы, однако встречаются случаи сочетания *suru* и с единицами исконного или европейского происхождения²⁸.

В остальном единицы китайской подсистемы соединяются с аффиксами словоизменения и служебными словами так же, как и единицы исконной подсистемы (если не считать ограничений, связанных с тем, что китаизмы принадлежат не к любой части речи). Китайские по происхождению грамматические элементы, кроме *go-*, в плане сочетаемости никак не отличаются от исходных единиц. Таким образом, морфология и система служебных слов в японском языке сохраняют исконный характер, хотя в числе аффиксов и служебных слов есть небольшое число единиц китайского происхождения.

Единицы более высокого уровня, начиная от синтаксем (членов предложения), и способы их соединения не имеют каких-то особенностей, связанных с различиями подсистем. Синтаксис японского языка не имеет китайских или европейских черт, имея сходство с синтаксисом алтайских языков²⁹. В то же время надо учитывать, что в японском языке есть китайское по происхождению средство, эквивалентное синтаксису словосочетания, — образование сцеплений (сцепления, кроме терминологических, могут быть легко трансформированы в словосочетания путем вставления между компонентами грамматических показателей).

Подводя итоги, можно сказать, что различное влияние, оказанное на систему японского языка со стороны других языков, было связано как с характером влияния на Японию того или иного народа и его культуры, так и со строем оказавшего влияние языка. Наиболее сильное влияние оказал китайский язык. В результате в системе языка образовалась особая подсистема, в которой сохранились многие черты строя китайского языка: односложность морфемы (неабсолютная в японском языке), словообразование путем непосредственного соположения компонентов, образование последовательностей, в которых отношения между элементами передаются только порядком компонентов без грамматических показателей (эти последовательности могут быть эквивалентны словосочетаниям); сильно

²⁷ См.: [Алпатов 1973: 85–86].

²⁸ См.: [Вардуль 1968: 40].

²⁹ Не следует все же отрицать определенного влияния других языков на японский и в области синтаксиса, в частности на развитие союзной связи в сложных предложениях.

отличалась от исконной подсистема китайских заимствований и фонологически. Отметим, что процесс заимствований китайских единиц по существу закончился более тысячи лет тому назад, более поздние заимствования из китайского не играют в японском языке значительной роли. В дальнейшем заимствованные из китайского языка единицы развивались исключительно в рамках системы японского языка; происходило взаимопроникновение исконной и китайской подсистем, но до сих пор они имеют отличия. Единицы китайской подсистемы в наибольшей степени свойственны книжным стилям языка, однако многие из них существуют и в разговорных стилях; трудно представить ситуацию, в которой совершенно бы не использовались китайские заимствования. Все это дало возможность таким ученым, как Н. И. Конрад и А. А. Холодович, говорить о том, что японский язык во многом можно назвать японо-китайским³⁰. Однако грамматический строй японского языка в своей основе сохранил исконные черты.

Влияние европейских языков на японский оказалось значительно меньшим, в основном оно проявляется в заимствовании лексики, которая в целом более периферийна, чем лексика китайского происхождения. Кроме того, большое количество заимствований из английского языка привело к проникновению в японский язык некоторых его фонологических особенностей. На других уровнях влияния европейских языков не наблюдается, особенности европейских заимствований здесь если и есть, то в основном в негативном плане (почти полное отсутствие словообразования). Система европейских заимствований отличается также тем, что процесс лексического заимствования из европейских языков активно продолжается и в настоящее время.

Таким образом, японский язык представляет собой пример языка, где исконные единицы и два класса заимствований достаточно четко отграничены друг от друга.

³⁰ См.: [Конрад 1937: 31; Холодович 1937: 27–28].

О ПОКАЗАТЕЛЯХ МНОЖЕСТВЕННОСТИ И КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о показателях множественности в японском языке имеет довольно большую литературу, хотя и редко служил предметом специального исследования (нам известны лишь две статьи А. А. Холодовича, первая из которых лишь частично посвящена данному вопросу) (см. [Холодович 1946а; 1946б]). Об этом обычно говорится в грамматиках японского языка, написанных европейскими и американскими исследователями, поскольку для них, как правило, важным является вопрос об отражении в японском языке категорий, привычных европейцам, в частности категории числа. В таких случаях чаще всего указывается, что категории числа в обычном понимании в японском языке нет, что множественное число может в случае необходимости выражаться особыми показателями или редупликацией, в том же случае, когда нет необходимости указывать число, оно не обозначается; см. [Конрад 1937: 51; Плетнер, Поливанов 1930: 37–38; Смирнов 1890: 204; Спальвин 1933: 166; Фельдман 1960: 31; Chamberlain 1886: 9; Jordan 1962: 148]. То же говорится и в работах японских ученых; см. [Kokugogaku 1955: 568; Nihon 1971: 346 и др.]. В целом же вопрос о категории числа в японском языке не привлекает особого внимания японских исследователей. Показатели множественности традиционно относятся в японской науке не к служебным (*joshi* и *jodooshi*), а к деривационным (*setsubiji*) элементам, которым, как правило, уделяется значительно меньшее внимание. Достаточно подробные описания этих единиц можно найти, пожалуй, лишь в толковых словарях [Кооџиен 1969; Kokugo 1973: 15] и сопоставительных грамматиках японского и английского языков [Shin-meikai 1972].

Обычно указываются три способа, обозначающие множественность: суффиксы множественности, префиксы множественности и редупликация. Из этих способов наиболее распространенным и, по-видимому, единственным регулярным является использование специальных показателей множественности, обычно относимых к суффиксам.

Для современного языка можно выделить четыре таких показателя: *tachi*, *ra*, *gata* и *domo*.

Эти показатели присоединяются только к именам, включая личные и некоторые указательные местоимения, однако не ко всем, а лишь к одушевленным,

включая и названия животных: *ushitachi* (In: 112) ‘быки’, *hitsujitachi* ‘овцы’; *sakanatachi* ‘рыбы’, *doobutsutachi* ‘животные’ (последние три примера взяты из детских и научно-популярных телепередач)¹. Для их присоединения к одушевленным именам, по-видимому, нет ограничений, кроме семантических, связанных в основном с категориями вежливости (такого рода ограничения в отношении сочетаемости с местоимениями будут рассмотрены ниже).

Обычно эти показатели рассматриваются как показатели множественного числа (другая точка зрения у А. А. Холодовича; см. ниже). Действительно, во многих случаях их присоединение служит для передачи значения, аналогичного значению множественного числа в европейских языках: *Wakai monotachi wa oya to isshoni wa kurashitaku nai no da* (IA: 142) ‘Ведь молодые люди не хотят жить вместе с родителями’; *Konokatatachi o go-annai shite* (МК: 511) ‘[Я] провожу их’; *Hanninra wa sakini shikei-hanketsu o uketa* (SS, 4.02.1974) ‘Преступники заранее получили смертный приговор’; *Anatagata ga kaerarete kara omoidashita no desu* (ММ: 365) ‘[Я] вспомнил после того, как вы вернулись’ (обращение к двум собеседникам); *Onnadomo wa ore o kozuita* (МН: 69) ‘Женщины меня толкнули’.

Однако не все примеры можно объяснить подобным образом. Например, заголовок одной из статей «Сидзуока-симбун» за 7.02.1974 г. имел вид: *Ishikawa-taishira hitojichi ni*. Если исходить из того, что *ra* — показатель множественного числа, то получим такой перевод: ‘Послы Исикава [взяты] в заложники’. Однако маловероятно, чтобы одновременно были взяты в заложники послы Японии в нескольких странах, да еще с одинаковой фамилией. Действительно, в статье речь идет не об этом, а о захвате персонала японского посольства в Кувейте во главе с послом Исикава. Здесь показатель *ra* явно имеет значение типа ‘и другие’. Можно привести еще несколько примеров подобного рода: *Sono hi o kagiri to shite Kawaitachi wa majan o shi ni konakunakatta* (МН: 109) ‘С этого дня Каваи и другие перестали приходить играть в маджонг’ (речь идет о компании, лишь один из членов которой имел фамилию Каваи); *Ofukuro wa daiichi, niisantachi ni kaette kite hoshii toyuu koto wa tabitabi itte ita* (IA: 198) ‘Во-первых, мать часто говорила, что хочет вернуться к [вам], брат’ (у говорящего только один старший брат, речь идет о его семье).

Показателен такой пример: *Shiminra shisha-hyakusanjuukunin... Giseisha no hontondo wa shimin de...* (SS, 13.02.1974) ‘Погибло 139 горожан и других граждан... Почти все жертвы — горожане’.

Здесь мы имеем дело явно с особым значением. Речь в этих примерах идет не о множестве однородных лиц, а о множестве лиц, аналогичных одному из представителей множества, который обозначается (иногда это главный представитель данного множества, что, однако, не обязательно). Отметим, что этим представителем может, в свою очередь, быть и множество лиц (см. в примере, приведенном выше, *shiminra*, где *shimin* ‘горожане’ — уже не одно лицо).

¹ В отношении животных у нас имеются примеры лишь на показатель *tachi*. Присоединение к именам животных показателей *gata* и *domo* вряд ли возможно в силу семантики последних.

Выявление такого значения не является чем-то новым в лингвистике. Например, в докладе Е. Куриловича на XI Международном конгрессе лингвистов (1972) «Лингвистические универсалии» выделяются две функции категории числа: «математическая» (обозначение множества элементов данного класса) и «эллиптическая» (лицо в совокупности с индивидуумами, группирующимися вокруг него) [Ревзина 1974: 122]. Нетрудно видеть, что именно эти две функции свойственны японскому языку². Этот язык в данном отношении не является каким-то уникальным, указанные два значения множественного числа свойственны и другим языкам, включая русский (ср., например, значение местоимения *мы*). Эллиптическая функция категории числа исследовалась с привлечением материала ряда языков С. Д. Кацнельсоном [Кацнельсон 1949: 92–96]³.

Однако если в русском языке эллиптическая функция периферийна, то в японском языке этого сказать нельзя. На два значения японских показателей множественности уже обращалось внимание, в том числе и японскими лингвистами; см. [Кoojien 1969: 568; Kokugogaku 1955: 1283]. У нас впервые об этом упомянул Е. Г. Спальвин [Спальвин 1933: 166–167], а затем эллиптическая функция была подробно рассмотрена А. А. Холодовичем, посвятившим этому вопросу специальную статью [Холодович 1946б]. В ней подробно исследовано особое значение показателей *tachi* и *ra*, названное репрезентативным (этим термином в дальнейшем будем пользоваться и мы). Отмечая правильность основного вывода А. А. Холодовича, мы не можем согласиться с ним в двух пунктах. Во-первых, вряд ли можно считать, что «есть одна семантика суффикса *tachi*», в также *ra* [Там же: 182–183]. Многие примеры, приведенные выше, могут быть достаточно убедительно интерпретированы как случаи употребления этих показателей в значении обычного множественного числа. Наличие двух значений особенно хорошо видно на примере местоимений 2-го лица: ...*Kisamatachi wa!* (ММ: 401) ‘...Это вы!’ (обращение ко многим собеседникам, обычная множественность) и *Dooshite anatatachi, oya no uchi ni itakunai no?* (IA: 105) ‘Почему вы не хотите жить в доме родителей?’ (разговор с одним собеседником, речь идет о людях, подобных ему, репрезентативное значение). Во-вторых, мы можем согласиться с оценкой выражения отношения говорящего к тому или иному лицу («социальная характеристика», по А. А. Холодовичу) как с «одним из побочных, второстепенных, несущественных значений» [Там же: 181]. Для каждого показателя значение множественности сочетается с определенным значением в плане так называемых форм вежливости (подробнее см. ниже), именно этим в первую очередь показатели отличаются друг от друга.

² Мы здесь не останавливаемся на других значениях множественности [Холодович 1946а: 13–22].

³ Нельзя лишь согласиться с утверждением С. Д. Кацнельсона о том, что подобные явления больше свойственны индоевропейским языкам [Кацнельсон 1949: 94]: по-видимому, скорее можно говорить об обратном.

Однако можно предположить, что они несколько различаются и в плане выражения того или иного значения множественности. Для показателя *ra* репрезентативное значение, по всей вероятности, является основным, некоторые информанты считают его даже единственным, хотя есть примеры и на использование *ra* в другом значении. Показатель *tachi* выражает оба значения в зависимости от контекста; ср. пример, где в одном предложении *tachi* встречается в двух значениях: *Kikuotachi no nenrei no hitotachi wa aijoo ni sorehodo no shinrai o okanaide, motto gutaitekina seikatsu o taisetsuni kangaete ita* (IA: 138) 'Люди в возрасте Кикую и таких, как он, не доверяют в такой степени любви, а думают всерьез о более конкретной жизни'. Показатель *domo* также используется в двух значениях (он присоединяется чаще всего к местоимениям 1-го лица, где возможно только репрезентативное значение, но может употребляться и в значении обычной множественности; пример см. выше). Что же касается *gata*, то, по-видимому, репрезентативное значение для него менее характерно, что отмечают и информанты.

Отметим, что репрезентативное значение имеет еще показатель *nado*, обычно рассматриваемый отдельно; на это указал А. А. Холодович [Холодович 1946б: 184]. В отличие от других показателей *nado* присоединяется и к неодушевленным именам и не имеет значения обычной множественности. При его присоединении к именам людей он получает характер уничижительности: *Watashi nado wa sonna aite no koto yori mo, sonna mono no sammaikyooni botsunyuu-shite ita* (KM: 61) 'Такие, как я, были больше погружены в созерцание самой игры в го, чем в дела противника'. На это указывают и японские исследователи [Nihon 1972–1973, vol. 9]. Показательно, что *nado* и *ra* пишутся одним и тем же иероглифом. Встает вопрос о том, как трактовать показатели множественности. Японские ученые, как было сказано выше, относят их к словообразовательным элементам, мотивируя это нерегулярностью их присоединения к именам; см. [Nihon 1971: 347; Umagaki 1961: 188–189]. Однако мы уже отмечали, что, хотя показатели множественности и не присоединяются к любым именам, они достаточно свободно и регулярно присоединяются к группе имен, образующих четкий подкласс этого класса. Мы не можем согласиться с утверждением некоторых ученых о том, что имена людей (или имена людей и животных) — не обособленная лексическая группа; см. [Nihon 1971: 347]. Поэтому можно считать, что одно из двух требований, необходимых для признания соответствующего элемента значения грамматическим — требование регулярности, — здесь выполнено; см. [Зализняк 1967: 25]⁴.

Однако, наряду с требованием регулярности для грамматических элементов значения, должно выполняться и требование обязательности; см. [Зализняк 1967: 24]. Обычно считается, что показатели множественности факультативны и опускаются в случаях, когда можно без них обойтись. Действительно, во многих

⁴ Ср., например, категорию лица в русском языке, которая остается грамматической, не смотря на то что по лицам фактически изменяются лишь глаголы, обозначающие действия людей.

случаях это верно. Например, подпись под одной из фотографий на советской выставке «Космос» в г. Симидзу (1973–1974) «Летчики-космонавты В. А. Шатаров, А. С. Елисеев, Н. Н. Рукавишников» была переведена на японский язык так: *'Uchuu-hikooshi V. A. Shatarofu, A. S. Eriseeefu, N. N. Rukawishinikofu'*. Здесь слово *uchuu-hikooshi* 'летчик-космонавт' употреблено без всяких показателей множественности, поскольку из контекста понятно, что речь идет о трех космонавтах. Ср. другую фразу из материалов выставки о тех же лицах, где нужен показатель множественности. *Hikooshitachi wa buji chikyuu e kikan-shimashita* 'Космонавты благополучно вернулись на Землю'. В приводившейся выше фразе *Giseisha no hotondo wa shimin de...* 'Почти все жертвы — горожане' при слове *giseisha* 'жертва' также нет показателя множественности, поскольку из контекста ясно, что речь идет не об одном лице. В уголовной хронике газеты «Сидзуока-симбун» от 3.02.1974 г. о группе преступников везде говорится *hannintachi*, однако при указании их количества показатель *tachi* опускается: *Hannin-yonnin* 'четыре преступника'. Таким образом, подобные факты подтверждают положение о факультативности показателей множественности.

Тем не менее необходимо уточнить это положение в двух отношениях. Во-первых, указывалось, что показатели множественности являются для личных местоимений обязательными, а местоимения без этих показателей могут иметь лишь значения единственного числа; см. [Сыромятников 1971: 93; Фельдман 1960: 39; Umagaki 1961: 189–190]. Такая точка зрения подтверждается всеми информантами и анализом собранного нами материала⁵.

Второе уточнение следует сделать в связи с репрезентативным значением показателей множественности. Приведенные выше примеры факультативности передают обычное значение множественности. В то же время опущение показателя *ra* или *tachi* в репрезентативном значении явно приводит к изменению смысла. Например, одна из приводившихся выше фраз при опущении показателя *ra* получит вид: *Ishikawa taishi hitojichi ni* — и может, по-видимому, быть переведена только как 'Посол Исикава [взят] в заложники', фраза *Shimin shishahyakusanjuukunin* — как 'Погибло 139 горожан'; значение типа 'и другие' при этом исчезает (интересно, что здесь контекст при опущении показателя множественности указывает на значение множественного числа, а не единственного). Это отметили все информанты. Таким образом, здесь следует говорить об обязательности выражения соответствующего значения, которое тем самым следует считать грамматическим⁶.

Еще один вопрос, на котором следует остановиться, — это вопрос о том, чем являются показатели множественности — аффиксами или служебными словами.

⁵ Такая обязательность, видимо, появилась недавно; еще в 30-е гг. факультативность отмечалась и здесь; см. [Спальвин 1933: 166].

⁶ Характерно, что близкий по значению элемент *nado* включается рядом исследователей в число грамматических; см. [Конрад 1937: 253–254].

Европейские, в том числе русские или советские, японисты обычно считают эти элементы аффиксами. Японские ученые, не ограничивающие аффиксов словоизменения от служебных слов, относят показатели множественности к деривационным элементам, хотя и отмечают некоторое их сходство с грамматическими показателями; см. [Nihon 1972–1973, vol. 2: 49], тем самым включая их в число бесспорных аффиксов.

Однако такая точка зрения нуждается в проверке. Данные показатели могут отделяться от основы элементами разнообразного характера. Например, могут вклиниваться элементы типа *san*, *kun*, *sensei* и т. д.: в телепередаче о японской экспедиции в Африку во главе с профессором Сато ее участники именовались *Satoo-senseira*. А элементы типа *sensei*, употребляемые как самостоятельные слова в аналогичном значении, могут быть и здесь рассмотрены как слова⁷. Еще более показательны случаи, когда между основой и показателем множественности вставляются самостоятельные слова, что возможно, по крайней мере, в письменных текстах, где могут вклиниваться достаточно длительные последовательности: *Riidaa no Yamagata Syoo-san* (25) *Karitani shi Noda-choo Nishida-ichi-ichi*, *Aichi-Suzuki-joomura joosei-hitori o fukumu sannin ga yukinadare ni ai hookoo-fumei to naru* (SS, 12.02.1974) «Трое [туристов], включая одну женщину, во главе с Ямагата Сё (25 [лет]), [проживающим по адресу]: г. Каритани, квартал Нода 11, директором-распорядителем компании «Айти-Судзуки», попали в лавину и пропали без вести». В этом предложении между фамилией человека и *ra* в репрезентативном значении находится длинный отрезок текста, в котором сообщается возраст, место жительства и работы данного человека. Подобные примеры говорят в пользу того, что показатели множественности являются служебными словами⁸.

Можно указать и на то, что в речи (например, в выступлениях по телевидению) показатели множественности, по нашим наблюдениям, могут отделяться паузой, что, однако, нуждается в экспериментальной проверке.

При чисто агглютинативном характере связи лексем и грамем в составе японских именных синтагм вопрос о границах слова достаточно сложен, и, по-видимому, описание, при котором показатели множественности считают аффиксами, также может быть непротиворечивым, но, на наш взгляд, считать их служебными словами более целесообразно, так как такой подход связан с меньшими трудностями.

Таким образом, мы считаем, что показатели множественности — служебные слова, обладающие по крайней мере двумя значениями, одно из которых (репрезентативное) является грамматическим, другое становится грамматическим лишь для подкласса личных местоимений.

⁷ Возможен и другой подход; см. [Алпатов 1973: 95]. Отметим, что признание *tachi* и пр. грамматическими элементами ведет к большей простоте описания, так как они стоят между грамматическими элементами типа *san* и «падежными» показателями.

⁸ О критериях выделения служебных слов см. [Вардуль 1964: 33–35].

Остается вопрос о различиях четырех показателей множественности (помимо разобранных выше различий в плане выражения двух значений). Общепринято, что они различаются прежде всего в плане вежливости.

Самым вежливым из четырех показателей является *gata*; см. [Конрад 1937: 5; Koojien 1969: 417; Kokugo 1973: 398; Shin-meikai 1972: 196]. Он присоединяется к названиям лиц, в отношении которых нужно выразить определенную вежливость. Это приводит к семантическим ограничениям на круг лексических единиц, к которым присоединяется *gata*: в частности, *gata* не присоединяется к местоимениям 1-го лица, а из местоимений 2-го лица может присоединяться лишь к наиболее вежливым⁹. Информанты признают лишь присоединение *gata* к местоимениям *anata* и *anta* и считают невозможным его сочетание с невежливыми местоимениями *kimi*, *omae* и *kisama*. Действительно, мы имеем примеры на *anatagata* (IA: 107 — женщина малознакомому мужчине; ID: 79 — женщина малознакомой женщине о ней и своем муже; MM: 231 — персонаж-полицейский лицам, дело которых он расследует; MM: 365 — железнодорожный служащий незнакомым пассажирам) и *antagata* (MM: 337 — пожилая женщина незнакомым молодым мужчинам), но не на *kimigata*, *omae-gata* и *kisamagata*, которые, по-видимому, невозможны. Сочетание *antagata* зафиксировано нами лишь в женской речи, значение этого местоимения в мужских подъязыках, видимо, также не допускает его сочетания с *gata*. Примеры, приведенные выше, показывают, что *anatagata*, как и *anata*, употребляется в отношении лиц, которые могут рассматриваться как равные чужие. По отношению к высшим обычно местоимения 2-го лица не используются, в этом случае показатель *gata* также может присоединяться к имени, обозначающему собеседников: *senseigata* (из официальной речи при обращении к группе специалистов), *okusangata* (обращение к участникам конференции домохозяек). Во всех этих случаях по отношению к собеседнику используются только вежливые формы, как адресивные, так и гоноративные (обратное неверно). Обращает на себя внимание, что *gata*, как правило, присоединяется к словам, обозначающим собеседника.

Показатель *domo*, как указывают исследователи [Kokugo 1973: 1515; Конрад 1937: 51], имеет два значения: презрительное по отношению к лицу, которое именуется, и уничижительное; более краткие словари фиксируют лишь последнее значение, для современного языка, видимо, основное; см. [Shin-meikai 1972: 810]. Этим объясняется тот факт, что, по словам информантов, данный показатель из местоимений 1-го лица присоединяется лишь к более скромным *watakushi*, *watashi*, *atakushi*, *atashi* и, возможно, *jibun* (но не к *boku* и *ore*), а из местоимений 2-го лица, наоборот, к самым грубым *omae* и *kisama* (но не к *anata*, *anta* и *kimi*). Ясно, что здесь речь идет о двух разных значениях. Уничижительное значение близко к значению скромных (депрециативных) форм глагола, где передается вежливость к объекту действия, субъектом которого является говорящий или лицо, к нему близкое; обычно при

⁹ О различиях местоимений 1-го и 2-го лица по вежливости подробнее см. [Алпатов 1980].

употреблении *domo* присутствуют и депрециативные формы: *Watashidomo no tachiba ni mo natte mite kudasai... Sonnani o-negai mooshimasu* (IA: 352) 'Попробуйте встать и на нашу точку зрения... Прошу [вас]' (пожилая женщина матери своей невестки); обратное неверно: из употребления депрециативных форм еще не следует употребление *domo*. Второе значение *domo* можно видеть в примерах типа: *Suruto hoka no onnadomo ga, waiwai yotte kite...* (МН: 68) 'Затем и другие женщины с криком приблизились [ко мне]...' (мужчина о проститутках).

Также невежливым обычно считается показатель *ra*; см. [Kokugo 1973: 2191; Конрад 1937: 51]. Можно найти примеры, подтверждающие это: *Yatsura nagai koto undoo-shinai kara kaette arukaseta hoo ga ii n desu* (In: 109) 'Они долго находились без движения, поэтому, наоборот, лучше было бы заставить [их] идти пешком' (*yatsu* — грубое слово, речь идет о быках). С этим связано и то, что, по словам информантов, *ra* может сочетаться с различными местоимениями 1-го и 2-го лица, в том числе и с грубыми.

Однако наряду с примерами типа *washira* (МК: 105; МК: 537 — в обоих случаях речь пожилого крестьянина по отношению к молодым людям) можно встретить и сочетание *ra* с местоимениями, не имеющими значения явной фамильярности или грубости: *watashira* (МК: 408 — старый крестьянин молодому человеку; КҮа: 285 — пожилой мужчина невестке; МН: 211 — женщина мужу о себе и детях) и *bokura* (МК: 205 — полицейский знакомому журналисту; МКi: 19 — пожилой адвокат подчиненному; ММ: 284 — молодой человек на допросе в полиции). Некоторые из этих примеров не подтверждают мнения о том, что *ra* не может употребляться в разговоре с высшим; см. [Shin-meikai 1972: 1152–1153]. Можно отметить, что *ra* в этом случае употребляется как в разговоре с высшими, так и в разговоре с равными и низшими, причем в одних случаях употребляются адресивные формы, в других — неадресивные. Все же при выражении большой степени вежливости обычно *ra* не присоединяется; информанты указывают, что с самым вежливым местоимением 1-го лица — *watakushi* — *ra* может соединяться только в диалектной речи.

Другое значение *ra* имеет в речи, не связанной с собеседником, например в газетной информации (ряд примеров приводился выше). Здесь *ra* широко употребляется применительно к самым различным лицам, независимо от их социального положения и от отношения к ним автора (ср. в упоминавшейся информации о захвате посольства: *Ishikawa-taishira* 'посол Исикава и другие сотрудники посольства' и 'преступники'). Здесь *ra* явно нейтрально в плане выражения отношения к тому или иному лицу (в подобных случаях вообще обычно происходит нейтрализация противопоставлений, связанных с формами вежливости; см. [Алпатов 1973: 30–33, 42–43]), обладая лишь значением множественности. Можно говорить, что здесь один из компонентов значения *ra* по отношению *gata* и *domo*, которые обычно не встречаются в газетных и прочих текстах. Такое значение *ra* широко распространено: характерно в этом отношении мнение некоторых информантов о том, что *ra* — «книжный» элемент.

Наконец, наиболее распространенный (по крайней мере, в устной речи) показатель — *tachi* — может употребляться в самых разнообразных ситуациях по отношению к лицам, занимающим различное положение относительно говорящего. Это находит отражение в том, что, по-видимому, нет никаких ограничений на сочетаемость *tachi* с теми или иными местоимениями 1-го и 2-го лица: информанты признали правильными сочетания *tachi* со всеми местоимениями, в наших примерах встретились *watakushitachi* (Id: 118), *watashitachi* (KYu: 112), *bokutachi* (MM: 337), *oretachi* (IA: 89), *anatatachi* (IA: 169), *antatachi* (IA: 130), *kimitachi* (MK: 262), *omaetachi* (ID: 73), *kisamatachi* (MM: 401)¹⁰. Возможно также присоединение *tachi* и к имени, обозначающему собеседника, о котором говорится в 3-м лице: *okaasantachi* (IA: 137) ‘мама и другие члены семьи’. Часто применяется *tami* и в речи, не связанной с определенным собеседником: в авторском тексте художественных произведений (KYu: 11; MM: 179; MH: 109; In: 109 и др.), в газетной информации (примеры см. выше) и т. д. Не отмечаются особые семантические ограничения и на сочетаемость *tachi* с какими-нибудь прочими именами; характерно, что именно *tachi* обычно прибавляется к названиям животных. Таким образом, *tachi* представляет собой немаркированный член противопоставления в системе показателей множественности, значение которого, исключая общие для всех показателей значения множественности, может быть описано лишь отрицательно: в нем отсутствуют такие компоненты, как вежливое, скромное, грубое отношение к лицу, о котором идет речь. Характерно, что в описаниях *tachi* японскими толковыми словарями ничего не говорится о его значении в плане вежливости [Koojien 1969:1376; Kokugo 1973: 1283; Shin-meikai 1972: 681]. Мы целиком согласны с А. А. Холодовичем, указывающим, что *tachi* в отличие от других показателей нейтрален в плане вежливости [Холодович 1946б: 182]. В то же время нельзя упускать из виду, во-первых, то, что *tachi* не употребляется в некоторых ситуациях, например при необходимости подчеркнуть вежливость к собеседникам, во-вторых, то, что *tachi* противопоставлено другим показателям. Положение *tachi* в системе показателей множественности аналогично положению *watashi* или *boku* (в зависимости от пола и возраста говорящего) в системе местоимений 1-го лица [Алпатов 1980].

В подъязыках, не связанных с определенным собеседником, значения *tachi* и *ra* оказываются сходными. Трудно выявить, существует ли разница между ними, во многих случаях они употребляются в одних и тех же ситуациях. Например, в газете «Сидзуока-симбун» от 3.02.1974 г. о группе преступников говорится *hannintachi*, в номере за 4.02.1974 г. о них же — *hanninra*. Возможно, их различие связано с различием подъязыков (стилей): в авторском тексте художественных произведений преобладает *tachi*, в газетной информации — *ra*.

¹⁰ Сейчас не подтверждается взгляд исследователей первой половины XX в. о том, что каждому местоимению соответствует определенный показатель множественности [Конрад 1937: 51; Спальвин 1933: 166].

В заключение надо сказать несколько слов о других способах выражения множественности. В отличие от рассмотренного способа, они нерегулярны. Так называемые префиксы множественности *sho* и *ban* присоединяются лишь к отдельным именам, образуя лексические единицы, в значение которых входит знание множественности типа *shokoku* или *bankoku* (оба слова значат 'страны'; эти единицы фиксируются словарями [Shin-meikai 1972: 545, 919–925]).

Особое место среди такого рода единиц занимает префикс *kata*. В отличие от всех прочих показателей, связанных с противопоставлением единичности и множественности, он обозначает не множественность, а единичность. Он присоединяется только к неодушевленным существительным, причем к таким, которые обозначают парные предметы: *katame* (KYu: 8, 115) 'глаз', *kataude* (KYu: 143) 'рука', *katate* (In: 172) 'кисть руки', или предметы, одновременно существующие небольшими группами: *katasumi* (In: 54) 'угол'. Для парных предметов показателю *kata* противопоставляется показатель *ryo* 'оба': *ryoohiji* (KYu: 170) 'локти', *ryoowaki* (IA: 336) 'стороны'. В отличие от *kata* показатель *ryo* присоединяется и к именам, обозначающим людей: *ryoheika* (SS, 19.02.1974) 'их величества'. Вряд можно говорить о регулярности этих показателей, также образующих единицы, фиксируемые словарями [Shin-meikai 1972: 195–199].

Что же касается редупликации, то она для современного языка нерегулярна и ее возможность для того или другого имени непредсказуема [Nihon 1971: 346]. Исследователи отмечают, что здесь выражается не значение обычной множественности, а значение собирательности [Плетнер, Поливанов 1930: 38; Холодович 1946б: 17].

Способом редупликации было образовано местоимение 1-го лица *wareware* (в современном языке употребляется только редуплицированный вариант, а простое *ware* отсутствует). Это местоимение достаточно нейтрально в плане передачи отношения к собеседнику: ср. его употребление в вежливой речи заведующего отделом компании с посетителем (МК: 205) и в грубом обращении преступников к своей жертве (МК: 445, 587–589). Отличие *wareware* от других местоимений 1-го лица, по-видимому, в другом. Здесь мы сталкиваемся с особым значением множественности, видимо свойственным и другим редуплицированным именам: *wareware* обозначает единую совокупность лиц, в число которых входит говорящий, противопоставленную какому-то лицу, не входящему в совокупность, иногда собеседнику. Так, в первом из приведенных примеров заведующий отделом говорит о сотрудниках своей компании, противопоставляя их посетителю. Во втором примере один из преступников говорит о своей преступной группе, противопоставляя ее своим противникам, в первую очередь собеседнику. На то, что *wareware* обозначает группу лиц, рассматриваемую как единое целое, указывают также японские словари, отмечающие и другую особенность *wareware*: лица, входящие в данную совокупность, занимают одинаковое положение с говорящим [Shin-meikai 1972: 1205] или же их различия несущественны, по крайней мере по сравнению с различием между говорящим и лицами, не входящими в совокупность.

Таким образом, мы считаем, что в японском языке существует грамматическая категория числа, точнее, две категории, одна из которых связана с наличием или отсутствием обозначения репрезентативной множественности, другая — с противопоставлением единственного и множественного числа в обычном понимании (существует только для местоимений), обе категории выражаются одними и теми же показателями: служебными словами *tachi*, *ra*, *gata*, *domo*, противопоставленными друг другу по вежливости. В других случаях употребление указанных показателей факультативно. Прочие способы обозначения множественности, включая редупликацию, нерегулярны.

В данной статье мы далеко не исчерпали всех аспектов проблемы единичности и множественности в японском языке, эта проблема требует дальнейшей разработки.

Список сокращений

- IA — *Ishikawa Tatsuzoo*. Ai no owari no toki. Tokyo, 1973.
ID — *Ishikawa Tatsuzoo*. Doru ni mamirete. Tokyo, 1972.
In — *Inoue Yasushi*. Ryojjuu. Toogyuu. Tokyo, 1972.
KM — *Kawabata Yasunari*. Meijin. Tokyo, 1973.
KYa — *Kawabata Yasunari*. Yama no oto. Tokyo, 1972.
KYu — *Kawabata Yasunari*. Yukiguni. Tokyo, 1973.
MH — *Matsumoto Seichoo*. Harikomi. Tokyo, 1973.
MK — *Matsumoto Seichoo*. Kage no chitai. Tokyo, 1973.
MKi — *Matsumoto Seichoo*. Kiri no hata. Tokyo, 1973.
MM — *Matsumoto Seichoo*. Me no kabe. Tokyo, 1973.
SS — Shizuoka-Shimbun (газета).

ЧТО ТАКОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ?

В японском языке существует четко выделяемый по морфологическим признакам класс лексем¹ типа *takai* 'высокий', словарная форма которых оканчивается на *-i*. Этот класс единиц принято выделять в особую часть речи как в японской, так и в европейской и американской японистике (в Японии эти единицы принято называть *keiyooshi*, этот термин будем употреблять и мы, поскольку он не вызывает каких-либо ассоциаций). Почти все европейские (в том числе русские и советские) и американские исследователи именуют эти единицы прилагательными. Такая традиция ведет начало от ранних грамматик японского языка ученых XIX в., в том числе Л. Де Рони [Rosny 1856: 28–29], Дж. Дж. Хоффманна [Hoffmann 1868: 105–106], У. Г. Астона [Aston 1896: 17], Б. Х. Чемберлена [Chamberlain 1886: 39], Р. Ланге [Lange 1890: 88], С. Бале [Balet 1899: 123], Д. Д. Смирнова [Смирнов 1890: 247–250] и др. Позднее о прилагательных говорили А. Роз-Иннес [Rose-Innes 1937: 47–52], Б. Блок [Block 1970: 14–18], Э. Джорден [Jordan 1962: 17], Р. Э. Миллер [Miller 1967: 328–333], С. Э. Мартин [Martin 1975: 28 и др.], Дж. Дж. Чью [Chew 1973: 57–59], П. Хартманн [Hartmann 1952: 22], М. Куайо [Coyaud 1971: 59], О. В. Плетнер и Е. Д. Поливанов [Плетнер, Поливанов 1930: XX–XXI и др.], Е. Г. Спальвин [Спальвин 1933: 54–55], Н. И. Конрад [Конрад 1937: 61–62], А. А. Холодович [Холодович 1937: 101–103], Н. И. Фельдман [Фельдман 1960: 33–35] и др.² Термин «прилагательное» (*adjective*, *adjectif*) уже превратился в своего рода ярлык для единиц данного класса и часто употребляется просто как принятое наименование без обоснования правомерности его использования. Некоторые японисты для отграничения данного класса от других, также относимых ими к прилагательным (см. об этом ниже), называют *keiyooshi* «предикативными прилагательными», см. [Фельдман 1960: 34], или «глагольными прилагательными», см. [Hartmann 1952]. Иногда термина «прилагательное» избегают и *keiyooshi* называют «словами качества», см. [Haguenaer 1951: 29–41], или «монемами адъективной природы», см. [Saint-Jacques 1960: 20].

¹ Мы сейчас отвлекаемся от того, что разные лингвисты делят по частям речи разные единицы (лексемы, словоформы, основы слов), поскольку во всех случаях классификация может давать аналогичные результаты, что и имеет место, в частности, в отношении исследуемого нами класса единиц японского языка.

² Некоторые из этих ученых исследовали старописьменный язык, где выделяется такой же класс (словарная форма оканчивается на *-shi*).

Лишь немногие из европейских исследователей не разделяют точки зрения об отнесении данных единиц к прилагательным. Так, автор первой европейской грамматики японского языка Ж. Родригеш (начало XVII в.) относил их к «аномальным глаголам», см. [Rodriguez 1825: 53–54], из современных исследователей не считает их прилагательными Б. Левин, см. [Lewin 1969: 133–139], который указывает, что они могут быть сопоставлены с прилагательными европейских языков лишь семантически, структурно же они совершенно отличны. Б. Левин относит их к особой части речи — *qualitativa*.

В японской лингвистике *keiyooshi* принято выделять в отдельный класс с XVIII в., см. [Фомин 1959: 234–248], а с конца XIX в. для их обозначения существует упомянутый выше общепринятый термин, введенный Оцуки Фумихико. Вначале *keiyooshi* не сопоставлялись с частями речи других языков, но примерно с конца XIX — начала XX в., по-видимому под влиянием европейских грамматик³, и в Японии принято считать, что *keiyooshi* соответствуют прилагательным европейских языков. Такая точка зрения принята в сопоставительных грамматиках японского и европейских языков [Soraniishi 1971: 14]; об этом говорится и в грамматиках японского языка, хотя часто указывается на качественное различие японских и европейских прилагательных [Киэда 1958–1959, т. I: 235–236].

Таким образом, общепринято, что японские *keiyooshi* — это прилагательные; более того, почти всегда именно они рассматриваются как единственный или основной класс японских прилагательных. Однако на чем основана эта точка зрения? Следует рассмотреть синтаксические, морфологические и семантические свойства японских *keiyooshi* и выяснить, насколько они сходны со свойствами прилагательных европейских языков, на основе наблюдения над которыми выработано общее понятие прилагательного.

Наименее специфичны *keiyooshi* по своим синтаксическим свойствам, которые, по сути, не отличаются от свойств глаголов. И те и другие сами по себе, без специальных транспозиторов, могут употребляться в трех синтаксических позициях: сказуемого, определения и обстоятельства (к обстоятельственной мы относим и позицию так называемого срединного сказуемого). В качестве подлежащих и дополнений и те и другие, как правило, сами по себе не употребляются (кроме некоторых специфичных случаев), в этих позициях они могут употребляться при наличии специальных транспозиторов — так называемых субстантиваторов типа *no*, *koto*. Говорить о том, что одна позиция (например, сказуемого) более специфична для глагола, а другая (например, определения) — для *keiyooshi*, у нас нет реальных оснований.

³ Заметим, что автор первой написанной под европейским влиянием грамматики японского языка Цурумунэ Сигэнобу (1833), знавший только грамматики голландского языка, не отнес *keiyooshi* к прилагательным; см. об этом [Yamada 1943: 738–739]. Такая классификация распространилась позднее, когда в Японии уже были известны европейские описания японского языка.

С точки зрения моделей управления *keiyooshi* довольно однотипны: они могут управлять подлежащим с показателем *ga*⁴ или без специального показателя (при наличии частиц типа *wa*, *mo*), кроме того, они могут одновременно управлять двумя членами предложения, один из которых обычно содержит частицы типа *wa*, *mo*, а другой оформлен показателем *ga*, причем первый член всегда обозначает субъект, а второй обозначает либо объект (ср. *Watashi wa inu ga kowai* ‘Я боюсь собак’), либо часть субъекта, к которой относится данный предикат (ср. *Kono musume wa me ga kuroi* ‘У этой девушки глаза черны’). Дополнениями с показателями *o*, *ni*, *de* и т. д. *keiyooshi* управлять не могут. Если сравнить в этом плане *keiyooshi* с глаголами, то, по сути, их различие лишь в том, что модели управления глаголов более разнообразны. Но один из классов глаголов, а именно так называемые стативные глаголы типа *wakaru* ‘понимать’, *dekiru* ‘мочь’, а также глаголы так называемого потенциального залога, имеет ту же самую модель управления⁵. На этот факт обратил внимание Куно Сусуму [Kuno 1973: 74–95].

Таким образом, по синтаксическим свойствам *keiyooshi* не отличаются от глаголов.

Более специфичны *keiyooshi* по морфологическим свойствам. В сущности, именно эти свойства послужили основанием для выделения *keiyooshi* в особую часть речи. Большинство грамматических морфем, входящих в их состав, не встречаются более нигде в системе языка: ср. морфемы *-i*, *-ku*, *-kute*, *-kereba*. Однако почти каждой форме *keiyooshi* может быть поставлена в соответствие некоторая форма глагола так, что грамматическое значение и употребление у них окажутся одинаковыми или хотя бы достаточно сходными. В то же время далеко не всякой глагольной форме соответствует форма *keiyooshi*: если взять, скажем, *keiyooshi takai* ‘высокий’ и глагол *wakaru* ‘понимать’, то соответствующими будут формы *takai* и *wakaru*, *takakatta* и *wakatta*, *takakute* и *wakatte*, *takaku nai* и *wakaranai*, *takaku* и *wakari*. Из всех этих пар лишь для последней сходство частично (ср. *takaku aru*, но **wakari aru*), члены же остальных пар тождественны с точностью до лексического значения. Формы гоноратива типа *o-isogashii* ‘занятый’ соответствуют одновременно гоноративным (*o- ... -ni naru*) и депрециативным (*o... suru*) формам глагола; см. [Алпатов 1973: 88]. Не находят соответствий в системе глагола только формы типа *takoo* от *takai*, употребляемые в сочетании со вспомогательным глаголом высокой степени вежливости *gozaimasu* и изредка употребляемые в книжном стиле старые определительные формы *keiyooshi* на *-ki*, см. [Алпатов 1977: 8–9]; те и другие явно периферийны (о соответствии предположительным формам см. ниже).

Таким образом, и здесь *keiyooshi* оказываются близкими к глаголу. Различия между ними в основном затрагивают лишь план выражения морфем, но здесь

⁴ Если *keiyooshi* занимает определительную позицию, *ga* обычно изменяется на *no*, что свойственно и глаголам.

⁵ Некоторые стативные глаголы, например *aru* ‘быть’, могут управлять в конструкциях с двумя управляемыми членами и членом, оформленным показателем *ni*.

не вполне одина и система глагола: существуют глаголы разных типов спряжения. Особенно важно то, что и у глаголов, и у *keiyooshi* совпадают предикативные и атрибутивные формы при отличии от них обстоятельственных⁶.

Существенные различия между глаголом и *keiyooshi* имеются на первый взгляд с точки зрения состава парадигмы. Хорошо известно, что в отличие от глагола *keiyooshi* не имеют форм пассива, каузатива, императива, желательности. Однако надо учитывать, что соответствующие формы имеют и не все глаголы. В частности, уже упоминавшиеся стативные глаголы также не имеют соответствующих форм, что тоже исследовано в книге Куно Сусуму [Kuno 1973: 136–150].

У *keiyooshi* есть и другие признаки, сближающие их со стативными глаголами. Их формы настояще-будущего времени относятся, как правило, к настоящему, тогда как данные формы у нестативных глаголов либо относятся к будущему, либо обозначают обычные, повторяющиеся действия; см. [Kuno 1973: 136–137]. Это связано с тем, что как стативные глаголы, так и *keiyooshi* не имеют аналитической формы длительного вида. Так называемые предположительные формы у *keiyooshi* и стативных глаголов имеют значение предположения, тогда как у нестативных глаголов они имеют значение приглашения к совместному действию.

Таким образом, с точки зрения морфологии *keiyooshi* имеют свою специфику, но в то же время они сходны с глаголами, прежде всего стативными⁷.

Наконец, семантически они имеют определенное сходство между собой. Все они обозначают некоторые состояния или признаки, но не активные действия. Однако сходные значения могут обозначаться и глаголами, в частности стативными, ср., с одной стороны, *wakaru* ‘понимать’, *dekiru* ‘мочь’, с другой — *itai* ‘болеть’, *hoshii* ‘хотеть’ и пр.⁸ Особенно показательно, что имеется, с одной стороны, глагол *aru* ‘быть’, ‘иметься’, с другой — *keiyooshi nai* ‘не быть’, ‘не иметься’. Точные семантические границы между *keiyooshi* и стативными глаголами, по-видимому, не могут быть установлены.

Наконец, еще больше сближает японские *keiyooshi* с глаголами то, что некоторые формы глагола — отрицательные на *-nai*, желательные на *-tai* — сходны с *keiyooshi*. Если отрицательные формы глагола сходны с *keiyooshi* только морфологически (их модели управления не отличаются от моделей управления утвердительных форм тех же глаголов), то желательные формы на *-tai* имеют и модели управления, аналогичные *keiyooshi*.

⁶ Показательно и то, что в развитии японского языка произошло совпадение ранее различавшихся предикативных и атрибутивных форм как глаголов, так и *keiyooshi*. Это также может служить дополнительным аргументом в пользу сходства данных двух классов лексем.

⁷ Отметим еще одно различие *keiyooshi* и глаголов: отрицательные формы *keiyooshi* аналитичны, глаголов — синтетичны, между *keiyooshi* и показателем отрицания можно вставить частицу типа *wa*.

⁸ Ср. списки стативных глаголов и прилагательных, управляющих объектом с *ga*, у Куно Сусуму [Kuno 1973: 84, 90–91].

Таким образом, глаголы и *keiyooshi* японского языка оказываются сходными между собой, что находит отражение в японской лингвистике, где они рассматриваются всегда как подклассы одного большого класса, имеющего название *yoogen*. Имеется лишь одно отличие *keiyooshi* от глагола в целом: особый набор грамматических морфем (в этом плане *keiyooshi* отличаются от глаголов больше, чем глаголы разных типов спряжения друг от друга). По другим признакам *keiyooshi* не отличаются от стативных глаголов.

Чем же *keiyooshi* сходны с прилагательными европейских языков? Синтаксически они явно различаются: прилагательные сами по себе употребляются прежде всего в позиции определения, в качестве сказуемого же они могут употребляться только в сочетании со специальным транспозитором — связкой⁹, обстоятельственная позиция, по крайней мере во многих европейских языках (ср. латинский, английский), прилагательному также не свойственна¹⁰. Морфологически они также резко отличны: прилагательные европейских языков, отличаясь от существительных синтаксически, сходны с существительными по набору грамматических категорий и отличны от глагола.

Единственным аргументом в пользу признания *keiyooshi* прилагательными может быть семантика. В самом деле, многие (хотя и не все) наиболее типичные прилагательные европейских языков переводятся на японский язык лексемами данного класса. Однако это соответствие лишь частично. С одной стороны, хорошо известно, что японских *keiyooshi* сравнительно немного, и значительное количество прилагательных европейских языков (в том числе все так называемые относительные прилагательные) переводится на японский язык другим способом. С другой стороны, многим *keiyooshi* в европейских языках соответствуют лексемы других частей речи, например в русском: *ooi* 'иметься в большом количестве', 'много', *hoshii* 'хотеть', 'желать', *hazukashii* 'стыдно', *oshii* 'жаль', 'дорожить', *kowai* 'бояться', *itai* 'болеть', 'больно', *urayamashii* 'завидовать' и др.¹¹ Подобное сопоставление наглядно показывает, что семантические границы класса прилагательных в европейских языках весьма неясны, эта часть речи фактически выделяется исключительно по формальным (морфологическим и синтаксическим) признакам и тем более нельзя выделять прилагательные на основе семантики в таком языке, как японский.

По сути, японские *keiyooshi* представляют собой особый класс лексем только по своим морфологическим особенностям, называть же этот класс классом

⁹ Сопоставление *keiyooshi* с русскими краткими прилагательными неправомерно, поскольку последние не могут употребляться без связки (которая в настоящем времени выражена нулем).

¹⁰ В русском языке этот вопрос спорен: лексемы типа *быстро*, *высоко* относят то к прилагательным, то к наречиям.

¹¹ Некоторые из этих лексем допускают перевод прилагательными, что отражено в словарях, но такой перевод возможен не во всех ситуациях.

прилагательных нецелесообразно, поскольку как раз морфологическим (как и синтаксическим) сходством с европейскими прилагательными *keiyoshi* не обладают. Семантически *keiyoshi* не составляют отдельного класса, и их именование прилагательными, в сущности, основано даже не на их семантике, а лишь на типичном переводе на европейские языки. На деле же *keiyoshi*, как мы старались показать выше, представляют собой подкласс глаголов. По своему набору грамматических морфем они отличаются от всех остальных глаголов, по всем остальным своим свойствам, включая и семантику, они представляют собой подкласс более общего класса стативных глаголов. Единицы данного подкласса могут быть условно названы «качественными глаголами».

Тот факт, что многим прилагательным, т. е. именам европейских языков, в японском языке соответствуют глаголы, может на первый взгляд показаться странным. Но, по сути, здесь японский язык в какой-то степени «логичнее» европейских, поскольку, как указывают А. А. Зализняк и Е. В. Падучева, «с логической точки зрения прилагательное представляет собой не что иное, как результат своего рода свертывания отдельной предикативной единицы (а именно такой, где соответствующий смысл выступает как предикат)» [Зализняк, Падучева 1975: 101]. Эти же авторы указывают, что «трактовка прилагательного как единицы более простой, чем предикативная синтагма (которую представляет собой относительное предложение), очень естественна для таких языков, как латынь или западноевропейские, где прилагательное (или, точнее, “имя качества”) в функции сказуемого требует связи, т. е. выступает в более сложной конструкции. Однако в очень многих языках мира представлено другое соотношение по сложности между предикативной и атрибутивной синтагмами с “именем качества» [Там же: 100]. К числу таких языков относится и японский.

Помимо *keiyoshi* (качественных глаголов) в японском языке имеются и другие классы лексем, которые те или иные исследователи относят к числу прилагательных. Одним из этих классов являются так называемые приименные, морфологически неизменяемые лексемы, употребляемые только в определительной позиции, типа *aru* ‘некий’, *arayuru* ‘всевозможные’. Эти лексемы иногда также относят к прилагательным; см. [Фельдман 1960: 26]. Б. Левин указывает, что именно они являются наиболее точными аналогами европейских прилагательных [Lewin 1969: 134]. Однако с последней точкой зрения мы не можем согласиться. Для европейских прилагательных характерно не только их употребление в определительной позиции, но и употребление в позиции сказуемого в сочетании со связкой, кроме того, они, как правило, морфологически изменяемы. Однако в некоторых языках могут быть выделены аналоги японских приименных. Так, в русском языке М. В. Панов обратил внимание на существование аналитических прилагательных — неизменяемых слов, употребляемых только в определительной позиции, как, например, *беж*, *гамма* в сочетаниях *цвет беж*, *гамма-лучи* [Панов 1971].

Другим таким классом являются лексемы типа *shizuka* ‘тихий’, *juuyoo* ‘важный’. Эти лексемы употребляются в определительной позиции в сочетании с показателем

на, в обстоятельственной позиции — в сочетании с показателем *ни* и в позиции сказуемого — в сочетании со связкой (достаточно значительный список единиц этого класса представлен у С. Э. Мартина [Martin 1975: 760–765]). В японском языкознании этот класс лексем чаще всего выделяют в особую часть речи, которая включается в состав *yoogen*, эту точку зрения подробно обосновал Хасимото Синкити [Hashimoto 1946–1969, vol. 7: 93–151]. В европейской и американской японистике данные лексемы трактуются по-разному: иногда их рассматривают как имена (Р. Ланге, С. Бале, А. Роз-Иннес, О. В. Плетнер и Е. Д. Поливанов, Э. Джорден, см. [Lange 1890: 99; Balet 1899: 62–66; Rose-Innes 1937: 52; Плетнер, Поливанов 1930: 13; Hoffmann 1868: 198]), или как особый подкласс имен: «связочные имена» у Р. Э. Миллера [Miller 1967: 335] или «адъективные имена» у С. Э. Мартина [Martin 1975: 179]; другие же исследователи сближают их с прилагательными (Л. Де Рони, Д. Д. Смирнов, Н. И. Фельдман) [Rosny 1856: 28–29; Смирнов 1890: 266–268; Фельдман 1960: 35].

Единицы данного класса отличаются от всех других лексем японского языка как по морфологическим свойствам (достаточно указать, что показатель *на* более нигде не употребляется), так и по синтаксическим функциям: только они имеют указанный выше набор синтаксических позиций; эти единицы не могут быть отнесены ни к именам, ни к глаголам и составляют особую часть речи. Набор синтаксических позиций данных единиц наиболее сходен с набором синтаксических позиций европейских прилагательных; семантика, как говорилось выше, здесь не может быть решающим аргументом, но в то же время и семантика данных единиц не противоречит тому, чтобы считать их прилагательными. Таким образом, именно эти единицы японского языка, а не качественные глаголы и не примененные могут быть названы прилагательными.

В небольшой статье мы не можем остановиться на всех вопросах, связанных с выделением прилагательных в японском языке; в частности, особого рассмотрения требуют лексемы, сочетающиеся только с атрибутивным показателем *но* и связками, а также лексемы глагольного происхождения типа *ikita* ‘живой’. Но и сказанного здесь, как нам кажется, достаточно, чтобы более внимательно отнестись к употреблению термина «прилагательное» в отношении к японскому языку.

Проблемы, затронутые в настоящей статье, на первый взгляд чисто терминологические. Однако надо учитывать, что часто неточное употребление терминов приводит и к неточному описанию фактов языка. В частности, неточное употребление термина «прилагательное» применительно к японскому языку (даже притом, что оно сопровождается оговорками) ведет к тому, что японские качественные глаголы так или иначе рассматриваются на основе европейского понимания прилагательных и их свойства до некоторой степени искажаются.

В заключение отметим, что, по-видимому, сходное явление наблюдается и в корейском языке, где также, с одной стороны, имеются единицы с качественным значением, традиционно именуемые прилагательными, но с глагольными свойствами, но, с другой стороны, имеются и собственно прилагательные, см. [Холодович 1954: 184–189].

СТАТУС ОСНОВНЫХ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

В работе пойдет речь о японском языке послевоенного времени, имеющем ряд особенностей по сравнению с языком предшествующих эпох. До войны языковая ситуация в Японии характеризовалась существованием двух литературных языков — современного и старописьменного (бунго), противопоставленных территориальным и социальным диалектам (см. ее описание в несколько других терминах в [Конрад 1937: 12–18]). Сейчас бунго вышел из употребления, потеряли значение и традиционные диалекты; при широком распространении современного литературного языка получили развитие полудиалекты с сосуществованием литературных и диалектных черт. Современный японский литературный язык обладает довольно значительной вариативностью.

Литературный язык и другие формы существования японского языка

Японский язык относится к языкам со строгой языковой нормой. Современный литературный язык начал формироваться после буржуазной революции Мэйдзи (1867–1868) на основе языкового образования, имевшего распространение в г. Токио (до 1868 г. — Эдо). Это образование часто именуют токийским (эдо-ским) диалектом, однако оно было наддиалектной формой языка (см. [Mogioka 1972: 368–383]), включавшей в себя элементы разных диалектов: система фонем и акцентуация совпадали с окружавшими Эдо диалектами, но в области грамматики и особенно лексики многое проникло и из других диалектов, особенно киotosкого. Данная форма языка использовалась для общения между разнородными по социальному положению и территориальному происхождению жителями Эдо — крупного центра, ставшего после революции Мэйдзи столицей Японии.

Эдоское наддиалектное образование было известно далеко не во всей стране. Роль литературного языка до революции Мэйдзи играл так называемый бунго, чисто письменный язык, сформировавшийся в IX–XII вв. на киotosкой диалектной основе. К XIX в. бунго был непонятен без специального обучения.

Новая социальная обстановка, характеризовавшаяся ликвидацией феодальной замкнутости и быстрым расширением связи между разными районами страны,

требовала формирования единого и легко усваиваемого литературного языка. Для этих целей столичная форма существования языка, и ранее использовавшаяся для междиалектного общения, была наиболее удобна. Постепенно новый литературный язык отвоевывал у бунго всё новые сферы; см. об этом [Конрад 1960].

Литературные нормы современного языка были в основном зафиксированы еще до войны, прежде всего для нужд школьного обучения. После 1945 г. они были пересмотрены с учетом изменений в языке, в частности в отношении форм вежливости; была упрощена орфография, доведено до конца нормирование орфоэпии.

Следует остановиться на вопросе о современном соотношении литературного языка и бунго. С 1945 г. официальная документация — последняя сфера господства бунго — переведена на современный литературный язык. Сейчас новые тексты на бунго почти не создаются¹.

Сейчас образованные люди старшего поколения еще помнят бунго, поэтому классические тексты издаются в оригинале, а не в переводе на современный язык. Однако люди, выросшие после войны, хотя и получают сведения о бунго в школе, обычно не владеют этой системой свободно; современные попытки писать на бунго обычно связаны с множеством ошибок (см. [Gekkan 1977, № 2: 2–3]).

На протяжении всего периода сосуществования двух литературных языков современный язык испытывал влияние бунго, которое не прекратилось и после выхода бунго из активного употребления. Особенно наглядно это видно в отношении грамматики, где различия литературных языков были наиболее ощутимыми. Степень проникновения элементов бунго в современный язык различна. Большинство из них явно книжно: связка *nari*, показатель определительной формы качественных глаголов *-ki* и др. Отдельные показатели бунго распространились так широко, что свойственны любым функциональным стилям. Это прежде всего показатель долженствования *-beki* и показатель исходного падежа *yori*² (подробнее см. [Алпатов 1977]).

Таким образом, система бунго оказала и продолжает оказывать влияние на современный литературный язык. Употребление бунговских форм по радио и телевидению в последнее время даже участилось, против чего предостерегают специалисты (см. [Bunken 1978, № 5: 52; NHK-nemuro 1978, № 22: 195]).

¹ Основное исключение — поэзия, где до сих пор пишут стихи в традиционном стиле. Вопрос о поэтическом языке в Японии требует специального рассмотрения; отметим лишь, что языковые различия здесь связаны с жанровыми и метрическими: танки и хайку пишут на бунго, а на современном языке пишут верлибром.

² Как показывают материалы Государственного института японского языка (доклад от 13.VI.1979, с. 5), в ситуациях, требующих вежливости, *jori* предпочло в 4 раза больше информантов, чем стандартное *kara*. *Yori* употребляется и там, где оно ненормативно: при обозначении времени. На распространение *yori* могло повлиять и его наличие в этом значении в ряде диалектов (о частоте *yori* см. [Kusakabe 1977: 54]).

Литературный язык, диалекты и полудиалекты. В настоящее время благодаря влиянию школы³ и средств массовой коммуникации⁴ системой литературного языка в той или иной степени владеют в Японии практически все. Например, сейчас там нигде (кроме о-ов Рюкю) нельзя изучать диалекты методом перевода: все информанты говорят с исследователем на литературном языке; см. [Grootaers 1977: 16].

Влияние литературного языка сказывается на диалектах. Исконные диалекты в чистом виде (исключая отчасти о-ва Рюкю) сохранились лишь у малообразованных людей старшего поколения. Однако их место в бытовом общении чаще всего занимает не литературный язык (даже в его разговорной разновидности), а так называемые полудиалекты, сочетающие в разных пропорциях диалектные и литературные элементы. Функционирование территориальных форм существования языка само по себе не изменилось: по-прежнему японцы, кроме жителей больших городов, дома и со знакомыми не говорят на литературном языке; см. [Egawa 1973: 77]. Однако территориальные формы существования языка уже не те, что раньше. Это показывают данные массовых обследований Государственного института японского языка. Два из них проведены в сравнительно небольшом городе Цуруока (префектура Ямагата) в 1950 и в 1971–1972 гг. (их результаты см. в [CSGS 1974]). Цуруока находится в зоне северо-восточных диалектов. При втором обследовании изучались изменения за два десятилетия, в частности повторно опрашивались информанты первого обследования.

Обследования показали, что различные диалектные особенности по-разному устойчивы. Быстро исчезают фонологические признаки⁵ (исключая акцентуацию — см. ниже). Так, лабиализованные заднеязычные отмечены в 1950 г. у 18,5 % информантов, в 1972-м — у 2 %; палатализация перед *e* в 1950 г. — у 31,9 %, в 1972 г. — у 5,8 %; преназализация звонких в 1950 г. — у 55,4 %, в 1972 г. — у 19,6 %; см. [CSGS 1974: 117]. Следовательно, за два десятилетия осуществилось быстрое исчезновение диалектных черт (у лиц среднего и младшего поколения в 1972 г. указанные явления не отмечались вовсе).

В меньшей степени процесс стирания диалектных черт отмечается в лексике. Ряд диалектных слов исчез, но кое-что сохраняется, появляются и новые слова, отсутствующие в литературном языке; сравнение двух обследований дает разные результаты по разным словам и не выявляет четкой общей тенденции. Однако в целом количество информантов, употребляющих диалектную лексику, оказывается

³ Грамотность в Японии одна из самых высоких в мире (около 99 %), несмотря на сложную письменность. Но далеко не все владеют иероглификой в полной мере, даже в пределах принятого минимума.

⁴ Как показывают массовые обследования Государственного института японского языка (см. [CSGS 1974: 297]), практически все информанты хотя бы минимально смотрят телепередачи и более 90 % хотя бы изредка читают газеты; см. также [Неверов 1982: 47, 80–81].

⁵ Описание фонологии этой группы диалектов см. [Поливанов 1924].

менее 50 % [CSGS 1974: 146–155]. Процесс вытеснения диалектной лексики подтверждают и другие исследования. При обращении к матери сельские жители севера Японии старшего поколения сохраняют диалектное *òkkajaN*, их дети используют более близкое к литературному *kaat'aN*, внуки — литературные *òkaat'aN*, *òkaasaN* [SKGKKK 1970: 173 и сл.].

Морфологические особенности диалектов более стойки (впрочем, здесь диалектные системы обычно меньше отличаются от литературной). Число лиц, употребляющих диалектные формы, даже растет, в частности среди молодежи. Так, диалектную форму императива употребило в 1950 г. — 73,7 %, в 1972 г. — 72,6 %, но среди информантов до 20 лет — 83,3 %; диалектный показатель направления в 1950 г. — 41,8 %, в 1972 г. — 52,5 %, а среди информантов моложе 20 лет — 63,3 %⁶; диалектный условный союз *daba* в 1950 г. — 67,5 %, в 1972 г. — 83,2 % [CSGC 1974: 137–143].

В наиболее чистом виде диалектные черты сохраняются в области акцентуации. Необходимо учесть, что акцентуационные различия диалектов в Японии весьма велики, но они не слишком мешают взаимопониманию. Такие различия стойко сохраняются; даже люди с высшим образованием, живущие в крупных городах и хорошо владеющие литературным языком, сохраняют (хотя бы частично) акцентуацию того района, откуда они родом. Однако, по данным обследования в Цуруоке, число лиц, владеющих литературной акцентуацией, медленно растет, оно несколько выше у молодежи, но ни в одной группе испытуемых оно не превышает 40 % [Ibid.: 129].

Таким образом, в быту значительная часть населения Японии пользуется не диалектами в чистом виде, а полудиалектами, для которых обычно характерны литературная система фонем, сочетание литературных и диалектных морфологических и лексических черт и сохранение диалектной акцентуации.

Специфичны два района Японии: о-в Хоккайдо и о-ва Рюкю. Хоккайдо заселялся японцами — носителями разных диалектов лишь в XIX–XX вв.⁷ По данным массового обследования 1963 г. (см. [KK 1965]), диалектные черты прежних мест жительства исчезают во втором или третьем поколении. Однако это не привело к переходу на литературный язык (кроме г. Саппоро). На Хоккайдо также сложился полудиалект, где система фонем соответствует литературной, а в грамматике и лексике появились специфические черты, не свойственные ни одному из прежних диалектов. Особенно интересны акцентуационные изменения. Сложился акцентуационный тип, соответствующий не литературному, а наиболее простому из диалектных — с постоянным местом изменения тона. Роль диалектов этого типа при заселении Хоккайдо была невелика, данный тип акцентуации, видимо, распространился как наиболее простой.

⁶ О широком распространении *sa*, встречающегося в ряде диалектов, см. [KHS 1978].

⁷ Исключая крайний юг острова, заселенный ранее выходцами с севера Хонсю; здесь распространились соответствующие диалекты.

Диалекты Рюкю отличаются от литературного языка настолько, что взаимопонимание невозможно прежде всего из-за фонологических различий (эти диалекты в прошлом даже иногда считались особыми языками). Видимо, поэтому здесь исконные диалекты устойчивее, в том числе в фонологии. Однако и здесь ощущимо литературное влияние. Наблюдается такое интересное явление: школьники усваивают регулярные фонетические соответствия между литературным языком и родным диалектом, начинают создавать новые слова путем перевода слов литературного языка на диалектное произношение; в результате в диалектах появились новые слова, иногда вытесняющие старые; некоторые из них нарушают исторические правила и выглядели бы по-иному, если бы были результатом естественного развития; см. [Chew 1978].

Полудиалекты в основном распространены в деревнях и небольших городах. И здесь население избегает диалектизмов не только на письме или в официальных ситуациях, но и в разговоре с людьми, не принадлежащими к данной диалектной общности, а также в любых ситуациях, требующих вежливости. Переход от полудиалекта к литературному языку происходит вполне осознанно⁸. Лишь в области акцентуации такое переключение часто невозможно.

Диалектизмы продолжают проникать в литературный язык, особенно это заметно в лексике. Ср. появление в литературном языке слов диалекта Киото-Осака в роде *jajakoshii* ‘сопряженный с хлопотами, причиняющий затруднения’, *enetsunai* ‘неприятный, низкопробный’, *o'aisoo* ‘счет (в ресторане)’; см. [Неверов 1982: 74].

Все разнообразие форм существования современного японского языка, по-видимому, нельзя свести к противопоставлению «литературный язык — диалекты и полудиалекты». Многие явления языка распространены по всей Японии, в том числе в крупных городах, где диалектные черты стираются, но не признаются литературными; здесь можно говорить о так называемом просторечии, особенно свойственном городскому населению. Просторечие трудно четко отграничить от разговорных вариантов литературного языка, многие некодифицированные явления проникают и в речь образованных людей. Особенности просторечия во многом представляют собой проявления развития языка, сдерживаемого литературными нормами. Приведем ряд примеров из области грамматики.

В литературном языке распространены аналитические формы, состоящие из знаменательного и вспомогательного глагола. В просторечии аналитические формы часто превращаются во вторично-синтетические, где квазикорень вспомогательного глагола становится суффиксом. Литературным *totte iru*, *totte oku*, *totte shimatta* от глагола *toru* ‘брат’ с дополнительными значениями соответственно длительности действия, подготовки к другому действию, необратимости действия в прошлом соответствуют просторечные *totteru*, *tottoku*, *totchatta*. Последние

⁸ В 1979 г., наблюдая телепередачу из префектуры Мияги (север Хонсю), мы видели, как деревенские женщины перед телекамерой без затруднений переходили на литературный язык.

формы сейчас в бытовой речи обычны, однако остаются ненормативными. По литературным нормам потенциальные формы с суфф. *-e* образуются лишь от глаголов с согласным исходом основы, в просторечии же они образуются и от глаголов с гласным исходом, ср. *migeru* от *mi*- 'видеть'. Как показали массовые обследования, большинство учащихся средней школы считают это допустимым; см. [Endoo 1977: 58–59; Koуano 1979: 94]. В литературном языке различаются субъектные и объектные формы вежливости; в просторечии объектные формы вежливости могут использоваться в значении субъектных, а иногда субъектные и объектные формы вежливости не используются совсем; см. [Алпатов 1973: 67–69]. Все это — проявление развития языка. Превращение вспомогательных глаголов, происходящих от знаменательных, в суффиксы показывает дальнейшую степень их грамматикализации. Смешение субъектных и объектных форм вежливости отражает общую тенденцию к упрощению системы вежливости. Часто отмеченные явления наблюдаются у молодежи. В сфере бытового общения они употребительны по всей Японии и проникают даже в газетные тексты.

В Японии исключительно большое внимание уделяется культуре речи. Издаются специальные журналы, рассчитанные на широкого читателя, в которых фиксируются отклонения от литературного стандарта. Однако сама необходимость обращать внимание населения на отклонения от нормы указывает на их распространенность.

Вариативность японского литературного языка

Японский литературный язык обслуживает разнообразные сферы общения. Помимо использования в деловой сфере, в средствах массовой коммуникации, в научной, художественной литературе и т. д., где он не имеет в Японии конкурентов, он используется и для бытового общения образованного городского населения, и как средство междиалектного общения. Для Японии не характерны обработанные наддиалектные образования вне литературного языка. Лишь на Рюкю существует такое образование на окинавской диалектной основе, на котором общаются носители разных диалектов, а в последние годы ведутся местные радиопередачи.

Нормы японского языка едины по всей стране, литературный язык не имеет региональных разновидностей. Небольшие различия норм связаны лишь с разными источниками нормирования. В современной Японии их прежде всего два: Министерство просвещения и государственная радио- и телекомпания NHK. Первая норма поддерживается в учебной литературе, вторая — в передачах NHK и других радио- и телекомпаний. Первой из норм свойствен несколько больший пуризм. Это проявляется, во-первых, в количестве рекомендуемых иероглифов: по нормам NHK их несколько больше, см. [Bunken 1977, № 6: 20], во-вторых, в разном отражении изменений фонологической системы в результате заимствований

из английского: произношение твердого *t* перед *i* в американизмах допускается нормами НК и не признается учебными нормами, см. [Bunken 1978, № 7: 25–27].

Такое варьирование японского литературного языка невелико и касается в основном языковой периферии. Основной тип варьирования японского литературного языка, как и других развитых литературных языков, связан с различиями функциональных стилей; особое значение имеют различия устной и письменной форм существования литературного языка. Наряду с функциональным варьированием для японского языка характерно наличие четко выраженных мужского и женского вариантов, см. [Алпатов, Крючкова 1980], заметно и возрастное варьирование. Функциональное варьирование японского языка имеет ряд особенностей.

Устные и письменные разновидности литературного языка. Противопоставление «устный — письменный» следует отграничивать от противопоставления «разговорный — книжный». Для японского языка различия устных и письменных вариантов тесно связаны с характером письменности, в значительной степени иероглифической. Из Китая вместе с иероглифами были заимствованы их чтения, подвергшиеся фонологической адаптации; чтения обычно соответствуют морфемам. Китайские по происхождению морфемы — удобный материал для создания культурной лексики и особенно терминологии: из них легко создаются сложные лексемы, прозрачные по структуре, тогда как возможности словообразования с использованием японского слоя лексики затруднены. На письме структура сложных лексем хорошо понятна благодаря иероглифике. Однако ввиду больших ограничений на структуру слога и количество слогов в морфемах китайского происхождения появляется большая омофония⁹. Пока «книжные» стили японского языка были исключительно письменными, не было препятствий для использования китаизмов. Однако в XX в. при распространении лекций, выступлений, звукового кино и особенно после появления радио, а затем телевидения омофония стала серьезной помехой. Многие тексты, особенно специальные, на слух совершенно непонятны, см. [Неверов 1982: 17–18].

С 30-х гг. принимаются специальные меры по ограничению непонятных на слух китаизмов, прежде всего на радио и телевидении. Первоначально старались заменять китаизмы соответствующими исконными лексемами, что нередко бывало затруднительно; после войны широко стали применяться замены китаизмов более понятными на слух европеизмами, а также словосочетаниями, см. [Жорчагина 1975: 9; Неверов 1975; Bunken 1978, № 6: 8–18].

Процесс вытеснения китаизмов идет и в письменных разновидностях языка, хотя и медленнее. Это обусловлено тем, что многие, ныне не рекомендуемые иероглифы стали забываться, а соответствующие лексемы, записанные фонетически, не могут быть поняты, см. [Neustupný 1978: 270]. Однако и сейчас текст одного

⁹ В китайском языке омонимия встречается реже из-за тоновых различий, которые при заимствовании в японском полностью исчезли. Кроме того, переход дифтонгов *ai* и *oi* в *oo* увеличил число омофонов в несколько раз.

и того же содержания имеет разный вид в зависимости от того, для устного или письменного распространения он предназначен. Многие китаизмы по-прежнему употребляются на письме, но избегаются в устной речи, тогда как их устные синонимы для письменной речи нехарактерны.

Многие особенности построения японских письменных текстов связаны со смешанным иероглифически-алфавитным характером японского письма. Как отмечал Н. И. Конрад [Конрад 1972: 493–494], эта письменность дает возможность благодаря иероглифам сразу охватить общий смысл текста, а затем прочесть текст детально, всмотревшись в знаки каны. Поэтому существуют правила построения текстов, по которым читателю должны сразу же бросаться в глаза наиболее значимые иероглифы. Особенно это важно для заголовков и рекламы, где сохраняются наиболее информативные иероглифы, а грамматические показатели, пишущиеся каной, и финитные формы глаголов полностью или частично опускаются. В качестве примера приведем рекламный проспект морского путешествия, где большинство предложений лишено финитного глагола и завершается либо срединной формой глагола: *Waratte, ... odotte* 'Смеясь, ... танцую', либо оформленным именем: *Itoonanattoo e* 'К семи островам Ито', либо неоформленным именем: *Mannatsu-no yoru-no yume, shuppaan* 'Мечта ночью в разгаре лета, отплы-ы-тие!' Ср. газетные заголовки с опущенным сказуемым: *Ichigatsu-yooka kara rensai* '(Будет) публикация отдельными выпусками с 8 января'; *Shintaisei no too ni shiji o* 'Поддержку партии нового типа!'; *Seikatsu-antei, heiwa o ziku ni* '(Сделать) стабильность жизни, мир стержнем (борьбы)'¹⁰. Данные явления распространены только на письме; такого же рода устный текст (например, рекламный текст по телевидению) будет сохранять сказуемые и грамматические показатели.

Таким образом, различия устных и письменных разновидностей японского литературного языка достаточно велики, они значительнее, чем в европейских языках. В послевоенное время наблюдается процесс постепенного сближения устных и письменных вариантов, который, однако, далек от завершения; см. [Neustupný 1978: 172–174].

Варьирование литературного языка в зависимости от собеседника. Типовые ситуации общения различаются, в частности, по степени определенности собеседника. На одном полюсе находятся ситуации, когда говорящий обращается к конкретному лицу или группе лиц, на другом полюсе — ситуации, когда говорящий не знает или не определяет круг лиц, к которым обращается. Примеры ситуаций первого типа: личная беседа, личная переписка; примеры ситуаций второго типа: создание научных, художественных, газетных текстов. Могут быть и промежуточные ситуации, которые мы условно назовем ситуациями с полуопределенным собеседником. Это бывает, во-первых, когда говорящий, не определяя все множество собеседников, задает некоторые его характеристики (обращение

¹⁰ Все примеры взяты из газеты «Shakai-shimpo»: («Социальный прогресс») за 28 дек. 1982 г.

оратора к слушателям, автора плаката к единомышленникам), во-вторых, когда говорящий обращается к неопределенному собеседнику как к определенному в целях эффективности сообщения (реклама, выступление телекомментатора и др.). Нелитературные формы существования языка обычно связаны лишь с обращением к конкретным собеседникам. Литературные языки в большинстве случаев обслуживают ситуации разного типа, что приводит к формированию разных функциональных стилей и появлению вариативности.

Особенностью японского языка, в отличие от европейских, является развитие грамматических форм вежливости. Существуют две грамматические категории: адрессив, связанный с обозначением отношения говорящего к собеседнику, и гоноратив, связанный с обозначением отношения говорящего к лицам, о которых идет речь (в глаголе — к субъекту или объекту данного действия). В разных классах функциональных стилей микросистемы категорий адрессива и гоноратива различаются в зависимости от того, какие ситуации они обслуживают.

В японском языке имеются глагольные формы с суф. *-mas-* и без него, связки *da*, *desu*, *de aru*. Они в целом образуют категорию адрессива, но по-разному входят в функциональные стили и по-разному в них противопоставлены. В стилях, связанных с определенным собеседником, противопоставлены вежливые формы (глаголы с *-mas-*, связка *desu*) и невежливые формы (глаголы без *-mas-*, связка *da*), они обозначают соответственно вежливое и невежливое отношение к собеседнику. В стилях, связанных с полуопределенным собеседником, употребляются только формы с *-mas-* и связка *desu*; их значение можно считать таким же, что в предыдущем случае, но они не противопоставлены невежливому. В стилях, связанных с неопределенным собеседником, употребляются только формы без *-mas-*, не имеющие здесь невежливого значения, и особая связка *de aru*.

Таким образом, само употребление форм адрессива служит индикатором для разграничения стилей. Так, в рекламе и теленовостях норма — употребление вежливых форм, поскольку здесь нужна иллюзия личного контакта. В прессе лишь орган ЦК КПЯ «Акахата» всегда использует вежливые формы. В прочих газетах материалы информационного и обзорного характера, не предполагающие обращения к определенным собеседникам, даются в формах без *-mas-*; однако вежливые формы появляются в рекламе, в рубриках, обращенных к женщинам, в разделах для рыбаков, садоводов и пр., т. е. там, где материал рассчитан на более определенных читателей.

В категории гоноратива также противопоставлены простые и вежливые формы; стили, связанные с определенным и полуопределенным собеседником, в плане гоноратива не различаются. Однако в стилях, связанных с неопределенным собеседником, почти всегда используются простые формы, не имеющие здесь невежливого значения. Лишь по отношению к членам императорской семьи в соответствии с официальными нормами вежливые формы употребляются в любых стилях.

Определенные коннотации в плане вежливости могут иметь и единицы с другими значениями, их место в тех или иных стилях тоже может быть различным.

Приведем лишь один пример — показатели множественности, из которых *tachi* нейтрален по вежливости, а *ra* имеет коннотацию неуважительного отношения к данному лицу. В телепередачах рекомендуется употреблять *ra* лишь применительно к преступникам и т. д. или же в отношении исторических лиц [Bunken 1978, № 12: 41–42]. Однако при неопределенном собеседнике это ограничение снимается и *ra* употребляется свободно. Так, в журналах *ra* почти не употребляется в разделах для женщин, но распространеннее, чем *tachi*, в научных разделах и обозрениях, см. [Ishino 1971: 77].

Различаются стили и употреблением так называемых модальных концовок, смягчающих категоричность высказывания и делающих речь более вежливой. Например, фраза *Kare wa ureshikatta* ‘Ему было радостно’ возможна в романе, но неестественна в разговоре, где после сказуемого нужна модальная концовка *no da* (*N da*), см. [Kusanagi 1977: 89]. Употребительны и модально-экспрессивные частицы различной степени вежливости, связанные с различными типами установления контакта с собеседником. Они — необходимая принадлежность стилей, связанных с определенным и полуопределенным собеседником: ср. в упоминавшемся проспекте морского путешествия: *Bando-ni awasete odoroo yo* ‘Потанцуем под оркестр!’ с модально-экспрессивной частицей *yo*. В газетном, научном и пр. тексте, не рассчитанном на определенного собеседника, эти частицы отсутствуют.

Указанные языковые явления прямо или косвенно обозначают некоторое отношение говорящего к собеседнику, поэтому степень определенности последнего не может не влиять на функционирование данных явлений. В японском языке здесь стили, связанные с неопределенным собеседником, отличны от прочих.

Иные различия функциональных стилей сводятся к противопоставлению «разговорный — книжный» в широком его понимании. Здесь, наоборот, сходны стили, связанные с полуопределенным и неопределенным собеседником. Они выработаны для построения заранее подготовленных текстов, отличающихся в той или иной степени большим количеством книжных элементов. Такие различия менее специфичны для японского языка, чем предыдущие; они, видимо, характерны для любых достаточно развитых литературных языков.

Одна из этих характеристик — длина предложения. По данным японских исследований, в бытовом разговоре предложение в среднем содержит 3,81 знаменательных слова, в заранее не подготовленной официальной беседе — 5,49, в лекции — 9,31, в теленовостях — 16,48, см. [NHK-nemroo 1978: 174]. В бытовом общении преобладают простые предложения без определительных и обстоятельных конструкций. В стилях, связанных с полуопределенным и неопределенным собеседником, структура большинства предложений осложнена разного рода конструкциями с зависимыми предикатами; это проявляется и в устной речи, см. [Ibid.: 184]. Одна и та же информация может передаваться по-разному в зависимости от функционального стиля. Ср. пример японского исследователя Мураки Синдзио. Фраза *X wa, ... nen... nichi... de shinda* ‘X умер... числа... года в...’, обычная в бытовом тексте, неприемлема в газете, где то же содержание выражено

так: ...*nen...nichi X (...)* -*ga... de shiboo-shita*; см. [Muraki 1972: 37–50]. Эти предложения различаются лексикой (нейтральный глагол *shinu* и книжный *shiboo-suru*), словопорядком (в газетном тексте обозначение времени выносится вперед) и наличием в газетном тексте особой конструкции, где обозначение возраста ставится как поясняющий член в скобках между именем лица и его падежным показателем; последнее различие отражает и противопоставление «письменный — устный»: такая конструкция возможна лишь на письме.

Таким образом, функциональная вариативность японского литературного языка довольно велика. Наряду с различиями, обычными для развитых литературных языков, имеются различия, не свойственные или мало свойственные европейским языкам. Сложный иероглифически-алфавитный характер японского письма приводит к более значительным различиям устных и письменных стилей. Наличие разнообразных грамматических и лексических средств выражения той или иной степени вежливости дает возможность дифференцировать стили, связанные с разной степенью определенности собеседника.

ПАДЕЖНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Японский язык относится к языкам с развитой падежной системой, сопоставимой с аналогичными системами русского, латинского, тюркских и других языков, несмотря на то что в японском языке падежные по функции показатели не являются аффиксами¹. Японские падежные показатели делятся на первичные и вторичные. Первичные показатели обозначают некоторый тип синтаксической связи: послелог *ga* оформляет первый, прагматически наиболее важный синтаксический актанта (подлежащее), послелог *o* — второй синтаксический актанта (прямое дополнение), послелог *ni* — третий синтаксический актанта (косвенное дополнение), послелог *no* — атрибут (определение); семантические роли соответствующих участников описываемой ситуации могут быть различными, хотя существуют естественные для многих языков соотношения «агенс — подлежащее», «пациенс — прямое дополнение», «контрагент — косвенное дополнение» и т. д. Послелог *de* занимает промежуточное положение: обычно он оформляет сирконстанты — члены предложения, не включенные в модель управления сказуемого, т. е. его функция также синтаксична, но по формальным свойствам он имеет много общего с вторичными показателями. Вторичные показатели играют определенную семантическую роль: послелог *to* имеет значение контрагента, *e* — конечной точки действия, *kara* и *yori* — его исходной точки, *nite* — места действия².

Указанная система отличается довольно большой степенью вариативности. Достаточно часто падежный показатель может быть заменен на другой или опущен без нарушения грамматической правильности и без изменения структуры описываемой ситуации. Случаи варьирования падежных показателей в японском языке многообразны (их может быть выделено не менее двух десятков) и неоднородны по функции. Могут быть отмечены следующие классы таких случаев.

¹ Для простоты мы будем говорить о падежных послелогах, как это принято в ряде работ, см. [Вардун 1964: 33–36], хотя в определенной системе терминов возможно и их понимание как промежуточных между аффиксами и служебными словами единиц, см. [Алпатов 1979: 16–20].

² Мы перечисляем лишь те из них, о которых мы будем говорить. Вторичные показатели меньше связаны с варьированием, чем первичные.

1. Квазисинонимическое варьирование. В этом случае при замене падежно-го послелога сохраняется основная семантика предложения, но происходят частичные семантические изменения, которые могут в определенных контекстах нейтрализоваться.

Одним из примеров такого рода является оформление объекта каузации в каузативных предложениях. Для этого используются показатель прямого дополнения *o* и показатель косвенного дополнения *ni*. В ряде ситуаций возможно употребление обоих послелогов, но они не будут полностью равнозначными: *Watashi wa otooto o o-tsukiai ni ikaseta* означает 'Я велел брату пойти в компанию', а *Watashi wa otooto ni o-tsukiai ni ikaseta* — 'Я позволил брату пойти в компанию'; примеры из [Mizuno 1984: 77–78]. Каузативное значение при наличии *o* не сводится только к значению понуждения, в общем виде оно характеризуется как значение ответственности каузатора за каузируемое действие или состояние [Mizuno 1984: 79; Takahashi 1981: 142–143]. При наличии *ni* такой ответственности каузатор не несет, и оно предпочтительнее в ситуациях разрешения, уговаривания и т. д. Ср.: *Muri ni inu o nakasete...* (Т: 86) 'Насильно заставив собаку лаять...'; *Moo, hantaigumi ni hanasasete kudasai* (SKG, 5/1: 21–22) 'Дайте уж высказаться противной стороне'. Однако если в предложении уже есть прямое дополнение с *o*, семантическое противопоставление нейтрализуется, поскольку в одном японском предложении не может быть двух прямых дополнений, и в любом случае объект каузации оформляется с помощью *ni*: *Mitsubachi ni, hana no mitsu o atsumesasete no desu ka* (Kokugo, 4/2: 14) '(Вы) заставляли пчел собирать мед с цветков?'

Сходная ситуация с обозначением агенса при пассиве. Он может обозначаться с помощью *ni* и *kara*, которые не всегда взаимозаменяемы. Здесь перекрещиваются более широкое значение *ni* и более конкретное значение *kara*. Последний показатель обозначает исходную точку ситуации в пространстве или времени, причину. Поэтому чем ближе значение соответствующего члена предложения к причинному, тем предпочтительнее использование *kara*, тогда как при чисто агентивном значении может быть только *ni*. В примерах типа *Nobudoo no mi mo, kotori ni taberaremasu* (SKG, 2/1: 95) 'Плоды дикого винограда тоже поедаются птичками' *ni* нельзя заменить на *kara*. Но когда агенс не конкретное лицо или животное, а группа, организация, предпочтительнее *kara*: *Kakkoku-shuunoo kara, Shumitto-seidoku-shuushoo ni shukuden ga okurarete imasu* (Ак, 18.10.1977) 'От правительства всех стран премьер-министру Западной Германии Шмидту посланы поздравительные телеграммы'. Однако есть случаи, когда возможны без различий в значении оба показателя: *X wa sensei ni/kara hon o ataerareta* 'X получил книгу от учителя' [Shibatani 1982: 295–296].

При обозначении же причины в активном залоге используются послелоги *de* и *kara*, также не всегда взаимозаменяемые: при указании на причину психического состояния необходимо *kara*, но во фразе *Byooki de gakkoo o yasumi* 'Пропускает школьные занятия по болезни' возможно только *de* [Suzuki 1976].

Исходная точка движения может обозначаться не только специализированным послелогом *kara*, но и показателем прямого дополнения *o*. В ряде случаев они

взаимозаменяемы: *Fune ga gampeki o / kara hanareru* ‘Судно отходит от причала’. Но это бывает не всегда; ср.: *Basu o oriru* ‘(Он) выходит из автобуса’ и *Basu kara oriru* ‘(Он) выпадает из автобуса’ [Коо 1983: 109].

Еще один случай варьирования связан с атрибутивным показателем. Японские имена (включая местоимения и числительные) имеют атрибутивный показатель *no*, а прилагательные — атрибутивный показатель *na*. Однако в ряде случаев при одном и том же слове могут употребляться оба показателя, обычно это свойственно заимствованиям из китайского и европейских языков. При этом может возникать различие в значении: *na* обозначает внутренний, необходимый признак, а *no* — внешнее, необязательное свойство. Показателем такой пример: *Komaasharu “no” songu kara komaasharu “na” songu e* (Gs 1984, 6: 63) ‘От песен в телерекламе к песням телерекламы’. Речь идет о том, что раньше телереклама состояла из разных сюжетов, одним из которых могла быть рекламная песня; теперь же, как правило, весь рекламный ролик сводится к песне, рекламирующей товар. В ряде примеров, однако, трудно установить какое-либо семантическое различие между *no* и *na*.

К семантическим можно отнести и различия в степени идиоматичности. Аtribuтивный показатель *no* может в ряде случаев опускаться, но сочетание двух имен без *no* обычно связано с идиоматичностью, исчезающей при наличии *no*; такое сочетание обозначает некоторое единое понятие и часто фиксируется словарями, что реже происходит в случае с *no*. Например, *nihon inu* значит ‘собака японской породы’, *nihon ongaku* ‘музыка в японском национальном стиле’, тогда как *nihon no ongaku* — любого рода японская музыка, *nihon no inu* — любого рода японская собака.

2. Варьирование по широте значения. Если в примерах, разобранных ранее, замена каждого показателя на другой хотя бы в части случаев невозможна, то в данный разряд мы относим случаи, когда принципиально возможна замена лишь в одну сторону. Это связано с более широким значением одного из показателей.

Такое варьирование может возникать между первичным и вторичным показателями, причем вторичный показатель имеет более конкретное и узкое значение. Вторичный показатель, как правило, может заменяться на первичный, но не наоборот. Впрочем, замена вторичного показателя на первичный может не допускаться моделью управления конкретного глагола.

Так, значение контрагента может выражаться показателем косвенного дополнения *ni*, но имеется специализированный на этом значении послелог *to*. В ряде случаев *ni* и *to* вполне взаимозаменяемы: это бывает, например, при обозначении контрагента в случае глаголов *au* ‘встречаться’, *kuraberu* ‘сравнивать’, *hikiawasu* ‘сличать’, *icchi-suru* ‘быть в согласии’. Есть и глаголы, обязательно управляющие *to*, но не *ni* в данном значении: *tatakau* ‘бороться’, *kekkon-suru* ‘жениться; выходить замуж’, *chigau* ‘отличаться’, *hitoshii* ‘быть равным, одинаковым’. Найти семантическое отличие между двумя указанными классами глаголов вряд ли возможно. Но все

эти глаголы указывают на симметричность отношений между агенсом и контрагентом, на одинаковость или однотипность их семантических ролей. Однако если эти роли неодинаковы, то употребление показателя *to* невозможно и используется лишь более широкий по значению послелог *ni*: таковы, например, глаголы *sakarau* ‘не подчиняться’, *katsu* ‘побеждать’.

Тот же послелог *ni* может иметь значение конечной точки или направления действия наряду со специализированным показателем *e*. При этом *e* чаще имеет значение, связанное с конкретным перемещением в пространстве: *Ono wa fukai ike no naka e, dobunto ochite shimaimashita* (Т, 3: 92) ‘Топор плюхнулся в глубокий пруд’; *Voku wa... shinrui no uchi e ikimashita* (Kokugo, 3/1: 6) ‘Я поехал в дом родственников’. В этих случаях *e* заменимо на *ni* (что не всегда удобно за счет возможной неоднозначности). Однако при значении конечной точки в более широком смысле, например деловом, требуется только *ni*: *Zatsudan ni hima o tsubusu* ‘(Он) тратит время на пустые разговоры’. Впрочем, *e* в таком значении свойственно ряду диалектов и проникает в литературный язык, хотя не считается нормативным. См., например, в письме строительной компании жильцам соседних со стройкой домов: *Mainichi soon de go-kinrin no minasamagata e wa tadaï na go-meiwaku o o-kake shi...* ‘(Мы) ежедневным шумом приносим значительное беспокойство уважаемым соседям’.

Место действия обычно обозначается сирконстантным послелогом *de*. Однако при некоторых глаголах движения возможен и показатель прямого дополнения *o*; обычно это глаголы, содержащие характеристику способа передвижения: *aruku* ‘идти пешком’, *hashiru* ‘бежать’, *tobi* ‘лететь’, *oyogu* ‘плыть’. Здесь *o* и *de* взаимозаменяемы [Shinkawa 1979: 167], хотя в других случаях *o* в данном значении невозможен (*o* в этом значении по ряду критериев можно относить к прямому дополнению).

В то же время использование *de* в значении агенса возможно лишь в ограниченном числе случаев: когда агенс — не конкретное лицо, а группа лиц или коллектив, учреждение (значение безличного, институционального субъекта, по С. Э. Мартину) [Martin 1975: 43]: *Watashitachi no gakkyuu de, gakugeikai o hiraku koto ni shimashita* (Kokugo, 4/1: 80) ‘Наш класс решил устроить спектакль самодеятельности’; *Minna de, ore o baka ni suru* (Kokugo, 2/2: 106) ‘Все надо мной издеваются’. Универсальный же способ обозначения агенса — показатель подлежащего *ga*.

3. Дистрибуционное варьирование. Разные возможности для замены показателей в разные стороны могут быть связаны не только с различной шириной семантики, но и с различной шириной дистрибуции. При отсутствии семантических различий один показатель может употребляться только в определенных контекстах, иногда становясь в них предпочтительным, но не единственно возможным, тогда как другой показатель более универсален.

Как уже говорилось, показателем подлежащего является *ga*. Однако в некоторых случаях подлежащее может обозначаться атрибутивным показателем *no*. При этом не наблюдается каких-либо семантических различий, и *no* всегда можно

заменить на *ga*. *No* может быть показателем подлежащего лишь в придаточных определительных предложениях, причем далеко не всегда. В целом *no* тем более приемлемо, чем проще придаточное предложение как по структуре, так и по семантике. Использование *no* почти невозможно, если в придаточном предложении подлежащее чем-либо отделено от сказуемого, если это сказуемое сложно по своей структуре, если семантическая связь подлежащего и сказуемого нестандартна. См. пример Томода Эцуюко: приемлемы фразы *X no hirotta naifu* 'Нож, который поднял X', *X no katta naifu* 'Нож, который купил X', но вряд ли употребимы **X no otoshita naifu* 'Нож, который бросил X', **X no wasureta naifu* 'Нож, который забыл X', а *Ashi no nagai hito* 'Человек с длинными ногами' естественнее, чем *Naifu no nagai hito* 'Человек с длинным ножом' [Tomoda 1978: 129–131]. Обычно *no* употребимо лишь там, где придаточное предложение не распространено ничем, кроме, может быть, определений к подлежащему, и обозначает обычные, естественные действия или состояния со стандартным набором участников: *Masshirona nagai hige no haeta ojiisan ga, dete kimashita* (Т, 3: 80) 'Появился старец, у которого росла белоснежная длинная борода'; *Hana no saku koro wa...* (Т, 9: 2) 'Время, когда растут цветы'. Максимальная структурная простота и семантическая стандартность достигаются при обозначении внутренних, неотчуждаемых свойств, где *no* естественнее, чем *ga*, хотя и *ga* возможно: *Se no takai hito* 'Высокий человек' (дословно: 'Спина высока человек'); *Me no kuroi onna* 'Черноглазая женщина' (дословно: 'Глаза черны женщина').

Сходный случай наблюдается при обозначении объекта желания, оценки, чувства, ощущения, возможности, способности и т. д. В современном языке в предложениях подобной семантики обычно лицо, которое обладает желанием, чувством, способностью и т. д., обозначено подлежащим с *ga*, а объект — прямым дополнением с *o*. Однако во многих случаях здесь возможно и второе *ga* при обозначении объекта. Это бывает, если глагол имеет форму потенциальности, форму желательности, а также при употреблении предикатов *hoshii* 'желать', *suki* 'нравиться', *kirai* 'не нравится'³. При этом использование *ga* допустимо не всегда. Так, по данным массового опроса информантов, в предложениях с глаголами в форме желательности процент употребления *ga* в зависимости от примера колебался от 0,9 до 9,4 % [Fujita 1982]. Как и в случае *no* в позиции подлежащего, *ga* мало приемлемо или вообще не приемлемо при большом расстоянии между дополнением и сказуемым, при сложной структуре сказуемого, при необычной семантической связи. Наиболее стандартно употребление *ga* в максимально простых по структуре и обычных по семантике фразах типа *Mizu ga nomitai* 'Хочу пить воду'; ср.: *Morumotto ga kaitai n desu kedo* (Ак, 20.04.1978) 'Хочу держать морскую свинку'.

Оба случая вариативности объясняются диахронически. В прошлом *ga*, как и *no*, было атрибутивным показателем, оба показателя, однако, могли использоваться и в придаточных определительных предложениях. Затем *ga* превратилось

³ Последние два слова — прилагательные, употребляемые в позиции сказуемого со связкой.

в показатель подлежащего, употребляемый во всех позициях, использование же *no* в определительных предложениях стало исключением из правил. Он стал терять продуктивность и сохраняется лишь в наиболее частотных и стандартных случаях. В случаях же желательности, потенциальности и др. управление двумя *ga* было стандартным еще в начале XX в., затем началось выравнивание системы (возможно, под влиянием западных языков), и послелог *o* за несколько десятилетий вытеснил послелог *ga*, частично сохранившийся также там, где имел наибольшую частотность. Впрочем, при некоторых предикатах сходной семантики и сейчас нормативно управление двумя *ga*: *wakaru* ‘понимать’, *kowai* ‘бояться’.

К дистрибуционному варьированию могут быть отнесены и некоторые случаи варьирования послелога с его отсутствием. Член предложения с временным значением обычно оформляется с помощью *ni*, однако в ряде случаев послелог может отсутствовать. Опускание послелога не распространено⁴ при абсолютном, недейктическом обозначении времени (названия чисел, месяцев, годов, временных промежутков), но уже при обозначении дней недели оно встречается (только при значении ‘данный день недели’), хотя возможно и *ni*. Чем более дейклично значение, тем опускание более обычно [Kimura 1984: 68]. При словах *asa* ‘утро’, *ban* ‘вечер’ и др. оно обычно, а при *kinoo* ‘вчера’, *kyoo* ‘сегодня’, *ashita* ‘завтра’ опускание *ni* обязательно⁵.

К данному типу может быть отнесен и еще один случай. Некоторые грамматические показатели (тематическое *wa*, *mo* ‘также’, *sae* ‘даже’ и др.), присоединяясь к имени, вытесняют падежные послелоги *ga*, *o*⁶, но не вытесняют вторичные падежные показатели, включая *de*. Послелог *ni* занимает промежуточное положение. Нет ни одного случая, когда вытеснение *ni* обязательно, но достаточно часто оно невозможно, например когда третий актант с *ni* выполняет семантические роли адресата, бенефициата (лица, ради которого совершается действие), объекта каузации и т. д. Наиболее обычно вытеснение *ni* в посессивных конструкциях, где *ni* оформляет член предложения, обозначающий обладателя, а также при *ni* во временном значении. Особенно легко *wa* вытесняет *ni* при одушевленном обладателе и в случае неотчуждаемой принадлежности, см. [Wada 1982: 43; Bendix 1966: 109]. Возможно и опускание *ni* в значении конечной точки: *Chiyodasen, Marunouchisen wa o-norikae desu* (объявление в метро) ‘Пересадка на линию Тиёда, линию Маруноути’.

4. Прагматическое варьирование. Нередко одна и та же ситуация по-разному обозначается при сохранении того же предиката в целях различного прагматического выделения тех или иных ее участников. Наряду со способами, связанными с изменением формы предиката (пассив, специальные конструкции со вспомогательными глаголами), на которых мы не будем здесь останавливаться, имеются

⁴ Исключая эллипсис в бытовой речи (см. ниже, п. 6).

⁵ Эти слова — не наречия, они сочетаются с любыми падежными показателями, кроме *ni* в данном значении.

⁶ Исключая случай, описываемый в п. 6.

случаи, когда предикат сохраняет форму, но меняет управление (изменение диатезы без залоговых преобразований). См. такие примеры: *Penki de kabe o nuru* 'Красить стену краской' — *Kabe ni penki o nuru* 'Наносить краску на стену', *Tsuiido de ooba o tsukuru* 'Делать пальто из твида' — *Tsuiido o ooba ni tsukuru* 'Преображать твид в пальто' [Hanashikotoba 1963: 74]. В переводах делается попытка отразить характер управления, но при этом нарушается единство глаголов, имеющееся в японских примерах. В данных парах отобразена одна и та же ситуация, но с выделением именно того участника ситуации, который обозначен прямым дополнением с *o*. Возможны здесь и некоторые дополнительные смысловые различия (что сближает этот тип с типом 1): в случае *Penki de kabe o nuru* подразумевается охват действием всей стены, в другом примере это не обязательно [Shibatani 1982: 110].

Возможно также варьирование показателей прямого и косвенного дополнения при некоторых глаголах. Семантического различия здесь, по-видимому, нет, но при использовании *o* соответствующий участник ситуации выделен в большей степени. К таким глаголам относятся *kizuku* 'замечать', *kimeru* 'определять', *kodawaru* 'мешать', *koi-suru* 'любить', *otozureru* 'посещать', *ooen-suru* 'помогать', см. [Honda 1977: 101].

5. Коммуникативное варьирование. Близкий к предыдущему, но особый тип составляет варьирование, связанное с коммуникативным членением предложения. Для японского языка можно выделить по крайней мере один случай.

Определение с *no* не обособляется. Однако в ряде случаев, прежде всего когда по семантике определение и определяемое связаны посессивной связью, возможно преобразование определения в обособленный тематический член сообщения (топик). При этом данный член оформляется показателем подлежащего *ga* (который в большинстве примеров вытесняется тематической частицей *wa*, что, однако, встречается не всегда): *Sono naka de, miso ga donnani mainichi no seikatsu to tsunagari ga fukai ka* (SKG, 4/1: 85) 'Из этих блюд у мисо⁷ насколько тесна связь с повседневной жизнью?'; *Shikaritsukeru hoo ga I ga itamu* [Bungei 1979, 2, обложка] 'У тех, кто ругается, болит живот'. При замене первого *ga* на *no* (*miso no tsunagari ga* 'связь мисо', *shikaritsukeru hoo no I ga* 'живот тех, кто ругается') семантика остается той же, но топик отсутствует.

6. Стилистическое варьирование. При варьировании японских падежных показателей могут быть случаи, когда один из вариантов стилистически маркирован; при этом семантических различий обычно не бывает.

Одним из видов такого варьирования является эллипсис многих послелогов, свойственный разговорно-бытовой речи и недопустимый в книжных стилях (исключая особые случаи, см. ниже). Как правило, чем более семантичен послелог, тем труднее его эллиптировать. Наиболее легко опускаются первичные послелог *ga*, *o*, *no*, уже *ni* опускается реже и почти исключительно в местном значении, где, как говорилось выше, его опущение часто и за пределами бытовой речи. Особенно

⁷ Мисо — японское блюдо из перебродивших соевых бобов.

свойственно отсутствие первичных послелогов женской речи. В одном из экспериментов в речи женщин был отмечен эллипсис *o* в 77,9 % случаев (без учета его вытеснения показателем *wa* или *mo*) [Minegishi 1985: 14]. Примеры: *Okaasan, o-shiruko daisuki da kara* (SKG, 2/1: 102) ‘Потому что мама очень любит сладкий фасолевый суп’; *Koneko sashiagemasu* (уличное объявление) ‘Раздаю котят’.

В других стилях речи опущение послелогов также маркировано. Оно обычно лишь в двух случаях: в поэтических текстах (здесь послелогом могут опускаться, чтобы выдержать нужное количество слогов) и в заголовках, особенно газетных и журнальных, где также принято опускать лишь первичные послелогом, легко восстанавливаемые из контекста: *Juugatsu-nijuukunichi ni mo chansu arimasu* (I, 06.05.1985) ‘И 29 октября будет возможность’. Ср. опущение показателя в заголовке и сохранение его при описании той же ситуации в тексте: *Kakkai kara sambyakunin sanretsu* (Ak, 31.10.1978) ‘От всех организаций присутствовало 300 человек’ — *Soogi ni wa minshuu-dantai-daihyoo, uujin, chijin nado sambyakunin ga sanretsu* (Там же) ‘На похоронах присутствовали представители демократических организаций, друзья, знакомые и другие — 300 человек’.

Использование некоторых послелогов, наоборот, возможно лишь в книжных стилях. Некоторые послелогом попали в современный литературный язык через старописьменный язык. Они могут быть синонимичны другим показателям. Так, сирконстантный член предложения с местным значением в любом функциональном стиле оформляется послелогом *de*, но в книжных стилях встречается синонимичный послелог *nite*: *Nigatsu-nijuuninichi yori kono eigakan nite roodoshoo* (объявление в кинотеатре) ‘С 22 февраля в этом кинотеатре показ нового фильма’.

Если в разговорном стиле шире возможности опущения падежных показателей, то в книжных, наоборот, иногда возможно сохранение показателя там, где он обычно опускается. Там встречается сохранение послелогом *o* вместе с последующим показателем *mo*: *Gendai no sakuhin o mo atsume...* (SKG, 3) ‘Собрали и современные произведения...’.

Наконец, в архаическом стиле повествования об императоре и членах императорской семьи *ni* используется как показатель подлежащего во всех случаях, см. [Martin 1975: 41]. Сейчас этот стиль почти вышел из употребления.

Особый характер имеет варьирование послелогов *kara* и *yori* в значении исходной точки. Послелог *yori* в прошлом имел два значения: исходной точки и эталона сравнения, затем в разговорном языке первое значение исчезло, а функции *yori* перешли здесь к новому послелогом *kara*. Однако *yori* в данном значении вновь появилось в литературном языке как заимствование из старописьменного языка. Первоначально его соотношение с *kara* было таким же, как соотношение между *nite* и *de*. Но постепенно оно стало превращаться из стилистического в семантическое: сейчас *yori* в данном значении употребляется не только в книжных текстах, но и в бытовой речи, однако в отличие от нейтрального по вежливости (как и все прочие падежные показатели) *kara* послелог *yori* имеет значение подчеркнутой вежливости к собеседнику [Kusakabe 1977: 54]. Тем самым очень значимое для

японского языка и охватывающее многие элементы его системы противопоставление по степени вежливости к собеседнику начинает проникать и в подсистему падежных послелогов. Показательно преобладание *yori* над *kara* в телепередачах, объявлениях, рекламе, где проявление вежливости к собеседнику особенно значимо: *Minami yori no kaze* (телепрогноз погоды) ‘Южный ветер’; *Gosenen yori* (объявление в магазине) ‘(Цены) от 5000 иен (и выше)’.

Итак, варьирование *kara* — *yori* переходит из класса 6 в класс 1.

Подводя итоги, следует сказать, что варьирование показателей в японской падежной системе весьма распространено, чему во многом способствует агглютинативный характер японских падежных показателей, не спаянных со словом, к которому они относятся.

Список сокращений

- Ак — газета «Акахата».
Gs — журнал «Гэнго-сэйкацу».
I — газета «Иомиури-симбун».
Kokugo — Кокуго (учебник родного языка для средних школ). Токио, [б/г] (цифра перед косой чертой обозначает класс, цифра после черты — часть).
SKG — Сё:гакко:-кокуго (учебник родного языка для начальных школ). Токио, б/г.
T — Токухон (книга для чтения). Токио, б/г (цифра после буквы T обозначает класс).

ВАРИАТИВНОСТЬ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА В СВЯЗИ С ТИПАМИ ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Среди работ А. А. Холодовича сравнительно малое внимание лингвистов привлекла статья «О типологии речи» [Холодович 1967], перепечатано в «Проблемах грамматической теории» [Холодович 1979: 269–276]; отметим лишь отклик на нее Р. А. Будагова [Будагов 1971: 70–75]. Тем не менее проблематика статьи исключительно важна. Язык — прежде всего средство коммуникации, и вопрос о том, как и в каких формах осуществляется процесс коммуникации, представляет значительный теоретический и практический интерес. У нас статья А. А. Холодовича — один из редких примеров исследований такого рода, более подробно этой проблематикой занимаются японские лингвисты школы «языкового существования»¹.

В настоящей статье мы рассмотрим не столько типологию языкового существования, сколько ее отражение в системе японского языка. Этот язык удобен для рассмотрения проблемы, поскольку ряд различий (в частности, между письменным и устным вариантами языка) здесь более очевиден, чем, скажем, в русском языке (хотя, конечно, они существуют и в последнем). Японский язык в этом плане также изучался А. А. Холодовичем (см. [Холодович 1979: 54–90]).

Хорошо известно, что взгляд на язык как на единую гомогенную систему в большинстве случаев является определенной идеализацией. Любой достаточно распространенный язык представляет собой совокупность близких, но в чем-то различных систем, которые могут быть названы вариантами языка: ср. различия территориальных диалектов, социальных диалектов, диалектов и литературного языка, половозрастных вариантов языка и т. д. Особое место среди видов языковой вариативности занимает функциональная вариативность, зависящая от различия типов языкового существования. Такая вариативность свойственна прежде всего литературным языкам, обслуживающим разнообразные сферы общения (в языках, используемых лишь для устного бытового разговора, такая вариативность отсутствует). Далее мы будем говорить лишь о вариантах японского литературного языка (*hyooujungo*) (см. об этом также в статье «Статус основных форм...» в данной книге). А. А. Холодович выделяет пять дифференциальных признаков,

¹ Некоторое представление об идеях этой школы могут дать отрывки из работ Токиэда Мотоки, Нисию Минору, Сибата Такэси [Языкознание 1983].

позволяющих классифицировать речевое поведение человека; эти признаки рассматриваются как независимые. В принципе каждый из пяти признаков может быть связан с языковым варьированием. Рассмотрим влияние каждого из них на вариативность японского языка.

Первый признак — средство выражения речевого акта: звук, письменный знак (а также жест, о котором мы не будем здесь говорить). Хотя звуки и письменные знаки могут перекодироваться друг в друга, языки, имеющие письменность, обладают письменными и устными вариантами, часто далеко не взаимно однозначно соответствующими друг другу. Противопоставление «устный — письменный» нельзя смешивать с противопоставлением «разговорный — книжный», о котором будет говориться ниже: ср. дружескую переписку, с одной стороны, и лекцию или доклад — с другой.

Противопоставление устных и письменных вариантов, по-видимому, больше всего выявляется в языках с преобладанием иероглифического письма, к которым относится и японский². До XIX в. в Японии говорили и писали даже не на разных вариантах одного языка, а просто на разных языках: писали либо по-китайски, либо на старописьменном языке, при чтении вслух китайские тексты переводили на японский, а тексты на старописьменном языке произносили в соответствии с фонологией того или иного диалекта. Формирование литературного языка на разговорной основе и специальные меры по сближению устной и письменной речи в конце XIX — начале XX в. (так называемое движение «гэмбун-итти») сократили расстояние между системами (см. [Конрад 1960]). Однако ряд различий остался и по сей день.

Часть различий связана с большим количеством китаизмов, проникших в японский язык вместе с иероглифами. Китаизмы³ оказались удобным материалом для создания культурной лексики и особенно терминологии: из китайских морфем легко создаются сложные лексемы, тогда как возможности словообразования с использованием исконных морфем затруднены. На письме иероглифика делает хорошо понятной структуру сложной лексемы: можно не знать слово, но понять его значение, исходя из значений составляющих иероглифов. Однако из-за больших ограничений на структуру слога и слоговую структуру морфемы⁴ в китаизмах появляется большая омофония. Например, *kooshoo* (с повышением тона на второй морфеме) может значить 'ремесленник', 'устная традиция', 'устное показание', 'арсенал', 'официальное объявление', 'регистраемая проституция', 'нотариальное засвидетельствование', 'производственная травма', 'переговоры', 'связь',

² В языках с преобладанием буквенного письма оно, видимо, проявляется тем более явно, чем большее значение имеет иероглифика, ср. математические тексты европейских языков, где иероглифические формулы часто крайне сложно перекодировать в звуковую форму.

³ Как правило, заимствовались чтения иероглифов, чаще всего соответствующие морфемам. Большинство сложных слов создавалось из этих морфем уже в самой Японии.

⁴ Некоторые из этих ограничений существовали уже в языке-источнике, однако в японском языке омофония усиливается из-за утраты тоновых различий.

‘историческое исследование’, ‘награждение’, ‘укус’, ‘значок учебного заведения’, ‘бизань’, ‘отложения руды’, ‘высшее коммерческое училище’, ‘министр народного благосостояния’ и т. д. (подробнее см. [Корчагина 1984]).

Пока «книжные» стили японского языка были исключительно письменными, китаизмы были весьма удобны. Однако в связи с распространением устных докладов, лекций, звукового кино и особенно в связи с появлением радио, а затем телевидения омофония стала серьезной помехой. Многие тексты, особенно специальные, на слух мало понятны. Уже в первые годы существования японского радио выяснилось, что смысл зачитываемых газетных статей не доходит до слушателей, и это потребовало серьезной правки текстов [Kanno 1978: 8–9]. Предпринимаются особые меры по ограничению в устной речи китаизмов, прежде всего в текстах радио- и телепередач; их стараются заменять на исконные слова, европеизмы, более понятные китаизмы, словосочетания. Многие китаизмы по-прежнему употребляются лишь на письме (однако из этого не следует, что они «не являются полноценным средством общения людей» и их нельзя считать «нормальными словами», как это иногда утверждалось [Фельдман 1957: 30–31]). Вследствие этого тексты одинакового содержания (политические, научно-популярные и т. д.) имеют разный вид в зависимости от того, к устному или письменному распространению они предназначены⁵.

Другая специфическая черта письменных текстов — так называемая фуригана, т. е. знаки японской азбуки (хираганы или катаканы), написанные сбоку от иероглифа или последовательности иероглифов. Фуригана имеет две функции. Чаще всего она показывает, как следует читать иероглифы (обычно при редких иероглифах или в случае неоднозначного их прочтения)⁶. Однако (чаще в художественных текстах) фуригана используется для записи другого слова, обычно близкого по смыслу. Например, иероглифами записано *tokuhon* ‘щепка’, фуриганой — *kigire* с тем же значением, иероглифами — *tanin* ‘чужой человек’, фуриганой — *hito* ‘человек’, иероглифами — *koshiobi* ‘узкий пояс кимоно’, фуриганой — *bando* ‘пояс европейского типа’, иероглифами — *uma* ‘плита’, фуриганой — *pureeto* ‘плита’ (из англ.) (примеры взяты из произведений Абэ Кобо и Мацумото Сэйтё). В последнем случае письменный текст нельзя перенести в устный без потери информации (такого рода фуригана используется как художественный прием).

Другие особенности построения японских письменных текстов также связаны со смешанным иероглифически-алфавитным характером японского письма. Благодаря иероглифам можно сразу охватить смысл написанного, а затем прочесть

⁵ Все меры не всегда дают желаемый результат. Поэтому устные тексты часто дублируются графически: на японском телевидении важную роль играет письменная информация, во время научных докладов тезисы почти всегда раздаются заранее, в них обязательно включаются основные термины в иероглифической записи.

⁶ Такая фуригана встречается в любом письме, где есть иероглифы. Нам встретилось объявление на русском языке, где знак t° сопровождался словом «температура».

текст, детально всмотревшись в знаки хираганы и катаканы [Конрад 1972: 493–494]. Это учитывается в рекламе, в газетно-журнальных заголовках, на телеэкране и т. д., т. е. там, где надо сразу и быстро воспринять информацию. Для этого используются самые информативные иероглифы, а грамматические показатели, пишущиеся хираганой, и финитные формы глагола с окончанием, пишущимся хираганой, полностью или частично опускаются. Типичны предложения, оборванные на оформленном или неоформленном имени: *Shinteisei no too ni shiji o* 'Поддержку партии нового типа', *Seiketsu-antei, heiwa o jiku ni* '<Сделать> стабильность жизни, мир стержнем <борьбы>', *Ito-nanattoo e* 'К семи островам Ито', *Matatsu no yoru no yume, shuppaan!* 'Мечта ночью в разгаре лета, от-плы-ы-тие!' В устном варианте языка такие предложения если и возможны, то в стилях, обслуживающих сферу бытового общения.

Оставим пока в стороне второй признак, выделяемый А. А. Холодовичем, и рассмотрим третий и четвертый признаки: ориентированность речевого акта и квантификативность (потенциал) речевого акта. Два эти признака, по-видимому, не следует считать абсолютно независимыми: переходность речевого акта, при которой одна сторона только говорит или пишет, другая сторона только слушает или читает, в принципе предполагает множественность, точнее, неопределенное количество слушающих или читающих. Могут быть, конечно, исключения типа указанного А. А. Холодовичем случая, когда парикмахер просит пройти из очереди «следующего», однако подобный речевой акт уже занимает промежуточное положение: ответная реплика и здесь возможна. Взаимный же речевой акт, разумеется, не требует, чтобы собеседников было всегда двое; однако их количество должно быть сравнительно невелико и их состав точно определен. В терминологии А. А. Холодовича, переходный речевой акт, как правило, имеет массовый характер, а взаимный — индивидуальный характер.

Могут быть выделены два полярных класса ситуаций. С одной стороны, говорящий (пишущий) обращается к известным и конкретным собеседникам: текст предполагает ответ или, по крайней мере, допускает его (разговор, беседа, личная переписка). С другой стороны, может происходить обращение к абсолютно неопределенному собеседнику, при этом ответ не предполагается (научная литература, газетная информация, авторский текст художественных произведений); для японского языка такой тип ситуаций практически реализуется лишь на письме. Может быть выделен и промежуточный тип ситуаций, важный для языкового существования в такой стране, как Япония. В этом случае множество собеседников также не определено, однако задаются некоторые его характеристики (обращение к женщинам, пассажирам, политическим единомышленникам, любителям рекламируемого товара и пр.). Говорящий, обращаясь к массе, в то же время обращается как бы к каждому собеседнику лично; ответ также не предполагается. Примеры таких ситуаций: устная и письменная реклама, выступление телекомментатора, агитация на предвыборном митинге, статья женского раздела газеты, объявление по радио в метро.

Каждый из трех типов речевого общения может быть условно назван соответственно индивидуальным, массовым и индивидуально-массовым (или квазииндивидуальным).

В японском языке каждый из них обслуживается особым вариантом языка, имеющим свою специфику. Кое-какие различия здесь весьма обычны, так, в массовом варианте нет форм императива, местоимений 2-го лица⁷. Более специфичны различия, связанные с развитой системой так называемых форм вежливости⁸.

Важное место в японском языке занимает категория респектива, по А. А. Холодовичу (или категория адрессива). В глаголах, качественных глаголах и связках противопоставляются формы вежливости и невежливости по отношению к собеседнику: *yomimasu* 'читаю, читаешь, читает...' (вежливо), *yomi* (тот же перевод, но невежливо). Однако по существу противопоставление имеет силу лишь для индивидуального варианта языка, где говорящий (пишущий) может употребить любую форму в зависимости от оценки им собеседника. В двух других вариантах противопоставления нет. В индивидуально-массовом варианте существуют лишь вежливые формы, поскольку говорящий обращается как бы к каждому собеседнику лично и относится к нему с этикетным уважением⁹. В массовом же варианте есть только невежливые формы, которые здесь не имеют собственно невежливого значения и употребляются потому, что пишущий вообще не ориентируется на собеседника (играет роль, видимо, и формальная простота невежливых форм). Различие вариантов рельефнее всего в системе связок: в индивидуальном варианте противопоставлены вежливая связка *desu* и невежливая связка *da* (а также «сверхвежливая» связка *de gozaimasu*), в индивидуально-массовом варианте существуют только *desu* и *de gozaimasu*, в массовом варианте нет ни одной из этих связок, а есть особая связка *de aru*.

Другая категория вежливости — категория иерархичности (гоноратива) выражает отношение говорящего к лицу, совершающему данное действие (или пребывающему в данном состоянии), или же к лицу, для которого совершается действие. Здесь вежливые и невежливые формы противопоставлены в индивидуальном и индивидуально-массовом вариантах, однако в массовом, как правило, существуют лишь невежливые (простые) формы, также теряющие здесь невежливый оттенок. По официальным нормам (часто не соблюдаемым) есть одно исключение: о членах японской императорской семьи положено всегда говорить и писать с употреблением вежливых форм.

⁷ В японском языке их нет и в индивидуально-массовом варианте из-за их недостаточной вежливости (вежливо к собеседнику обращаются в 3-м лице).

⁸ Видимо, поэтому современные западные исследователи часто причисляют формы вежливости не к грамматике, а к стилистике; с этим полностью нельзя согласиться.

⁹ Исходя из различия этикетных и вежливых форм, предлагаемого в [Храковский, Володин 1986: 224–225], японские формы вежливости следует отнести к этикетным (хотя в периферийных случаях они часто допускают и собственно вежливое употребление).

Помимо собственно форм вежливости индивидуальный и индивидуально-массовый варианты обладают и различного рода элементами, служащими целям установления контакта с собеседником. К их числу относятся так называемые модальные концовки типа *но* + связка, модально-экспрессивные частицы. При индивидуальном и индивидуально-массовом общении такие элементы весьма часты, в индивидуальном варианте они встречаются почти в каждом предложении (исключая речь иностранцев), в индивидуально-массовом варианте их частота уменьшается. В массовом варианте они отсутствуют.

Во всех указанных случаях индивидуально-массовый вариант японского языка ближе к индивидуальному, чем к массовому, благодаря фиксации внимания на собеседнике.

По другим параметрам индивидуальный вариант языка противопоставляется остальным. Такая противопоставленность обычно имеется в виду, когда говорят о «разговорной» и «книжной» разновидностях языка. Ряд различий такого рода обуславливается тем, что при массовом и индивидуально-массовом общении тексты, как правило, подготавливаются заранее, а при индивидуальном общении появляются спонтанно. Отсюда довольно жесткие ограничения на длину и синтаксическую сложность предложения в индивидуальном варианте языка (прежде всего в индивидуальном устном) и более свободные правила в других вариантах¹⁰. Это различие, разумеется, существует не только в японском языке. Имеются и специфически книжные или разговорные слова и грамматические формы.

Пятый признак, по А. А. Холодовичу, — контактность / дистантность речевого акта. Индивидуальное и индивидуально-массовое общение может быть контактными, когда говорящий видит собеседников, и дистантными, когда этого нет. Массовое общение (в указанном выше смысле) всегда бывает дистантным. Различия по этому признаку при индивидуально-массовом общении как будто не проявляются в японском языке, при индивидуальном общении они есть. Так, постпозитивный показатель *sama*, присоединяемый к лексемам, обозначающим людей, часто встречается в официальной переписке, возможен он и в разговоре по телефону; в таких ситуациях это обычный способ выражения этикета. В то же время при непосредственном общении с собеседником он употребляется лишь при большой социальной дистанции (скажем, прислугой в разговоре с хозяином), сейчас его употребление даже слегка устарело; при контактном речевом акте обычно употребляется нейтрально-вежливый показатель *san*, который в переписке кажется недостаточно учтивым. Вообще по нормам японского речевого общения при дистантности речевого акта требуется больше вежливости, чем при его контактности: даже друзья, при разговоре употребляющие невежливые (фамильярные) формы, в переписке или по телефону могут перейти на вежливые [Hinds 1976: 125].

¹⁰ В бытовом разговоре предложение в среднем содержит 3,31 знаменательных слова, в заранее не подготовленной официальной беседе — 5,49, в лекции — 9,31, в теленовостях — 16,48 [NHK-nemuro 1978: 174].

Что касается второго признака (по А. А. Холодовичу, коммуникативности / некоммуникативности речевого акта), то здесь, судя по приводимым примерам, следует скорее говорить не о наличии — отсутствии партнера, а о его совпадении — несовпадении с говорящим или пишущим (трудно представить себе абсолютно некоммуникативный речевой акт). Все примеры некоммуникативных речевых актов у А. А. Холодовича отличаются тем, что говорящий и собеседник — то же лицо. В японском речевом поведении такие случаи допустимы, но им, по-видимому, не соответствуют какие-либо языковые особенности (отметим, что вежливые формы при этом невозможны, так как вежливость по отношению к себе в японском речевом поведении недопустима).

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДОВЫЕ КАТЕГОРИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

В последние десятилетия в лингвистике разрабатывается вопрос о каталогизации имеющихся в языках мира грамматических категорий. Как известно, в прошлом, особенно в так называемых миссионерских грамматиках, наблюдалось стремление находить чуть ли не во всех языках привычные для носителей языков Европы категории; иногда такая тенденция встречается и сейчас. Даже в таких, казалось бы, достаточно изученных и известных языках, как современный японский, можно обнаружить обычно не учитываемые грамматические значения, не свойственные европейским языкам. Один из примеров — значение аналитических форм со вспомогательными глаголами *oku*, *miru*, *shimau* (для *oku*, *shimau* — также соответствующих вторично-синтетических форм). Мы не утверждаем, что эти значения, которые составляют тему данной статьи, уникальны для японского языка, однако вопроса об их распространенности в других языках мы не касаемся.

Как можно будет видеть из приведенных здесь примеров, данные значения кажутся нестандартными для носителя русского или западноевропейских языков, но они, по-видимому, могут рассматриваться как видовые при широком понимании категории вида. Так, в определении Ю. С. Маслова из «Лингвистического энциклопедического словаря»: «ВИД — грамматическая категория глагола, обобщенно указывающая, “как протекает во времени или распределяется во времени” (А. М. Пешковский) обозначенное глаголом действие» [Маслов 1990: 83]. Отметим, что и в отечественной традиции, начиная с Е. Д. Поливанова [Поливанов 1917а: 77; Плетнер, Поливанов 1930: 87–88], данные формы (по крайней мере, с *oku* и *shimau*) относили к видовым, хотя нередко встречалось стремление «подогнать» их значение к значению русского совершенного вида (СВ), что неточно. Мы не настаиваем категорически на отнесении данных форм к видовым: во многом это вопрос чисто терминологический.

Данным формам была посвящена наша статья [Алпатов 1984а], опубликованная в издании, рассчитанном в основном на японистов. Здесь мы хотим прежде всего привлечь к соответствующим значениям внимание специалистов, не владеющих японским языком, в частности аспектологов. Поэтому мы остановимся на семантике форм, специально не рассматривая вопросы, связанные с их структурой в плане выражения, сочетаемостью с другими приглагольными служебными элементами; такого рода информация содержится в нашей вышеупомянутой статье.

Мы также сочли возможным не давать там, где это несущественно для темы, словные переводы примеров.

Все указанные здесь вспомогательные глаголы присоединяются к глаголу (знаменательному или другому вспомогательному) в форме деепричастия на *-te / -de*. Аффиксы залога (пассива, каузатива) входят в состав знаменательного глагола; все прочие аффиксы входят в состав вспомогательного глагола (в случае цепочки из нескольких вспомогательных глаголов — в состав последнего из них).

I. Формы (конструкции) с глаголом *oku*

Этот глагол как знаменательный означает ‘класть’. В разговорном варианте языка аналитическая форма на *-te oku* легко превращается во вторично-синтетическую с выпадением гласного *e*: *yonde oku* от *yomi* ‘читать’ превращается в *yondoku*.

Значение форм с *oku* впервые было более или менее правильно описано еще в 1930 г. видным японским лингвистом Мацусита Дайсабуро [Matsushita 1930: 411] (см. также о значении *oku* [Morita 1976: 45]). Семантика этих форм связана с указанием на то, что данное действие является подготовительным, важным для его агенса не само по себе, а как предпосылка для осуществления некоторого другого действия или появления некоторого состояния, в достижении которого агенс (всегда человек) заинтересован. Последнее действие или состояние в том же простом предложении не обозначается. Оно либо подразумевается, либо обозначается в другом предложении. Метафорическая связь данного значения со значением ‘класть’ очевидна: нечто как бы кладется, откладывается про запас для использования в дальнейшем. Встречающаяся во многих теоретических и практических грамматиках характеристика *oku* как показателя законченности действия или СВ не подтверждается рядом примеров.

Разберем несколько примеров с *oku*:

- (1) *Isana wa pan ni bataa o nutte oita* (O, 1: 86)¹ ‘Исана **намазал** масло на хлеб’. Намазывание масла на хлеб вряд ли кому-либо нужно само по себе, это предпосылка для того, чтобы затем всё это съесть.
- (2) *Ato gojikan, sore made ni ore no koto o zembu katazuketete oku* (O, 1: 221) ‘За пять часов к тому (времени) (я) **улажу** все свои дела’. Говорящий собирается уладить дела, чтобы освободить время для более важных с его точки зрения занятий.
- (3) *Tomokaku nogasuna, toraete oke* (O, 1: 239) ‘Во всяком случае, не выпускайте (его), (для этого его) **хватайте!**’ Здесь два законченных предложения (хотя и разделенных запятой), действие, обозначенное во втором предложении, служит предпосылкой для ситуации, обозначенной в первом.
- (4) *Tsugi no yoona issetsu o tsuijite uttatte okitai to kangaete kara da. Sore wa izen kara to kangaete kara da. Sore wa izen kara sekiempitsu de boosen o hiite oita bubun da* (O, 1:

¹ См. список сокращений в конце статьи.

185) '(Он) **хотел воззвать** (к ним) с помощью следующего отрывка. Это была часть текста, заранее **отчеркнутая** (им) красным карандашом'. Здесь формы с *oku* встречаются в двух предложениях подряд. Во втором предложении упомянуто действие, служащее предпосылкой действия, обозначенного в первом предложении: текст отчеркнут, чтобы затем сразу найти его и использовать для воззвания. В первом же предложении форма с *oku* означает, что само воззвание нужно лицу, являющемуся агенсом, для того чтобы переубедить тех людей, к которым он собирается обращаться.

- (5) *Kikuchi wa jochuu ni chaya o akesasete oite, niwa e deta* (KS: 156) 'Кикучи велел служанке **открыть** чайный домик и вышел в сад'. Речь идет о подготовке к чайной церемонии, один из этапов которой — открытие места для церемонии, обычно закрытого.
- (6) *Mata ittan rokuon-shite oite, ato de hoosoo-suru* (Kokugo: 19) 'Также иногда сначала **записывают на магнитофон**, а потом передают по радио'. На магнитофон записывают ради последующей трансляции.

Пояснения: *oku* — форма настояще-будущего времени индикатива, *oita* — форма прошедшего времени индикатива, *oke* — грубая форма императива, *okitai* — форма желательности настояще-будущего времени, *oite* — форма деепричастия, *akesasete* — каузатив от *akeru* 'открывать'. Японские глаголы не изменяются по лицам и числам.

II. Формы (конструкции) с глаголом *miru*

Глагол *miru* как знаменательный значит 'видеть'. В отличие от двух других данные формы не превращаются в синтетические. Их значение также можно охарактеризовать как значение подготовки, предпосылки. Однако данное действие — предпосылка особого рода: с его помощью агенс (человек) узнает нечто, получает некоторую информацию. Метафорический перенос значения здесь также очевиден — 'увидев (посмотрев), узнать'. Во многих грамматиках эти формы характеризуются как имеющие значение 'пытаться'. Такой перевод иногда (но не всегда) возможен, но формы с *miru* не обозначают попытку совершения действия, обозначенного знаменательным глаголом. Это действие осуществляется, но агенс не уверен в том, удастся ли ему получить с его помощью нужную информацию; только в этом здесь заключается попытка. Наиболее точно семантика форм с *miru* описывается в работе [Yoshikawa 1974].

Примеры:

- (7) *Asa, Izu no seikaigan no okio o tootte iru fune ga, shiroi mono o hakken-shita. Norikumi no gyofu ga me o sadamete miru to, tashikani ningen rashii* (МН: 242) 'Утром с плывшего вдоль западного берега Идзу судна заметили белый предмет. Рыбаки из экипажа **присмотрелись**: он действительно похож на человека'. Здесь рыбаки присматривались исключительно с целью разобрать, что представляет собой плывущий предмет (в переводе слово *пытаться* вряд ли уместно).

- (8) *Nichiyoobi ni, Kikuchi wa Bunko o denwa de yonde mita* (KS: 92) ‘В воскресенье Кикучи **вызвал** Бунко по телефону’. Вызвал, чтобы узнать от нее то, что ему нужно.
- (9) *Shitsurei da to omotta ga araato ni yotte mita no da ga, o-rusu deshita* (МН: 177) ‘Извините, но (я) **заходил** (к Вам) домой, (Вас) не было’. Зашел, надеясь получить нужную информацию, но попытка оказалась неудачной, хотя само действие осуществилось.
- (10) *Watashi ga, kono ori no o-sushi o zembu tabete miru kara, mite ite choodai. Seisankari dattara san'yompun gurai de shinu wa ne* (МН: 191) ‘Я **съем** все надломленные суси (японское блюдо. — В. А.), смотри. Если (в них) есть цианистый калий, (я) умру за три-четыре минуты’. Съем, чтобы проверить, отравлена ли еда.
- (11) *Gaikoku de seikatsu-shite mite, tsuukan-shimashita yo* [Kobayashi 1984: 91] ‘**Пожив** за границей, устал’. Жил с целью узнать, что из этого выйдет. Во фразах (8) — (11) в русском переводе возможны глаголы *пытаться*, *пробовать*, а данную фразу, видимо, лучше всего перевести как ‘Попробовал жить за границей и устал (от этого)’.
- (12) *Settokuni kite nani o kookan-jooken ni dasu no ka, matte miru hoka ni wakariyoo ga nai* (О, 2: 208) ‘Какие условия (они) выставят, когда придут (нас) уговаривать? Ничего не остается, кроме как **ждать**’. Подождем и в результате узнаем, что с нами будет. Ср. русский перевод В. С. Гривнина, где *matte miru* от *matte* ‘ждать’ передано как ‘Подождем — увидим’ с сохранением внутренней формы.

Пояснения: *miru* — форма настояще-будущего времени индикатива, *mita* — форма прошедшего времени индикатива, *mite* — форма деепричастия.

III. Формы (конструкции) с глаголом *shimau*

Глагол *shimau* как знаменательный значит ‘заканчивать’, однако в современном языке он (в отличие от *oku* и *miru*) в этом значении редок и используется почти исключительно как вспомогательный. Формы с *shimau* в разговорном варианте языка часто превращаются во вторично-синтетические, особенно в прошедшем времени: *yonde shimatta* превращается в *yonjatta*. Пример из интервью с лингвисткой:

- (13) *Chomusukii-zensei de, potsunto-shichatta* (G, 1983, 5: 91) ‘В период расцвета (идей) Хомского (он) остался одинок’.

Широко распространенные формы с *shimau* часто характеризуются как формы со значением полной завершенности, исчерпанности действия. Однако такая трактовка не подтверждается уже тем, что они образуются от мгновенных по семантике глаголов типа *shinu* ‘умереть’. См. также:

- (14) *Tairyoo ni fukuyoo-shite wa dame da to itte mo, shirooto-ryoohoo de wa, daremo ga hit-suyoo ijoo nonde shimau n desu yo* (О, 1: 93) ‘Сколько ни предупреждай, что в больших дозах (антибиотики) принимать нельзя, занимаясь самолечением, каждый **принимает** больше, чем положено’. Здесь речь идет о множестве действий, часть из которых еще не закончена.

Формы с *shimau* обозначают, что в результате соответствующего действия происходит существенное изменение некоторого состояния, некоторого положения дел. Это состояние, как правило, не обозначено, а набор его участников может совпадать, но может и не совпадать с набором участников действия, обозначенного формой с *shimau*. Изменение ситуации часто бывает необратимым, но может быть временным, как в примере (23) (о погоде). Однако в любом случае изменение ситуации приводит к достаточно стабильному, хотя бы на время, новому положению дел, значимому для того или иного лица. Часто изменение ситуации связано с коннотацией его нежелательности для какого-то лица (далеко не всегда обозначаемого в предложении), но эта коннотация необязательна (см. пример (15), где *shimau* употребляется в форме желательности). В отличие от форм с *oku*, *miru*, образуемых только от активных глаголов, обозначающих действия людей, как правило сознательно контролируемые, формы с *shimau* могут образовываться от значительно более широкого круга глаголов.

Особенно показателен пример (15), где прямо противопоставлены формы от одного глагола (*kekkon-suru* значит и 'жениться', и 'выходить замуж') с *shimau* и без него:

- (15) *Onna wa kekkon-shite shimaeba kanzenni natte shimaitai shi. Hyaku-paasento tsuma ni natte shimau no desu. Tokoroga otoko wa kekkon-shite mo nao hambun wa dokushin de iru* (I: 51) 'Женщина, если выходит замуж, **хочет** полностью **стать женой**. **Становится женой** на сто процентов. Но мужчина, хотя и **женится**, наполовину остается холостяком'. Здесь применительно к женщине трижды используются формы с *shimau*, но в отношении мужчин — без вспомогательного глагола.

Приведем еще несколько примеров на использование *shimau* из книг и телепередач; некоторые из них комментарий не требуют:

- (16) *Sekai ga hookai-shite shimau no de wa nai ka?* (O, 1: 9) 'Разве **не рушится** мир?'
- (17) *Naka ni hairikonde shimattara teki o koogeki wa dekinai n da kara* (O, 2: 135) 'Если (мы) **запремся** внутри, (мы) не сможем сопротивляться.'
- (18) *Ore wa aitsura ga kon'ya no uchi ni mo kono tatemono no koto o shabette shimau to otou n da* (O, 2: 136) 'Я думаю, что за эту ночь они **разболтают** про наше здание (и противники узнают, где мы скрываемся).'
- (19) *Shikashi aitsura "Booi" no atama o nagutte shimatta n da* (O, 2: 104) 'Но они **попали** Бою в голову (и он смертельно ранен).'
- (20) *Watakushi wa, tootoo Ootsuka-san ni kegaserarete shimaimashita* (МК, 282) 'В конце концов я **была обесчещена** Оцука-сан.'
- (21) *Gurunooburu wa Riyon yori mo harukani chiisana machi datta kara, nisanjikan mo shinai uchi ni hotondo mite shimatta* (E: 112) 'Гренобль намного меньше Лиона, поэтому (я) за каких-нибудь два-три часа **посмотрел** почти всё (и мне стало нечего делать).'
- (22) *Okurete shimau wa. Fune no jikan ni* (эстрадная песня) '(Я) **опоздала**. Ко времени (отплытия) корабля (и не попрощалась с возлюбленным).'

- (23) *Ame aruiwa yuki no tenki ni natte shimaimashita* (выступление синоптика) ‘Установилась погода с дождем или снегом’.
- (24) *Se o hodoo ni suwarikonde shimatta* (репортаж о марафонском беге) ‘(Марафонец, устав,) сел на дорожку (и выбыл из соревнований)’.
- (25) *Toki no tatsu no o wasurete shimaimashita* (рассказ поклонницы эстрадного певца о впечатлении от концерта) ‘(Я) забыла течение времени’.

Пояснения: *shimau* — форма настоящего-будущего времени индикатива, *shimatta* — форма прошедшего времени индикатива, *shimaeba* и *shimattara* — условные формы, *shimaimashita* — вежливая форма прошедшего времени, *kegaserarete* — форма пассива.

Еще пример из телепередачи. В репортаже из Камбоджи осенью 1997 г. рассказывалось об отъезде Нородума Сианука в Пекин после происшедшей смены власти. Глагол со значением ‘отправиться’ был употреблен в форме с *shimau*, что сразу добавляло значение, которое более никак в тексте не было выражено: Сианук, номинально еще остававшийся главой государства, покидает страну надолго или навсегда.

Отметим, что употребление или неупотребление форм с *shimau* может быть связано с коммуникативной структурой текста. Обращает на себя внимание большая частота форм с *shimau* от глагола *shinu* ‘умирать’ и других глаголов с подобным значением. На наш вопрос, чем отличаются по значению *shinu* и *shinde shimau*, японские лингвисты ответили: *shinu* обычно говорят, если человек только что умер, т. е. тогда, когда новой информацией является сообщение о чьей-либо смерти, здесь *shimau* не нужно (см. также пример (10)). Но в повествовательном тексте, где о чьей-либо смерти сообщается в ряду других событий, формы с *shimau* почти обязательны.

Список сокращений

- E — *Endoo Shuusaku*. *Naha naru mono*. Tokyo, 1976.
 G — журнал «Gengo» (Язык). Токио.
 I — *Ishikawa Tatsuzoo*. *Doro ni mamirete*. Tokyo, 1972.
 Kokugo — *Kokugo* (Японский язык). Учебник для школ. Tokyo, 1969.
 KS — *Kawabata Yasunari*. *Sembazuru*. Tokyo, 1973.
 MK — *Matsumoto Seichoo*. *Kiri no hata*. Tokyo, 1973.
 MH — *Matsumoto Seichoo*. *Harikomi*. Tokyo, 1973.
 O — *Ooe Kenzaburoo*. *Kozui wa tamashii ni oyobi*. V. 1–2. Tokyo, 1973.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Как известно, центральным понятием европейской лингвистической традиции и лингвистической науки является понятие слова. Для европейских языков сравнительно редко сомнения вызывают границы слов. Наиболее традиционный тип грамматического описания заключается в рассмотрении слов как исходных, заранее известных единиц анализа. При этом с самого начала как-то разграничиваются знаменательные и служебные слова, которые рассматриваются как различные по свойствам, но одноплановые по сущности (в русском варианте европейской традиции это разграничение существеннее, чем в английском, где даже нет канонического аналога нашему термину *знаменательное слово*). В то же время определения слова и выделение критериев для его вычленения в тексте оказываются затруднительными. Не раз, начиная с И. А. Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн 1904: 535] и Ш. Балли [Балли 1955: 315], писали о том, что за традиционным понятием слова скрывается несколько разнородных единиц языка; особенно четко об этом говорится в статье С. Е. Яхонтова [Яхонтов 1963].

Положение дел в отношении слова вполне точно охарактеризовал Д. Н. Шмелев: «Уже предложено бесчисленное количество определений слова, которые существенно отличаются друг от друга и редко использовались кем-нибудь, кроме (да и то не всегда) самих их авторов... Сама возможность появления приемлемой для большинства лингвистов дефиниции слова представляется, по крайней мере, сейчас, довольно сомнительной» [Шмелев 1973: 35]. За годы, прошедшие после публикации этой работы, ситуация не изменилась. Концепции слова в лингвистике XX в. связаны не с описанием, а с моделированием слова: они в той или иной мере приближаются к привычному для нас представлению о слове, но до конца с ним не совпадают. Об этом мы уже писали в статье «О двух подходах к выделению единиц языка» (см. в настоящем сборнике).

Центральное место слова нелегко доказать собственно лингвистическими методами. На наш взгляд, оно становится яснее, если обратиться к изучению психолингвистического механизма мозга человека. Этот механизм, пока что не доступный прямому наблюдению, может быть исследован косвенным образом, в частности в тех случаях, когда его составные части выступают изолированно друг

от друга. Большую важность могут иметь исследования афазий и измененных состояний человека, при которых некоторые из таких частей выходят из строя, и детской речи, в которой они освоены еще не полностью. Значение этих исследований для проблемы психологической адекватности лингвистических описаний отмечалось в некоторых работах [Головастиков 1980].

Выдающийся отечественный исследователь травматических афазий А. Р. Лурия еще в 40-х гг. отмечал: «Основным динамическим единством нормальных артикуляторных процессов является слово» [Лурия 1946: 84]. Он описал травматическую моторную афазия, при которой больные, если у них не нарушен процесс артикуляции, сохраняют способность произносить изолированные слова, но затрудняются в произнесении их сочетаний [Там же: 76–77]. Один из видов такой афазии А. Р. Лурия назвал «телеграфный стиль». Вот пример «телеграфного стиля» (попытка рассказать содержание фильма): «Одесса! Жулик! Туда... учиться... море... во... во-до-лаз! Армена... на-роход... пошло... ох! Батум! Барышня... Эх! Ми-ли-цинер... Эх!.. Знаю!.. Кас-са! Денег. Эх!.. Папиросы. Знаю... Парень... Пиво... усы... Эх» и т. д. [Лурия 1947: 91]. То есть в основном произносятся имена в именительном падеже единственного и реже множественного числа, глаголы в форме инфинитива и иногда иные, фактически застывшие формы, употребляемые как целые высказывания (*денег, знаю*). Больные данным видом афазии не могут правильно разложить слово на звуки [Там же: 90]. Слово также превращается в не членимую по смыслу последовательность, а грамматические отношения связываются с порядком слов: больные признавали правильными предложения типа *Собаку облаяла лошадь* [Там же: 87–88], а сочетания *мамина дочка* и *дочкина мама* равно воспринимали в значении «мать и дочь» [Там же: 159]. Служебные слова при данном виде афазии исчезают [Там же: 91]. В отличие от них аффиксы как части слов сохраняются, теряя выделимость. Хотя свободные сочетания слов делаются невозможными, могут сохраняться устойчивые словосочетания, как общепринятые, так и актуальные для данного человека: один такой больной мог назвать свою прежнюю должность *начальник радиостанции*. Можно предполагать, что при моторной афазии типа «телеграфного стиля» не поврежден участок мозга, ответственный за хранение базовых единиц, но поврежден тот его участок, который ведает как сочетаниями, так и преобразованиями этих единиц.

При сенсорной афазии, наоборот, сохраняется способность сочетать слова, однако механизмы хранения их в памяти оказываются нарушенными. «Наиболее абстрактные слова словаря, а также чисто аналитические единицы, такие как союзы, предлоги, местоимения, артикли, лучше всего сохраняются и чаще употребляются в речи больных, фокусированных на контексте» [Там же: 141]. Речь таких больных состоит не из отдельных слов, а из коротких фраз с правильным употреблением грамматических форм и крайней бедностью лексики. Вот рассказ больного о ранении: «Мне прямо сюда... и всё... вот такое — раз. Я не знаю... вот так вот.... И уже не знаю.... Когда я тут — и никак» [Там же: 133].

Интересный результат дали и исследования Д. Л. Спивака, изучавшего процесс постепенного выхода из строя языкового механизма при инсулиновой терапии

(лечение больных шизофренией с нормальной речью большими дозами инсулина, приводящее к потере сознания). При таком лечении происходит как бы искусственная афазия, которую можно дозировать и исследовать на разных этапах. В течение всего времени утраты речевого механизма слова, как правило, сохраняются, хотя актуальные для больного штампы могут сливаться в единый комплекс: *лечаще'врач, лечаще'врачу* [Спивак 1986: 27]. Но уже на самых первых стадиях афазии больные не могут преобразовать в прошедшее время бессмысленные слова с реальными окончаниями настоящего времени или редкие глаголы с этими окончаниями; с частыми же глаголами они сохраняются дольше, но на последующих стадиях также прекращаются [Там же: 143–144]. Слова постепенно становятся неразложимыми на морфемы, возрастает роль порядка слов, в частности актив и пассив начинают различаться в зависимости от словопорядка: фраза *Девочка написать письмо* воспринимается в значении *Девочка написала письмо* [Там же: 146]. Как мы видим, данные близки к тем, которые получил А. Р. Лурия, причем при инсулинотерапии одновременно нарушаются и механизм хранения, и механизм сочетания базовых единиц.

Материалы исследования афазий во многом подтверждаются и наблюдениями над детской речью. Как отмечал Д. Болинджер, после прохождения первичной стадии произношения отдельных звуков и слогов выделяются: этап не членимых слов-высказываний, когда еще нет синтаксиса, аналитический этап, когда высказывания начинают члениться, а затем синтаксический этап, когда слова сознательно комбинируются, освоен их порядок, но нет еще ни служебных слов, ни выделяемости аффиксов [Bolinger 1968: 4–7]. Что касается стадии слов-высказываний, то еще в 30-е гг. П. П. Блонский писал: «Эти высказывания состоят только из одного слова. Было бы большой натяжкой считать это слово, как это делают многие исследователи, предложением, суждением... Если оставить в стороне эмоциональные высказывания типа междометий, то лучше говорить о наименованиях» [Блонский 1935: 164].

И на более поздних этапах развития у детей наблюдается та же тенденция к пониманию слова как минимальной смысловой единицы и переоценки грамматической роли порядка слов. Даже ребенок, с которым велись специальные занятия в течение года, испытывал затруднения в различении фраз: *Покажи ключом гребешок* и *Покажи гребешком ключ*; ребенок, с которым не велись занятия, вообще не был в состоянии различить эти фразы [Лурия, Юдович 1956: 58]. Лишь после обучения дети могут ощутить неправильность фразы: *Я кушал конфетками* [Там же: 89]. Педагоги разрабатывают специальные методы обучения детей в школе членению слов на морфемы [Ждан, Гохлернер 1972: 63–72], но не возникает необходимости разработки методики для обучения членению предложения на слова (по крайней мере, знаменательные). Поначалу в речи детей фигурируют лишь некоторые словоформы: для имен это формы именительного падежа единственного числа. Позднее появляются другие падежные формы, причем формы косвенных падежей с нулевым аффиксом формируются позже всего, на некотором этапе

винительный падеж единственного числа всегда маркируется с помощью -у, родительный падеж множественного числа — с помощью -ов [Слобин 1984: 185].

Итак, все эти данные подтверждают вывод о том, что именно слова в большинстве случаев хранятся в памяти человека и не создаются в процессе речи, а берутся в готовом виде. Ср. привычное у нас после работ А. И. Смирницкого начала 50-х гг. разграничение производимых и воспроизводимых единиц. Это не исключает возможности в некоторых случаях хранения в памяти устойчивых словосочетаний и даже коротких текстов, как и возможности окказионального образования новых слов, некоторые из которых затем могут стать воспроизводимыми единицами.

В сущности, и лингвисты, осознанно исходившие из словоцентрического подхода к языку, прибежали, прямо или завуалированно, к психолингвистическим аргументам. Вероятно, так можно интерпретировать слова Ф. де Соссюра о «единице, неотступно представляющейся нашему уму как нечто центральное в механизме языка» [Соссюр 1977: 143], или явно навеянное языковой интуицией высказывание А. И. Смирницкого: «Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок» [Смирницкий 1955: 14]. Пожалуй, определеннее всего об этом писал Чжао Юаньжень, выделявший особую единицу — «социологическое слово» (sociological word): Он писал: «Под “социологическим словом” я имею в виду такой тип единицы, промежуточной по протяженности между фонемой и предложением, которую осознают обычные люди, не лингвисты, о которой они говорят, для которой они имеют обиходное название и с которой они практически имеют дело различным образом. Это именно то, чем овладевает ребенок, когда учится говорить; то, чему учит учитель детей при обучении чтению и письму в школе; то, за что платят так много писателям; то, что подсчитывает и за что назначает цену клерк на телеграфе; то, в чем делают обмолвки; то, за чье правильное или неправильное использование хвалят или осуждают» [Juen Ren 1968: 136]. Слово в лингвистике, по-разному понимаемое, — некоторая модель данной единицы.

Мы пока что рассматривали лишь материал русского языка, учитывая также и работы, основанные на материале западных языков, где, по-видимому, действуют сходные закономерности. Однако встает вопрос, насколько привычное для нас соотношение «социологического слова» с собственно лингвистическими единицами может проследиваться в языках иного строя.

Мы далеки от мысли о принципиальном различии психолингвистического механизма у разных народов. По-видимому, одной из универсалий является существование в мозгу человека некоторых воспроизводимых единиц в виде готовых блоков, именно их в первую очередь следует называть словами. Эти единицы не могут быть ни слишком краткими, ни слишком длинными, например, не должны в общем случае равняться фонемам или предложениям (ср. слова Чжао Юаньжэня). В первом случае процесс порождения высказываний был бы слишком сложным, во втором случае затруднительным было бы хранение всех единиц в мозгу. Человеческие языки имеют большие структурные различия. Нам не представляется удивительным, если эти различия могут быть связаны и с наиболее

типичным соотношением между словом в данном случае и собственно лингвистическими единицами. Оптимум может достигаться по-разному.

Одно из косвенных свидетельств таких различий — существование разных лингвистических традиций, основанных носителями языков разного строя. В европейской традиции слово приравнивается к единице, которую сейчас в российской науке принято называть словоформой — последовательности из тесно сросшихся между собой корней и аффиксов. Но европейская традиция не является единственной. Мы рассмотрим лишь одну из иных традиций — японскую. Она хотя и не вполне самостоятельна (в свое время отделилась от китайской традиции, а потом испытала влияние европейской), но в отличие от некоторых других восточных традиций сохраняет некоторые свои существенные черты и по сей день.

С самого начала науки о языке в Японии выделялись некоторые единицы, считавшиеся исходными и очевидными (в современной науке их называют *go*, или *tango*, буквально 'простые го'). Эти единицы еще издавна делились на знаменательные (*kotoba*) и служебные (*tenioha*), а затем каждая из этих разновидностей делилась на классы, сопоставимые с европейскими частями речи (знаменательные *go*, прежде всего, делились на имена и глаголы). То есть пока что видно большое сходство с европейской традицией. Различия начинались там, где речь идет о собственно лингвистических свойствах *go*. Эти единицы далеко не всегда соответствуют словоформам: знаменательные *go* ближе всего к тому, что в европейской традиции называют основами слов; в число служебных *go* попадают не только служебные слова, но и значительная часть несомненных, с европейской точки зрения, аффиксов. Под аффиксами (*setsuji*) в японской традиции понимаются лишь деривационные морфемы; часть словоизменительных аффиксов, в том числе показатель настояще-будущего времени индикатива *-ru / -u*, включается в состав глагольных *go*, не выделяясь как сегментные единицы, а их присоединение рассматривается как изменение всего *go*. То есть большинство аффиксов словоизменения трактуется как отдельные *go*, а меньшинство из них понимается аналогично тому, как рассматривались окончания слов в античной и средневековой науке (реликт этого рассмотрения сохранился в традиционных терминах «склонение», «спряжение», «словоизменение»). Подробнее о таких особенностях японской традиции см. нашу книгу [Алпатов 1979] и статью [Алпатов 1984б].

Понятие *go* сопоставимо с европейским понятием слова, но их различия видны хотя бы в том, как традиционно трактуется синтаксис (который, впрочем, сложился в Японии поздно, лишь в первой половине XX в.). Если в европейской традиции вполне обычно считать, что минимальная синтаксическая единица — слово (разногласия вызывают иногда лишь служебные слова, но чаще всего даже их присоединение относят к синтаксису), то в японской традиции потребовалось выделить в качестве минимальной единицы синтаксиса (*bunsetsu*) сочетание знаменательного *go* со всеми примыкающими к нему служебными. И если в обычном японском письме пробела нет вообще, то там, где пробел используется (книги для маленьких детей, некоторая учебная литература), им отделяются именно *bunsetsu*.

Можно предположить, что в мозгу носителей японского языка хранятся *go*. Подтверждается ли это данными афазий или детской речи? Как выясняется, такой материал в чем-то подтверждает данную гипотезу, но в некоторых случаях требует ее уточнения.

Что касается знаменательных *go* в традиционных границах, включая и глагольные формы на *-ru / -u* и прочие *go*, где могут быть выделены окончания, то их отдельность и воспроизводимость подтверждается как исследованиями афазий [Kamei 1984], так и исследованиями детской речи. У детей выделяется период, когда речь состоит из отдельных знаменательных *go* [Hayakawa 1982: 7–9; Murata 1984: 127–141; Hayakawa 1984: 1–2]. Показательно, что, согласно данным экспериментального исследования, японские дети значительно легче запоминают *go*, чем, с одной стороны, их составные части или не осмысленные слоги, с другой стороны, словосочетания и предложения [Yamada, Sustainbaagu 1983: 63–65]. Авторы этого эксперимента прямо делают вывод о его соответствии традиционным представлениям о *go* как главной единице языка [Ibid.: 65].

Но особый интерес представляет в этом плане статус аффиксов и служебных слов. Многие служебные элементы, устойчиво трактуемые традицией как отдельные *go*, проявляют себя как безусловно отдельные единицы. Это, прежде всего, относится к агглютинативным элементам, которые и большинством западных и отечественных японистов относятся к служебным словам; в именных *bunsetsu* они абсолютно преобладают, в глагольных *bunsetsu* занимают конечное положение (союзы, модально-экспрессивные частицы и др.). Агглютинативные элементы в детской речи отсутствуют на этапе однословных и, как правило, двухсловных высказываний. На последнем из этих этапов (вторая половина второго года жизни) появляются предложения, состоящие из имени и глагола; глагол включает в себя окончание, но имя никак не оформляется и падежные отношения выражены лишь порядком слов. Приводятся примеры: *Koko ike* ‘Здесь (сюда. — В. А.) иди!’, *Mikan muite* ‘Мандарин очисти’, *Gakko iku* ‘Школа (в школу. — В. А.) идет’ [Hayakawa 1982: 9; Murata 1984: 216; Hayakawa 1984: 3–11]. Встречаются и трехсловные предложения без падежных показателей: *Denki otoosan totta* ‘Лампочка папа взял’ [Ookubo 1984: 35] (в примере обращает на себя порядок OSV, для японского языка допустимый, но не считающийся базовым; видимо, для ребенка правила актуального членения перевешивают правила базового порядка). Далее, на третьем году жизни, начинают осваиваться падежные показатели и другие агглютинативные элементы [Murata 1984: 215]. Имеются отдельные исключения: сначала в детской речи появляется *hitori de* ‘в одиночку’, а потом это идиоматизированное сочетание начинает члениться на *hitori* ‘один человек’ и показатель инструментального падежа *de* [Hayakawa 1984: 14]. Всё это соответствует появлению служебных слов в речи русских детей. При моторной афазии же падежные и аналогичные им показатели, как и русские служебные слова, исчезают из речи [Kamei 1984: 84]. Автор данного исследования афазий делает вывод о различии механизмов, управляющих знаменательными и служебными словами (*go*). Но окончания, не считающиеся в японской традиции

отдельными *go*, как и русские окончания, ни на каком этапе детской речи не выступают отдельно [Murata 1984: 197].

До сих пор мы имеем полное совпадение психолингвистических представлений с традицией. Однако выявляются и расхождения. В парадигме японского глагола важное место занимают три флективных окончания: показатель прошедшего времени *-ta / -da / -ita* и два омонима *-te / -de / -ite*, один из которых — показатель деепричастия, другой — показатель императива (именно последний, исторически происшедший из первого, рано появляется в детской речи [Ibid.: 197]). В японской традиции их принято считать отдельными служебными *go*, причем в описании системы глагола возникает несимметричность: противопоставленные друг другу индикативные формы двух времен описываются по-разному. Например, от глагола 'братъ' форма настоящего-будущего времени *toru* не членима, а форма прошедшего времени *totta* членима на два *go*: *tot-ta*. Однако данные детской речи здесь не соответствуют традиции: *-ta / -da / -ita* и *-te / -de / -ite* выступают только как части слов [Найакэва 1984: 3–9; Murata 1984: 197–198; Yamada, Sustainbaagu 1983: 23–27] (см. в приведенных выше примерах формы *muite*, *totta*). Один из исследователей детской речи пишет, что глаголы у японских детей формируются не в виде *go* [Найакэва 1984: 3]. Другой автор, Мурата Кодзи, прямо указывает, что, в соответствии с данными детской речи, в японском языке имеется глагольное словоизменение и приглагольные служебные *go* являются аффиксами [Murata 1984: 196]. По его мнению, первоначально в детской речи существуют лишь отдельные словоформы, часто по одной форме от того или иного глагола, и лишь на третьем году жизни формируется представление о парадигме [Ibid.: 197–199].

Всё это похоже на данные про русских детей, но в той же книге фиксируется и различие: на третьем году дети параллельно с самостоятельным образованием тех или иных глагольных форм начинают вычленять и отдельно произносить грамматические элементы, в частности императивное *-te* [Kamei 1984: 199]. Как будто для русских детей отдельное произнесение окончаний не фиксируется. Стало быть, японские флективные окончания всё равно несколько более психологически самостоятельны. Позднее, начиная с начальной школы (в Японии с 6 до 12 лет), где детей учат традиционному пониманию *go*, их психолингвистические представления корректируются.

Надо учитывать еще одно обстоятельство. Японская глагольная парадигма включает в себя, с европейской точки зрения, два класса аффиксов. Это окончания, обозначающие синтаксическую позицию (финитные формы, деепричастия), а для финитных форм наклонение и время, и предшествующие им суффиксы: показатели пассива, каузатива, отрицания, желательности, этикета (вежливости) и др. Выше речь шла лишь об окончаниях. Суффиксы в детской речи ведут себя иначе. Формируются они в основном позднее, на третьем году жизни, т. е. примерно в одно время с падежными показателями [Найакэва 1984: 10; Murata 1984: 204–205; Ookubo 1984: 45–49]. Их аффиксальный характер связан, прежде всего, с весьма сложными правилами чередования на морфемных стыках. И оказывается, что эти

чередования осваиваются не сразу и с трудом [Murata 1984: 198]. Нередки ошибки вроде **asobinai* ‘не играю’ вместо правильного *asobanai* [Ookubo 1984: 49], **ikereru* (пассив от ‘идти’) вместо *ikerareru* [Найакawa 1984: 12]. Такие ошибки свидетельствуют о том, что данные формы не хранятся в памяти, а синтезируются. Когда звуковые последовательности хранятся в цельном виде, то ошибок подобного рода не возникает: исследователи японской речи не отмечают ошибок вроде **muide* вместо *muite*. В отличие от русской или тем более английской, японская глагольная парадигма весьма обширна, в одной словоформе может быть до пяти словоизменительных аффиксов. Хранение в памяти всей парадигмы было бы затруднительно. Как показывают данные детской речи (данными исследования афазий в этом пункте мы не располагаем), словоформы синтезируются из составных частей. При этом японская традиция варьирования на морфемных стыках трактуется как своего рода словоизменение (в первоначальном смысле этого слова), причем изменяться могут не только знаменательные, но и служебные *go*. В русской учебной традиции такой подход трансформировался в выделение так называемых основ японского глагола; термин «основа» при этом не соответствует обычному значению этого термина, например, в русистике, но данный подход, который трудно обосновать теоретически, оказывается практически очень удобным. Мы можем предполагать, что именно он психологически адекватен для носителей японского языка. Подробнее о трактовке глагольного словоизменения в японской традиции см. [Алпатов 1979: 49–52].

Итак, и для носителей японского языка нормой является хранение в мозгу некоторых средних по протяженности единиц, которые могут быть названы словами; представление об этих единицах отражено в традиционном понятии *go*. Однако лингвистические свойства *go* не совпадают со свойствами словоформы, например, в русском языке. Видимо, здесь разные лингвистические традиции отражают различия в строе соответствующих языков. Во флективных языках вроде русского грамматические аффиксы, которых обычно бывает не более двух, срastaются с основой, и оказывается рациональным хранить в памяти всё сочетание, а при образовании производных форм заменять одно окончание на другое. Японский же язык более агглютинативен: незаключительные суффиксы, даже присоединяемые фузионно, связаны с одной категорией, зато их количество может быть довольно большим. Завершающий глагольную словоформу аффикс в большей степени сходен с флексиями: он сразу выражает несколько категорий — синтаксическую позицию (финитная форма, деепричастие), наклонение, в индикативе также время. Поэтому, как показывают исследования детской речи, он может восприниматься как столь же неотделимый фрагмент цельного слова.

Японская традиция здесь менее последовательна, скорее всего, потому, что она исторически формировалась на основе изучения старописьменного японского языка (*бунго*), который был более агглютинативен, чем современный язык. В частности, показатель прошедшего времени *-ta* исторически восходит к видовому показателю завершенности действия *-tari*, который не был противопоставлен

флексии *-ru / -u*, не имевшей тогда временного значения. При переносе традиционной методики на современный язык свойства *-tari* были перенесены на *-ta*. Впрочем, надо учитывать, что психолингвистические представления окончательно отлаживаются в школе (русские дети, видимо, именно здесь окончательно привыкают считать предлоги отдельными словами), а Япония относится к странам с всеобщим школьным обучением, поэтому данные детской речи могут не совпадать с представлениями взрослых.

Отметим и корреляцию нашей интерпретации японских данных с опытами Д. Л. Спивака, у которого среди испытуемых, подвергнутых инсулинотерапии, были и носители грузинского языка. Отмечается, что при общем сходстве процессов грузинские падежные окончания из-за большей агглютинативности отпадают в большей степени, чем русские [Спивак 1986: 47].

Мы, разумеется, не отрицаем принципиального единства психолингвистического механизма человеческого мозга. Но оптимум хранения единиц в мозгу может достигаться по-разному в зависимости от строя языка. Для флективных языков характерны полярные классы грамматических элементов: сросшиеся с основой флексии и свободно меняющие позицию служебные слова (частицы, предлоги и др.), ввиду распространения флексий границы слов четче, чем границы морфем. По выражению Ш. Балли, «древние индоевропейские языки, как правило, путают лексику с грамматикой» [Балли 1955: 316]. В агглютинативных же языках преобладают служебные элементы с промежуточными свойствами: они четко выделяемы, но неотделимы от основы; здесь границы морфем очевиднее, чем границы слов. Японский язык, агглютинативный в системе имени, в системе глагола имеет промежуточные свойства между типично агглютинативными и типично флективными языками. Все такого рода различия, как нам представляется, могут отражаться в строении психолингвистического механизма носителей разных языков, что косвенно проявляется при афазии, в детской речи, а также влияет на лингвистические традиции, если они для данного языка сформированы его носителями.

САСИМИ ИЛИ САШИМИ?

В русском языке немного слов японского происхождения, чаще всего обозначающих японские реалии или предметы материальной культуры, японское происхождение которых ощущается. Но даже человек, не знающий японского языка, может заметить, что слова японского происхождения (здесь и дальше мы будем учитывать и собственные имена) нередко имеют в русском языке варианты: *Тосиба* и *Тошиба*, *суси* и *суши*, *сасими* и *сашими*, *Хитати* и *Хитачи*, *Иокогама*, *Йокогама*, *Йокохама* и *Ёкохама*. Есть случаи и менее очевидные: уже не всякий догадается, что в словах *дзюдо* и *джиу-джитсу* первый компонент восходит к одной японской морфеме. Существуют и устойчивые разграничения, отсутствующие в языке-источнике: премьер-министр времен войны, казненный как военный преступник, в русском языке будет *Тодзио*, а основатель японской этнографии — *Тодзё*, хотя они были однофамильцами.

Чем объясняются эти расхождения? Мы оставим в стороне частые, но случайные отклонения от нормы вроде опущения точек над буквой ё или ведомственные особенности: японская фонема *e* в кириллице обычно передается как *э*, но в отечественной картографии принято всегда после согласных писать *e* (в русской транскрипции японских слов буква *e* отсутствует и ее употребление в словах японского происхождения, если это не название на карте, обычно — результат редакторского или типографского снятия необходимых точек).

В других случаях расхождения — результат сосуществования разных норм (сознательных или стихийных), установившихся в разное время и происходивших из разных источников. Нормы могли быть сознательно разработаны в России или усвоены под влиянием латинских транскрипций. В вышеприведенных примерах можно выделить по крайней мере три источника нормы. Это преобладавшие до революции, а иногда встречавшиеся и позже транслитерации латинских транскрипций (*Иокогама*, *джиу-джитсу*, *Тодзио*), кириллическая «поливановская транскрипция», разработанная выдающимся ученым Е. Д. Поливановым [Поливанов 1917а] и довольно строго выдерживавшаяся в 40–70-х гг. (*Тосиба*, *Хитати*, *дзюдо*, *Тодзё* и др.), и современные транслитерации латинской транскрипции (*Тошиба*, *Хитачи* и др.).

В чем причина расхождений между этими способами передачи? Здесь играет роль не только фонологическая система японского языка, но и, во-первых, субъективное восприятие этой системы носителями других языков (в данном случае английского и русского), во-вторых, традиции и культурное влияние.

Вопрос о передаче латинским или кириллическим письмом японских слов всерьез встал лишь с 50–60-х гг. XIX в., когда начался период интенсивной европеизации Японии, сначала большей частью через устное общение с бывавшими там иностранцами. Уже тогда среди них преобладали носители английского языка, особенно американцы. Такое общение естественно привело к формированию японо-английских пиджинов, распространившихся в Иокогаме и других портовых городах [Stanlaw 2004: 57–59]. Скажем, собака европейского вида на этом пиджине называлась *kameya* или *komeya* из *come here* ‘иди сюда’ [Ibid.: 58–59]. До сих пор в японском языке сохранились слова, пришедшие в это время из английского языка устным путем и воспринятые на слух, вроде *purin* ‘пудинг’ из *pudding* или *mishin* ‘швейная машина’ из *machine*. Однако такой вид культурных контактов не стал определяющим, а пиджины к началу XX в. постепенно исчезли. Появились японцы, владевшие английским языком, и, значительно реже, американцы, знавшие японский язык.

Одним из первых американцев, изучивших японский язык, был миссионер Дж. К. Хэпбёрн (J. C. Hepburn), еще во второй половине XIX в. разработавший практическую транскрипцию японских слов латинскими буквами, ее судьба оказалась на редкость счастливой: этот самый традиционный из видов латиницы для японского языка оказался самым устойчивым. С XIX в. и до наших дней она почти всегда применяется для транскрипции японских слов в английском языке и в других языках с латинской письменностью (иные виды латиницы, употребляясь рядом ученых, почти не встречаются в практической транскрипции). И в Японии латиница Хэпбёрна, официально нигде не закреплённая, с 40-х гг. XX в. почти полностью господствует над всеми остальными видами транскрипций; сейчас она уже не только транскрипция, но важная составная часть японской письменности, употребляясь во многих текстах наряду с иероглифами и японскими азбуками [Алпатов 2003: 67–70]. Безусловно, надо учитывать, что уже к началу XX в. 75 % всех японских слов западного происхождения составляли заимствования из английского языка [Stanlaw 2004: 68], а с 40-х гг. XX в. преобладание слов, пришедших из американского варианта этого языка, стало среди заимствований подавляющим.

Латиница Хэпбёрна имеет много недостатков (прежде всего, она недостаточно научна) и всего одно достоинство: она хорошо соответствует звуковым представлениям носителей английского, но не русского и, что важно подчеркнуть, не японского языка. Прежде всего, и в русском, и в японском языке очень развито противопоставление твердых и мягких согласных, которого нет в английском языке. Для нас это противопоставление очень существенно, хотя оно не так уж распространено в языках мира: «контраст по палатализации в языках мира встречается реже, чем контраст по лабиализации» [Кодзасов, Кривнова 2001: 446]. Однако для японского языка оно не менее важно, чем для русского, и также проходит через всю систему согласных. Если не считать принципиально не вступающих в него йота и гортанной смычки, все начально-слоговые японские согласные могут быть

твердыми и мягкими, и это противопоставление фонематично: *каку* ‘каждый’ — *кяку* ‘гость’, *гофу* ‘амулет’ — *гёфу* ‘рыбак’ и т. д. (мы сейчас пользуемся поливановской транскрипцией, последовательно передающей это свойство). В 30-е гг. Н. Трубецкой и Р. Jakobson, исходившие для японского языка из описаний Е. Д. Поливанова, видели в данном сходстве общую черту евразийского языкового союза. Как и в русском языке, перед *i* согласные всегда мягкие, но перед *e* палатализация невозможна (отсюда буква *э* в поливановской транскрипции). Иногда согласные фонемы различаются только признаком палатализации, но бывает, что мягкий согласный отличается от твердого еще каким-либо признаком: мягкие *s*, *z*, *t* произносятся «шепеляво», близко к соответственно палатализованным *sh*, *j*, *ch*. Вот впечатление журналиста, взявшего интервью у живущей в России фигуристки японского происхождения, фамилию которой пишут то *Кавагучи*, то *Кавагучи*: «Юко произносит свою фамилию как положено. Это трудно представить, но последняя согласная действительно что-то среднее между “ч” и “т”» (Советский спорт, 06.02.2008).

Американцы и англичане воспринимают на слух японские мягкие (палатализованные) *s*, *t*, *z* как *sh*, *ch*, *j*, а прочие мягкие — как сочетания с йотом: скажем, слог *кя* воспринимается как *куа*. Следуя данным представлениям, носитель английского языка Дж. К. Хэпбёрн по-разному передал в своей транскрипции однотипные противопоставления по не известной ему палатализации: *sh*, *ch*, *j*, но *ky*, *gy*, *ty*, *ry* и т. д. (буквой *y* в данном виде латиницы передается и йот, и для части фонем палатализация).

Еще одна особенность транскрипции Хэпбёрна связана с использованием в английском письме буквенных сочетаний для целых фонем. Это относится не только к *sh*, *ch*, но и к глухой аффрикате. В японском языке имеется пара противопоставленных по звонкости — глухости аффрикат, но если звонкая фонема обозначена у Хэпбёрна как *z* (звонкой зубной ффрикативной фонемы в японском языке нет), то глухая — как сочетание букв *ts*. Отсюда любопытная аберрация, встретившаяся у современного автора — социолингвиста из США, явно привыкшего рассматривать систему японского языка сквозь призму латиницы Хэпбёрна. Говоря об ограниченности стечений согласных в японском языке, он среди немногих допустимых сочетаний упоминает *ts* [Loveday 1996: 116]; звонкая пара, разумеется, рассматривается как один звук.

Особо надо оговорить передачу долготы японских гласных, поскольку у Хэпбёрна она не получила стандартного обозначения; в научных работах она часто передается либо удвоением гласной буквы, либо диакритикой (надстрочной чертой), а в практической транскрипции она, несмотря на фонологический (смыслоразличительный) характер, при использовании в английском и других языках может не передаваться. Это может показаться странным, поскольку долгота значима и в английском языке. Но там нет ее стандартного способа обозначения, а перенести на японскую транскрипцию множественность английских способов было бы слишком сложно. Однако в самой Японии при записи латиницей заимствований

в японском языке долгота передается чаще всего удвоением буквы, а иногда даже добавлением *h*, как в немецком.

В России японский язык начали изучать позже, чем на Западе, и долгое время и в практических написаниях, и в научных работах преобладала передача кириллицей западных транскрипций, уже тогда чаще всего латиницы Хэпбёрна. Однако на особенности этой транскрипции накладывались принятые тогда в России правила написания буквами кириллицы тех или иных латинских букв. Тогда еще букву *h* было принято передавать как *г*, сочетание букв *ts* передавалось как *тс* или *тц*, но не как *ц*, а буква *у* не была опознана не только как знак палатализации или как йот, а была принята за *и*, хотя тут Хэпбёрн как раз был последователен: у него буква *у* использовалась только для йота (за который он принимал и палатализацию), а гласный *i* передавался буквой *i*. Поэтому из написания *Yokohama* получилась *Иокогама*, а из *juijitsu* (или *jujitsu*) — *джиу-джитсу* (от тех же времен сохранившиеся до сих пор по традиции *Токио*, *Киото* и др.). Во время русско-японской войны в русском языке на короткое время стало популярно слово *шимозе* (или при дальнейшей русификации *шимоза*), обозначавшее взрывчатое вещество, применявшееся в ту войну японской стороной, считается, что название происходит от фамилии японского изобретателя. Нетрудно видеть, что слово пришло не прямо из японского языка, а через посредство английского: запись латиницей Хэпбёрна, очевидно, была *shimoze* (у Поливанова было бы *симодзэ*). Долготу гласных в России обычно не передавали: по-русски *Токио* и *Киото* выглядят совершенно симметрично, хотя по-японски в первом названии оба *о* долгие, а во втором первая гласная долгая, а вторая — краткая.

Нельзя сказать, что в России не было других способов написания японских слов. Немногие русские путешественники и постепенно появлявшиеся специалисты могли передавать японские слова точнее. Вот один из первых русских писателей, побывавших в Японии в 1880–1881 гг., Всеволод Крестовский, показавший себя в опубликованных записках как весьма дотошный наблюдатель. В том числе он очень интересовался японской речью и старался записывать чуть ли не каждое встреченное им японское слово. Не имея никакого понятия о японском языке, он был неплохим наблюдателем, и его транскрипции довольно точны для человека, не владеющего языком. Например, название одного из главных японских островов, тогда в России писавшееся как *Киу-Сиу*, он передает: «Киу-Сиу, или, правильнее, Кю-сю» [Крестовский 1997: 6]; так (исключая дефис) его передают и в наши дни. Любопытен и такой пример: автор фиксирует в южной части Токио «лесистые холмы Шiba и Сиба» [Там же: 149], хотя это — один холм, название которого носитель русского языка может воспринять и тем, и иным образом.

И нередко сосуществовали разные способы передачи японских слов. То же название *Киу-Сиу* гибридно: «правильнее», безусловно, *Кюсю*, но ближе к принятой тогда передаче *Kyushu* (*Kyuushuu*) у Хэпбёрна было бы *Киу-Шуу*. Впрочем, в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1895) дана латинская транскрипция названия острова *Kiu-Siu*, т. е. в России уже тогда были известны и транскрипции, отличные

от наиболее влиятельной. И если на букву *K* есть только *Киу-Сиу*, а *Кю-Сю* нет даже в качестве отсылки, то в статье «Япония» (1904) даны оба названия, а другой японский остров параллельно именуется *Си-коку* и *Ши-кок* (тогда иногда передавали и редукцию гласных, хотя обычно непоследовательно). А когда в 1905 г. произошел Цусимский бой, то сразу единственным вариантом написания стало *Цусима*, что соответствует еще не существовавшей транскрипции Поливанова. Вероятно, это слово было воспринято на слух русскими моряками независимо от того, как его писали на Западе. Однако название города, который сейчас привыкли называть *Хиросима*, включающее тот же компонент *сима* ‘остров’, в той же статье «Япония» у Брокгауза и Ефрона передано как *Хирошима*. Зато еще в середине XIX в. посетивший Японию раньше Крестовского И. А. Гончаров пишет *острова Бонин-сима*. То есть на слух в России воспринимали японские слова в соответствии с русскими звуковыми представлениями, но книжные названия приходили через западные транскрипции, основанные на восприятии носителей других языков, прежде всего английского. Но очевидно, что нормы не было, и разноречивой оказывался очень велик. Исправить положение вызвался первый у нас профессиональный лингвист, занявшийся японским языком, Е. Д. Поливанов, причем уже в самом начале деятельности (статья опубликована, когда ее автору было 26 лет). Ученик основателя фонологии И. А. Бодуэна де Куртенэ, сам видный фонолог, он при разработке практической транскрипции старался совместить два с трудом совмещаемых принципа: фонологический подход с удобством для носителей русского языка. Он последовательно передавал японскую палатализацию средствами, привычными для русского языка, используя буквы *я*, *ю*, *ё* теми же двумя способами, что в русской орфографии. Здесь фонология и привычки носителей русского языка соответствовали друг другу. Однако в японском языке начала XX в. можно было считать, что *t* и *ç* представляли собой аллофоны одной фонемы (*ç* — позиционный вариант *t* перед *y*), то же можно было сказать о *x* и *ç* (*ç* — вариант *x* перед *y*). И у Хэпбёрна, и у Поливанова *ç* (*ts*) и *ç* (*f*) особо обозначаются, поскольку в данном случае русское и английское языковое сознание равно различает *t* и *ts*, *h* и *f*. Хэпбёрн, не знавший о фонологии, и фонолог Поливанов пренебрегли фонологическим подходом. Отметим, что вопрос о передаче долгих гласных не был решен и в поливановской транскрипции: Поливанов предпочитал использовать черточку над гласной буквой, что подходит для научной транскрипции (и действительно там используется), но затруднительно в обычной печати.

Транскрипция Поливанова была основана на сознательно научных принципах, и она не была единственной в своем роде. В СССР и России конкурентов среди сознательно разрабатываемых транскрипций у нее не было. Но на Западе и в самой Японии они появлялись на латинской основе. Транскрипция *kunrei-roomaji* (буквально ‘директивная латиница’) была среди них наиболее важной, ее разработали в Японии в 30-е гг., а в 1937–1945 гг. она была там официально принятой. В научном отношении она была много лучше латиницы Хэпбёрна, поскольку была последовательно фонологической, даже превосходя в этом отношении поливановскую.

Там были не только отменены написания вроде *shi, sha*, но вместо *tsu, fu* писали *tu, hu*. Вполне возможно, что в японском звуковом представлении (по крайней мере, в то время) звуки *ts, f* воспринимались как автоматически возникающие варианты *t* и *h* перед *u*. О данной латинице, у нас именовавшейся в те годы государственной латиницей, см. специальное исследование [Конрад 1945].

Однако для того времени важны были не научные, а политические факторы. Транскрипцию *kunrei-romaji* избрали в годы милитаризма как официальную, поскольку она в отличие от латиницы Хэпбёрна не ориентировалась на английский язык. А после поражения в войне в годы американской оккупации она стала вытесняться хэпбёрновской транскрипцией, что было естественным. Все же до сих пор *kunrei-romaji* продолжает употребляться, особенно в библиотечных каталогах и в картографии [Алпатов 2003: 69]. Иногда с ней приходилось (по крайней мере, в 70–80-е гг.) встречаться и в быту. Мы видели, например, в 1973–1974 гг. вывеску патинко (или пачинко?) (распространенное в Японии развлечение, нечто вроде дешевой рулетки) *Pachinko «Matubara»*, где первое слово было написано по Хэпбёрну, второе — *kunrei-romaji*. Но в 1985 г. та же вывеска выглядела: *Pachinko «Matsubara»: Хэпбёрн победил*. Для нас, прежде всего, важно то, что *kunrei-romaji* или сходными с ней транскрипциями пользуются в ряде лингвистических работ, см., например [Shibatani 1990]. Такой выбор обусловлен тем, что она основана на фонологических принципах, хотя несколько по-иному, чем транскрипция Поливанова.

У нас транскрипция Поливанова была принята почти всеми японистами (лишь Е. Г. Спальвин и другие японисты старой дальневосточной школы ее не приняли, но эта школа прекратила существование в 30-е гг.). Она использовалась и в годы, когда Поливанов считался «врагом», причем, по воспоминаниям Н. А. Сыромятникова, и тогда ее специалисты называли поливановской. Однако в широкой печати еще долго она соперничала с более ранними традициями. Вышеупомянутые *Тодзио* и *Тодзё* были не только однофамильцами, но и ровесниками, но первый из них часто упоминался в советской печати в 1939–1948 гг., а имя второго встречалось лишь в работах специалистов. Еще премьер-министра Японии в 1948–1954 гг. устойчиво называли *Иосида*, хотя его однофамильцы и даже родственники могут именоваться *Ёсида* (таких примеров много и для заимствований из других языков: *Хаксли* — внуки *Гексли*). Но с 50-х гг. (а, скажем, в передаче географических названий и раньше) в СССР специалисты постоянно следили за правильностью транскрипций, и поливановская транскрипция соблюдалась, в том числе в средствах массовой информации. Написания вроде *Хирошима* ушли в прошлое (*Хиросима* уже в 1-м издании БСЭ в 1935 г.).

Еще в [БЯРС 1970, 2: 165] можно прочесть: «**суси** суси (*колобки из вареного риса, покрытые рыбой, яйцом, овощами и приправленные укусом и сахаром*)». То же и со словом **сасими** [Там же: 37]. Вряд ли в 1970 г. (год издания словаря) в русском языке существовали слова *суши* и *сашими*, а *суси* и *сасими* существовали на дальней периферии языка как экзотизмы, возможные в литературе о Японии, но даже

в словаре требовавшие пояснения. Весь советский период небольшой ручеек слов японского происхождения шел в русский язык двумя способами: через публикации специалистов и через государственные средства массовой информации. Эти способы в 20–40-е гг. иногда не совпадали, но потом произошла унификация. В это время заимствования (включая собственные имена) обычно приходили в русский язык непосредственно из японского.

С 1991 г. или даже несколько раньше ручеек превратился в поток, уже никем не контролируемый. И сразу распространились *суши*, *Хитачи* и пр. (стихийно иногда проникавшие в русский язык и раньше). Такое написание показывает, что эти слова взяты либо из японских текстов на латинице, либо (что во много раз вероятнее) из английского, а не японского языка. Как блюда, которые можно отведать и в России, существуют только *суши* и *сашими*, появились *суши-бары* (не *суси-бары*), а в соответствии с поливановской транскрипцией сейчас, кажется, говорят только профессиональные японисты. С этим трудно бороться, раз английский язык известен в России намного лучше японского, что вряд ли изменится в обозримом будущем. Совершенно очевидно и другое: сами блюда сначала завоевали популярность в США, а уже оттуда, а не из Японии, добрались и до России.

А невысокое с научной точки зрения качество транскрипции Хэпбёрна компенсируется ее широким распространением. Везде, кроме Японии и России, она абсолютно господствует, но и в Японии она превосходит по распространенности любые виды латиницы. Безусловно, распространилась она не по лингвистическим, а по политическим и культурным причинам. В Японии всегда с 50-х гг. XIX в. значение английского языка и заимствований из него намного превосходило влияние любых других языков. Если в Японии пишут рецепты по-немецки, то потому, что этот язык там за пределами узкого круга врачей известен не больше, чем латынь у нас. Еще советский писатель Б. Пильняк, побывавший в Японии в 1926 и 1932 гг., писал, что японское общество не столько европеизируется, сколько американизируется [Пильняк 1935: 76], а единственная в истории Японии попытка использовать научно обоснованную латинскую транскрипцию дискредитировала себя связью с эпохой милитаризма. С процессами, сейчас получившими название глобализации, Япония столкнулась уже давно. Теперь эти процессы дошли и до нас: массовое освоение японской культуры, которому способствовали несколько поколений специалистов (особо нужно здесь упомянуть школу, созданную Н. И. Конрадом), сменилось освоением массовой американской культуры, в которую вошли отдельные элементы разного происхождения, включая японское. Это проявляется в том числе в языке. Впрочем, упомянутая фигуристка заявляет: «По-русски Кавагучи, мне кажется, точнее. Да и мне самой так больше нравится» (Советский спорт. 06.02.2008). Дело, видимо, не в точности, а в ее привычке к латинице Хэпбёрна, с которой она познакомилась в детстве в Японии.

В какой-то степени ситуация в России возвращается к ситуации дореволюционного времени, когда японская культура осваивалась через посредство Запада (поначалу даже японскую поэзию переводили с западных языков). Но тогда это

обуславливалось недостаточным развитием наших знаний о Японии, а теперь влиянием глобализации. Возвращение к прошлому видно и в передаче средствами русского языка японских слов. Снова процесс явно развивается в пользу хэпбёрновской транскрипции, разработанной носителями английского языка для собственного удобства. Речь, разумеется, пока идет не столько о прямом ее заимствовании, сколько о перекодировке ее в кириллицу.

Но хотя эта транскрипция захватывает еще один плацдарм, потерянный после разработки транскрипции Поливанова, речь не идет о полном возврате к написаниям начала XX в. Латиница Хэпбёрна осталась той же, но правила передачи латинских букв в кириллице изменились или уточнились. Если бы компания *Hitachi* существовала более ста лет назад, это название, очевидно, передавалось бы как *Гитачи*, но теперь принято писать *Хитачи*. А букву *u* обычно передают как *й*, а не как *и*, правда, не всегда делают следующий шаг и пишут *йо*, что больше соответствует принятой латинице, хотя у Поливанова здесь *ё*. Отсюда написания вроде *Йокохама*. Впрочем, их могут применять и специалисты, обоснованно боящиеся превращения *ё* (особенно заглавного) в *е*: уж лучше *Йокохама*, чем *Екохама*.

Наконец, отметим изменения, которые требуются в написаниях в связи с изменениями в языке. Упомянутое распределение аллофонов, выступающих как отдельные фонемы в английском и/или других языках, оказалось в условиях массовых заимствований из западных языков слабым местом системы. В заимствованиях оба указанных аллофона возможны не только перед *и*, но и в других позициях: *fan* 'болельщик', *fooki* 'вилка', *tsaa* 'царь', *tsetse* 'цеце'. Не оказала ли влияние на укorenение таких заимствований латиница Хэпбёрна, в которой прежние аллофоны всегда писались особым образом? Но в послевоенные годы такое произношение распространилось, что теперь отражается в написании не только латиницей, но и слоговой азбукой катаканой.

Итак, на вопрос заголовка статьи следует ответить так: правильный вариант, с точки зрения специалиста, — *сасими*, но в узусе господствует *сашими*, и бороться с этим трудно.

ЕСТЬ ЛИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ ПАДЕЖИ?

Сама постановка этого вопроса может вызывать у современного япониста недоумение. И в научной, и в учебной литературе разных стран применительно к этому языку регулярно используются термины *падеж*, *case*, *kaku* и др. См., например, [Martin 1975: 38–47; Iwasaki 2002: 125; Миками 1983: 145]. Отдельные падежи в отечественной литературе постоянно именуются именительным, родительным, дательным и пр.; аналогичные термины используются и в литературе на западных языках. Впрочем, в американской японистике, начиная с Б. Блока, наблюдается тенденция избегать такого рода терминов; при этом падежные показатели именуются *clause particles* [Block 1970: 35; Miller 1967: 343]. Но это скорее общая тенденция, сложившаяся в эпоху дескриптивизма: избегать любых традиционных терминов, восходящих к латыни. Однако есть и японисты, отрицающие существование падежа в данном языке. И. В. Головнин писал: «Субстантивы не имеют категорий рода, числа и падежа» [Головнин 1986: 80]. Как дальше мы увидим, не случайно эта точка зрения встречается именно в отечественной японистике.

С точки зрения функций так называемая японская падежная система вполне соответствует традиционной терминологии. Не буду обсуждать неоднозначно решаемый вопрос о полном составе системы, но так называемые первичные падежи *ga*, *o*, *ni*, *no* выражают субъектно-объектные и атрибутивные отношения аналогично русским или латинским падежам и типологически вполне сопоставимы с ними; см. [Алпатов и др. 2008: 185–187].

Однако встает вопрос о том, насколько применение для японского языка термина *падеж* соответствует принятым определениям падежа. В русской традиции принято признавать падеж, как и любую другую грамматическую категорию, лишь тогда, когда хотя бы часть ее значений выражается внутри слова (поэтому, например, не принято говорить о грамматических категориях, выражаемых предлогами). См., например, формулировку: «Категорией *падежа* называется словоизменяемая категория имени, обозначающая, что словоформа существительного выступает в качестве подчиненной при глаголе, другом имени или наречии и несет при этом отвлеченное значение отношения» [Грамматика 1970: 326]; грамматическая категория в свою очередь определяется «совокупностью словоформ (парадигмой)» [Там же: 317]. См. также в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «Традиционное понимание требует, чтобы внеш. различия между П. выражались морфологич. средствами, в пределах самих *словоформ*. При таком понимании...

в качестве падежных форм допускаются только цельные словоформы, и два П. признаются различными лишь в том случае, если хотя бы у части склоняемых слов им соответствуют внешне разл. словоформы» [Булыгина, Крылов 1990а: 355]. То есть допустимо аналитическое выражение части падежей, но никак не всех.

То, что обозначает категория падежа в вышеприведенном определении, в целом применимо и к японскому языку (разве что падежи не управляются там наречиями, но и в русском языке это периферийное явление). Однако встает вопрос о том, насколько можно говорить о существовании в японском языке именных парадигм и о выражении в нем различий «в пределах самих словоформ». Оказывается, что в японистике этот вопрос решался неоднозначно. Впрочем, эта неоднозначность встречалась почти исключительно в отечественной японистике, не затрагивая ни японскую традицию, ни западную науку о японском языке (где с XIX в. ведущую роль играла лингвистика англоязычных стран). Японская традиция, сложившаяся вполне самостоятельно в XVII–XVIII вв., выделяя глагольное спряжение, не находила у себя склонения; при разграничении имени и глагола эти классы слов, помимо значения, противопоставлялись тем, что глаголы изменяются, а имена нет. Присоединяемые к именам грамматические показатели, в том числе имеющие значение, в индоевропейских языках выражаемое падежами, считались отдельными служебными словами (*tenioha*, *joshi*). И после европеизации японской науки во второй половине XIX в. такая точка зрения осталась и остается общепринятой, если не считать отдельных лингвистов (Судзуки Сигэюки и др.), пытавшихся применить к японскому языку идеи русской науки. Это не мешало использовать термин *kaku*, считающийся эквивалентом термина *падеж*. В Европе и Америке японский язык систематически начал изучаться лишь со второй половины XIX в., после открытия Японии. И трактовка приименных служебных элементов как отдельных слов (*particles*, *postpositions*) в западной японистике сразу была воспринята как естественная и уже более столетия не подвергалась сомнению; отмечу, что многим авторам она не мешала говорить о существовании падежей в японском языке.

Иная ситуация сложилась в отечественной японистике. Русская японистика поначалу (конец XIX и начало XX в.) зависела от западной и заимствовала у нее многие трактовки, в том числе рассмотрение приименных служебных элементов как отдельных слов. При этом авторы первых грамматик, более практики, чем лингвисты, не замечали противоречия в своих описаниях: вслед за западными образцами они выделяли падежи, хотя русская традиция в то время строго не допускала возможность парадигмы, состоящей только из аналитических форм. Если считать данные единицы отдельными словами, то, в соответствии с этой традицией, в японском языке нет падежей, есть только послеложные конструкции (или сочетания с частицами).

Первым в нашей стране лингвистом-теоретиком, изучавшим японский язык, был Е. Д. Поливанов. И он первым в мировой науке предложил идею об именном, в том числе падежном, словоизменении в японском языке. Впервые это он сделал в книге [Поливанов, 1917б], а затем более подробно в грамматике [Плетнер,

Поливанов 1930] (она принадлежит двум авторам, но соответствующий раздел писал именно он). Е. Д. Поливанов выделил для японского языка «суффиксы склонения», в том числе суффиксы именительного, винительного, родительного, дательного и др. падежей. Эта точка зрения в 1920–1950-х гг. преобладала в советской японистике (несмотря на то, что значительную часть этого времени ее основоположник считался «врагом»). См. такие представительные для своего времени работы, как [Конрад 1937; Фельдман 1951; 1960; Холодович 1979]. Все эти авторы выделяли в японском языке (современном и древнем) категорию падежа, и это вполне соответствовало отечественной традиции.

Такой подход вытекал из предложенного Е. Д. Поливановым определения слова: «Для отличия слова от части слова, с одной стороны, и от словосочетания, с другой — существует общий для всех языков критерий, выражающийся в следующей синтаксической характеристике слов: слово есть потенциальный *minimum* фразы, т. е. тот комплекс... который может быть употреблен — при тех или иных условиях коммуникации — в качестве целой фразы, но который в свою очередь уже не разложим на части, способные фигурировать в качестве целой фразы... Но кроме этого общего (синтаксического) признака слова в каждом языке есть свои особые внешние, т. е. фонетические признаки, характеризующие слово, в отличие от части слова и словосочетания. К ним относятся: 1) признак акцентуационный, 2) признаки, состоящие в потенциальной характеристике начала или конца слова, или же, наоборот, середины слова» [Плетнер, Поливанов 1930: 144–145].

Главными аргументами Е. Д. Поливанова для доказательства наличия в японском языке аффиксов словоизменения были, таким образом, синтаксическая несамостоятельность «суффиксов склонения» (неспособность употребляться отдельно) и в меньшей степени их фонетическая несамостоятельность (невозможность отдельного ударения). В книге 1917 г. Е. Д. Поливанов именно последний критерий считал определяющим, но потом его точка зрения изменилась. Но сам Е. Д. Поливанов признавал, что обеими этими чертами обладают, например, русские предлоги (с отдельными исключениями вроде *без*). Тем не менее он не делал вывода о том, что для русского языка предлоги надо считать аффиксами. Получалось, что для русского и японского языка одни и те же критерии работают по-разному. Зато при данном подходе и в японском языке слово являлось в сочетании со словоизменяемыми элементами (хотя в нем имена часто выступают без всяких таких элементов), что хорошо согласовывалось с интуицией носителя русского языка и с привычными для русистики трактовками. Поэтому именно в России такая точка зрения получила распространение.

Отмечу, что точка зрения Е. Д. Поливанова относилась и к другим японским агглютинативным служебным элементам, например к тематической частице *wa*. Она, кроме всего прочего, отрицала существование служебных слов в японском языке, поскольку на ее основе едва ли не все грамматические элементы японского языка трактовались как аффиксы. Впрочем, другие советские японисты (начиная с соавтора Е. Д. Поливанова) не были столь радикальны и в соответствии с традицией

находили в этом языке послелоги, союзы и частицы, иногда ценой непоследовательности подхода.

Однако начиная с 60-х гг. XX в. концепция, признающая японское именное словоизменение, была отвергнута и в нашей стране. Вновь пришли к выводу о том, что данные показатели — отдельные слова [Вардуль 1964: 33–36], причем это не было простым возвратом к трактовкам начала века: концепция не постулировалась, как когда-то, а доказывалась лингвистической аргументацией. И. Ф. Вардуль использовал, прежде всего, критерий вставки — возможность вставки перед падежными элементами других служебных слов, заведомо отдельных [Там же: 36]. Самый очевидный случай — так называемые ограничительные частицы вроде *dake*, *bakari* ‘только’, *nado* ‘и так далее’; количество таких единиц значительно: С. Э. Мартин насчитывал 146 частиц [Martin 1975: 101–131]. Японские падежные элементы в письменном варианте языка могут отделяться от связанного с ними имени не только частицами, но и пояснениями (иногда многословными), заключенными в скобки. И. Ф. Вардуль, однако, не считал этот аргумент особо значимым ввиду периферийности таких случаев. Кроме того, падежные показатели могут отделяться от существительного паузой. Наконец, достаточно очевидно принципиальное различие между фузионно присоединяемыми, имеющими сложные правила варьирования глагольными суффиксами и чисто агглютинативными, имеющими лишь фонологически обусловленные варианты служебными (приименными и приглагольными) элементами, в число которых входят и показатели, относимые к падежным.

Такая трактовка стала в последние десятилетия и у нас преобладающей; выделение падежных и иных именных суффиксов встречается лишь в отдельных работах либо как реликт старых концепций [Лаврентьев 1982: 16], либо с попытками теоретического обоснования [Солнцев 1986]. Иногда она встречается в работах по общей лингвистике, ориентирующихся на японистические работы прежних лет [Мельчук 1997: 182]. Но в целом концепция аффиксального склонения и, шире, именного словоизменения в японском языке уже принадлежит прошлому науки.

Представляется, что причины расхождения точек зрения на статус японских приименных грамматических показателей могут быть связаны и с психологией исследователей. Судя по исследованиям афазий в английском языке, там, скорее всего, не хранятся в памяти, а конструируются при порождении предложения из составных частей даже глагольные формы с показателем прошедшего времени *-ed* [Черниговская и др. 2009: 3, 14]. Во всяком случае, грамматическая оформленность слова не занимает в англоязычной лингвистике центрального места. Совсем иная ситуация с носителями русского языка, для которых существенны словоформы, включающие в себя словоизменительные показатели, хотя бы нулевые, а самостоятельно не употребляемые основы слов воспринимаются как «обрубки». Исследования афазий, начиная с классических работ А. Р. Лурия [Лурия 1947], подтверждают психологическую адекватность таких представлений. Англоязычные или франкоязычные специалисты, в том числе японисты, привыкшие в своих

собственных языках к существованию, с одной стороны, неизменяемых знаменательных слов, с другой — всякого рода частиц, без труда опознали и то и другое и в чужом языке. Зато подход Е. Д. Поливанова и его последователей хорошо совмещался с представлениями носителей языка, в котором слово понимается как словоформа, как неразрывное сочетание основы со словоизменительными элементами. Такую единицу Е. Д. Поливанов обнаружил и в японском языке не только в глаголе, где она общепринята, но и в существительном, хотя он не мог не отметить частую возможность японской именной основы выступать самостоятельно. Видимо, играла роль и возможность при такой трактовке строго выделять в изучаемом языке грамматическую категорию падежа и изучать ее в системе, тогда как предложные (послеложные) конструкции редко описываются столь же системно, как грамматические категории в традиционном смысле. Среди отечественных японистов, признавших падежные показатели служебными словами, был и И. В. Головин. Опираясь на принятые в русской традиции идеи, он предложил в описаниях японского языка исключить понятие падежа. Такой подход, разумеется, возможен, но представляется, что он малопригоден для целей сопоставления языков.

В уже упоминавшейся статье в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» вслед за описанием традиционного понимания падежа говорится: «Однако ряд языковедов (напр., С. Е. Яхонтов) считают возможным говорить о т. наз. аналитических П.; в этом случае падежными формами могут считаться сочетания существительных с *предлогами*, *послелогами* или даже существительные в определ. синтаксич. позиции» [Булыгина, Крылов 1990а: 355]. Отмечу, что такая точка зрения в России более свойственна лингвистам, специально занимающимся языками, по строю отличными от русского [Яхонтов 1978; Касевич 2006: 481].

Этот подход представляется рациональным, в том числе для японского языка. Лучше дать более универсальное определение грамматической категории, не требующее обязательного ее выражения внутри слова, чем подгонять описание под шаблоны, выработанные для русского языка. Понимание грамматической категории как обязательно синтетической, не приводящее ни к каким трудностям в русистике, для многих языков, включая японский, представляется слишком жестким. Поэтому хотя в наши дни очень немногие признают для японского языка именно словоизменение, но не произошло отказа от выделения в нем категории падежа.

— ТЕОРИЯ ЯЗЫКА —

О РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕРМИНА «ФАКУЛЬТАТИВНОСТЬ»

В последнее время в советских лингвистических работах, особенно востоковедных, получил распространение термин «факультативность» (см. [Коротков 1968: 286–303; Солнцева 1963]). Однако понимается этот термин по-разному. При таком различии точек зрения круг явлений, относимых к факультативности, у разных авторов оказывается различным. Бывает и так, что термин «факультативность» используется как общее название для обозначения качественно разных явлений языка. По-видимому, прежде чем описывать факультативность в конкретных языках, следует четко разграничить различные явления, именуемые этим словом, и в дальнейшем не допускать их смешения (на необходимость такого разграничения справедливо указывал Н. Н. Коротков; см. [Коротков 1968: 292–293]).

Ниже мы попытаемся схематизировать языковые явления, которые иногда характеризуются как факультативность (мы не претендуем на исчерпывающее перечисление этих явлений; ввиду недостатка места примеры далее будут приводиться лишь из японского и русского языков).

Необязательность выражения ввиду необязательности значения

Хорошо известно, что некоторые значения в том или ином языке выражаются обязательно в любом предложении или при любом слове некоторого класса, ср. значения числа или времени в русском языке; также хорошо известно, что многие значения этим свойством не обладают [Зализняк 1967: 24–25; Успенский 1965: 80–81]. Набор обязательных значений специфичен для конкретного языка и даже его подъязыка: значение числа в плане противопоставления единичности — множественности обязательно для русского языка (случаи нейтрализации этого противопоставления воспринимаются как исключение на фоне общего правила) и необязательно для японского¹; значение вежливого или невежливого

¹ Однако вопрос об обязательности числовых значений для японского языка в целом сложнее (см. статью «О показателях множественности и категории числа в японском языке» в данном сборнике).

отношения к собеседнику обязательно для разговорного подъязыка японского языка, но необязательно для подъязыка газетных текстов. В то же время есть основания считать, что многие значения принципиально не могут быть обязательными (см. [Храковский 1977]); ср. значения единиц так называемой конкретной лексики. Обязательность в указанном смысле используется рядом лингвистов как критерий разграничения лексического и грамматического: элемент значения может считаться грамматическим, только если он является обязательным (см. [Зализняк 1967: 24–26]). Ясно, что необязательность (в указанном смысле) некоторого значения влечет за собой необязательность средств его выражения. В принципе любая единица языка, выражающая значение, не обладающее свойством обязательности, может быть названа факультативной.

Однако реально не принято говорить о факультативности единиц, выражающих значения, необязательные в любом языке, т. е. единиц несомненно лексических. О факультативности в этом смысле принято говорить, во-первых, только в отношении единиц, синтаксически несамостоятельных (если значение выражено синтаксически самостоятельной единицей, говорят о его лексическом выражении, а лексические единицы всегда факультативны в указанном смысле), во-вторых, только в отношении единиц, выражающих значение, необязательное в данном языке, но обязательное в некотором другом, обычно в одном из европейских; например, принято говорить о факультативности обозначения единичности — множественности в японском или китайском языке, но не о факультативности обозначения степени вежливости к собеседнику в русском или английском языке. Факультативными в этом смысле считаются синтаксически несамостоятельные, неспособные образовать член предложения единицы, выражающие значение, которое может быть обязательным, например показатели множественности в японском языке *tachi*, *ra* и др.; такие единицы не являются ни четко выраженными лексическими, ни ярко выраженными грамматическими.

Факультативность в этом смысле может быть выявлена и на синтаксическом уровне: в предложении могут присутствовать необязательные члены (иногда именуемые сирконстантами или слабоуправляемыми членами). Например, в предложении *Вчера в Москве шел снег* члены *вчера* и *в Москве* являются необязательными.

Эллипсис

Иногда, говоря о факультативности, имеют в виду явление, с давних пор получившее название эллипсиса. В отличие от предыдущего случая здесь имеет место не отсутствие некоторого значения, а отсутствие при определенном контексте его выражения. Например, русское предложение *Пришел* и японское предложение *Kita* с тем же значением являются предложениями с эллиптированным подлежащим, поскольку глаголы *приходить*, *kuru* имеют субъектную валентность. Подлежащее в таких случаях подразумевается, но соответствующее значение остается невыраженным; этот случай принципиально отличается

от упомянутого выше случая необязательных членов предложения. Отсутствие выражения некоторого значения при эллипсисе не является обязательным, в языке существуют два варианта — полный и эллиптированный, выбор между которыми определяется факторами, лежащими вне системы языка. Явление эллипсиса, прежде всего на синтаксическом уровне, неоднократно подвергалось анализу (см., например, [Вардуль 1977: 300–312]).

Явление эллипсиса существует не только на синтаксическом уровне, в ряде языков возможен эллипсис аффиксов или служебных слов. Если на синтаксическом уровне эллиптироваться в определенном контексте может, по-видимому, любая синтаксема, то эллипсис аффиксов и служебных слов употребителен лишь в ограниченных пределах. Например, в русском языке возможен эллипсис сочинительного союза, эллипсис предлогов в случае однородных членов, но невозможен эллипсис противительных союзов, эллипсис предлогов в случае, если они не дублируются, полностью невозможен эллипсис падежных окончаний даже в случае однородных членов. В японском языке возможен эллипсис именных синтаксических показателей, именных сочинительных союзов, связки, вербализатора *suru* (в некоторых случаях, однако, мы имеем дело не с эллипсисом в чистом виде, а с явлением, о котором мы будем говорить в следующем пункте), но невозможен эллипсис глагольных синтаксических показателей *-ru*, *-ta* и др., показателей пассива, вежливости и т. д. Можно видеть, что возможности эллиптирования грамматических показателей связаны (наряду с другими факторами, в частности с избыточностью) со степенью спаянности грамматического элемента с лексической единицей (основой): способностью эллиптироваться обладают лишь не образующие тесного единства с основой агглютинативные показатели и служебные слова; флексии, как правило, эллиптироваться не могут. Опускание флексии либо делает предложение грамматически неправильным, либо изменяет грамматическое значение, в последнем случае говорят о нуле флексии. Однако имеются и другие ограничения: фраза *Книга лежит парте* не более грамматически правильна, чем фраза *Книга лежит на парт*.

Необязательное отсутствие выражения обязательного значения не всегда легко отграничить от необязательности наличия значения, т. е. от того, о чем говорилось выше. В синтаксисе хорошо известна проблема отграничения обязательных членов предложения (синтаксических актантов), способных эллиптироваться, от необязательных членов (сирконстантов). Тем не менее многие случаи достаточно очевидны.

Отсутствие выражения некоторого значения как характеристика подъязыка

Эллипсис, в частности эллипсис грамматического показателя, не всегда легко отличить еще от одного явления, которое также характеризуется как факультативность. Иногда в одном из подъязыков некоторого языка грамматический показатель обязателен, а в другом подъязыке того же языка может эллиптироваться.

Например, в японском языке показатель подлежащего *ga* и показатель прямого дополнения *o* в подъязыках средств массовой коммуникации или в подъязыке художественной литературы не эллиптируются. Однако такой эллипсис часто наблюдается в разговорных подъязыках, особенно в женском разговорном (см. [Алпатов, Крючкова 1980]).

В виде примера можно привести предложение: *koneko sashiagemasu* (объявление на улице). Глагол *sashiageru* имеет значение '(раз)давать в направлении от говорящего или лица, тесно с ним связанного, к лицу, к которому говорящий относится уважительно'. Глагол этот трехвалентен. В полном, лишенном эллипсиса предложении должны быть обозначены субъект, объект и адресат; соответствующие им члены предложения маркируются соответственно показателями *ga*, *o*, *ni*. В данном конкретном предложении, однако, дана лишь лексема *koneko* 'котенок, котятка' без грамматического оформления.

Здесь мы имеем одновременно: 1) отсутствие показателя множественности при лексеме *koneko*, связанное с отсутствием соответствующего значения (конечно, пишущий имел в виду определенное количество котят, но это количество и, в частности, одноэлементность или неоднородность множества котят остаются неизвестными и не могут быть восстановлены из контекста), 2) синтаксический эллипсис сразу двух членов предложения², этот эллипсис возможен в любом подъязыке, 3) морфологический эллипсис. Поскольку семантика глагола *sashiageru* указывает на то, что субъектом и адресатом обозначаемого действия могут быть только люди, очевидно, что *koneko* может обозначать лишь объект и опущен показатель *o*. Однако его опущение отличается от эллипсиса в чистом виде, поскольку оно хотя и не изменяет значение предложения, но указывает на определенный подъязык³.

К данному случаю, по-видимому, относится и опущение связки или вербализатора *suru* в японском языке, допустимое в разговорной речи или заголовках, но недопустимое в научной статье или в выступлении комментатора по телевидению. Примером эллипсиса грамматического показателя в японском языке, не связанного с различиями подъязыков, может служить эллипсис именного сочинительного союза.

К данному типу, по-видимому, можно отнести и большинство явлений фонологического уровня, иногда отмечаемых как факультативность. Во многих языках известны различия между так называемыми полным и беглым стилями произношения, в последнем опускаются некоторые звуки, тем самым изменяется и фонемный состав. Такое явление может быть рассмотрено как эллипсис на фонологиче-

² Значение глагола вместе с контекстом показывает, что предложение означает 'Множество лиц, в которое входит пишущий, (раз)дает котенка (котят) множеству лиц, включающему читателей записки'.

³ Информанты, которым предъявлялась эта фраза, говорили, что она на письме выглядит странно, но в разговорной речи обычна.

ском уровне, однако обычно здесь нет свободного варьирования, а имеется различие подъязыков, ср. широкое распространение редукции в разговорных подъязыках многих языков, включая русский, восстановление редуцированных гласных в стихах или песнях в японском или французском языке и т. д.

Обязательное отсутствие выражения значения в определенных условиях

Во многих языках бывают случаи, когда тот или иной грамматический показатель употребляется не во всех случаях, когда присутствует соответствующее значение, причем в данных ситуациях его неупотребление обязательно. Часто это связано с тем, что данное значение уже выражено в том же предложении. Например, в ряде тюркских языков показатель множественного числа невозможен при наличии числительных; во многих языках синтаксические показатели невозможны при всех однородных членах, кроме одного (так называемое групповое оформление). Однако обязательное отсутствие грамматического показателя может и не быть ничем компенсировано, ср. неупотребительность показателей подлежащего и прямого дополнения в японском языке в случае, когда к той же лексеме присоединяются связанные с актуальным членением показатели *wa*, *sae*, *shika* и т. д., что зачастую приводит к неоднозначности предложений.

Иногда и это явление описывают, используя слово «факультативность». Однако оно отличается от эллипсиса (и тем более от необязательности значения). Ср. русское словосочетание *в Москву и Ленинград* и его японский эквивалент *Mosukiwa to Reninguraado e*. В обоих примерах показатель с пространственным значением (рус. *в*, яп. *e*) присутствует лишь при одном из однородных членов. Однако в русском примере возможно вставление предлога и при другом однородном члене — это эллипсис; в японском примере показатель *e* невозможен при всех однородных членах, кроме последнего, — здесь нет эллипсиса.

Наряду со случаями их очевидного различия бывают и случаи, когда эллипсис нелегко отграничить от обязательного отсутствия выражения некоторого значения, ср. в японском языке случаи опущения атрибутивного показателя *no* — последовательности с *no* и без него могут быть равнозначны: *kyoosantoo no araki-sangiin* и *kyoosantoo-araki-sangiin* одинаково значат ‘член парламента (от) компартии Араки’, но может появляться идиоматичность, ср. *nihon no inu* ‘японская собака’ и *nihon-inu* ‘собака японской породы’. В первом случае можно говорить об эллипсисе *no*, во втором случае нет эллипсиса, а в последовательности *nihon-inu* значение атрибутивной связи выражается лишь порядком элементов и не может быть выражено грамматическим показателем.

Случаи невозможности выражения некоторого присутствующего значения можно выявить и на других уровнях; ср. невозможность употребления сказуемого при значении призыва в некоторых подъязыках японского языка.

* * *

Таким образом, под факультативностью могут пониматься самые различные, хотя и соприкасающиеся между собой явления языка. Общим между ними является лишь то, что во всех случаях некоторая единица языка присутствует в одних ситуациях и отсутствует в других. Хотя есть единицы языка, не являющиеся факультативными ни в одном из указанных смыслов (например, флексии русского или японского языка), но такое понимание факультативности слишком общо и потому малосодержательно. В каждом из четырех случаев условия употребления или неупотребления языковой единицы различны: в первом случае обязательно значение, что влечет за собой необязательность его выражения, во втором случае значение обязательно, но необязательно его выражение, в третьем случае значение обязательно, а наличие или отсутствие его выражения сигнализирует о том или ином подязыке данного языка, в четвертом случае значение также обязательно, но в некоторых определяемых системой языка условиях обязательно его невыражение.

Семантика русского слова «факультативность» не препятствует его использованию для обозначения трех первых явлений, но вряд ли соответствует его употреблению для характеристики четвертого. Для второго явления существует устойчивый термин «эллипсис», поэтому, если вообще пользоваться словом «факультативность» как термином, целесообразно употреблять его строго в первом или в третьем значении (но не в обоих сразу). Дело здесь не столько в самом термине, сколько в необходимости его единообразного понимания, поскольку употребление одного и того же термина в разных смыслах, вместо того чтобы помочь справиться с трудностями, только создает новые.

О ДВУХ ПОДХОДАХ К ВЫДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

Одним из основных вопросов лингвистического описания является вопрос о выделении единиц языка. Другой вопрос, тесно с ним связанный, — вопрос об иерархии лингвистического описания. Применительно к грамматике можно выделить два основных решения этих вопросов¹.

Первый путь, сложившийся намного ранее другого, мы условно назовем словоцентрическим. Он основан на том, что главной единицей языка считается слово и анализ начинается с выделения слов, от которых затем происходит переход к выделению как более кратких (морфем), так и более протяженных (словосочетаний, иногда и предложений) единиц языка. Суть такого подхода хорошо охарактеризовал А. И. Смирницкий: «Не случайно человеческий язык нередко называют языком с л о в... Таким образом... слово должно быть признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, как слово... Морфемы выделяются лишь в результате анализа уже самого слова; словосочетания же, как правило... уже выходят за пределы словарного состава языка» [Смирницкий 1955: 11].

Словоцентрический подход связан с самыми истоками европейской лингвистической традиции. Античные ученые исходили из первичности слова, считавшегося минимальной значимой единицей. Аристотель писал: «Имя есть такое звуко сочетание с условным значением... ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает» [Аристотель 1978: 93]; «Глагол есть [звуко сочетание], обозначающее еще и время; часть его в отдельности ничего не обозначает» [Там же: 94]. Позднее стало практиковаться выделение значимых частей слов. В XX в. было выработано общее понятие морфемы, которое при словоцентрическом подходе рассматривается как минимальная значимая часть слова. Однако противопоставление слова как

¹ Особое место занимают исследования генеративистов, которые мы здесь не рассматриваем. Отметим лишь, что в них проблема выделения слова и других единиц, о которых пойдет речь в статье, обычно снимается и как одноуровневые рассматриваются единицы, сходные по семантике, но обладающие различной структурной сложностью.

реальной сущности его значимым частям как абстракциям можно встретить у самых различных ученых [Потебня 1958: 26; Сепир 1934: 26–27].

При словоцентрическом подходе слово рассматривается как единица с заранее заданными границами, при этом понятие слова считается достаточно ясным. Типичный пример — книга А. М. Пешковского [Пешковский 1956]². В то же время в последние десятилетия традиционное понятие слова начинает определяться и уточняться (работы, обосновывающие словоцентрический подход, наиболее характерны именно для советской лингвистики [Смирницкий 1956; Кузнецов 1964]).

С начала XX в. появляется принципиально иной подход к выделению единиц языка, который условно может быть назван несловоцентрическим. Быть может, первым такую точку зрения высказал И. А. Бодуэн де Куртенэ³. В своей опубликованной в 1904 г. работе [Бодуэн 1904] он пояснял предлагаемое им выделение единиц языка на примере разбора русского предложения *На то щука в море, чтоб карась не дремал*. Производятся два независимых друг от друга членения этого предложения: интонационно-фонетическое (вплоть до фонем как предельных единиц анализа) и морфологическое. В последнем случае выделяются сначала два простых предложения (*на то щука в море* и *чтобы карась не дремал*), затем они членятся на простые синтаксические единицы — семасиологически-морфологические слова (*на то, щука, в море, чтоб... не дремал, карась*), наконец, производится членение на морфемы (*на-, -т-, -о, шук-, -а, в-, -мор-, -е* и т. д.) ([Бодуэн 1904: 535]; перепечатано в [Бодуэн 1963, т. 2: 78]).

Спустя два десятилетия несловоцентрический подход сформулирован Л. Блумфилд, выделявший прежде всего единицы, названные им формами (морфема считалась минимальной формой). Затем последовательно выделялись слово, словосочетание и предложение; цитируется по [Звегинцев 1960: 146–148]. Несловоцентрический подход в том или ином виде широко распространен в современных работах. В виде одного из примеров можно привести книгу И. Ф. Вардуля [Вардуть 1977: 100, 215, 229].

При несловоцентрическом подходе слово уже не занимает того места, что в словоцентрических концепциях. Исследователь идет последовательно от более протяженных единиц к более кратким (И. А. Бодуэн де Куртенэ) или в обратном порядке (например, Л. Блумфилд)⁴. При этом слово в традиционном смысле уже не считается первичной и главной единицей, оно ставится в один ряд с другими единицами

² Проблеме определения понятия слова посвящена специальная статья того же автора [Пешковский 1925]. Но в книге, ориентированной на широкого читателя, он счел возможным не останавливаться на этом вопросе.

³ Позиция И. А. Бодуэна де Куртенэ по этому вопросу (как, например, и по вопросу о фонеме) с годами менялась. Но важно, что и здесь этот выдающийся ученый выступал как первооткрыватель.

⁴ Ср. также путь «предложение — морфема — слово», представленный, например, у Б. А. Успенского [Успенский 1965: 71–85].

языка и может даже не выделяться вообще (хотя И. А. Бодуэн де Куртенэ пользуется термином «слово», он в разбираемом предложении вообще не выделяет такие единицы, как *море, чтоб, то*).

Указанные два подхода не всегда четко разграничены: даже в такой в целом словоцентрической по принципам работе, как академическая «Грамматика русского языка», говорится, что предложение может распадаться на словосочетания или непосредственно на слова, словосочетания делятся на слова, а слова могут делиться на морфемы [Грамматика 1952–1954, I: 10–11]. Совмещение двух указанных подходов наблюдается в работе Дж. Лайонза, комбинирующего традиционную (словоцентрическую) и дескриптивную (несловоцентрическую) модели [Лайонз 1978: 193–219]. Кроме того, положения, логически связанные со словоцентрическим подходом, например понимание лексемы как множества словоформ, можно обнаружить у лингвистов, с этим подходом не связанных [Вардуль 1977: 200–201]. Тем не менее принципиальные различия двух приведенных точек зрения несомненны. Выбор одной из двух точек зрения сопряжен с рядом логических следствий. Укажем на несколько из них, обращая внимание на преимущества и недостатки каждого из подходов. Рассмотрение слова как первичной единицы тесно связано с представлением о нем как о единице комплексной, обладающей одновременно лексическими, морфологическими, синтаксическими, фонетическими свойствами. Несловоцентрические концепции не требуют такого понимания слова, поэтому в них часто слову в традиционной трактовке соответствует несколько единиц, не обязательно совпадающих по протяженности. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ выделяет фонетическое и семасиологически-морфологическое слово, И. Ф. Вардуль — глоссем, синтаксем и фраземы. Ряд лингвистов идут еще дальше, например С. Е. Яхонтов выделяет пять единиц: графическое, фонетическое, словарное, флективное и цельное слово [Яхонтов 1963].

Понимание слова как комплексной единицы вызывает ряд трудностей даже для европейских языков. Эти трудности хорошо известны: служебные слова являются отдельными словами с морфологической точки зрения, но не с синтаксической; фразеологизмы как единицы лексики не отличаются от знаменательных лексем, но с синтаксической точки зрения представляют собой словосочетания. Особые результаты дает применение акцентуационных и интонационных критериев, в связи с чем часто и сторонники словоцентрического подхода различают собственно слово и фонетическое слово. Все так называемые комплексные определения слова не дают возможности членить текст на слова. К этому выводу фактически пришел А. И. Смирницкий, который, выделив два признака отдельного слова — цельнооформленность и идиоматичность (соответственно морфологический и лексический), указал, что по этим признакам не всегда выделяются те же самые единицы. Поэтому в конечном итоге он признал определяющим признаком слова цельнооформленность [Смирницкий 1956: 34–35]. Рассмотрение морфологического, синтаксического, лексического слов как разных единиц снимает указанные трудности.

Решение А. И. Смирницкого полностью соответствует традиции. Действительно, при традиционном членении на слова выделяются прежде всего словоформы, т. е. единицы морфологические. В понятии словоформы обобщается два класса единиц. Во-первых, это последовательности, состоящие из лексической единицы (основы), плюс наиболее тесно связанные с ней грамматические элементы (аффиксы). Такие единицы называются знаменательными словами (в частном случае аффикс может и отсутствовать). Во-вторых, это те грамматические элементы, которые не образуют тесного единства ни с какой лексической единицей. Такие единицы называются служебными словами. То, что именно морфологический критерий является решающим, видно уже из того, что служебные слова считаются словами и строго отграничиваются от аффиксов, хотя типичные служебные слова (например, предлоги или артикли) не отличаются от аффиксов ни с фонетической, ни с синтаксической, ни с семантической точек зрения, но различаются по степени спаянности с основой. Как говорил А. М. Пешковский, служебные слова — «это как бы оторвавшиеся от основ аффиксы, свободно передвигающиеся по поверхности языка» [Пешковский 1956: 40]. Критерий цельнооформленности А. И. Смирницкого выделяет именно словоформы.

А. И. Смирницкий [Смирницкий 1954], а затем А. А. Зализняк [Зализняк 1967: 20–22] исходят из того, что единица словаря (лексема) не тождественна словоформе, но совпадает с ней по протяженности. Лексема рассматривается как класс словоформ, имеющих общую лексическую часть и различные грамматические части. Как писал А. И. Смирницкий, «чтобы выделить в словоформах лексическое... необходимо... отвлечься от грамматического момента в каждой словоформе, представляющей собой одно и то же слово» [Смирницкий 1955: 15].

Другая точка зрения на этот вопрос, не связанная со словоцентрическим подходом, была впервые сформулирована, видимо, Ш. Балли, критиковавшим традиционный подход к слову. По Ш. Балли, лексическая единица — семантема — для флективных языков равна основе, в ее состав не входят грамматические элементы, в частности аффикс именительного падежа или аффикс инфинитива [Балли 1955: 316–317]. Можно указать и некоторые работы, в частности востоковедные, где предлагается единицей лексики считать основу [Габучян, Ковалев 1968].

Первая точка зрения кажется интуитивно более приемлемой. Но в то же время вторая точка зрения проще. Рассмотрение в качестве лексической единицы некоторой последовательности с лексическим значением вместе с определенными грамматическими элементами, от которых обязательно надо затем отвлечься, при прочих равных условиях сложнее, чем рассмотрение в качестве лексической единицы просто элемента с лексическим значением (основы).

С признанием совпадения по протяженности словоформы и лексемы связана еще одна проблема. В словоцентрических концепциях обычно считается, что лексическое и грамматическое значения в слове не только распределены между отдельными морфемами, но и присущи слову в целом. Этот взгляд также восходит к античности. Отсюда закономерно делался вывод, что, например, категория

падежа связана не с присоединением к основе падежных аффиксов, а с изменением всего слова по сравнению с исходной формой именительного падежа. Отсюда традиционные термины «клонение», «словоизменение». Такая точка зрения существует и поныне: ср. высказывание Дж. Лайонза: «Латинские (и греческие) слова не поддаются сегментации на морфы» [Лайонз 1978: 204].

Во многих исследованиях нового времени, исходящих из словоцентрического подхода, принимается компромиссная точка зрения: с одной стороны, признается существование корневых и аффиксальных морфем, с другой — говорится о лексическом и грамматическом значении слова в целом. В таком случае оказывается, например, что некоторое грамматическое значение присуще всей словоформе, включая и ее лексическую часть. Такая точка зрения представляется сложной и недостаточно логичной.

С несловоцентрическим подходом связано другое понимание соотношения между единицами языка и их значением: считается, например, что в латинской или русской словоформе лексическое значение содержится в основе, а падежное и числовое — в аффиксе (ср. точку зрения Ш. Балли).

Выбор между традиционным подходом, не выделяющим морфемы в составе слова, и несловоцентрическим подходом зависит от конкретных фактов исследуемых языков. В случае латинского или русского склонения достаточно ясно выделяются сегменты с лексическим и грамматическим значением (процедура их выделения хорошо показана еще А. М. Пешковским), поэтому и здесь несловоцентрический подход оказывается предпочтительнее. Однако иначе следует трактовать случаи так называемой внутренней флексии. Последовательно примененные в работах некоторых дескриптивистов принципы несловоцентрического анализа, при которых, например, в англ. *sing* и *sang* выделяются прерывная основа и инфиксы, представляются неприемлемыми.

Еще одно различие между двумя подходами видно в отношении словообразования. Традиционно считается, что производное слово образовано от другого (производящего) слова [Лопатин 1977: 9]. Впрочем, при этом иногда вводится и понятие мотивирующей базы, которая может быть равна как целому слову, так и основе [Там же: 9–10]. При несловоцентрическом подходе словоформа рассматривается как последовательность морфем с определенным значением. Среди этих морфем выделяются и деривационные. Деривация при этом трактуется как присоединение деривационного аффикса к основе, а словосложение — как соединение корневых морфем.

Помимо того что и в словоцентрической модели приходится отвлекаться от грамматических аффиксов, особые трудности возникают тогда, когда в языке отсутствует производящее слово или производящим словом можно с равными правами считать несколько разных слов; см. [Лопатин 1977: 92–97]. Если для русского языка такие случаи не так часты, то для многих языков с развитым корне-сложением нормой является существование сложных лексем, компоненты которых самостоятельными лексемами не являются. В качестве примера приведем

китайский слой лексики в японском языке. Здесь понятие производного слова теряет смысл⁵.

Таким образом, сравнение двух подходов к языку как будто бы свидетельствует о преимуществах несловоцентрического подхода⁶. К сказанному выше можно добавить, пожалуй, самый серьезный аргумент — универсальность несловоцентрического подхода. Словоцентрический подход основан на интуитивной очевидности понятия слова, которое носители европейских флективных языков (возможно, и некоторых других) воспринимают как непосредственную данность (что не исключает существования отдельных спорных случаев). Но для языков иного строя исходить из такой очевидности невозможно. Применение словоцентрического подхода в его привычном для нас европейском варианте к каждому языку, хорошо известное по так называемым миссионерским грамматикам, а иногда существующее и поныне, показало свою неадекватность для многих языков⁷. Описания ряда «экзотических» языков с позиций словоцентризма привели к очень большому разнообразию. Например, простое японское предложение *Anohito wa hon o yonde iru* 'Он читает книгу' записывается разными авторами с точки зрения раздельного, слитного и полуслитного написания по крайней мере восьмью способами [Пашковский 1968]. На выделение слов оказывает влияние и такой фактор, как родной язык исследователя: то, что в ряде работ советских японистов считается падежными аффиксами, все английские и американские японоведы называют послелогом или частицей.

Несловоцентрические концепции, обычно исходящие из первичности морфемы по отношению к слову, несмотря на свои собственные трудности, оказываются более универсальными, поскольку «морфема, как более простая единица, интуитивно яснее, чем слово: в частности, тут не может быть таких переходных этапов, которые имеют место при оценке служебных морфем в аналитических конструкциях (когда неясно, следует ли считать эти формы словом или морфемой)» [Успенский 1965: 53]⁸.

Отметим, что из различных понятий, традиционно объединяемых в понятие «слово», именно понятие словоформы оказывается наименее применимым к нефлективным языкам. Между наиболее типичными аффиксами и наиболее типичными служебными словами европейских языков (ср., например, падежные аффиксы и предлоги) есть два несомненных различия: аффиксы присоединяются фузионно,

⁵ Традиционная словообразовательная модель связана не только со словоцентризмом, но и с тем, что словообразование складывалось как диахроническая дисциплина.

⁶ Единственное, кажется, преимущество словоцентрического подхода в том, что оно дает возможность однотипно трактовать аффиксацию и внутреннюю флексию, а эти явления иногда скрещиваются (ср. образование глагольных форм в германских языках).

⁷ Мы не рассматриваем здесь проблему, к каким именно языкам применим, а к каким неприменим словоцентрический подход в его европейском варианте. Важно лишь, что он не всегда применим. На наш взгляд, он, в частности, непригоден для японского языка.

⁸ В этой цитате слова «интуитивно яснее», видимо, надо понимать в смысле «яснее по природе», а не «яснее по границам».

служебные слова агглютинативно, аффикс неотделим от основы, к которой присоединяется, служебное слово может отделяться от нее. Грамматических элементов промежуточного типа (агглютинативных и неотделяемых) в латинском или русском языках немного; характерно, что именно при наличии таких элементов становятся неочевидными границы слова; см. [Обзор 1965: 358–379]. В то же время для многих языков очень характерны промежуточные единицы, называемые то «агглютинативными аффиксами», то «послелогоами», то «частицами». Критерии выделения словоформ в таких языках оказываются неясными. Видимо, не случайно, что с несловоцентрическим подходом так тесно связана дескриптивная лингвистика, во многом ориентированная на описание языков, по строю отличных от европейских.

Казалось бы, из всего сказанного можно сделать вывод, что словоцентрический подход имеет много недостатков и должен быть отвергнут. Однако почему же он господствовал в европейской лингвистике более двух тысячелетий? Почему он до сих пор преобладает, например, в русистике? Почему многие его положения кажутся носителям русского языка интуитивно справедливыми? Видимо, для этого должно быть какое-то основание. И такое основание имеется. Однако оно не собственно лингвистическое, а психолингвистическое.

В этой связи интересными представляются нам соображения А. Н. Головастикова [Головастикова 1980], который исследовал описанную А. Р. Лурия афазию, известную под названием «телеграфный стиль». При ней нарушается способность образовывать нужные формы слов (ср. диалог: — «Кем работаете?» — «Гравер». — «Что делаете?» — «Рисовать») и происходит смешение похоже звучащих слов (услышав слово *скрипка*, больной не может произнести после него слово *скрепка*).

Можно предполагать, что «при смешении похожих слов первое слово, активированное в результате повторения, “забывает” все остальные похожие на него слова. По-видимому, аналогичным образом одна из словоформ “забывает” все остальные» [Там же: 42]. При данной афазии чаще всего порождаются лишь формы именительного падежа единственного числа для существительных и инфинитива для глаголов. Это свидетельствует, что скорее всего в мозгу носителей языка словоформы образуются не от основы путем прибавления флексий, а от некоторых первичных словоформ [Там же: 42–43]. Но такое понимание связано со словоцентрическим подходом: при иной точке зрения формы именительного падежа и инфинитива существенно не отличаются от других словоформ, о чем писал, например, Ш. Балли [Балли 1955: 316].

Мы полностью согласны с А. Н. Головастиком, что исследования подобного рода афазий свидетельствуют о том, что словоцентрические модели более психологически адекватны. «...Очень вероятно, что многие словоформы... хранятся в человеческом мозгу в готовом виде, хотя наряду с этим могут быть и синтезированы» [Головастикова 1980: 43].

В сущности, и многие обоснования словоцентрического подхода основаны на психолингвистических критериях. Ср. у А. И. Смирницкого: «Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок. Слово *окно* как лексема, как единица

словаря есть все же окно или, в известных случаях, *окна́, окну, окна́* и пр., но не *окн-*» [Смирницкий 1955: 14]. Как уже говорилось, точку зрения, согласно которой единицей лексики признается элемент типа *окн-*, следует признать более простой. Но против этого говорит наша интуиция, т. е. неосознанные психолингвистические представления, в соответствии с которыми основной единицей языка не может быть то, что представляется «обрубком». На психолингвистических представлениях, видимо, были основаны и высказывания А. А. Потемни, Э. Сепира и др. о том, что слово реально существует, а его значимые части — нет. С этой точки зрения может быть объяснена и та кажущаяся нелогичность, по которой слово делится на лексическую и грамматическую части и в то же время все в целом обладает и лексическим, и грамматическим значением; в мозгу носителей, например, русского языка находятся словоформы, с которыми связывается определенная сумма лексического и грамматического значений. В то же время словоформа может быть разложена на значимые части, а в особых случаях и синтезирована из этих частей.

Итак, традиционные представления о слове, видимо, основаны на некоторой психологической реальности⁹.

Но надо объяснить трудности словоцентрического подхода в применении ко многим языкам. Мы далеки от мысли о том, что разные народы обладают разным психолингвистическим механизмом; такой взгляд, во многом отраженный в гипотезе Б. Уорфа, опровергается всей историей человечества. Этот механизм принципиально един, но нет ничего удивительного в том, что имеются некоторые частные различия: ведь сами языки при принципиальном единстве их строения имеют различия в своей структуре. Одна из универсалий психолингвистического механизма, видимо, в том, что в мозгу говорящих некоторые единицы существуют в виде готовых блоков. Эти единицы не должны быть слишком краткими, например быть равными фонемам, поскольку процесс формирования высказываний был бы слишком сложным. Но они и не должны быть слишком протяженными, тогда бы затруднительным стало их хранение в мозгу. Должен достигаться оптимум. Для носителей русского и сходных с ним языков такая единица, несомненно, слово. Ближайший чисто лингвистический аналог слова — словоформа.

Но человеческие языки очень различны по структуре, и вполне возможно, что эти различия связаны и с характером тех единиц, которые хранятся в мозгу как готовые блоки. Свидетельствовать об этих различиях могли бы данные об афазии в языках разной структуры, которыми мы, к сожалению, в настоящее время не располагаем. Однако есть и другое, косвенное свидетельство таких различий: существование национальных лингвистических традиций. Вся европейская традиция построена на словоцентризме. В других традициях единицы языка выделяются

⁹ Нельзя исключить и обратное влияние лингвистической традиции на представления носителей языка через школу. Ср. в приведенном описании афазии представление об инфинитиве как исходной форме глагола, которое трудно семантически обосновать. Интересны также разные представления об исходной форме глагола у разных народов.

по-другому. Например, в японской традиции основной единицей считается «го». Несколько огрубляя ситуацию, можно сказать, что знаменательные «го» соответствуют основам, а служебные — грамматическим аффиксам и служебным словам (эти два класса единиц не разграничиваются вообще). Именно «го» записываются в словарях. Минимальной единицей синтаксиса считается сочетание знаменательного «го» со служебным. Таким образом, европейскому понятию слова в японской традиции соответствуют две единицы, ни одна из которых вообще не соотносима со словоформой. Аналога последнего понятия в японской традиции вообще нет, и он не был выработан даже после знакомства японских ученых с европейским языкознанием. Однако, несомненно, при разном соотношении с единицами языка «го» занимает столь же важное место в японской традиции, что слово в европейской. Можно предположить, что психолингвистическая (но не лингвистическая) значимость «го» и слова соответствуют друг другу и именно «го», а не словоформы, о которых носители японского языка обычно не имеют представления, являются центральными единицами в психолингвистическом механизме японского языка [Алпатов 1978; 1979: 25–31].

Данные неевропейских лингвистических традиций, таким образом, не подтверждают гипотезы о том, что именно словоформа должна быть в центре лингвистического описания любого языка. Психологически адекватные модели языков должны строиться по-разному и действительно строятся по-разному в различных лингвистических традициях.

Однако наряду с психологически адекватными моделями должны строиться и модели, которые могли бы описывать языки мира на единых основаниях. Подобные модели необходимы для сопоставления языков и выявления универсальных свойств языка. Для этих целей, которыми не исчерпывается языкознание, несловоцентрические модели, как мы стремились показать, удобнее словоцентрических. Первые явно ориентированы на универсальные свойства языка, вторые принципиально не ограничивают их от типологических особенностей языков, для описания которых они выработаны.

Поэтому как словоцентрический, так и несловоцентрический подход исключительно важны и не отрицают, а дополняют друг друга. Не следует считать правильным только один из них. Несловоцентрический подход предпочтительнее для целей типологии, а словоцентрический подход позволяет приблизиться к построению психологически адекватных моделей языка¹⁰.

¹⁰ То, что некоторый способ описания может быть лучше для описания конкретного языка, но хуже для целей типологии, поясним на частном примере из другой области. Для описания правил немецкого порядка слов удобно правило о том, что глагол-сказуемое обычно занимает второе место в предложении. Описание, основанное на порядке подлежащего и дополнений относительно сказуемого, сложнее. Но для многих языков описание порядка в терминах 1-го, 2-го и т. д. места в предложении неприменимо, а описание в терминах взаимного порядка более универсально.

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ АЙНСКОГО ЯЗЫКА

Современное языкознание характеризуется, с одной стороны, расширением описываемого материала и вовлечением в научный оборот все большего числа языков, с другой — появлением различного рода теорий, стремящихся, в частности, более адекватно объяснить этот материал. Становится ясным, что европейская лингвистическая традиция во многих случаях в качестве общих, универсальных свойств языка рассматривала типологические особенности языков Европы. В частности, в области синтаксиса обычно абсолютизировались особенности так называемого номинативного (или аккумулятивного) языкового типа. «Некоторые концепты описательной грамматики номинативных языков (такие, как, например, залог, переходный / непереходный глагол, прямое / косвенное дополнение, именительный падеж) вплоть до последнего времени обнаруживают настораживающую тенденцию к превращению в едва ли не универсальные категории лингвистического описания» [Климов 1977: 54]. Однако эти языки, распространенные и за пределами Европы, далеко не покрывают всего множества языков мира. Большой интерес вызывают поэтому те исследования, в которых производятся попытки выделения других языковых типов с их специфическими свойствами (работы Г. А. Климова, А. Е. Кибрика и др.). К числу этих типов относится и активный. В активных языках на первый план выходит не передача субъектно-объектных отношений, а выражение отношений, связанных с активностью-инактивностью процесса. Далее мы будем ориентироваться на описание активного строя, содержащегося в [Климов 1977].

Обычно считается, что языки активного строя засвидетельствованы лишь в Америке. В языках других континентов, в частности Азии, находят лишь отдельные признаки этого строя. На наш взгляд, определенный интерес представляет материал айнского языка, насколько нам известно, с точки зрения континентальной типологии еще не исследованного. Недостаточная изученность этого языка не дает пока возможности дать его исчерпывающую типологическую характеристику. Однако, на наш взгляд, в этом языке наряду с чертами профилирующего здесь номинативного строя выделяются многие признаки, считающиеся характерными чертами активного строя; типологическая принадлежность ряда явлений языка остается неясной. В этих условиях настоящая статья претендует не столько на решение этого вопроса, сколько на его постановку.

Бесписьменный айнский язык был распространен до недавнего времени в северной части Японии (о-в Хоккайдо и часть о-ва Хонсю), на юге Сахалина, Курильских о-вах и юге Камчатки. Родственные связи айнского языка не установлены (антропологически айны резко отличаются от окружающих их монголоидных народов и имеют сходство с австралоидами). В настоящее время язык вышел из употребления¹.

Ведущую роль в исследовании айнского языка играют японские ученые². Ими, в основном в 30–60-е гг. XX в., был собран большой материал по айнскому языку. Издание и описание этого материала продолжается до настоящего времени. Важный материал был собран и отечественными исследователями [Добротворский 1875; Невский 1972]. Данные по айнскому языку, однако, неполны, часть диалектов осталась не записанной или представлена лишь лексическими материалами. Лучше всего изучены диалекты Южного Хоккайдо, в частности диалект Сару, описанный в работах современной японской исследовательницы Тамура Судзуко, а также райчишкинский диалект, существовавший на Сахалине, и наддиалектный вариант языка, использовавшийся в эпосе. Дальнейшее описание основано на материале южнохоккайдоских диалектов; особенности райчишкинского диалекта и эпического варианта, если они есть, оговариваются.

Грамматика айнского языка характеризуется четким противопоставлением двух знаменательных частей речи: имени и глагола. Они различаются как синтаксическими свойствами, так и морфологически, имея разные системы аффиксов (см. ниже). Другие классы знаменательных слов четко не выражены: обычно выделяют немногочисленные классы демонстративов, употребляемых только атрибутивно, и наречий, однако границы этих классов не очень ясны. Прилагательные же, выделявшиеся в более ранних грамматиках, в современных работах не выделяются как особая часть речи; отмечается, что европейским прилагательным соответствуют непереходные (стативные) глаголы; см. [Hattori 1971]. Эта черта напоминает собой положение в языках активного строя.

Все исследователи айнского языка отмечают деление глаголов на два класса, которые принято называть переходными и непереходными³. Эти классы разграничиваются как валентностью, так и морфологическими свойствами: они по-разному присоединяют личные префиксы.

Система личных префиксов глагола очень специфична. Для переходных глаголов различаются субъектные и объектные префиксы. Это различие свойственно

¹ В Японии осталось меньше десятка лиц старше 70 лет, которые помнят айнский язык, на котором говорили в молодости. На Сахалине группа сотрудников Института востоковедения АН СССР в 1978 г. не нашла носителей айнского языка; последний достоверно выявленный человек, владевший этим языком, умер за три года до этого.

² Обзор японских исследований в этой области до 60-х гг. см. [Tamura 1967].

³ В качестве третьего класса выделяют безличные глаголы типа *te'an* 'холодно'. Эти глаголы немногочисленны. Они обозначают явления неживой природы. Такие глаголы не присоединяют личные префиксы.

номинативным и эргативным языкам. Однако в этих языках, имеющих личное спряжение, обычно либо субъектные, либо объектные показатели переходного глагола совпадают с показателями непереходных глаголов. В айнском же языке непереходные глаголы имеют третью группу префиксов, полностью не совпадающую ни с одной из первых двух.

Три серии префиксов частично совпадают. В 3-м лице показатель всегда нулевой, что особенно характерно для активных языков⁴. Везде одинаковы показатель 2-го лица ед. числа 'e- и 2-го лица мн. числа 'esi-. Для 1-го лица ед. числа есть два показателя: *ki-* в непереходных глаголах и субъектный в переходных (совпадение, обычное для номинативных языков), 'en- объектный в переходных глаголах. Все серии различны лишь в 1-м лице мн. числа, где разграничены инклюзив и эксклюзив (фреквенталия активных языков)⁵. Показатели инклюзива: субъектный в переходных глаголах 'a-, объектный в переходных глаголах 'i-, в непереходных глаголах — 'an. Соответствующие показатели эксклюзива: *ci-*, 'in-, -'as. Показатели -'an и -'as заметно отличаются от всех остальных: они постпозитивны и агглютинативны⁶, тогда как все остальные показатели являются фузионно присоединяемыми префиксами⁷. Все показатели инклюзива имеют и другие функции: инклюзивные формы также являются показателями вежливого 2-го лица, показателями любого 1-го лица при передаче прямой речи и формами неопределенного лица (см. ниже). В переходных глаголах субъектный показатель находится впереди объектного, существуют сложные правила соединения двух префиксов, они в ряде случаев сливаются в один неразложимый префикс: например, значения 'я тебя' передаются префиксом 'esi- (правила слияния префиксов различны в разных диалектах). Подробно описание личных показателей айнского глагола см. в работе [Tamura 1970]⁸.

Семантически переходные глаголы (по крайней мере, непроизводные) обозначают действия людей или животных. Примеры: *kouki*⁹ 'ловить', 'e 'есть', *kasuy* 'помогать', 'otar 'ласкать, а также *ni* 'слышать', *nikar* 'видеть', *gati* 'думать' (аффективные глаголы не обнаруживают каких-либо заметных особенностей). Непереходные

⁴ В райчишкинском диалекте имеется особый показатель 3-го лица мн. числа -*hci*, единственный во всех сериях; см. [Murasaki 1978: 16]. Однако и там возможно нулевое выражение этого значения.

⁵ Это разграничение не общеайнское: его нет в райчишкинском; см. [Murasaki 1978: 15–16], в эпическом айнском; см. [Kindaichi, Chiri 1936: 66–67]. Показатели, соответствующие инклюзивным, здесь употребляются во всех случаях.

⁶ Обычно они считаются суффиксами. Вопрос о разграничении агглютинативных аффиксов и служебных слов в айнском языке сложен и требует особого рассмотрения.

⁷ Мы не будем останавливаться на сложных морфонологических правилах их присоединения. Они даются в [Tamura 1970].

⁸ В эпическом айнском показателя, соответствующие южнохоккайдоским инклюзивным, обозначают любое 1-е лицо.

⁹ Айнские глаголы даются в форме основы.

глаголы обозначают состояния, признаки, качества и некоторые действия людей, животных и неодушевленных предметов. Примеры: *mina* 'смеяться', *cis* 'плакать', *'iruska* 'сердиться', *rewre* 'быть молодым', *poro* 'быть большим', *'arpa, paye* 'идти'.

Главное различие между глаголами данных двух классов связано с их валентностью: непереходные глаголы одновалентны, переходные не менее чем двухвалентны (двухвалентные и трехвалентные глаголы присоединяют личные префиксы одинаково, но могут различаться своей структурой, см. ниже). Данные Тамура Судзуки и других исследователей показывают, что корреляция спряжения и валентности глаголов является очень жесткой¹⁰. Следовательно, обычная характеристика данных глаголов как переходных и непереходных вполне верна (хотя объектный член предложения отличается от прямого дополнения в индоевропейских языках, см. ниже). Таким образом, в айнском языке, зафиксированном в текстах и грамматиках XX в., главным, вероятно, является выражение субъектно-объектных отношений. Следовательно, это язык в основном номинативного строя. Но различия глаголов двух классов имеют и определенную корреляцию с основным для активного строя различием активных и стативных глаголов и генетически, возможно, восходят к нему.

Однако глагольное управление имеет и некоторые черты, свойственные скорее языкам активного строя. Как и в активных языках, здесь отсутствует категория залога¹¹; в то же время имеются разнообразные способы разграничения действий (состояний), выходящих за пределы активного актанта, и действий (состояний), замкнутых в актанте. Эти способы рассматриваются как характерное свойство активных языков. В то же время в айнском языке они тесно связаны с валентностью глагола. Подробное описание данных глагольных категорий представлено в [Fukuda 1956].

Почти любой глагол айнского языка может присоединять показатели, меняющие валентность и одновременно семантическую характеристику глагола в указанном выше плане. Присоединение многих показателей достаточно регулярно, однако вопрос о том, следует их считать словоизменительными или словообразовательными, требует дополнительных исследований. Префиксы *'e-*, *ko-* указывают на то, что данное действие или состояние распространяется еще на одного участника; присоединяясь к основам непереходных глаголов, они делают их синтаксически и морфологически переходными; присоединяясь к основам переходных глаголов, они не изменяют морфологических свойств глагола, но также увеличивают

¹⁰ Конечно, надо при этом учитывать широкие возможности эллипсиса члена предложения, обозначенного личным местоимением.

¹¹ В более старых работах говорилось о пассиве в айнском языке; см. [Kindaichi, Chiri 1936: 68]. Но в позднейших работах такие конструкции рассматриваются как неопределенно-личные; см. [Тамура 1972: 34–35]. В этих случаях глагол имеет показатель *'a-* или *-ʔan* в зависимости от переходности, субъектный член предложения не обозначен; подразумевается неопределенный или неизвестный субъект: *kuminaʔan* 'надо мной смеются'.

его валентность: *wen* ‘быть плохим’ (непереходный глагол), *kowen* ‘быть плохим (для кого-л.), не нравиться (кому-л.)’ (переходный глагол), *’ikka* ‘быть вором, заниматься воровством’ (непереходный глагол), *’e’ikka* ‘украсть что-л.’ (переходный глагол), *ko’e’ikka* ‘украсть что-л. у кого-л.’ (переходный трехвалентный глагол). Теми же свойствами обладает и суф. *-re*, но он дополнительно имеет каузативное значение. Преф. *’i-*, наоборот, понижает валентность глагола, превращая переходные глаголы в синтаксически и морфологически непереходные; он указывает на замыкание данного действия в себе: *’niye* ‘резать что-л.’ (переходный глагол), *’iniye* ‘заниматься резанием’ (непереходный глагол). Преф. *ya-*, также понижающий валентность, имеет значение возвратности. Суф. *-yar* имеет значение каузации неопределенного множества лиц, которое не обозначается; в отличие от других аффиксов он не меняет валентности глагола, ср. *kiyere* ‘позволяю говорить’ (переходный глагол) и *kiyeuar* ‘позволяю говорить кому-л.’ (непереходный глагол).

Черты активного строя проявляются и в семантике актантных членов предложения. Второй актантный член при переходных глаголах может обозначать самых разнообразных участников ситуации (ср. примеры выше), по своей семантике он шире, чем обычно прямое дополнение в номинативных языках; он имеет явное сходство с так называемым ближайшим дополнением активных языков.

Черты активного строя в айнском языке заметны и в системе имени. Отсутствует категория падежа, субъектно-объектные отношения морфологически не выражаются. Актантные члены предложения различаются только порядком: первый актантный член (подлежащее) является первым по порядку, а второй актантный член (ближайшее дополнение) — обычно последним (сказуемое всегда находится на конце предложения). В то же время локативные и инструментальные значения выражаются специальными послелогом. Вся эта картина напоминает соответствующие признаки активных языков. Как и в активных языках, мало развита категория числа. Имеется постпозитивный показатель (видимо, служебное слово) множественности *’utar*, присоединяемый только к одушевленным именам. Однако и он употребляется довольно редко¹². Основной морфологической категорией имени является категория притяжательности, что тоже свойственно активным языкам¹³.

Коротко отметим и еще некоторые особенности айнского языка, соответствующие тем признакам, которые отмечаются как распространенные в активных языках. Некоторые глаголы в своем лексическом значении выражают единичность

¹² В райчишкинском диалекте имеется также суф. множественности лиц и животных *-hcin*: *kusetahahcin* ‘мои собаки’, присоединяемый лишь к притяжательным формам; см. [Murasaki 1978: 27]; ср. глагольное *-hci*.

¹³ Имя имеет форму основы и суффиксально образуемую притяжательную форму. К имени в притяжательной форме присоединяются префиксы лица и числа обладателя, совпадающие с субъектными префиксами переходных глаголов: *seta* ‘собака’, *setaha* ‘его собака’, *kusetaha* ‘моя собака’, *tek* ‘рука’, *tekehe* ‘его рука’, *kutekehe* ‘моя рука’.

или множественность того или иного актанта, причем для непереходных глаголов это будет единичность или множественность первого актанта, а для переходных — единичность или множественность второго (объектного) актанта: *ʼan* 'есть', *ʼoka* 'суть', *ʼarpa* 'идет', *paʼe* 'идут', *ʼek* 'приходит', *ʼarki* 'приходят', *ʼas* 'стоит', *roski* 'стоят', *raike* 'убивает (одного)', *ronni* 'убивает (многих)'. Подобно активным языкам, в айнском отсутствует категория времени, в то же время выражаются разнообразные видовые значения, в основном с помощью вспомогательных глаголов, часть которых также различает число актантов; см. описание этих значений [Fukuda 1960: 347–352]. Отсутствует инфинитив. При распространенности способов образования отглагольных имен они обозначают только участников соответствующей ситуации, но не сами ситуации (см. [Kindaichi, Chiri 1936: 48–51]); имена действия в чистом виде айнскому языку не свойственны.

Довольно распространены в айнском языке и инкорпоративные комплексы, также характерные для активных языков: *ʼapi* 'огонь', *ʼari* 'разжигать', *ʼapiari* 'разжигать огонь', *he* 'голова', *ʼusi* 'прикреплять что-л. к чему-л.', *heʼusi* 'надевать что-л. на голову', *kewe* 'тело', *ri* 'быть высоким', *keweri* 'быть высокого роста'. Глагол может сливаться с именем, на которое распространяется его валентность, в этом случае валентность понижается (первый и второй примеры), и он может, в частности, превратиться в непереходный (первый пример); но возможно и слияние глагола с именем, на которое его валентность не направлена, в этом случае валентность глагола не меняется (третий пример).

Однако некоторые характеристики, отмечаемые для активных языков, отсутствуют в айнском. Нет, по крайней мере, явных признаков столь частого для активных языков противопоставления отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, ср. примеры выше (примеч. 13). Для активных языков отмечается отсутствие связки и глаголов со значением «иметь». Между тем в айнском есть связка *ne*, которая морфологически относится к переходным глаголам: *ʼaʼan ʼokkaʼuro ʼer oho ne* 'Этот мужчина — твой сын'; есть и глагол *kor* 'иметь'. Последний глагол образует широко распространенную в айнском языке притяжательную конструкцию, где обладаемое обозначено именем в форме основы, а перед ним стоит *kor* с тем или иным личным префиксом: в значении 'моя собака' помимо *kusetaha* употреблялось *kukor seta* (букв. 'я имею собака'). По данным японских исследователей, вторая форма — инновация, постепенно вытеснявшая первую.

Таким образом, айнский язык, видимо, характеризуется сочетанием черт, характерных для номинативного и активного строя; можно высказать гипотезу о том, что он развивался от активного строя к номинативному. Эта гипотеза могла бы подтвердиться, если бы мы имели данные об историческом развитии этого языка. К сожалению, мы пока не имеем данных о том, что в айнском языке из явлений, перечисленных выше, можно относить к архаизмам, а что к инновациям (исключая два класса притяжательных форм, см. выше). Можно предполагать, что эпический айнский отражает раннее языковое состояние, однако по большинству признаков он сходен с южнооккайдскими диалектами.

Надо учитывать, что основные данные по айнскому языку относятся к последним десятилетиям его существования, когда он уже длительное время находился под влиянием японского языка, номинативного по своему строю. Впрочем, трудно судить о степени этого влияния. Сахалинские диалекты, позже подвергшиеся японскому влиянию, имеют в основном те же черты, а по двум параметрам: отсутствию инклюзива-эксклюзива и большему развитию категории числа — отстоят даже дальше от активного эталона.

Можно предположить, что в айнском языке существовало противопоставление активных и стативных глаголов, главное для языков активного строя. Однако в XX в. оно преобразовалось в характерное для номинативных языков противопоставление переходных и непереходных глаголов. Тем самым айнский язык в основе своей, видимо, номинативен. В то же время количество явлений самого различного порядка, характерных для активных языков (хотя в несистемном наборе встречающихся и за их пределами), настолько велико, что их сосуществование в айнском языке вряд ли можно считать случайным. Наряду с тем некоторые особенности айнского языка не характерны ни для номинативных, ни для активных (а также для эргативных) языков. Прежде всего обращает на себя внимание наличие не двух, как обычно, а трех серий личных показателей: двух серий для переходных глаголов и особой серии для непереходных глаголов. Эта особенность, возможно, тоже свидетельствует о переходном характере строя айнского языка.

ОБ УТОЧНЕНИИ ПОНЯТИЙ «ФЛЕКТИВНЫЙ ЯЗЫК» И «АГГЛЮТИНАТИВНЫЙ ЯЗЫК»

Хорошо известно, что традиционная типологическая классификация языков, выделяющая языки флективные, агглютинативные и изолирующие, обладает многими недостатками; но само по себе существование и широкое распространение этой классификации в течение более чем полутора веков¹ указывает на ее значение. Как писал Дж. Гринберг, «какими бы несовершенными ни казались сейчас рассуждения ученых XIX в. на эту тему, все же главного достоинства выдвинутых схем отрицать нельзя. В качестве основы для классификации индуктивно было найдено нечто имеющее кардинальное значение для всесторонней общей характеристики языка, а именно морфологическая структура слова» [Гринберг 1963: 63]. Неоднократно предпринимались попытки уточнить эту классификацию, а также дополнить ее [Сепир 1934: 97–111; Гринберг 1963: 63–65; Базелл 1972: 21–23; Успенский 1965: 118–124]. Безусловно, эта классификация может быть полезной при условии четкого и строгого определения понятий, лежащих в ее основе. Конечно, типологическая классификация дает лишь одну из характеристик, на основе которых могут классифицироваться языки. В данной статье предлагается способ уточнения традиционной морфологической классификации, разумеется не единственно возможный.

Прежде всего, надо выяснить, что обычно называется флексией и агглютинацией. Обычно в эти понятия включаются разнородные явления, одновременно встречающиеся во многих языках. К признакам флексии (иногда именуемой фузией) и агглютинации относят различную степень спаянности аффикса с основой, возможность (невозможность) употребления неоформленной основы, возможность (невозможность) совмещения нескольких грамматических значений у одного аффикса и т. д.²

Однако рациональнее на первом этапе исследования разграничить эти явления и рассматривать их раздельно. Затем на втором этапе изучения возникает новая задача — выяснить соотношение этих явлений, определить, можно ли их считать односторонне или двусторонне связанными.

¹ Конечно, надо учитывать ее видоизменения за это время: из классификации, отражающей «дух языка», она превратилась в морфологическую (в современном смысле слова) классификацию.

² Подробный перечень признаков флексии и агглютинации дает А. А. Реформатский [Реформатский 1967: 270–272].

Одной из наиболее ярких характеристик, противопоставляющей флективные языки агглютинативным, является, несомненно, степень связанности грамматических элементов с основой (более точно об этом будет говориться ниже). Именно эту характеристику имел в виду Э. Сепир, который считал, что агглютинативные аффиксы «приставляются чисто механически к корневым элементам» [Сепир 1934: 101], тогда как при флексии (фузии) «степень спаянности между корневым элементом и аффиксом... большая. Их корневой элемент и аффикс, хотя структурно и выделяются, не могут быть столь же просто оторваны друг от друга» [Там же]. Аналогично флексия (фузия) и агглютинация трактуются и в ряде других работ [Гринберг 1963: 74–75; Рождественский 1969: 45–46, 273–274, и др.]. По-видимому, именно это противопоставление наиболее существенно для морфологической классификации языков, поскольку оно в отличие от других, о которых говорилось выше, непосредственно связано с морфологической структурой слова (словоформы), о чем речь пойдет ниже. Далее в настоящей статье противопоставление флексии и агглютинации будет пониматься только в этом смысле.

Мы будем исходить из общепринятого тезиса о существовании в языке значений двух типов — лексических и грамматических, их разграничение будем условно считать заданным. Грамматические значения могут выражаться как сегментно, т. е. грамматическими элементами языка (мы их будем называть граммемами), так и несегментно — порядком элементов, ударением, чередованиями; в данном случае нас интересуют, прежде всего, сегментные средства выражения. Граммемы по степени спаянности с лексической единицей (основой) следует подразделить не на два, а на три класса, которые, как правило, различаются в описаниях языков, но обычно рассматриваются как единицы разных уровней. Это флексии, форманты (агглютинативные граммемы) и служебные слова.

Наиболее тесно связаны с основами *флексии*. Они присоединяются непосредственно к основе или к другим граммемам так, что на границах единиц происходит варьирование, непредсказуемое фонологически. В результате основы или флексии (или и те и другие одновременно) имеют несколько вариантов, обусловленных теми позициями, в которых они выступают. Например, русские глагольные основы имеют два варианта (так называемые основу настоящего времени и основу прошедшего времени), каждый из которых выступает в зависимости от того, какие флексии к нему присоединяются; русская флексия 3-го лица множественного числа настоящего времени имеет варианты *-ут* и *-ат*, появляющиеся в соответствии с тем, к какой основе флексия присоединяется; основа японского глагола со значением 'читать' имеет два варианта — *юм-* и *юп-*, что также связано с тем, с какими флексиями она сочетается; японский показатель прошедшего времени имеет два варианта — *-та* и *-да*, употребляющиеся в зависимости от того, к каким основам этот показатель присоединяется³.

³ Указанное здесь морфемное членение примеров не всегда общепринято, но сама возможность неоднозначного решения здесь показательна (см. ниже).

Все рассмотренные выше варианты не обусловлены правилами распределения фонем и их аллофонов в языке. Другой характер имеет фонологически обусловленное варьирование, например варьирование, связанное с сингармонизмом, когда одинаковые изменения происходят в пределах фонетического слова независимо от границ основы и граммем [Баскаков 1966: 27; Matthews 1974: 86, и др.]. Поэтому такое варьирование не может свидетельствовать о наличии флексий.

Вариативность при присоединении флексий делает нечеткими морфемные швы. Отсюда вытекает возможность неоднозначного их выделения. Как правило, существование самих флексий очевидно, но их границы выделяются разными исследователями по-разному. На этот факт обратил внимание Ч. Базелл, считавший нечеткость морфемных границ основным свойством флективных языков [Базелл 1972: 21]. Помимо того что по-разному могут проводиться морфемные швы, некоторые исследователи выделяют асемантические соединительные элементы, приравняемые к морфемам, или же рассматривают присоединение флексий как чередования нечленимой на части последовательности⁴. Мы не можем здесь останавливаться на том, какой из подходов предпочтительнее в том или ином случае, но сама возможность неоднозначного описания, которой у нас нет в случае агглютинации, отражает объективные свойства флексий.

Порядок флексий строго фиксирован: они не могут ни переставляться, ни отрываться от основы другими лексическими единицами. Обычно они располагаются ближе к основе, чем граммемы других классов, но бывают и исключения.

Форманты (агглютинативные граммемы) присоединяются к основе или другим граммемам без фонологически не обусловленного варьирования на стыке морфем. Возможны лишь изменения, обусловленные фонологически, вроде правил сингармонизма. Вследствие этого границы единиц определяются совершенно четко и при их выделении нет проблем, связанных с неоднозначностью решения⁵.

Однако форманты помимо отличий от флексий имеют и сходство с ними. Они всегда примыкают к той основе, к которой относятся, и могут быть отделены от нее лишь граммемами (флексиями или другими формантами). Порядок присоединения формантов, как правило, фиксирован, хотя возможности их перестановки несколько больше, чем у флексии; ср. в японском языке возможность перестановки многих именных формантов; например, показатель косвенного дополнения *-ni* и формант *-dake* с ограничительным значением могут стоять в любом порядке без различий в значении.

⁴ Последний подход свойствен античной традиции [Античные 1936: 24, 61–62]; о соотношении античного подхода, исходящего из нечленимого слова, и индийского, собирающего слово из составных частей, см. [Matthews 1974].

⁵ Такие проблемы могут возникнуть лишь при соотнесении структурно выделяемых элементов со значением, например при наличии опущения, но такая неоднозначность возможна для любых граммем.

Наименее тесно связаны с основной *служебные слова*, что и дает основание считать их отдельными словами. Этот класс единиц часто недостаточно четко определяется в описаниях языков и выделяется на основе различных признаков. Следует, видимо, исходить из такого понимания служебного слова, которое включает в этот класс наиболее типичные служебные слова, всегда отграничиваемые от аффиксов. Это, прежде всего, предлоги и препозитивные артикли европейских языков.

Главный признак этих граммем, отличающий их от аффиксов тех же языков, — возможность вставки между служебными словами и основами, к которым они относятся, других лексических единиц, например: *в доме — в большом многоэтажном, недавно построенном из красного кирпича доме*. Во многих случаях число таких лексических единиц потенциально неограниченно.

С точки зрения спаянности с основой служебные слова, как правило, сходны с формантами; это, по-видимому, связано с тем, что они могут соседствовать с основами разных классов. Поэтому на базе двух различных признаков выделяются не четыре, а три класса граммем, которые по степени связи с основой можно поставить в один ряд:

	Флексии	Форманты	Служебные слова
Имеются ли нефонетические изменения на стыках?	+	–	–
Возможна ли вставка лексических единиц?	–	–	+

Способ присоединения флексий, формантов и служебных слов может быть назван соответственно фузией, агглютинацией и аналитизмом.

Выделение этих трех способов как одноплановых фактически проводилось в некоторых работах. Так, Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев писали: «Флексия, агглютинация и аналитическая форма — это, по сути дела, разные техники для выражения одного содержания... Функционально, с точки зрения назначения, аналитическая форма подобна и флексии и агглютинации» [Солнцева, Солнцев 1965: 81]. Далее в той же статье они отметили сходство агглютинации с флексией, с одной стороны, и аналитизмом — с другой⁶.

Нам представляется, что выделение указанных трех классов граммем может помочь в определении такого важного понятия, как «слово».

Европейской лингвистической традиции свойственно недифференцированно называть термином «слово» различные, хотя иногда и совпадающие по своим границам единицы языка⁷. Мы будем использовать этот термин в применении только к той единице, которая состоит из корня и аффиксов. Здесь слово (которое в таком

⁶ Мы понимаем аналитизм шире, чем Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев, которые в соответствии с традицией считают аналитическими лишь формы, входящие в один ряд с синтетическими, хотя и отмечают спорность такого ограничения [Солнцева, Солнцев 1965: 88].

⁷ Подробнее об этом см. нашу работу [Алпатов 1979], а также статью С. Е. Яхонтова [Яхонтов 1963].

смысле часто называется словоформой) понимается как последовательность морфем, более тесно связанных между собой, чем морфемы, входящие в состав разных слов. Именно эти единицы, т. е. слова, в европейских языках обычно отделяются на письме пробелами; служебные слова можно считать словами только в плане их оформления на письме как самостоятельных единиц.

Вопрос о границах словоформ сводится к двум подвопросам: о разграничении сложных слов и словосочетаний и о разграничении граммем — словоформ (служебных слов) и граммем — частей словоформы (аффиксов). Мы попытаемся решить лишь второй из них.

Такие два класса граммем, как флексии и служебные слова, всегда определяются однозначно: флексии считаются аффиксами, служебные слова в указанном нами понимании — отдельными словоформами. Форманты — третий класс граммем — трактуются по-разному, часто непоследовательно. Концепцию, согласно которой все форманты — отдельные слова, и точку зрения, относящую их к аффиксам, видимо, следует считать в равной мере возможными основаниями для непротиворечивого описания. Выбор между ними нередко бывает обусловлен такими случайными факторами, как ориентация исследователя на строй родного для него языка. Так, например, американские и английские японисты усматривают служебные слова в тех случаях, где многие русские и советские японисты находили аффиксы.

Возможность двух непротиворечивых описаний, по-разному выделяющих словоформы, наводит на мысль, что мы имеем дело не с двумя конкурирующими описаниями одного и того же языкового факта, а с описаниями, выделяющими разные единицы языка. У нас нет оснований считать, что различие между аффиксами и формантами более важно, чем различие между формантами и служебными словами (или наоборот). Поэтому мы выделяем две различные единицы: словоформу 1 и словоформу 2. В состав словоформы 1 входят основы и флексии, форманты и служебные слова — отдельные словоформы 1; словоформа 2 включает основы, флексии и форманты, а служебные слова — это отдельные словоформы 2⁸. Словоформы 2 не могут быть короче, чем словоформы 1. Эти две единицы соотносятся, с одной стороны, с основами, с другой — с синтаксемами (синтаксическими словами), которые охватывают все граммемы, включая и служебные слова, следующим образом:

основа < словоформа 1 < словоформа 2 < синтаксема

Точка зрения, предлагаемая здесь, восходит к некоторым идеям, высказанным ранее; например, Ч. Ф. Хоккетт говорил о том, что могут быть выделены не два класса единиц — аффиксы и служебные слова, а большее число классов [Хоккетт 1970: 69].

Введенные нами выше понятия дают возможность предложить некоторую морфологическую классификацию языков. В одних языках есть все три класса граммем, в некоторых — лишь единицы какого-либо одного или каких-либо двух

⁸ Подробнее об этих единицах см. нашу работу [Алпатов 1979: гл. I].

классов. В соответствии с этим можно выделить восемь языковых типов: языки, где есть все три класса граммем (тип I); языки, в которых наличествует по два класса — флексии и форманты (тип II), флексии и служебные слова (тип III), форманты и служебные слова (тип IV); языки, где наблюдается по одному классу — флексии (тип V), форманты (тип VI), служебные слова (тип VII), и языки, где нет граммем (тип VIII).

Сразу надо оговориться, что целесообразно исходить не из факта существования единиц того или иного класса в языке, а из того, насколько эти единицы типичны для данного языка. Например, в латинском и китайском языках, видимо, следует признать существование граммем всех трех классов. Однако ясно, что их роль в этих языках различна. Для латинского языка характерны флексии и служебные слова, для китайского — форманты и служебные слова, тогда как латинские форманты (*que* ‘и’) и китайские флексии (показатель *-эр*) для структуры данных языков явно не специфичны. Оперирование такими расплывчатыми понятиями, как «типичность» или «распространенность», может привести к известному субъективизму. Однако нам представляется, что задача разработки адекватной классификации языков оправдывает наличие такой опасности.

К типу I, т. е. к языкам, в которых имеются граммемы всех трех классов, относится, например, французский язык. В нем сохранились некоторые флексии (в основном в глаголе), предлоги и артикли — служебные слова; так называемые безударные (приглагольные) местоимения представляют собой форманты, также формантами являются показатели отрицания; характерно, что именно в отношении формантов этого языка идет многолетний спор: их считают то словами, то частями слов. Другой пример этого типа — венгерский язык. Он определяется как агглютинативный, поскольку основную роль в его структуре играют форманты, в то же время отмечается существование в этом языке флексий [Майтинская 1955: 96–97] (ср., например, спорный вопрос о том, выделяются ли в нем показатели притяжательности); также в венгерском языке есть и явные служебные слова — артикли [Там же: 278–287]. В языках типа I все четыре единицы — основа, словоформа 1, словоформа 2 и синтаксема — не совпадают.

Большинство индоевропейских языков Европы относится к типу III; эти языки могут быть названы флективными (хотя некоторые современные языки имеют в своем развитии тенденцию к переходу в тип I). Особенно ярко свойства типа III проявляются у древних языков, например латинского или древнегреческого, но в целом сюда можно отнести и языки типа английского. Яркая их особенность, неоднократно замечавшаяся, — это наличие флексий. Меньше внимания уделялось другой, также достаточно яркой их черте — распространенности служебных слов. Соотношение флексии и служебных слов во флективных языках различно (ср. латинский и английский), но всегда оба класса единиц преобладают по сравнению с формантами.

Русский язык тоже может рассматриваться как принадлежащий к типу III, но с оговорками, поскольку в нем, даже если отвлечься от деривации, существует

определенное количество формантов: показатель отрицания *не*, глагольный формант возвратности *-ся*, частицы *-то*, *-ка* и др. Во многом русский язык близок к языкам типа I, однако все же роль формантов в его структуре в целом менее значительна, чем роль граммем двух других классов.

В языках данного типа словоформа 1 и словоформа 2, как правило, совпадают. Поэтому традиция описания языков, вырабатывавшаяся на основе наблюдений над языками типа III, обычно не различает эти две единицы, и при этом почти не возникает трудностей. Отметим, что статус формантов русского языка в существующих описаниях остается не вполне ясным: именно в отношении формантов в основном и идут споры о слитном и раздельном написании [Обзор 1965: 358–379]; в некоторых случаях такого рода споры решаются в пользу написания с дефисом, которое, в сущности, говорит о компромиссном решении вопроса.

Типично агглютинативные языки (тюркские, монгольские и др.) относятся к типу VI: для них характерны форманты, но не флексии и не служебные слова. Здесь может показаться необычным тезис о нехарактерности служебных слов, поскольку в описаниях данных языков обычно особо выделяются послелого, частицы и пр. Дело в том, что эти единицы по позиционным возможностям отличаются от служебных слов европейских языков: они не могут быть отделены от основы, к которой относятся, никакими лексическими единицами, что объясняется правилами порядка слов в агглютинативных языках Азии — все граммемы постпозитивны, а зависимые члены предложения стоят перед главными. Служебными словами в таких языках называются те граммемы, которые располагаются после граммем, называемых аффиксами; границу же между аффиксами и служебными словами проводят по признакам, не связанным с морфологической структурой: на основе этимологии, перевода на европейские языки или фонетических характеристик (правила сингармонизма и пр.). Фактически и аффиксы, и послелого этих языков одинаково относятся к классу формантов. В языках типа VI словоформа 1, как правило, совпадает с основой, а словоформа 2 — с синтаксемой.

К языкам типа II (языки этого типа могут быть названы агглютинативно-флективными) относится, например, японский язык. В нем большинство глагольных и адъективных граммем явно представляют собой флексии: наблюдается большая вариативность, морфемные швы неясны, что приводит к значительной неоднозначности в их выделении [Вардуль 1961], в то же время отнесение этих граммем к аффиксам не вызывает споров в европейской японистике. Все же именные граммемы и некоторые глагольные (союзы и так называемые модально-экспрессивные частицы) причисляются к формантам. Служебные слова в японском языке невозможны ввиду тех же правил порядка слов, которые свойственны тюркским, монгольским и другим языкам.

К тому же типу, видимо, относится еще ряд языков, характеризуемых как агглютинативные с элементами флексии: многие уральские (мордовский [Основы 1975–1976, т. 1: 287–288], удмуртский [Основы 1975–1976, т. 2: 144], ненецкий [Прокофьев 1937: 10] и др.), дагестанские и картвельские [Бокарев, Климов 1967: 10],

кетский [Кетский 1968] и др. В этих языках, как и в японском, словоформа 2 обычно совпадает с синтаксемой, но словоформа 1 отлична от словоформы 2 и от основы.

Последний тип, реально существующие представители которого нам известны, — тип IV. В языках этого типа есть форманты и служебные слова, но нет или почти нет флексий. Например, в бирманском языке глагольные граммемы являются формантами, а граммемы, примыкающие к именным основам (последлоги и показатели числа), — служебными словами, поскольку могут отделяться от именной основы постпозитивными определениями [Янсон 1968: 5, 8]. В китайском языке существуют предлоги, отделяемые определениями; отделим от основы, видимо, и показатель *лай* в значении недавнего прошлого [Драгунов 1952: 131]; другие граммемы, как правило, относятся к формантам. В таких языках словоформа совпадает с основой, а словоформа 2 отлична от словоформы 1 и от синтаксемы.

Языки типов V, VII и VIII нами не зафиксированы. Языки последнего типа, где вообще нет сегментных способов выражения грамматических значений, по-видимому, невозможны [Успенский 1965: 116]; хотя так называемым изолирующим языкам часто приписывают такое свойство, работы специалистов по этим языкам не подтверждают этого мнения. Что касается двух других типов (т. е. V и VII), то пока трудно сказать, существуют языки, их представляющие, или нет.

Таким образом, мы получаем классификацию, во многом совпадающую с традиционной, но кое в чем и отличную от нее.

В заключение следует сказать о том, какое место в нашей классификации занимают изолирующие языки. Они оказываются включенными в тип IV (см. выше), однако вопрос о том, действительно ли данный тип языков совпадает с традиционно выделяемым классом изолирующих языков, нуждается в дополнительной проверке. Во всяком случае, рассматриваемый языковой тип выделяется по основаниям, не лежащим в одном ряду с характеристиками флективных и агглютинативных языков. Здесь в первую очередь внимание обращается на соотношение сегментных способов выражения грамматических значений и способа несегментного — порядка элементов. При этом обычно противопоставляются выражение грамматических значений с помощью порядка и служебных слов, с одной стороны, и флексий — с другой; форманты же сближаются либо с порядком и служебными словами, либо с флексиями в зависимости от того, как тот или иной исследователь проводит границы словоформ. Однако, по-видимому, противопоставление сегментных и несегментных способов выражения грамматических значений более значительно, чем противопоставление различных способов сегментного выражения грамматических значений. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно отнести к изолирующим языкам те, в которых для достаточно большого количества видов синтаксических связей отсутствуют сегментные способы выражения грамматических значений (конечно, сначала необходимо уточнить, какое количество видов связей можно считать достаточно большим). Надо сказать, что изолирующими языками можно считать как языки,

традиционно так называемые, так и аналитические языки типа английского и французского⁹. Однако аналитические и изолирующие языки помимо сходств имеют и различия, а именно различия в характере сегментных способов выражения грамматических значений. Такие различия и отражены в произведенной нами морфологической классификации.

Автор благодарит С. Е. Яхонтова за критические замечания по первому варианту этой статьи.

⁹ Фактически часто аналитические и изолирующие языки определяются одинаково [Яхонтов 1965б: 12].

О РАЗНЫХ ПОДХОДАХ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Вопрос о природе и сущности частей речи принадлежит к числу «вечных» вопросов языкознания. Стало уже общим местом утверждение о том, что существует много точек зрения, ни одна из которых не является общепринятой, и что данная проблема далека от разрешения. С другой стороны, столь же широко известно, что при описании любого конкретного языка неизбежно приходится решать вопрос о том, как выделять в этом языке части речи. Попытки отказаться от этого понятия в ряде современных исследований фактически сводятся лишь к замене термина на какой-либо другой («дистрибуционные классы слов» и т. д.), а проблема все равно остается¹. Поэтому вопрос о критериях разграничения частей речи при всей своей запутанности не может потерять актуальности. Как нам кажется, для разработки таких критериев имеет смысл еще раз разобрать существующие точки зрения на части речи, выявить различия между ними и попытаться объяснить причины, их вызывающие. При этом мы ни в какой степени не претендуем ни на исчерпывающий охват материала, ни на окончательность выводов.

Вся проблематика, связанная с частями речи, не может быть рассмотрена в небольшой по объему статье. Мы оставляем в стороне проблемы, связанные с различиями в понимании слова и его границ, которые могут влиять на выделение частей речи, что для некоторых языков существенно. Такое влияние особенно велико для служебных слов (ср. споры типа «послелог или аффикс?», «частица или аффикс?», актуальные для почти любого нефлективного языка). Поэтому мы не будем рассматривать и вопрос о классификации служебных элементов, а также касаться споров по вопросу о проведении границы между знаменательными и служебными словами. Далее речь пойдет лишь о знаменательных частях речи; под знаменательными словами будут пониматься единицы, имеющие синтаксическую самостоятельность; такой подход в последние десятилетия достаточно стабилен, исключая лишь оценку междометий, которые, несмотря на синтаксическую самостоятельность, обычно отделяют от знаменательных слов.

¹ Отказ от употребления термина «часть речи» следует ограничивать от идей об отсутствии частей речи в некотором языке (см. ниже). В последнем случае мы имеем «нулевую» классификацию по частям речи.

При рассмотрении существующих точек зрения нельзя исходить лишь из определений частей речи, содержащихся в тех или иных работах. Как правильно указывала Н. Д. Арутюнова, «одной из характерных черт традиционной грамматики является отсутствие соотносительности между применяемыми принципами классификации и определениями полученных классов или категорий... Традиционная грамматика, верно отражая языковое чутье носителей языка, часто давала ему одностороннее (семантическое) истолкование. Но из этого не вытекает, что сами принципы систематизации материала были также односторонне семантическими» [Основные 1964: 270]; ср. также [Лайонз 1978: 159]. Во многих случаях принципы выделения частей речи (не всегда осознаваемые исследователем) видны прежде всего из конкретной классификации.

Можно наметить, на наш взгляд, несколько основных подходов к выделению частей речи, которые, конечно, далеко не всегда содержатся в «чистом» виде в работах лингвистов.

1. Семантический подход. Этот подход в большей степени проявляется в определениях частей речи, чем в реальном членении лексики (по крайней мере, в отношении европейских языков). Еще от античности идут представления о том, что имена обозначают предметы, глаголы обозначают действия, позднее стали говорить о том, что прилагательные обозначают качества (признаки). Иногда и в наши дни можно встретить формулировки, в соответствии с которыми значение предметности, процесса и пр. «представляет собой обобщение лексических значений слов всей части речи» [Тихонов 1965: 29].

Однако такая точка зрения неоднократно подвергалась обоснованной критике. Несовпадение привычных для нас частей речи и семантических классов лексики особенно очевидно в отношении существительных, которые по лексическому значению могут не отличаться от слов других частей речи. Еще в 1838 г. К. С. Аксаков писал: «Один и тот же корень, одно и то же содержание *слав* может явиться или именем через форму *слав-а*, или глаголом через форму *слав-ить*»; цит. по [Хрестоматия 1973: 171]. Позднее на это указывали очень многие ученые, см., например, [Потебня 1958: 90, 93; Пауль 1960: 415, 425, 426; Есперсен 1958: 153; Щерба 1957: 76; Суник 1966: 30]. Достаточно очевидно, что лексическое значение существительных с процессным или качественным значением в европейских языках², по меньшей мере, ближе к значению глаголов и/или прилагательных, чем к значению непосредственно предметных существительных тех же языков. Из этого не следует, что существительные в обычном понимании должны выделяться без всякой связи с семантикой, но эта связь сложнее (см. ниже).

² Наличие в языке таких существительных — далеко не универсалия; ср. указание Г. А. Климова на то, что в языках активного строя они, видимо, отсутствуют [Климов 1977: 111], а также их отсутствие в айском языке, где есть определенные черты активного строя (см. статью «К типологической характеристике айского языка» в настоящем сборнике). В таких языках классификация по частям речи ближе к семантической (ср. также отсутствие в них прилагательных), но вряд ли с ней совпадает полностью.

Отсутствие прямой корреляции между частями речи и типами лексических значений отмечалось и в ряде других случаев. Отмечалась семантическая разнородность качественных и относительных прилагательных и отсутствие собственно качественного значения у последних [Щерба 1957: 71]; ср. также [Якубинский 1951: 59–60]. Весьма трудно и семантическое определение наречия; характерно, что в книге В. В. Виноградова наречие — единственная часть речи, в определении которой не говорится о семантике [Виноградов 1972: 273]. Наконец, различие состояний и качеств далеко не очевидно, что показывает сопоставление разных языков³; видимо, справедливо высказывание Дж. Лайонза: «Различие между “качеством” и “состоянием” (если оно вообще не иллюзорно) менее разительно, чем различие между “действием” и “состоянием”» [Лайонз 1978: 343]. Ср., впрочем, иную точку зрения в [Семантические 1982].

Реально в описаниях европейских языков отнесение к той или иной части речи только на основе лексического значения производится лишь в периферийных случаях, ср. для русского языка отнесение в ряде работ слов типа *первый* к числительным или слов типа *такой* к местоимениям. Шире применяется этот принцип при описании языков иного строя, когда при отсутствии каких-либо иных критериев привычные части речи, например прилагательные, выделяют «по семантике», а фактически по переводу на эталонный язык. Ср., например, историю выделения «прилагательных» в активных языках Америки [Климов 1977: 103–105]. Иногда данный принцип принимается даже там, где он вступает в противоречие с другими, ср. высказывание о том, что в лезгинском языке «относительные прилагательные — это, как правило, имена существительные в форме родительного падежа» [Мейланова 1966: 533]. На современном уровне развития науки вряд ли нужно доказывать, насколько такой подход искажает реальные свойства языков.

Все сказанное не означает ни невозможности чисто семантической классификации лексики, ни отсутствия корреляции между частями речи и семантикой. Как раз в последние два десятилетия изучение лексической семантики развивается очень интенсивно, в том числе в нашей стране (работы Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гака, Е. В. Падучевой, В. С. Храковского и др.). Эти исследования четко показывают, что семантические классы, иногда называемые «глубинными частями речи» (см., например, [Кибрик и др. 1977: 19–20]), — не то же самое, что части речи в обычном смысле. О корреляции между частями речи и семантикой мы будем говорить ниже, в связи с синтаксическим подходом.

2. Морфологический подход. Этот подход также ведет свое начало от античности: ср. классификацию Марка Теренция Варрона (I в. до н. э.), выделявшего

³ Например, в японском языке, где есть прилагательные, имеются такие несомненные глаголы, как *toti* ‘быть богатым’, *niru* ‘быть похожим’, *hazumi* ‘быть упругим; быть увлеченным, оживленным’. Вряд ли можно считать, что в русском языке различие частей речи в подобных случаях прямо коррелирует с семантикой, а в японском нет (или наоборот).

слова, имеющие падежные формы, но не имеющие временных (имена), слова, имеющие временные формы, но не имеющие падежных (глаголы), слова, имеющие те и другие формы (причастия), и слова, не имеющие ни тех, ни других форм (наречия). Конкретные определения частей речи могут различаться, однако при морфологическом подходе части речи всегда выделяются в зависимости от особенностей словоизменения в широком смысле (грамматической аффиксации и внутренней флексии); к морфологическим критериям выделения частей речи могут быть отнесены и словообразовательные, чаще выступающие как дополнительные. К морфологическому подходу в широком смысле могут быть отнесены и классификации частей речи в зависимости от сочетаемости со служебными словами (для европейских языков этот критерий также обычно дополнителен, но он может выступать на первый план при описании языков иного строя).

Для многих языков мира, прежде всего флективно-синтетических, такой подход имеет явные преимущества. Морфологические особенности тех или иных классов слов в этих языках обычно достаточно очевидны. В сущности, традиционная классификация по частям речи (особенно в своем раннем, александрийском варианте) в основном является (независимо от определений) классификацией морфологической. Все знаменательные части речи, выделенные античными учеными, имеют в древнегреческом и латинском языках те или иные морфологические особенности⁴. Показательно, что античные ученые не дифференцировали существительное и прилагательное, объединяя их в единую часть речи — имя⁵. В классических языках существительное и прилагательное, различаясь синтаксически, мало дифференцированы морфологически (имеющиеся различия, в частности степени сравнения у прилагательных, периферийны). Существительные и прилагательные были выделены в особые части речи лишь в новое время в связи с отходом от латинского эталона при описании современных европейских языков⁶. В то же время причастия, имеющие в классических языках более заметные морфологические особенности, были выделены в особую часть речи (эта традиция удерживалась до XIX в., но потом потеряла силу). Наконец, и местоимения в классических языках — прежде всего слова с аномальным склонением. Позднее традиционные системы частей речи стали менее последовательно морфологическими, отчасти из-за переноса традиционной схемы на новые европейские языки (ср. сохранение

⁴ Исключая междометие (если относить его к знаменательным частям речи), неизменяемостью не отличающееся от наречия. Однако междометия имеют яркие особенности в других отношениях вплоть до звукового облика. Показательно все же, что междометие было выделено позже других античных частей речи.

⁵ Реликтом такого подхода осталась традиционная трактовка местоимений, куда с античных времен принято относить местоименные существительные и прилагательные, но не местоименные наречия.

⁶ В России ученые XVIII в., в том числе М. В. Ломоносов, еще выделяли восемь античных частей речи. Традиция разграничивать существительные и прилагательные в отечественной науке идет от А. Х. Востокова, см. [Поспелов 1954].

класса местоимений в традиционном объеме для языков, где не все местоимения имеют морфологические особенности), отчасти в связи с трактовкой явлений, отсутствовавших в классических языках или не имевших значения для античных грамматистов (ср. трактовку в русистике слов типа *пальто* как существительных или отнесение к существительным субстантивированных прилагательных⁷).

В пользу морфологического подхода к выделению частей речи можно привести еще два аргумента. В науке XX в. возросло требование к строгости и максимальной формализованности лингвистических описаний; из всех существовавших концепций частей речи наиболее отвечающей этому требованию оказалась последовательно морфологическая, разрабатывавшаяся в отечественной науке в трудах Ф. Ф. Фортунатова и его школы (Д. Н. Ушаков, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов и др.), см. об этом [Апресян 1966]; именно такое понимание части речи было принято в работах по прикладной лингвистике. Не менее важно то, что именно морфологический подход к разграничению базовых единиц языка (при возможных различиях в понимании последних) преобладает не только в европейской, но и в других лингвистических традициях (если только там вообще ставится проблема такого разграничения). Показательна, в частности, японская традиция, где выделялись лишь морфологические классы знаменательных единиц языка (этим классам, как и в европейской традиции, давались либо морфологические, либо семантические определения); иные способы классификации появились лишь после знакомства с европейским языкознанием⁸.

Однако морфологический подход к частям речи имеет и свои недостатки. Во-первых, даже для европейских языков его последовательное применение может давать интуитивно неприемлемые результаты. Например, для русского языка при узкоморфологическом подходе в одну часть речи попадут наречия, категории состояния, междометия и неизменяемые существительные⁹ (последние, впрочем, будут отграничены, если учитывать и сочетаемость со служебными словами). Вообще недостаточность морфологических классификаций, по-видимому, наиболее очевидна там, где речь идет о неизменяемых словах; их членение возможно только при дополнении морфологических критериев какими-то другими.

⁷ По мнению Н. Д. Арутюновой [Основные 1964: 269], исходящей из анализа данных примеров, традиционная система частей речи основана, прежде всего, на синтаксических свойствах слов. Однако, во-первых, такие примеры трудно найти для античного периода, во-вторых, здесь помимо синтаксических свойств, видимо, учитывались и семантические. К тому же в ряде случаев и русской традиции свойствен морфологизм, ср. обычную трактовку так называемой категории состояния как прилагательных или наречий; синтаксический подход требовал бы их отнесения к глаголам. Такая точка зрения также существовала (А. Х. Востоков, М. Н. Катков, Н. П. Некрасов), но не получила развития.

⁸ Об истории учения о частях речи в Японии см. [Фомин 1959].

⁹ Подобного типа класс при последовательно морфологическом подходе получил Г. О. Винокур [Винокур 1959: 414]; ср. его вывод о том, что классификация русских слов по форме — не то же, что выделение частей речи [Там же: 415].

Еще более существенная трудность связана с неуниверсальностью морфологических классов. Идея об универсальности (хотя бы частичной) грамматических категорий тех или иных частей речи, идущая от универсальных грамматик, не подтверждается фактами (хотя и в современных работах можно еще встретить утверждения о том, что в любом языке глагол выражает значение времени и пр.); отсутствие таких категорий для глагола было в свое время детально показано И. И. Мещаниновым в книге [Мещанинов 1948]. Тем самым различные морфологические классы разных языков могут оказаться несопоставимыми. Сопоставление может производиться лишь по другим критериям (синтаксическим, семантическим).

Особую трудность представляет морфологический критерий (особенно в варианте, учитывающем только словоизменение) для так называемых изолирующих языков, где морфологические классы отсутствуют или мало дифференцированы. Последовательное применение подхода, свойственного фортунатовской школе, к китайскому языку привело китайского ученого Гао Минкя к идее об отсутствии в этом языке частей речи [Гао 1955]. Ученые, признающие наличие в китайском языке определенной морфологии тем не менее указывают, что выделение в нем частей речи строго морфологически дает неприемлемый результат, поскольку, например, в класс неизменяемых слов попадут неодушевленные существительные и наречия (см. [Яхонтов 1965б: 24])¹⁰.

3. Синтаксический подход. Неоднократно в качестве критериев для разграничения частей речи предлагались и синтаксические, связанные с функцией слова в предложении¹¹ (самостоятельно или в сочетании с другими). В отличие от семантических и морфологических, эти критерии (по крайней мере, в явном виде) стали использоваться не ранее XIX в. (см. примеч. 7).

Крайний случай синтаксического подхода — отождествление частей речи и членов предложения. В европейской науке такая точка зрения иногда встречалась в теории, см. [Добиаш 1882], но, по-видимому, до конца не осуществилась на практике: при традиционном разграничении подлежащего и дополнения никто, кажется, не вводил соответствующего деления для частей речи, ср. также тот факт, что слова типа *отца* в сочетании *дом отца* не принято рассматривать как прилагательные. Примечательно, однако, что именно так подходили к частям речи в своих языках авторы ранних европеизированных грамматик в Китае (Ма Цзяньчжун — 1898 г.) и Японии (Танака Ёсикадо — 1874 г.). Обычно прямое

¹⁰ Впрочем, японская традиция до знакомства с европейской наукой и не различала существительные и наречия ввиду их неизменяемости при традиционном японском подходе к слову.

¹¹ Мы отвлекаемся от того, что функцию в предложении, строго говоря, выполняет не слово в обычном понимании, а синтаксема (знаменательное слово либо знаменательное слово со служебными); для выделения знаменательных частей речи от этого различия можно отвлечься.

отождествление части речи и члена предложения производится там, где меньше всего помогает морфология: довольно часто отождествляются наречия и обстоятельства. Однако чаще при синтаксическом подходе классы выделяются так, чтобы не вступить в противоречие с тем, что А. И. Смирницкий называл «тождеством слова». С этой точки зрения слово может выступать в качестве разных членов предложения, но из различных синтаксических функций некоторые признаются существенными и определяющими: те слова, для которых существенна функция сказуемого, называются глаголами, функция подлежащего и дополнения — существительными, функция определения — прилагательными, функция обстоятельства — наречиями. Для русского языка такую точку зрения (несколько затемненную семантической терминологией) выдвигал А. А. Шахматов [Шахматов 1952: 29, 33, 36], для китайского (более строго) — А. А. Драгунов и Е. Н. Драгунова [Драгуновы 1937].

Такой подход имеет немало преимуществ. Прежде всего, он более универсален, чем морфологический; указанные выше классы слов могут быть выделены по достаточно единым основаниям для многих (и даже для всех) языков. Недаром такая точка зрения после работы А. А. и Е. Н. Драгуновых получила признание в исследованиях советских специалистов по изолирующим языкам. Если морфологические классы нередко несопоставимы, а их количество и состав непредсказуемы, то синтаксические классы в принципе сопоставимы и исчислимы, языки могут описываться в данном отношении единообразно¹².

Синтаксические классификации лексики важны и в том отношении, что они имеют определенную корреляцию с лексической семантикой и отличие от морфологических, связанных лишь с грамматической семантикой слова. Эта корреляция не является прямой (см. выше), она осуществляется через функции слова¹³ в предложении, структура которого отображает (не всегда взаимно однозначно) некоторую семантическую структуру. В предложении минимально обозначается некоторая ситуация (выражаемая сказуемым) и ее участники, выражаемые подлежащим и дополнениями; в языке могут быть (и, как правило, бывают) единицы, специализированные на обозначении главной ситуации (глаголы) и на обозначении участников (существительные). При этом участниками ситуаций являются конкретные предметы (лица), но также в ряде случаев и другие ситуации (ср. ситуацию,

¹² Различия в выделении синтаксических частей речи могут быть связаны, с одной стороны, с различиями трактовок, не имеющих прямого отношения к принципу выделения частей речи, прежде всего с разным пониманием «тождества слова» (русские причастия при синтаксическом подходе могут объединяться с глаголами или с прилагательными, но не выделяться в отдельную часть речи), с другой стороны, с выделением более дробных классов, например, для японского языка выделяются «непредикативные прилагательные» и «приименные», первые способны быть определениями и обстоятельствами, вторые — только определениями, или с объединением классов (не во всех языках есть прилагательные или наречия).

¹³ Точнее, соответствующей ему синтаксеме (см. примеч. 11).

описанную в предложении *Петя слышит шум*). Тем самым получает объяснение существование во многих языках предметных и непередметных существительных, различающихся по семантике, но объединяемых синтаксической функцией; между глаголами и непередметными существительными соотношение обратное¹⁴. В предложении может обозначаться более одной ситуации: помимо упомянутого случая, когда одна ситуация является участником другой, существуют и второстепенные ситуации, характеризующие более главную ситуацию или ее участника; способы их обозначения — соответственно обстоятельства и определения¹⁵; в ряде языков встречаются единицы, предназначенные для обозначения второстепенных ситуаций того или иного рода (наречия, прилагательные); эти функции могут, однако, обслуживаться и глаголами и/или именами, наречия и прилагательные как особые классы менее обязательны, чем имена (существительные) и глаголы¹⁶.

Такое понимание частей речи объясняет их соотношение с семантикой. Слова с предметным значением синтаксически обычно однотипны и образуют ядро класса имен (существительных), куда способны входить и слова с непередметным значением. Слова со стативным значением (в отличие от значения активных действий) чаще обозначают «второстепенные», «фоновые» ситуации, поэтому слова с таким значением во многих языках имеют тенденцию формировать классы прилагательных и наречий (что не означает того, что эти классы в языке строго ограничиваются по семантике от глаголов со стативным значением).

Синтаксический подход к выделению частей речи также может представлять трудности применительно к ряду языков. Бывают языки (с морфологической дифференциацией или без нее), где самые различные слова способны употребляться в любой или почти любой синтаксической функции¹⁷, ср. указания на трудности синтаксических классификаций (при применимости морфологических) в языках банту в [Охотина 1965: 48–49]. Выделение наиболее типичных функций для той или иной части речи далеко не всегда очевидно, а выделение частей речи на основании всех возможных синтаксических функций может приводить к выделению несопоставимых классов; мы, например, не сможем сопоставить существительные русского языка, способные быть сказуемым без связки, и существительные английского или японского языков, лишенные такого свойства. Видимо, не следует

¹⁴ Традиционные определения непередметных имен как «действий, мыслимых в отвлечении от субъекта» и пр. скорее отражают не особенности их семантики, а особенности их сочетаемости: модель управления глагола обычно требует обозначения участников ситуации, при именном обозначении той же ситуации такое обозначение не обязательно.

¹⁵ Другая функция определений в ряде языков — обозначение участников ситуаций, выражаемых именами.

¹⁶ Мы вынуждены излагать данную проблему крайне бегло, отвлекаясь от ряда существенных моментов.

¹⁷ Образование некоторого члена предложения с помощью особого грамматического показателя, не меняющего полностью свойства слова, типа связки или субстантиватора, нельзя отнести к типичным функциям слов.

упускать из виду и меньшую очевидность синтаксических классов, особенно там, где они не совпадают с морфологическими.

Таким образом, выделение синтаксических и морфологических классов слов — два подхода, не отрицающие, а скорее дополняющие друг друга. Встает вопрос о соотношении этих классов. По-видимому, во многих языках проявляется тенденция к морфологизации синтаксических классов, ср. распространенное понимание частей речи как морфологизованных членов предложения [Аванесов 1936: 54; Мещанинов 1945: 210]. Во многих случаях те же классы допускают выделение по разным основаниям: как в русском, так и в японском языке глагол, существительное, прилагательное могут быть выделены по морфологическим и синтаксическим основаниям. Однако классификации не всегда совпадают. С одной стороны, имеются чисто морфологические классы типа японских «предикативных прилагательных», синтаксически не отличающихся от глаголов; ср. также русские или латинские причастия. С другой стороны, нескольким синтаксическим классам может соответствовать один морфологический класс, что нередко бывает в случаях неизменяемых слов (см. выше).

4. Подход, основанный на интуиции. Большинство традиционных классификаций частей речи не является ни строго семантическими, ни строго морфологическими, ни строго синтаксическими. Неоднородность подходов может объясняться разными причинами: во-первых, эклектичностью концепций (что, конечно, иногда имеет место), во-вторых, необходимостью более детального описания, учитывающего все стороны. Однако эклектичность вряд ли устранима без получения нетрадиционных решений, а совмещение критериев требует выяснения их соотношения и уточнения границ их применимости, чего обычно не делается. Создается впечатление, что часто языковеды не классифицируют слова на основе тех или иных свойств, а, наоборот, ищут свойства, которыми обладают заранее известные классы.

Именно об этом говорится в известной статье Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке» (1928). Здесь подчеркивается большая важность понятия части речи, но в то же время указано, что «самое различие “частей речи” едва ли можно считать результатом “научной” классификации слов» [Щерба 1957: 83]. При этом отмечается, что, хотя лексику можно классифицировать различным образом, «в вопросе о “частях речи” исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [Там же: 64]. И далее: «Едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные» [Там же: 64].

Такой подход принципиально отличен от всех рассмотренных выше. Л. В. Щерба не отрицает ни семантические, ни морфологические, ни синтаксические критерии (и в той или иной степени учитывает каждые при рассмотрении частей речи русского языка). Однако для Л. В. Щербы все это — лишь опознавательные знаки для восприятия частей речи, которые существуют независимо от их

семантики и формальных свойств. Встает вопрос, как понимать формулировку «навязывается самой языковой системой»; ведь любые классификации, как правило, не произвольны: исследователь основывает классификацию на тех или иных различиях, существующих в языковой системе¹⁸. По-видимому, под «навязыванием» следует понимать влияние со стороны психолингвистического механизма: носители языка ощущают неоднородность тех единиц, которые хранятся в их памяти (т. е. слов), и опознают эти единицы как принадлежащие к тем или иным словесным группам. Этот вывод не формулируется Л. В. Щербой явно, однако он делался некоторыми учеными, ср. высказывание А. Е. Супруна: «Слова, являющиеся по соображениям лингвистов, подтверждаемым психологами и психофизиологами, теми языковыми единицами, которые хранятся в памяти, во многих (а может быть, и во всех) современных языках в той или иной мере специализированы в своих грамматических функциях. Естественно поэтому предположить, что одно из членений тотального множества слов языка на подмножества для облегчения и ускорения их поиска в памяти основывается на этой грамматической специализации слов» [Супрун 1965: 17]¹⁹.

При такой интерпретации идей Л. В. Щербы становятся ясными многие его формулировки. Действительно, если мы исходим из нашего психолингвистического представления (традиционно именуемого языковой интуицией), мы можем выделять классы слов, обладающие разнообразными свойствами, которые действительно играют лишь роль опознавателей слов в неясных случаях. В то же время при научной классификации мы должны либо исходить из единого критерия, либо, если мы пользуемся несколькими критериями, установить их иерархию. Психолингвистический механизм не всегда отлажен, поэтому возможны случаи, когда одно и то же слово может быть отнесено к нескольким классам, а какие-то слова остаться вне классов. Это и делает Л. В. Щерба, признавая для частей речи возможность того и другого [Щерба 1957: 66], тогда как при научной классификации пересечение классов и наличие остатка — явные пороки, которых стремятся избегать.

Признание психолингвистической основы традиционных классификаций объясняет и еще одно их свойство, которое Л. В. Щерба как раз не принимал. В психолингвистическом механизме языка базовой единицей является слово, причем слова неоднородны по своим свойствам, прежде всего качественно разнородны знаменательные и служебные слова. При исследовании языковой системы в первую очередь бросается в глаза эта разнородность, отсюда вполне обоснованные идеи, согласно которым классификации знаменательных и служебных слов несоотносимы, выдвигавшиеся, в частности, и Л. В. Щербой (см. [Там же: 58–59]). Однако

¹⁸ Если только он не описывает язык в категориях другого языка (родного или наиболее престижного).

¹⁹ Любопытно, что выделение самой нетрадиционной из частей речи Л. В. Щербы, категории состояния, тоже имеет психолингвистические основания (см. [Спивак 1980: 145–146]).

с психолингвистической точки зрения вполне закономерно членить на классы слова языка в целом, что и делала традиция начиная от античности.

Такой подход к выделению частей речи может быть сопоставлен со словоцентрическим подходом к выделению единиц языка, когда языковой анализ начинается с изучения слов, понимаемых как заранее известные и очевидные единицы; см. об этом нашу статью «О двух подходах к выделению единиц языка» в настоящем сборнике. Европейская традиция (и не только она) в основе была словоцентрической, основанной на интуитивном (в конечном итоге, психолингвистическом) представлении о слове. Точно так же и в отношении частей речи эта традиция исходила из психолингвистических представлений о классах слов. Традиционный подход к частям речи неразрывно связан со словоцентризмом. Попытки рассматривать части речи не как заранее заданные классы слов, а как классы, получаемые на основе применения некоторых критериев, могут быть сопоставлены с аналогичным (не словоцентрическим) подходом к слову; подобный подход как к слову, так и к частям речи начал осуществляться (не всегда у одних и тех же ученых) примерно в одно и то же время, на грани XIX и XX вв.²⁰

Подобное понимание частей речи лишь в большей степени (далеко не полностью) эксплицировано в статье Л. В. Щербы²¹, в неявном виде оно встречается очень широко. Только при таком понимании возможна отменявшаяся выше особенность большинства традиционных грамматик, когда определения полученных классов не соответствуют их реальным свойствам. В пользу данного подхода, как и в пользу словоцентризма, говорит его психологическая адекватность, этот фактор всегда желательно учитывать в лингвистических исследованиях (выделение же частей речи последовательно на основе морфологических, синтаксических и особенно семантических критериев, как мы уже говорили выше, обычно приводит к нарушению такой адекватности).

Интуитивные представления о неоднородности базовых единиц языка в той или иной степени отражаются в любой лингвистической традиции, фактически представление о частях речи можно видеть в европейской, индийской, арабской, японской традициях (где независимо друг от друга были разграничены имя и глагол), в меньшей степени в китайской, где до знакомства с европейской наукой разграничивались лишь «полные слова» и «пустые слова». Однако сопоставление традиций показывает, что интуитивные представления о частях речи (как и о слове) могут в той или иной степени не совпадать. Несовпадения могут быть связаны с

²⁰ Ср., впрочем, последовательно морфологический подход у Варрона, но и он, вероятно, был связан с обоснованием интуиции автора.

²¹ К сожалению, глубокие идеи Л. В. Щербы не были должным образом оценены в науке его времени. Его статья была воспринята в первую очередь как полемическая против морфологизма фортуатовской школы. В то же время довольно многие языковеды использовали некоторые формулировки Л. В. Щербы для подтверждения тезиса (никогда самим Л. В. Щербой не выдвигавшегося) о существовании во всех языках одних и тех же традиционных частей речи независимо от их выделенности, см., например, [Суник 1966: 53].

большей или меньшей разработанностью описаний, но могут быть и более принципиальными. Например, японская наука без большого труда переняла у европейской понятие наречия (выделение наречий в особый класс принципиально не меняло традиционную систему и лишь детализировало ее), но решительно отказалась от европейской классификации служебных слов, расхившейся с японскими представлениями.

Таким образом, основанные на интуиции описания частей речи могут оказаться несопоставимыми, к тому же они охватывают не всю лексику языка (см. выше) и не поддаются формализации. Наконец, такие описания существуют далеко не для всех языков, а лишь для языков народов, у которых существует развитое и освобожденное от чужезычного эталона языкознание²².

Мы до сих пор оставляли в стороне одну из распространенных точек зрения, в соответствии с которой каждая часть речи обладает особым значением, не обобщенным лексическим и не грамматическим, а так называемым лексико-грамматическим. Наиболее детально этот подход разработан, пожалуй, в книге О. П. Суника (см. [Суник 1966: 26, 30, 31 и сл.]).

Подобная точка зрения может иметь разную значимость. В одних случаях указание на лексико-грамматические значения — семантическое дополнение к определениям классов слов, выделенных по морфологическим и/или синтаксическим признакам. В таком случае «мы имеем дело с семантически немотивированным удвоением грамматической номенклатуры, то есть выделением квазисемантических ярлыков, полностью дублирующих грамматические понятия» [Семантические 1982: 8]. Иное содержание приобретает эта точка зрения у Л. В. Шербы, который, осознавая относительность морфологических, синтаксических и семантических (в смысле лексического значения) примет частей речи, стремится в то же время найти для каждой части речи некоторый собственный признак. Однако такой подход имеет только психолингвистическую значимость, указывая на то, как носители языка осознают свойства выделяемых ими классов (действительно, понимание существительных как слов с предметным значением и т. д. стойко сохраняется в лингвистической традиции и интуитивно, по-видимому, кажется очевидным, хотя строго лингвистическими методами оно не подтверждается); в таких случаях, видимо, решающую роль играет лексическая семантика ядерной части данного класса слов. Нам представляется правильным утверждение А. А. Леонтьева: «Не грамматические категории “сопутствуют” значению части речи, а значение части речи возникает на основе этих категорий и “сопутствует” им. Это происходит, по-видимому, в результате бессознательного семантического обобщения слов, уже отнесенных к определенному классу по грамматическим признакам... Обобщенные семантические представления

²² Еще один способ выявления психолингвистических представлений — изучение афазий, но и оно связано со многими трудностями.

являются лингвистической фикцией — эквивалентом грамматических классов в языковом сознании носителей языка» [Леонтьев 1965: 34].

Подводя итоги, скажем следующее. Лексика языка может классифицироваться по разным основаниям: семантическим, морфологическим, синтаксическим; семантическая и синтаксическая классификации достаточно универсальны, языки различаются главным образом большей или меньшей дробностью получаемых классов; морфологические свойства единиц того или иного языка более разнообразны, разные классы разных языков могут быть прямо не сопоставимы друг с другом (но могут быть сопоставимы через синтаксические классы, которым они соответствуют). Наряду с классификациями лингвистическими, основанными на тех или иных свойствах единиц языка, могут быть классификации психолингвистические, основанные (полностью или частично) на том, как членят лексику языка его носители; традиционные классификации частей речи обычно по своей сути относятся именно сюда. При этом психолингвистические классы могут быть разнородными, хотя в языках с развитой морфологией чаще всего значимыми оказываются морфологические признаки (что и отражено в традиционных классификациях, хотя там часто морфологические классы трактуются семантически). Может быть, только за такими классами и имеет смысл закрепить традиционный термин «части речи». Как мы уже отмечали в статье «О двух подходах к выделению основных единиц языка» (см. в настоящем сборнике), описание языков в сопоставимых терминах и психологически адекватное описание языков в равной степени важные лингвистические задачи, однако они не всегда могут быть решены одновременно (ср. также аналогичную точку зрения в [Нгуен 1985]). Это относится и к классификации лексики. Классификация лексики по тем или иным лингвистическим признакам и выделение психологически адекватных частей речи — не противоречащие друг другу, а дополняющие друг друга процедуры.

ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМ И СИСТЕМОЦЕНТРИЧНОМ ПОДХОДАХ К ЯЗЫКУ

Более 10 лет назад мы в статье «О двух подходах к выделению основных единиц языка» (см. в настоящем сборнике) писали о различии словоцентрического и несловоцентрического подходов к языку. Как отмечалось в этой работе, в лингвистике могут быть выделены два подхода к описанию грамматических единиц. Первый из них, исторически более ранний и более традиционный, базируется на том, что главной и исходной единицей такого описания является слово; другой подход рассматривает слово в ряду других языковых единиц, предпочитает последовательно анализировать ярусы языковой системы, а не начинать анализ с исследования слов и нередко вместо единого слова рассматривает несколько единиц с разными свойствами. В статье подчеркивалось, что несловоцентрические подходы связаны с применением собственно лингвистических критериев, а словоцентрический подход служит целям построения психологически адекватных моделей языка: по-видимому, нормой хранения языковых единиц в человеческом мозгу является именно слово.

Однако, как нам сейчас представляется, сами словоцентризм и несловоцентризм — лишь частный случай более фундаментального различия двух подходов исследователя языка к своему объекту и в какой-то степени различия самих объектов. Эти два подхода мы первоначально предлагали называть «интуитивным» и «исследовательским» [Alpatov 1987], но более удачными нам представляются термины «антропоцентричный» и «системоцентричный» подходы, как это было недавно предложено в статье Е. В. Рахилиной [Рахилина 1989], чья точка зрения представляется близкой к излагаемой здесь.

Данные подходы в той или иной степени проявляются в самых различных лингвистических концепциях. Мы ограничим наше рассмотрение лишь концепциями, связанными с синхронным анализом языка, отвлекаясь как от диахронных, так и от синтетических (порождающих) исследований.

Антропоцентричный подход исторически первичен и представлен в различных национальных лингвистических традициях: европейской, индийской, арабской, китайской, японской. Идеи европейской традиции продолжали служить базой для синхронных описаний языка вплоть до начала XX в. Позднее этот подход потерял всеобщность, но продолжал сохраняться, безусловно господствуя в практической сфере (учебная литература, практическая лексикография), а в последнее

время в какой-то мере расширил свои позиции, особенно в семантических исследованиях (см. [Рахилина 1989: 51]).

Все традиции формировались на основе наблюдений над каким-то одним языком. Это не всегда был родной язык авторов описаний, на ранних этапах развития традиций это обычно был язык культуры соответствующего ареала: классическая латынь, классический арабский, санскрит, вэньянь в Китае, бунго в Японии. Однако всегда этот язык был хорошо известен и практически нужен исследователю, выступавшему и в качестве его носителя, пусть даже он пользовался этим языком лишь на письме. Задача исследователя в таком случае — осмысление и описание своих представлений носителя языка, часто именуемых лингвистической интуицией. Именно эти представления — исходный пункт анализа, тогда как тексты любого рода играли лишь подчиненную роль, используясь как источник подтверждающих примеров (прежде всего подтверждающих соответствие авторской интуиции языковым нормам¹).

В таком случае перед исследователем не стоит задача открытия языковой системы, он изначально ею владеет. Например, лингвист — носитель русского языка еще до начала своего исследования знает, что в предложении *Учитель несет большой портфель* четыре слова, а не три или пять, что слова *учитель* и *портфель* относятся к одному и тому же классу слов, несмотря на явные различия в значении, а слова *учитель*, *несет* и *большой* — к трем разным классам, что *ключ* от замка и *ключ* 'родник' — разные слова, а *дом* как здание и *дом* как место жительства семьи — одно слово, хотя и в разных значениях, и т. д.² Процедуры членения текста на слова, распределения слов по частям речи, разграничения омонимии и полисемии и т. д. в общем виде при антропоцентричном подходе не нужны, недаром их не было в лингвистике до появления структурализма. Они появлялись лишь в сравнительно периферийных спорных случаях, когда вставал, например, вопрос о том, в каких случаях считать отдельным словом отрицание *не*, к какой части речи отнести слово *надо* или считать ли омонимами птицу *журавля* и колодезный *журавль*. В таких случаях сама лингвистическая интуиция явно не дает четкого ответа, поэтому и лингвисты здесь могут придумывать разные критерии, дающие разный результат. А. И. Смирницкий, рассматривая вопрос о членении текста на слова, предлагал на первом этапе считать словами последовательности, словесный характер которых очевиден, и лишь после этого применять к неясным случаям критерий остаточной выделяемости [Смирницкий 1952: 188–197].

¹ Мы несколько идеализируем исследовательскую процедуру. Реально на нее, конечно, помимо собственных представлений исследователя влияет уже существующая традиция.

² Конечно, реальный исследователь пользуется в таких случаях не только интуицией, но и знанием лингвистической традиции, полученным в школе и вузе, причем именно это знание как более эксплицированное может казаться основным. Но психолингвистические опыты показывают, что представления о слове, частях речи и пр. есть и у неграмотных.

В центре внимания исследователя при антропоцентричном подходе находится другая проблема: какие свойства имеют те или иные единицы языка. Уже зная, что в слове *чашка* пять звуков, причем второй и пятый одинаковы, а все остальные разные, исследователь начинает выяснять, по каким признакам *а*, *к*, *ч*, *ш* и т. д. отличаются друг от друга, поэтому еще в античности научились делить звуки на гласные и согласные, позднее появились понятия гласного верхнего подъема, взрывного согласного и т. д. Умея пользоваться некоторым словом, составитель словаря выясняет основные характеристики его значения, отличия от близких по смыслу, но не тождественных слов. Аналогичным образом описывались свойства частей речи, отношения между значениями многозначного слова и т. д.

Такого рода описания кажутся вполне естественными, и их практическая полезность несомненна. В то же время не раз отмечалось, что многое в них не соответствует установившимся к началу XX в. критериям научности. Например, в большом количестве традиционных исследований дается определение слова, однако лингвисты, особенно исходящие из системоцентричного подхода, легко убеждаются, что их нельзя назвать определениями в строгом смысле слова, поскольку «в них не указан такой набор допускающих практическую проверку свойств, по которому мы могли бы однозначно относить тот или иной встретившийся нам объект к классу слов или неслов» [Апресян 1966: 15]. Но, как сказано выше, этот набор при антропоцентричном подходе указывать и не нужно, а с авторами всем хорошо известных попыток описаний свойств слова мы не согласны лишь в том, что они иногда называют такие описания «определениями» слова.

Критики традиционного антропоцентричного подхода отмечают и нередкое несоответствие между привычно выделяемыми свойствами единиц и языковой реальностью. Например, антропоцентричные «определения» частей речи целиком семантически либо хотя бы включают семантический компонент. Любой ученый до эпохи формирования структурализма (может быть, за единственным исключением Варрона, жившего в I в. до н. э.) обязательно находил определяющим для существительного предметное, для прилагательного качественное значение и т. д. Тем не менее достаточно ясно, что не всякое существительное обозначает предмет, что нет четкой семантической грани между качествами и состояниями и т. д. По этому поводу правильно писала Н. Д. Арутюнова: «Традиционная грамматика, верно отражая языковое чутье носителей языка, часто давала ему одностороннее (семантическое) использование. Но из этого не вытекает, что сами принципы систематизации материала были также односторонне семантическими» [Арутюнова 1964: 270]. Однако такой разнородной естествен, поскольку попытка объяснения того, что интуитивно ясно, может и не совпадать с природой вещей. Для носителей языка грамматика почти не осознается и используется автоматически, тогда как семантика гораздо более осознаваема, что проявляется и в отношении частей речи [Леонтьев 1965: 34].

Но главная трудность антропоцентричного подхода проявилась, когда круг исследуемых языков в новое время начал быстро расширяться. Пока круг учитываемых языков состоял из типологически близких и генетически родственных языков

Европы³, выработанный им понятийный аппарат был вполне приемлем. Но описания далеких от европейских по строю «экзотических» языков были слишком явно субъективны и неадекватны. Период так называемых миссионерских грамматик длился около четырех столетий, но значительный прогресс на этом пути так и не был достигнут. Расширение языковой базы и возврат к синхронной лингвистике на грани XIX и XX вв. потребовали иного подхода.

Системоцентричный подход к языковым явлениям сформировался в это время в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра и др. (ср., например, типично процедурный подход к слову в работе [Бодуэн 1904]); впрочем, в одной специфической области — экспериментальной фонетике — системоцентризм развился на несколько десятилетий раньше. Позднее он получил развитие в различных направлениях европейского и американского структурализма.

Этот подход «в отличие от антропоцентричного подхода, приближающего лингвистику к психологии и философии, ...пытается сблизить ее с естественными науками в их современном понимании. Согласно этому подходу, язык есть некоторая почти независимо от нас функционирующая система. Лингвист изучает ее законы, носитель языка им подчиняется» [Рахилина 1989: 50]. Исходный пункт анализа в этом случае — множество устных или письменных текстов. Основным способом исследования становится сопоставление текстового материала, выявление сходств и различий тех или иных отрезков текста, позиционных характеристик, сочетаемости и т. д. В отличие от антропоцентричного подхода здесь важную роль играет строгая формулировка процедур исследования (ср. подробное обсуждение этой проблемы в дескриптивизме и глоссематике при определенных различиях в ее понимании). Дескриптивизм, во многом развившийся в связи с изучением «экзотических», особенно индейских языков, разработал эти процедуры очень тщательно и довел принципы системоцентричного подхода до большой последовательности (о связи дескриптивистских концепций с отказом от наблюдений над собственной психикой см. [Фрумкина 1984]). Крайнее выражение данные принципы нашли в так называемом дешифровочном подходе, при котором для лингвиста не существует ничего, кроме текстов и исследовательских процедур. Дешифровочный подход высветил трудности системоцентризма, о которых мы поговорим ниже.

Как мы уже отмечали, антропоцентризм и системоцентризм различаются, прежде всего, разным отношением к двум точкам зрения на язык: точке зрения носителя языка и точке зрения исследователя. Любопытно привести мнения на этот счет двух лингвистов, почти современников, но принадлежавших к разным школам и традициям.

³ См. набор языков, учитываемых в грамматике Пор-Рояля: активно используется материал романских языков, лишь фрагментарно — древнегреческого и германских и только в отдельных местах упоминаются древнееврейский язык и еще какие-то неназванные «восточные».

А. М. Пешковский в статье [Пешковский 1923] разграничивал научную (объективную) и обиходную (нормативную) точки зрения на язык, подчеркивая, что научная точка зрения «диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения», что научная «точка зрения, для современного лингвиста сама собой подразумеваемая, столь чужда широкой публике». Японский ученый, основоположник известной школы «языкового существования» Токиэда Мотоки писал в 1941 г. о двух позициях по отношению к языку: позиции субъекта и позиции наблюдателя. Позиции субъекта «придерживаются те, кто воспринимает язык как средство выражения мысли и осуществляет свою деятельность в виде формирования идей, произнесения звуков, написания письменных знаков или же, находясь в позиции слушающего, пользуется языком как посредником для понимания идей собеседника, читает письменные знаки, слышит звуки, понимает смысл... Этой платформы мы придерживаемся и тогда, когда выбираем выражения, подходящие для данного собеседника... отличаем удачные выражения от неудачных, различаем литературный язык и диалекты... Существует и другая, отличная от предыдущей точка зрения, согласно которой язык рассматривается как объект: его наблюдают, анализируют, описывают... Находясь на этой платформе, наблюдатель языка... попадает в положение постороннего, обзирающего языковую деятельность» [Токиэда 1983: 91–92]. Оба лингвиста отмечают нормативность, оценочность точки зрения носителя языка и объективность точки зрения исследователя.

Токиэда ставил и вопрос о соотношении двух точек зрения. По его мнению, «точка зрения наблюдателя возможна только тогда, когда имеет своей предпосылкой точку зрения субъекта» [Там же: 95]. Токиэда считал, что единственным научным методом является субъективное переживание языка (родного или чужого), а затем наблюдение (интроспекция) над этим переживанием [Там же: 95–97], т. е. совершенно осознанно (в отличие от большинства европейских традиционалистов) отстаивал антропоцентричный подход, вполне справедливо отмечавшийся им в японской лингвистической традиции до ее европеизации. Вся книга Токиэда полемична по отношению к идеям Ф. де Соссюра и Ш. Балли, в которых он также справедливо увидел стремление разграничить точки зрения субъекта и наблюдателя; из этого делался, однако, неверный вывод о том, что соссюровскую концепцию следует отвергнуть.

Антропоцентричный и системоцентричный подходы всегда влияли друг на друга, и не всегда их легко отграничить. С одной стороны, как мы уже отмечали, и при антропоцентричном подходе оказываются нужными исследовательские процедуры для периферийных неясных случаев. С другой стороны, весьма значительно не всегда осознаваемое влияние антропоцентричного подхода на системоцентричный. Это влияние проявляется по-разному.

Наиболее очевидный случай составляет сохранение многих традиционных подходов и решений, особенно тогда, когда речь идет о хорошо описанных языках, и прежде всего о родном языке исследователя. Например, известное определение

Л. Блумфилдом слова как минимальной свободной формы требует пересмотреть и традиционное представление об английском слове: артикли и большинство предлогов — явно не свободные формы. Однако везде, где в книге [Блумфилд 1968] приводится конкретный английский материал, принимается традиционное членение на слова. На это противоречие уже обращал внимание Дж. Гринберг [Greenberg 1957: 28].

Однако зависимость от наследия антропоцентричного подхода была гораздо более фундаментальной. Тенденция пользоваться лишь четко определенными понятиями и выделять лишь соответствующие этим определениям единицы и классы единиц, наблюдавшаяся у некоторых дескриптивистов, не стала преобладающей. Это хорошо видно на примере понятия слова. Даже дескриптивисты, несмотря на теоретические декларации, обычно не отказывались от выделения этой единицы в описаниях конкретных языков и уделяли много внимания выработке критериев членения текста на слова; еще большее место понятие слова занимало в европейском структурализме. При этом, однако, многочисленные определения слова в рамках системоцентричного подхода имели одно свойство, которое Ю. Д. Апресян в упоминавшейся выше работе характеризовал так: «...они не соответствуют по объему тому множеству объектов, которые фактически называются данным термином» [Апресян 1966: 15] (примеры несовпадения разных определений слова с традиционными представлениями об этой единице см. [Апресян 1966: 12–15]).

Ю. Д. Апресян, в 60-е гг. безусловно стоявший на позициях системоцентризма, считал такие определения столь же неточными, как и традиционные «определения» слова, не позволяющие его выделить. Однако, в отличие от традиционных, такие определения могут быть вполне точны и однозначны сами по себе; сомнение вызывает лишь то, насколько их правомерно считать определениями именно слова, а не какой-то другой единицы (тем более что разные определения нередко дают применительно к конкретным языкам разные результаты). Ю. Д. Апресян считал, что работающее и в то же время вполне соответствующее традиции определение слова может быть получено, если только не пытаться его получить на семантической основе. Однако за прошедшие с тех пор четверть века лингвистика явно не приблизилась к решению этой задачи.

Аналогичным образом Ю. Д. Апресян рассуждал в книге 1966 г. и в отношении частей речи. Неконструктивности традиционных «определений» он противопоставлял последовательно морфологический подход, идущий в отечественной науке от Ф. Ф. Фортунатова [Апресян 1966: 16–18]⁴. Однако при всей значимости

⁴ Впрочем, уже Варрон подходил к латинским частям речи подобным образом, определяя имена (включая прилагательные) как склоняемые и неспрягаемые слова, глаголы как спрягаемые и несклоняемые, причастия как склоняемые и спрягаемые, наречия как несклоняемые и неспрягаемые. Уже эта система расходилась с традицией: не всякое неизменяемое латинское слово — наречие.

морфологического фактора для обычной системы частей речи последовательно морфологическая классификация лексем даже в русском языке заметно отличается от традиционной, что показал еще Г. О. Винокур [Винокур 1959].

И так оказывается не только с понятиями слова и части речи, но и с фонемой, лексемой, полисемией и многими другими традиционными понятиями⁵. Например, насколько нам известно, не существует универсальной лингвистической процедуры сегментации текста на фонемы (акустические процедуры сегментации речевого потока существуют, но их результаты далеко не всегда совпадают с принятым членением на фонемы). Реально исследователь в основном исходит из представлений о фонемных границах в своем родном языке и отождествляет с ними сегменты исследуемого языка; только в наиболее спорных случаях используются эксплицитные процедуры (ср. подход А. И. Смирницкого к выделению слов). В отношении фонемной парадигматики на первый взгляд ситуация иная: существует вполне системоцентричная теория дифференциальных признаков Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле. Однако один из ее создателей был вынужден признать, что акустические корреляты некоторых дифференциальных признаков, в частности резкости — нерезкости, достаточно сомнительны [Фант 1965: 214–216]. Этот факт не означает того, что пользоваться теорией дифференциальных признаков не следует, не надо лишь считать ее строго системоцентричной (на что, по-видимому, претендовали ее создатели), она представляет собой лишь попытку максимального отвлечения от антропоцентризма, присутствующего в ней имплицитно.

В случае фонемной парадигматики построить модель интуитивно осознаваемой единицы относительно легко. Впрочем, и здесь последовательное проведение некоторого принципа часто приводит к интуитивно неправильному решению. Хорошо известно, как много места занимала в выступлениях противников Московской фонологической школы критика положения о *и* и *ы* как вариантах одной фонемы, хотя с позиций этой школы такое решение вполне естественно⁶. Именно здесь ученым этой школы было убедить оппонентов труднее всего, так как интуитивно *и* и *ы* все же ощущаются как разные звуки.

Гораздо труднее оказывается приблизиться к интуитивно осознаваемым единицам и классам единиц в более сложных случаях. В 50–60-е гг. очень популярной была идея построения математических моделей фонемы, слова, грамматических категорий и т. д. В отечественной науке она получила наибольшее развитие в работах И. И. Ревзина [Ревзин 1967]. При этом, чтобы как-то приблизиться к традиционному объему понятия, приходилось использовать очень сложный и изоциренный математический аппарат, однако гарантии полного совпадения с традицией

⁵ Не имеет принципиального значения время появления того или иного термина. Эксплицитное понятие лексемы появилось в отечественной науке недавно, но за ним стоит интуитивное представление о границе между варьированием одного слова и различием слов.

⁶ Если отвлечься от существования на дальней периферии русского языка слов типа *Ыныкчанский* (поселок в Якутии), *Ыйм* (эстонская фамилия).

все равно не было. Постепенно отношение к формальным (не обязательно даже строго математическим) моделям такого рода понятий стало достаточно скептическим. Показательна статья [Крылов 1982], где разбирается вопрос о моделировании понятия лексемы. При этом убедительно показаны практически непреодолимые трудности, возникающие при попытках выработать собственно лингвистические, не опирающиеся на интуицию критерии выделения этого, казалось бы, ясного и бесспорного понятия.

Особые трудности системоцентричный подход всегда вызывал в семантике. Недаром в период его полного господства в мировой науке семантика не достигла значительных успехов (как, впрочем, и до того) и лишь обращение к антропоцентризму на новой, более высокой основе дало возможность продвинуться в ее изучении; в констатации этого факта, пожалуй, главный пафос упоминавшейся статьи Е. В. Рахилиной⁷.

Но вопрос об учете лингвистического значения выходит за рамки семантики как особой дисциплины. В том или ином виде семантика присутствует везде, что не всегда учитывали сторонники системоцентричного подхода. Недаром дешифровочный подход, логически наиболее последовательное проявление системоцентризма, потерпел неудачу как общая теория и используется самое большее как вспомогательное средство в некоторых случаях. Исключение значения было тесно связано с попыткой полностью исключить позицию носителя языка. Чисто психологически такое исключение облегчалось в тех случаях (особенно частых у дескриптивистов), когда лингвист не мог даже в минимальной степени считаться носителем исследуемого языка, задавая вопросы двуязычному информанту. Но популярную одно время в США идею о том, что собственные построения лингвиста субъективны, а построения информанта объективны, А. Вежбицка справедливо называет карикатурой на блумфилдианство [Wierzbicka 1985: 90]. Она же отмечает, что использование большого числа информантов создает лишь «фантом объективности», тогда как собственная интуиция исследователя может при этом утрачиваться [Ibid.: 43]. Следует указать также на вывод М. Мамудяна о том, что хотя З. С. Харрис стремился к объективности анализа и выводил интуицию за пределы лингвистики, реально его концепция фонемы даже больше связана с интуицией, чем многие другие, поскольку прямо основывается на том, что отождествляет и различает информант [Мамудян 1985: 88].

Любое лингвистическое описание опирается на интуицию носителя языка, хотя носитель языка и исследователь не обязательно одно и то же лицо (несовпадение происходит не только при обращении к информанту, но и тогда, когда

⁷ Мы не согласны с Е. В. Рахилиной лишь в одном пункте. Говоря о распространении антропоцентризма на морфологию и другие области вне семантики, она сводит его лишь к «рациональному объяснению» фактов, полученных в рамках системоцентризма [Рахилина 1989: 51]. Но мы стараемся показать, что и многое другое, начиная от самого подбора фактов, идет от антропоцентризма.

лингвист использует мнение предшественников). В этом смысле любое исследование языка глубинно антропоцентрично, и казавшаяся в момент появления крайне архаичной точка зрения Токиэда Мотоки имеет под собой основания. Прав он был и в отношении решающего значения интроспекции для лингвиста. Впрочем, в годы, когда это понятие было немодным, о роли интроспекции писал и такой глубокий ученый, как Л. Теньер [Теньер 1988: 48–49, 52]. Сейчас ее роль подчеркивается многими (см., например, книгу [Wierzbicka 1985]).

И все-таки из всего сказанного не следует, что Токиэда полностью прав, опровергая Ф. де Соссюра, и что системоцентричный подход вообще не существует. Просто не надо понимать последний как нечто совершенно независимое от психолингвистического механизма. Но вполне возможно для определенных целей отвлекаться от антропоцентризма, аналогичные абстракции применяются во многих науках. Попытки обойти антропоцентричные основания лингвистики были логически уязвимы, но они дали и дают большие позитивные результаты. Надо только отдавать себе отчет, на каких этапах анализа мы основываемся на интуиции, а на каких мы используем строгие методы, поддающиеся проверке.

Системоцентричный подход структурализма был шагом вперед по сравнению с антропоцентричным подходом традиционного языкознания уже в том, что такое разграничение, пусть неосознанное, было проведено. Деструктурная лингвистика апеллировала к интуиции (явно или чаще неявно) едва ли не на любом шагу анализа. Но те же дескриптивисты свели обращение к интуиции информанта к строго определенным этапам, в остальных же случаях проводились дистрибуционный или какой-либо иной анализ, поддающийся проверке. Это особенно важно для описания языков, по строю отличных от родного языка исследователя. Как уже говорилось выше, особенности родного или наиболее престижного для лингвиста языка представляют собой «возмущающий фактор», не всегда преодолимый даже в наше время (мы уже не раз отмечали, что русскоязычные японисты склонны находить в японском языке мягкие согласные и падежное словоизменение, а англоязычные японисты на месте мягких согласных видят сочетания с йотом, а на месте падежных аффиксов — частицы или послелоги). Но в эпоху миссионерских грамматик этот фактор было нечем корректировать, а системоцентричный подход дал возможность установить какие-то объективные критерии⁸. Для развития мировой фонологии большим шагом вперед был отказ от психологизма, выраженный, например, в высказывании Р. Якобсона (1942): «Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем в сознании говорящего. Как это ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы, больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким образом, бьются над вопросом, ответ на который,

⁸ Интуиция информанта не может дать всей той информации, которую дает интуиция лингвиста — носителя языка, поскольку, во-первых, информанту можно задать лишь ограниченное число вопросов, во-вторых, сами эти вопросы формулируются на основе интуиции самого лингвиста. Еще один корректирующий элемент для описания чужого языка — лингвистическая традиция его носителей, но она существует лишь для немногих языков.

естественно, выходит за рамки лингвистики» [Якобсон 1985: 57]. Такой ответ исключительно важен для лингвистики, в этом смысле подчеркнута психологичность И. А. Бодуэн де Куртенэ и Е. Д. Поливанов были более правы. Но антипсихологизм Н. Ф. Яковлева, пражцев и Московской школы был необходим: именно на пути системоцентризма была построена детально разработанная универсальная фонологическая теория. Показательно, что тот же Р. Якобсон к концу жизни обратился к психолингвистике и изучению говорящего человека.

Итак, антропоцентричный и системоцентричный подходы реально существуют, хотя, вероятно, точнее было бы говорить о чисто антропоцентрическом и относительно системоцентричном подходах. В этом различии проявляется и относительная самостоятельность языковой системы. Конечно, такая система — абстракция более высокого уровня, чем психолингвистические механизмы людей: это та основа, на которой формируются такие механизмы, более или менее единая для языкового коллектива. Ни язык, ни психолингвистические механизмы не поддаются прямому изучению, хотя о последних можно кое-что сказать на основе анализа афазий и детской речи, позволяющих, в частности, разграничить эти механизмы на отдельные блоки (в случае детской речи не все такие блоки еще сформировались, а в случае афазии часть из них вышла из строя). Однако психолингвистические механизмы могут как-то реконструироваться через интроспекцию, а язык (*langue*, по Соссюру) — через анализ текстов. При этом оба описания обычно понимаются как изучение одного и того же феномена. Однако результаты получаются несколько разными, несмотря даже на то, что эти описания часто перекрещиваются друг с другом. На основе текстового анализа, даже как-то скоррелированного с интуицией, постоянно получают интуитивно неприемлемые или спорные решения, причем их тем больше, чем последовательнее проводятся системные принципы анализа. Тем не менее фонема (по Московской школе), минимальная свободная форма (по Л. Блумфилду), так называемое фонетическое слово и многие другие единицы, выделяемые при системоцентричном анализе, — не фикции и не результат ошибок исследователей; они вполне закономерно вычленились при анализе текстов, их реальность может подтверждаться данными диахронии, соответствующие концепции могут обладать предсказательной силой и т. д. В этом проявляется автономность языка. Однако функция этих единиц (по крайней мере, многих из них) в лингвистическом описании двояка: они — и отражение некоторых текстовых закономерностей, и модели единиц, известных через интроспекцию. Сказанное о языковых единицах относится и к выделяемым классам этих единиц. Язык автономен от индивидуальных психолингвистических механизмов, но не независим от них, поэтому практически любое системоцентричное описание проверяется данными языковой интуиции⁹. При антропоцентричном подходе,

⁹ Интуиции носителя языка (в том числе информанта) или интуиции носителя другого языка, как в случае миссионерских грамматик. В последнем случае описание может оказаться и реально оказывается очень неадекватным.

наоборот, интроспективные данные проверяются текстовыми, которые часто лишь подтверждают их (в частности, свидетельствуют об их соответствии норме), но могут и корректировать, особенно если лингвист описывает не родной язык.

Различая два способа описания, надо четко различать предъявляемые к ним требования. Если лингвист описывает язык как объект, отделенный от него, встают требования, строго необходимые для любого научного исследования. Они были сформулированы в виде известных критериев непротиворечивости, простоты и полноты. Нарушение этих критериев вполне правомерно считается недостатком описания. Отметим, что часто в качестве критерия простоты на деле используется соответствие традиционным и в конечном итоге интуитивным представлениям¹⁰.

Между тем в традиционных описаниях эти требования нередко не выполняются, прежде всего это относится к критериям непротиворечивости и полноты. Это не раз служило предметом критики со стороны структуралистов. Однако при этом не раз оказывалось, что такие описания при, казалось бы, явных недостатках могут лучше соответствовать интуиции, чем логически более последовательные.

Интересна в этой связи попытка защитить традиционный подход, пусть не вполне эксплицированная. Мы имеем в виду известную статью Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке», см. [Щерба 1957]. В ней сказано: «Самое различие “частей речи” едва ли можно считать результатом “научной” классификации слов» [Там же: 63]; «В вопросе о “частях речи” исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-нибудь ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [Там же: 64]. Л. В. Щерба не отрицал ни семантические, ни морфологические, ни синтаксические критерии для выделения частей речи, но все они для него — лишь опознавательные знаки для восприятия классов, существующих независимо от всех этих свойств.

Л. В. Щерба использовал расплывчатую формулировку «навязываются самой языковой системой», с которой легко спорить: предлагаемые теми или иными лингвистами классификации по частям речи не произвольны, а так или иначе отражают какие-то (не обязательно те же самые) свойства языковой системы, извлекаемые из анализа текстов. Однако все встает на свое место, если под «навязыванием» понимать влияние психолингвистического механизма: носители языка ощущают неоднородность слов, хранящихся в их памяти, и опознают эти единицы как принадлежащие к тем или иным группам. Такой вывод не был сделан самим Л. В. Щербой, писавшим свою статью в годы, когда психологизм был не в моде, но позже он делался некоторыми языковедами [Супрун 1965: 17].

Показательны конкретные выводы, делаемые Л. В. Щербой из своего подхода. В его статье, где в основном сохраняется традиционная система частей речи,

¹⁰ Эти два понятия нельзя считать абсолютно равнозначными, поскольку традиция может отражать и интуицию прежних поколений, реально изменившуюся в связи с изменениями в языке.

признается, что в некоторых случаях одно и то же слово может быть отнесено к нескольким классам, а какие-то слова — остаться вне классификации [Щерба 1957: 66]. Этим он осознанно противопоставлял свою классификацию научной, где пересечение классов и наличие остатка — явные пороки. Но если понимать систему частей речи как психолингвистическую, а не как собственно лингвистическую, то подход Л. В. Щербы более адекватен: носитель языка хорошо осознает классную принадлежность ядерной лексики и может испытывать трудности в отношении периферийных единиц, а также единиц с уникальными свойствами. Ясным с этой точки зрения становится и отмеченное выше несоответствие между свойствами традиционных частей речи и их «определениями»: для носителей языка осознается в первую очередь лексическая семантика ядерной части данного класса слов (например, предметность для существительных), не всегда свойственная классу в целом. Такие особенности психолингвистического механизма подтверждаются изучением афазий [Лурия 1947: 71–74].

Отметим и другие случаи, когда системоцентричный подход дает большую четкость по сравнению с антропоцентричным. При этом подходе естественно членить текст на те или иные единицы, по крайней мере на основные единицы, без остатка. Но известно, что традиционная лингвистика, соблюдая это требование в отношении слов, не следует ему в отношении морфем. По мнению многих языковедов, например, в слове *пастух пас-* — морфема, а *-тух* — нет [Крылов 1969: 155], в слове *малина* есть и морфема *малин-*, и морфема *-ин-* [Панов 1969: 275]. С позиций системоцентризма такие трактовки многократно и убедительно опровергались, но, по-видимому, для носителей языка именно так дело и обстоит, что показывает явление народной этимологии. Когда *пиджак* превращается в *спинжак* и даже *цейхгауз* в *чихауз*, то ясно, что носителю языка важны лишь ассоциативные отношения между словами, часть слова (*спин-*, *чих-*) получает некоторое значение или хотя бы квазизначение, а остаток (*-жак*, *-ауз*) ничего не значит и не вычленяется как единица; то же, видимо, происходит и с естественно развивавшимися словами типа *любовь*, *пастух*. По существу именно это имел в виду В. В. Виноградов (избегавший, как и Л. В. Щерба, прямого обращения к психолингвистике), когда писал: «При абстрактно морфологическом подходе, без учета семантических связей слов, без учета лексических соотношений разных словесных рядов получалась механическая кройка морфем. Например, выделялись как варианты одной и той же основы *хот'* и *охот* в словах *хотеть* и *охота*; *смерт'*, *мертв* в словах *смерть* и *мертвый*; *-зволить* и *-волить* в словах *позволить*, *дозволить*, *изволить*, *приневолить* и т. д.; отыскивались суффиксы *-зи* и *-зн* в словах *буржуазия* и *буржуазный* — по сравнению с *буржуа*; суффикс *-овь* в слове *любовь*, *-лина* в слове *напраслина* и т. п.» [Виноградов 1952: 131–132]. Почти во всех этих примерах «учет семантических связей слов» как раз приводит к тем трактовкам, которые отвергал В. В. Виноградов, трудно согласиться и с его обвинением в «антиисторичности» такого членения. При следовании принципам морфемного анализа, разработанным в рамках системоцентричного подхода, это членение правомерно и часто даже

неизбежно. Но с точки зрения интуиции носителя русского языка (в том числе интуиции автора статьи) эти членения действительно кажутся «механическими».

Несоответствие морфемного анализа интуиции проявляется еще в одном случае. Этот анализ требует считать, что лексическое значение словоформы содержится в ее основе, а грамматическое — в аффиксах. Однако в европейской традиции исторически первичен другой подход, согласно которому слово не членимо на значимые части, а все компоненты значения присущи слову в целом. Такая трактовка, известная по античным грамматикам, явно не соответствует критерию полноты (не выделяются морфемы), но хотя бы соответствует критерию непротиворечивости. Но в более новых работах можно встретить и безусловно противоречивую контаминацию обоих подходов, когда в одной и той же книге то признается существование основы и аффиксов с определенными значениями [Грамматика 1952–1954, I: 18], то значение, например, единственного или множественного числа приписывается не окончанию, а слову в целом [Там же: 113]. Надо сказать, что такое противоречие не кажется интуитивно неприемлемым, поскольку в нем отражается противоречие в самом сознании носителя языка: при обычном пользовании языком слово выступает как нечто цельное и нечленимое, но при рефлексии, наблюдении говорящего над своим языком слово может члениться (не обязательно нацело), в том числе на основу и аффиксы. Осознание членимости слова проявляется и при образовании новых слов.

При системоцентричном подходе принят и принцип разделения уровней, когда целое не может рассматриваться на одном уровне со своими частями. Как в физике недопустимо выделять молекулы, состоящие из молекул, так и в системоцентричном описании слова не могут состоять из слов. Но в антропоцентричных описаниях, начиная с античности, именно так описывается словосложение, да и производное слово нередко понимается как результат присоединения деривационного аффикса не к основе, а к производящему слову (ср. высказывание о том, что словообразование — «всегда образование одного слова от другого» [Лопатин 1977: 29]). Такой подход приводит к ряду трудностей в описании, но он, по-видимому, более соответствует интуиции, чем системоцентричный способ описания, разграничивающий производящее слово и производящую основу: для носителя языка в первую очередь существуют слова, а не операции над ними.

В области лексической семантики и лексикографии различие подходов видно, если сопоставить толкования слов в традиционных словарях и в научных словарях типа толково-комбинаторного словаря, статьи которого разрабатывались И. А. Мельчуком и его последователями. В традиционных словарях весьма часто слово толкуется через его синонимы, нередко так называемые порочные круги, когда каждое из двух слов используется в толковании друг друга. В научных словарях предпринимаются попытки описывать значения лексем на основе строгих принципов, выделяя первичные неопределяемые понятия и используя в толкованиях лишь более элементарные, чем значение данной единицы, компоненты; круг в таких толкованиях сознательно исключается. Последний подход в целом вряд

ли соответствует интуиции: в памяти носителей языка, скорее всего, не существует ничего, кроме слов и ассоциативных связей между ними. Поэтому в словаре, рассчитанном на практическое использование носителями данного языка, достаточно указать на вхождение слова в то или иное семантическое поле и различие в значении слов, имеющих семантическое сходство.

Различие двух подходов в лексикографии иногда трактуется с точки зрения превосходства традиционного (антропоцентричного) подхода в связи с преимуществами «здорового смысла» над «научностью» [Правдин 1983]; ср. идеи Л. В. Щербы о частях речи. Однако перспективнее оказывается попытка совместить два подхода и осознанно ввести в научный словарь антропоцентричный компонент, получившая четкое выражение в книге [Wierzbicka 1985].

При этом, однако, встает вопрос: насколько совместимы в такого рода описании антропоцентричный и системоцентричный подходы? Разработка словарных дефиниций с помощью интроспекции, которую осуществляет А. Вежбицка, тем не менее производится в рамках требований, предъявляемых к научному исследованию системоцентричным подходом. Но не происходит ли при этом структурирование нечеткого психолингвистического механизма и введение жестких границ там, где их в действительности нет? Мы затрудняемся ответить на вопрос. Заметим лишь, что А. Вежбицка придает гораздо меньше значения требованию единообразного разложения смысла слов на элементарные компоненты, чем создатели толково-комбинаторного словаря.

Итак, к описанию языковой системы можно идти от интуиции носителя языка, проверяя ее в случае необходимости текстами, и от текстов, проверяя их данные интуицией. Результаты, как мы постарались показать, очень часто оказываются разными настолько, что трудно говорить об их соизмеримости. При этом каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Антропоцентричный подход позволяет построить психологически адекватные описания, однако он дает принципиально не допускающие процедур проверки результаты (если отвлечься от пока еще весьма ограниченных возможностей проверки в нейролингвистике), а его применение к языкам, далеким по строю от родного языка лингвиста, приводит к неадекватным результатам; антропоцентричные описания, выполненные в рамках разных лингвистических традиций, весьма трудно сопоставлять. Системоцентричный подход, наоборот, позволяет получить «работающие», сопоставимые и формализуемые описания, но они могут оказаться психологически неадекватными, т. е. искаженно представляющими реальный психолингвистический механизм. Исследователю в этом случае приходится проходить между Сциллой логически безупречного, но интуитивно неприемлемого решения и Харибдой более соответствующей интуиции, но значительно усложняющей описание, а то и противоречивой трактовки.

Два подхода не отрицают, а дополняют друг друга, используя для разных целей. Как отмечает А. Вежбицка, носители языка, вероятно, не нуждаются в дефинициях интуитивно им известных языковых единиц, но дефиниции — единственный способ объяснить сущность этих единиц иностранцу, особенно принадлежащему

к иной культуре [Wierzbicka 1985: 4–5]. Для целей, например, типологии системоцентричный подход необходим, лишь на его основе можно отграничить общелингвистические закономерности от типологических особенностей языка исследователя или группы языков, сходных с ним; недаром избавление лингвистического описания от европоцентризма началось лишь в структурализме. Но для обучения родному языку, практической лексикографии необходим антропоцентричный подход, недаром лингвистика XX в. так плохо проникает в школьное преподавание, особенно родного языка. Говоря о двух подходах, мы имеем дело с проявлением фундаментального принципа дополнительности, на важность учета которого для лингвистики указывал Р. Якобсон [Якобсон 1985: 374, 404]. При этом, безусловно, как уже говорилось выше, оба подхода не могут не учитывать совсем языковую интуицию, только делается это в различной степени и по-разному.

ЕЩЕ РАЗ О ФЛЕКСИИ, АГГЛЮТИНАЦИИ И ИЗОЛЯЦИИ

О каждом из трех понятий, вынесенных в заголовок статьи, написаны горы литературы. С тех пор как братья Шлегели и В. Гумбольдт в начале XIX в. разделили все известные им языки мира на флективные, агглютинативные и изолирующие (первоначально именовавшиеся аморфными)¹, данная проблематика стала одной из «вечных тем» лингвистики. Вся суть стадияльной концепции давно стала достоянием истории, любое понимание флексии, агглютинации и изоляции подвергается критике, не раз говорили о нечеткости и неясности самих этих понятий, тем не менее эти понятия и соответствующие им классы языков пережили не одну смену научных парадигм и продолжают жить. Видимо, все же основатели типологии интуитивно нащупали нечто существенное и важное, хотя и не смогли дать ему адекватное объяснение.

Существует много разных определений флексии (или фузии), агглютинации и изоляции; о различных пониманиях этих терминов см., например, [Реформатский 1967: 270–271; Скаличка 1967: 388; Успенский 1965; Солнцева, Солнцев 1965; Булыгина, Крылов 1990б; 1990в]; писал об этом и автор данной статьи (см. статью «Об уточнении понятий “флективный язык” и “агглютинативный язык”» в настоящем сборнике). Прежде чем предложить еще один возможный, на наш взгляд, подход к разграничению этих понятий, отметим два, не всегда четко осознаваемых свойства многих типологических классификаций, основанных на понятии флексии, агглютинации и изоляции.

Исходный пункт — не эталонные признаки, а эталонные естественные языки. Эталонными флективными языками были древнегреческий, латинский, позднее также санскрит, а для лингвистов России и СССР — в первую очередь русский. Эталонным агглютинативным языком чаще всего бывал турецкий, но мог быть и монгольский, татарский, венгерский и т. д. Изолирующим эталоном всегда был китайский; впрочем, и здесь учитывались фактически два языка, не вполне совпадающих по свойствам: классический (вэньянь) и новый («мандаринский»). Обычно исследователь уже заранее знает некоторые свойства этих языков (реальные или несколько утрированные), далее эти свойства обобщаются, очищаются от неиз-

¹ В. Гумбольдт, как известно, выделял еще инкорпорирующий тип. Однако он был более перифериен и плохо находил место на шкале языков. Мы не будем здесь рассматривать этот вопрос.

бежных исключений и непоследовательностей, затем полученный результат может распространяться на другие языки.

По воспоминаниям П. С. Кузнецова, в начале 30-х гг. невежественный аспирант московского НИИ языкознания, читая студентам пробную лекцию на тему «Морфологическая классификация языков», на вопрос, что такое агглютинация, ответил: «Это монгольское слово». Ответ не столь анекдотичен, как это может показаться. Аспирант, не зная латинское происхождение термина, верно уловил суть его употребления. Можно по-разному понимать агглютинацию, исходить из какого-либо одного признака или множества признаков, но всегда это будут признаки, которые свойственны монгольскому и близким к нему алтайским языкам (и отчасти уральским). И в наши дни в число признаков агглютинативных языков включают и явно ареальные признаки этих языков вроде сингармонизма, см., например, неподписанную статью «Агглютинация» в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 1990 г. То же в целом можно сказать и про изолирующие языки. Отметим и любопытные данные книги [Квантитативная 1982]. В ней вводится среди прочих «индекс агглютинативности», связанный с соединением морфем без изменений на стыках (традиционно — один из основных признаков агглютинативности). Подсчет этого индекса для разных языков² дает нетрадиционные результаты: наиболее «агглютинативными» оказываются как раз изолирующие языки (96–100), индекс же для традиционно агглютинативных языков ниже, колеблясь от 80 до 97 и не достигая 100 ни для одного из них. Вероятно, агглютинация в данном смысле в первую очередь ощущалась для языков типа турецкого (индекс агглютинации, по [Квантитативная 1982], 93), тогда как для языков типа китайского (индекс агглютинации, по [Квантитативная 1982], 100) она не замечалась из-за существования более «экзотических» для европейского наблюдателя свойств.

Итак, некорректно определять флективные (агглютинативные, изолирующие) языки как языки, для которых характерна флексия (агглютинация, изоляция). Реально имеется в виду обратное: флексией (агглютинацией, изоляцией) в том или ином смысле именуется явление, типологически существенное для эталонных флективных (агглютинативных, изолирующих) языков³.

Во-вторых, в большинстве классификаций, использующих идею о разграничении флективных, агглютинативных и изолирующих языков, эти языки располагаются в определенном порядке. Так было и в стадийных классификациях, где изолирующие языки рассматривались как низшая стадия, агглютинативные — как

² Мы не совсем согласны с тем, как в книге подсчитывается данный индекс (см. [Алпатов 1991a]), по и при внесении коррективов в индекс агглютинативности соотношение между языками чипа турецкого и типа китайского остается тем же.

³ Естественный эталон не надо смешивать с искусственным эталоном в смысле В. Скалички — Б. А. Успенского. Последний — результат некоторых операций над естественным эталоном, связанных с очищением его от непоследовательностей.

средняя и флективные — как высшая стадия⁴. Экстралингвистические соображения не мешали считать китайский язык совершеннее монгольского, но чисто лингвистические свойства языков не давали возможности ставить изолирующие языки в середину схемы. И после отказа от стадильности сохранилось представление о трех типах как о некоторой шкале, где агглютинативные языки занимают среднее положение. Вышеуказанные данные об индексе агглютинации вполне соответствуют этому представлению (для флективных языков индекс закономерно дает низшие цифры от 50 для арабского языка до 14 в одном из санскритских текстов).

Таким образом, целесообразно выяснить некоторые существенные признаки, различающие три класса языков. В каждом классе имеется некоторый центр, представленный указанными выше языками, и периферия. Флективные и изолирующие языки — некоторые полярные классы, агглютинативные находятся посередине. Мы предложим еще одну попытку подойти к этому вопросу, не претендуя, разумеется, на окончательное его решение.

Одним из кардинальных противопоставлений в лингвистике является противопоставление двух типов лингвистических описаний: словаря и грамматики. Это различие проявляется в самых непохожих друг на друга лингвистических традициях и отражает, по-видимому, фундаментальное противопоставление двух компонентов психолингвистического механизма человека; набора хранимых в памяти единиц и множества операций с ними. Существование таких двух компонентов показывает изучение афазий. См. описанный в книге А. Р. Лурии вид афазии, когда словарь языка сохраняется, а участок мозга, ведающий грамматическими операциями, оказывается пораженным. Речь такого больного состоит из отдельных, не связанных между собой слов, обычно в исходных формах. См., например, попытку рассказать содержание кинофильма: *Одесса! Жулик! Туда... учиться... море... во... во-до-лаз! Армена... па-роход... пошло... ох! Батуми! барышня... Эх! Ми-лиц-ци-нер... Эх!.. Знаю!.. Кас-са! Денег. Эх!.. Папиросы... Знаю... Парень... Усы... Эх... Денег...* [Лурия 1947: 81]. Такие больные не могут и изменять формы слов, например просклонять или проспрягать слова. Существуют и расстройства обратного типа. Тогда речь остается связной, но словарь крайне обеднен.

Из двух способов описания основным, несомненно, является словарь. В принципе любая грамматическая информация, кроме разве что информации о правилах порядка элементов, может целиком быть включена в словарь. Первичность словаря и подчиненный характер грамматики выявляется и в связи с исследованиями по прикладной лингвистике [Шаляпина 1991]. Часто грамматические правила представляют собой сокращение и «вынесение за скобку» информации, которая в словаре многократно бы повторялась. Такое сокращение может, во-первых, служить целям экономии описаний, во-вторых, моделировать реальные психолингвистические процессы. Реальные грамматические правила, существование

⁴ Кажется, единственное исключение — статья [Никольский, Яковлев 1949] с попыткой перейти от изолирующего строя к флективному, оставив агглютинативный в стороне.

которых подтверждается данными афазий, дают возможность сочетать хранимые в мозгу единицы между собой и в то же время минимизировать количество этих единиц. Если в языке имеется словоизменение, то достаточно хранить в мозгу лишь исходные единицы (формы именительного падежа единственного числа, инфинитива, основы и пр.), а все остальное получать из них применением грамматических правил. Моделирующие такой механизм античные схемы склонения и спряжения более психологически адекватны, чем позже появившееся описание в терминах «корень — аффикс», см. [Головастиков 1980].

Границы между грамматикой и словарем достаточно подвижны, они могут проводиться лишь из соображений практического удобства или просто по традиции (ничем иным нельзя объяснить, например, принятое включение в грамматики числительных первого десятка). Бывают пограничные явления: служебные слова обычно описывают и в словарях, и в грамматиках. Очень часто, иногда в ущерб последовательности, в словари включают всё, что не является регулярным, например отдельные словоформы неправильных глаголов. Противопоставление словарного грамматическому как нерегулярного регулярному обосновал Л. В. Щерба [Щерба 1957: 16]. Такая точка зрения, вероятно, тоже имеет психолингвистические основания: нерегулярные формы могут храниться особо.

Тезису о первичности словаря не противоречит тот факт, что в привычной для нас европейской лингвистической традиции жанр грамматики сложился раньше, чем жанр словаря, а также распространенное в науке большей части XX в. и не вполне исчезнувшее представление о словаре как о более периферийном типе описания. Грамматические правила требуют коррекции, которая в развитых обществах осуществляется в школе; особенно это важно для флективных языков. Знакомство же со словарем обычно происходит стихийно, через речевое общение или знакомство с текстами. Словари более нужны там, где язык культуры недостаточно понятен, поэтому в Европе поначалу словари существовали в виде глосс, где толковались лишь непонятные слова. Бурное развитие новых методов в лингвистике XX в. раньше проявилось в грамматике, чем в лексикографии, поскольку грамматические правила стандартнее и схематичнее. Такой разрыв мог приводить к представлениям о словаре как о чисто практическом по своим задачам способе описания, не поддающемся строгим научным методам. Но в последние два десятилетия именно проблемы лексической семантики оказались в центре внимания теоретической лингвистики.

Однако соотношение грамматики и словаря — не постоянная величина для любого языка, оно зависит от его строя. И здесь, как нам кажется, и проявляется различие флективных, агглютинативных и изолирующих языков.

Возьмем русский как эталонно флективный язык. Для него важнейшее значение имеет грамматика, прежде всего морфология. Морфологические (в широком смысле слова) правила здесь достаточно разнообразны: это и правила словоизменения, и правила словосложения, и правила словообразования. Слово русского языка, как правило, — сложное по структуре целое, а операции со словами далеко

не сводятся к простому их соположению. Описывать все эти операции в словаре явно неэкономно, сюда можно включать лишь уникальные операции вроде супплетивизма, типовые же операции закономерно выносятся в грамматику. Такие языки максимально грамматичны, а в грамматическом описании значительное место занимает парадигматика. Именно по этому пути шли те лингвистические традиции, которые формировались на основе наблюдений над языками подобного типа: европейская во всех ее вариантах, арабская, индийская.

Противоположный полюс составляют изолирующие языки типа китайского. Их грамматика может быть сведена к синтаксису в широком понимании этого термина: все правила сводятся к правилам порядка и правилам формальной и семантической сочетаемости элементов. Каждый из значимых элементов, в основном соответствующих слогоморфемам⁵, обладает четкой выделительностью и самостоятельностью, а комбинаторных изменений на стыках не происходит или почти не происходит. Большинство правил сочетаемости (кроме акцентуационных) — это правила (чаще связанные с семантикой), ограничивающие сочетаемость конкретных элементов, часто даже не формулируемые в терминах грамматических классов (частей речи). Ограничения, конечно, есть в любом языке, но показательны полуанекдотические рассказы о том, как студенты предлагали хорошо владевшим вэньянем профессорам произвольные последовательности иероглифов, а те давали этим последовательностям синтаксическую и семантическую интерпретацию. Для вэньяня, впрочем, такое сделать легче, чем для современного китайского языка, где сравнительно легко выделяются типовые правила синтагматики словоформ, см. [Семенас 1992]. Однако эти правила, прежде всего, семантически: типовую сочетаемость имеют единицы не с определенной формальной структурой или грамматической характеристикой, а с определенным обобщенным значением. Многие из таких правил сохраняют силу, независимо от того, как интерпретируются сочетания слогоморфем — как сложные слова или как словосочетания. Вопрос о границах слова, как известно, постоянно дискутируется в китаистике, а для его решения неприменимы критерии вроде цельнооформленности, решающие для языков типа русского.

Все правила сочетаемости для китайского и сходных с ним языков могут быть представлены как словарные. Семантические ограничения естественно включаются в толкование, а более формальные ограничения сочетаемости (например, у служебных элементов, именованных в китайской традиции «пустыми словами») индивидуальны для каждой конкретной единицы и опять-таки могут записываться в словаре. Разные понимания границ слова в этих языках мало влияют на лексикографию: самые ярые сторонники многоморфемности китайского слова заносят в словари и слогоморфемы, кроме совсем уж опрощенных, а отождествление слова

⁵ Возможны, конечно, исключения вроде многосложных заимствований, в современном языке их больше, чем в вэньяне. Но наличие исключений указывает лишь на сдвиг того или иного языка по шкале.

со слогоморфемой не мешает включению в словарь их устойчивых сочетаний, пусть на правах фразеологизмов. В то же время введение синтаксических правил, кроме правил порядка на разных уровнях, не является столь уж необходимым. Описание же парадигм, составляющее для флективных языков едва ли не основную часть грамматик, для языков типа китайского оказывается ненужным⁶.

Изолирующие языки словарны. И не удивительно, что китайская традиция самостоятельно не выработала грамматику как способ описания. Хотя там и существовало понятие «пустого слова», более или менее соответствующее служебному слову, но описывались эти «пустые слова» словарно, были даже их специальные словари. Первая грамматика в Китае появилась в 1898 г. уже под европейским влиянием.

Агглютинативные языки типа алтайских оказываются промежуточными между максимально словарными и максимально грамматическими. В одной из недавних статей традиционное описание агглютинативной словоформы уподобляется «паровозу с вагончиками» [Вахтин 1994]⁷. В таких языках к корню (как правило, с одной стороны) примыкает некоторое множество грамматических и/или полузнаменательных элементов, причем грань между чисто грамматическими (словоизменяемыми) и словообразовательными менее ясна, чем во флективных языках. В то же время синтагматические границы элементов сравнительно очевидны и проводятся более или менее однозначно. В одном отношении крайности сходятся: и во флективных, и в изолирующих языках число грамматических элементов (будь то аффиксы или служебные слова) относительно невелико. Редко в какой флективной словоформе можно встретить более трех-четырёх аффиксов, много «пустых слов» подряд тем более невозможно. Но в агглютинативных языках количество грамматических элементов максимально как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане: единиц, именуемых в грамматике аффиксами, послелогами, частицами, много, а к корню может присоединяться до десятка таких «вагончиков», что невозможно ни во флективных, ни в изолирующих языках.

Как трактовать такие языки в отношении разграничения между грамматикой и словарем? Возможны по крайней мере три подхода.

Наиболее распространенный способ описания связан с тем, что агглютинативные языки описываются по образцу флективных, т. е. максимально грамматических. Основная часть грамматических элементов трактуется как аффиксы, грамматика сводится, прежде всего, к парадигмам, обычно в виде привычных таблиц склонения и спряжения. Подобное описание не столь явно неадекватно, как это

⁶ Попытки описывать китайский по образцу русского с выделением парадигм, одно время распространенные в советской науке (см. [Конрад 1952]), сейчас уже оставлены как явно неадекватные.

⁷ Н. Б. Вахтин спорит с таким описанием, но скорее его возражения сводятся к тому, что в реальных языках ситуация может быть сложнее и возможны сдвиги по шкале в сторону флективности.

бывает при попытках выделения парадигм в изолирующих языках. Для алтайских языков аргументом в пользу такого подхода является сингармонизм, дающий сравнительно четкий критерий для выделения словоформ.

Отметим, однако, два момента. Во-первых, подобный способ описания не может до конца следовать флективной модели. В последней явно преобладание парадигматической морфологии над синтагматической. Если для санскрита внутрисловная синтагматика описывается детально из-за многочисленных сандхи, то для русского языка о ней могут вообще не упоминать ввиду ее тривиальности. Однако для агглютинативных языков в любой грамматике (кроме самых традиционных, типа миссионерских) большое место занимает синтагматика. См. экспликацию синтагматических правил в «грамматике порядков» [Ревзин, Юлдашева 1969], основанной на выдвинутых в 40-е гг. идеях Н. Ф. Яковлева. Для таких языков вполне достаточно перечислить служебные элементы и правила их порядка и сочетаемости. Стремление же дать для этих языков полную таблицу всех возможных словоформ, очень важное для грамматистов прошлого века, теперь отошло на второй план: это и сложно и во многом избыточно.

Во-вторых, вызывает сомнение психологическая адекватность такой модели (в отличие от флективных языков). Уже величина парадигм препятствует этому. Например, в арчинском языке (не принадлежащем к числу эталонных, но типологически близком) «общее число форм, которые можно получить от одного глагольного корня, равняется 1.502.839, т. е. более полутора миллионов» [Кибрик 1977: 36]. Построить такую парадигму в виде таблицы с перечислением всех форм затруднительно. Тем более трудно представить, что носители таких языков строят все эти формы видоизменением одной исходной. Естественнее считать, что такие последовательности получаются соположением отдельно осознаваемых элементов. С этим естественно сочетается и еще одно часто выделяемое отличие флективных и агглютинативных языков: в агглютинативных языках основа слова обычно может выступать как целая словоформа, т. е. обладает четкой выделяемостью, чего часто не бывает во флективных языках. Но такой процесс «присоединения вагончиков к паровозу» в традиционной европейской модели имеет место, например, при описании сочетания целого слова с предлогом и артиклем, но не при описании словоизменения. Тем самым понятие аффикса для флективных и агглютинативных языков объективно оказывается различным.

Другой возможный способ описания агглютинативных языков — чисто словарный (квазикитайский). Такой способ существовал в Японии и первые века после освоения китайской лингвистики. Однако уже к XVIII в. от него отказались, по крайней мере, при описании глагола. Для японского языка возникает необходимость введения регулярных правил сочетаемости грамматических элементов. Во многом поэтому в Японии была самостоятельно сформирована грамматика как особый вид описания.

В японской традиции с конца XVIII — начала XIX в. мы имеем третий вид описания, в целом сохранившийся и в современной науке. Этот подход заслуживает

внимания уже потому, что основан на наблюдении за языком, который в целом можно считать агглютинативным⁸. Мы упомянем очень кратко лишь главные особенности такого подхода, о котором подробнее мы писали ранее [Алпатов 1979: 25–31, 49–51; Alpatov 1993].

Японское слово (*го*) сопоставимо с европейским понятием основы слова, а большинство служебных элементов, включая те, которые вполне правомерно по чисто лингвистическим критериям считать аффиксами, рассматриваются как отдельные *го*. В то же время существуют и парадигмы спряжения (не склонения), сходные по принципам организации с традиционными европейскими; однако в качестве частей *го* (самих по себе не выделяемых в качестве сегментов) рассматривается лишь небольшая часть аффиксов в европейском понимании.

Здесь также грамматика отделяется от словаря, но несколько иначе. Основу морфологии составляет не парадигматика, а синтагматика. Для каждого грамматического элемента, прежде всего, выявляется, с какой из форм словоизменения глагола (или предшествующего грамматического показателя, которые тоже могут иметь парадигму) он сочетается. (Ср. описание предлогов в русских грамматиках, где обязательна информация о том, с каким падежом они сочетаются.) Повидимому, именно такое описание психологически наиболее адекватно. При этом выделение парадигм, пусть в урезанном виде, связано с тем, что японский язык в подсистеме глагола обладает несомненным сходством с флективными языками. В то же время служебные *го*, как и служебные слова европейских языков, записываются и в словарь, именно там обычно описывается их семантика.

Традиционная японская грамматика имела еще один компонент: учение о классах *го*. Этот компонент сопоставим с европейским учением о частях речи. Он важен и для флективных, и для агглютинативных языков, поскольку для тех и других существуют большие классы единиц со сходными свойствами, обычно различаются имена и глаголы. Для флективных языков классов обычно больше: уже в античности выделяли девять частей речи. Однако ни в одном варианте японской традиции их не выделялось больше пяти. В изолирующих же языках границы частей речи не очевидны, а различия в свойствах единиц чаще индивидуальны, чем стандартны; китайская же традиция не имела общепринятых классификаций, кроме выделения «пустых» и противопоставленных им «полных» слов.

Итак, на одном полюсе находятся изолирующие языки типа китайского, который Ф. де Соссюр справедливо оценивал как «ультралексический» [Соссюр 1977: 166]. Такие языки могут быть описаны почти целиком с помощью словаря с добавлением лишь правил порядка элементов. На другом полюсе — «ультраграмматические», по Ф. де Соссюру, флективные языки; их можно также назвать

⁸ Иные агглютинативные языки так и не стали основой самостоятельных традиций: вначале тюркские языки описывались по арабскому, а монгольские — по тибетскому эталону, позднее исследования таких языков, выполненные их носителями, следовали и следуют прежде всего русскому варианту европейской традиции.

парадигматически ориентированными. Для их описания необходима грамматика, причем в ней большое место, особенно в морфологии, занимает парадигматика. Агглютинативные языки находятся в середине шкалы и могут быть названы умеренно грамматическими или синтагматически ориентированными. Для их описания желательно сочетание словаря и грамматики, но часть описания, концентрируемая в грамматике для флективных языков, здесь может быть перенесена в словарь; в самой же грамматике синтагматика преобладает над парадигматикой. Такие различия, вероятно, связаны с психологической адекватностью той или иной модели описания.

ПРОГНОСТИКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Обычно реконструкции праязыковых состояний, получаемые в компаративистике, рассматривают независимо от предсказаний, делаемых в лингвистической прогностике. Действительно, здесь очевидны два существенных различия: компаративистика обращена в глубокое прошлое, прогностика — в будущее; компаративистика обладает самым строгим из существующих лингвистических методов, шлифуемым и совершенствуемым почти два века, методы прогностики лишь начинают разрабатываться.

Однако две дисциплины имеют и нечто общее: и там, и там на основе засвидетельствованных языковых данных высказывают суждения о языках, по разным причинам недоступных прямому наблюдению. Ясно, что о будущем мы можем высказывать лишь гипотезы, в данный момент не подлежащие проверке. Среди этих гипотез могут быть очень вероятные (и за пределами лингвистики, и в лингвистике): *3 ноября 2056 г. взойдет солнце, 3 ноября 2056 г. будет существовать русский язык, в котором сохранится противопоставление существительного и глагола*. Но вероятность такого рода высказываний определяется экстраполяцией того, что мы многократно наблюдали. Разумеется, экстраполировать (с меньшей вероятностью) можно и менее тривиальные явления. А компаративист хотя и претендует на восстановление языка, который реально существовал в прошлом и, следовательно, является историческим фактом, но в подавляющем большинстве случаев имеет дело со столь же гипотетическим объектом, что результат лингвистического прогноза.

Как можно проверить правильность прогноза или реконструкции? В случае прогноза мы или наши потомки можем со временем проверить гипотезу напрямую. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ выяснил, что в истории русского языка противопоставления в системе гласных уменьшаются, а в системе согласных увеличиваются, и предположил действие этой тенденции в будущем. Через столетие М. В. Панов проверил гипотезу и обнаружил, что в XX в. она продолжала действовать [Панов 1990: 21–22]. А ученик Бодуэна Е. Д. Поливанов в конце 20-х гг. XX в. сделал прогноз о значительном изменении русского литературного языка через два-три поколения в связи с закреплением языковых привычек новых носителей литературного языка [Поливанов 1968: 190]. Сейчас сменилось не менее трех поколений, и ясно, что прогноз выдающегося ученого не оправдался: Поливанов не предусмотрел жесткой стабилизации языковой нормы (мало

отличавшейся от дореволюционной), происшедшей с 30-х гг. в связи с изменением общественной ситуации.

А как можно доказать реальность праязыка, выходя за пределы реконструкции? Первый и самый впечатляющий случай — нахождение текстов на реконструированном праязыке. Замечательным подтверждением верности компаративного метода еще в середине XIX в. стало нахождение в надписях реконструированных слов народной латыни. Однако такие открытия чрезвычайно редки. Авторы учебников и историки языкознания обычно приводят два-три таких слова (см., например, [Красухин 2004: 32–33]), и как будто за последующие полтора столетия ни для одной семьи языков мира ничего к ним не прибавилось. А для глубоких реконструкций возможность их подтверждения письменными текстами вообще исключена. Второй, менее известный и менее ясный случай составляет открытие живого праязыка. Нечто близкое к этому произошло у нас в конце 70-х гг. XX в. Талантливая, к сожалению, рано умершая лингвистка Н. К. Соколовская произвела реконструкцию звуковой прасистемы вьетмыонгской группы языков (Юго-Восточная Азия), куда входят вьетнамский язык и ряд родственных ему бесписьменных языков. Затем при ее же участии во время экспедиции во Вьетнам был найден язык, фонологическая система которого почти полностью (кроме одной фонемы) совпала с этой реконструкцией. Однако можно ли считать, что возможна столь большая сохранность фонологической системы за много столетий? Возможно и случайное совпадение. Наконец, третий случай — верификация реконструкции данными археологии, единственной науки, способной наряду с лингвистикой доходить до древнейшей истории. Но хотя сотрудничество лингвистов с археологами продолжается уже более столетия, пока надежных методов установления соответствий между реконструированными языками и археологическими культурами нет (если, разумеется, при раскопках не найдутся письмена). Так что хотя мы больше знаем об индоевропейском праязыке, чем о русском языке середины XXI в., ничем верифицировать его, кроме уверенности во всеисилии процедур компаративистики, мы не можем.

Вопрос о соотношении реконструированного и реального праязыка (некоторые современные лингвисты, например В. И. Беликов, говорят соответственно о праязыке 1 и праязыке 2 [Беликов 2006: 14–15]) вызывал и вызывает многочисленные споры. Хорошо известно, что на одном полюсе находился А. Шлейхер, искренне считавший, что он познал индоевропейский праязык и может на нем писать, на другом полюсе — А. Мейе, единственной реальностью признававший систему соответствий. При первой точке зрения праязык 1 и праязык 2 отождествляются, при второй — праязык 2 исключается из рассмотрения. Современные компаративисты (А. Б. Долгопольский, С. А. Старостин) стараются избежать обеих крайностей, указывая, что мы реконструируем реальный праязык, но не во всех деталях, поскольку мы не можем восстановить то, что утрачено во всех языках-потомках. А. Б. Долгопольский приводил в 60-е гг. в выступлении в МГУ такой пример. Если бы мы не знали классической латыни, а восстанавливали ее на основе

романских языков, мы бы считали, что там был пассив, но только аналитический: синтетический пассив презентных времен мы бы не восстановили, раз в романских языках он не сохранился. Тем не менее истинного компаративиста обычно отличает вера в «божью правду» своих построений. С. А. Старостин всерьез мечтал дойти, в конце концов, до языка Адама.

Как мы уже отмечали [Алпатов 2000: 75–76], основные методы лингвистической прогностики, если отвлечься от априорных высказываний, основанных на чистой интуиции, сводятся к двум: экстраполяции в будущее тенденции развития, выделенной в прошлом, и аналогии с развитием сходных явлений в других языках. Ранее мы еще выделяли метод, основанный на системности, когда фиксируются «пустые места» или «слабые пункты» системы и постулируется их заполнение или устранение в будущем [Там же: 76]. Однако последний метод может быть сведен к двум основным: к аналогии, поскольку примеры подобных процессов зафиксированы в истории многих языков, и к экстраполяции, так как начальный этап постулируемого процесса может быть уже зафиксирован.

И экстраполяция, и аналогия используются и в компаративистике. Скажем, типологическая верификация реконструированных процессов основана на принципе аналогии: раз такой-то, скажем, звуковой переход документирован в истории ряда языков, а такой-то нигде не зафиксирован, то по аналогии предполагается большая вероятность реконструкции первого перехода, а не второго. А экстраполяция лежит в основе, например, не доказанной, но и не опровергнутой гипотезы о том, что любой реконструированный праязык не выходит за пределы общелингвистических констант, выделенных для реально зафиксированных языков. Показательно такое высказывание: «Фонологическая система наиболее древнего из реконструированных на сегодняшний день языковых состояний — ностратического (не позднее XV тысячелетия до н. э.) — принципиально ничем не отличается от системы фонем любого современного живого диалекта, о более древнем уровне развития человеческого языка остается только гадать» [Милитарёв 1983: 17]. Вообще говоря, достоверно не зная ничего о реальном ностратическом состоянии (праязыке 2), мы могли бы и при реконструкции ностратического праязыка 1 постулировать в нем что угодно, вроде «диффузных фонем», но компаративист исходит из безусловно разумных и целесообразных ограничений, основанных на экстраполяции.

Но компаративистика обладает также и совершенно особым и главным для нее методом — сравнительно-историческим, аналога которому нет в прогностике. Почему возникает такая несимметричность?

Чисто априорно мы могли бы при изучении истории той или иной языковой семьи и восстановлении ненаблюдаемых состояний идти четырьмя путями в зависимости от двух параметров: идем ли мы ретроспективно или проспективно и исходим ли мы из дивергенции (язык-предок распался на языки-потомки) или из конвергенции (несколько языков-предков слились в языке-потомке). Отвлекаемся пока что от допускаемой некоторыми лингвистами возможности

комбинирования процессов дивергенции и конвергенции. Путь 1: от языков-потомков к праязыку. Путь 2: от праязыка к языкам-потомкам. Путь 3: от языка-потомка (скажем, пиджина) к языкам-предкам. Путь 4: от языков-предков к языку-потомку. Пути 2 и 4, кстати, относятся и к прогностике в обычном смысле слова: априорно допустимо и предсказание того, как какой-нибудь современный язык в будущем распадется или как скрестятся некоторые существующие языки.

Реально в лингвистике, однако, существует лишь путь 1. Путь 3 (конвергенция в чистом виде) был декларирован Н. Я. Марром, потерпевшим в результате неудачу. Но, например, И. А. Бодуэн де Куртенэ считал, что надо учитывать и конвергенцию, и дивергенцию, а исходить только из родословного древа могут лишь «знахари и филины» [Бодуэн 1963, 2: 7], т. е. призывал комбинировать пути 1 и 3. Два других пути, связанные с проспективным изучением языкового родства, обычно даже не обсуждаются.

Как известно, исходная гипотеза компаративистов — концепция родословного древа, согласно которой родство языков и методика работы компаративиста определяются дивергенциями языков, а конвергенции (приравняемые к заимствованиям) поверхностны и должны учитываться лишь как возмущающие факторы; т. е. путь 3 заранее отвергается. Против этой гипотезы выступали многие лингвисты, в том числе крупные: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Х. Шухардт, Н. Трубецкой [Трубецкой 1987], в крайней форме — Н. Я. Марр. По сути, гипотеза не доказана, хотя имеет многочисленные подтверждения для самых разных языковых семей и групп и ни одного бесспорного опровержения. Но подтверждение по индукции — не есть доказательство теории. Однако, перифразируя известное высказывание, можно сказать, что для компаративистов учение о родословном древе верно, потому что оно всесильно. Впрочем, есть языки, в отношении которых гипотеза родословного древа особенно часто подвергается сомнению: это пиджины и креольские языки, где могут не соблюдаться регулярные соответствия [Беликов 2006: 57–58]. Можно ли реконструировать, скажем, прасистему для современного английского и креольского языка крио в Сьерра-Леоне? А если можно, то насколько она будет отличаться от английского языка XVII–XVIII вв.? Нам неизвестна ни одна реконструкция такого рода праязыковой системы.

Но и там, где, казалось бы, праязыки восстановить легче всего, компаративисты избегают их восстанавливать, понимая, что праязык 1 будет отличаться от праязыка 2. Когда языки разошлись всего несколько веков назад, то соответствующие праязыки 1 восстанавливать не принято. В сравнительных грамматиках германских языков обычно не представлены не только креольские языки на английской основе, но и идиш и африкаанс. Ясно, что праязыки 2 для этих языков и соответственно немецкого и нидерландского существовали, но совпадут ли с ними, кажется, никем не реконструированные праязыки 1? А слависты избегают такого, казалось бы, естественного занятия, как восстановление восточнославянского праязыка на основе русских, украинских и белорусских текстов последних веков, хотя в отличие от пиджинов регулярные соответствия бесспорны (обычно

они известны не только лингвистам, но и любым людям, владеющим более чем одним из этих языков). Конечно, познавательная сила для славянской истории от такой реконструкции невелика, но ее построение было бы важно для методики компаративистики.

Слависты в наше время вообще считают, что единого восточнославянского праязыка и не было, а современное состояние восточнославянских языков определяется не только дивергенциями, но и конвергенциями. Об этом писали многие крупные ученые, например А. А. Зализняк: «Традиционное представление о монолитном правосточнославянском языке, дальнейшее развитие которого характеризовалось только дивергенцией, является по меньшей мере упрощенным; в действительности здесь значительную роль играли также конвергентные процессы» [Зализняк 1985: 114].

Но многие праязыки 1 восстанавливаются именно так, как восстанавливался бы гипотетический восточнославянский праязык. Так что праязык 1 может отличаться от праязыка 2 весьма сильно, но если для сравнительно недавних языков необходимую коррекцию вносит письменный материал, то с каждым шагом вглубь истории отличие праязыка 1 от праязыка 2 возрастает.

Однако как бы ни были теоретически убедительны И. А. Бодуэн де Куртэнэ и Н. Трубецкой, никакой методики изучения конвергенции для дописьменных эпох ими предложено не было. Не существует она и поныне, и неясно, на основе чего она может быть предложена. Лингвистика никогда не умела и не умеет двигаться в сторону расхождения языков, т. е. пути 2 и 3 пока недоступны. Но и путь 4, идущий в сторону схождения, оказывается недоступен тоже, хотя, например, по языкам, лежащим в основе пиджина, мы что-то об этом пиджине сказать можем. В частности, известно, что пиджин всегда оказывается морфологически проще каждого из языков, лежащих в его основе. Но конкретные черты этого пиджина мы не сможем предсказать: при движении от более древних к более новым состояниям без опоры на письменность слишком много факторов мы не в силах учесть.

Оказывается, что любое перспективное изучение истории языков (не только в будущем, но и в прошлом) обладает малой объяснительной силой. Крайне сложно восстановить ход событий в бесписьменной истории, а в письменной истории трудно выйти за пределы чистой констатации фактов. Как известно, одной из причин недовольства ученых главной лингвистической парадигмой XIX в., приведшей к переходу к структурализму, была невозможность объяснить причины языковых изменений. Многие лингвисты конца XIX — начала XX в., особенно принадлежавшие к Петербургской школе, надеялись объяснить, почему, скажем, в таких-то восточнославянских диалектах ять совпал с *e*, а в таких-то с *и*, а не наоборот. Но сейчас мы не ближе к пониманию этого, чем ученые начала прошлого века. Наука может, с одной стороны, выявить некоторые общие причины изменений, скажем потребности говорящего и слушающего, с другой стороны, сказать, что в истории большого числа языков такие-то изменения бывают часто, а такие-то —

никогда или почти никогда. Но этого оказывается мало. А прогноз исторического развития языка по существу — то же самое, только направленное в будущее.

Некоторые ученые XX в. прямо считали объяснение причин конкретных языковых изменений, а заодно и всю прогностику невозможными. Ежи Курилович в 1949 г. писал: «Конкретная грамматическая система позволяет увидеть, какие “аналогические” изменения в ней возможны... Однако лишь социальный фактор... определяет, осуществляются ли эти возможности и если да, то в какой мере... Изменения, предусмотренные “аналогией”, не являются необходимостью. Поскольку лингвистика вынуждена считаться с этими двумя различными факторами, она никогда не может предвидеть будущих изменений. Наряду с взаимозависимостью и иерархией языковых элементов внутри данной системы лингвистика имеет дело с исторической случайностью (в социальной структуре)... Конкретные исторические проблемы могут решаться удовлетворительно лишь с учетом обоих факторов одновременно» [Курилович 1962: 120–121]. Объявлять какую-то проблему не решаемой в принципе и непознаваемой всегда опасно. Но в одном Курилович был, несомненно, прав: решение данных вопросов, будь то выявление причин изменений в прошлом или предсказание на будущее, невозможно чисто лингвистическими методами, нужно искать общий язык с учеными других специальностей.

Компаративистика — наука, дающая «прогнозы назад», их верификация бывает крайне затруднительной, а изощреннейшая методика не подкреплена адекватной теорией. Но, как писал сто лет назад замечательный швейцарский ученый А. Сеше, «лингвистика фактов сумела самостоятельно пробиться к самым замечательным открытиям. Теоретическая наука лишь следовала за ней. Эта регулярность фонетических законов, эта проверенная эмпирически и так удачно использованная грамматистами гипотеза нуждалась в рациональном обосновании. Такая попытка была предпринята, но и здесь проявилось отставание теории от практики, и следует признать, что эта попытка так до сих пор и не увенчалась успехом. И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли» [Сеше 2003: 43]. Будем надеяться, что такое понимание когда-нибудь придет.

СТРУКТУРА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА

Традиционно лингвистика не обращала особого внимания на вид реализации текста: предполагалось, что письменный текст — просто некоторая перекодировка устного. Если же на данные различия обращали внимание, то часто смешивали и смешивают до сих пор два разных противопоставления: «устный — письменный» и «разговорный — книжный». Предполагается (без каких бы то ни было доказательств), что разговорные тексты должны иметь устную реализацию, а книжные — письменную.

Один из бесчисленных примеров — книга, посвященная норме русского языка [Граудина и др. 1976]. Вот цитата: «Такое употребление чаще встречается в разговорной речи, в строгой письменной речи предпочитается форма родительного падежа» [Там же: 34]; противопоставление разговорной и письменной речи встречается и в других местах (с. 168 и др.), а на с. 152 противопоставлены «письменный стиль речи» и «разговорный литературный язык». Но можно встретить и случаи, когда, наоборот, противопоставлены «письменная разновидность литературного языка» и «разговорная речь» [Там же: 98]. В то же время в качестве антонимов могут фигурировать «устная речь» и «письменная речь» [Там же: 85, 108], «устные» и «письменные формы литературного языка» [Там же: 97]. Иногда «разговорная речь» и «устная речь» оказываются синонимами: «В разговорной речи преобладает нулевая форма... Из устной речи формы на *-ь* (то же, что нулевые формы. — В. А.) проникают и в письменную» [Там же: 129]. Термин «книжная речь» встречается реже других, но вот такой пример: «Варианты на *-е* употребляются в письменной речи и приобрели оттенок книжной или нейтрально-литературной речи» [Там же: 136].

Безусловно, термины *устный* и *разговорный* употребляются в книге без какой-либо системы (как и термины *язык*, *речь* и *стиль речи*). И возникает еще один вопрос, явно не предусмотренный авторами книги, в которой не раз имеются предостережения вроде такого: «В нейтральной же письменной речи смешение родовых вариантов нежелательно» [Там же: 75]. Если мы прочтем вслух письменный текст, где есть такое смешение, то станет ли оно допустимым? Если нет (что, по-видимому, бесспорно), то можно ли относить данное указание именно к сфере *письменной* речи?

Еще раз указываю на то, что такое смешение терминов — не личный недостаток авторов данной книги, а стандартное явление. В то же время были (в том числе и среди русистов) ученые, строго проводившие данное разграничение, как

М. В. Панов: «Разговорный стиль чаще всего воплощается в устной речи (хотя не только в ней), а книжный — в письменной речи (однако не всегда именно в ней)» [Панов 2007а: 151].

Точнее, можно выделить не два, а по меньшей мере четыре противопоставления. Во-первых, это противопоставление каналов речи: устного и письменного. Во-вторых, это противопоставление спонтанной и заранее подготовленной речи. В-третьих, это противопоставление диалогической и монологической речи. Не раз, впрочем, отмечалось, что монолог в чистом виде почти не встречается и всякая речь в той или иной степени диалогична [Щерба 1915: 3–4; Бахтин 1996: 213], однако имеются безусловные отличия между речью, направленной на определенных собеседников, и речью, осуществляемой в отрыве от собеседников. Труднее всего определить четвертое противопоставление, которое, прежде всего, лежит в основе разграничения разговорной и книжной речи. По-видимому, значимы здесь темы общения (для разговорной речи бытовые, для книжной речи интеллектуальные) и разное отношение к языковой норме (норма эксплицитнее и выдерживается строже для книжной речи).

Безусловно, наиболее типичен случай, когда сочетаются, с одной стороны, устность, спонтанность, диалогичность и разговорность; с другой стороны, письменность, подготовленность, (относительная) монологичность и книжность. Такая типичность и обуславливает отмеченное выше смещение понятий. Однако всё же это независимые друг от друга параметры, хотя некоторые сочетания их значений либо затруднительны (например, разговорность и подготовленность), либо маргинальны, как разговорность и монологичность (сами с собой разговаривают обычно пьяные или психически больные). Далее речь будет идти лишь о сочетаемости параметра «устный — письменный» с остальными.

Оба значения данного параметра сочетаются со всеми значениями других параметров. Устный текст может быть заранее подготовлен (лекция, приветственная речь и пр.; крайний случай — воспроизведение текста наизусть), а письменный спонтанен (обмен записками, Интернет). Устный текст может обладать высокой степенью монологичности (лекция, научный доклад или просто прочтение письменного текста при отсутствии собеседников, например при подготовке доклада), а письменный обращаться к определенному собеседнику (те же примеры, что для спонтанности). Наконец, записки или общение в Интернете могут быть, безусловно, разговорными, а произнесенный «по бумажке» или даже «без бумажки» научный доклад — книжным.

Практически все спорные с точки зрения нормы явления, рассмотренные Л. К. Граудиной, В. А. Ицковичем и Л. П. Калакуцкой, связаны с различиями разговорной и книжной речи (большой частью — и с различиями соответствующих вариантов литературного языка). Это видно уже из того, что при произнесении вслух письменного текста или записи устного никаких существенных изменений здесь не происходит. Однако и в русском языке есть различия, связанные именно с каналом речи.

Один из самых очевидных случаев — инициалы. В письменной речи (и книжной, и разговорной) они очень употребительны, однако в любой устной речи они производят комический эффект. Поэтому при произнесении письменного текста приходится инициалы либо опускать, либо развертывать до полного имени (и полного отчества, если оно требуется). Не столь явно различие в отношении так называемого *мы* авторского, но представляется, что оно гораздо уместнее в письменной, чем в устной речи. Только в устной (обычно книжной) речи встречаются двухсловные назывные предложения *Начало цитаты* и *Конец цитаты*: в письменной речи их заменяют кавычки. Кавычки на письме имеют и другие функции, которые при чтении текста вслух приходится передавать каким-то иным образом, вводя эпитет *так называемый* или добавляя предложное сочетание *в кавычках*. С другой стороны, устный вид текста позволяет использовать в нем те или иные интонационные средства, которые могут не иметь аналогов. И вот такое, не всегда привлекающее внимание, различие между устным и письменным диалогом. В устном диалоге редки очень длинные реплики одного из говорящих, не прерываемые собеседником, даже если текст нарративен. Постоянны реплики-реакции собеседника (*Да, Ну и т. д.*), особенно заметные при разговоре по телефону; смены ролей собеседников при этом не происходит, но эмоциональная реакция собеседника влияет на говорящего. В письменном диалоге характер общения делает невозможным употребление подобных реплик.

Если в русском языке подобные различия часто игнорируются и могут не считаться существенными для лингвистического анализа, то в ряде языков они оказываются значительными. К таким языкам относится японский, имеющий ряд особенностей.

В современной Японии стандартна ситуация, когда перед началом научного доклада его слушателям раздается его полный текст, и можно сопоставлять два текста, различающиеся лишь устной и письменной формой. Обратный случай происходит, например, при телевизионных трансляциях парламентских дебатов: передается устное выступление и одновременно его запись бегущей строкой. И в обоих случаях тексты могут оказываться не идентичными по двум причинам.

Одна из причин — иероглифический характер японской письменности (где помимо иероглифов, используются и два вида слоговой азбуки, а в последнее время и латинский алфавит, но иероглифы продолжают играть важную роль). В прошлом японская культура (как и китайская) имела резко выраженный письменный характер, что до некоторой степени сохранилось и сейчас. Иностранцы наблюдатели замечают, что японцы, припоминая какое-нибудь слово, пишут пальцами в воздухе соответствующий иероглиф и лишь после этого произносят не столько слово, сколько его чтение [Gottlieb 2005: 78]. Но не всегда бывает ясно, как прочесть письменный текст, и из-за значительной омонимии, снимаемой в иероглифическом написании, и из-за различий устного и письменного вариантов языка, затрудняющих, но иногда и облегчающих общение. Вот примеры: плакат ко Дню леса состоит из множества одинаковых иероглифов со значением 'лес', а на плакате,

посвященном марафонскому забегу, помещен только один иероглиф со значением 'бег'. Зритель сразу понимает, о чем плакат, хотя полученная информация требует уточнения. При этом в обоих случаях неясно даже, как читать иероглифы: они имеют несколько стандартных чтений. Именно поэтому один и тот же текст часто бывает нужно дублировать в устном и письменном варианте. Однако достаточно часто устный текст (прежде всего, устный книжный) бывает не вполне понятен на слух, поэтому при чтении письменного текста могут заменять слово на более понятный слушающему синоним или указывать, какой иероглиф здесь употреблен.

Другая причина — существование развитой системы так называемых форм вежливости. Этот термин закрепился в японистике, хотя правильнее здесь говорить не о вежливости, а об этикете, правила которого социально обусловлены [Храковский, Володин 1986: 224–225]. Имеется развитая система грамматических форм, передающих социальные отношения между говорящим, слушающим и лицами, о которых идет речь; подробнее см. [Алпатов 1973]. Имеются и лексические, и прагматические средства выражения этих отношений. Американцы считали японцев «самым вежливым народом на Земле», но видели в этом признак лживости [Gudykunst 1993: 3], а И. А. Гончаров видел в «приседаниях» японцев признак «азиатчины» и отсталости, но и в современном языке правила языкового этикета упростились, но во многом продолжают существовать.

В принципе любые формы этикета возможны и в устной, и в письменной речи (тогда как противопоставление диалога и относительного монолога влияет на их использование: чем менее явно наличие собеседника, тем они менее необходимы). Однако имеются различия в их употреблении. В письменном тексте научного доклада может вообще не быть форм этикета, но при произнесении его вслух, во-первых, все сказуемые преобразуются в форму этикета по отношению к собеседнику с суффиксом *-mas-*, во-вторых, если речь заходит о действиях уважаемых предшественников (*профессор А писал...*), то нейтральные формы глагола заменяются на этикетные по отношению к субъекту, в-третьих, при обозначении собственных действий нейтральные формы заменяются на так называемые скромные (этикетные по отношению к объекту). А при воспроизведении на телеэкране парламентских речей этикетные формы теперь стали сокращаться. Причины таких различий могут быть разными. При чтении научного доклада возрастает степень диалогичности по сравнению с его письменным функционированием. Но опущение форм этикета на телевидении не может быть объяснено таким образом (этикет по отношению к зрителям там соблюдается достаточно строго). Видимо, дело в том, что при дефиците времени, когда текст надо быстро прочитать, он подвергается компрессии: опускаются наименее необходимые его части.

С этикетом связаны и особенности японского диалога. В частности, в английском и других языках вводная часть диалога отсутствует или крайне невелика. Но в японском диалоге у обоих участников много вроде бы не несущих информации вводных слов и междометий, они, однако, нужны для установления контакта

между собеседниками (фатической функции, по Р. Якобсону). Например, перед началом повествования одного из собеседников нужно, чтобы он удостоверился в отсутствии враждебных намерений у партнера, а тот пригласил его начать рассказ. Для носителя английского языка такая стратегия может показаться чересчур уклончивой, но «сотруднический» (collaborative) стиль японского диалога этого требует [Fuji 2007]. В письменной речи в прошлом существовало нечто подобное, но сейчас это уже не обязательно. В вежливой официальной речи стало употребляться даже специальное слово *zenryaku*, буквально 'предыдущее опущено', что означает «без вступительных слов перехожу прямо к делу».

В спонтанной устной японской речи (но не в письменных текстах) едва ли не большинство предложений выглядит оборванным. И это не считается нарушением этикета, часто даже наоборот. Нередко оба собеседника в одном предложении успевают поменяться ролями: один из них останавливается и дает другому закончить. И даже при грамматической законченности в японской устной речи постоянны эллипсис и недоговорки, особенно в общении со «своими».

Наконец, для японского диалога особенно характерны вышеупомянутые короткие реплики-реакции, вклинивающиеся в речь собеседника. В Японии они именуются *айдзуту* (*aizuchi*), буквально 'совместные молоты' (по-английски back-channels), и им посвящена довольно обширная литература, см., например, [Tanaka 2004: 137–200]. Как правило, в ходе японского диалога, когда говорит один из партнеров, другой вклинивает в его речь разные, обычно короткие слова вроде *hai* 'да', *e* 'да', *naruhodo* 'в самом деле', показывая свою заинтересованность в продолжении речи собеседника и вовлеченность в диалог, а зачастую (но не всегда) и согласие с собеседником. В разговоре повествовательные куски просто невозможны без участия собеседника, который должен вставлять айдзуту, не прерывающие повествование, а, наоборот, сигнализирующие о необходимости его продолжения. Именно с этим связана сейчас уже часто отмечаемая иностранцами особенность японского слова *hai*: оно значит 'да' в качестве ответа на вопрос, но в качестве айдзуту означает не согласие, а знак внимания и заинтересованности слушателя. Иностранцы его могут ошибочно понять как согласие (например, на деловых переговорах), что может быть и совсем не так [Ibid.: 171]. Количественно айдзуту встречаются в три раза чаще, чем в английском [Akasu, Asao 1993: 101], еще чаще, чем в китайском и, по-видимому, в русском языке.

Нельзя не отметить и то, что время вносит в данную проблематику свои поправки. До недавнего времени письменная разговорная речь в русском и ряде других языков встречалась так редко, что исследователи могли ее игнорировать. Но теперь по всему миру на многих языках распространились интернет- и SMS-сообщения. Это письменные тексты, но среди них, наряду с книжными, много и разговорных. Как пишет, например, журналистка Е. Пищикова, «интернет-русский — это же типичная запись устной речи» (Новая газета, 19.11.2010). Но это не вполне так, здесь стали наблюдаться явления, которых нет ни в устной, ни в письменной книжной речи.

Русские тексты такого рода, как уже хорошо известно, отличаются не только специфической лексикой, но и намеренными нарушениями орфографии, которые просто не могут иметь эквивалентов в устной разговорной речи. В итоге создаются особые коды, понятные лишь посвященным; здесь ярко проявляется социальная функция языка. Любопытно и здесь сопоставить русский язык с японским. Там также появляются нестандартные виды письма, распространенные у молодежи, особенно у девушек. Среди школьниц, студенток и младшего персонала компаний («офисных леди») получил распространение так называемый *gyaru-moji* ‘девичий алфавит’, иногда также именуемый *heta-moji* ‘неумелый алфавит’. Он употребляется исключительно для дружеского письменного общения между девушками, обычно по мобильному телефону, но иногда и от руки; он пропагандируется в журналах для девушек. Для *gyaru-moji* характерны графическое видоизменение письменных знаков (как иероглифов, так и слоговых азбук), их использование в границах, не предусмотренных нормой. Строгих правил здесь нет, возможны любые индивидуальности. Несколько ранее, в 80–90-е гг., существовал другой графический стиль *maru-moji* ‘круглое письмо’, он также распространялся среди девочек-подростков и молодых девушек. Сейчас этот стиль вышел из моды. Более поздний стиль рвет с традицией радикальнее: знак может терять инвариантность, например иероглиф может разделиться на два, чего раньше не было, во-вторых, в более раннем стиле сохранялись некоторые устойчивые правила деформации знаков, а сейчас степень свободы увеличилась. То есть отклонения от стандарта со временем стали больше. Для русского языка такой вид языковой игры нехарактерен: экспериментируют с орфографией, но не с графикой.

Таким образом, «устный — письменный» и «разговорный — книжный» — два разных противопоставления, и их различия не следует игнорировать, тем более что в последнее время они для многих языков стали увеличиваться.

ПРОБЛЕМА СЛОВА И ПСИХОЛИНГВИСТИКА

Я ни в коем случае не могу относить себя к специалистам по психолингвистике. Однако исследование проблемы слова (а также проблемы частей речи) привело меня к пониманию того, что основные единицы, выделяемые в науке о языке, в первую очередь слово, отражают реальные механизмы мозга, изучаемые психолингвистикой, одним из ведущих специалистов в которой является Наталья Владимировна Уфимцева.

Нет необходимости говорить о том, насколько большое место занимает понятие слова в лингвистике. Приведу лишь несколько высказываний ученых разных времен и стран. «Слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка» [Соссюр 1977: 143]. «Слово (применительно к любому языку) представляет собой едва ли не единственную единицу, представление о которой имеет любой говорящий, даже неграмотный, чего нельзя сказать... о других значимых единицах, больших и меньших слова» [Кузнецов 1964: 75]. «Слово — основная единица естественного языка» [Мельчук 1997: 7]. «В традиционной грамматике (с точки зрения, преобладающей по крайней мере в западной культуре) основным строительным блоком является слово» [Даль 2009: 313]. Понятие слова появилось в европейской лингвистической традиции, начиная с ее истоков в античности, и сохраняет свое значение до сих пор, хотя в некоторых направлениях современного языкознания появилась тенденция отводить слову меньшее место, а то и отрицать его значимость [Haspelmath 2011]. Надо также отметить и то, что в других лингвистических традициях также присутствует некоторая базовая единица лексики, являющаяся в большинстве традиций (кроме китайской) одновременно и базовой единицей грамматики,

Столь же хорошо известно, что многочисленные попытки строгого определения слова связаны со значительными трудностями. «Уже предложено бесчисленное количество определений слова, которые существенно отличаются друг от друга и редко использовались кем-нибудь, кроме (и то не всегда) самих их авторов... Сама возможность появления приемлемой для большинства лингвистов дефиниции слова представляется, по крайней мере, сейчас, довольно сомнительной» [Шмелев 1973: 35]. «Несмотря на выдающуюся роль понятия слова в нашем повседневном осмыслении языка, наше понимание природы слов все еще ограничено» [Даль 2009: 308].

Кроме того, базовые единицы других традиций по своим лингвистическим характеристикам могут отличаться от того, что мы привыкли называть словом. В китайской традиции они соответствуют корням, а в японской традиции знаменательные единицы чаще всего сходны с тем, что мы называем основой слова, тогда как в число служебных базовых единиц попадает и большинство грамматических аффиксов [Алпатов 2005б: 33–36].

Представляется, что продвинуться в изучении проблемы слова можно, если обратиться к психолингвистическому механизму человека. Интуиция носителей различных языков недоступна прямому наблюдению, а непосредственное изучение речевых процессов мозга, лежащих в ее основе, крайне затруднительно и сейчас, в начале XXI в., делает лишь первые шаги. Однако косвенные, но очень значимые данные для их понимания дает изучение речевых расстройств (афазий) и исследование детской речи.

При афазиях выходят из строя те или иные участки мозга, вследствие этого «не возникает новых единиц, хотя могут выпадать отдельные звенья исходной системы и нарушаться правила функционирования языковых единиц» [Касевич 2006: 102]. Разные виды афазий рассматривались в классической книге [Лурия 1947]. Один вид афазии А. Р. Лурия назвал «телеграфный стиль». Такие больные сохраняют способность произносить изолированные слова и не теряют словарный запас, но не могут произносить их сочетания; на уровне отдельных слов происходит и восприятие [Там же: 76–77]. Служебные слова не употребляются, используются (кроме отдельных штампов) лишь формы именительного падежа единственного числа (реже именительного падежа множественного числа) существительных, инфинитива и 1-го лица единственного числа настоящего времени глаголов. Вот пример пересказа содержания фильма: «Одесса! Жулик! Туда... учиться... море... во... во-до-лаз! Армена... па-роход... пошло... ох! Батум! Барышня... Эх! Милицинер... Эх!.. Знаю!.. Кас-са! Де-нег. Эх!.. папиросы. Знаю... Парень... Пиво... усы... Эх... денег. Микалай... Эх... Костюм... водолаз... Эх... маска... свет... эх... вверх... пошел... барышня» [Там же: 91].

При другом виде афазии происходит во многом обратный процесс: сохраняется способность сочетать слова, однако сам механизм хранения слов в памяти нарушен. «Наиболее абстрактные слова словаря, а также чисто аналитические единицы, такие как союзы, предлоги, местоимения, артикли, лучше всего сохраняются и чаще употребляются в речи больных, фокусированных на контексте» [Там же: 133, 141]. Могут также сохраняться хорошо знакомые, привычные слова, воспринимаемые «иероглифически» при невозможности расчленив их на звуки или буквы. Так, больная данным видом афазии журналистка не могла назвать буквы, зато без затруднений произносила слова «Правда», СССР, Москва, «Известия», революция, колхоз, фашизм и др. [Там же: 113–114]. Речь таких больных состоит из коротких фраз с правильным употреблением грамматических форм и крайней бедностью лексики. Вот рассказ больного о ранении и о том, что до ранения он хорошо говорил: «Мне прямо сюда... и всё... вот такое — раз. Я не знаю... вот так вот...

И уже не знаю... Когда я тут — и никак... ничего... никак... Сейчас ничего... А то — никак... Я когда-то... ох-ох-ох! Хорошо! А сейчас никак» [Лурия 1947: 133].

См. также исследования Д. Л. Спивака, изучавшего процесс постепенного выхода из строя речевого механизма при инсулиновой терапии [Спивак 1980; 1983; 1986]. При лечении инсулином происходит как бы искусственная афазия, которую можно дозировать и исследовать на разных этапах. Речевой механизм временно выходит из строя, происходит это постепенно, однако на всех этапах слова, как правило, сохраняются, не заменяясь ни на части слов, ни на словосочетания, хотя актуальные для больного штампы могут сливаться в единый комплекс: *лечаще'врач, у лечаще'врача* [Спивак 1986: 27]. В то же время уже на самых первых стадиях афазии больные не могут преобразовать в прошедшее время бессмысленные слова с реальными окончаниями глаголов настоящего времени [Спивак 1980: 143–144; 1986: 27]. Слова постепенно становятся неразложимыми на морфемы, возрастает роль порядка слов, в том числе актив и пассив начинают различаться в зависимости от словоупотребления: фраза *Девочка написать письмо* воспринимается в значении *Девочка написала письмо* [Спивак 1980: 146]. Одновременно сокращается и словарный запас.

Важны также исследования коллектива, основанного Л. Я. Балонным и В. Л. Деглиным и ныне возглавляемого Т. В. Черниговской. Эти специалисты наряду с экспериментальным исследованием афазий носителей разных языков ведут и непосредственные исследования речевых механизмов мозга. Экспериментально подтверждено, что среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформленным» [Черниговская и др. 2009: 15; Черниговская 2013: 168]. Разумеется, это относится не только к глаголам, но и к именам. А при нарушениях механизмов мозга «морфологические процедуры почти не производятся: в ментальном лексиконе слова хранятся целиком, списком, без осознания их структуры» [Черниговская 2013: 147]. Отмечается «невозможность оперировать служебными морфемами» при афазиях [Там же: 167].

Все эти исследования подтверждают центральную роль слова в порождении речи. Такой вывод сделал еще А. Р. Лурия: «Основным динамическим единством нормальных артикуляторных процессов является слово» [Лурия 1947: 84].

Среди лингвистов на необходимость учета данных афазий при решении проблемы слова более тридцати лет назад указал А. Н. Головастиков, интерпретировавший вышеупомянутый «телеграфный стиль» (ТС) [Головастиков 1980: 42–43]. Он отмечал: «Образование словоформ от одной исходной словоформы, а не непосредственно от основы, больше соответствует обыденным представлениям носителя языка... Очень вероятно, что многие словоформы... хранятся в человеческом мозгу в готовом виде, хотя наряду с этим могут быть и синтезированы» [Там же: 43]. Важно и такое наблюдение: «Лингвистически необразованный носитель русского языка ни при каких обстоятельствах, в том числе и при афазии любого типа, не произносит флексию без основы или основу без флексии (если она не совпадает

с одной из форм — ср. *стол, коров*), которая может вообще не восприниматься как что-то относящееся к русскому языку: ср. *ид-, ш-, ст-, пе-* (в *идти, шла, сто, петь*). Аналогично, при исправлении неправильно услышанной собеседником формы слова (напр., *палку* вместо *палкой*) обычный носитель повторит: “палкой!”..., в лучшем случае “палкой” или “кой”, но никогда “ой” (т. е. флексию без основы). Не так обстоит дело, например, с предложениями: при исправлении может быть сказано “в”, а не “на”. Подобные факты свидетельствуют о неразрывности основы и флексии» [Головастикив 1980: 44].

Вывод А. Н. Головастикива: в человеческом мозгу в готовом виде хранятся некоторые исходные словоформы, единые и неразрывные независимо от возможности их членения на морфемы; неисходные словоформы образуются от исходных. К подобным выводам приходит и Т. В. Черниговская: «Можно говорить о “слоях”, составляющих язык: это *лексикон* — сложно и по разным принципам организованные списки лексем, словоформ и т. д.; *вычислительные процедуры*, обеспечивающие грамматику (морфологию, синтаксис, семантику и фонологию), механизмы членения речевого континуума, поступающего извне, и прагматика» [Черниговская 2013: 631].

В то же время отдельный уровень морфем (как, вероятно, и уровень словосочетаний) не выделяется: ни при каких видах афазий больные не оперируют морфемами, а способность делить слово на значимые части, несомненно существующая у здоровых носителей языка (без нее нельзя было бы образовать новые слова путем деривации или композиции), быстро исчезает при афазиях.

Материалам исследования афазий полностью соответствуют и исследования детской речи, ставшие в последнее время очень активными, в том числе и в России [Цейтлин 2000; 2009]. Если при афазиях теряются те или иные компоненты речевого механизма, то у детей этот механизм постепенно формируется. Исследователи отмечают, что на раннем этапе развития (когда уже пройдена стадия произношения отдельных звуков и слогов) сначала возникают слова-предложения. В это время грамматически полные фразы составляют лишь небольшой процент высказываний; при восприятии речи также из высказываний окружающих выхватываются отдельные слова, на которые происходит реакция [Лурия, Юдович 1956: 32–38]. Таким образом, на этом этапе есть слова, которые имеют вид «замороженных словоформ» [Цейтлин 2000: 84], но нет возможности соединять их [Лурия, Юдович 1956: 38; Гринфилд 1984; Кларк, Кларк 1984: 356–365]. В частности, «протоглаголы» «не обладают еще глагольными категориями и системой словоизменения, свойственным глаголам в нормативном языке. И тем не менее они выглядят как некие знакомые глагольные формы, поскольку содержат, кроме основы, еще и словоизменительные аффиксы» [Цейтлин 2000: 138]. Как правило, это те же словоформы, какие произносились афатиками при «телеграфном стиле». «Бесфлексийное использование слов вообще невозможно» [Цейтлин 2009: 112].

И на более поздних этапах развития у детей наблюдаются те же тенденции к пониманию слова как минимальной смысловой единицы. Пока не освоено

словоизменение, ребенок исходит из грамматической роли порядка слов, ср. аналогичные явления при афазиях. Даже ребенок, с которым велись специальные занятия в течение года, испытывал трудности в различении фраз *Покажи ключом гребешок* и *Покажи гребешком ключ*; ребенок, с которым не велись занятия, вообще не был в состоянии различить эти фразы [Лурия, Юдович 1956: 58]. По-видимому, через этот этап проходят все дети независимо от строя языка [Цейтлин 2000: 87; 2009: 109].

Поначалу в речи детей фигурируют лишь некоторые словоформы. Позднее появляются и другие грамматические формы, причем формы косвенных падежей с нулевым аффиксом позже всего. Данный этап характеризуется как формирование «механизма словоизменительной операции» [Цейтлин 2009: 34], «операции по созданию словоформы на основе парадигматических ассоциаций» [Там же: 81]. Дети приобретают способность образовать любую форму неизвестного слова [Там же: 61]. Представления о морфемах, «умение вычленять в составе словоформ значащие части» [Там же: 61] формируются намного позже: педагогам даже приходится специально разрабатывать методы обучения детей в школе членению на морфемы [Ждан, Гохлернер 1972: 63–72], что не оказывается необходимым для членения на слова. У детей всё начинается со слов, тогда как при афазиях всё кончается словами.

Во всех приведенных для русского языка примерах слова — это словоформы. Но как здесь обстоит дело в других языках? Оказывается, что уже для английского языка ситуация несколько иная. На том этапе, когда русские дети говорят «замороженными словоформами», англоязычные дети говорят основами; американские исследователи отмечают «телеграфную речь» у этих детей, в которой отсутствуют аффиксы и служебные слова [Цейтлин 2000: 84; 2009: 112]. И у русских детей служебных слов на соответствующей стадии еще нет, но еще не вычленяемые аффиксы абсолютно необходимы. И исследования афазий, проведенные Т. В. Черниговской и ее сотрудниками, приводят к выводу, что в английском языке регулярные формы прошедшего времени с элементом *-ed* (который принято считать аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом виде (воспроизводятся); нерегулярные формы неправильных глаголов, однако, воспроизводятся [Черниговская и др. 2009: 14; Черниговская 2013: 167].

Многие исследователи, изучающие афазии и детскую речь на материале английского языка, приходят к выводу о «независимых механизмах порождения этих двух видов паттернов, согласно которым регулярные глаголы выводятся в соответствии с символическими правилами, а нерегулярные извлекаются из памяти целиком» [Черниговская 2013: 151]. Однако «все эти гипотезы разрабатывались на материале английского языка... Очевидно, что они не могут полностью применяться к языкам с более развитой морфологической системой» [Там же: 172]. «Можно предположить, что резкое противопоставление регулярного и нерегулярного механизмов в русском языке не является продуктивным» [Там же: 173]. Не связано ли с этими различиями стремление англоязычных лингвистов избавиться

от слова, не свойственное отечественным исследованиям, и ряд других отличий национальных вариантов традиции?

Исследования детской речи, проводимые в Японии, вполне подтверждают отдельность знаменательных слов в их традиционных для японской науки границах. У детей в ряде исследований выделяется период, когда речь состоит из отдельных знаменательных слов [Найакэ 1982: 7–9; 1984: 1–2; Мурата 1984: 127–141]. Японские исследователи прямо делают вывод о том, что исследования детской речи соответствуют традиционным представлениям о главной единице языка [Ямада, Сутаинабагу 1983: 65]. И те служебные элементы, которые в традиции считаются отдельными словами, сохраняют такой же статус в детской речи; они появляются, как и служебные слова европейских языков, относительно поздно [Найакэ 1982: 9; Мурата 1984: 216; Найакэ 1984: 3, 11]. То же небольшое количество грамматических аффиксов, которое признается традицией, также появляется в детской речи в качестве частей слов [Найакэ 1984: 3–9; Мурата 1984: 197–198].

Итак, и для носителей японского языка нормой является хранение в памяти некоторых средних по протяженности единиц (больше морфемы, но меньше предложения), т. е. слов; представление об этих единицах отражено в японской традиции; подробнее см. в статье «О психологической адекватности основных понятий европейской и японской лингвистической традиции» в настоящем сборнике.

Итак, исследования афазий и детской речи, с одной стороны, подтверждают наличие базовой психолингвистической единицы для языков различного строя, которая может быть названа словом, с другой стороны, показывают различия лингвистических свойств слов в разных языках. Можно считать: слова как норма хранятся в мозгу человека и в большинстве случаев в процессе речи берутся в готовом виде. Это не исключает возможности хранения в памяти более протяженных единиц от словосочетаний вроде *начальник радиостанции* до целых текстов. Единицы, хранимые в мозгу, не обязательно должны быть совершенно однородными по своим свойствам, это и обеспечивает разброс между разными лингвистическими определениями слова.

Тем не менее хранение базовых слов в мозгу является нормой, что не исключает возможности хранения там и других единиц. Данные афазий показывают, что в мозгу имеются по крайней мере три механизма: хранения единиц (лексический механизм), сочетания единиц (синтаксический механизм) и преобразования базовых единиц в небазовые (морфологический механизм); последний свойствен разным языкам от русского до японского, но его существование, вероятно, свойственно не всем языкам, в отличие от двух других механизмов. При формировании языка у детей (как и, по мнению ряда исследователей, при появлении в прошлом человеческого языка) «модификация знака путем добавления к нему другого знака порождает синтаксис»; «модификация же знака путем изменения или добавления к нему элементов, не являющихся отдельными знаками, порождает морфологию»

[Бурлак 2011: 373]. Агглютинативные элементы и, по-видимому, некоторые флективные (что показывает пример японского языка) возникают путем добавления к знаку (первичной единице) элементов, не являющихся отдельными знаками; флексии древнегреческого, латинского, русского и отчасти японского языков возникают путем изменения знака.

Строго лингвистическое определение слова, которое полностью бы совпадало с традицией, по-видимому, невозможно: традиция не строго последовательна и стремится к комплексному пониманию слова. Но из этого не вытекает отказ от понятия слова, которое скорее надо понимать как психолингвистическое.

— СОЦИОЛИНГВИСТИКА —

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В РОССИИ И ЯПОНИИ (Опыт сопоставительного анализа)

В данной статье мы хотим сопоставить процессы формирования и развития литературного языка в двух странах — России и Японии. На первый взгляд, эти две страны, принадлежащие к разным культурным ареалам и в нынешний период оказавшиеся в очень различных ситуациях, имеют между собой мало общего. Однако кое в чем исторические судьбы их имеют и сходство: обе страны относительно долго сохраняли традиционный, средневековый тип общества, а затем подверглись ускоренной европеизации, оказавшись в роли «догоняющих»; в культурном отношении там и там происходил процесс синтеза традиционных¹ и западных элементов; как в России, так и в Японии развитие шло скачкообразно и сравнительно спокойные эпохи сменялись периодами коренной ломки и переоценки ценностей. Такая общность проявлялась и в истории литературного языка, хотя, безусловно, немало было и различий. Нам хотелось бы попытаться выявить эти сходства и различия начиная от периода ускоренной европеизации (петровское время в России, 60–70-е гг. XIX в. в Японии) до наших дней.

Сами по себе истории развития литературного языка в каждой из двух стран изучены хорошо. Исследований русского материала немало², здесь наряду с классическими работами В. В. Виноградова и Г. О. Винокура хотелось бы отметить недавно изданную книгу М. В. Панова [Панов 1990], специально посвященную истории литературного произношения, но содержащую и краткие, но четкие и точные характеристики этапов развития русского литературного языка с начала XVIII в. до наших дней. В Японии существует немало исследований, выполненных в рамках социолингвистической школы «языкового существования» (см. анализ этой школы в книге [Неверов 1982]). В отличие от нашей страны, в Японии основное внимание уделяется описанию функционирования литературного языка в современном обществе, однако существуют и обстоятельные исследования исторического характера, см., например, [Kooza 1972]. У нас данными вопросами занимался

¹ Еще одна общность связана с тем, что там и там традиционные элементы в свою очередь были результатом синтеза исконной культуры с более передовой: византийской в России, китайской в Японии.

² Они, однако, неравномерны по временным рамкам: если XVIII и XIX вв. изучены весьма полно, то литературный язык советского периода во многом остается «белым пятном».

Н. И. Конрад, см. особенно статью [Конрад 1960]. Н. И. Конрад одним из первых в нашей науке занимался и сопоставительным анализом историй литературных языков: в той же статье японские процессы сопоставляются с аналогичными китайскими. Однако систематическим сравнением таких процессов в России и Японии мы занимаемся, по-видимому, впервые (о Японии мы писали в [Алпатов 1993]).

1. Ситуация накануне европеизации

Речь идет о ситуации в России к концу XVII в., в Японии в середине XIX в. В главном здесь существовало сходство, конечно не составляющее специфики этих двух стран. Речь идет о функциональной диглоссии, при которой грамотные люди говорили на одном языке, а писали на другом. Автор первой зарубежной грамматики русского языка Г. В. Лудольф писал в 1696 г.: «Не только Св. Библия и остальные книги, на которых совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком... В домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по которым научаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» [Ларин 1937: 113–114].

В Японии ситуация была сходной, хотя в отличие от России письменных языков было два: камбун и бунго. Из них камбун представлял собой специфическое для дальневосточного культурного ареала явление, аналоги ему существовали лишь в пределах этого ареала, в частности в Корее, и, по-видимому, возможны лишь для стран, использующих иероглифику. Тексты на камбуне (дословно: китайское письмо) писались как бы по-китайски: они состояли из одних иероглифов, расположенных по правилам китайского синтаксиса³, но обычно снабженных дополнительными значками, указывавшими, во-первых, на случаи, когда японский словоупотребление не соответствовало китайскому, во-вторых, на наличие в эквивалентном японском тексте не имевших китайских параллелей грамматических показателей. Камбун был не только чисто книжным, но и чисто письменным языком. Если же камбунный текст надо было произнести вслух, то его читали на бунго, используя информацию, содержащуюся в значках. Аналогом камбуна для России могла бы быть гипотетическая ситуация, при которой русский канцелярист писал бы свои бумаги по-гречески, зная при этом значение всех используемых слов и правила греческого синтаксиса, но не владея правилами произношения греческих букв

³ Японцы, писавшие на камбуне, считали, что пишут на самом для них престижном китайском языке, на деле же в камбунных текстах проявлялась языковая интерференция и они отличались от китайских.

и озвучивая свой текст при необходимости по-церковнославянски. По-видимому, такая ситуация просто невозможна при фонетическом письме, когда правила чтения букв усвоить гораздо легче, чем сложные правила перевода одного языка в другой. Формирование камбуна облегчалось и строем китайского языка, лишенного морфологии.

В отличие от камбуна, бунго (дословно: письменный, литературный язык⁴) можно типологически сопоставить с церковнославянским. Это также был полностью «свой» литературный язык. По происхождению, правда, церковнославянский восходил к разговорному языку другого славянского народа, бунго же представлял собой обработанный язык столичного (киотоского) двора IX–XII вв., т. е. на всех этапах развития был языком японцев⁵. Другое различие состояло в том, что церковнославянский был общим языком культуры ряда народов, а бунго ограничивался пределами обособленной островной Японии. Но пути их развития сходны: из разговорных они превратились в книжные, подверглись нормированию и к рассматриваемому времени полностью вышли из бытового обихода.

Два японских литературных языка жанрово распределялись: камбун господствовал в деловой сфере, на нем также писали научные трактаты ученые «китайской школы» (кангакуся). В художественной литературе, театре, религии использовали бунго, его предпочитали и кокугакуся, ученые «японской школы» (именно они создали национальную лингвистическую традицию и определяли нормы бунго). Ср. с ролью церковнославянского, использовавшегося почти во всех культурных сферах, но менее всего в деловой; здесь мы имеем параллель с бунго. Но соотношение сфер употребления отличалось: показательно само (появившееся позже) название «церковнославянский язык», «связь с богослужением всегда определяла отношение к этому языку» [Успенский 1985: 4]. Эта окраска определялась самим происхождением этого языка, распространившегося на Руси вместе с христианской литературой. Бунго же имел светский характер, формировался он, прежде всего, в сфере художественной литературы, а его религиозное использование было лишь одной из функций.

Сами носители языка в обеих странах, безусловно, воспринимали церковнославянский и бунго не как особые языки, а как наиболее престижные варианты собственного языка. В Японии такой взгляд, как мы увидим, существовал не только тогда, но и много позже. Применительно к России и некоторые лингвисты оценивают различия русского и церковнославянского аналогичным образом; Г. О. Винокур писал о церковнославянском языке и о «приказном языке»

⁴ Этот термин представляет собой кальку с голландского и распространился уже в период европеизации Японии.

⁵ Это различие не было существенным в данную эпоху, но позже, в период борьбы за новый литературный язык, его сторонники в России рассматривали церковнославянский не просто как другой язык, но как чужой, иностранный [Успенский 1985: 32, 39]. В Японии такая точка зрения никогда не существовала и принципиально была невозможна.

(см. ниже): «Надо думать, что в допетровское время это были, собственно, не два разных языка, в точном смысле термина, а скорее два разных стиля одного языка» [Винокур 1959: 111]. На наш взгляд, здесь точнее подход М. В. Панова: «Есть две системы словесного общения, и ими владеет один и тот же народ, более того: одна и та же территориальная и социальная группа людей. Когда такие системы надо считать двумя языками (а не стилями, не разновидностями одного языка)? Самый простой и, может быть, самый убедительный ответ: когда каждой системе надо отдельно учиться. По-другому (но то же): когда знание одной системы нельзя по каким-то правилам превратить в знание другой» [Панов 1990: 319]⁶. С этой точки зрения бунго и церковнославянский — особые языки.

Еще одна общность заключалась в том, чем эти языки различались с разговорными. «В области морфологии граница между “славенским” языком и “простым русским” обнаруживалась нагляднее всего» [Винокур 1959: 126]. То же было и с бунго. Когда разговорный язык в том или ином виде получал письменную фиксацию, главным индикатором того, что здесь — не бунго, всегда является морфология, весьма сильно, особенно в глаголе, отличная от бунговской; см. перечень отличий в морфологии между бунго и разговорным языком XVI–XVII вв. у Н. А. Сыромятникова [Сыромятников 1965: 6–7].

Оба литературных языка были нормированы. «Литератор предшествующего времени (до конца XVII в. — В. А.) мог быть в большей или меньшей степени грамотен, мог более или менее строго соблюдать предписания господствующей языковой нормы или же уступать время от времени внушениям своей обиходной речи, но всегда знал, что такая норма есть, что изучают ее по “Часослову” и “Псалтыри”, что ее литературное выражение можно наблюдать в “Четых Минеях” и других подобных книгах» [Винокур 1959: 72]. В Японии также существовали образцовые тексты. Однако если все памятники, названные Г. О. Винокуром, — церковные, то в Японии это были светские художественные тексты, поэтические и прозаические: поэтическая антология X в. «Кокинсю», прозаический памятник XIV в. «Цурэдзурэгуса» и др. Другой источник нормы — инструкции и наставления в грамматиках и трактатах. Тут были различия. «Нормы церковнославянского языка определялись не столько нормативными грамматическими описаниями... сколько наличием, так сказать, образцовых текстов, написанных на этом языке» [Успенский 1985: 3]. Церковнославянских грамматик, написанных в России, не было, а русское издание в 1648 г. написанной в Вильно грамматики М. Смотрицкого стало единственным в своем роде; правда, еще бывали краткие наставления вроде предисловия к изданной в Москве в 1645 г. «Псалтыри», см. [Винокур 1959: 72–73]. Б. А. Успенский отмечает, что «описания такого рода появляются вообще относительно поздно» [Успенский 1985: 3], но Япония опередила здесь Россию: к моменту европеизации

⁶ Пример камбуна показывает, что, вообще говоря, это не «то же». Как мы видели, существовали правила соответствия между бунго и камбуном, но каждой системе приходилось учиться отдельно.

здесь уже два века существовала развитая лингвистическая школа, заложившая основы грамматического анализа и установившая строгие орфографические нормы бунго, основанные на детальном анализе орфографии образцовых, в основном древнейших, памятников. Подробнее о японской традиции см. [Алпатов и др. 1981].

Нормы бунго, в отношении орфографии значительно более разработанные по сравнению с нормами церковнославянского языка, тем не менее были менее полными: они не распространялись на фонетику. Существовала достаточно строгая и охватывавшая зоны распространения различных диалектов традиция церковнославянского произношения, перечисление ее основных черт см. [Панов 1990: 322]. Для бунго ничего подобного не было, хотя тексты на бунго могли произноситься и вслух. «Озвучивание» текстов на бунго обычно происходило по-разному в разных частях Японии в зависимости от диалектного членения. Определенные традиции иногда были, например, в театре, но были скорее жанровыми. Причина здесь, видимо, в особенностях дальневосточного культурного ареала: здесь всегда (по крайней мере, до массовой европеизации) культура понималась почти исключительно как письменная, существовал своего рода «культ» написанного. Здесь сыграли роль и сложность иероглифической китайской письменности, вызывавшей почтительное отношение, и языковая ситуация, издавна сложившаяся в Китае, где отсутствовало речевое взаимопонимание между жителями разных провинций и языковое единство поддерживалось лишь на письме⁷. Из Китая эта культурная особенность перешла в Японию. И в наши дни один из виднейших японских социолингвистов пишет о том, что для других народов, в том числе для европейцев, слово — это прежде всего то, что сказано, а письмо — лишь вспомогательное средство, но для японца слово осознается как нечто написанное, и это важнее всего [Shibata 1990a: 26; 1990b: 43]. Поэтому всегда для японцев очень значимым считалось овладение письменной нормой⁸, а устная речь независимо от тематики не обладала престижем. С другой стороны, церковнославянский язык в отличие от бунго воспринимался как сакральный и важно было сохранять его обособленность от «мирского» языка, что в устной сфере было даже важнее, чем в письменной, обособлявшейся от повседневности уже по своей природе.

Что же противопоставлялось в позднесредневековой России и Японии литературным языкам? Здесь также были сходства и различия. Общим, безусловно,

⁷ В этом смысле дальневосточному ареалу противоположен индийский с его пренебрежением к письменному знанию (только там великий научный труд мог, как это было с грамматикой Панини, функционировать устно). Европа и Ближний Восток находились в этом смысле посередине.

⁸ Отметим, что в позднесредневековой Японии уровень грамотности был много выше, чем в России на соответствующем этапе. Там к XVIII в. существовала массовая печатная литература (см. следующую сноску).

было преобладание диалектов и говоров, являвшихся единственной формой существования языка для большинства населения, прежде всего сельского⁹. Общим было и отсутствие общенационального языка на разговорной основе: для появления такого языка условий еще не сложилось. В отношении же языковых образований, промежуточных между локальным диалектом и общенациональным языком, между двумя странами имелись существенные различия.

В России уже в допетровское время существовал общий для всего государства письменный язык на разговорной основе, хотя и ограниченный по функционированию. Это был так называемый московский приказный язык, господствовавший в деловой сфере. Он «представлял собой канцелярскую обработку обиходной речи с некоторыми, в общем незначительными заимствованиями из книжной традиции. В основе этого языка, постепенно вытеснявшего собой местные разновидности деловой речи и, таким образом, получившего в известный момент значение языка общегосударственного, лежал московский говор XVI–XVII вв.» [Винокур 1959: III]. «Процесс вытеснения письменных территориальных диалектов московским приказным языком, претендовавшим на значение общенациональной русской нормы, завершается в XVII в.» [Виноградов 1978: 35]. В пределах «приказного языка» «в XVII в. устанавливаются фонологические нормы общерусского государственного языка, ...окончательно укореняется целый ряд грамматических явлений, широко распространенных в живой народной речи как севера, так и юга» [Там же: 36].

В Японии ничего подобного не сложилось. Наоборот, как мы видели, деловые документы там писали на камбуне, т. е. используя языковую систему, максимально удаленную от «живой народной речи». В Японии вплоть до ее европеизации и капитализации не было никакого языкового образования, равно понятного на всей ее территории, за исключением бунго и камбуна. При этом поскольку камбун принципиально был письменным языком, а на бунго не существовало единых произносительных норм, то такая понятность обеспечивалась только на письме (этим Япония сближалась с Китаем).

Существовали лишь региональные койне, бытовавшие почти исключительно в устной форме. В данный период из них особую роль играли два¹⁰ койне —

⁹ В Японии диалектная речь активнее, чем в России, проникла в художественную прозу. Язык многих произведений XVIII–XIX вв., рассчитанных на массового читателя, был смешанным: преобладал диалог, где фиксировались черты разных диалектов, многочисленные фразы от автора писались на бунго; языковой анализ таких памятников см. [Сыромятников 1978: 24–31]. О каком-либо, даже стихийном, нормировании подобных текстов в их диалектной части говорить, видимо, нельзя. Аналогичная «низовая» литература в России обычно отличалась, особенно в грамматике, смешением разговорных и церковнославянских черт.

¹⁰ Третьим койне такого рода было окинавское. охватывавшее о-ва Рюкю на крайнем юге Японии. Эти острова имели тогда полунезависимое от центральной власти положение, поэтому на основе окинавского диалекта сложился определенный единый для Рюкю стандарт,

киотоское и эдоское. Киотоское койне, основывавшееся на диалекте Киото, тогда резиденции императора, имело репутацию столичного. Оно было известно и за пределами Киото, особенно на западе и юге Японии; поэтому именно на нем, наряду с бунго, издавали свою литературу первые европейские (португальские) миссионеры конца XVI — начала XVII в.¹¹ Несколько раньше описываемого здесь периода, в те же XVI и XVII вв. предпринимались попытки создания на этом койне и литературных произведений; см. [Сыромятников 1965: 16–34]. Отдельные продолжения таких попыток встречались почти до конца данного периода: в 90-х гг. XVIII в. выдающийся ученый школы кокугакуся Мотоори Норинага перевел на него упоминавшуюся антологию «Кокинсю», анализ этого памятника см. [Сыромятников 1978: 21–24]. Однако значение Киото постепенно падало, а киотоское койне сужало свое функционирование до уровня диалекта.

Иные перспективы имело эдоское койне (традиционное его именование «эдоский (токийский) диалект» нельзя считать точным). Город Эдо в восточной Японии (позднее переименованный в Токио) с XVII в. стал ведущим политическим и экономическим центром страны, в котором постоянно сталкивались выходцы из разных районов Японии. Японские феодалы обязаны были являться ко двору военных правителей — сёгунов, располагавшемуся в Эдо, за ними тянулись купцы и ремесленники (лишь прикрепленные к земле крестьяне оставались вне этого процесса). В нагорной части Эдо (Яманотэ), более зажиточной и престижной по социальному составу, постепенно начало складываться единое койне, которое усваивал каждый, кто попадал в Яманотэ. Как указывал лингвист Танака Акио в докладе в Токийском муниципальном университете 08.12.1984, линия развития была следующей: язык эдоских самураев → язык зажиточных горожан Яманотэ → язык Яманотэ → (за пределами данного периода) стандартный японский язык. Основой эдоского койне были восточнояпонские диалекты, окружавшие Эдо, в области фонетики и акцентуации они господствовали почти полностью, однако в грамматике и особенно в лексике в койне попало немало элементов из других диалектов, особенно киотоского и диалектов, расположенных между Киото и Эдо [Harada 1966: 80]. Из Эдо данное языковое образование начинало распространяться по стране. За ним было будущее, но пока что на нем не писали; если оно попадало в литературу, то лишь наряду с другими диалектами.

существовала даже окинавская художественная литература. С 70-х гг. XIX в. началось вытеснение его общеяпонским стандартом.

¹¹ Португальцы использовали два языка, исходя из собственных языковых представлений. На бунго, казавшийся им аналогом латыни, они переводили Библию, на киотоское койне, представлявшееся аналогом европейских «вульгарных» языков, — басни Эзопа и прочую светскую литературу. В самой Японии жанровое распределение между бунго и разговорными формами языка было, как мы видели, иным. В начале XVII в. христианские миссионеры были изгнаны из Японии, и их деятельность реальных результатов не имела.

2. Период европеизации

Общественная ситуация в России в петровское и послепетровское время и в Японии второй половины XIX в., безусловно, различалась во многом. Уже то, что вестернизация Японии происходила на полтора века позже, определяло многие различия, начиная от ускоренной капитализации Японии, о которой в России XVIII в. речи быть не могло. Несомненно, иным было соотношение культуры-донора и культуры-реципиента: Россия и Запад имели немало общих культурных черт, начиная от христианства (хотя и разных ветвей) и кончая общим индоевропейским происхождением языков¹²; контакты России и Запада никогда не прекращались совсем, а в XVII в. уже были достаточно интенсивны; в то же время западная и японская культуры такой общности не имели, Япония всегда обособлялась островным положением, а последние два века перед вестернизацией вообще существовала как закрытая от всех страна. Однако общность процессов заключалась в том, что каждой стране предстояло в короткий срок преодолеть или хотя бы сократить отставание в самых различных сферах, выйти на новый этап развития, измениться под влиянием освоения культур передовых государств. Одной из сфер, где сходство общественных процессов проявилось особенно наглядно, была социоллингвистическая.

Прежняя языковая ситуация, когда говорят на диалектах, а пишут на совершенно ином книжном языке, на Западе (где роль бунго или церковнославянского играла латынь) в начале XVIII в. и тем более в середине XIX в. была далеко позади, а Запад воспринимался как образец и в России, и в Японии. Стояла задача перейти на уровень, который чешско-австралийский японист И. Неуступны назвал уровнем «раннего современного языка» [Neustupný 1978: 147–159]. «Создание нового литературного языка выступает как важный момент в процессе европеизации русской культуры» [Успенский 1985: 4]; это же самое можно сказать и о Японии.

Процесс формирования такого языка в России занял примерно столетие, последним его этапом была карамзинская реформа конца XVIII — начала XIX в. В быстрее развивавшейся Японии он занял более чем вдвое меньший период времени, довольно точно совпадая с так называемой эпохой Мэйдзи, именуемой по посмертному имени правившего в 1868–1912 гг. императора.

«В это время выдвигаются разнообразные языковые программы, отражающие различные концепции литературного языка» [Успенский 1985: 5], идут ожесточенные споры по языковым проблемам. Но вестернизация Японии шла позднее и там уже существовала развитая школа языковедов, поэтому процесс шел

¹² Культурологи обычно мало обращают внимания на языковые аспекты культуры, хотя строй и происхождение языка могут определять очень многое. Японские ученые весьма склонны именно в особенностях языка видеть корни своей специфики. В России и на Западе такой подход малохарактерен; см., впрочем, гипотезу лингвистической относительности Б. Уорфа или идеи Н. С. Трубецкого о евразийском языковом союзе как важной составной части евразийской культурной общности.

более сознательно. В России эксплицитное высказывание взглядов по отношению к развитию нового литературного языка началось, видимо, лишь с предисловия В. К. Третьяковского к «Езде в остров Любви» (1730), но в Японии об этом начинали писать тогда, когда реальный процесс еще был делом будущего. Толчком к осознанию необходимости языковых реформ послужило открытие Японии для европейцев в 50-е гг. XIX в. И в 1866 г., еще при старом строе, Маэдзима Мицу обратился к сёгуну с докладом в пользу реформы языка и письменности [Конрад 1960: 16]. Но лишь буржуазная революция 1867–1868 гг., внешне выглядевшая как свержение сёгуна и восстановление императорской власти, могла начать реальные изменения.

Поначалу языковая политика скорее направлялась на регламентацию бунго, в самом начале эпохи Мэйдзи даже расширившего функции за счет камбуна. Перевод делопроизводства на бунго привел к быстрому угасанию явно архаичного для XIX в. камбуна. Его существование ранее поддерживалось представлением об особой престижности китайского языка, но теперь престижными стали западные языки. Камбун уступил позиции без боя, хотя пассивное владение им в какой-то степени сохранилось до наших дней: его преподают в школах, хотя меньше, чем до войны; сейчас камбун занимает два урока в неделю в трех классах средней школы [Harada 1982]. Вкрапления камбуна (изречения, пословицы, цитаты и др.) можно встретить и в современных текстах. Отмечают, например, использование камбуна в таком распространенном жанре японской словесности, как новогодние поздравления [Sato 1974: 11]. Однако начиная с эпохи Мэйдзи положение камбуна всегда оставалось периферийным.

Бунго же в это время не только расширил сферу употребления, но и стал шире распространен благодаря введению ранее отсутствовавшей системы государственного образования. В эпоху Мэйдзи начальное образование охватило всю страну, была ликвидирована неграмотность (в России такая задача не могла быть решена не только в XVIII, но и в XIX в.). В связи с использованием бунго в школьном обучении его нормы (по-прежнему лишь орфографические и грамматические), уже давно установленные учеными школы кокугакуся, стали официально введенными, чего раньше не было.

Но, безусловно, всеобщая грамотность не могла бы быть достигнута, если бы образование и дальше велось на одном бунго, как это делалось в первые годы эпохи Мэйдзи. Необходимо было создать более современный литературный язык. Как отмечают японские исследователи [Morioka 1972: 366], в отличие от многих стран в Японии одновременно шли два процесса: формирования литературного языка и распространения его по всей территории государства, завершились они также примерно в одно время.

Основа нового литературного языка ни у кого не вызывала сомнений. Значение Эдо окончательно закрепилось в 1868 г. переносом туда столицы государства, тогда же Эдо переименовали в Токио. Эдоское койне после 1868 г. испытало влияние еще некоторых диалектов, в частности диалекта Сацума на юге о-ва Кюсю (выходцы

оттуда сыграли важную роль в революции), но главным в процессе превращения его в литературный язык было скрещение его с бунго.

В фонетике и акцентуации влияния бунго быть не могло; наоборот, по мере нормирования нового литературного языка и тексты на бунго стали читаться так же, как тексты на новом языке. Грамматическое влияние бунго на новый литературный язык (получивший в эпоху Мэйдзи название «кóго», т. е. «разговорный язык») имело место, а в некоторых стилях, как будет сказано ниже, было весьма значительным; но поскольку отличия бунго от любых разговорных вариантов языка воспринимались в первую очередь как отличия в грамматике, то всегда существовала грань между текстами на бунго и кóго в этой сфере и многие бунговские грамматические показатели в кóго не допускались. Однако лексика и графика нового литературного языка формировались на основе бунго. Орфографические нормы просто были перенесены с бунго на кóго вместе с графикой (основанной на сочетании иероглифики с национальными азбуками), хотя эти нормы сильно не соответствовали реальному произношению, являясь графическим отражением киотоской фонологической системы времен формирования бунго. В лексике же не было четкой грани между бунго и кóго. Точнее, некоторые различия существовали в одну сторону: какая-то часть лексики, появившейся в языке после создания бунговских норм, не допускалась в бунго как «неправильная», но могла появиться в кóго, однако кóго, отвоёвывая у бунго тот или иной функциональный стиль, вбирал в себя и характерную для него лексику (но, как правило, не грамматику!). Конечно, какие-то старые слова исчезали из языка, реально сохраняясь лишь в словарях, но не было лексики, которая могла бы считаться специфической для бунго¹³ (ср. иную ситуацию со многими славянизмами в России XVIII в.).

Двумя стилями, в которых новый литературный язык сформировался быстрее всего, стали газетно-публицистический и художественно-прозаический. Появление прессы явилось одним из первых нововведений эпохи Мэйдзи. Газета по своей природе рассчитана на широкого читателя и должна быть общепонятной. Поэтому с самого начала авторы газетных публикаций старались писать не на чистом бунго и употребляли разговорные формы. К концу XIX в. сформировался газетно-публицистический стиль. Однако раннее его формирование повлекло за собой особо сильное влияние на него бунго. Не только в эпоху Мэйдзи, но и позже язык газет независимо от их направления характеризовался сосуществованием грамматических черт бунго и кóго, большим количеством архаичной книжной лексики. Для носителей языка, однако, такие тексты однозначно понимались как тексты на кóго: тексты на бунго характеризовались строгой нормой в области грамматики, там ни при каких обстоятельствах не могли появиться окончания и служебные слова, еще не существовавшие в языке IX–X вв., в газетно-публицистическом же стиле они употреблялись свободно.

¹³ Если такая была, то ее отличия от иной лексики были стилистическими: она употреблялась в такой сфере, которую еще не охватил новый литературный язык.

Более радикальные изменения произошли в художественной прозе (в поэзии позиции бунго оказались значительно прочнее). Решающими здесь были 80-е гг. XIX в., когда важную роль играло движение, получившее название «гэмбун-итти», т. е. «единство слова и письма». Так назывался трактат Модзумэ Таками, появившийся в 1886 г. В этом же году появилось первое художественное произведение на ко́го, автором которого был 18-летний Ямада Бимё, весьма разносторонний человек, совмещавший в себе писателя, теоретика движения «гэмбун-итти» и лингвиста-лексикографа и акцентолога¹⁴. Чуть позже начинает работать другой видный писатель, примыкавший к движению «гэмбун-итти», — Фтабатэй Симэй. Споря друг с другом и со сторонниками сохранения бунго, они сознательно отбирали из допускавшего вариации токийского койне те или иные слова и формы, см., например, описанные в статье Н. И. Конрада [Конрад 1960: 12–13] споры о том, какую форму связки предпочесть¹⁵. Становление нового литературного языка шло в тесной связи со становлением новых литературных жанров и расширением тематики. Большую роль здесь играли переводы. Не раз отмечалось, например, значение для того и другого осуществленного Фтабатэем перевода рассказа И. С. Тургенева «Свидание» из цикла «Записки охотника»¹⁶. Особо важен оказался перевод не сюжетной части рассказа, а занимающего его значительную часть описания природы. Японская классическая литература не знала столь развернутого пейзажа, и попытка передать его по-японски требовала и формирования новых языковых средств для этого. В творчестве этих писателей, а также Нацумэ Сосэки, Симадзаки Тосона и др. новый литературный язык окончательно сформировался в пределах данного функционального стиля. Проза на бунго, еще влиятельная в большую часть эпохи Мэйдзи, к концу ее уходит на периферию, а позднее исчезает вообще.

Этап формирования нового литературного языка в Японии завершился в первые два десятилетия XX в. Свидетельствами его окончания стали создание единой для всей Японии системы школьного преподавания нового литературного языка и связанное с этим опубликование в 1917 г. первой полной его нормативной грамматики, выработанной Министерством просвещения.

В России главным содержанием языковой ситуации в аналогичный переходный период также была выработка норм нового, более современного литературного языка. Если японисты единодушно рассматривают новый язык как сформированный на разговорной основе (некоторые японисты первой половины XX в., как

¹⁴ В обеих странах совмещение профессий писателя и лингвиста характерно лишь на первых этапах формирования ранних современных языков: В. К. Третьяковский и М. В. Ломоносов в России, Ямада Бимё в Японии. Позднее такое совмещение становится нехарактерным.

¹⁵ В этом случае и в ряде других споры кончились тем, что в литературный язык вошли все формы, о которых дискутировали, но с различиями по вежливости или по сфере употребления.

¹⁶ Русская культура воспринималась в Японии периода вестернизации, безусловно, как часть западной.

Е. Д. Поливанов¹⁷, даже именовали его «токийским диалектом»), то русисты спорят об основе: одни, как В. В. Виноградов, считают его русским по происхождению, но испытавшим церковнославянское влияние, другие, как Б. Унбегаун, — церковнославянским по происхождению, но испытавшим русское влияние. Однако и там, и там происходил синтез двух языковых систем, причем если посмотреть на то, как синтез происходил в разных ярусах этих систем, то обнаруживается несомненное сходство (безусловно, закономерное и, по-видимому, свойственное далеко не только России и Японии).

Хотя в отличие от Японии в России существовали строгие нормы произношения литературных текстов, они в целом не прижились в новом литературном языке. В книге М. В. Панова [Панов 1990] показано, как постепенно на протяжении XVIII в. этот язык изживал нормы такого произношения вроде различения *e* и *ятя* или *оканья*. К первой половине XIX в. все это исчезло или сохранилось в качестве реликта вроде произношения словоформ *бога*, *богу* и т. д. с фрикативным заднеязычным, в целом не закрепившимся в литературной системе (отметим, что совпадение тех или иных явлений церковнославянского произношения, например *оканья*, с явлениями диалектов не помогало им остаться в литературном языке: слишком далеки диалекты от «высокого штиля») ¹⁸. Сходное развитие мы имеем и в морфологии: в основе система соответствовала русской. Хотя В. К. Третьяковский в период борьбы за создание нового литературного языка при общей установке на разговорный язык включал в норму форму родительного падежа единственного числа на *-ья* как широко распространенную [Успенский 1985: 102], она все же сначала ушла целиком в поэтический язык, а потом исчезла. Система времен также сформировалась на русской основе, а имперфект и аорист не вошли в новый литературный язык с самого начала ¹⁹. Правда, подсистема причастий перешла из церковнославянского, но и ряд морфологических элементов нового японского литературного языка был заимствован из бунго. В то же время орфография при измененной форме знаков (чего в Японии не было) формируется, как и в Японии, на основе прежнего письменного языка: разграничение *e* и *ятя* надолго останется и тогда, когда они в произношении совпадут окончательно, а написания вроде *сегодня* сохранились и поныне.

¹⁷ У Е. Д. Поливанова такое неразличение было сознательным и отражало его общее стремление «поднять» лингвистическую ценность диалектов, показать их равноправность для исследователя с литературным языком.

¹⁸ Есть, впрочем, и иные источники *оканья* на периферии современного литературного языка. Оно возможно в заимствованиях вроде *НАТО* с целью избежать омофонии. Особенно оно заметно в профессиональных подъязыках, скажем, у японистов: даже в русской речи бессознательно хочется различить яп. *такай* 'высокий' и *Токай* (точнее, *Тōкай*) — название района Японии и университета: при этом *оканье* сохраняется, а долгота гласного нет. Ср. также *оканье* в некоторых стилях произношения в словах типа *поэма*, *бомонд*.

¹⁹ В «низовой» литературе начала XVIII в. еще можно встретить примеры вроде *сташа во фрунть* [Винокур 1959: 74], но затем они исчезают.

Наибольшие отличия от Японии имели место в лексике. Если не было четкой грани между лексикой бунго и кóго, то славянизмы весьма строго противопоставлялись «низкой лексике», хотя понятие славянизма вызывало, как показывает Б. А. Успенский, разные ассоциации. Это во многом связывалось с наличием церковнославянского произношения, выделявшего и охватываемую этим произношением лексику. Различия слоев лексики были в первую очередь стилистическими, но бывали и семантические сдвиги. А дальше шел долгий, противоречивый и сложный процесс сращения двух слоев лексики, закончившийся либо исчезновением или уходом на далекую периферию одного из дублетов, либо сохранением обоих с различием значений²⁰.

Если содержание процесса формирования нового литературного языка в двух странах было сходным, то форма его протекания различалась. Достаточно сказать, что в России важнейшую роль сыграла ломоносовская концепция «трех штилей», аналогов которой в Японии не было. Причин этому, вероятно, было две.

Во-первых, в России гораздо быстрее, чем в Японии, старый литературный язык отодвинулся на периферию языкового развития. Возможно, это было связано с отсутствовавшей у бунго религиозной окраской церковнославянского языка. Светский характер послепетровского культурного развития не совмещался с ней, поэтому данный язык в чистом виде уже к середине XVIII в. уходит целиком в культовую сферу. Даже в «высоком штиле» не могло быть, например, свободного употребления форм имперфекта и аориста; те формы, какие употреблялись, имели характер штампов и формул²¹. «Высокое», «пурпурное», по выражению М. В. Панова, произношение также далеко не совпадало с церковнославянским [Панов 1990: 322–323]. В Японии же бунго сохранял жизнеспособность и престижность и не было нужды в создании какого-то особого «высокого штиля».

Во-вторых, иным было представление о литературных жанрах. В России исходили из нормативных представлений классицизма, прежде всего французского, о «высоких» и «низких» жанрах, требовавших разного языка. К тому же вообще проблема жанров была и проблемой литературного языка в целом, поскольку этот язык и тогда, и еще долго позже понимался едва ли не исключительно как язык художественной литературы. Хотя нормы этого языка и тогда распространялись на деловой и газетный стили, но они находились вне жанровых систем и считались «низкими» по определению. И в конце XVIII в. карамзинисты отрицательно относились к «приказному» и «семинарскому» языку, что имело и социальные причины

²⁰ Дублеты охватывали далеко не всю систему. «Многих слов, которые были в русском языке, церковнославянский язык не знал, употреблять их в славянских текстах можно было как особое стилистическое средство, а скорее всего — вообще нельзя. Например, в церковнославянском языке не было слова *стул*» [Панов 1990: 320–321]. В Японии эта проблема не была столь острой.

²¹ Таких штампов и формул типа *Христос воскрес, ничтоже сумняшеся* немало и в современном языке. Их можно сопоставить с вкраплениями камбуна в современный японский язык. В «высоком штиле», конечно, их роль была значительнее.

[Успенский 1985: 43]. Характерен и сам термин «литературный язык», сохранившийся до наших дней. Буквальный аналог этого термина в японском языке — как раз «бунго», а литературный язык в обычном терминологическом смысле никогда так не назывался: так же как бунго не ощущался как преимущественно культовый язык, так и кого не был языком художественной литературы по преимуществу. Если в России (да и на Западе) существовало и существует представление о «изящной словесности» в противовес непрестижному творчеству журналистов и канцеляристов, переносившееся на оценки языка, то в Японии никого не смущало то, что на самом престижном языке — бунго — писали в первую очередь деловые бумаги. Системы «высоких» и «низких» жанров в столь законченном виде, как в Европе, никогда в Японии не было, а на Западе к моменту европеизации Японии она уже была разрушена, и ее невозможно было заимствовать. Роль «высокого» стиля внутри нового литературного языка в лингвистическом (не социальном!) смысле скорее играл в Японии стиль газетно-публицистический, наиболее близкий к бунго.

Как и в Японии, в России формирование новых литературных норм быстрее всего произошло в области морфологии: «в течение 1730-х — 1740-х гг. морфологическая проблема была в общем разрешена» [Винокур 1959: 130]. Но разрыв между разговорным и церковнославянским языками в сфере фонетики и лексики не мог быть преодолен быстро и почти на полвека закрепился благодаря установленным М. В. Ломоносовым нормам трех «штилей». Их различие было, прежде всего, лексическим и касалось разного соотношения между русской и церковнославянской частями словаря: «в пределах каждого стиля — за исключением низкого — сочетались, соединялись в одном тексте слова по происхождению церковнославянские и слова бытовой русской речи» [Панов 1990: 286]. В фонетике же «был высокий стиль произношения, и ему противостоял средний стиль (его же называли и низким)» [Там же: 318].

Если в Японии уже через два десятилетия после начала формирования нового литературного языка развернулось движение «гэмбун-итти», то в России сопоставимая с ней деятельность Н. М. Карамзина и его сторонников начинается лишь с 90-х гг. XVIII в. В Японии, если применять к ней русскую шкалу измерений, перешли непосредственно от петровского времени к карамзинскому, минуя эпоху Ломоносова и Сумарокова. Впрочем, как показано в [Успенский 1985], В. К. Третьяковский и В. Е. Ададунов во многом предвосхитили идеи карамзинистов еще в 30-е гг. XVIII в., т. е. примерно через такое же количество лет после начала вестернизации, какое потребовалось для появления сходных идей в Японии. Однако в Японии эти идеи сразу стали популярными, а в России их время тогда еще не пришло, а сам В. К. Третьяковский с 40-х гг. XVIII в. перешел на позиции сохранения церковнославянского языка. Б. А. Успенский связывает такой поворот событий с политической ситуацией: с началом царствования Елизаветы активная вестернизация сменилась усилением национализма, что проявилось и в языковой области [Там же: 173–174]. В Японии же активная вестернизация

шла до начала XX в., а значительное усиление национализма произошло уже тогда, когда нормы нового литературного языка установились и языковая ситуация стабилизировалась.

Цели Карамзина и деятелей движения «гэмбун-итти» во многом сходились: сблизить письменный язык с устным языком образованных людей, сформировать нормы литературного языка, независимого от старописьменного. Но материал, с которым они работали, был разным. В Японии к 80-м гг. XIX в. бунго противопоставлялась разнородная и неупорядоченная смесь систем, сближение устного и письменного языков одновременно было и окончательным формированием литературных норм. В России же к концу XVIII в. такие нормы уже существовали, но не были едиными: оставались жанровые барьеры, в конечном итоге обусловленные сохранением остатков былой диглоссии. «Н. М. Карамзин сделал еще один шаг в сторону преодоления русского двуязычия: он выдвинул из трех стилей как основной и важнейший средний стиль. Два других (высокий и низкий) отодвинулись далеко на окраину литературной речи» [Панов 1990: 287].

Но различия между карамзинистами и деятелями «гэмбун-итти» существовали еще по крайней мере в двух пунктах. «Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты» [Успенский 1985: 41]. Токийское же койне, на которое в наибольшей степени ориентировались в Японии, еще до эпохи Мэйдзи имело более широкое распространение: на нем уже говорили не только самураи.

Еще важнее были различия с точки зрения цели. Как подчеркивает Б. А. Успенский, в Западной Европе новые литературные языки формировались как национальные, переход от латыни к французскому или итальянскому языку означал демократизацию литературного языка; однако в России новый литературный язык в эпоху карамзинистов представлялся как язык элиты не только по происхождению, но и по назначению. «Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его» [Там же: 68]. Церковнославянский язык, знакомый (как и бунго) не только элите, оказывался даже в чем-то демократичнее. Карамзинистам просто не приходило в голову распространение создаваемого ими языка через народные школы, хотя объективно их деятельность способствовала этому. В Японии ситуация была ближе к западной, а в силу поздней вестернизации демократизация литературного языка шла еще последовательнее. Новый литературный язык с самого начала воспринимался как общий не только для всего государства (это имплицитно принимали и карамзинисты), но и для всех социальных слоев, не разъединяющий, а объединяющий общество, более демократичный, чем бунго, поскольку на нем легче учиться. И он быстро вошел в школьное обучение.

Другое различие состояло в том, что для карамзинистов «литературный язык ориентируется на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) текст, а не на систему нормативных правил» [Там же: 21]; характерно, что они (в отличие от своих предшественников В. К. Тредиаковского, В. Е. Ададурова и М. В. Ломоносова) не были лингвистами. В Японии же, где уже существовала

своя лингвистическая традиция и в то же время быстро осваивалась западная наука о языке, с самого начала устанавливались строгие правила для нового литературного языка, поначалу сильно зависимые от ранее существовавших правил для бунго.

«Полной победы у реформы Карамзина в XVIII в. не было» [Панов 1990: 287], как не сразу победило и движение «гэмбун-итти». Однако первая половина XIX в. при всех откатах назад и прорывах вперед («архаисты и новаторы») была периодом, когда новый литературный язык окончательно занял господствующее положение, подчинив себе другие формы существования русского языка. Как и в Японии, он распространяется по всей территории государства; прежде всего это происходит через школу и через книгу. Также происходит закрепление его норм через грамматики и академические словари.

3. Период ранних современных литературных языков

Мы пользуемся (достаточно условно) термином, предложенным И. Неуступны [Neustupný 1978: 152] в отношении языков, свойственных обществам, характеризующимся капитализацией при сохранении значительных докапиталистических черт, определенной зависимостью от передовых стран Запада²². В этот период в обеих странах сложилась более или менее стабильная социоллингвистическая ситуация, развитие, конечно, шло, но достаточно медленно, без ярко выраженных сдвигов. В России этот период продолжался почти столетие: с 20–30-х гг. XIX в. до начала XX в.²³ В Японии, вообще развивавшейся более ускоренно, соответствующий период был гораздо короче: с 10-х по 40-е гг. XX в.

Для обеих стран ведущую роль в языковой ситуации играл уже вполне сложившийся и в основном уже вполне нормированный и получивший четкие границы литературный язык, употреблявшийся и в устной, и в письменной речи. Там и там он был противопоставлен игравшим значительную роль диалектам, ограниченным как территориально, так и функционально. Там и там не сложилось достаточно развитых промежуточных языковых образований типа региональных койне (в Японии, как говорилось выше, они раньше были, но затем либо сузили свою функцию до диалектной, либо расширили до функции литературного языка); исключение в Японии, впрочем, составляли изолированные острова Рюкю, где и в это время жители разных островов еще нередко общались друг с другом

²² Перечисление черт ранних современных языков у И. Неуступны [Neustupný 1978: 153–157] весьма интересно, но, пожалуй, слишком привязано к японской конкретике. Вряд ли можно говорить, например, об универсальности для данного этапа развитой системы форм вежливости.

²³ Отмена крепостного права при всей ее важности для капитализации России не привела к какому-либо заметному изменению языковой ситуации.

по-окинавски²⁴. Не было и развитого территориального варьирования литературного языка (если оно и было, то представляло собой влияние диалектов в чистом виде). В России существовало различие норм петербургского и московского произношения, не раз упоминаемое в книге М. В. Панова, но все же оно не было очень значительным. Нечто аналогичное можно усмотреть в противопоставлении токийского и киотоского вариантов японского языка. В бывшей столице Киото и расположенной рядом Осаке даже культурные люди говорили не совсем так, как в Токио. При этом такие различия затрагивали не только фонетику и лексику, но и морфологию, чего в Москве и Петербурге, кажется, не было.

Типичную для Японии ситуацию описывал Н. И. Конрад, бывавший там в начале данного периода, в 1910-е гг.: «Мы слышали вокруг себя такую речь, которую понимали очень плохо: это был местный диалект. Так бывало в городах и тем более в деревнях: здесь часто приходилось искать кого-либо, говорящего по-токиоски... Обычно таким человеком оказывался местный чиновник или школьный учитель. Крестьяне же “столичную речь” кое-как понимали, но на наши вопросы отвечали так, что мы их не понимали почти совсем» [Конрад 1960: 19]. Отметим еще сохранившиеся представления о литературном языке как о «столичном». Но в русской деревне, в сущности, было так же (хотя в городе, пожалуй, такая ситуация уже была немыслима). Разница, может быть, была лишь в том, что в России, несмотря на значительно более обширную территорию, диалектные различия часто не были столь сильны, как в относительно небольшой, но разделенной горами и проливами на изолированные части Японии (если бы мы отделяли языки от диалектов лишь по чисто лингвистическим критериям, не учитывая наличия общего для всех языкового образования, то мы вряд ли бы могли говорить о едином японском языке).

Главным источником распространения литературного языка в обеих странах, несомненно, была школа²⁵. Другим важным его источником была книга: национальным свойством обоих народов (конечно, лишь грамотной их части) была и остается склонность к чтению, удивляющая наблюдателей из других стран,

²⁴ Впрочем, некоторую роль играл и, например, говор г. Акита на севере Японии, на котором говорили носители разных местных говоров. Упоминается любопытный факт: в 30-х гг. любительский кружок разыгрывал на нем «Предложение» А. П. Чехова [Kinoshita 1983: 6]. Ситуация, видимо, немыслимая на родине автора этой комедии. Упоминаемый М. В. Пановым «цокающий Чацкий» или пародийный «монолог Чацкого в исполнении виленского семинариста», исполнявшийся В. И. Качаловым, были просто отражением недостаточного владения нормой.

²⁵ Если судить об этом распространении по лингвистической литературе, то может показаться, что в Японии роль школы была больше: японские ученые много пишут об этом факторе, тогда как отечественные исследователи, включая М. В. Панова, уделяют гораздо большее внимание роли художественной литературы (М. В. Панов также театра). Но, думается, происходит это отчасти из-за недостатка материала о роли школы, отчасти из-за общего для нашей культурной традиции и часто бессознательного желания особо выделить значение «высокого искусства» в жизни.

например американцев. Были и различия. Хотя в Японии, как и в России, «местный чиновник», часто присланный из города, а то и из центра, играл роль распространителя языковой нормы, но документы, которые он писал, должны были составляться на бунго, тогда как в России языковая норма распространялась вширь и через делопроизводство. В России с середины XIX в. «возникает образец, живое воплощение орфоэпического идеала: театральная речь» [Панов 1990: 94]; в Японии театр такого значения не имел: традиционный театр типа кабуки стал достаточно архаичным по языку, а театр европейского типа был, наоборот, склонен к просторечию и отклонениям от нормы; столь большого культурного значения, как театр в России, ни тот, ни другой не имели. Зато Япония на данном этапе уже имела радио, появившееся в 20-е гг. XX в., в России радиовещание появилось примерно в это же время, но это была уже иная эпоха.

Можно отметить и некоторые другие общие черты языковой ситуации в России и Японии на данном этапе. В обеих странах существовали очень строгие орфографические нормы, жестко закрепленные в инструкциях и преподававшиеся в школах, но не было столь же жестких орфоэпических норм (впрочем, как мы увидим, степень нормализации здесь была в России выше, чем в Японии). Там и там распространение литературного языка на письме было, особенно в провинции, шире, чем в устной речи. Немало было грамотных людей, говоривших «некультурно», обратная же ситуация встречалась редко. Эти черты И. Неуступны считает, видимо не без оснований, общим свойством ранних современных языков. Общим был и консерватизм орфографии, сохранявшей черты, унаследованные от старописьменных языков.

Были и заметные различия. Одной из них было различие в использовании старописьменных языков: бунго функционировал много шире, чем старославянский. Последний уже давно законсервировался в церковной сфере, но и там его роль сводилась к воспроизведению старых текстов, но не к созданию новых. Даже «высокий штиль», гибрид русского литературного с церковнославянским, к середине XIX в. вышел из употребления. Какая-то традиция еще оставалась, причем в менее культурной среде больше, чем среди уже вполне европеизировавшегося общества: вспомним рассказ М. Горького о том, как дед учил его уже в 70-е гг. XIX в. грамоте по-церковнославянски. Но это уходило в прошлое.

Иное положение существовало в Японии. Бунго вплоть до Второй мировой войны оставался (в отличие от камбуна) вполне живым языком. В деловой сфере «все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией о приеме белья в прачечную» [Конрад 1960: 12]. Продолжал он сохраняться в традиционных видах поэзии (прозу на нем уже не писали), традиционном театре типа *но*, в религиозной сфере²⁶ и частично в сфере науки, где однако шел постепенный

²⁶ Показателен пример возродившегося в эпоху Мэйдзи (но не ставшего особо популярным) христианства: все канонические тексты уже тогда перевели только на бунго. В книге [Gospel 1950], содержащей фрагмент из Евангелия на 770 языках и диалектах, нет современного японского, а под названием «Japanese» приводится текст на бунго [Ibid.: 64–65].

процесс его вытеснения: видный лингвист Ямада Ёсио (1873–1958) и в 30-е гг. печатал свои книги на бунго, но лингвисты, родившиеся в 80–90-е гг., уже писали на кóго.

Один из этих ученых, Токиэда Мотоки, так характеризовал в 1941 г. роль бунго в связи с разграничением позиции наблюдателя (внешней по отношению к языку) и позиции субъекта (носителя языка): «С позиции наблюдателя современный и старописьменный языки рассматриваются как разные этапы развития языка; с точки зрения субъекта они, скорее, различаются по престижности» [Токиэда 1983: 93]. То есть в это время бунго оценивался в Японии так же, как церковнославянский в России кануна петровской эпохи («архаисты» сохраняли этот взгляд и в начале XIX в.). Такой подход выдерживался и лингвистами. Если до революции 1867–1868 гг. и первое время после нее единственным достойным объектом изучения считался бунго, то в 20–30-е гг. господствовало комбинированное описание, хорошо представленное в изданной в русском переводе грамматике [Киэда 1958–1959]: описывалась единая надсистема бунго и кóго, при каждом примере указывалось, в каком из языковых вариантов он употребляется, лишь в одной главе, посвященной прилагольным служебным элементам, единый способ описания сохранить не удавалось, и он распадался на две части, посвященные раздельному описанию этих элементов в кóго и бунго.

Поскольку бунго оставался живым языком, он не мог не изменяться. Многие изменения сводились к влиянию со стороны нового литературного языка. Такие изменения хорошо прослежены А. А. Холодовичем в книге [Холодович 1937], где описан канцелярский бунго XX в., использовавшийся, в частности, и в послуживших материалом книги военных приказах, уставах и наставлениях (отсюда название книги). Нет нужды останавливаться на том, что подавляющего числа применявшихся в таких текстах военных терминов не было до XIX–XX вв. в старописьменном языке. Но и грамматика менялась, несмотря на строго закрепленные нормы. При этом употребление грамматических форм новояпонского языка (в том числе кóго), еще не встречавшихся в образцовых для бунго текстах IX–XIV вв., строго запрещалось. Однако произошла редукция старой системы там, где она не имела параллелей в современном языке. А. А. Холодович писал: «Возьмем приведенные нами примеры... Если бы мы изучали феодально-литературный язык (бунго. — В. А.) в полном объеме, то нам пришлось бы знать употребление *двадцати семи* разновидностей этих окончаний... военный же язык добивается выражения тех же самых значений с помощью всего лишь *семи* разновидностей; таким образом, он экономит, сдает в архив 75 % ненужных ему форм» [Там же: 4–5]. Менялось и значение: «*Тару* по своему происхождению является глаголом-окончанием совершенного вида. В классическом литературном языке он употреблялся для выражения законченности, завершенности действия как в прошедшем, так и в будущем времени. Однако в военном языке он является показателем просто прошедшего или прошедшего-результативного времени» [Там же: 65, 66]. Из этого *-tari* в современном языке получился показатель прошедшего времени *-ta*. В текстах

на бунго нельзя было употреблять *-ta*, но можно было использовать *-tari* в той же функции, а исконное значение *-tari* забылось²⁷.

Если бы русские военные приказы времен Брусилова писались по-церковнославянски, то весьма вероятно, что там бы уже не было ни аориста, ни имперфекта, а аналитический перфект использовался в значении русского прошедшего времени. Но такой ситуации в России не было. А церковнославянский, уйдя из живого употребления, перестал и изменяться.

Были различия и в степени охвата населения литературными нормами. На письме охват был значительно больше в Японии. Там уже к началу данного периода практически не было неграмотных и если не писать, то хотя бы читать на кого уже могли почти все. В России даже перед революцией до этого было еще далеко: неграмотных было более половины русского населения. Япония здесь обогнала Россию не только относительно (на соответствующем этапе), но и абсолютно по времени. С другой стороны, Япония отставала по распространению устных норм. Не только бунго, но и новый литературный язык во многом понимался как письменный, несмотря на все старания деятелей «гэмбун-итти» и их последователей. Выше уже приводились слова Н. И. Конрада о том, что даже в городах в это время устной формой литературного языка владели, по крайней мере активно, лишь немногие. А ведь, как следует из той же цитаты, школьные учителя тогда были уже везде. Особенно плохо дело обстояло с распространением литературной акцентуации: за пределами Токио и тогда, и даже позже устойчиво сохранялось ударение местного диалекта, хотя во всем остальном речь могла быть вполне литературной²⁸. В школе старались отучить от слишком явных диалектных черт в произношении, но литературная норма, во многом еще воспринимавшаяся как токийская, нигде строго не формулировалась: еще очень значимым было представление о языке культуры как о языке письменности, а на устную речь много внимания не обращали²⁹, хотя столичное произношение стихийно распространялось через миграции населения, языковое общение, а к концу периода и через радио. В России же еще в первой половине XIX в. произошло «признание бытовой речи культурной ценностью» [Панов 1990: 188], что облегчало распространение орфоэпических норм, даже если они и не были хорошо сформулированы.

²⁷ Есть основания считать, что в старояпонском языке и в классическом бунго категории времени не было вообще, она развилась лишь в новояпонском языке. Но в XX в. она уже была и в диалектах, и в литературном языке и через последний проникла в бунго.

²⁸ Японское музыкальное ударение отличается от русского силового не только качественно, но и функционально: оно, несмотря на существование минимальных пар, не играет такой смысловоразличительной роли, как в русском языке. Зато оно издавна служило индикатором происхождения человека.

²⁹ В сущности собственного ударения японские ученые, по их признанию, разобрались лишь под влиянием Е. Д. Поливанова, работавшего в Японии в 1914, 1915 и 1916 гг. См. воспоминания Сакума Канаэ в книге [Poriwaanofu 1976: 25].

4. Период нестабильности

Мы далеки от того, чтобы приравнять в социальном плане события революции и гражданской войны в нашей стране с событиями японской истории, последовавшими за поражением во Второй мировой войне. Однако в обоих случаях произошли коренные общественные перемены, сменились прежние системы ценностей, наступил период нестабильности. И сменился этот период в обеих странах новым этапом «гонки за лидером», форсированной индустриализацией и новой вестернизацией.

Общественная нестабильность привела и к языковой нестабильности. Просторечная и диалектная стихия ломала ранее существовавшие барьеры, старые нормы многим казались связанными с отвергнутой системой ценностей и поэтому подлежащими упразднению. Нестабильность языковой ситуации там и там продолжалась и тогда, когда общая обстановка в стране уже стала менее напряженной: в СССР все 20-е гг., в Японии примерно до второй половины 50-х гг.

В нашей стране тогда «иные с надеждой говорили о сломе старого “буржуазного” языка. Другие боялись этого» [Панов 1990: 15]. Точку зрения первых в свойственной ему крайней форме выразил академик Н. Я. Марр: «Тут не о реформе письма или грамматики приходится говорить, а о смене норм языка, переводе его на новые рельсы действительно массовой речи. То, что нужно, это... речевая революция, часть культурной революции» [Марр 1930: 47]. И еще: «Не реформа, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень стадияльного развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка» [Марр 1936: 371]. А так говорил последователь Н. Я. Марра В. Б. Аптекарь: «Сейчас у нас, безусловно, язык рабочих, прежде всего, будет иметь преобладающее место в литературе, и мы будем изгонять интеллигентские особенности языка... И если сейчас определенно господствующая группа вводит свой стиль в литературный язык, то прежние стилистические украшения, обязательные для каждой статьи, как, например, “Что он Гекубе, что ему Гекуба”, исчезают... Такими языками раньше могла говорить интеллигенция, но не широкие массы, теперь же это, очевидно, в корне переживется» [Архив: 41].

В Японии при всем различии ситуаций говорили нечто похожее. Вскоре после войны именитый писатель Сига Наоя утверждал, что японский язык безнадежно плох и лучше заменить его, например, французским (подобные идеи высказывались в Японии и в самом начале европеизации). Японские левые, в частности писатель и языковед Такакура Тэру, призывали приблизить языковую норму к «языку простого народа», а для этого упразднить или свести к минимуму иероглифику, не употреблять непонятные на слух слова китайского происхождения, исключить из языка формы вежливости; попутно предлагали и развить в японском языке по европейскому образцу категории лица и числа. Н. И. Конрад, обычно более осторожный в своих прогнозах, отнесся к этим высказываниям очень серьезно, заявив: «По-видимому, сейчас Япония вступает в фазу действительного

завершения строительства этого (национального литературного. — В. А.) языка» [Конрад 1948: 120]. Отмена иероглифики и переход к латинскому алфавиту планировались, по некоторым данным, и американской оккупационной администрацией [Suzuki 1975: 176]. Отметим, что и у нас Н. Ф. Яковлев предлагал перевести русский язык на латиницу, предложив три варианта латинского алфавита для этого языка [Яковлев 1930].

Но это были либо декларации, либо проекты, не претворенные в жизнь. Однако в эпохи общественных перемен в обеих странах проводились и реальные реформы языковых норм. Кое-что здесь было сходным. Там и там почти сразу после революции в России и оккупации Японии провели орфографическую реформу, связанную с отказом от исторических написаний соответственно в кириллице и хирагане и катакане. Написание приблизили к произношению, причем в Японии радикальнее: там историческое написание сохранилось лишь в нескольких частотных грамматических показателях, а русская реформа не затронула написания типа *сегодня*³⁰.

В обеих странах языковые реформы осуществлялись достаточно жесткой властью (оккупационной в случае Японии), а выступавшие в качестве «спецов» ученые³¹ исходили из представлений о возможности целенаправленного вмешательства в развитие языка; тезис Ф. де Соссюра о невозможности языковой политики критиковался в обеих странах (Л. П. Якубинский в СССР, Нисио Минору в Японии). Однако реформа в Японии была (несмотря на меньшую радикальность социальных преобразований) намного радикальнее, чем в нашей стране.

Причин здесь было две. Во-первых, главное внимание советских реформаторов уделялось языкам других народов СССР, которые стремились как можно скорее довести до того уровня, на котором уже находился русский язык. Упомянутый проект латинизации русского языка Н. Ф. Яковлева был лишь эпизодом в его очень активной деятельности, гораздо больше он занимался языками Северного Кавказа. Тот же И. Неуступны, ссылаясь на Е. Д. Поливанова, указывает, что в СССР уже к 20-м гг. русский язык находился на такой стадии развития, на какой была необходима не языковая политика, а культура речи, тогда как в отношении других языков надо было вести языковую политику [Neustupný 1978: 266]. Но культура речи в ситуации 20-х гг. не была первоочередной задачей, поэтому русский язык оказался почти вне деятельности языковых реформаторов; кстати, и марристы дальше деклараций здесь не пошли, несмотря на завоеванную ими власть в языкознании.

³⁰ «Акающая» орфография (вполне возможная, как показывает пример белорусской письменности) не была введена, по-видимому, из-за того, что она психологически воспринималась как слишком «неграмотная», тогда как, например, различение *e* и *ятя* казалось просто архаизмом, несмотря на их разную судьбу в некоторых диалектах.

³¹ Речь идет о деятелях языкового строительства, а не о создателях принятой после революции орфографии, разработанной намного раньше.

Во-вторых, в Японии нерешенных задач действительно оставалось больше. Для русского языка явным архаизмом была орфография, которую давно предлагали изменить, но лишь революция позволила это сделать. В Японии оставались еще три проблемы, по разным причинам неактуальные для нашей страны: бунго, сложность иероглифики и формы вежливости,

Сразу после войны использование бунго в официальной документации было отменено. Символом этой перемены стало принятие в мае 1947 г. новой конституции, написанной на *кото*. После этого бунго сразу ушел на периферию функционирования языка. Иероглифику³², как уже говорилось, оккупационные власти планировали отменить, но для начала установили иероглифический минимум из 1850 иероглифов, которым обязали пользоваться, и упростили написание ряда сложных иероглифов. Сложная система форм вежливости, не только среди советских японистов, но и многими в самой Японии воспринимавшаяся как «феодалная», подверглась жесткому отбору, в соответствии с новыми нормами ряд особо вежливых форм не рекомендовался к употреблению; в частности, сюда попали слова и грамматические формы, употреблявшиеся только в отношении императорской семьи³³. Большинство указанных преобразований произошло в первые год-два после войны, но установление новых норм продолжалось в течение примерно десятилетия, до середины 50-х гг. В СССР же после 1918 г. к вопросам разработки норм русского языка всерьез вернулись лишь в 30-е гг., когда ситуация стабилизировалась.

5. Период вторичной стабилизации

В Японии это период со второй половины 50-х гг. XX в. до наших дней, у нас с 30-х по 80-е гг. XX в. В общественном плане СССР и Япония, конечно, при некоторых элементах сходства имели гораздо больше различий. Однако языковые ситуации все же имеют здесь больше сходств, чем различий, что, по-видимому, объясняется тем, что оба общества окончательно достигли индустриальной стадии (Япония затем сумела перейти на постиндустриальную стадию, а СССР этот барьер взять не удалось).

В обеих странах именно в этот период впервые создается общий для всех и охватывающий все сферы общения литературный язык. Ранее такой всеобщности не было, хотя и за счет разных факторов. В России и до революции существовал вполне сложившийся и годный для любой сферы общения нормированный

³² Строго говоря, кириллическое письмо, как и японское, относится к смешанным фонетико-иероглифическим. Однако, исключая особые подъязыки вроде математического, употребительных иероглифов здесь даже меньше, чем букв в алфавите (цифры, знаки параграфа, номера, температуры и пр.), и особой проблемы они не составляют.

³³ И в России была аналогичная лексика, а также особые написания типа *Наследник Цесаревич*. После свержения монархии все это исчезло так быстро, что не понадобились и специальные постановления.

язык. Однако он не был всеобщим: даже большинство русского населения, не говоря о нерусском, не знало грамоты, не училось в школе и не владело каким-то стилем речи, кроме бытового. Как ни оценивать советский период нашей истории, но именно тогда сложилась единая система школьного образования. В Японии, наоборот, такая система существовала и до Второй мировой войны, но литературный язык, будучи всеобщим, не охватывал все сферы общения: читали и как-то писали на нем почти все, но говорили очень немногие, а некоторые стили, как, например, деловой, вообще не были им охвачены. Теперь же в отличие от времен Н. И. Конрада человек, владеющий литературным языком, сможет общаться с населением любой японской деревни. Но и в России сейчас в основном так. Исключение в обеих странах составляет лишь часть людей старшего поколения.

В основе в обеих странах литературные языки остались теми же, что и раньше. В 20-е гг. в СССР многим казалось, что литературный язык стал или становится совершенно иным по сравнению с прежней эпохой. Даже Е. Д. Поливанов, сопоставляя вслед за А. М. Селищевым язык комсомольских рассказов Марка Колосова с «языком рядового интеллигента довоенного времени», восклицал: «Да, это уже *другой язык*» [Поливанов 1928б: 168]. Но тут же он указывал: «Отнюдь не фонетика, а *словарь*, и только словарь, делает современный язык... непонятым для обывателя с языковым мышлением 1910–1916 годов» [Поливанов 1928а: 138]; см. также [Поливанов 1928б: 169–171]. Как подчеркивал Е. Д. Поливанов, в период социальной нестабильности менялся не столько сам язык, сколько состав его носителей: «На пути к бесклассовому своему характеру русский литературный язык становится классовым языком уже не той группы лиц, которая была носителем этого языка до революции, а более широких и социально-разнородных слоев населения Союза» [Поливанов 1927: 227].

Правильно оценивая настоящее, Е. Д. Поливанов не совсем верно дал прогнозы на будущее. Ему казалось, что через одно-два поколения русский язык должен существенно измениться за счет интерференции между литературным языком и говорами широких масс, его осваивающих, а также в связи с овладением этим языком массами нерусского населения [Там же: 227–228]. Этого не произошло. Однако он как раз был прав, предсказывая, что русский литературный язык станет «бесклассовым». Только произошло это не по тем причинам, о которых он думал: японский литературный язык также стал «бесклассовым», и раньше, чем русский³⁴.

Конечно, какое-то влияние диалектного и иноязычного субстрата на русский литературный язык существовало и существует, но этот вопрос изучен очень слабо. Во всяком случае, оно не лежит на поверхности. В целом же «сохранение языковых (в том числе и фонетических) ценностей — важнейший результат ис-

³⁴ В 30-е гг. Е. Д. Поливанов, Н. И. Конрад и др. называли этот язык «буржуазным» в противоположность «феодальному» бунго и «народным» диалектам, однако через школу он уже в то время распространился во всех слоях населения.

тории русского литературного языка XX в... Школа, радио, звуковое кино, театр, граммофонная и патефонная пластинка помогли остановить натиск диалектов» [Панов 1990: 16]. Язык комсомольских рассказов М. Колосова современному интеллигенту ненамного понятнее, чем интеллигенту 1910–1916 гг., а сам Колосов, доживший до 1989 г., писал в более поздних произведениях на вполне стандартном языке.

В Японии в целом шел тот же процесс, но по причинам, о которых речь пойдет ниже, влияние локальных вариантов языка было заметнее; к тому же этот вопрос изучен явно лучше. Различие отражается и в подходе японских социолингвистов. Привычному для нас термину «литературный язык» в Японии соответствовало несколько. Наряду с упоминавшимся термином *koogoo* («устный язык»), отошедшим на второй план с выходом из активного употребления бунго, еще до войны распространился термин *hyoojungo* («стандартный язык»). Последний термин существует и сейчас, но распространился и еще один термин — *kyootsuugo* («общий язык»), при этом *hyoojungo* и *kyootsuugo* нередко употребляются не как синонимы. Об этом писал С. В. Неверов: «В ходе обследования (языковой ситуации в провинциальном городе. — В. А.) выяснилось, что большинство жителей этого района практически в своей повседневной жизни и деятельности не пользуется национальным литературным “образцовым” языком (*хэджюngo*). Для систематизации научных представлений об этом явлении потребовались сведения о языке-макропосреднике — общем языке, несколько отличающемся с точки зрения норм произношения и словоупотребления от литературного “образцового” языка, но понятного жителям всей страны (в том числе и данного района) в противоположность местным диалектам, употребление которых локально ограничено. В качестве условного наименования для этого языка-макропосредника было принято слово *кэццүго*» [Неверов 1982: 14].

По-видимому, в *kyootsuugo* можно выделить разные компоненты. Ядро его составляет *hyoojungo*, «классический стандарт литературного национального языка, фиксируемый как общая норма — за пределами индивидуального стиля — в орфоэпии, орфографии, синтаксисе и функциональной стилистике» [Там же: 15]. Но входят сюда и допустимые отклонения от этого образца начиная от индивидуальных и кончая общеяпонскими. Например, в *hyoojungo* очень частотная форма длительного вида образуется присоединением к деепричастию смыслового глагола вспомогательного глагола *iru* ‘быть’: от *miru* ‘видеть’ — *mite iru*; форма потенциалиса I образуется только от глаголов с согласным исходом основы, а, например, от того же *miru* ее образовать нельзя. Однако в разговорном, а иногда даже в письменном языке формы длительного вида стягиваются в единое слово: *mite iru* → *miteru*, а от *miru* образуется форма потенциалиса I *mireru*. Наконец, *kyootsuugo*, являясь общим для всех языком, не исключает и локального варьирования. Особенно это проявляется в сфере акцентуации, несмотря на то что уже давно нормы существуют и здесь. Обычно японец, даже прекрасно владеющий литературным языком, сохраняет в той или иной степени акцентуацию того района, где

он родился; материнская акцентуация преобладает даже при перемене места жительства, см. [Sugito, Okumura 1984]. Упомянутый Сибата Такэси говорил в одном из выступлений, что, прожив 45 лет в Токио, он до сих пор не знает правильную акцентуацию ряда слов. Взаимопониманию это однако не мешает.

Речь одного и того же человека в пределах *kyootsuugo* варьируется: на письме, перед телекамерой или в разговоре с вышестоящим она более приближается к *hyoojungo*; при этом надо учитывать, что этот же человек может пользоваться и диалектом (см. ниже). Определенный разрыв между письменной и устной речью³⁵ безусловно существует и сейчас, хотя в области художественной литературы, как отмечает И. Неуступны [Neustupný 1978: 172], наблюдается второе движение «гэмбун-итти», связанное со стремлением писать на чисто разговорном языке; И. Неуступны видит в этом аналог того, что происходило в литературе Запада 1900–1920-х гг.

В связи с этим необходимо сопоставить *kyootsuugo* с русским разговорным языком. М. В. Панов, противопоставляя этот язык (РЯ) кодифицированному литературному языку (КЛЯ), пишет: «РЯ — некодифицированный... Он усваивается только путем непосредственного общения между культурными людьми. Ведь РЯ — одна из двух систем, составляющих литературный (культурный) язык, поэтому его носители — те же лица, которые владеют КЛЯ» [Панов 1990: 19].

Можно ли говорить, что *hyoojungo* соответствует кодифицированному литературному языку, а *kyootsuugo* покрывает обе системы, составляющие литературный язык? Если на первый вопрос можно ответить безусловно положительно, то на второй вопрос приходится ответить и «Да», и «Нет». С одной стороны, любой носитель литературного языка говорит и в Японии не так, как пишет, а в неофициальной обстановке говорит совсем не так, как в официальной. О большом варьировании японского языка, в том числе по сравнению с западными, пишут многие; см., например, [Oohashi 1984: 55; Kashiwamura 1983: 6]. Например, японские студенты в общении между собой говорят и даже пишут так, что их с трудом понимают окружающие, но экзаменационные сочинения пишут на правильном *kyootsuugo* [Gengo 1984: 8–12]. Но, с другой стороны, на разговорных вариантах «общего языка» говорят далеко не все, а лишь население крупных городов, прежде всего Токио с пригородами и городов Хоккайдо.

М. В. Панов связывает появление разговорного языка с реакцией на «оказенивание» литературного языка в советский период [Панов 1990: 19]. Он же считает, что до революции его не было. Последнее утверждение нам кажется спорным, но даже если с ним согласиться, то все равно нельзя однозначно связывать формирование подобной системы с советским строем, как имплицитно получается из книги М. В. Панова: в Японии она есть тоже. Скажем, упомянутая

³⁵ В японском языке этот разрыв усиливается еще особенностями, связанными с иероглифической письменностью, многие из которых не переводятся в устную речь. Но это особая тема.

форма *mireru*, весьма основательно изученная, не признается учебниками и нормативными грамматиками, но употребляется в неофициальном общении абсолютно культурными людьми, причем по всей Японии. И таких примеров много. Можно отметить по крайней мере две причины, поддерживающие существование в Японии особой системы разговорного языка. Во-первых, для японцев очень значимо противопоставление «свой — чужой», проявляющееся и в речи, каждому японцу важно противопоставлять речь с близкими людьми, входящими в тот же коллектив, что и он, и речь с людьми вне своего коллектива (границы между «своими» и «чужими» могут меняться в зависимости от ситуации). Во-вторых, мы уже упоминали о формах вежливости, весьма различных в официальной и неофициальной речи. Впрочем, и вопрос об оказенивании стандартного языка, о сведении его к массовым стереотипам вполне актуален и для Японии (см. [Неверов 1982: 41–42; Mizutani 1981: 146–149]).

Всеобщее распространение нормы в обеих странах шло в целом схожими путями. Продолжала сохраняться роль школы и книги, но все большее значение приобрели средства массовой информации, особенно телевидение. В СССР телевидение началось в 1938 г., а в Японии лишь в 1953 г., но массовое значение оно приобрело примерно в одно время — к концу 50-х гг. И опять-таки роль телевидения в распространении языковой нормы и язык телевидения с точки зрения соответствия норме хорошо изучены в Японии (подробнее см. [Алпатов 1988: 103–108]), но не у нас. В Японии общепризнано, что если орфографии в основном обучаются в школе, то орфоэпии — через телепередачи, и лишь с массовым распространением телевидения орфоэпические нормы (кроме отчасти акцентуационных) стали всеобщим достоянием, особенно влияя на речь детей.

Роль средств массовой информации, значительная в обеих странах, намного более осознана и признана в Японии. Любопытны слова лингвиста Тоёда Кунио: «Язык постоянно нуждается в норме. Для определения правильности нормы необходим авторитет или какое-то обоснование. Авторитеты, которые давали это обоснование, менялись с течением времени. От жрецов в древнейшие времена право быть авторитетом переходило к знающим письменность ученым и к людям искусства. В современной Японии таким авторитетом является массовая коммуникация» [Toyoda 1972: 15]. В СССР представления были иными и скорее более архаичными. Пример — дискуссия в советской печати в 1964–1965 гг. по проекту реформы орфографии: в общественном мнении выступления писателей, обычно лингвистически элементарно неграмотные, воспринимались как самые весомые, лингвистов слушали гораздо меньше, а работники средств массовой коммуникации, по крайней мере электронных, вообще не высказывались³⁶.

³⁶ Японский рецензент советской «Энциклопедии юного филолога» Тино Эйити удивлялся наличию там статей о писателях, указывая, что японская традиция не могла бы такое позволить [Gengo 1984: 37].

Не удивительно, что в Японии нормирование языка сосредоточено в двух ведомствах: Министерстве просвещения и полугосударственной теле- и радиоконпании Эн-эйч-кэй; их нормы, жестко выполняемые лишь соответственно в школьном преподавании и в передачах Эн-эйч-кэй, оказывают тем не менее влияние на всю языковую ситуацию. Нормы двух ведомств, несколько более пуристичные у Министерства просвещения, иногда не совпадают и конкурируют друг с другом.

В СССР Гостелерадио и его предшественники, хотя также выпускали справочники для дикторов, не оказывали особого влияния на выработку языковых норм. В качестве нормализаторов языка также выступали Министерство просвещения (через издание учебников), Академия наук (словари и справочники), играли роль и издательства, выпускавшие нормативные словари и справочники.

Сами по себе способы изменения и уточнения нормы в обеих странах аналогичны: это либо постановления и циркуляры о частичном изменении, уточнении или отмене каких-либо правил, либо нормативные словари и грамматики, при переизданиях которых что-то меняется.

Ни в той, ни в другой стране после достижения стабилизации уже не стоял вопрос о коренной смене литературной нормы в каком-либо отношении. Вспомнив термины И. Неуступны, можно сказать, что в обеих странах перешли от языковой политики к культуре речи, норма, прежде всего, на этом этапе сохраняется неизменной, лишь в деталях изменяясь или уточняясь. Ни о приближении русского литературного языка к «языку рабочих», ни об отмене японских форм вежливости, ни о переводе того или иного языка на латинский алфавит речи уже не шло. Даже менее радикальные перемены оказывались невозможными. Неудача проекта орфографической реформы 1964 г. последовала не из-за упомянутой выше позиции писателей: сама эта позиция отражала точку зрения «нормального» взрослого грамотного носителя языка, которому, прежде всего, не хочется переучиваться. Лишь в годы революций или коренных реформ можно преодолеть такое нежелание.

Даже реформы периода всеобщей ломки прижились по-разному. Орфографические реформы в обеих странах оказались успешными (показательно, что в нашей стране в последние годы при массовом движении за возвращение к «исконной» топонимике не стали сколько-нибудь заметными призывы вернуться к старой орфографии). В Японии также полностью оправдали себя отмена бунго, упрощение написания иероглифов и упразднение императорских форм. Но уже реформа форм вежливости удалась не полностью, многие рекомендации себя не оправдали. Лишь частично удался и иероглифический минимум. Хотя, несомненно, число употребляемых иероглифов уменьшилось, и возврат к старому уже невозможен [Neustupný 1978: 271; Imai 1980: 28], но количество реально употребительных иероглифов всегда заметно превышало этот минимум: в 1966 г. в ведущих газетах Японии было употреблено 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше минимума [Imai 1980: 26]; многие рекомендации по написанию конкретных слов остались на бумаге, особенно в отношении собственных имен. Минимум несколько

раз пересматривался, последние пересмотры произошли в 1981 и 1990 гг. В целом изменения шли в сторону увеличения, сейчас в минимуме 2229 знаков, но реально их все равно больше. Попытка упразднить так называемую фуригану (написание чтения иероглифа азбукой сбоку от него для пояснения или стилистического эффекта) вообще не удалась: фуригана никогда не исчезала даже в учебниках, в 1972 г. постановление о ее отмене было аннулировано. Более поздние попытки ввести какие-то более или менее значительные изменения нормы не прижились. Это можно сопоставить с постановлением 1944 г. о введении в русском письме обязательного употребления буквы ё. Даже в те во многих других отношениях строгие времена добиться такого употребления не удалось.

Это однако не исключает изменения написания или произношения отдельных слов, что происходило не так уж редко: автор этого текста учился писать *подмышку*, *биллиард*, *Лос-Анжелос*, а потом пришлось привыкать к написаниям *подмышку*, *бильярд*, *Лос-Анджелес* (в последнем случае изменилось и произношение). Только у нас такие изменения нередко производятся «на глаз», а в Японии они — результат длительного и массового наблюдения над языком и опроса множества информантов. Если оказывается, что дикторы телевидения регулярно произносят некоторое слово не так, как это предписывается нормой, а информанты предпочитают то же произношение, что и дикторы, то норма меняется.

С точки зрения распространения литературного языка обе страны в данные периоды имеют сходство. Но роль других языковых образований оказывается иной. В русскоязычных районах СССР литературный язык не имел конкурентов. Конечно, диалекты всегда существовали, а степень владения литературным языком была и остается различной, но диалекты в советское время окончательно стали непрестижными, а под влиянием средств массовой информации и контактов между людьми их особенности быстро изживались. Не сложились региональные койне, а региональные особенности литературного языка, и раньше не очень большие, совсем сгладились: «Перемешивание людских масс в годы великих исторических потрясений было постоянным и максимально широким, где тут устоять локальным особенностям» [Панов 1990: 16]. С другой стороны, церковнославянский язык с ослаблением позиций церкви в государстве ушел на еще более далекую периферию, а славянизмы если и продолжали проникать в литературный язык, то лишь в нарочито сниженном значении: в газетном стиле *приснопамятный* и *подвизаться* могли быть лишь ругательствами. И сейчас, хотя роль церкви вновь начала усиливаться, вряд ли можно ожидать «обмирщения» церковнославянского языка.

В Японии же далеко не исчерпана историческая роль бунго и тем более диалектов, а региональные койне, ранее почти исчезнувшие, вновь начинают появляться. Роль бунго резко снизилась после 1945 г., но до сих пор бунго учат в школе, классическую литературу чаще издают в оригинале с комментариями, чем в переводе на современный язык, только на бунго пишут стихи в традиционных жанрах танка и хайку (правда, в большинстве эпигонские и нередко

с ошибками), сохраняется бунго в традиционном театре и в религиозной сфере, включая и христианство. Но важнее не само функционирование бунго, достаточно ограниченное, а продолжение его влияния на современный литературный язык. Одна из черт, удивляющих иностранца при знакомстве с японской лексикографией, — большой процент старой лексики, часто никогда не употреблявшейся в новом литературном языке (см. [Алпатов 1987a]); ср. русские толковые и двуязычные словари, куда не принято включать лексику, вышедшую из употребления в допушкинский период. Пока бунго был живым языком, а образцом для него оставались тексты древних эпох, то любой архаизм имел шанс быть употребленным в тексте на бунго, а через него попасть и в кого (в период ускоренной европеизации так нередко происходило со словами, которые использовали как эквиваленты для передачи новых понятий). Сейчас это встречается много реже, но не исчезло совсем, особенно — в некоторых специализированных текстах (юридических, патентных), где и грамматика приближена к бунговской. Грамматические заимствования из бунго нередки и в иных стилях вплоть даже до разговорного, воспринимаясь как более вежливые и изысканные. Ср. также состояние камбуна, о котором говорилось выше.

Но намного важнее современная роль диалектов, о которой мы писали подробнее [Алпатов 1988: 17–24]. По-прежнему они остаются главным средством коммуникации в семье и с близкими друзьями и соседями. Мы уже говорили, что русскому разговорному языку подобное языковое образование в Японии соответствует лишь частично: в деревне и в малых городах полностью преобладают диалекты. Именно на диалектах большинство японцев начинают говорить, лишь затем через телевидение и школу они осваивают литературную норму.

Сохраняя свою роль функционально, диалекты меняются структурно, испытывая влияние литературного языка. Например, система фонем в современных диалектах обычно совпадает с литературной. Однако, не говоря об акцентуации, и многие грамматические и лексические диалектные черты остаются очень устойчивыми. Более того, очень многие японские исследователи отмечают появление так называемых новых диалектов, это явление отмечено в самых разных районах Японии. В «новых диалектах» наряду с явлениями, происходящими из старых диалектов или из литературного языка, наблюдаются и ранее не существовавшие лексемы и даже грамматические формы.

Престижность диалектов заметно повысилась сравнительно с довоенным временем, когда люди даже скрывали знание диалектов. Раньше свободное владение диалектом свидетельствовало о незнании или недостаточном знании литературного языка. Теперь большинство японцев вполне владеют обеими системами и свободно переходит от одной к другой. Нам приходилось видеть, как в телепередаче группа женщин из префектуры Мияги на севере Японии вела беседу между собой на диалекте, но, увидев телекамеру, эти женщины перешли на вполне нормальный литературный язык. Среди носителей русского языка такой способностью вряд ли обладает кто-либо, кроме специалистов-диалектологов.

Если до войны в школах отучивали детей от диалектных особенностей, то теперь диалекты рассматриваются как национальное достояние: в научно-исследовательском институте при компании Эн-эйч-кэй вместе с записями голосов знаменитых людей хранятся записи исконных, не подвергшихся литературному влиянию диалектов (которые все-таки почти исчезли). В школах вводятся особые для каждого региона курсы правильного пользования местным диалектом, а в местном радиовещании встречаются передачи на диалектах. Тем самым диалекты, сохраняя локальность, начинают подвергаться нормализации. Но упорядочить каждый говор невозможно. Такие нормализованные языковые образования уже скорее не диалекты, а региональные койне, в которых усредняются особенности отдельных диалектов. Со временем из них могут образоваться и локальные варианты литературного языка.

Как трактовать такую роль диалектов, не имевшую и не имеющую аналогов в России? Свидетельство ли это перехода к постиндустриальному обществу, где жесткое вытеснение одних языков другими и одних вариантов языка другими вариантами того же языка сменяется «мирным сосуществованием»? Или же это отражение все той же склонности японцев проводить барьер между «своими» и «чужими»? В самом деле, владея одним лишь диалектом или одним лишь литературным языком, такой барьер провести труднее, а современный японец говорит на диалекте со «своими» и на литературном языке с «чужими» (в том числе в официальных ситуациях). «Перемешивания людских масс в годы великих исторических потрясений» (например, в конце войны, когда шла массовая эвакуация из районов бомбардировок) немало было и в Японии, но диалекты либо сохранялись, либо заменялись диалектами же. Например, остров Хоккайдо заселялся в основном лишь в последнее столетие, и там перемешались выходцы из разных диалектных зон. При этом их исконные диалекты через два поколения исчезли, но образовался общий новый диалект. Так что диалекты в Японии очень устойчивы, в России же многие из них исчезли или исчезают.

Несколько лет назад на этом можно было бы поставить точку, но сейчас ситуация, мало изменившись в Японии, коренным образом изменилась в уже бывшем СССР. Уже очевидно, что за социальной дестабилизацией следует и языковая, на глазах теряют силу старые табу и предписания, расшатывается норма. Но выводы пока делать рано.

За недостатком места мы не коснулись ряда важных компонентов языковой ситуации, в частности вопроса о заимствованиях, где тоже есть немало любопытных параллелей. Безусловно, мы не претендуем на решение поставленных нами проблем. Нам прежде всего хотелось бы привлечь к этим проблемам внимание как русистов, так и японистов.

НОРМА ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ

Сознательное нормирование японского языка началось с XII в., когда крупнейший филолог Фудзивара Тэйка установил первые орфографические нормы, именуемые «тэйка-канадзукаи» [Алпатов и др. 1981: 272–273]; в XVII–XVIII вв. эти нормы были развиты и уточнены, началось формирование грамматических и лексических норм. Однако до второй половины XIX в. нормированию подвергался лишь имевший ограниченное функционирование письменно-литературный язык (бунго), значительно отличавшийся от диалектов, на которых осуществлялась устная коммуникация; нормирование заключалось в максимально возможном приближении бунго к языку древнейших и наиболее авторитетных памятников, в его очищении от лексических и грамматических элементов, проникавших на протяжении последующих веков, и от влияний живого произношения. Устные нормы не вырабатывались вообще.

После буржуазной революции 1867–1868 гг. Япония вступила на путь капиталистического развития. В этот период старый литературный язык не соответствовал новой ситуации, и встала проблема формирования литературного языка на разговорной основе. Новый литературный язык сложился на базе так называемого эдоского (токийского) диалекта, являвшегося наддиалектным образованием, на котором происходило общение носителей разных диалектов в г. Эдо (Токио), крупнейшем экономическом и политическом центре Японии, ставшем с 1868 г. ее столицей. Новый литературный язык в конце XIX в. и в первой половине XX в. сосуществовал с бунго, постепенно отвоевывая у него один функциональный стиль за другим (подробнее см. [Конрад 1960]). После Второй мировой войны он стал единственным литературным языком Японии.

В довоенный период основным источником распространения литературной нормы являлась школа. Роль прессы и появившегося в 20-х гг. XX в. радио была второстепенной. Уже в начале XX в. школьное образование стало в Японии всеобщим. На всей территории страны оно велось на литературном языке, диалекты считались «порчей языка» и ставилась задача их вытеснения. В школе обучали и бунго по нормам, установленным филологами XVII–XVIII вв. Сейчас этот язык вышел из активного употребления, но его изучение в школе сохранилось, хотя и в меньшем масштабе. Функции установления языковых норм до войны лежали исключительно на Министерстве просвещения, которое помимо учебной литературы и методических пособий издавало и нормативные грамматики, такие как

полная для своего времени коллективная грамматика «Koogohoo» (1917). Большую роль сыграло и творчество писателей конца XIX — начала XX в., некоторые из них (Ямада Бимё и др.) принимали непосредственное участие в установлении языковых норм.

Распространение преподавания на литературном языке, безусловно, принесло свои плоды. Влияние школы на владение языком в Японии очень значительно, даже у пожилых носителей языка большинство сходств и различий в речи связано с тем, в каких школах они обучались [Grootaers 1982: 339]. В результате сейчас в Японии практически невозможно найти человека, абсолютно не знающего литературного языка и не испытавшего его влияния: в массовых обследованиях 70-х гг. таких людей не обнаруживалось даже среди информантов старше 80 лет [Wada 1979: 56].

Однако до полного нормирования японского языка в 30-е гг. было еще далеко. Довоенные нормы были почти исключительно письменными нормами, в школе обучали тому, как правильно читать и писать, но систематически не обучали, как правильно говорить [Kimura 1983: 19; Hosono 1983: 38]. Строгих орфоэпических норм не существовало. Это не означает, что тогда совсем не обращалось внимания на произношение. Стихийно токийское произношение как наиболее престижное распространялось в том числе и через школу, где учителя старались отучать учеников от явно диалектных черт. Однако это делалось несистематично и почти не распространялось на акцентуацию, где диалектные системы полностью сохранялись. Другим недостатком был консерватизм нормы, которая во многом создавалась по образцу нормы бунго. Особенно это относилось к орфографии, которая копировала орфографию бунго и была далека от реального произношения. В период господства милитаризма в 30-е — начале 40-х гг. норма в ряде случаев искусственно менялась в угоду требованиям властей: господствовал крайний пуризм и уже укоренившиеся в языке заимствования из западных языков заменялись искусственными словообразованиями, например *shookooki* вместо *erebeetaa* 'лифт' из англ. *elevator* [Seward 1968: 97].

В результате уже до войны значительная часть населения в той или иной мере пассивно владела литературным языком, однако не владела им активно в достаточной степени или же владела только на письме. В сфере устной речи, исключая крупные города, господствовали диалекты.

Происшедшая после разгрома японского милитаризма в 1945 г. демократизация японского общества сказалась и на языковой норме. В первые послевоенные годы был проведен ряд довольно радикальных реформ. В официальной сфере произошла полная замена бунго на современный литературный язык, из которого были исключены явные архаизмы вроде специальной императорской лексики и устаревших форм вежливости; был проведен ряд письменных реформ, из которых наиболее важными являлись две: 1) изменение орфографии японских слоговых азбук (каны), превратившейся из исторической в фонологическую, и 2) установление иероглифического минимума. Министерством просвещения

был утвержден список из 1850 иероглифов, рекомендовалось не выходить в дальнейшем за его пределы, прежде всего в прессе и в учебной литературе. По мнению ряда специалистов, введение минимума мыслилось как первый этап на пути к ликвидации иероглифики [Suzuki 1975: 176]. Было уменьшено и количество иероглифов, изучаемых в школе: в начальной школе с 1356 до 881 [Matsuyama 1983: 4]. Также было сокращено количество чтений иероглифов и упрощено написание некоторых из них. Несколько позже, в начале 50-х гг., были приняты и нормы употребления форм вежливости.

Наряду с изменением норм проходило и их совершенствование. Впервые внимание было обращено на нормы орфоэпии и шире на нормы, связанные с устным функционированием языка. Теоретические основы языкового нормирования с первых послевоенных лет разрабатывались представителями влиятельной в Японии школы «языкового существования» (гэнго-сэйкацу) (см. специальные работы [Конрад 1959; Неверов 1982]), основатель которой, Нисио Минору, еще до войны считал, что школьное обучение языку — это, прежде всего, обучение правильному говорению и слушанию [Ishii 1983]. В соответствии с этими идеями начало перестраиваться преподавание.

Однако еще большее значение в распространении устных норм сыграло расширение сферы радио и особенно телевидения. Телевидение появилось в Японии сравнительно поздно (регулярные передачи с февраля 1953 г.), однако быстро стало неотъемлемой частью японского быта. В настоящее время телевизор имеют 99 % японских семей [Фирсов 1985: 61]. По данным на 1983 г., лишь 2,8 % обследованных лиц не смотрит его совсем, а среднее время просмотра передач в день — 144,9 мин. [Shimbun 1984, 1: 60]. В этих условиях именно телевидение в первую очередь формирует литературное произношение [Hosono 1983: 37–38; Nakamura 1984: 5; Matsumoto 1980: 104]. Указывается, что большинство новых слов дети усваивают именно через телевизор, а не через школу или общение со взрослыми [Канаока 1984: 52], тем самым усваивается и их произношение. Велика роль телевидения и в усвоении письменных норм, поскольку на японском телевидении письменная передача информации также играет большую роль. Как писал лингвист Тоёда Кунио, «язык постоянно нуждается в норме. Для определения правильности этой нормы необходим авторитет или какое-то обоснование. Авторитеты, которые давали это обоснование, менялись с течением времени. От жрецов в древнейшие времена право быть авторитетом переходило к знающим письменность ученым и к людям искусства. В современной же Японии таким авторитетом является массовая коммуникация» [Toyoda 1972: 15]. Недаром наиболее образцовой в Японии считается речь дикторов телевидения [Nakamura 1984: 5], хотя и отмечается при этом, что такая речь холодна и неестественна.

В такой ситуации Министерство просвещения в послевоенные годы лишилось монопольного положения в качестве законодателя языковой нормы, эту роль выполняют и телевизионные компании. Хотя таких компаний в Японии несколько, основную деятельность здесь ведет лишь одна из них — государственная

компания NHK, частные компании обычно следуют нормам NHK. В этой компании имеется специальный орган — Совет по языку передач. Этот орган, наделенный законодательными для NHK функциями, состоит из руководящих деятелей компании и самых авторитетных японских лингвистов: в его состав входят или входили академик Хаттори Сиро, Киндайти Харухико, Сибата Такэси, Хага Ясуси и другие ученые, чьи имена широко известны в мировой японистике. Совет собирается ежемесячно, заседания состоят из выборочного просмотра видеозаписей и прослушивания магнитофонных записей, обсуждения виденного и слышанного, выработки решений. Совет принимает около 100 конкретных решений в год [Soogoo 1972: 7].

Наличие двух основных источников нормы приводит к определенному разнобою, хотя NHK и Министерство просвещения и стараются, особенно в последние десятилетия, как-то унифицировать свои нормы. В целом для Министерства просвещения в большей степени характерен пуризм, особенно проявляющийся в правилах произношения и написания заимствований из английского языка: оно в основном стремится ориентироваться на привычки людей, не владеющих английским языком, тогда как NHK не ставит перед собой такой задачи. Например, в 50-е гг. NHK было принято произношение [Yeroosutoon] ‘Йеллоустон’, [Juneev] ‘Женева’, а Министерством просвещения — Eroosuton, Juneebu, соответственно различалось и написание [Bunken 1978, 7: 25–27]. Произношение твердых *t*, *d* перед *i* в заимствованиях давно принято NHK (хотя не всегда допускалось соответствующее написание) и лишь с 1978 г. допущено Министерством просвещения [Hoosoo-kenkyuu 1984, 9: 68]. Нет полного единства и в правилах написания латиницы.

Еще больший разнобой создается в связи с наличием и других ведомств, устанавливающих нормы языка. Этими вопросами занимаются Ассоциация японских газетных компаний (Nihon-shimbun-kyookai), картографическая служба и др. [Ibid.]. Определенные расхождения возникают и здесь. Особенно они велики, пожалуй, в отношении норм записи японских слов латиницей (латинское письмо имеет в Японии ограниченное применение: в дорожных и др. указателях в помощь иностранцам, в учебной литературе, картографии для более точного указания произношения и т. д.). Существуют два основных вида транскрипций (латиница Хэпбёрна и так называемая государственная латиница), различно используемых разными ведомствами. Например, в картографии и в каталогах библиотеки парламента употребляется государственная латиница, тогда как в учебной литературе, словарях, а также в дорожных указателях и др. — латиница Хэпбёрна [Romanization 1977: 32–33]. В целом однако различия ведомственных норм нельзя считать очень значительными. Все указанные нормы едины для всей Японии и не имеют региональных разновидностей (о появлении региональных нормированных вариантов см. ниже).

Установление и поддержание языковых норм в Японии имеет солидную научную базу. При Министерстве просвещения с 1948 г. существует Государственный

институт японского языка [Kokuritsu-kokugo-kenkyuujo], являющийся ведущим центром школы «языкового существования». Институт ведет теоретические исследования различного профиля, однако вся его деятельность подчинена решению практических задач, прежде всего задач нормирования языка и рационализации преподавания. При NHK имеется объединенный институт культуры радио и телепередач (NHK — soogoo-bunka-kenkyuujo), изучающий гуманитарные аспекты радио и телевидения, в том числе язык передач; работа института имеет также прикладную направленность (см. о его деятельности: [Алпатов 1987а]. Все мероприятия по уточнению и изменению языковых норм осуществляются на основе рекомендаций специалистов, прежде всего работающих в названных институтах.

Как указывают социоллингвисты [Neustupný 1978: 167], процесс установления языковых норм в Японии в основном завершился на грани 40–50-х гг. Далее на первый план вышли проблемы поддержания нормы и ее дальнейшего распространения. Это не исключает изменений норм в необходимых случаях (см. ниже) и установления норм, оставшихся неопределенными. Последнее относится, в частности, к терминологической деятельности. До недавнего времени научно-техническая терминология в Японии отличалась крайней неупорядоченностью, что отмечали многие зарубежные специалисты [Neustupný 1978: 170; 1984: 3]. В 80-е гг. однако на эти проблемы начали обращать внимание: организовано около 500 терминологических комиссий, издается большое количество терминологических словарей, количество которых с каждым годом возрастает [Galinski 1983]. Ведущую роль в этой деятельности играет Государственный институт японского языка.

Большое внимание в современной Японии уделяется вопросам распространения и пропаганды языковых норм, культуры речи. В Японии любят рассуждать о «лингвистическом буме», значительная часть лингвистической литературы рассчитана на массового читателя. Большими тиражами выходят журналы «Гэнго» («Язык») и «Гэнго-сэйкацу» («Языковое существование»), состоящие из материалов широкого диапазона: от чисто научных статей до практических советов о том, как надо правильно говорить и писать. Вопросы языковой нормы широко обсуждаются на страницах ведущих японских газет. Например, в газете «Асахи-симбун» в течение года (с сентября 1978 г. по август 1979 г.) было на эту тему напечатано 28 статей [Imai 1980, 24]; значительную часть первой страницы номера «Асахи-симбун» за 21.02 1985 г. занимала статья, обсуждавшая сложные правила правописания каны. Много передач по культуре речи ведется на телевидении, особенно по программам NHK, где показываются даже игровые телесериалы на эти темы. Подобного рода деятельность, несомненно, способствует распространению литературной нормы среди населения.

Для японской лингвистики характерно понимание языковой нормы как явления постоянно изменяющегося, гибкого, не застывшего; вместе с тем признается необходимым варьирование норм в определенных пределах. Этим современный подход отличается от концепций довоенного времени, когда господствовало

представление о норме как о жестко установленном своде правил и образцов. Характерно даже изменение терминологии. До войны литературный язык именовался «*hyoojungo*» («образцовый язык»). Этот термин существует и поныне, однако все большее распространение получил термин «*kyootsuigo*» («общий язык»). Подчеркивается, что эти термины не синонимы, «общий язык» — более широкое понятие, чем «образцовый язык», включает в себя разнообразные элементы языка, общепонятные для всех японцев; в отличие от «образцового» он допускает варируемость и постоянно меняется; подчеркивается, что после войны японский язык перешел от этапа «образцового языка» к этапу «общего языка» (подробнее об этом см. [Неверов 1982: 13–16]). Подобные теоретические положения влияют на языковую практику. Примером может служить работа Объединенного института культуры радио- и телепередач при NHK над нормативным словарем произношения и ударения (институт выпустил три таких словаря в 1951, 1966 и 1985 гг., речь пойдет о последнем из них). При подготовке словаря его авторы старались отразить не просто норму современного языка, но норму языка 50-х гг. эпохи Сёва, т. е. периода 1975–1985 гг. [Kanno, Mogami 1981: 34]. В отличие от предыдущих словарь готовился на основе массовых исследований реального произношения. В течение ряда лет велись наблюдения за речью 424 дикторов [Ibid.: 38]. Как уже говорилось, такая речь считается в наибольшей степени образцовой. Однако ряд исследований показал, что не всегда речь дикторов соответствует языковой реальности. Нередко дикторы, основываясь на нормативных предписаниях, говорят не так, как это общепринято среди носителей языка [Hoosoo-bunka 1984, 7: 69], или напротив — в соответствии со стихийно сложившимися обиходными правилами, отклоняясь от официальных норм. Поэтому проводились анкеты среди телезрителей и радиослушателей, которым предлагалось ответить на вопрос о том, как они произносят то или иное слово; анкетой было охвачено 808 жителей Токио и несколько сот жителей г. Татэяма примерно в 100 км от Токио [Kanno, Mogami 1981: 38]. В результате на основе полученного материала было установлено нормативное произношение и ударение для слов, не фиксировавшихся в прежних словарях; для ряда слов было изменено нормативное произношение и ударение. Если старая норма однозначно отвергалась информантами, она, как правило, изменялась. При колебаниях в речи дикторов и в ответах информантов в словаре даются два варианта допустимого ударения; однако для дикторов установлен, как правило, лишь один предпочтительный вариант. Учитывались также такие факторы, как традиция, легкость усвоения (прежде всего с точки зрения регулярности), уменьшение омонимии там, где это возможно; для японских географических названий, если не сложилась устойчивая традиция, авторы словаря старались сохранить местную акцентуацию [Ibid.: 39–41].

Такого рода факторы учитываются на NHK и при установлении нормы произношения заимствований. Указывают на четыре фактора, влияющих на определение нормы: близость к произношению в языке-источнике, традицию, легкость произношения, близость к нормам Министерства просвещения; эту практику

составляют с нормами Би-би-си, где используют лишь два первых фактора; близость к языку-источнику далеко не считается главной задачей, что приводит к расхождениям с транскрипциями специалистов [Hoosoo-bunka 1984, 10: 40].

Подобный подход проявляется и в орфографических нормах, где, однако, нормы значительно менее жестки. Более или менее стабильные нормы существуют лишь в отношении орфографии каны, где установленные после войны правила почти всегда соблюдаются, и в отношении правил написания иероглифов (старые начертания иероглифов почти исчезли; старая орфография и старые начертания иероглифов сохранились лишь в произведениях некоторых писателей старшего поколения или как индивидуальные особенности (например, при записи собственных имен и фамилий), старая литература чаще издается по новой орфографии, послевоенные реформы здесь оказались очень успешными) [Suzuki 1978: 176]. Однако ни количество употребляемых иероглифов, ни распределение в тексте иероглифов и знаков двух вариантов каны — катаканы и хираганы — строго не регламентировано. (Лишь два правила действуют строго: новые заимствования за считанными исключениями пишутся катаканой, окончания слов и служебные слова — хираганой.) Упомянутый выше иероглифический минимум никогда не был нормативным предписанием и играл лишь роль рекомендательного списка. При современной оценке иероглифического минимума отмечают две стороны дела. Безусловно, его введение сыграло свою роль, многие иероглифы исчезли из употребления окончательно и возврата к довоенному употреблению иероглифов быть не может [Doi 1976: 158; Matsuyama 1983: 5]. Однако число реально употреблявшихся иероглифов всегда значительно превосходило минимум даже там, где его старались соблюдать. Так, по данным Государственного института японского языка, в основных японских газетах за 1966 г. встретилось 3313 иероглифов, т. е. примерно в 1,8 раза больше, чем в минимуме [Imai 1980: 26]. Многие слова, писавшиеся полностью или частично иероглифами, не входившими в первоначальный минимум, сохранили свое написание, например частотные топонимы вроде Осака, Ниигата, Гифу. В написании многих слов, традиционно передававшихся иероглифами, не вошедшими в минимум, наблюдается разнობой: могут использоваться хирагана, катакана, иногда более простые иероглифы, входящие в минимум; если при этом не исчезла традиционная запись, то слово может писаться тремя или четырьмя способами. Варьируется и написание многих слов, вроде бы не затронутое введением минимума: корни глаголов с наиболее общей семантикой пишутся то иероглифами (обычно входящими в минимум), то хираганой. Норма почти не регулирует такие вариации, а там, где давались определенные правила (например, писать названия животных и растений катаканой), они не соответствуют реальной практике.

Явное несоответствие установленной нормы и реального употребления иероглифики привело к тому, что первоначальный минимум несколько раз корректировался, а в 1981 г. был официально принят новый минимум, несколько увеличенный по объему: он состоит из основного списка в 1945 иероглифов и дополнительного списка из 166 иероглифов, допустимых лишь в собственных именах. В 1990 г.

дополнительный список увеличился со 166 до 284 знаков [Nihongo 1990, 3: 76–77]. При этом снижена степень нормативности этих списков: указано, что минимум не имеет силы для специальной литературы по науке, технике и искусству и для переизданий старых книг. К настоящему времени увеличено и число иероглифов, изучаемых в начальной школе: с 881 до 996 [Matsuyama 1983: 4]. В этих постановлениях проявляется общий подход к установлению нормы в современной Японии: если раньше ставилась задача «подтягивания» реального функционирования языка к устанавливаемым нормам, то теперь в первую очередь происходит подстраивание нормы к реальному функционированию языка.

Новый минимум приблизил норму к реальности, но и сейчас расхождения очень заметны. Как показывают исследования [Umezu 1983], даже в учебной литературе, где минимум соблюдается наиболее строго (по крайней мере, в школьных хрестоматиях по литературе), отказ от иероглифов вне современного минимума проводится непоследовательно. Ср. также стабильность традиционных написаний без учета минимума в стереотипных формулах новогодних открыток, написание которых в Японии общепринято [Sato 1984: 11].

Опыт введения минимума, который теперь уже никогда не связывается с будущим отказом от иероглифов, показывает, что многие из послевоенных реформ были нереалистичными. (Идеи о необходимости отказа от иероглифики, последний раз оживлявшиеся в Японии в первые послевоенные годы, см. [Конрад 1948], сейчас не имеют серьезных сторонников.)¹ Если введение минимума имело хотя бы частичный успех, то совсем неудачным оказалось постановление об отмене так называемой фуриганы — написания каны сбоку от иероглифов, прежде всего в целях пояснения их чтения. Послевоенные нормализаторы языка, по-видимому, считали, что сохранение лишь небольшого числа иероглифов, которые общепонятны для всех, делает ненужной фуригану, затрудняющую полиграфический процесс. Однако на деле фуригана никогда не исчезала даже из учебников, и в 1972 г. санкции против нее были отменены [Kyogoku 1984: 1–2]. В целом не удалась и попытка ограничить число чтений иероглифов, в 1973 г. количество нормативных чтений иероглифов, входящих в минимум, было заметно увеличено [Yoshimura 1981: 50]. За пределами реформ письменности во многом нежизненной оказалась норма форм вежливости, установленная в 1952 г. Как указывают исследователи, эта норма не была основана на учете фактов и во многом была основана на субъективном мнении некоторых лингвистов [Suzuki 1978: 100]. Развитие «общего языка» пошло во многом не так, как это предполагалось. Например, личное местоимение 1-го лица *boku*, допускавшееся нормами как чисто фамильярное, употребляется мужчинами в любых ситуациях, не требующих подчеркнутой вежливости, а местоимение 2-го лица *anata*, предписывавшееся нормами для употребления

¹ См., однако, дискуссию в журнале «Нихонго», в ходе которой некоторые ученые высказывались в пользу перехода на латиницу ради скорейшей интернационализации японского языка [Nihongo 1990, 3: 4–19].

как стандартное нейтрально-вежливое, быстро стало терять вежливый характер [Suzuki 1978, 100; Oohashi 1984: 58]. Попытки NHK придерживаться инструкции в речи дикторов вызывают часто недовольство [Mizutani 1981: 123]. Здесь официальные нормы пока не менялись, однако их изменение, видимо, лишь вопрос времени.

Таким образом, несмотря на активную деятельность государственных организаций по распространению литературной нормы, японский язык развивается независимо от нее, сама норма вынуждена приспосабливаться к его развитию; концепция «общего языка» основана на признании данного факта. Из этого, однако, не следует, что вся нормализаторская деятельность не имеет успеха, напротив, благодаря ей почти любой японец в определенных ситуациях может говорить и писать на вполне нормативном языке; особенно наглядным примером является речь перед телекамерой (исключение может составлять лишь акцентуация, см. ниже).

Однако распространение литературного языка не привело к исчезновению диалектов, а языковая политика многих десятилетий, направленная на их искоренение, не оказалась эффективной.

Противопоставление «литературный язык — диалект» может быть проведено в двух планах: структурном и функциональном. В плане структуры это разные языковые системы, различающиеся (пусть и не в очень большой степени) набором фонем, акцентуацией, лексикой и т. д. В функциональном плане — это системы, по-разному употребляемые: диалект в отличие от литературного языка территориально ограничен и используется лишь в сфере бытового общения.

Японские диалекты в указанных планах имеют разную судьбу. В структурном плане они значительно изменились и продолжают изменяться под влиянием литературного языка. Традиционные диалекты в чистом виде, которые еще в начале века мог без всяких затруднений изучать Е. Д. Поливанов, почти сошли на нет. Например, диалект деревни Миэ [Поливанов 19176] в 1978 г. сохранялся лишь в речи двух пожилых женщин [Sugito 1983: 196, 209]. Современные диалекты в основном могут быть охарактеризованы как полудиалекты, сочетающие диалектные и литературные признаки; в целом наиболее подвержена влиянию литературного языка система фонем, наименее — акцентуация (подробнее см. статью «Статус основных форм существования в японском языке» в настоящем сборнике). В отношении акцентуации до сих пор первостепенное значение имеет место рождения: акцентуация, усвоенная в раннем детстве, с возрастом обычно не меняется [Sugito 1983: 1]. Однако и здесь под влиянием телевидения происходят заметные сдвиги. Существует и такое интересное явление: полудиалекты (или «новые диалекты», по терминологии японских лингвистов) обладают не только единицами, общими либо со старыми диалектами, либо с литературным языком; появляются и новые, ранее не отмечавшиеся лексические и даже грамматические элементы, не признаваемые нормой и территориально ограниченные; такие особенности «новых диалектов» отмечаются в ряде работ [Inoue 1981; 1982; 1983; 1984; Satoo 1982; Nakajoo et al. 1983]. Отмечают, однако, и районы, где не образуются

«новые диалекты», а используется лишь смесь традиционного диалекта и литературного языка [Nakajoo et al. 1984: 23].

В то же время функциональная роль диалектов остается прежней и несколько не уменьшается с распространением литературного языка. Большинство населения Японии (по крайней мере, лиц среднего и младшего возраста) осознанно владеют двумя языковыми системами: литературной и диалектной (точнее, полудиалектной), свободно и осознанно переходят от одной системы к другой, нередко даже в отношении акцентуации [Oki 1980: 8; Shimizu 1983: 52]. Литературный язык используется на письме, в официальных ситуациях, в общении с чужими и в случаях, когда требуется выразить большую степень вежливости, так как диалект сейчас ассоциируется с невежливой речью [Oki 1980: 6]. Однако в бытовом общении со «своими» устойчиво сохраняются местные полудиалекты. Лишь они, как правило, являются средством коммуникации в семье [Grootaers 1982: 329]. Маленькие дети вначале овладевают лишь местным (полу)диалектом и лишь позже через телевидение, а окончательно через школу осваивают литературный язык [Nomoto 1975: 55; Grootaers 1982: 338; Shimizu 1983: 54]. Определенное исключение составляет лишь образованное население крупных городов, использующее разговорные варианты литературного языка. Однако даже в Токио это относится в полной мере лишь к нагорной части города (Яманотэ), в которой когда-то формировалось эдоское наддиалектное образование; приморская же часть города (Ситамати), где и в прошлом имелся особый говор, до сих пор в языковом отношении имеет заметные особенности [Yokota 1984; Ogino 1983]. В бытовой речи жителей таких близко расположенных городов, как Осака, Киото и Кобе, немало различий, которые четко осознаются жителями каждого из них [Grootaers 1982: 332–333].

Устойчивость диалектов в функциональном плане в Японии во многом объясняется особенностями японской культуры. «Отношения “индивидуум — группа” в Японии, по единодушному мнению ученых, отличаются от западных. Для японца группа, ее вкусы, интересы необычайно важны, у него четко выражено стремление “быть как все”... Японцы часто трактуют понятие группы расширительно: группа это может быть семья, колледж, фирма, страна» [Дьяконова 1985: 97–99]. Группой может быть и совокупность лиц, проживающих на данной территории. В Японии представляется важным «со своими» говорить не так, как с «чужими». Показателен такой факт: во время одного из массовых обследований на о-ве Сикоку в 1976 г. информанты в возрасте 18–23 лет использовали лишь литературные формы вежливости; при повторном обследовании через 5 лет те же лица (которым было к этому времени от 23 до 28 лет) уже пользовались и диалектной системой. Это объясняется тем, что они успели уже занять свое место в обществе, войти в состав социальной группы, которая заставила их отрешиться от привычек, полученных в школе [Grootaers 1982: 352]. Отмечают и такой фактор, как усиление интереса к местной жизни и обычаям, способствующий сохранению диалектов [Ibid.: 343]. (В фонотеке Объединенного института культуры радио- и телепередач при ННК существует «золотой фонд», где наряду с голосами выдающихся людей хранятся

записи традиционных диалектов [Soogoo 1972: 15].) Меняется и престижность диалектов. Можно встретить людей, скрывающих знание диалекта [Shibata 1975: 171], однако сейчас это уже пережиток. Люди среднего и младшего поколений относятся к собственному использованию диалекта как к чему-то само собой разумеющемуся. По-видимому, низкая престижность диалектов была свойственна периоду массового овладения литературным языком, когда речь на диалекте ассоциировалась с низким уровнем образования и культуры. Теперь же, когда владение диалектом вовсе не означает неумения переключаться с него на литературный язык, диалект считается вполне законным средством неофициального общения со «своими». Сказывается и то, что современные полудиалекты не так непохожи на литературный язык, как старые диалекты; черты последних, вызывавшие наибольшее недовольство, прежде всего фонетические, ушли в прошлое.

В этой обстановке изменилось и официальное отношение к диалектам. Перед школой и средствами массовой информации ставится уже не задача искоренения диалектов, а задача их правильного употребления. Сейчас в школах введен курс местного диалекта, особый для разных районов Японии, в котором учат пользоваться диалектом и осознанию его отличий от литературного языка. Подобные передачи ведет и местное вещание NHK, где даже есть передача «как не надо говорить на диалекте». В печати ведутся дискуссии о том, как обучать детей диалекту [Kotoba 1980: 18–24], при этом все считают, что обучение диалекту необходимо. Стало увеличиваться число радиопередач на диалектах [Hoosoo-bunka 1983, 9: 10]. Особенно это заметно на Рюкю, где с 1960 г. ведутся ежедневные передачи по-окинавски: в течение 5 минут в день передают местные новости, а также передают народные песни, пьесы, объяснения диск-жокеев [Gengo 1983, 4: 53, 74–75; Hoosoo-bunka 1983, 9: 10].

Однако ясно, что нормировать каждый диалект и говор невозможно. Те языковые образования, которые начинают нормироваться, во многом «усредняются» по сравнению с конкретными диалектами. Здесь скорее следует говорить о формировании региональных норм японского языка. Это новое явление в японской языковой ситуации за пределами, пожалуй, лишь Рюкю².

Нормализация региональных вариантов языка также имеет солидную научную базу. Может быть, ни в одной стране диалекты не исследуются так детально, как в Японии. Чуть ли не в каждом японском университете имеется кафедра диалектологии, количество публикаций по этой тематике необозримо. Издан много томный диалектологический атлас Японии, сейчас готовится его второе издание, выпускаются детальные атласы всех 47 префектур (см. очерк развития японской диалектологии [Grootaers 1982: 327–344]; здесь отмечается роль Е. Д. Поливанова как одного из создателей японской диалектологии, с. 333). Диалектологическая

² О-ва Рюкю в XV–XIX вв. были политически обособлены от остальной части Японии. В этих условиях окинавский диалект был средством междиалектного общения (эта функция окончательно им не утрачена), до конца XIX в. на нем существовала литература.

работа воспринимается как часть работы по изучению и сохранению национальной культуры.

Подводя итоги, следует сказать, что языковая норма в Японии в целом детально разработана и активно внедряется через школьное обучение и средства массовой информации, особенно телевидение. В то же время не всегда мероприятия такого рода оказываются успешными, ряд постановлений оказал малое влияние на языковую практику. Норма в современной Японии понимается не как жесткий свод правил, допускается ее варьирование в пределах, не мешающих понятности языка для всего населения Японии, норма постоянно изменяется, приспособляясь к изменениям, происходящим в языке. Распространение литературного языка не привело к исчезновению диалектов; они полностью сохраняют функцию средства неофициального общения со «своими», хотя структурно меняются под влиянием литературного языка. В последнее время ведется работа и по нормированию диалектов, фактически по нормированию региональных вариантов языка.

Ситуация, описанная здесь, изложена, прежде всего, на основе материалов, собранных автором в Японии в 1984–1985 гг. За последующие годы, насколько мы можем судить, принципиальных изменений не произошло. См. также наши публикации [Алпатов 1988; 1993; 1994а].

АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ЯПОНСКОГО И РУССКОГО ОБЩЕСТВА ПО ЯЗЫКОВЫМ ДАННЫМ

Язык, безусловно, относится к важнейшим компонентам культуры любого народа. Об этом писали такие замечательные ученые, как В. фон Гумбольдт, Э. Сепир и Н. Трубецкой. Тем не менее и в наши дни очень многие культурологи игнорируют языковую сторону культуры, рассматривают язык изучаемого народа лишь как средство, но не цель исследования. Между тем анализ языковых явлений очень часто может выявить те или иные существенные признаки культуры народа, а также тенденции культурного развития.

Мы рассмотрим лишь один пример. В современном мире огромную роль играют процессы американской экспансии во всех сферах жизни, в том числе и в культуре. Один из аспектов этой экспансии — экспансия английского языка, прежде всего в его американском варианте. Данный процесс имеет две стороны: мировое распространение собственно английского языка и влияние этого языка на другие, прежде всего проявляющееся в появлении заимствований, но иногда отражающееся и в фонетике, и в грамматике.

Мы попробуем сравнить процессы американизации в языковом аспекте в современной Японии и в современной России (в отношении последней мы ограничимся русским языком, оставив в стороне влияние английского на другие российские языки). Нами уже предпринималась попытка сопоставления социолингвистических процессов в этих двух странах (см. статью «Литературный язык в России и Японии (Опыт сопоставительного анализа)» в настоящем сборнике), но проблематика, связанная с заимствованиями, там не рассматривалась.

Безусловно, в обеих странах роль английского языка значительно превосходит роль других иностранных языков, однако процент действительно двуязычных людей не так велик. И в Японии, и в России существует всеобщее школьное обучение, а в школьную программу входит обязательное преподавание одного иностранного языка, чаще всего английского. Есть, впрочем, различие: в Японии со времен американской оккупации (1945–1952) практически во всех школах обучают английскому языку, а в России давние традиции преподавания немецкого и французского языков продолжают сказываться, поэтому далеко не всех школьников обучают именно английскому языку. Различие традиций проявляется и в ориентации на разные варианты английского языка: в Японии известен лишь американский вариант языка (британская речь иногда там воспринимается как диалектная американская), а в России

традиционно принят британский и лишь в последнее время влияние американского варианта через преподавателей из США становится ощутимым. Такое различие ориентации сказывается и на фонетическом облике заимствований.

В то же время массовость обучения английскому языку в обеих странах вовсе не обеспечивает столь же массового владения английским языком в качестве второго. Здесь, правда, очень похожей была ситуация в Японии и РСФСР 15–20 лет назад, а сейчас различия усилились.

Вопреки распространенному у нас мнению, в Японии знают английский язык не так уж хорошо. Во время одного из международных исследований сравнивался уровень владения английским языком в 152 странах; Япония оказалась на четвертом месте от конца, ниже Ирана, Индонезии и Эфиопии [Loveday 1996: 99; Nonna 1995: 58].

Эти данные могут показаться слишком крайними. Но вот данные, приводимые Л. Лавди, автором наиболее подробного исследования заимствований в японском языке. Он опросил 461 информанта. Из них все когда-то учили английский язык, но 54 % заявили, что не знают его вообще, лишь 9 % используют его на работе, 5 % говорят на нем со знакомыми, 0,4 % пользуются им дома [Loveday 1996: 175–176]. Главная причина — отсутствие мотивации. Как пишет тот же Л. Лавди, в школе английский язык — один из самых непопулярных предметов, а единственная более или менее серьезная мотивация для его изучения — подготовка к экзаменам в вуз. А потом японец, если он не связан профессионально с внешней торговлей или обслуживанием иностранцев, обычно не пользуется английским языком, в лучшем случае читая время от времени специальную литературу. Значительное увеличение числа поездок японцев за рубеж не привело к существенному росту двуязычия: обычно они выезжают группами с переводчиками и общаются только между собой [Loveday 1996: 96–99].

Отсутствие необходимости знать английский язык вовсе не означает, что этот язык не престижен; об этом см. ниже. Но его незнание не приводит к жизненным трудностям, поэтому вряд ли в обозримом будущем его будут знать лучше, чем сейчас [Nonna 1995: 57; Yamamoto 1995: 80; Loveday 1996: 181].

Автор статьи не раз сам убеждался в малой распространенности свободного владения английским языком в Японии, особенно во время работы на советской космической выставке в 1973–1974 гг. Посетители постоянно пытались что-то написать в книге отзывов на иностранном языке, при полном незнании русского — обычно на английском. Однако почти всегда надписи сводились к фразам вроде: *It is a pen* 'Это — ручка'.

Однако данная ситуация напомнит читателю о том, что еще совсем недавно было в нашей стране. В СССР миллионы людей учили в школе английский язык, почти у всех в памяти сохранялись отдельные слова и фразы, что облегчало (как и в Японии) процесс заимствования, английский язык, несомненно, был престижен, но людей, свободно им владевших, было не так много. И дело было не столько в качестве преподавания (на которое жалуются и в Японии), сколько

в отсутствии должных мотиваций. Как и в Японии, необходимость читать иностранную литературу по специальности возникала чаще, чем необходимость общения с иностранцами; как и в Японии, у нас за рубежом чаще всего выезжали группами с переводчиком.

Однако динамика здесь иная. Ситуация в Японии мало меняется уже несколько десятилетий. У нас же, начиная со времен перестройки, количество людей, знающих английский язык, особенно среди молодежи, несомненно, возросло (к сожалению, здесь трудно опереться на статистические данные, но направление развития очевидно). При значительном ухудшении общей системы образования в последнее десятилетие обучение английскому языку прогрессирует и в количественном, и в качественном отношении. Безусловно, главная причина здесь — появление мотивации. Появление возможностей работы за границей, рост количества совместных предприятий и фирм, открытие в России зарубежных представительств — все это способствует тому, что все большее число россиян считает важным овладение английским языком.

Однако вряд ли можно считать, что современная Россия более интегрирована в мировую экономику, чем Япония. Но интеграция Японии, безусловно способствовавшая на первых порах (40–60-е гг.) лучшему, чем раньше, знанию английского языка, затем не привела к дальнейшим шагам вперед. Культурные барьеры между Японией и США остаются более существенными, чем экономические и тем более политические. У нас же ситуация скорее обратна: американская массовая культура обладала у нас престижностью и в период, когда еще СССР и США находились в экономическом и политическом противостоянии. Сейчас тенденция к все большему овладению английским языком никак не ослабевает.

При внешнем сходстве ситуация с английским языком в СССР и Японии глубоко была различной. Отсутствие значительной мотивации для изучения английского языка, особенно его разговорного варианта, имело в позднесоветскую эпоху прежде всего внешние причины. СССР был центром «второго мира», противостоявшего «первому» во главе с США. Это противостояние проявлялось во всех сферах, включая языковую. Концепция мировой системы социализма, теоретически обоснованная И. В. Сталиным в «Экономических проблемах социализма в СССР», включала в себя идею о мировой роли русского языка. Если верить В. М. Молотову, то Сталин «считал, что когда победит мировая коммунистическая система, — а он все дело к этому вел, — главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет язык Пушкина и Ленина» [Чуев 1991: 40] (в работах самого И. В. Сталина по языкознанию, впрочем, напрямую об этом не говорится). Главным было распространение русского языка в СССР, в странах социалистического лагеря, а по возможности и в остальном мире. Знание же иностранных языков, прежде всего, было уделом специально отобранных людей, общающихся с «теми, кто еще сегодня во мгле».

Такой взгляд на мир в СССР в 40–50-е гг. разделяли многие. Потом он подвергся эрозии по двум причинам. Помимо постепенно выявившегося отставания

«второго мира» в соревновании с «первым», играла роль и неподкрепленность данного чисто идеологического подхода национально-культурными основаниями. Постоянное изменение границ России, отсутствие естественных преград между Россией и Европой, многовековое стремление русских освоить достижения западной культуры (при не очень большом влиянии русской культуры на западную) — все это не способствовало культурному, в том числе и языковому, обособлению. К 80-м гг. отсутствие мотивировок для овладения английским языком, прежде всего, было связано с сохранением барьеров между «первым» и «вторым» миром. Когда они рухнули, появилась значительная потребность в овладении английским языком как основным международным.

В Японии же большую роль играют внутренние, культурные причины. Нет нужды подробно говорить об островном положении Японии и давней обособленности ее культуры. К этому добавим любопытные высказывания видного японского социолингвиста Судзуки Такао. По его мнению, японское общество — одно из самых открытых в мире для восприятия чужих вещей и идей, однако в нем всегда было и остается затрудненным общение с иностранцами; по его выражению, японцы не ксенофобы, но ксенофиги, т. е. люди, избегающие иностранцев [Suzuki 1987: 141]. Судзуки отмечает и другую черту японской культуры — избирательность. При склонностях к заимствованиям японцы берут из чужих культур лишь те элементы, которые считают для себя нужными, в том числе и в языке; так было и в период китаизации культуры, так продолжается и в эпоху американизации [Ibid.: 143].

Такие различия проявляются и во второй стороне рассматриваемого нами процесса — во влиянии английского языка на японский и русский.

Заимствования неизбежно существуют в любом языке. Однако в большинстве языков, включая русский, заимствования представляют собой четко не структурированное множество слов, очень различных по своим функциям: от не полностью освоенных языком слов с узкой сферой, заимствованность которых ощущается всеми, до полностью освоенных общеобиходных слов, неисконность которых известна лишь специалистам: ср. в русском языке *боа*, *окапи*, *кюре*, с одной стороны, и *хлеб*, *товар*, *кровать* — с другой. Между этими двумя полярными типами есть много промежуточных. Обычно также в книжных текстах процент заимствований выше, чем в бытовом разговоре.

Ситуация в японском языке иная. Там четко выделяются три класса слов: исконные (*ваго*), старые заимствования из китайского языка, связанные с иероглифической письменностью (*канго*), и новые заимствования (преимущественно из английского языка) (*гайрайго*). Каждый класс имеет свои специфические особенности и в фонетике, и в грамматике, и в письменности, позволяющие не только лингвисту, но и среднему японцу осознавать принадлежность к нему того или иного слова (см. статью «О соотношении исконных и заимствованных элементов в системе японского языка» в настоящем сборнике). Для *гайрайго* четким опознавателем служит в первую очередь графика: в смешанном японском письме, где

существуют иероглифы и две слоговые азбуки, одна из этих азбук, катакана, сейчас почти исключительно используется для записи гайрайго (лишь некоторые очень давние заимствования могут писаться и иероглифами); об отдельных значимых исключениях см. ниже. Кроме того, возможно и включение в текст латинских букв, также исключительно для гайрайго. Поэтому для современного японца (Япония — страна, где все грамотны) принадлежность того или иного слова к гайрайго не вызывает сомнений.

По происхождению гайрайго делятся на меньшинство, заимствованное до Второй мировой войны, и большинство, появившееся после 1945 г. Первый класс включает заимствования из разных языков, включая и английский в британском и американском вариантах. Второй класс почти полностью состоит из слов американского происхождения; интернационализмы на латинской или греческой основе и слова из третьих языков сейчас приходят в японский в основном через посредство английского языка, что проявляется в их фонетическом облике в японском языке. Поэтому сейчас можно, слегка огрубляя ситуацию, поставить знак равенства между заимствованием гайрайго и американизацией японского языка. Этим ситуация в Японии отличается от ситуации в России, где никогда не прекращалось заимствование из других языков.

Количественно гайрайго не так много: по всем статистическим исследованиям с 60-х гг. до современности, они составляют 9–10 % всего словаря. Однако среди общеобиходных слов их уже не менее 13 % [Honma 1995: 45]. Если китаизмы-канго в своей массе относятся к книжной лексике, то с очень многими гайрайго японцы постоянно сталкиваются по телевидению, в газетах, в объявлениях на улице и т. д., а в чисто книжных текстах их как раз немного. И в большинстве гайрайго имеют четко выраженную жанровую принадлежность.

По подсчетам, приведенным у Л. Лавди, в терминологии менеджмента гайрайго составляют 53 %, маркетинга — 75 %, среди торговых терминов — 80 %, среди компьютерной терминологии — даже 99 % [Loveday 1996: 192]. И исключительно велик процент гайрайго во всех сферах массового потребления, где он постоянно растет. Это относится к сферам спорта, туризма, эстрадной музыки, кулинарии, моды, потребления (но не производства!) бытовой техники и т. д. Огромное их количество содержится, например, в женских и молодежных журналах [Ibid.: 106–111, 200–202].

В текстах такого рода доминирует катакана, иногда с добавлениями латиницы. То есть текст целиком состоит из гайрайго, исключая грамматические элементы и необходимый минимум глаголов. Если же необходимо использовать знаменательное слово иного происхождения, например японское собственное имя, то и оно очень часто записывается катаканой. В витринах магазинов нам даже приходилось видеть написанным этой азбукой слово *en* — иена. Трудно представить себе японца, не знающего соответствующий иероглиф, но «имидж» магазина требовал по возможности все писать катаканой. Любопытен появившийся в японском языке термин, буквально означающий «катаканские профессии». Это профессии,

обслуживающие престижное потребление: дизайнер интерьера, модельер высокой моды и т. п. [Tanaka 1990: 90].

Более того, в данных сферах можно встретить даже рекламу на английском языке, несмотря на упомянутое выше незнание этого языка. Вот пример, нами уже приводившийся [Алпатов 1988: 91] (см. также фото на обложке той книги). На фестивале японского национального танца (мероприятие, явно рассчитанное на японцев) реклама японского мотоцикла была написана по-английски, лишь марка мотоцикла «Вираго» (естественно, американизм) была продублирована катаканой. Японские мотоциклы считаются лучшими в мире, однако для японской рекламы даже в подобном случае нехарактерны утверждения о том, что тот или иной товар лучше американского; более действенными оказываются лозунги о том, что он совсем такой или почти такой, как американский. Данный пример мы наблюдали в 1984 г., когда в самих США всерьез обсуждались перспективы возможного поражения от Японии в экономическом соревновании. Теперь, когда отставание Японии от США все увеличивается, комплекс культурной и языковой неполноценности японцев может лишь усилиться.

Как совместить распространенность подобной рекламы с малым знанием английского языка в Японии? Оказывается, что очень часто для японцев, особенно молодых, не очень важно значение того или иного слова. Важен его «имидж», ощущение «элитности», закрепленное в написании катаканой или латиницей. Видя мотоцикл и рядом с ним надпись на английском языке, где понятны хотя бы отдельные слова, например дважды употребленное в коротком тексте *american* — американский, японец легко домыслит все остальное. Соответствующую роль играет и использование латинских букв вообще: чем важнее для гайрайго роль обозначения предмета или понятия, тем скорее оно будет написано катаканой; чем важнее «имидж» в чистом виде, тем вероятнее появление латиницы [Loveday 1996: 192]. Крайний случай — надпись на майке, где неважно значение написанного, но важен «элитный имидж». И в Японии такие надписи почти всегда пишут латиницей, что, кстати, сейчас вполне обычно и в России. А как показывают социологические обследования, большинство читательниц японских журналов для девушек плохо знают значения многих употребительных там гайрайго. Например, *beeshikku* — основной — путали с *shikku* — шикарный, *guzzu* — товары — с *zukku* — парусиновая обувь; сравнительно хорошо известно сочетание *karuchha-senta* — культурный центр, но *karuchhaa* никто не понимал как *культура*, а некоторые, думая, что *karuchhaa-senta* значит *центр по интересам*, считали, что *karuchhaa* — интерес; иногда значение понятно лишь частично: испытываемые знали, что *gurei* — серый — какой-то цвет, но не могли сказать, какой именно [Tanaka 1984]. Однако с оценками «имиджа» слова трудностей не было.

Если от прочей японской лексики гайрайго отделены весьма четко, то грань между уже вошедшим в японский язык гайрайго и словом английского языка не всегда ясна (по крайней мере, на письме в записи латинскими буквами). По выражению одного из авторов, мы имеем дело не столько с заимствованием в обычном

смысле, сколько с абсорбцией японским языком английского словаря [Passin 1980: 55]; японский язык вбирает весь словарь английского языка так же, как когда-то вобрал весь словарь китайского [Ibid.: 63]. Реально, разумеется, не каждое английское слово становится гайрайго, но потенциально оно после некоторой фонетической и иногда грамматической адаптации имеет шанс появиться в японском языке хотя бы как окказионализм или компонент сложного слова. При этом у него всегда есть «имидж», а значение может не быть известно большинству.

При этом гайрайго живут своей жизнью, часто независимо от английского языка. Из английского «строительного материала» в самом японском языке образуются новые слова и словосочетания, а уже существующие слова переосмысляются. Из моря примеров приведем лишь два. *Feminiisuto* по-японски вовсе не обязательно «феминистка», это и предприниматель (обычно мужчина), специализирующийся на выпуске товаров для женщин: домашней техники, косметики и пр. Возле перегруженных автомагистралей вывешиваются плакаты с просьбой в определенные дни воздержаться от пользования личными автомобилями; такие дни называются *noo-maika-a-dee*, из *no* — нет + *my* — мой + *car* — машина + *day* — день.

Все перечисленное выше очень напоминает происходивший в Японии более тысячи лет назад процесс заимствования китаизмов (канго) вместе с иероглификой. Тогда вместе с каждым иероглифом заимствовалось его чтение, подвергшееся фонетической адаптации (одновременно иероглифы получали и японские чтения). Чтение иероглифа, как правило, соответствовало корню, и любой китайский корень после фонетической адаптации мог, по крайней мере потенциально, стать канго японского языка. При этом большинство современных слов-канго не заимствованы напрямую, а образованы уже в Японии из китайских по происхождению корней. Граница между китаизмами и исконными словами не столь очевидна, как между исконными словами и американизмами, но в целом тоже довольно четка. И при этом, как указывает Л. Лавди [Loveday 1996: 213], никогда не было значительного китайско-японского двуязычия: никогда не были многочисленны ни китайцы, владевшие японским языком, ни японцы, говорившие по-китайски. Освоение китайской культуры, в том числе письменности и языка, шло почти исключительно через книгу, а не через человеческое общение. Это хорошо соответствует тому, о чем пишет Судзуки Такао.

Хотя объем человеческих контактов между японцами и американцами в наши дни, разумеется, больше, чем контактов между японцами и китайцами в древности, а книжность гайрайго намного меньше, чем канго, но сходство между двумя процессами, отдаленными друг от друга более чем тысячелетием (хотя новые канго создаются и сейчас), несомненно. Вероятно, это сходство отражает существенные свойства японской культуры.

Вернемся к вопросу о месте гайрайго в лексической системе японского языка. При их громадной роли в некоторых языковых жанрах их не так много в языке в целом. А главное, их функционирование ограничено. Уже в сфере техники

и естественных наук гайрайго довольно много, но много и терминов — канго. А в официальных документах, газетной информации (исключая информацию о спорте, поп-музыке и пр.), религиозных, политических, юридических и пр. текстах, научных работах по гуманитарным областям, а также в той части бытового общения, где речь не идет о моде, спорте и пр., гайрайго крайне мало. И главное, их количество здесь, в отличие от текстов, связанных со сферой потребления, не так значительно растет. Как отмечает видный японский социолингвист, новые, появившиеся в последние полвека стили языка характеризуются большим количеством гайрайго, но довольно давно сложившиеся стили их по-прежнему избегают [Kabashima 1983: 83].

Гайрайго много в пределах молодежной субкультуры, и так обстоит дело уже несколько десятилетий. Но эта молодежь (по крайней мере, так было до сих пор), переходя в более старшую возрастную категорию, как бы оставляет связанные с «имиджем» гайрайго новому поколению, не сохраняя их в своей речи.

Итак, гайрайго японского языка связаны с престижными сферами жизни: сферой потребления и сферой современных высоких технологий. При всей своей престижности, обусловленной сохраняющимися у японцев «комплексамии неполноценности» по отношению к США и другим странам, они в целом не проявляют экспансии за пределы этих сфер. Здесь, безусловно, проявляется свойство японской культуры, которое российский японист А. Н. Мещеряков назвал «накоплением и сбереганием» [Мещеряков 1991: 110]. Новые, пришедшие извне элементы культуры не вытесняют старые, а добавляются к ним. Никакие заимствования не кажутся создающими угрозу для собственной культуры, но наряду с ними осознается существование чего-то специфически японского, недоступного иностранцам; об этом в языковом аспекте мы уже писали [Алпатов 1999].

Как пишет один из западных исследователей, «гений» японцев заключается не в изобретении, а в адаптации тех или иных элементов культуры сначала из Кореи, потом из Китая, потом из Европы и США; в отличие от многих стран, этот процесс большей частью шел не под давлением извне, а по собственной инициативе; в результате заимствованные элементы укоренились и живут самостоятельной жизнью, часто меняясь до неузнаваемости по сравнению с оригиналом [Tobin 1992: 3–4]¹. В японской печати встречаются жалобы на «засилье» гайрайго, но в целом их количество не столь велико; большинству современных японцев значительное число гайрайго в некоторых стилях языка не кажется несовместимым с национальной гордостью.

Можно согласиться с выводом Л. Лавди: хотя проницаемость японского языка для американизмов очень велика, но их внедрение в язык отражает скорее освоение обществом отдельных элементов западной культуры, чем глубинную вестернизацию [Loveday 1996: 96].

¹ Ср. слова Судзуки Такао об избирательности заимствований.

А что происходит в современной России? Внешне в процессе внедрения в русский язык американизмов много сходного с аналогичным процессом в Японии. Количественно их также весьма много, хотя они также не составляют большинства лексики. Сферы, куда в первую очередь проникают американизмы, во многом совпадают. Если в японском языке в компьютерной терминологии 99 % гайрайго, то в русском языке картина, вероятно, близка. Вот примеры, приводимые в одной из работ: *кейс* — корпус компьютера, *аржить* — использовать архиватор arj, *мейкануть* — сделать что-либо, *ангрейдить* — обновить что-либо, а также специфический тип заимствований, когда подбирается иное по значению, но созвучное русское слово: *батон* — кнопка, *ария* — эхо-область из соответственно *button* и *area* [Грищенко, Федоренко 2000]. См. также упомянутые выше области менеджмента, маркетинга, поп-музыки и пр. Большое число американизмов, связанных с молодежной субкультурой, заметно и в русском языке, где *шузера на zipерах* и пр. отмечались еще в 70-е гг., но долго не допускались в письменную речь; теперь же, как и в Японии, в молодежных журналах такие заимствования узаконены и широко распространены.

Есть, однако, и существенные различия. В русском языке, как отмечалось выше, нет такой жесткой грани между исконными и заимствованными словами, последние обычно не имеют специальных средств выделения в тексте (выделение с помощью латиницы возможно и в русском языке, но встречается реже, чем в японском). С этим, вероятно, связано и большее, чем в японском языке, включение заимствований из английского языка в исконные грамматические и словообразовательные модели; примеры типа *мейкануть* или *ангрейдить*, довольно частые в Японии начала XX в., для современного языка нехарактерны. В русском языке наряду с прямым заимствованием распространено и калькирование, см. пример: *И величие России, обретшей новую отрасль, им (западникам. — В. А.) тоже глубоко фиолетово* [Нещипенко 2001: 105], где *фиолетово* — безразлично, по-видимому, калька с англ. *violet*. Наконец, заимствования по созвучию типа *батон*, *ария* для японского языка тоже, по-видимому, нехарактерны. С другой стороны, вряд ли в русском языке возможны изобретения типа *ноотаикаадее*. Такие гайрайго образованы по правилам соположения корней, издавна применявшимся для образования канго из китайских корней.

Более существенные различия связаны с жанровыми и стилевыми особенностями заимствований. В этом плане есть и определенные сходства. Приводившиеся выше слова о том, что заимствования более характерны для недавно сложившихся стилей, в целом применимы и к русскому языку, хотя время складывания стилей здесь может быть иным. Лексическое поле, связанное с бизнесом, начало активно формироваться в русском языке лишь в последние годы, и здесь особенно много американизмов. С другой стороны, давно сложившийся стиль спортивных репортажей, где до сих пор сказывается результат специальной замены английских и французских заимствований на исконные слова в конце 40-х — начале 50-х гг., не столь американизирован, как в Японии.

Однако не только граница между исконными и заимствованными словами, но и стилевая маркированность заимствований в русском языке является более размытой, чем в японском. Особенно это проявляется в последнее десятилетие. Вот только несколько примеров, помещенных в работе Г. П. Нецименко. Современные законы рекламных компаний и «пиара» диктуют музыкантам особые правила игры. Везде в мире *мегарекорд лейблы* работают с уже существующими, кем-то сделанными артистами. Целый год крутится колесо по *промоушену* фильмов, претендующих на мировой прокат. Люди, которым, по определению, ничего не светит в политике, делают себе *промоушн* (см. неустановившееся написание слова: *промоушен / промоушн*). На работу за границу приглашают также в качестве модели, официантки, *рецепционистки*, гувернантки и уборщицы. См. также расширенное по значению употребление слов, ранее существовавших лишь как специальные термины: британские власти взяли *тайм-аут* и отложили окончательное решение вопроса о судьбе Пиночета [Нецименко 2001: 105].

Все эти примеры взяты из газет (не специально молодежных!) или радионовостей. Их тематика не связана со сферой престижного потребления, менеджмента или компьютерных технологий. В аналогичных японских текстах гайрайго крайне мало (не считая разве что иностранных собственных имен). А в русском языке американизмов стало заметно больше, хотя вызывает большое сомнение понятность этих слов для широкого читателя, слушателя и зрителя (последняя проблема, как упоминалось выше, значима и для Японии).

Безусловно, для каждого, отдельно взятого английского слова в среднем больше шансов войти в японский язык, чем в русский. Однако в японском языке все эти заимствования, за отдельными исключениями, располагаются внутри некоторого «гетто», пусть вызывающего почтение. В русском языке они могут проникать в любую сферу, в том числе и в ядро языка. Все это вместе с заметно увеличивающимся знанием английского языка в России позволяет предполагать, что глубинная вестернизация русской культуры, начавшаяся по сравнению с Японией гораздо раньше, но в XX в. долго сдерживавшаяся, может пойти значительно дальше. В современных условиях эта вестернизация неизбежно приобретает, в том числе и в языке, характер американизации. Но от категорических прогнозов лучше воздержаться.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

Многие столетия человечество мечтало о едином всемирном языке. Вспомним и идеи английских конструкторов логических языков XVII в., и опыты создателей эсперанто и других международных искусственных языков конца XIX — начала XX в. А в Институте языка и мышления АН СССР в 1926 г. даже собирались создать группу, которая должна была установить «теоретические нормы будущего общечеловеческого языка» [Башинджагян 1937: 258]. Преодолеть языковые барьеры и свободно общаться «в мировом масштабе» мечтали многие. Однако все эти эксперименты закономерно оканчивались неудачей или в лучшем случае (эсперанто) полуудачей.

Более того, общее развитие языковых ситуаций в мире в последние столетия шло скорее в обратную сторону — увеличения количества письменных, литературных, государственных языков. Единого мирового языка не было никогда, но на определенном этапе развития человечества существовали единые языки для целых культурных ареалов: древнегреческий (койне), латинский, церковнославянский, классический арабский, санскрит, пали, классический тибетский, древнекитайский (вэньянь) и др. Они имели международный и межгосударственный характер, противопоставляясь непрестижным и не имевшим официального статуса языкам бытового общения. Некоторые из этих языков (классический арабский, отчасти санскрит) еще сохраняют свою роль, но в целом мировое развитие идет в ином направлении.

Образование в Европе начиная с XV–XVII вв. национальных государств привело к качественно новой ситуации на этом континенте. Эту ситуацию сейчас часто называют Вестфальской системой, поскольку она была впервые закреплена Вестфальским миром 1648 г., завершившим Тридцатилетнюю войну. В соответствии с этой системой Европа делилась на суверенные государства, признававшие существование друг друга и не вмешивавшиеся во внутренние дела друг друга. В языковой сфере Вестфальская система проявлялась в том, что одним из атрибутов каждого государства становился государственный язык на разговорной основе (латынь не могла претендовать на эту роль уже из-за своего наднационального характера); обычно это был язык господствующего этноса. Между государствами и языками не наблюдалось взаимно однозначного соответствия: были государственные языки, использовавшиеся более чем в одной стране (английский, немецкий, испанский), были и случаи, когда в одной стране существовало более одного

государственного языка (Швейцария). Но количество национальных языков сразу стало довольно большим, и, что важно, ни один язык не мог стать в мире господствующим. Данная система постепенно распространялась из Европы на другие континенты, охватив Америку в XIX в., а Азию и Африку в основном в XX в. Даже в единых многонациональных государствах могла создаваться система из ограниченных в своих правах национальных частей, где соответствующие языки имели официальный статус (СССР, Чехословакия, Югославия).

Конечно, развитие национальных языков одновременно вело к вытеснению многих малых языков. Последние либо были обречены на вымирание, либо оттеснялись на периферию, либо в конечном итоге сумели после изменения государственных границ стать государственными языками (чешский, финский, латышский и др.). Обратная ситуация — полная утеря каким-то языком официального статуса — почти не встречалась (в XX в., пожалуй, можно привести лишь два примера — идиш в СССР и маньчжурский язык в Китае). Бывало и так, что государство ставило своей целью развивать тот или иной язык, доводя его до уровня национального (языковое строительство в СССР). В целом языковое разнообразие в культурных сферах (начиная от административно-деловой и кончая сферой художественной литературы) в течение последних столетий в мире росло, достигнув максимума в XX в. (Одновременно языки и вымирали, но всегда это происходило с языками, употреблявшимися лишь в бытовой сфере.)

В последнее десятилетие указанный выше процесс в ряде случаев продолжался: уже на наших глазах еще недавно единый сербохорватский язык распался на три: сербский, хорватский и боснийский. Однако впервые наглядно проявился и обратный процесс (начавшийся, конечно, еще раньше), который можно назвать языковым аспектом общего процесса глобализации.

Данный процесс понимается и оценивается очень по-разному, но вряд ли можно полностью отрицать как его существование, так и его коренное отличие от всего, что происходило в мире ранее. Как говорится в одной из недавних публикаций, «впервые в истории мир стягивается в единое целое в экономическом, информационном и других отношениях, включая политические, военные и правовые» [Косолапов 2003: 128]. Очевидно, что этот процесс связан с установившейся после распада СССР господствующей ролью США в мире. «Вершину иерархии государств современного мира занимают Соединенные Штаты, положению которых в обозримом будущем сильнее всего угрожает лишь их собственная неспособность справиться с проблемами внутренними и своей роли и места в мире, если и когда такая неспособность проявится» [Там же: 137]. «Независимость государства как политическая ценность сохраняется, на практике же все без исключения государства все глубже втягиваются в систему взаимозависимостей современного мира. Система международных отношений... мощно реидеологизируется. Законным в ней признается только то, что укладывается в формулу “экономический либерализм — политическая демократия — военно-политический союз с Западом — вера в бога”; а что такое вся эта связка и каждая из ее частей, как не идеология, к тому же

утверждаемая в мире с поистине мессианскими самонадеянностью и фанатизмом» [Косолапов 2003: 143]. «В основе развертывающейся глобализации лежит прежде всего англо-американская модель общества, его политического устройства, экономики и культуры, цивилизационного и бытового уклада» [Там же: 148].

Как этот процесс проявляется в области языка? Англо-американская модель общества и культуры тесно связана с английским языком. И в Великобритании, и в США всегда господствовала концепция единого языка для всей страны. В Великобритании языки меньшинств до второй половины XX в. не признавались и жестко вытеснялись. Даже в независимой Ирландии оказалось невозможным восстановить ирландский язык как полноценное средство коммуникации; он может играть лишь роль национального символа, а во всех сферах жизни (кроме католического богослужения) господствует английский. В США при отсутствии специальных административных мер (английский язык там официально является государственным лишь на уровне некоторых штатов) их эффективно заменяла идеология «плавильного котла» ('melting pot'), согласно которой человек любого происхождения может стать американцем при условии овладения общей для всех культурой, включая английский язык. И сейчас, когда в США очень распространена политика защиты всяких меньшинств, такое меньшинство, как люди, не владеющие английским языком, не пользуется никакой поддержкой.

Очевидно, что в эпоху глобализации такая политика постепенно начинает становиться мировой. Характерно, что именно в США (в отличие от Европы) широко распространено представление об одноязычии (разумеется, английском) как свойстве культурных и зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью [Skutnabb-Kangas 1983: 66; Tollefson 1991: 12].

Впрочем, пока что о всемирном одноязычии на английском языке речи не идет. Английский язык в ходе глобализации распространяется, прежде всего, как всеобщий второй язык. Кстати, как декларации на этот счет, так и реальная практика очень напоминают ситуацию с пропагандой русского как «второго родного языка» в СССР 60–80-х гг. Во многом эти процессы тогда распространялись и на страны социалистического лагеря. Приведем формулировку из уже цитировавшейся статьи: «С распадом СССР ушла в прошлое “дихотомическая” модель глобализации, основанная на военно-политическом и военно-экономическом противоборстве двух крайних течений западной общественно-политической мысли и практики — либерального и коммунистического» [Косолапов 2003: 140]. Это противоборство проявлялось не только в указанных сферах, но и во многих других, включая языковую. Теперь позиции английского языка укрепились.

Все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда современные информационные технологии базируются целиком на материале английского языка, на международных научных конференциях все доклады читаются и публикуются по-английски, а международные переговоры ведутся не через переводчика, а на английском языке с обеих сторон. В то же время международная роль таких языков, как русский, немецкий, в меньшей степени французский, падает.

Безусловно, эти процессы нельзя рассматривать однозначно. Их положительная сторона очевидна: всеобщее владение английским языком обеспечивает естественную человеческую потребность во взаимопонимании. Кроме того, могут быть ситуации, когда именно английский язык оказывается наиболее нейтральным, менее отягощенным сопутствующими факторами. Например, в Южно-Африканской Республике в период борьбы коренного населения за свои права объединяющим фактором не мог служить ни язык африкаанс (он ассоциировался с господством белого населения), ни местные языки (все они не были общепонятны и разъединяли разные африканские народы). Английский же язык рассматривался как общий и в то же время «ничей» [Pennycook 1995: 51, 54]. Сходную роль этот язык может играть и в Индии, где он (если не считать санскрита) оказывается единственным языком, объединяющим всю страну.

Однако распространение «второго родного языка» нарушает другую естественную человеческую потребность — потребность идентичности, т. е. стремление во всех ситуациях пользоваться своим родным языком, освоенным в раннем детстве. Вторым языком (особенно если он освоен в позднем возрасте) человек всегда владеет хуже, чем первым. Есть определенный процент людей, лишенных способности учить языки. И самое главное, необходимость осваивать второй, третий и т. д. язык часто задевает национальные чувства людей и целых народов.

В любых обществах (кроме чисто одноязычных, которые встречаются очень редко) возникает объективное неравенство. В наиболее выгодном положении оказываются носители господствующего (чаще всего государственного) языка, которым не нужно знание других языков. Среднее положение занимают люди, которые вынуждены, помимо своего родного языка, выучивать господствующий язык. Внизу оказываются одноязычные носители языков меньшинств, лишенные возможности делать карьеру. Примером может служить, например, СССР, где так называемое русскоязычное население обычно не владело другими языками, распространенными в государстве, а латышам или узбекам приходилось выбирать между освоением русского языка и положением аутсайдера. Такая ситуация могла казаться естественной, но в годы перестройки выяснилось, что многие были ей недовольны. И ситуация не связана непосредственно с общественным строем: в современной России она остается принципиально той же, существует она более двух столетий и в США (только место русского языка там, разумеется, занимает английский).

Глобализация лишь распространила описанную ситуацию, ранее существовавшую в национальных рамках, на международный уровень. «Ограниченный суверенитет» стран — членов НАТО или ЕС начинает проявляться и в области языка. Помимо английского как «второго родного языка» это проявляется и в огромном количестве заимствований из английского языка (обычно из его американского варианта) в другие языки. Отношение к этому, конечно, бывает различным. Кому-то кажется очень престижным вписываться в глобализацию, кто-то видит в этом (безусловно, справедливо) угрозу национальной культуре и национальным

традициям. Различия проявляются и в государственной политике, и в общественном мнении разных стран. В Европе, безусловно, более всего старается ограничить проникновение английского языка и американской культуры Франция, тогда как в Германии американизация, в том числе в языковой области, идет особенно активно. На проходившей в октябре 2003 г. в Алма-Ате международной конференции по вопросам языка и культуры высказывалась любопытная мысль: Германия все еще страдает комплексами исторической вины за нацизм, поэтому там до сих пор кажутся одиозными идеи, связанные с национальной культурой и мировым значением немецкого языка, а это способствует американизации.

Особо рассмотрим ситуацию в Японии. Это одна из первых стран, столкнувшихся с процессами, аналогичными глобализации, еще тогда, когда эти процессы имели ограниченные масштабы. Американская оккупация в 1945–1952 гг. и последующая зависимость от США в политической и военной областях имели одним из результатов постоянную экспансию американской массовой культуры. Это очень заметно проявилось и в языке. Достаточно сказать, что за весь период с 1945 г. по настоящее время практически все заимствования приходят в японский язык из английского или через английский (что проявляется в их фонетическом облике); прямых заимствований из других языков так мало, что ими можно пренебречь. Под английским языком здесь и далее имеется в виду исключительно его американский вариант (британского влияния совершенно нет).

Количество американизмов в современном японском языке очень велико и не поддается точному учету, поскольку чуть ли не каждое английское слово может быть заимствовано, хотя бы в составе сочетаний. Существует немало сложных слов и словосочетаний, которые созданы из английских корней в самой Японии и не имеют английских параллелей: *wan-man-basu* или *wan-man* ‘автобус без кондуктора’ (один+человек+автобус), *no-airon* ‘изделие, которое нельзя гладить’ (нет+утюг), *noo-mai-kaa-dee* ‘день, когда рекомендуется воздерживаться от пользования личными автомобилями’ (нет+мой+автомобиль+день). Заимствования в японском языке пишутся особой азбукой — катаканой, и можно встретить целые тексты, почти целиком написанные этой азбукой, лишь с небольшими вкраплениями иероглифов или другой азбуки — хираганы.

Однако сказанное не означает, что японский язык беспредельно наполняется американизмами. Наоборот, уже не одно десятилетие там существует и почти не меняется баланс между американизмами и прочей лексикой. Ряд сфер почти целиком отдан американизмам, которые составляют 53 % терминов менеджмента, 75 % терминов маркетинга, 80 % торговых терминов и даже 99 % компьютерной терминологии [Loveday 1996: 101–103]. Их очень много и в сферах спорта, туризма, эстрадной музыки, кулинарии, моды, потребления бытовой техники и пр. Перечисленные сферы в основном сводятся к двум: высоким технологиям и престижному потреблению. Именно здесь глобализация происходит быстрее всего и более всего затрагивает повседневную жизнь людей. В Японии есть даже термин «катаканские профессии». Это престижные профессии вроде дизайнера интерьеров,

модельера высокой моды; терминология их состоит из американизмов и пишется катаканой. Однако за пределами этой ограниченной области (пусть и престижной) заимствований из американского варианта английского языка весьма мало.

Большое число заимствований не сопровождается в Японии массовым знанием английского языка (и тем более других иностранных языков). В школе этот предмет — один из самых нелюбимых, а в дальнейшей жизни, если японец не связан с английским языком профессионально (например, не работает во внешне-торговой фирме), то забывает даже то, что знал. Один из американских японистов опросил 461 информанта. Все они когда-то учили английский язык, но лишь 0,4 % сказали, что пользуются им дома, 5 % — что говорят на нем со знакомыми (включая иностранцев), 9% — что пользуются им в профессиональной сфере, а 54 % заявили, что не знают его вообще [Loveday 1996: 175–176]. Этот же автор отмечает, что с английским языком в Японии происходит примерно то же, что в прошлом происходило с китайским: в японском языке очень много заимствований из китайского, но сам этот язык в Японии никогда не был широко известен [Ibid.: 219]. Приведенные выше примеры американизмов, созданных в Японии, сконструированы не столько по моделям английского языка, сколько по моделям создания в Японии слов из китайского корневого запаса.

По-видимому, область языка здесь демонстрирует некоторую более общую японскую модель поведения. В Японии, стране, всегда отличавшейся замкнутостью и обособленностью от мира, стихийно выработалась такая модель поведения, которая позволяет одновременно и вписываться в глобализацию, и сохранять свои традиции и свою культуру. Образцом здесь послужило освоение Японией в прошлом китайской культуры. Конечно, трудно сказать, насколько долго в условиях ужесточения глобализации Япония сможет идти по избранному ею пути.

Данные о столь низком знании английского языка в Японии могут вызвать удивление. Но Япония здесь не одинока. Например, в Венгрии обнаружилось, что лишь 19 % населения и 20 % молодежи могут общаться на каком-либо из языков ЕС [Компас 2003, 17: 39]. До английского языка как «второго родного» далеко даже в Европе.

Что касается России, то пока здесь позициям русского языка мало что угрожает. Процессы международного разделения труда, не говоря уже о глобализации, лишь начинают охватывать нашу страну. Однако показательно очень заметное повышение уровня владения английским языком, особенно среди молодежи. Еще недавно этот уровень напоминал японский: в школе английский учили очень многие, отдельные слова и фразы были общеизвестны, но реальное владение было невысоким, прежде всего, из-за отсутствия мотивации. Но в отличие от Японии, где очень значимы внутренние, культурные барьеры, у нас барьеры были в основном внешними. Как только Россия превратилась из центра «второго мира» в периферию то ли первого, то ли третьего мира, мотивации для изучения английского языка резко возросли. И президент Путин, ранее владевший немецким языком и не знавший английского, счел нужным тратить время на изучение

«языка глобализации». Отметим еще два явления. Оказывается, что рынок вакансий с английским языком значительно превосходит соответствующий рынок для остальных языков, вместе взятых. Например, и в России, и, как нам рассказывали, в странах СНГ очень мало востребованным оказывается знание японского языка: японские фирмы предпочитают общение по-английски. Другое явление: впервые в нашей стране наблюдается ориентация не на британский вариант английского языка, как это всегда было ранее, а на американский. Это менее заметно в Москве, где сильны прежние традиции, но выпускники провинциальных университетов сейчас нередко под влиянием преподавателей из США говорят чисто по-американски.

Однако пока до превращения английского языка во «второй родной» в России вряд ли много ближе, чем в Венгрии или Японии. Более заметна постепенная американизация самого русского языка. Наши наблюдения по сопоставлению в этом плане русского языка с японским показывают, что хотя количественно американизмов в русском языке меньше, но нет той ограниченной области, за пределами которой американизмы не допускаются. Заимствования могут проникнуть куда угодно, в том числе в ядро языка, прежде всего через средства массовой информации; см. об этом статью «Американизация японского и русского общества...» в настоящем сборнике. Поэтому вестернизация русского языка может со временем пойти дальше, чем это мы видим в японском языке. Но от окончательных суждений пока воздержимся.

В начале 90-х гг. и в новых независимых государствах, и в национальных образованиях в составе России много говорили о том, что английский язык должен после некоторого переходного периода занять здесь место русского. Для России такие взгляды были явно утопичными: внутри государства не может не сохраняться единый государственный язык, а процент русскоязычного населения почти везде очень значителен. Отдельные попытки принятия более радикальных мер по этому вопросу вроде указа бывшего президента Саха (Якутии) М. Н. Николаева об обязательном преподавании английского языка во всех школах республики не дали ощутимых результатов. В государствах СНГ и Балтии ситуация очень различна. Позиции русского языка колеблются от господствующих в Белоруссии и весьма прочных в Казахстане и Киргизии до минимальных в Литве и Туркмении. Однако пока что ни в одном из новых государств английский язык не стал более распространенным, чем русский. Процесс распространения новых государственных языков объективно сдерживает массовое использование еще одного нового для данных стран языка, а знание русского языка не может исчезнуть быстро. Однако общее направление развития в этих государствах, особенно в странах Балтии, в Молдавии, Грузии и отчасти на Украине, способствует постепенному внедрению английского языка.

Процесс глобализации очевиден. Также очевидны и его плюсы, и его весьма явные минусы. Однако перспективы этого процесса вызывают споры. Одни специалисты считают, что господству США нет внешних препятствий (см. цитату,

приводившуюся выше, — [Косолапов 2003: 137]), а это означает, что английский язык со временем станет «вторым родным языком» (а затем, возможно, и первым) если не для всего человечества (это вряд ли реально), то для его наиболее культурной и социально активной части. Другие специалисты сомневаются в том, что США смогут добиться поставленных целей, а при такой точке зрения перспективы английского языка оцениваются иначе. Осуществится ли таким неожиданным образом мечта о всемирном языке, пока можно лишь гадать. В любом случае экспансия английского языка — серьезная проблема, а Россия лишь начинает с ней сталкиваться.

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ РЕФОРМАХ

Стремление улучшить, рационализировать свой язык вполне естественно. В разных странах за последние столетия предлагались разнообразные проекты языковых реформ. Особенно активной бывает реформаторская деятельность в эпохи социальных изменений. В СССР, особенно в 30-е гг., для многих языков предлагались меры по развитию прилагательного как особой части речи, формированию дательного падежа, изменению порядка слов и т. д. (обычно имелось в виду приближение строя данного языка к строю русского языка). В Японии после поражения во Второй мировой войне многим казалось необходимым полностью отказаться от грамматических и лексических средств выражения этикета (так называемых форм вежливости) [Конрад 1948]. У нас в конце 80-х — начале 90-х гг. выдвигались предложения отказаться от «тоталитарного языка», взяв за образец язык эмигрантов.

Но что в языке поддается реформам, а что нет? По этому поводу Е. Д. Поливанов, сторонник активного, преобразовательного подхода к языку, заметил: «Фонетику и морфологию декретировать нельзя... ибо они усваиваются в таком возрасте, для которого не существует декретов» [Поливанов 1927: 227]. Изменения здесь обычно происходят либо целиком бессознательно, либо сознательно, но стихийно, как в случае подражания произношению более престижного языка. Реформы в этих областях редко бывают успешными. Показательно, что обучение правильному произношению (в отличие от обучения правописанию) оказывается более эффективным не через выучивание правил, а путем подражания произношению педагога или диктора.

Обычно реформам подвергаются два уровня языка, осваиваемые наиболее сознательно: это письмо и лексика. Лексика, однако, в этом смысле очень неоднородна. Основной словарный запас также усваивается человеком в «возрасте, для которого не существует декретов», поэтому что-то декретировать и здесь очень сложно. В то же время лексический запас пополняется человеком в течение всей жизни, в том числе и в сознательном возрасте, и значительная часть лексики относится к сферам жизни, требующим к себе сознательного отношения, а то и обязательного декретирования. Поэтому реформы терминологии, топонимики и вообще культурной лексики в самом широком смысле этого термина вполне обычны. Другое дело — то, что где-то они оказываются успешными, а где-то нет. В СССР в конце 40-х — начале 50-х гг. иноязычная лексика русского языка активно заменялась исконной, но прижилось далеко не все.

Самый известный и часто обсуждаемый вид языковых реформ — реформы письменности, которые подразделяются на реформы графики (создание письменности, смена системы письма, например переход с латиницы на кириллицу или наоборот) и реформы орфографии. В истории многих языков реформы графики происходили многократно. Например, азербайджанский язык в XX в. трижды менял систему письма: в 20-е гг. с арабского на латинское, в конце 30-х гг. с латинского на кириллическое, в начале 90-х гг. снова на латинское. В то же время иероглифическая графика для китайского языка существует уже более двух тысячелетий (при некоторых изменениях в самое последнее время), а для многих языков Западной Европы она остается латинской более тысячелетия.

И орфография может оставаться неизменной в течение длительного времени, невзирая на изменения языка. Крайний случай здесь составляют английский и французский языки, где орфография соответствует средневековой фонетике. Очень часто написание слова необходимо специально запоминать (иногда даже говорят об «английских иероглифах»), для многих фонем имеется несколько альтернативных способов записи, выбор между которыми обусловлен исключительно исторически, много диграфов и триграфов. Казалось бы, такая орфография, очень сложная для всех, кто обучается данным языкам, должна вызывать недовольство и у их носителей. Но оказывается, что это не так.

Разумеется, и в Великобритании, и во Франции бывали сторонники орфографических реформ. Самый известный из них — знаменитый писатель Б. Шоу, который даже завещал свое состояние тому, кто сумеет приблизить написание английского языка к произношению; завещание так и не было за шестьдесят лет исполнено. Проектов рациональной орфографии выдвигалось немало. Но они не только не были реализованы, но и не стали предметом серьезных общественных обсуждений или политической борьбы. И это относится не только к традиционно консервативной Великобритании, где политическая система сохраняет преемственность с XI в., но и к Франции, где в период с 1789 по 1870 г. она несколько раз менялась. Однако французские революции меняли некоторые слои лексики, но не затрагивали орфографию. Налицо контраст с Россией, Японией и даже с Германией, где совсем недавно произошла попытка орфографической реформы. А ведь и русская дореволюционная, и немецкая орфографии не столь далеки от реального произношения, как английская и французская.

В чем здесь дело? Причин может быть несколько. Определенную роль может играть развитая культурная традиция: орфографию и тем более графику легче менять, когда язык получил письменность сравнительно недавно и на нем еще не накоплено столь значительное число письменных текстов, как на английском или французском языке. Норма современных литературных языков сложилась и в Великобритании, и во Франции в XVI–XVII вв., т. е. намного раньше, чем в России (первая половина XIX в.) или Японии (конец XIX — начало XX в.), а когда нормы еще не до конца сформированы, всегда естественны споры о них, в том числе и в области орфографии. Но возможно и влияние строя соответствующего языка.

Английский и французский языки дальше всего зашли на пути превращения из синтетических в аналитические, многие сочетания фонем в них упростились, слова сократились, возросла омонимия. Английские и французские «иероглифы» способствуют различению слов. Сложная орфография, создавая дополнительные сложности для пишущего, оказывается выгодна для читающего, естественно, при условии, что он этой орфографией уже овладел. Но в Англии и Франции (не говоря сейчас о странах Азии и Африки, где распространены соответствующие языки) неграмотность ликвидирована уже давно (ср. ситуацию в России начала XX в., где даже более простая орфография создавала трудности для многих учившихся грамоте). А человеку, уже освоившему орфографию, не хочется переучиваться (как бы снова садиться за парту), если только для этого нет особо сильных политических и/или культурных мотиваций, чего для носителей английского и французского языков никогда не было.

Иная ситуация сложилась в России и Японии, где вообще процессы становления современной языковой нормы имели много сходств (см. об этом статью «Литературный язык в России и Японии (Опыт сопоставительного анализа) в настоящем сборнике). Здесь произошел переход от прежнего, не отвечавшего новым историческим условиям языка культуры (церковнославянского для России, бунго для Японии) к современному языку. В обоих случаях размежевание нового литературного языка со старым было наиболее значительным и быстрым в области морфологии, а орфография основывалась на прежних нормах, являясь, как и английская или французская, исторической. Сейчас речь идет об орфографии японской слоговой азбуки — каны, издавна употребляемой наряду с иероглифами. В русской орфографии имелись буквы *е* и *ять*, не различавшиеся в произношении, а в японской орфографии таких пар букв было три (в отличие от русского языка для бунго еще раньше существовали строгие орфографические правила написания каной, а затем произошел перенос этих правил на новый язык).

В обеих странах зоной конфликта оказалось несоответствие между историческими принципами орфографической нормы и общим процессом приближения норм языка к разговорному обиходу. С начала XX в. в Японии активно обсуждались вопросы единства устного и письменного языка. Но если в грамматике устные и письменные нормы сблизались, то орфография каны оставалась архаической, что вызывало протесты, особенно среди лингвистов (иероглифы тогда, как и в старину, еще не нормировались). Такая ситуация имела сходство с российской, где исторический принцип орфографии также вызывал недовольство.

И в Японии, и в России орфографические реформы назревали, но там и там старая орфография долго сохранялась из-за консервативней позиции власти и была заменена новой лишь в период социальных перемен. В России, как известно, еще в 1904 г. комиссия, в которую входили крупнейшие русские лингвисты тех лет, выработала реформированную орфографию. Но и в Японии дважды, в 1906 и 1931 гг., в Министерстве просвещения обсуждались проекты реформы орфографии каны [Kurashima 1997, v. 1: 56]. Здесь стояла и другая проблема, не имевшая аналогов

в России: реформа иероглифики, прежде всего ограничение числа используемых знаков. После Первой мировой войны работала комиссия при Министерстве просвещения, в состав которой входили видные лингвисты и писатели, она существовала до 1938 г. и выработала проект установления минимума употребительных иероглифов (1962 знака) [Kurashima 1997, v. 1: 53–54].

Однако в обеих странах сторонниками реформ выступали лингвисты, но не власть, которая исходила из пуристических принципов. Как указывает автор книги об истории орфографических реформ в Японии, против каких-либо реформ выступали правые круги, под давлением которых введенные в 1932 г. в школах новые правила употребления каны вскоре были отменены [Ibid.: 54–55]. И в России нередко в соответствующее время необходимость сохранения существующей орфографии обосновывалась тем, что она позволяет отличить образованного человека от необразованного, т. е. сохранить существующие социальные барьеры. Естественно, левая оппозиция исходила из противоположных посылок и выступала за реформу орфографии, облегчающую необразованным людям возможность стать образованными.

Однако в пользу сохранения исторической орфографии работали и другие факторы. В России указывали на роль традиционных написаний для снятия омонимии, пусть не столь существенную, как в английском или французском языке (для Японии этот вопрос был менее значим, поскольку там большая часть омонимов снимается благодаря иероглифическому написанию). Активно против всяких орфографических реформ в России высказывались писатели, для которых привычный графический облик особенно значим и порождает разного рода ассоциации. Наконец, в обеих странах против любых реформ работал упомянутый выше психологический фактор, нежелание переучиваться. Любая реформа, упрощающая орфографию, выгодна прежде всего тем, кто еще не начал учиться грамоте, а они (даже если это взрослые) редко имеют право голоса — решения, в том числе орфографические, везде принимают люди, уже окончившие школу.

Иные настроения могут овладеть массами лишь в период социальных перемен, когда новая власть осуществляет радикальные преобразования, а граждане (пусть не все, но, по крайней мере, их активная часть) желает «отречься от старого мира». Реформу русской орфографии начало проводить Временное правительство, а в 1918 г. она была уже завершена. При этом ограничились реформой орфографии, взяв за основу проект 1904 г., и не провели латинизацию русского письма, хотя, если верить А. В. Луначарскому, В. И. Ленин считал, что впоследствии, «когда мы окрепнем», необходимо будет дойти и до этого [Красная 1930, 6–7 января]. Но когда в 1929–1930 гг. группа лингвистов во главе с Н. Ф. Яковлевым предприняла попытку перевода русского языка на латинский алфавит, она уже была не ко времени и прекратилась по личному указанию И. В. Сталина (подробнее см. [Алпатов 2006]).

В Японии период социальных перемен начался с 1945 г., после поражения во Второй мировой войне и оккупации страны войсками США. Оккупационная

администрация начала «революцию сверху», перестраивая страну по западному образцу. Естественно, осуществились и реформы в области языка, в том числе письменности. Они начались менее чем через год после конца войны, в апреле 1946 г., и продолжались до 1952 г. По сравнению с типологически сходными реформами 1917–1918 гг. в России они были более масштабными, включив в себя не только реформы письменности. Из административной сферы был исключен бунго, продолжавший там употребляться до 1945 г., значительно были изменены правила употребления так называемых форм вежливости. Реформа орфографии охватила и кану, где написание было значительно приближено к произношению, и иероглифику, где упростили написание ряда иероглифов и установили иероглифический минимум из 1850 знаков. Отмечу, что и здесь отказались от самой радикальной меры — отмены иероглифов с заменой их чистой каной или латиницей (хотя рассказывают, что у оккупационной администрации первоначально имелись такие намерения).

Социальные конфликты в революционной России были гораздо острее, чем в оккупированной Японии. В Советской России тех лет прибегали к специальным мерам по запрету старой нормы (изъятие из типографий старых шрифтов и пр.); с другой стороны, на территориях, контролируемых белыми, а позже среди эмигрантов по политическим причинам использовали прежнюю орфографию. В Японии (включая японскую эмиграцию) ничего подобного не было, там новая и старая нормы сосуществовали, иногда вступая в конфликт.

В СССР меньшая масштабность реформ в сочетании с жесткостью их проведения обеспечила их полный успех. Даже эмигранты в конце концов перешли на новую орфографию. В Японии реформ было больше, и они были масштабнее, а императивность и строгость их были меньше. В результате их успех оказался различным. Исключение бунго касалось лишь административной сферы, где его соблюдать было легче всего, и этот уже архаичный язык вышел из активного употребления. Изменение орфографии каны также закрепилось, старая орфография забыта не менее прочно, чем в России, хотя довоенная литература может публиковаться и на ней, а старые написания изредка встречаются. Последнее чаще всего относится к фамилиям и особенно к именам (то и другое обычно пишется иероглифами, но может писаться и каной). Такие написания особо консервативны: многие японцы считают, что их имя и фамилия — как бы часть их личности, следовательно, их написание не должно подвергаться переменам. Также привыкли и к упрощенным написаниям иероглифов. Впрочем, при переиздании старых книг нередко написания оригинала могут сохраняться (для иероглифов это бывает чаще, чем для каны), и опять-таки есть люди, которые продолжают писать старому иероглифами свои фамилии и/или имена.

Несколько иная судьба оказалась у иероглифического минимума, хотя он и привел к необратимым последствиям. Многие отмечают, что возврат к старому невозможен, а японцы не могут уже свободно читать литературу начала XX в. [Neustupný 1978: 271; Mizutani 1981: 7]. В связи с тем, что забыты иероглифы,

забыты и многие еще недавно употребительные слова. Однако реально всегда в книгах, газетах и журналах употреблялось большее число иероглифов по сравнению с минимумом. Скажем, в ведущих газетах за 1966 г. было зафиксировано 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше, чем в тогдашнем минимуме [Imai 1980: 26]. Уже с 50-х гг. минимум стал изменяться, в основном в сторону расширения. Сейчас минимум достиг 1945 знаков, именно их должны знать выпускники средней школы после девятого класса, имеется также дополнительный список из более чем четырехсот иероглифов, допустимых для собственных имен. Реально эти четыре сотни иероглифов никогда и не выходили из употребления.

И иероглифический минимум все-таки действует, что показало массовое обследование языка 70 японских журналов за 1994 г. Все встречавшиеся в журналах иероглифы были распределены по частотности. Оказалось, что среди 200 самых частых знаков все входят в минимум 1981 г., в третьей сотне уже есть два знака, им не предусмотренных, в четвертой сотне один, всего в первой тысяче 15 [Ogura, Aizawa 2007: 129]. Итак, реформа дала результат, но не во всем тот, который предполагался.

А вот реформа форм вежливости (точнее их называть формами этикета) имела успех лишь там, где она закрепила процессы, уже стихийно происходившие в речевом этикете, например отказ от особых форм, ранее официально употреблявшихся в отношении членов императорской семьи. Однако реформа не помогла в установлении строгих правил употребления слов и форм там, где их не было. Часть рекомендаций оказалась неудачной и реально никогда не соблюдалась. Некоторые из послевоенных реформ вообще не прижились. Было решено отменить так называемую фуригану. Это особый способ вспомогательного использования каны: сбoku или сверху от иероглифа. Таким образом, поясняется, как надо читать данный иероглиф, обычно не очень известный или имеющий несколько чтений (в детских книгах и комиксах чуть ли не каждый иероглиф снабжается фуриганой). Попытка отменить такие написания основывалась на том, что они усложняли полиграфию. Однако фуригана настолько удобна для облегчения понимания, что на деле она никогда и не выходила из употребления. В конце концов официальную норму сблизили со стихийной, и фуригану вновь узаконили.

И в СССР, и в Японии нормы устанавливались сверху, с учетом мнения ученых, которые давали рекомендации, но без какого-либо учета мнений рядовых носителей языка, которым в дальнейшем предстояло употреблять язык по новым правилам. В период социальных перемен реформы осуществлялись полностью, как в СССР, или хотя бы частично, как в Японии. Однако когда в обеих странах ситуация стала стабильнее, масштабные реформы оказалось проводить все труднее.

В Японии в качестве примера приводят неудачи в реформе так называемой окуриганы. Слова спрягаемых частей речи (глагол, предикативное прилагательное) обычно пишут так: корень иероглифом, окончание одним из видов каны — хираганой (эти знаки хираганы и называются окуриганой); однако проведение границы между корнем и окончанием бывает неоднозначным, и в написании ряда

слов встречается разноречием. Например, в глаголе *kaeru* ‘возвращаться’ одни пишут хираганой *eru*, а другие только *ru*. После войны вовремя не позаботились о нормализации этих правил, уже в 60–80-е гг. предпринималось несколько попыток упорядочить их (в 1985 г. ведущая газета «Асахи» даже посвятила передовую статью этому вопросу), но это так и не удалось. Отмечают, что даже в учебниках и школьных хрестоматиях, где соблюдение норм имеет обязательный характер, пишут по-разному [Takada 2007: 29].

Нечто похожее можно отметить и в России. После наиболее масштабной орфографической реформы 1917–1918 гг. единственной успешной реформой оказалась реформа 1956 г.; правила, тогда выработанные, действуют и сейчас, хотя в них можно отметить немало недостатков и неточностей. Эта не очень радикальная реформа больше походила не на крайне жесткую реформу 1918 г., а на реформы в Японии: следование новым нормам было строго обязательным лишь для школьного обучения и учебной литературы (хотя издательства вскоре перешли на них), и мало кто, кроме учителей-словесников и школьников тех лет, ее заметил.

Остальные попытки реформ в СССР и постсоветской России оказались не более удачны, чем реформа окуриганы в Японии. Началось это (если не считать не ко времени радикальных проектов начала 30-х гг.) еще с попытки введения в годы войны обязательного употребления буквы *ё*. Сейчас уже привыкли думать, что в сталинское время власть могла добиться чего угодно, но здесь даже тогда ничего не получилось. Казалось бы, употребление буквы *e* вместо *ё* — реликт исторической орфографии, крайне неудобный, но носители русского языка устойчиво его сохраняют (в компьютерную эпоху это даже усилилось). Трудно даже объяснить причину такого явления. Может быть, это происходит потому, что русской письменности вообще не свойственны диакритики (буква *й*, возможно, не воспринимается как буква с диакритикой в такой степени, как *ё*).

Потом последовала еще памятная старшему поколению попытка орфографической реформы 1964 г., хорошо продуманная лингвистически, но не социолингвистически. Можно гадать, что было бы, если у власти дольше остался Н. С. Хрущев, по слухам одобрявший проект, но исход его общественного обсуждения (одной из немногих у нас в то время более или менее свободных дискуссий) был закономерным. Голос лингвистов потонул в шуме, поднятом писателями, не обладавшими научными знаниями, но ярко отражавшими точку зрения «простых людей», окончивших школьное обучение. Вынесение проекта на общественное обозрение предопределило его неудачу. Вероятно, она постигла бы и реформу 1956 г., если бы она публично обсуждалась. А уже в совсем недавнее время предложенные Институтом русского языка РАН даже не изменения, а скорее уточнения русской орфографии были восприняты многими уважаемыми людьми вплоть до нобелевских лауреатов как «покушение на русский язык».

О причинах неудачи проекта 1964 г. точно сказал Л. Р. Зиндер: «Орфографическая комиссия не могла опереться на социолингвистические и психолингвистические эксперименты, которые подтвердили бы необходимость реформы, ее

своевременность и определили бы, на кого она должна быть рассчитана» [Зиндер 1969: 63].

Характерный пример закономерного отношения лингвиста к той попытке реформы находим в воспоминаниях писателя К. Ваншенкина. Основываясь на слухах о том, что Н. С. Хрущев незадолго до падения будто бы одобрил проект, он сводит «хрущевские реформы по правописанию» к самодурству малограмотного руководителя страны: «Хрущева, увы, ставила в тупик и потому раздражала сама необходимость писать не так, как произносится. Классический из предложенных им примеров — “Заец”. Далее шли “под видом дискуссий разъяснения, убеждающие в их [реформ. — В. А.] правоте”, а “доктора и члены-корреспонденты” это “увлеченно обосновывали» [Ваншенкин 1998: 379]. Типичная мифология (в любом случае инициатором проекта были «доктора и члены-корреспонденты», а не Хрущев) в сочетании с лингвистической неграмотностью: как ни пиши слово *заяц*, в его произношении не появится звука *е*. А ведь автор воспоминаний учился в Литературном институте у выдающегося лингвиста А. А. Реформатского (сторонника реформы), которого оценивает высоко. Но для человека с высшим образованием столь непривычное написание слова будет восприниматься как неграмотное.

У нас в последние десятилетия неудачи языковых реформ отчасти связаны и с тем, что способы их подготовки остались прежними. Обратная связь разработчиков реформ с их потребителями возникает лишь на стадии обсуждения уже готовых проектов и закономерно сводится к их отторжению. В Японии же с 70–80-х гг. поступают иначе. Не навязывают новые правила, а вводят в нормы то, что уже стихийно произошло или происходит. Ученые ведут анализ реального обихода, текстовые примеры подвергаются компьютерной обработке, в результате выявляется, насколько обиход соответствует официальной норме. Используется также метод анкетирования. Если в результате всего этого оказывается, что где-то официальная норма (орфографическая или орфоэпическая) не соответствует реальности, норму меняют. У нас такого рода деятельность становится возможной лишь сейчас, когда создан Национальный корпус русского языка.

Итак, языковые реформы не могут основываться лишь на тех или иных, пусть даже вполне научно обоснованных, лингвистических рекомендациях. Чтобы реформа удалась, нужно учитывать общественную ситуацию, желание или нежелание носителей языка в данный момент идти на жертвы, связанные с переучиванием, степень развития языковой нормы и письменной традиции и многое другое.

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК: ЯПОНИЯ И РОССИЯ

При рассмотрении вопросов культуры нередко забывают про один из важнейших ее компонентов: язык. Но, как почти 200 лет назад писал В. фон Гумбольдт, «язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [Гумбольдт 1984: 48]. В XX в. о языке как важнейшей составной части культуры писали такие крупнейшие ученые, как Э. Сепир и Н. С. Трубецкой. И первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую наряду с использованием языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, языковыми картинами мира и др. входят особенности воззрений этого народа на язык. Разумеется, у разных людей могут быть совершенно разные представления о языке, в том числе о родном языке. Однако, как правило, среди населения той или иной страны, среди той или иной этнической группы существуют некоторые типичные взгляды на язык (чаще на «свой» язык, так или иначе противопоставленный «чужим» языкам). Массовому сознанию свойственны те или иные стереотипы и предрассудки, но оно как-то отражает реальность, пусть не всегда адекватно. Это сознание отлично от научного сознания, стремящегося к единству.

Язык — один из компонентов культуры, которые наиболее четко осознаются, представление о которых имеют самые разные носители этой культуры, имеющие различный образовательный уровень. Но массовым стереотипам и предрассудкам могут быть подвержены, как показывают многочисленные примеры, и видные писатели, деятели искусства и даже ученые, в том числе языковеды. И само существование массовых представлений относительно языка требует объяснения и оценок.

Я рассмотрю в сравнительном плане массовые представления о языке в двух странах: России и Японии; в отношении многоязычной России речь в основном будет идти о представлениях носителей русского языка. Некоторые из затрагиваемых здесь проблем я уже исследовал, см. статьи «Литературный язык в России и Японии...» и «Американизация японского и российского общества...» в настоящем сборнике.

Конечно, многочисленные различия между Японией и Россией (расовые, исторические, политические, культурные) очевидны. Меньше обращается внимания

на определенные сходства в развитии двух стран, заметные и в сфере культуры. Обе страны сначала подверглись влиянию культурно более развитых соседей (Византии для России, Китая для Японии), откуда многое было заимствовано, затем вступили на путь модернизации и вестернизации. В России процесс догоняющего развития начался на полтора столетия раньше, но Япония двигалась быстрее. В этих условиях каждому народу бывает необходимо осмыслить свою национальную специфику, выявить, чем собственная культура отличается от западной. И вполне естественно, что у самых различных народов наряду со своими «западниками» появляются свои «славянофилы» и «почвенники», отстаивающие идеи превосходства своей культуры, своего взгляда на мир, а зачастую и своего общественного устройства. И еще одна общая черта: в обеих странах вестернизация шла, как правило, не под жестким давлением извне, как это чаще бывает, а на основе собственных потребностей правящей элиты (в Японии исключением был короткий период американской оккупации в середине XX в.). Что брать от Запада, а от чего отказываться — этот вопрос решался внутри самих стран.

Данные процессы касались и языка, прежде всего в двух аспектах: развития собственного языка в меняющихся социальных условиях и проникновения чужих языков, которые не могли не сопоставляться со своим. И в этой сфере в обеих странах бывали свои «западники» и «почвенники».

Конечно, объективная ситуация в двух странах всегда значительно различалась. Открытая почти со всех сторон (кроме севера), постоянно менявшая границы Россия и изолированная островная Япония. Многонациональная и многоязычная Россия и однородная в этническом и языковом отношении Япония. Близость русского языка к языкам многих соседей, особенно славянским, и резкое отличие японского языка от любого другого. Все это накладывало отпечаток на представления о мире и о языке.

Ни один из столь крупных, социально значимых и имеющих столь долгую письменную традицию языков мира не обособлен так, как японский. Как показали исследования выдающегося ученого С. А. Старостина [Старостин 1991], этот язык отдаленно родственен тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским и корейскому. Однако родство — очень дальнее: по данным Старостина, предок японского языка отделился от предков остальных языков семьи раньше, чем разделились разные ветви индоевропейской семьи. Для японского языкового сознания всегда было важно то, что японский язык не имеет близкородственных языков. Этот язык японцам долго даже не нужно было специально называть: он был просто язык (*kotoba*). Оба его современных названия (*kokugo* — «язык страны» и *nihongo* — «японский язык») появились лишь в эпоху европеизации — после 1868 г., когда Япония впервые включилась в международную жизнь [Kurashima 1997, 1: i]. До того если образованные люди и вспоминали о других языках, то их насчитывали лишь два: китайский и санскрит (язык буддийских книг). В России, впрочем, еще в XVII в. могли не считать чужие языки «настоящими» языками, о чем свидетельствует этимология слова *немец*. Но такие представления в России преодолели

раньше, а в Японии они преобладали до середины XIX в. Однако и сейчас представления о языковом одиночестве японцев в мире очень сильны.

Другая особенность, повлиявшая на японское языковое сознание, — стабильность языковой и этнической ситуации. Сформировавшийся в первые века новой эры японский этнос с тех пор продолжает жить на той же территории. Главным изменением была постепенная экспансия на север за счет айнов, продолжавшаяся вплоть до XIX в. (лишь тогда была заселена большая часть о. Хоккайдо). До XIX в. не было японской экспансии на континент, а до середины XX в. — вторжения на острова извне (если не считать двух неудачных попыток со стороны монголов в 1274 и 1281 гг.). И всегда языком этноса был японский. Он, конечно, менялся, но его состояния были связаны исторической преемственностью. В Японии, в отличие от других азиатских стран, никогда не стояла проблема защиты своего языка от колонизаторов [Gottlieb 2005: 18]. Японский язык в разных его видах безраздельно господствует в Японии на протяжении почти двух тысячелетий. Но и японский язык ни в каком виде не использовался за пределами Японских островов до конца XIX в. Такая связь между территорией, этносом и языком на протяжении почти двух тысячелетий — редкая особенность. А русский язык (сложившийся позже японского), как и многие другие, неоднократно менял ареал распространения, поглощал языки многих других народов. (В Японии, правда, был отеснен на север, а в XX в. и уничтожен айнский язык, но это — единственный прецедент.)

Эта особенность Японии постоянно отмечается, в том числе специалистами. Видный социоллингвист Судзуки Такао пишет, что Япония уникальна среди развитых стран, поскольку среди них более нет ни одной страны, где за 1500 лет один и тот же народ живет на одной и той же территории, защищенной морем, и говорит на одном и том же языке [Suzuki 2006: 19–20]. По его мнению, для англичан «Беовульф» — не вполне национальный памятник, так как английский язык после норманнского завоевания сильно изменился, тогда как близкое к нему по времени «Манъёсю» для любого японца — свой памятник [Ibid.: 150]. Для всех язык — важнейший признак японской нации. Дialeктные различия в японском языке значительны, но они всегда понимались как различия внутри своего языка. А в наше время единство языка укрепилось в связи с всеобщим распространением литературного (стандартного) языка.

Еще одна особенность отношения к своему языку в Японии, также не имеющая параллелей в России, основана на том, что язык — один из немногих действительно исконных компонентов японской культуры. На это обратили внимание еще в XVII–XVIII вв. ученые первой национальной научной школы *kokugaku* (буквально «наука страны»), впервые в японской истории поставившие вопрос о национальной самобытности и исконных элементах культуры. Таких элементов оказалось лишь два: синтоизм и язык (хотя и перенявший у Китая иероглифическую письменность); все остальное пришло из Китая.

С того времени многие деятели японской культуры, включая лингвистов, говорили и писали о мощи и совершенстве своего языка. Крупнейший представитель

школы *kokugaku* Мотоори Нориана (1730–1801) считал, что наличие небольшого числа звуков (реально имелось в виду слоги) в японском языке — свидетельство его совершенства, а большое число соответствующих единиц в китайском языке и особенно в санскрите — отражение их неразвитости; такие единицы похожи на звуки животных [Алпатов и др. 1981: 282].

Однако русскому читателю подобные высказывания уже могут кое-что напомнить. Многим известны (я встречал людей, знающих их наизусть) слова М. В. Ломоносова (старшего современника Нориана): «Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе... Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, италиянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка»; цитируется по [Хрестоматия 1973: 23].

Два высказывания близки не только по времени, но и по ситуации, в которой они появились (хотя в России тогда уже шла вестернизация, а в Японии до этого еще было далеко). Там и там происходило становление национальной науки о языке. В Японии она высвобождалась из-под китайского влияния, училась описывать в собственных категориях свой язык, по строю значительно отличающийся от китайского. В России шло такое же освобождение от чужих образцов — греческих и латинских (менее радикальное, поскольку различия в строе между русским и классическими языками не столь велики, как между китайским и японским).

Но спустя столетие вестернизация началась и в Японии. В области языка она проявилась как в появлении в японском языке многих новых слов и понятий, так и в проникновении в страну ранее не известных там языков, среди которых уже в XIX в. самым влиятельным стал английский. Обостренное чувство национальной идентичности могло давать разные результаты. С одной стороны, для ряда деятелей японской культуры европеизация казалась неотделимой от овладения английским и другими западными языками. В крайнем варианте предлагалось отказать от японского языка, в более умеренном речь шла о массовом японо-английском двуязычии. До начала XX в. во впервые созданных в Японии университетах западного типа преподавание частично или даже полностью шло по-английски. Видный государственный деятель Мори Аринори мечтал о замене японского языка английским и даже переписывался по этому поводу с крупнейшим американским лингвистом У. Д. Уитни, который отнесся к таким планам скептически [Stanlaw 2004: 64–65]. Разумеется, эти планы не реализовались, а западными языками в те годы владели немногие.

С другой стороны, бывал и культурный и языковой изоляционизм, усилившийся в первой половине XX в. И. Кита еще в 1919 г. в книге, которую потом называли

«библией японского фашизма», писал: «Английский язык не является ни необходимым, ни обязательным в народном образовании... Английский язык — яд для сознания, подобный опиуму, которым англичане разрушили китайский народ... Полное изгнание английского языка из нашей страны особенно важно, поскольку главное значение реорганизации государства — в восстановлении его национального духа»; цитируется по [Молодяков 1997: 259]. Кита был правым экстремистом и был казнен в 1937 г. за участие в попытке военного переворота (1936), но идеи об уникальности и особой ценности японского языка большое место занимали и в официальных сочинениях вроде книги «*Kokutai no hongii*» («Истинная сущность государственного строя», 1937).

Новая кризисная эпоха, годы американской оккупации, опять привела к поллярным точкам зрения, в том числе на язык. Многим казалось, что вся довоенная японская культура дискредитирована и надо целиком перейти к западной системе ценностей. Снова высказывалась идея об отказе от японского языка (ее выдвинул известный писатель Сига Наоя). Однако тогда победили иные тенденции: для выхода из духовного кризиса полезно опереться на какие-то политически нейтральные ценности. И такой ценностью мог быть язык, который к тому же оккупанты не усваивали и не старались усвоить (черта, вообще свойственная американцам за границей). Тогда японцы могли бы сказать о себе то, что в других исторических условиях сказал В. В. Набоков: «Все, что есть у меня, — мой язык!» Представления японцев о своем языке как национальном достоянии, не имеющем аналогов в мире и недоступном для иностранцев, еще более укрепились. Считают, что именно тогда окончательно сложился японский языковой миф [Miller 1982: 36]. С усилением экономической мощи Японии языковой компонент японского национализма дополнялся многими другими, но не исчез.

В России никогда не было такого, как в Японии, языкового изоляционизма, а привилегированные слои населения считали важным для себя овладение западными языками, особенно французским. Но русский язык никогда не терял престижа, даже в кризисные эпохи в России, в отличие от Японии, не стремились отказаться от этого языка вообще. Какая-то часть дворян могла презирать русский язык, но в уважении к нему сходились, казалось бы, прямо противоположные силы: императорская власть и передовые деятели культуры, нередко оппозиционные к этой власти. Борьба с французским влиянием в русской литературе и в XVIII, и в XIX в. слишком хорошо известна, чтобы специально на ней останавливаться, как и на многочисленных замечательных высказываниях русских классиков о мощи и богатстве русского языка. Они продолжали традицию, заложенную М. В. Ломоносовым.

Такая традиция развивалась и в Японии, однако престиж своего языка в двух странах с XIX в. имел и имеет одно различие. Вот такой пример. Японский рецензент советского энциклопедического словаря по языкознанию для детей [Энциклопедический 1984] высказал замечание: зачем в него включено большое число статей о классиках русской литературы и их языке. Как он предположил,

в Японии никому не придет в голову помещать в подобный словарь статьи о своих классиках [Gengo-seikatsu 1984, 12: 37].

Дело в том, что в России богатство и красота своего языка уже два столетия устойчиво связываются с одной из его сфер — художественной литературой. «Хороший язык» — всегда язык хороших писателей. В Японии же эта сфера речевой деятельности никогда не считалась столь престижной. В некоторые эпохи, особенно в X–XII вв., прозаическая литература на японском языке вообще считалась женским занятием, именно поэтому крупнейшие произведения той эпохи созданы женщинами. В последние полтора столетия престижность «изящной словесности» под западным влиянием несколько поднялась, но и сейчас (в отличие от России) правильный язык не связывается в Японии с художественной литературой. Как писал японский социолингвист, в современном мире (речь, естественно, о Японии) законодатель языковой нормы — не писатель, а массовая информация [Toyoda 1972: 15]. В русском языковом сознании никогда не пользовались престижем деловые тексты, даже исходившие от императора. В Японии же язык официальных документов, особенно императорских эдиктов и рескриптов, считался образцовым.

Если в Японии 1945 г. — год краха традиционных ценностей, то в СССР общественные настроения были иными, что отразилось и в отношении к русскому языку, в том числе со стороны специалистов. Крупнейший языковед-русист В. В. Виноградов в том году издал книгу «Великий русский язык». Как пишет один из его учеников, «в сущности все, что делал В. В. Виноградов, было воспеванием русского языка. Однако это никогда не превращалось в безосновательную риторику, даже в военные годы написания книги “Великий русский язык”, когда патетика была прощительна» [Костомаров 1995: 49].

Но и патетики, и риторики в книге много. Вот некоторые цитаты. «Величие и роль русского языка общепризнанны. Это признание глубоко вошло в сознание всех народов, всего человечества» [Виноградов 1945: 5]. «Мысль о превосходстве русского языка перед языками западноевропейскими не только последовательно развивалась крупнейшими русскими писателями с XVIII в., но и разделялась передовыми представителями народов Западной Европы» [Там же: 27]. «Старославянский язык лишь обогащает и удобряет глубоко возделанную почву самобытной восточнославянской речевой культуры», господство же латыни на Западе «имело глубокие и вредные последствия» [Там же: 32]. «Русский язык в оценке и отборе заимствований занимает совершенно самостоятельную позицию среди европейских языков», тогда как английский язык «живет больше чужим добром, чем своим», французский «падок на моду и новизну», а немецкий, наоборот, «националистически сторонится заимствований» [Там же: 38]. «Английский язык перегружен синонимами» [Там же: 127], а русский «необыкновенно богат синонимами» [Там же: 139]. Вывод: «Современный русский язык представляет собой своеобразное, можно сказать, небывалое явление в истории мировой культуры» [Там же: 166]. Все приводимые в книге цитаты авторов из Западной Европы

принадлежат панславистски настроенным писателям западных и южных славянских народов — и ни одного примера за пределами славянского мира.

Книга может показаться далекой от официальной линии своего времени. Речь идет почти исключительно о языке дореволюционных лет, в число русских классиков безоговорочно входят считавшиеся в 1940-е гг. «реакционерами» Ф. М. Достоевский и А. А. Фет, дважды сочувственно цитируются высказывания о русском языке запретного тогда И. А. Бунина, зато не упомянут ни один писатель советского времени, кроме М. Горького. И заканчивается книга цитатой не из В. И. Ленина или И. В. Сталина, а из одиозного даже в те годы И. С. Аксакова. Величие русского языка связывается не с тем, что «им разговаривал Ленин», а с великой литературой, прежде всего XIX в. Ее автор (в прошлом побывавший в тюрьме и в ссылке) выглядит в книге не коммунистом, а панславистом. Но в год Победы «воспевание русского языка» соответствовало и общественным настроениям, и во многом — общей линии руководства страны.

По мнению В. М. Молотова, И. В. Сталин «считал, что когда победит мировая коммунистическая система, — а он все дело к этому вел, — главным языком на земном шаре, языком международного общения, станет язык Пушкина и Ленина» [Чуев 1991: 40]. Впрочем, таких высказываний у Сталина нет, а в его работах по языкознанию можно найти лишь идею о мировой роли русского языка, «с которым скрещивались в ходе исторического развития языка ряда других народов и который выходил всегда победителем» [Сталин 1950: 16]. Но, безусловно, роль русского языка и внутри страны, и в рамках социалистического лагеря была очень велика, что носителями этого языка воспринималось как явление, по крайней мере, естественное, хотя носители других языков могли этот процесс оценивать иначе.

Если сравнивать СССР и Японию в 1950–1980-е гг., то при всех огромных различиях в экономике и политике у них была одна общая черта: культурный изоляционизм. В СССР он вытекал из государственной политики, в Японии поддерживался во многом стихийно: традиции островного государства сохранялись. Одним из его проявлений было значительное преобладание одноязычия над многоязычием. В Японии это касалось всего населения, в СССР — лишь так называемого русскоязычного: носители других языков для любого продвижения вверх должны были как-то владеть русским языком. Русская же часть населения почти всегда не видела какой-либо мотивации для овладения другими языками, функционирующими в стране (в современной России это сохранилось).

В Японии, в отличие от СССР или современной России, никогда не играл значительной роли фактор национальных меньшинств и их языков. Первой массовой иммиграцией стала корейская в период оккупации Кореи Японией (1910–1945). А сейчас в Японии постоянно живут уже более 1 млн людей, не относящихся к японскому этносу и не всегда пользующихся японским языком: по данным Министерства юстиции на 2002 г., корейцев 625 тысяч, китайцев — 424 тысячи [Gottlieb 2005: 26, 29]. Тем не менее до сих пор меньшинствам в Японии трудно

пользоваться своим языком [Gottlieb 2005: 38], а массовое сознание игнорирует меньшинства и их языки. Китайский и корейский языки учитываются лишь в качестве иностранных, а не языков меньшинства в своей стране.

Вопреки частым в России представлениям, знание иностранных языков, даже английского, который в обязательном порядке преподается во всех школах, в Японии невелико. Во время одного из международных исследований в 152 странах Япония по владению английским языком оказалась на четвертом месте от конца (ниже Ирана, Индонезии и Эфиопии) [Honna 1995: 58; Loveday 1996: 99]. В 1998 г. она была на 180-м месте среди членов ООН и на последнем месте в Азии [Gottlieb 2005: 32, 70]. В Японии многие считают, что японцам тяжело, и поэтому не стоит учить иностранные языки [Endoo 1995: 28; Gottlieb 2005: 36-37].

Главная причина этого — отсутствие мотивации. Как жалуются иностранные исследователи, в школе английский язык — один из самых непопулярных предметов, и существенная мотивация для его знания если и возникает, то один раз в жизни: при подготовке к поступлению в вуз. А потом языком пользуются обычно лишь те, кто связан с английским языком профессионально (работают во внешнеэкономической фирме или занимаются обслуживанием иностранцев), да еще специалисты, которые должны читать англоязычную литературу, но не всегда свободно говорят по-английски. Улучшению знания иностранных языков не помогает и расширение путешествий японцев за рубеж: они обычно ездят группами с переводчиком, общаясь лишь между собой [Loveday 1996: 96-99]. Но раз английский язык не нужен после школы, его не будут учить и в школе [Ibid.: 99]. Сходные выводы и у японских авторов [Endoo 1995: 30-31; Honna 1995: 57; Oda 2007: 24]: они тоже жалуются на то, как забывают этот язык после поступления в вуз [Endoo 1995: 80].

До 1940-х гг. иностранные языки и даже латинский алфавит в Японии знали очень редко. Интеграция Японии в мировую экономику, на первых порах (1940-е — начало 1960-х гг.) способствовавшая улучшению знания английского языка, затем долго не приводила к дальнейшим шагам вперед. В начале 1960-х гг. имел место бум в изучении английского языка [Ibid.: 16], но потом интерес уменьшился, снова увеличившись лишь в 1990-е гг. Даже сейчас, когда интерес к этому языку поднимается, студенты-естественники редко стараются им овладеть [Eigo 2007: 55].

Все это не так уж отличалось от того, что было у нас в советское время! У нас, правда, не всегда учили именно английский язык, но эффект был примерно таким же. В СССР тоже миллионы людей учили в школе языки, в их памяти сохранялись отдельные слова и фразы, что облегчало процесс заимствования, английский язык обладал престижностью, но лиц, свободно им владевших, было немного. И методика преподавания чаще всего была сходной (грамматика и классическая литература), и отсутствие должных мотиваций. И в СССР потребность читать иностранную специальную литературу возникала чаще, чем необходимость общения с иностранцами, а за рубеж чаще выезжали группами с переводчиком. Свободное знание иностранных языков было уделом специально отобранных людей, общающихся с «теми, кто еще сегодня во мгле», как пелось в песне 1950-х гг. Но то же

было (и в целом остается) и в Японии, только отбор был не целенаправленным, а стихийным.

При господстве одноязычия в обеих странах Япония отличается от России и от многих других стран массовым интересом своих жителей к вопросам языка, причем именно к своему языку; на иностранные языки он не распространяется. Чаще японцы называют свой язык не *nihongo* (японский язык), а *kokugo* (буквально *язык страны*), подчеркивая этим, что японский язык — не один из языков мира, а нечто особое. Американский японист Р. Э. Миллер писал, что мы все настолько заняты, что не можем терять время, обращая внимание на собственный язык; лишь японцы да еще французы поступают иначе [Miller 1982: 3–4]. В Японии о вопросах языка часто рассказывают по телевидению (не только на образовательном канале), упоминают в рекламе, спорные вопросы нормы обсуждают в ведущих газетах. Лингвистическая литература, даже специальная, хорошо раскупается и иногда возглавляет списки бестселлеров для *non-fiction*. К этому не привыкли ни в США, ни в России.

Постоянно стремление сопоставлять свои языковые проблемы с западными и ни с какими иными, постоянны указания на то, что все страны «семерки», а затем «восьмерки», кроме Японии, обладают родственными друг другу языками (как и общими расовыми признаками и христианской религией) и лишь Япония выпадает из ряда. Судзуки Такао даже пишет, что большинство языков, культур, религий родственны и лишь мы, японцы, одиноки [Suzuki 2006: 73–74]. О мире за пределами узкого круга развитых стран при этом, разумеется, не вспоминают.

Из многих свойств японского языка выделяется одно: «Японский язык очень труден»; под трудностью подразумевается трудность для жителей США, носителей английского языка. В конце XIX в. один из первых английских специалистов по Японии Б. Х. Чемберлен писал, что японцы смотрят на знающих их язык европейцев как на говорящих обезьян [Miller 1982: 77]. Меру сложности языка установить вряд ли возможно, но трудности в освоении языка, никому близко не родственного, для иностранцев очевидны. Однако трудности преувеличиваются в японском массовом сознании: постоянны высказывания о непосильной сложности этого языка, особенно для белых людей. Здесь уже проявляется японский национализм.

Сейчас в большинстве развитых стран откровенно националистические высказывания не в почете. В Западной Европе даже идеи национальной самобытности или этнической психологии дискредитированы после нацизма, а США проповедуют «американский образ жизни» в облике глобализации, а не национальной исключительности. Но в Японии откровенно националистические идеи высказываются постоянно (сейчас, в пору кризиса, меньше, чем в годы экономических успехов). Особенностью таких высказываний является, как и до Второй мировой войны, большое внимание к вопросам языка. Русское «почвенничество» обычно апеллировало к иным ценностям. Об особой ценности японского языка и японской культуры рассуждают не только дилетанты, но и профессиональные ученые.

Как отмечает американский японист, такие работы представляют собой смешение фольклора с научной информацией [Johnson 1993: 96].

В современной России, да и в последние десятилетия существования СССР «воспевание русского языка» в духе М. В. Ломоносова или В. В. Виноградова могло быть лишь маргинальным явлением. А в Японии бестселлером стала книга [Tsunoda 1978], где всерьез, с привлечением таблиц и математического аппарата доказывалось еще большее: японцы обладают уникальным мозгом, который формируется лишь у тех, кто живет в традиционном японском обществе. Любимая идея многих авторов — «гармоничность» и исконный коллективизм японского общества, «базис» которых ищут опять же в особенностях языка, сопоставляемого с английским. Так, в одной из книг доказывалось, что японский язык рассматривает мир в его целостности, ему свойственны конкретность и эмоциональность; английскому же языку свойственны расчленение мира и выделение индивидуального, особенно эгоцентричного (даже местоимение 1-го лица пишется с большой буквы) начала, абстрактность и логичность [Fukuda 1990: 78]. Отсюда делается вывод в отношении «надстройки»: американско-канадское общество характеризуется рыночной экономикой, индивидуализмом его членов, склонностью к соревнованию и борьбе. Японское же общество отличают целостность, государственное регулирование экономики, склонность его членов к гармонии и консенсусу, преобладание интересов государства и фирмы над интересами личности [Ibid.: 107–108]. В США и Канаде господствует капитализм, которого в Японии нет и никогда не было. Все это иллюстрируется примерами из разных сфер: от менеджмента до семейной жизни (в американской семье муж и жена борются за первенство, а в Японии они мирно распределяют между собой функции при главенстве мужа [Ibid.: 160–161]).

Судзуки Такао писал, что английский язык не создан для того, чтобы говорить о вещах по-японски [Suzuki 1987: 114]. Также популярен известный и в России тезис о японской «культуре молчания». Один из авторов заявлял: для нас западные люди слишком говорливы, тогда как мы привыкли к молчанию, и значительная часть информации в нашем языке лишь подразумевается; причина этого в том, что для западного человека слово — оружие, без него нельзя выжить, а мы находимся между собой в мирных отношениях семейного типа [Takemoto 1982: 267]. О том же еще до войны говорил знаменитый писатель Танидзакэ Дзюньитиро: «Когда сталкиваешься с европейцами лицом к лицу, даже только громкость их голоса подавляет физически... Европейцы совершенно не постигают внутренних, скрытых движений, которые помогают понимать друг друга без слов» [Танидзакэ 1984: 271]. Молчание для японцев — некоторый идеал, возможно имеющий конфуцианские истоки [Dale 1986: 79], отражающийся в пословицах, а в наши дни — в рекламных лозунгах [Науакэва 2001: 40–41]. Но отнюдь не всегда это норма общения: ресторан в японском стиле — «словесный бедлам», а в японских храмах шума больше, чем в храмах других народов [Miller 1982: 86–87]. Не прослеживается «культура молчания» и в студенческих столовых и комнатах отдыха.

В массовом сознании идеал молчания преувеличивается и мифологизируется, в нем видят превосходство японцев.

Японский лингвистический национализм, однако, специфичен. Во-первых, он лишен стремления навязывать свой язык «чужим», во-вторых, в нем сочетаются чувство превосходства с комплексами неполноценности.

Обычно чем более важную роль играет то или иное государство на мировой арене, тем больше международных функций выполняет его язык. Японский язык — исключение: он не стал языком ООН, Япония этого никогда всерьез не добивалась. Редко он выступает и в качестве языка международных конференций и симпозиумов, что в Японии не кажется ненормальным. И что может показаться уже совсем странным: не всегда японцы одобряют хорошее знание их языка иностранцами (прежде всего американцами и европейцами). Ошибки прощают легко, плохо говорящему по-японски иностранцу будут говорить комплименты, но если он по-настоящему овладел языком, он может столкнуться с настороженным к нему отношением (сейчас — реже, чем раньше) [Matsumoto 1980: 110; Mizutani 1981: 16, 63–65]. Бывает, что на вопрос на японском языке ему отвечают на английском: японцы часто думают, что все люди европейской внешности — его носители. И здесь языковой изоляционизм! Исключением была языковая политика в первой половине XX в. в японских колониях: на Тайване, в Корее и в японской Океании, где ставилась задача ассимилировать покоренные народы, но после 1945 г. она прекратилась.

По-видимому, в Японии, несмотря на склонность к языковым и прочим заимствованиям, важно ощущение владения наряду со всем этим чем-то уникальным, специфически своим, недоступным для «чужих». Таков синтоизм — чисто японская религия в отличие от сосуществующего с ним интернационального буддизма (японцы никогда не обращали в синто иностранцев). И таков японский язык, пусть в нем много китайских и английских заимствований.

Для значительного числа японцев вопрос об общении с иностранцами по-прежнему не слишком актуален, а для себя достаточен один родной язык. Судзуки Такао писал, что Япония — одна из самых открытых в мире стран для восприятия чужих вещей и идей, но достаточно закрытая для человеческого общения с иностранцами. По его выражению, японцы — не ксенофобы, но ксенофиги, т. е. люди, избегающие иностранцев [Suzuki 1987: 141].

Важна и другая сторона культурных контактов, отмеченная Судзуки. Хотя японцы редко владеют английским языком, число заимствований из этого языка в японский очень велико. По представлениям японцев, у них должно быть нечто свое, недоступное другим, но заимствовать все лучшее у других не зазорно. В японских журналах за 1994 г. новые заимствования (практически все из английского языка) составляли около 12,4 % словоупотреблений, а среди разных слов, зафиксированных хотя бы раз в текстах, их было примерно 34,8 % [Gendai 2005–2006: 32]. В некоторых группах лексики их намного больше: они составляют 99 % компьютерной терминологии [Loveday 1996: 101–103], 97 % названий парфюмерных

и косметических товаров [Tsukamoto 1993: 44]. Чем больше та или иная сфера связывается с престижным потреблением, тем больше там американизмов.

Как пишет западный японовец, «гений» японцев заключается не в изобретении, а в адаптации тех или иных элементов культуры сначала из Кореи, потом из Китая, наконец, из Европы и США. Заимствованные элементы укоренились и живут самостоятельной жизнью, часто меняясь до неузнаваемости по сравнению с оригиналом [Tobin 1992: 3–4]. Многие из них созданы в Японии из заимствованных компонентов и непонятны носителям английского языка. Здесь уже не заимствование в обычном смысле, а абсорбция японским языком английского словаря [Passin 1980: 55]. Этот язык вбирает в себя весь словарь английского языка так же, как когда-то вобрал весь словарь китайского языка [Ibid.: 63].

Постоянна в массовом сознании ассоциация американизмов с современностью и престижностью, а слов исконного или китайского происхождения — с отсталостью и бедностью. В рекламе автомобилей завтрашнего дня *вчера* было обозначено обычным японским словом *kinoo*, а *завтра* — американизмом *toomoroo* (*tomorrow*) [Stanlaw 2004: 299]. В торговле, по выражению одного из авторов, заимствования там, где продают мечту [Sotoyama 1993: 50]. Человек, не употребляющий их, может выглядеть старомодным [Stanlaw 2004: 268–269]. Наличие множества американизмов еще не значит, что их значение всем понятно. Часто для японцев, особенно для молодежи, не очень существенно значение такого слова. Важен «имидж», ощущение престижности и современности. Представления об особой престижности заимствований из английского языка порождены комплексом неполноценности.

Как это совмещается с языковым национализмом? Оказывается, что языковые заимствования большей частью выделены в некоторое «гетто», пусть и престижное, в основном сводимое к двум сферам: высоким технологиям и престижному потреблению. За пределами этих сфер их немного. В лексическом ядре языка заимствований мало, и экспансия внутрь этого ядра пока что не очень велика. Здесь, может быть, проявляется свойство японской культуры, которое российский японист А. Н. Мещеряков назвал «накоплением и сбереганием» [Мещеряков 1991: 110]. Новые элементы культуры не столько вытесняют старые, сколько добавляются к ним. Как отмечал известный японский социолингвист, появившиеся после Второй мировой войны стили языка характеризуются значительным числом американизмов, а давно сложившиеся стили их по-прежнему избегают [Kabashima 1983: 83].

Кое-кто сетует на излишнее использование заимствованных слов, но для большинства японцев значительное их количество не кажется несовместимым с национальной гордостью [Sotoyama 1993: 50, 60]. Пишут, что для Японии выглядят странными усилия французов ограничить американизмы, но ситуация в двух странах различна: во Францию вторгается английский язык, а в Японии американизмы стали частью самого японского языка [Ibid.: 48]. Впрочем, иногда их ограничить пытаются даже на самом высоком уровне. В 2002 г. по инициативе тогдашнего премьер-министра Д. Коидзуми Государственный институт родного языка

даже составил список нежелательных слов: *konsensasu* (консенсус) предлагалось заменить на *shinkutanku*, *anarisuto* (аналитик) — на *bunsekika* [Gottlieb 2005: 12]. Н. Готтлиб сопоставила этот эпизод со сходным решением Государственной думы в 2003 г., отметив, что российский президент в отличие от японского премьера не проявил заинтересованности в нем [Ibid.: 13]. (Кто из читателей помнит об этом решении, оставшемся на бумаге, как многие другие?)

При устойчивом инварианте что-то в массовых представлениях могло меняться. Пишут, что целое поколение выросло, привыкнув к высоким оценкам всего, на чем стояла этикетка *Сделано в США*, но потом стало ясно, что это обычно дешевые товары и что пора перестать смотреть на Америку снизу вверх, в том числе и в области языка [Endoo 1995: 34]. Подобные идеи постоянно высказывает Судзуки Такао. Дж. Стенлоу указывал, что Япония преодолевает комплекс, в том числе языковой, по отношению к США [Stanlaw 2004: 272]. А в 1970–1980-е гг., когда Япония достигла наибольших экономических успехов, даже ставили вопрос: будет ли мир в XXI в. говорить по-японски; Судзуки не отказывается от такой постановки вопроса и ныне [Suzuki 2006: 15–16], хотя она противоречит японским традициям. Но сейчас такие высказывания слышны реже: экономическое положение страны после долгой стагнации и недавнего кризиса им не способствует.

А что можно сказать про современную Россию? Можно отметить, во-первых, значительный рост мотиваций для овладения английским языком (в меньшей степени — некоторыми другими языками, включая японский), во-вторых, беспрецедентное снижение престижности русского языка.

У нас американская массовая культура, тесно связанная с английским языком, приобрела престижность еще во времена экономического и политического противостояния СССР и США; в СССР к концу его существования отсутствие мотивации для изучения английского языка, особенно в разговорном его варианте, имело в основном внешние причины. Когда внешних преград не стало, изучение английского языка стало массовым. При этом вряд ли можно считать, что современная Россия более интегрирована в мировую экономику, чем Япония, но по сравнению с Японией здесь гораздо меньше внутренних преград, в том числе культурных. Появление возможностей работы за границей, рост количества совместных предприятий и фирм, открытие в России зарубежных представительств, расширение туризма — все это способствует тому, что россияне считают важным овладение английским языком (в меньшей степени — другими иностранными языками). Впрочем, масштабы такого овладения не так велики, как иногда кажется. Как показывает опрос Левада-центра, о владении английским языком заявляют 9 % россиян [Новая газета, 28 июня 2010]. Это больше, чем в советское время, и больше, чем в Японии, но цифра все же невелика.

Как в Японии и в других странах, другая сторона проблемы — проницаемость своего языка для заимствований. И у нас в последние десятилетия появилось множество заимствований из английского языка. Большое число американизмов, связанных с молодежной субкультурой, стало заметно в русском языке уже

к 1970-м гг. (всякие *шузера на зиперах*), хотя они долго не допускались в письменную речь. Американизация русской лексики началась не в 1991 г. — тогда были лишь сняты все ограничения. Процессы в России и Японии имеют сходства: гигантское число американизмов в сфере компьютеров или престижного потребления. Бывают и различия: лексическое поле, связанное с бизнесом, начало активно формироваться в русском языке лишь в последнее время, и господство американизмов здесь заметнее, чем в японском (где, например, *акция* именуется исконным словом *kabu*, первое значение которого *пень*).

Вот далеко не полный список только слов на *-инг*: бодибилдинг, боулинг, брифинг, виндсёрфинг, дайвинг, драйвинг, заппинг, картинг, кастинг, кикбоксинг, консалтинг, маркетинг, паркинг, пирсинг, рейтинг, реслинг, скайтинг, скрининг, туринг, тьюнинг, хеппенинг, холдинг, хостинг, шопинг [Григорьев 2006: 440]. Не все эти слова на самом деле появились после 1991 г.: слово *рейтинг* в советское время встречалось в спортивной журналистике, а *хеппенинг* был употреблен (впервые?) в еженедельнике «За рубежом» в 1964 г. в отношении США, где данная реалия тогда только появилась. И всякие *менеджеры* и *брокеры* встречались и раньше в специальной литературе о капиталистической экономике. Но теперь такое слово, даже если уже было на периферии языка, стало употребительным. Часто американизм вполне синонимичен вытесняемому из языка слову, в том числе старому заимствованию: *боулингом* сейчас называют то, что когда-то называли *кегельбаном*.

Эта лексика — результат влияния даже не столько собственно американской культуры, сколько международной культуры глобализации, формируемой из элементов разного происхождения в США на английском языке. Массовое заимствование таких слов, безусловно, связано и с положительным отношением отдельных людей к данному процессу, и с общим курсом, принятым российской властью с августа 1991 г. Очевидно, что бороться со многими из таких неологизмов бесполезно и нерационально, особенно если они обозначают новые для России реалии (или подзабытые старые). Но не всегда эти слова обогащают язык, а трудностей в пользовании ими немало: я, даже зная соответствующие английские слова, постоянно путаю *лузеров* с *юзерами*. И молодежь к ним более восприимчива, чем люди старшего поколения, а персонал фирм, особенно связанных с границей, — более, чем работники традиционных отраслей, включая науку. Усиливаются и конфликт поколений, и социальная рознь, а чувства многих людей страдают. Если человек привык гордиться тем, что слово *спутник* вошло во многие языки, то поток малопонятных американизмов легко воспринимается как одно из свидетельств катастрофичности нынешней ситуации. В Японии все это уже привычнее.

Безусловно, для каждого отдельно взятого английского слова в среднем больше шансов войти в японский язык, чем в русский. Однако в японском языке все эти заимствования, за некоторыми исключениями, располагаются внутри некоторого «гетто», пусть вызывающего почтение. В русском языке многие из них проникли и продолжают проникать в «ядро» языка.

Оборотная сторона престижности английского языка — снижение престижности русского языка. Еще в советское время появился так называемый стёб, его ведущие фигуры, по собственному признанию, ненавидели советский строй во всех проявлениях, включая языковые. Один из них позже заявлял о том, что он настолько был переполнен ненавистью ко всей советской литературе, что нарочно переводил стихи с русского языка на ломаный немецкий [Гаврильчик 1995: 152]. Как пишет один из исследователей, стёб противостоял не только «партийному жаргону», но всему «великому и могучему» русскому языку [Русский 1996: 22–23]. См. также статью «Стёб вчера и сегодня» в настоящем сборнике.

В конце 1980-х гг. в сознании социально активной части интеллигенции недовольство общественным строем приняло глобальный характер, распространяясь даже на русский язык и, шире, на русскую культуру. Вот несколько цитат из журнала «Век XX и мир» за 1990–1992 гг. В основном там варьировались две темы: вина русских за насаждение своего языка другим народам и испорченность русского языка при господстве большевиков.

«Престижно ли в наших условиях оставаться русским?» Среди «слагаемых довольно низкого общественного статуса русских»: «навязываемый административными инстанциями как общеобязательный русский язык (даже в тех случаях, когда это противоречит здравому смыслу, как, например, в диссертациях о современных языках и литературах, выполняемых представителями этих народов), при сплошь распространенном незнании русскими языков народов страны» [Век 1990, 2: 22, М. Жеребятъев].

«Кому интересен персонал разорившейся лавочки? Быть русским — скверная рекомендация» [Век 1991, 10: 39, Г. Павловский].

«Сейчас время поддерживать национальные движения, отбросив претенциозный тезис о якобы превосходящей другие народы русской культуре» [Век 1991, 12: 8, И. Постников].

«Большевистское наступление на человеческое сознание под лозунгом культурной революции обернулось языковым иммунодефицитом». «Оскудение языка». От «большевистской» реформы орфографии «грамотность более всего и пострадала» [Век 1991, 12: 50–51, А. Люсый].

«Мы разучились русскому. Мы перестали говорить по-русски и жить по-русски» [Век 1992, 2: 60, Г. Павловский].

Это уровень «элиты». А вот другие социальные слои в 1990-е гг. Воронежский лингвист описывал общение соседей по палате в больнице: «Состав группы: водитель, 40 лет; пенсионер, работающий на заводе, 60 лет; коммерсант, 30 лет; продавец частного магазина, 30 лет; сварщик, 50 лет; строительный рабочий, 35 лет». Темы разговоров: выпивка, менты, деньги, кто у нас во власти, бабы, был интересный случай, дача, заграница.

Тема «Заграница». «Обсуждение идет в рамках сопоставления у нас — у них, причем преобладает положительная оценка того, что у них, и скептическая, даже пренебрежительная — того, что у нас. Устойчиво высказываются суждения,

играющие терминационную функцию в сценарии: «у нас никогда так не будет», «они умеют», «у них здорово», «у них народ другой, не то что у нас» [Стернин 1999: 178]. Все это перемежалось огромным количеством мата (игравшего ведущую роль и в стёбе). В статье не приводятся суждения специально о языке, но ясно, что с точки зрения данной разнообразной компании у нас не может быть ничего хорошего.

Я не хочу сказать, что за прошедшие полтора-два десятилетия такое отношение ко всему своему не изменилось, тем более прекрасно знаю: для многих в России свой язык остается «великим и могучим». Но все-таки распространенность таких взглядов тревожит. В Японии не считали, что «у нас никогда так не будет», а язык мог стать ценностью, опорой, устойчивой для всех. В России в последние 20 лет такими опорами чаще служили либо прежние советские ценности (число их сторонников не так уж мало, что показывает число голосующих за коммунистов), либо религия, но то и другое устраивает далеко не всех. Объединяющий людей язык такой опорой в России стать не может (разве что для некоторых эмигрантов, но и Набоков в конце концов начал писать по-английски). Впрочем, по мнению специалистов, сейчас, в годы стагнации и кризиса, и в Японии американизация значительно усилилась, в том числе в сфере языка [Гуревич 2005: 44–53].

СТЁБ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (размышления о статье Ю. Л. Воротникова)

Статья Ю. Л. Воротникова весьма серьезна по своему содержанию, она затрагивает и собственно лингвистические, и исторические, и общественно-политические проблемы. Я кое в чем согласен с ее автором, но против ряда его положений хочу возразить. А некоторые из поставленных им вопросов требуют более детального рассмотрения.

Главное содержание статьи Ю. Л. Воротникова — проблема противостояния официального советского дискурса и резко ему противопоставленного в 70–80-е гг. так называемого стёба. Я могу согласиться с автором статьи в том, что это противостояние было не стилистическим и тем более не лексико-семантическим, а противостоянием дискурсов. Термин *дискурс* сейчас очень популярен, хотя не всегда имеет строгое научное содержание; однако определение, используемое Ю. Л. Воротниковым, можно в целом принять. Но каждый из двух дискурсов охарактеризован в статье лишь в общих чертах.

Особенно это относится к тому из них, который я буду далее называть советским дискурсом. Ю. Л. Воротников отмечает со ссылками на П. Серию лишь две его особенности, которые, безусловно, не покрывают его характеристики в целом. Отношение к нему автора резко отрицательное, что соответствует оценкам, принятым на Западе, а у нас такая позиция характерна для любителей стёба (к которому, как далее выясняется, отношение Ю. Л. Воротникова далеко не однозначное). Думаю всё же, что столь определенная оценочность, когда советский дискурс именуется «ГУЛАГом духа и мысли», не способствует строго научному подходу: научный анализ легко подменить подбором обличающих примеров. К тому же в статье этот дискурс выглядит как нечто единое и существенно не менявшееся на протяжении чуть ли не всего периода советской истории, что, конечно, тоже сильное упрощение.

Приведу пример, с которым я однажды столкнулся. На одной научной конференции молодая исследовательница сделала доклад о «советском тоталитарном языке» на материале газеты «Правда» 30-х гг. Но она стала в тупик, когда я ей предложил проанализировать в ее терминах несколько фраз и выражений из опубликованных в той же газете в те же годы фельетонов штатных сотрудников «Правды» И. Ильфа и Е. Петрова. Выяснилось, что она просматривала первые страницы номеров и не заглядывала далее.

И в газетных передовицах, и в фельетонах реализовывался советский дискурс, однако в отличных друг от друга разновидностях (настолько отличных, что впоследствии создатели стёба могли считать Ильфа и Петрова своими предшественниками). Советский дискурс существовал в разных речевых жанрах, по М. М. Бахтину. Передовая статья газеты, речь на митинге, деловая бумага, фельетон, очерк, спортивный репортаж, устное или письменное выступление на международные темы — всё имело специфические черты, разные признаки, несмотря на присутствовавшую общность. Разные жанры подвергались в той или иной степени унификации, в некоторые периоды довольно сильной, но в рамках советского дискурса существовали и обладавшие своим «фирменным» стилем журналисты и даже целые издания («Известия» при Н. И. Бухарине, а потом при А. И. Аджубее, «Литературная газета» начиная с 50-х гг., отчасти «Комсомольская правда»). А кроме советской журналистики была и советская литература. В области художественной литературы полная унификация дискурса, по-видимому, невозможна, во всяком случае, в нашей стране ее не было. Однако поклонники стёба обычно равно издевательски оценивали и политические лозунги, и «задушевный» стиль очерков на бытовые темы, и язык «официальных» писателей (иногда делая исключения, скажем, для упомянутых Ильфа и Петрова). Они, несомненно, ощущали во всем этом нечто общее. Однако стоит ли во всем этом видеть один «ГУЛАГ»?

Важен и вопрос об истоках и формировании советского дискурса. Еще в 20-е гг. об этом, разумеется в иных терминах, подробно говорилось в известной книге А. М. Селищева «Язык революционной эпохи». Там показано, что специфический язык (в современной терминологии — дискурс) революционеров складывался еще до 1917 г., а затем стал господствующим и начал оказывать влияние на речь других социальных групп. Подчеркнуто, что большинство революционеров были выходцами из интеллигенции [Селищев 2003: 69 и др.], поэтому в рассматриваемом языке очень значительны книжные элементы; к этому добавляются особенности происхождения ряда деятелей, среди которых было много выходцев из духовенства, поляков, евреев. Отмечено активное использование революционерами иностранных слов. Важная черта данного дискурса — повышенная эмоциональность: «Пафос революционера, высокие идеалы братства, равенства, свободы, угрозы врага, категорические приказы в обстановке решительной битвы — всё это вылилось в соответствующих формах речи» [Там же: 156]. В то же время отмечены и черты противоположного характера: «Российские революционеры... не стесняются употреблять в своей речи слова и выражения, считавшиеся фамильярными и грубыми» [Там же: 107]. Причины этого ученый видел в том, что «в революционных кружках прежнего времени действовало значительное количество студенческой молодежи, среди которой распространены бывают некоторые черты независимости от общих норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета», чему в языке соответствуют «некоторая грубоватость и откровенный реализм значения слов и словесных сочетаний» [Там же: 107]. Наконец, черта, появившаяся уже

после революции, когда возникло «воздействие всевозможных многочисленных канцелярий»: немалое число «элементов языка канцелярского с его архаизмами» [Селищев 2003: 98].

Однако и А. М. Селищев, и другой наш крупнейший ученый тех лет Е. Д. Поливанов отмечали очевидные уже ко второй половине 20-х гг. изменения дискурса. Селищев писал: «Быстро создаются речевые шаблоны вместо недавних форм эмоциональности. Речь с шаблонными *штампами* не возбуждает прежних настроений. Это — “трескотня”» [Там же: 157]. Еще резче выступал Е. Д. Поливанов, протестовавший против «уродливой дисциплинированности речи» и превращения еще недавно ярких образов в «заезженные штампы»; «славянский язык революции» в том виде, который он приобрел к концу 20-х гг., Поливанов сравнивал по «безжизненности и недвижности» с «церковнославянскими речениями в церковном языковом обиходе» [Поливанов 1931: 169].

Чем дальше, тем больше штампы господствовали. Что же касается «слов и выражений, считавшихся фамильярными и грубыми», то они подверглись дифференциации. Отмеченное А. М. Селищевым их применение к «врагам» (внешним и внутренним) сохранилось, в этой функции они стали частью «славянского языка». В других же сферах их стали изгонять из дискурса, хотя, как отмечал Селищев, они в 20-е гг. были широко распространены, особенно в комсомольской среде. Потом началась заметная нивелировка, приводившая, по выражению М. В. Панова, к «стилистической диете» [Панов 2007б: 63]. Однако, как я уже говорил, полной унификации никогда не было, а в разные эпохи степень нивелировки была разной. Как считал тот же М. В. Панов, в 30–60-е гг. «газета говорила одним голосом, голосом журналиста», а талантливость автора «в отношении к языку... не проявлялась или проявлялась слабо» [Там же: 83–84]. Но уже в 70-е гг. и в первой половине 80-х гг. (т. е. в эпоху расцвета стёба), по его мнению, появилось «требование к языку газеты — быть талантливым», и «теперь газета говорит многими голосами» [Там же: 84]. Это положение проиллюстрировано многочисленными примерами из ряда газет как раз кануна «перестройки» — начала 1985 г.

Оба свойства советского дискурса, отмеченные у Ю. Л. Воротникова, вряд ли специфичны для него. Склонность к использованию отглагольных имен — скорее особенность русского (вероятно, не только русского) канцелярского (делового) стиля. Выше говорилось о том, как канцеляризм появились в советском дискурсе, но А. М. Селищев считал одной из причин этого «влияние многочисленных деятелей прежних канцелярий» [Селищев 2003: 98]. И что тут изменилось после 1991 г.? Вот примеры с одной газетной страницы: *Работа по возвращению детских садов в систему образования будет продолжаться*; с 1 сентября в Москве запрещена розничная *продажа* алкогольной продукции с *содержанием* этилового спирта более 15 % с 22.00. до 10.00; *информирование* родителей о *предоставлении* места в дошкольном образовательном учреждении будет осуществляться через электронную почту, почтовую связь или по телефону; сейчас производится *увязка* планов с *расширением* шоссе (Сокол. 2010. Сентябрь. № 10 (158). С. 2, курсив мой).

Второе свойство — включение в ряд однородных членов несоединимых по значению слов вроде *коммунисты и беспартийные* — можно рассматривать как проявление речевой демагогии в политических дискурсах, очень распространенное. Например, те же свойства английский социологист Н. Ферклоу обнаружил при анализе речей и публикаций М. Тэтчер, которая часто прибегала к оборотам вроде «я (мы) и народ» [Fairclough 1989: 186]. Рассмотренный в книге [Fairclough 1989] «дискурс тэтчеризма» по многим параметрам сходится с «тоталитарными дискурсами», несмотря на все идеологические различия.

Теперь о стёбе. Это явление неоднородно по происхождению. Один из источников — отмеченные еще А. М. Селищевым «черты независимости от общих норм и форм бытового уклада и общепринятого этикета» у молодежи. Е. Д. Поливанов, в свою очередь, указывал на широко распространенное в его время среди школьников «речевое хулиганство» [Поливанов 1931: 161], существовавшее и в «дореволюционной обстановке» [Там же: 162]. Ю. Л. Воротников также отмечает, что стёб в 70–80-е гг. в основном был присущ молодежи.

Другой источник — высмеивание речевых штампов и «стилистической диеты» советского дискурса, всегда существовавшее, в том числе внутри него самого. И. Ильф и Е. Петров потому и воспринимались как предшественники стёба и даже как противники строя, что занимались этим очень активно. Многим стало казаться, что они ничего не писали, кроме двух романов, но не только в романах, но и в фельетонах в «Правде» высмеивались и омертвление штампов «славянского языка», и их употребление в неподобающих контекстах (ср. заголовки двух фельетонов: *Веселящаяся единица* и *На купоросном фронте*). Их позиция была сходна с позицией Е. Д. Поливанова, только тот говорил серьезно, а произведения Ильфа и Петрова А. В. Луначарский характеризовал как «смех победителей». Победители, пока они сильны, не боятся смеяться над собой. Потом по мере ослабления строя эта способность стала утрачиваться, появились зоны, запретные для шуток, но критика журналистских штампов в умеренных дозах существовала всегда, например в журнале «Крокодил» или в выступлениях ансамбля Дома журналистов «Верстка и правка». И, разумеется, наряду с этим существовали и, скажем, антисоветские анекдоты.

Стёб мог быть внешне очень похож на советскую сатиру. Могли совпадать приемы и даже слова. Осуждающий эпитет *сюсю-реализм* предложил в 1959 г. советский писатель Л. Лагин, а позже (вероятно, независимо от Лагина) он фигурировал и в стёбе, но теперь уже применялся не к отдельным плохим писателям, а к советской литературе в целом. Я согласен с Ю. Л. Воротниковым в том, что причины формирования стёба были идеологическими. Разумеется, я не хочу сказать, что каждый из тех, кто его использовал, осознанно ненавидел советскую власть и мечтал об установлении в СССР системы ценностей его противников в «холодной войне». Стёб мог быть данью моде и знаком принадлежности к определенной компании. Упоминаемые Ю. Л. Воротниковым «диссидентские» дискуссии на кухне также вряд ли можно безоговорочно так именовать. Но ведущие фигуры стёба,

как признавали и они сами, ненавидели советский строй во всех его проявлениях, включая языковые.

Приведу в качестве примера не самого известного, но весьма типичного автора, употреблявшего в стихах только дискурс стёба. Это ленинградский поэт Владлен Гаврильчик, по понятным причинам начавший публиковаться уже в постсоветское время [Гаврильчик 1995], но написавший большинство стихов и поэм в 60–70-х гг. Этот факт, кстати, не подтверждает (наряду с другими примерами) тезис Ю. Л. Воротникова о появлении стёба лишь в 70-е гг.: в предыдущее десятилетие он, безусловно, уже существовал. Вот стихотворная пьеса Гаврильчика для кукольного театра о Пушкине «Поэт и царь» [Там же: 91–99]. Там Пушкин идет в сортир, откуда затем Тынянов выносит бумажки и их съедает, царь Николай по совету Аракчеева (!) расстегивает штаны, а Дантес поет: «Мимо пушкинского дома я без шуток не хожу» и далее по известному тексту. В финальной сцене Пушкин сидит на сцене киргизского театра оперы и балета и поет голосом акына, Дантес стреляет в него из обреза, но на сцене появляются бдительные Павлик Морозов и Тимур со своей командой и задерживают бандита. Всё это перемежается цитатами из пушкинских произведений.

Можно видеть, что стёб здесь глобален. Не имеющие отношения к поэту и царю персонажи советского времени от Тимура до акынов контаминируются со стереотипными фигурами советской пушкинистики (традиционный Бенкендорф заменен принадлежавшему другой эпохе Аракчеевым, видимо, намеренно), к которым добавлен Тынянов как «типичный представитель» этой пушкинистики. Нельзя сказать, что авторское отношение к Николаю I и Дантесу с Аракчеевым отличалось от отношения к Пушкину: всё это, как подчеркивает автор, куклы, объекты издевки. Точнее, не они сами, а вся советская картина мира, независимо от того, какое место в ней занимает тот или иной персонаж. Ю. Л. Воротников верно обращает внимание на деструктивный характер стёба, на отсутствие в нем созидания.

Созидание в пьесе и других текстах сборника если и есть, то оно проявляется в выборе и подчеркивании того, что не допускалось в советский дискурс: это секс, физиологические отправления (тема, проходящая через всю книгу), пьянство как норма жизни, нецензурная лексика. Но для цельной картины мира этого всё же мало, деструктивная сторона преобладает. Как сказано в приводимой Ю. Л. Воротниковым цитате из А. Агеева, стёб противостоял не только «партийному жаргону», но всему «великому и могучему» русскому языку.

В книге приводятся слова самого В. Гаврильчика о том, что он настолько был переполнен ненавистью ко всей советской литературе, что нарочно переводил стихи с русского языка на ломаный немецкий [Там же: 152]. В другом интервью он говорил, что Пушкин и другие классики в советское время играли роль кариатид, поддерживавших балкон, на котором стояли партийные чиновники; ненависть к людям на балконе переносилась им на кариатиды. В любом случае позиция автора основана на ненависти (теплые чувства изредка проявляются сквозь иронию, но только к семье и ближайшим друзьям). У Ю. Л. Воротникова верно сказано

об агрессивности стёба, менее убедительна и плохо сочетается с агрессивностью другая отмечаемая в статье его черта — оборонительный характер. Стёб не столько оборонялся, сколько напал на своего дряхлевшего противника. Сначала это ограничивалось рамками «андеграунда» и «тамиздата», в годы «перестройки» вышло наружу, а затем стёб мог считать себя победителем.

В статье Ю. Л. Воротникова затрагивается и вопрос о соотношении стёба и так называемого диссидентского дискурса. Безусловно, не все диссиденты употребляли стёб, а многие из них не принимали его, ориентируясь на «серьезную» интеллигентскую традицию. Однако вряд ли можно найти какие-то дискурсные признаки, выделявшие диссидентскую традицию в целом, в статье они не приводятся. Стёб был, пожалуй, единственным более или менее оформленным дискурсом, противостоявшим официальному. А идейные различия вовсе не обязательно отражаются в языковых или дискурсных (как и наоборот). Скажем, упомянутые Ю. Л. Воротниковым разные коннотации слова *колхоз* не имеют прямого отношения к различиям в дискурсе, к тому же это слово может быть (и чаще всего является) нейтральной единицей номинации.

Наконец, последняя проблема, затронутая Ю. Л. Воротниковым, — современная дискурсная ситуация в России. В статье немало упрощений. Нельзя считать, что советский дискурс исчез вместе с советским общественным строем. Причин его существования и в наши дни по крайней мере две. Во-первых, продолжают выходить «Правда», «Советская Россия» и другие коммунистические издания, в чем-то изменившиеся, но в целом ориентирующиеся на преемственность советской традиции. Во-вторых, ни при каких условиях язык и связанные с ним явления не могут измениться мгновенно, а языковые, в том числе дискурсные, привычки сохраняются и при смене реалий и господствующей идеологии. И в современных газетах, особенно в официальных и провинциальных изданиях, многие материалы выглядят так, как будто они написаны до 1991 г.

Что касается стёба, то он, как отмечает Ю. Л. Воротников, не только продолжает существовать, но и завоевал многие сферы, куда раньше не допускался. В статье выражается удивление в связи с тем, что стёб, основанный на противостоянии, продолжает существовать и при отсутствии бывшего противника. Однако его сохранение вполне закономерно, и не только потому, что противник вовсе не умер (современная пресса не обращает большого внимания на оппонентов из КПРФ). Есть и другие причины.

Во-первых, редко где при социальных переменах быстро исчезает дискурс победителей. Если поклонники стёба считают и сейчас 1991 г. своей победой, то у них нет оснований отказываться от дискурса, с помощью которого они шли к ней. К тому же многим из них в 90-е гг. трудно было избавиться от соблазна потоптать побежденного противника, а кое-кто занимается этим и сейчас. Наконец, развитый, богатый и многообразный советский дискурс, пока что не забытый в обществе, остается основным источником пополнения стёба, не имеющего собственного творческого потенциала.

Во-вторых, многое в стёбе перекликалось и перекликается с процессами, идущими на Западе. Вспоминается, как в 1994 г. на презентации большого французско-русского словаря ныне покойный профессор В. Г. Гак привел высказывание одного французского лингвиста. Смысл его был в том, что полвека назад любой французский лексикограф навеки испортил бы свою карьеру, если бы включил в словарь нецензурную (или, как теперь велено говорить, обценную) лексику, а в наши дни карьера рухнет, если он исключит ее из словаря. В современных западных дискурсах снимаются прежние табу, речь становится подчеркнуто разговорной, с другой стороны, стараются избегать слишком серьезных и «возвышенных» слов и оборотов. У нас в советское время данный процесс всячески тормозился, зато стёб, несомненно, находился под его определенным влиянием, резко усилившимся в 90-е гг. А когда после «возвращения в мировую цивилизацию» СМИ, особенно электронные, и сфера рекламы начали активно преобразовываться под западным влиянием, готовые образцы стёба оказались востребованы, вытесняя советский дискурс. Сейчас озаглавить некролог композитора *Умолкла лира* решится, наверное, лишь коммунистическая газета, хотя образ очень старый и не содержит ничего специфически советского. Зато «Московский комсомолец» может озаглавить некролог трагически погибшей молодой спортсменки *Разбилась фарфоровая статуэтка*. Как-то нехорошо, но в стёбе так положено.

Наконец, в-третьих, за дискурсом в той или иной степени стоит определенный взгляд на мир. Стёб осмеивал и несчастного Павлика Морозова, и Пушкина, и царя Николая I. Пусть Морозова можно считать поверженной целью (что тоже не совсем верно), однако Пушкин и даже Николай I (которого в наши дни кое-кто стал переоценивать в положительную сторону) никуда не делись, а традиция (имеющая давние корни, но перешедшая и в советский дискурс) относится к ним всерьез продолжает существовать. И она, как и любая традиция серьезного отношения к жизни, приоритета духовной сферы над физиологической, остается врагом стёба. Конечно, стёб не может захватить все речевые жанры, скажем жанры юридического документа или исследования по естественным наукам, но он агрессивен и склонен к экспансии. А нынешний официальный дискурс в отличие от советского не образует единства, эклектичен и включает в себя стёб в качестве одной из составных частей.

К ПРОБЛЕМЕ ИЕРАРХИИ ЯЗЫКОВ

В современном мире широко распространены как одноязычие, так и многоязычие (в том числе двуязычие как его наиболее частый случай). При этом, однако, следует учитывать разные виды многоязычия. Во-первых, многоязычие может быть добровольным и вынужденным [Skutnabb-Kangas 1983: 75–80]. При добровольном многоязычии нет существенной социальной разницы между знанием и незнанием чужого языка, а неудача в его освоении не ведет к жизненной катастрофе. Владение чужим языком в этом случае может поднять престиж человека, но не является обязательным условием его карьеры. Добровольным в большинстве случаев является знание иностранных языков, в связи с чем вопросы о нем обычно не включаются в переписи населения в отличие от вопросов о знании языков, функционирующих в данной стране.

Во-вторых, разграничение видов многоязычия связано с тем, что языки могут подвергаться достаточно серьезному варьированию, и даже одноязычный в традиционном смысле человек может владеть несколькими языковыми образованиями (литературный язык, диалект, сленг и т. д.), различия между которыми могут быть не меньше, чем различия между языками. Скажем, в Японии считается, что не менее 99 % населения — носители японского языка, однако для многих из них материнский диалект существенно отличается от литературного языка. Языковые различия такого рода, чисто лингвистически иногда значительные, реже порождают языковые конфликты, если только диалектные различия не связаны с этническими (например, в случае афроамериканского диалекта английского языка, которому иногда требуют придать официальный статус).

Далее речь пойдет о наиболее важном виде многоязычия, когда человек вынужденно владеет несколькими языками (скажем, башкирским и русским в России, испанским и английским в США, тамильским и английским в Индии и т. д.). Такое многоязычие противопоставлено одноязычию, которое не исключает знания литературного языка и диалекта, владения иностранными языками. Русский гражданин России в этом смысле одноязычен, если только он не владеет каким-либо языком российских меньшинств (это состояние и фиксировалось в советских переписях населения).

Такое одноязычие свойственно значительной части человечества, и миллионы людей, скажем в России или в США, могут за всю жизнь не столкнуться с ситуацией, когда собеседник не владеет их языком. Одноязычие в современном мире

обычно связано с двумя противоположными ситуациями. С одной стороны, однопольны некоторые обособленные народы, не контактирующие даже с соседями, или же наиболее необразованная и угнетенная часть того или иного этноса, прежде всего женщины, живущие в замкнутом домашнем мире. С другой стороны, однопольна основная масса населения многих развитых стран, построенных по национальному принципу или по принципу «плавильного котла». Многие исследователи отмечают распространенность в общественном мнении США представления об однопольности (естественно, на английском языке) как свойстве культурных и зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью [Edwards 1994: 4; Garcia 1995: 142, 145–146; Loveday 1982: 8; Skutnabb-Kangas 1983: 75–80; Tollefson 1991: 66].

Однако многоязычие (особенно двуязычие) распространено значительно шире, чем однопольность. Иногда даже считают, что многоязычие — норма, а однопольность — исключение [Edwards 1994: 1]. В современном мире социальная мобильность резко возрастает, и ситуация общения между людьми с разным материнским языком (*Muttersprache*, *mother tongue*) становится правилом. Именно двуязычное, а не однопольное население составляет элиту ряда стран Африки, Индии и др. В таких ситуациях над этническими языками надстраивается один из статусных языков — английский язык (в Индии), английский, французский или португальский (в Африке). Число носителей этого языка не так велико, но лишь он не привязан к конкретному региону и этносу. Поэтому он не может быть устранен из коммуникации (попытка в 1950–1960-е гг. превратить хинди в общепотребительный язык для всей Индии привела к человеческим жертвам и была оставлена).

Однопольность имеет ряд преимуществ. Во-первых, усвоение каждого нового языка, особенно сознательное его усвоение, требует дополнительных усилий, а способности в обучении чужим языкам у людей различаются. Есть люди, даже очень способные в других областях знаний, которые не могут выучить ни один язык, кроме родного. Вот что сказано в биографии видного русского писателя середины XIX в. А. Ф. Писемского, окончившего математическое отделение Московского университета: «Языки ему вообще не давались, и он не раз впоследствии страдал от этого “подлейшего неведения языков”, объясняя свою неспособность к их изучению перевесом способностей к наукам философским, абстрактным» [Горнфельд 1898: 693].

Во-вторых, человек по-разному овладевает языками в различные периоды жизни. Лишь при употреблении родного языка человек использует оба полушария головного мозга, дополняющие друг друга. В процессе освоения языка в возрасте после 5–7 лет доминирует левое полушарие, в результате чего приобретаемая языковая компетенция неизбежно станет неполной. Бывают случаи, когда человек владеет более чем одним материнским языком (например, если родители говорят на разных языках или ребенок воспитывается няней, говорящей не на том языке, что родители), но это встречается не так часто. Как указывают специалисты

[Edwards 1994: 3], абсолютного равенства языков не бывает, и всегда у человека один из двух или нескольких языков становится основным.

Наконец, в-третьих, понятие материнского языка имеет четко выраженный социальный смысл. Чаще всего, хотя и не всегда, материнский язык является языком родного этноса, родной культуры. Пользование «чужим» языком легко вызывает ощущение этнической, культурной, а зачастую и социальной неполноценности. Конечно, возможен и компенсирующий фактор — ощущение престижности «чужого» языка.

В любом многонациональном государстве возникает языковая иерархия, которая может быть представлена в виде перевернутой пирамиды. Чаще всего она состоит из трех уровней. Верхний слой (обычно самый многочисленный) составляют одноязычные носители государственного языка: так называемые русскоязычные в СССР и в современной России, носители английского языка в США и др. Средний слой составляют многоязычные граждане. Внизу находятся одноязычные носители языков меньшинств (или даже многоязычные, но не владеющие государственным или официальным языком). В некоторых странах (Индия, ряд стран Африки) верхний слой отсутствует, и наверху оказываются многоязычные. Эта иерархия не совпадает с социальной иерархией, но в одну сторону с ней коррелирует: принадлежность к одноязычным носителям государственного языка ничего не говорит о социальном статусе, но нижний слой языковой иерархии образуют люди, не обладающие высоким социальным статусом. Это либо люди, занятые в сельском или домашнем хозяйстве, либо не ассимилированные иммигранты. Продвигаться по социальной лестнице они не могут и зачастую не хотят.

При любой государственной политике определенное неравенство верхнего и среднего слоев может ощущаться и создавать потенциально конфликтную ситуацию. Например, в СССР и этнические русские, и другие русскоязычные за очень редкими исключениями (например, русские в очень однородной в языковом отношении Армении) не владели языками меньшинств. Эта ситуация сохранилась и в современной России.

Миллионам людей в СССР, чей родной язык отличался от русского, приходилось чем-то жертвовать. Можно было, не добиваясь многоязычия, пожертвовать возможностями социальных связей с гражданами иных национальностей. Обычно это делали бессознательно, не видя необходимости расширения таких связей (впрочем, в Прибалтике иногда сознательно отказывались говорить на русском языке, например торговый персонал в общении с туристами). А использованием этнического языка жертвовали сознательно ради употребления русского языка. Возможное ощущение этнической и языковой неполноценности компенсировалось престижностью русского языка и перспективами социального продвижения при его знании. Пока для массового сознания существование СССР как единого государственного образования казалось само собой разумеющимся, освоение русского языка принималось «молчаливым большинством» как если и не лучшее,

то, по крайней мере, естественное занятие. Но в эпоху перестройки скрытое недовольство вышло наружу.

Это проявилось во время дискуссии о пользе или вреде двуязычия, развернувшейся в 1988–1989-е гг. в журнале «Дружба народов». Обнаружилось, что одно и то же острое в то время желание расширить функции своего национального языка за счет государственного русского приводило, в зависимости от конкретной ситуации в том или ином регионе, к противоположным выводам. Если язык этнического меньшинства был достаточно стабилен (Эстония), то со ссылкой на научные данные доказывалась вредность двуязычия, особенно освоенного в детстве: представителям местного этнического сообщества подспудно хотелось заменить эстонско-русское двуязычие эстонским одноязычием. Если же городское население всё более забывало свой язык и переходило на русский (Башкирия, Чувашия), то уже доказывалась польза двуязычия, обогащающего культуру: речь шла о переходе с русского одноязычия на чувашско-русское или башкирско-русское двуязычие (лозунг одноязычия на своем языке был слишком явно нереален) [Алпатов 1997: 128–133].

В языковой политике государств поддержка многоязычия в рамках страны иногда может выходить на передний план, обычно при определенном равновесии между этносами. При этом на индивидуальном уровне поддерживается право не только на многоязычие, но и на одноязычие. Пример — Швейцария, где каждый государственный чиновник по закону обязан отвечать по-немецки, по-французски или по-итальянски в зависимости от того, на каком языке к нему обращаются. Одновременно чиновники обязаны быть многоязычны, а рядовые граждане получают право на одноязычие. Еще жестче такая политика соблюдалась в последние полвека в Бельгии в результате длительной борьбы фламандцев за свои права. Там существуют даже два министерства образования: фламандское и валлонское. Но такая политика (конечно, наряду с другими факторами) способствовала тому, что страна находится на грани распада.

Другой пример поддержки властями языков меньшинств связан с принципом «разделяй и властвуй». Французы в бывших колониях в Северной Африке поддерживали берберские языки, чтобы не допустить арабизации берберов [Ross 1979: 7]. А в ЮАР времен апартеида вводилось обучение на родных языках для африканцев, чтобы они не усваивали языки белых и не объединялись между собой [Skutnabb-Kangas 1983: 66–67; Trudgill 1983: 156].

Требования самих меньшинств могут быть различными: от умеренных, вроде увеличения количества школ с преподаванием их языков, до радикальных, связанных с борьбой за независимость. Выдвигаемые при этом лозунги могут иметь скрытый смысл. Например, в Стране Басков (Басконии) национальные движения настаивали на открытии одноязычных баскских школ и на праве басков не владеть испанским языком; аналогичные идеи высказывались и в Прибалтике в первые годы перестройки. Но в условиях единого государства такое требование невыгодно, прежде всего, самому меньшинству, недаром чуть ли не единственный случай

его реализации (но не снизу, а сверху) произошел в бангустанах ЮАР. Но всё становится на свое место, если понять, что за подобными лозунгами скрывается призыв к государственной независимости (которую удалось обрести странам Прибалтики, но не Басконии).

Соотношение одноязычия и многоязычия меняется при превращении некоторого языка из языка меньшинства в язык большинства. Чаще всего это происходит после изменения государственных границ. В XIX в. многим, например, казалось, что славянские языки Австрийской (позже Австро-Венгерской) империи обречены на исчезновение, поскольку в то время городское население говорило (независимо от национальности) по-немецки, преобладало уже немецкое одноязычие, а славянские языки считались «деревенскими»; так предполагал даже Ф. Энгельс [Маркс, Энгельс 1957: 83–84]. Однако рост национальных движений привел к совершенно иным результатам. Языки бывших союзных республик СССР, разумеется, не были «деревенскими» и не считались исчезающими, но вряд ли кто (в том числе и зарубежные наблюдатели) мог предугадать распад страны.

Если меньшинство становится большинством во вновь образованном государстве, то функции его языка резко расширяются, а контакты его носителей с носителями прежнего государственного языка сужаются. А прежде господствовавший этнос после изменения границ превращается в меньшинство, что порождает новые конфликты. В XX в. такой процесс наблюдался неоднократно, особенно всем памятно формирование новых государств в Европе после Первой мировой войны и распад СССР в 1991 г.

Такое резкое изменение языковой ситуации может проходить по-разному. Один параметр — численность бывшего большинства, ставшего меньшинством. Например, в Финляндии, где и до 1917 г. процент владевших русским языком финнов был невелик, господствующий этнос предпочел забыть этот язык, а число русских было слишком незначительно, чтобы как-то влиять на языковую ситуацию. Но уже в Чехии в связи с так называемыми судетскими немцами, не пожелавшими стать чехами немецкого происхождения, возникли проблемы, мирное решение которых оказалось невозможным. Еще один важный фактор — отношение к прежде господствовавшему языку этноса, ставшего преобладающим. Чехи отказались от немецкого языка, но ирландцы не отказались от английского. Сейчас ситуация с русским языком в постсоветских государствах весьма неодинакова, при этом отношение к этому языку так называемой титульной нации более значимо, чем позиции русскоязычной диаспоры.

Переход от одноязычия к вынужденному двуязычию — очень болезненный процесс, особенно если люди, не покидавшие место проживания, вынуждены использовать язык, ранее не обладавший для них престижем. Выходов из этой ситуации может быть четыре. Можно перейти на другой язык, сохраняя материнский язык в семье и в пределах землячества. Можно отказаться от социальной активности и замкнуться в национальной общине. Можно уехать туда, где все говорят на привычном языке. Наконец, можно бороться за новое изменение государственных границ

или хотя бы за равноправие своего языка. Последний из выходов может оказаться недостижимым, а каждый из остальных связан с теми или иными жертвами.

Споры о пользе или вреде одноязычия или многоязычия обычно бывают обусловлены причинами, далекими от науки. Однако встречаются и более интересные точки зрения. Вот что писал в пользу многоязычия, например, М. М. Бахтин в известной книге о Ф. Рабле: «Где *творящее сознание* живет в одном и единственном языке или где языки, если оно — это сознание — причастно многим языкам, строго разграничены и не борются в нем между собою за господство (ситуация диглоссии. — В. А.), — там невозможно преодоление этого глубинного, в самом языковом мышлении заложенного догматизма» [Бахтин 2010: 504]. И далее: «...преодоление самого упорного и скрытого (языкового. — В. А.) догматизма возможно было только в условиях тех острых процессов взаимоориентации и взаимоосвещения языков, которые совершались в эпоху Рабле» [Там же: 506].

Сейчас наметился еще один вид двуязычия: для многих людей, обладающих в качестве родного языка не английским, а каким-нибудь иным языком, знание английского языка начинает превращаться из добровольного в вынужденное. Например, в ряде европейских стран высшее образование в той или иной степени переводится с государственного языка на английский. Речь пока не идет об одноязычии на английском языке, но в ряде культурных (в широком смысле) сфер от рок-музыки до ряда областей науки всё более стремятся использовать только английский язык. И не просто перекодировать на этот язык мысли, уже сформулированные на родном языке, но руководствоваться англоязычным «языковым мышлением». Тут речь идет уже не столько о «взаимоориентации и взаимоосвещении» языков, сколько об унификации мышления на основе англоязычной картины мира. Английский язык престижен, но его господство может вызывать социальное и этническое недовольство, к тому же его не всем легко освоить.

Современная наука не может доказать преимущества одноязычия над многоязычием (как и обратного). Хорошо известно, что мировые высоты и в науке, и в литературе достигались и при одноязычии, и при диглоссии, и при многоязычии разных типов. То и другое может быть естественным состоянием в зависимости от национально-языковой ситуации. Соотношение их обычно неустойчиво и может быть связано с конфликтами.

— ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ —

О ПОНЯТИИ СЛОВА В ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ

Хорошо известно, что в европейской традиции, восходящей к античным грамматикам, центральной единицей всегда было слово. Сущность традиционного европейского подхода в выделении единиц языка хорошо охарактеризована А. И. Смирницким: «Не случайно человеческий язык нередко называют языком слов... Слово должно быть признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, как слово... Морфемы выделяются лишь в результате анализа уже самого слова, словосочетания же, как правило... уже выходят за пределы словарного состава языка» [Смирницкий 1955: 11].

Во многих лингвистических работах слово рассматривается как неопределяемое понятие (см., например, [Пешковский 1956: 7, 27]). Лишь с начала XX в. стали предприниматься попытки определить, что такое слово. Эти определения достаточно многочисленны (см. обзоры определений слова у И. Е. Аничкова [Морфологическая 1963: 148–150] и К. Тогебю [Togebu 1949]). Однако, как верно указывает Д. Н. Шмелев, «самая возможность появления приемлемой для большинства лингвистов дефиниции слова представляется, по крайней мере сейчас, довольно сомнительной... Уже предложено бесчисленное количество определений слова, которые существенно отличаются друг от друга и редко использовались кем-нибудь, кроме (да и то не всегда) самих их авторов» [Шмелев 1973: 35]. Заметим, что при этом для европейских языков при разных теоретических подходах слова в основном выделяются однозначно, споры ведутся в связи с периферийными явлениями (ср., однако, вопрос о статусе безударных местоимений во французском языке).

Иное дело — членение на слова в языках, по строю отличных от европейских. Здесь слово не может рассматриваться как интуитивно очевидное понятие, и членение на слова зависит от теоретической позиции автора (не всегда эксплицируемой). Результаты оказываются явно неоднозначными. Например, для японского языка Е. Д. Поливанов определял слово как синтаксически и акцентуационно самостоятельную единицу [Плетнер, Поливанов 1930: 144–147], а И. Ф. Вардудль — как последовательность, компоненты которой не могут переставляться и которая

не может прерываться последовательностью, которая может рассматриваться как отдельное слово [Вардуль 1964: 33–36]. В связи с этим так называемые га-нио — именные агглютинативные показатели с синтаксическим значением — Е. Д. Поливанов считал аффиксами, а И. Ф. Вардуль — служебными словами. Неясность традиционного понятия слова ведет к неясности его применения к не-европейским языкам.

Существующие определения слова можно разделить на три группы. Наиболее традиционные, так называемые комплексные, определения стремятся сохранить центральное положение слова и выделяют различные его аспекты: семантическую самостоятельность, синтаксическую самостоятельность, единство ударения и т. д. Однако эти признаки дают различные результаты даже для европейских языков. Поэтому такого рода определения оказываются противоречивыми и не дают возможности однозначно разделить текст на слова. Показательно, что А. И. Смирницкий, выделяя два основных признака слова — цельнооформленность и идиоматичность, показал их несовпадение друг с другом, в результате чего в конечном итоге пришел к признанию решающим одного признака — цельнооформленности [Смирницкий 1952: 201–202].

Другие определения слова связаны с его выделением на основе одного признака или двух-трех признаков, не противоречащих друг другу, ср., например, известное определение слова как минимальной свободной формы у Л. Блумфилда [Блумфилд 1968: 187] или определение слова у Е. Д. Поливанова в ранней работе как последовательности, объединяемой единой мелодией (см. [Поливанов 1917б: 64]; позднее Поливанов усложнил точку зрения, см. выше). Такие определения непротиворечивы и могут давать четкий результат. Однако, во-первых, этот результат часто расходится с традиционными представлениями о слове (например, по многим определениям служебные слова не являются словами), во-вторых, различные существующие определения такого рода очень разноплановы, слово определяется на основе разных признаков (фонетических, морфологических, синтаксических и т. д.), членение на слова во многих случаях на основе разных определений различно.

Такой результат наводит на мысль, что все подобные определения отражают некоторую языковую реальность, но разные определения отражают разную реальность и выделяют разные единицы языка, неоправданно именуемые одним и тем же названием. В этой связи большой интерес представляют определения третьей группы, которые исходят из многозначности традиционного термина «слово» и выделяют не одну, а несколько соотносимых между собой, но различных единиц. Одним из первых такую точку зрения сформулировал Ш. Балли (см. [Балли 1955: 315–317]), большой интерес представляют идеи С. Е. Яхонтова (см. [Яхонтов 1963: 165–173]). Нашу точку зрения на эту проблему см. [Алпатов 1979: 9–25].

Однако при таком подходе слово как главная единица языка исчезает и дробится на множество единиц. Со словом в традиционном смысле из этих единиц в наибольшей степени совпадает словоформа. Знаменательные словоформы —

последовательности, состоящие из одной или нескольких лексических морфем вместе с наиболее тесно спаянными с ними грамматическими (так называемыми аффиксами), другой класс словоформ представляют собой служебные слова — «как бы оторвавшиеся от основ аффиксы, свободно передвигающиеся по поверхности языка» [Пешковский 1956: 40]. Однако доказать центральное положение словоформы по сравнению с синтаксическими или лексическими словами, которые довольно часто не совпадают со словами в традиционном смысле (ср. рус. *в доме* — одно синтаксическое и одно лексическое слово, но две словоформы), вряд ли возможно. К тому же именно понятие словоформы наиболее трудно применимо к языкам, отличным от европейских, поскольку в европейских языках преобладают полярные классы грамматических элементов — флексии и служебные слова, а в других языках распространены единицы с промежуточными свойствами (так называемые агглютинативные аффиксы, послелого и т. д.), статус которых неясен. Как писал П. С. Кузнецов, различие падежных аффиксов и послелогов в агглютинативных языках «часто является условным и зависит во многом от грамматической традиции, существующей в изучении данного языка» [Кузнецов 1961: 39].

Таким образом, традиционное понятие слова вряд ли может быть определено чисто лингвистически; собственно лингвистическими методами нельзя доказать и центральное место слова среди других единиц языка. Во многом поэтому в лингвистике последних десятилетий существуют различные концепции, в которых понятие слова не является центральным, а иногда отсутствует вообще; анализ таких концепций мы производим в статье «О двух подходах к выделению единиц языка» (см. в настоящем сборнике). Большинство определений слова второго типа и все определения третьего типа (см. выше) связаны именно с таким подходом. Однако традиционные представления о слове имеют серьезные основания, но не чисто лингвистические, а психолингвистические. На важное значение слова указывают исследования афазий. Ср. интерпретацию афазии «телеграфный стиль», описанной А. Р. Лурия, проведенное А. Н. Головастиком [Головастик 1980], см. об этом также в статье «О двух подходах к выделению единиц языка». Еще одно подтверждение — опыты Д. Л. Спивака, исследовавшего искусственно вызываемую афазию во время инсулинотерапии. При этом имеется затруднительная при изучении речевых расстройств другого рода возможность контролировать процесс временного разрушения речевого механизма и описывать афазию на различных ее этапах. Оказывается, что при этом словоформы порождаются на всех этапах постепенного выхода из строя языкового механизма, в то же время членимость словоформ постепенно исчезает, уже на первых этапах больной не может преобразовать «глокую куздру» или фразы с редкой лексикой из настоящего времени в прошедшее (см. [Спивак 1980: 143–144]); на более поздних этапах словоформы превращаются в нечленимые последовательности, исчезает согласование и грамматические отношения начинают передаваться порядком слов (см. [Там же: 146]).

На основе исследований афазий можно предположить, что в мозгу говорящих хранятся некоторые единицы в готовом виде, они используются при порождении высказываний. Это не исключает возможности синтеза этих единиц при определенных условиях. Для носителей, например, русского языка такими единицами являются слова. Это и объясняет центральное место слова в европейской лингвистической традиции.

В связи с проблемами, поставленными выше, представляет интерес изучение других лингвистических традиций, полностью или частично независимых от европейских. Мы рассмотрим только одну из таких традиций — японскую, хотя большой интерес представляет и исследование других традиций, в частности китайской (изучение китайской традиции в этом плане проведено в интересном докладе вьетнамского ученого Нгуэн Куанг Хонга на II Международном симпозиуме востоковедов социалистических стран «Теоретические проблемы восточного языкознания» в ПНР в 1980 г.).

Определенные представления о языке отразились уже в древнейших японских памятниках VIII в., см. их анализ в [Nagayama 1963]. Однако о возникновении науки о языке в Японии можно говорить начиная с XVII–XVIII вв. Со второй половины XIX в. на японское языкознание начало влиять европейское, однако многие черты национальной традиции сохранились до сих пор. Подробнее о японской традиции см. нашу работу [Алпатов 1978], а также [Hattori 1967]¹.

Уже в древнейших памятниках появляется противопоставление знаменательных и служебных элементов языка, которые соответственно назывались *котоба* и *тэниоха*. Еще в VIII в., когда заимствованная из Китая письменность стала употребляться для записи японских текстов, лексические единицы записывались подходящими по значению иероглифами, а грамматические единицы записывали специальными значками или иероглифами, употреблявшимися фонетически [Nagayama 1963: 72–124]. Позднее было выработано общее для *котоба* и *тэниоха* понятие *го*; в XVIII — начале XIX в. было выработано учение о *го*, в частности классификация частей речи, см. об этом специальную работу [Фомин 1959]. До знакомства с европейской наукой *го*, а также слог (*он*) были единственными четко выделявшимися единицами языка. Все другие единицы, включая звук (фонему) и предложение, появились в японской науке под европейским влиянием.

Представление о *го*, выработанное до XIX в., в целом при некоторых уточнениях сохранилось в японской науке и поныне. Границы *го* и сейчас проводятся так же, как проводили их грамматисты XVIII в., споры идут лишь в отношении отдельных явлений, например о характере показателя пассива или сочетания прилагательного со связкой. Система частей речи в основе также остается традиционной, европейское влияние сделало ее лишь более детальной.

¹ Нельзя отождествлять японскую традицию и японское языкознание в целом. Среди современных японских ученых есть и такие, которые работают исключительно в русле европейской или американской лингвистики, хотя могут пользоваться теми же терминами, в частности *го*.

Таким образом, и в японской традиции существует центральная единица, считающаяся ясной по своей природе и до XX в. не определявшаяся. Эту единицу довольно естественно сопоставить со словом, что и делается во многих работах (см. [Tokieda 1954: 64; Watanabe 1958: 96; Soranishi 1971: 10]). Однако можно встретить и другую точку зрения. Так, Н. И. Фельдман в предисловии к русскому изданию выполненной в рамках японской традиции грамматики Киэда Масуити писала: «Традиционного представления о слове в японской грамматической науке нет» [Фельдман 1958: 27] (при этом в данном издании Киэда *го* переводится как 'слово'). А. А. Холодович писал: «Японское традиционное языкознание никогда не знало двухтактного разбиения предложения: сперва на значимые слова, а затем на значимые морфемы. Оно членило предложение одним-единственным способом, сегментируя его на значимые части одного-единственного уровня. С точки зрения современного европейского языкознания эти значимые части предложения... являются морфемами» [Холодович 1979: 13]².

Чтобы разобраться в таком различии точек зрения, надо рассмотреть подход к выделению единиц языка у японских лингвистов. Мы обратимся к концепции видного японского языковеда Хасимото Синкити (1882–1945). Это удобно, потому, что, во-первых, идеи Хасимото широко известны в Японии, в частности они повлияли на преподавание языка, во-вторых, Хасимото исходил из традиционного членения на *го*, в-третьих, он в отличие от многих японских ученых эксплицитно ставил и решал проблему определения *го* и критериев его выделения.

Хасимото разделял предложение на минимальные синтаксические единицы — *бунсэцу*. Эти единицы определяются одновременно по акцентуационным (паузы на границах) и синтаксическим (возможность быть потенциальным минимумом предложения) критериям [Hashimoto 1934: 5–9]. Можно видеть, что именно *бунсэцу* соответствует некоторым единицам, традиционно объединяемым в понятие слова (синтаксическому слову, фонетическому слову). *Бунсэцу* членятся на *го*; *го* делятся на самостоятельные, способные сами по себе образовать *бунсэцу*, и несамостоятельные; это разделение соответствует также и делению на знаменательные и служебные единицы [Ibid.: 10–13]. Далее *го* членятся на составные значимые части: корни — *гокон* и аффиксы — *сэцудзи* [Ibid.: 13–17]. Как будто бы соответствие *го* и слова здесь существует.

Но далее встает вопрос о соотношении между аффиксами и несамостоятельными *го*. «Те и другие присоединяются к способным быть самостоятельными *го* и образуют единицы, способные к самостоятельному функционированию; тем самым они имеют совершенно одинаковые свойства, однако почему мы считаем, что единицы, образованные в первом случае, являются *бунсэцу*, а единицы, образованные во втором случае, — *го*?» [Ibid.: 18].

² Положение об однотактном разбиении верно для раннего этапа японской традиции, но ученые XX в., в частности Хасимото (см. ниже) и упоминаемый А. А. Холодовичем Киэда, выделяли не только *го*, но и *бунсэцу*, а также части *го*, именно последние равны морфемам,

Рассматриваются разные признаки аффиксов и служебных *го*. В частности, показывается их сходство по многим основаниям, например то, что и те и другие могут присоединяться к целым *го*.

Коренное их различие, по Хасимото, в другом. «Хотя аффиксы присоединяются не к отдельным *го*, а к достаточно большому их количеству, их присоединение ограничено узусом, они не могут присоединяться к любому *го*. Однако *го* второго типа (служебные. — В. А.), как правило, присоединяются ко многим *го*. Хотя они не присоединяются абсолютно ко всем *го*, но, как правило, присоединяются ко всем *го* определенного класса (например, ко всем именам или ко всем глаголам). Это присоединение свободно и регулярно... Если так, то среди лишенных самостоятельности единиц, присоединяемых к *го* и придающих им добавочное значение, следует выделять свободно и регулярно присоединяющиеся ко многим *го* единицы (*го* второго типа) и присоединяемые только к ограниченному числу определенных узусом *го* аффиксы» [Hashimoto 1934: 20]³.

Сравним данные критерии с критериями, применяемыми в европейской лингвистике для разграничения аффиксов и служебных слов. Для последнего перво-степенное значение имеет критерий, который Хасимото не использует для разграничения аффиксов (частей *го*) и служебных *го*: считается, что служебные слова присоединяются к целому слову, а аффиксы — не ко всему слову, а к определенной его части — корню или основе⁴. Главный же критерий Хасимото, связанный с регулярностью, не используется для разграничения аффиксов и служебных слов. Зато с его помощью разграничивают два класса аффиксов: словообразовательные и словоизменяемые, и отделяют формы одного слова и разные слова (см., в частности, [Зализняк 1967: 25–26]), а не слова и сочетания слов.

Теперь сравним границы классов у Хасимото и других японских лингвистов, с одной стороны, и у европейских японистов — с другой. Мы говорили, что аффиксы и служебные слова в европейской японистике разграничиваются по-разному. Однако существуют и определенные совпадения. Оказывается, что в японской науке не только все единицы, о которых идут споры, но и большинство единиц, считающихся единодушно аффиксами⁵, признаются несамостоятельными *го*. В частности, Хасимото в виде примеров несамостоятельных *го* приводит наряду

³ Данные отрывки из работы Хасимото включены в [Языкознание 1983].

⁴ Исключение составляют некоторые аффиксы, в частности так называемые постфиксы вроде русского *-ся*, которые трактуются как присоединяемые ко всему слову. Однако сама отнесенность постфиксов к аффиксам спорна.

⁵ Исключение составляет небольшое число аффиксов, в частности показатель настоящего будущего времени индикатива, имеющий вид *-ри* после основ на гласный и *-и* после основ на согласный: *mi-ru* ‘вижу, видишь, видит...’, *tor-u* ‘беру, берешь, берет...’. Они вообще не рассматриваются как сегментные единицы, и говорится о чередованиях *mi-ru / mi-re / mi*, *to-ru / to-re / to-ri* и т. д. (см. [Hashimoto 1934: 22–25]). Причина здесь в том, что японская традиция исконно не членила слог, поэтому *tor-* или *-и* вообще не могли вычленяться, а из соображений системности чередования выделялись и там, где аффикс составляет отдельный слог: *mi-ru*.

с упомянутыми выше ганио глагольные аффиксы *-nai*, *-masu*, *-yoo* со значением соответственно отрицания, вежливости к собеседнику, совместного побуждения к действию, аффикс прошедшего времени *-ta* (см. [Hashimoto 1934: 18 и др.]). В число же аффиксов — *сэцудзи* попадают явно словообразовательные элементы типа префикса почтительности *mi-*, встречающегося лишь в отдельных лексемах, или нерегулярных вербализаторов типа *-teku* в *haruteku* ‘походить на весну’, *-meru* в *akameru* ‘делать красным’, а также *-domo* в *kodomo* ‘ребенок’, где *ko* имеет то же самое значение (см. [Ibid.: 15])⁶.

Мы уже говорили, что взгляды Хасимото — не столько его личное мнение, сколько экспликация и уточнение традиционной японской точки зрения. Можно видеть, что понятие несамостоятельного *го* покрывает понятия аффикса словоизменения и служебного слова; понятие знаменательного *го* не соответствует ни слову, ни морфеме, но сходно с тем, что обычно называется основой слова (если отвлечься от различий, о которых сказано в сноске 5). Аналога словоформы в японской традиции нет. В этом смысле можно согласиться с точкой зрения Н. И. Фельдман. Отметим, что знаменательные части речи выделяются в японской традиции без существенных отличий от европейской (основы слов можно делить на те же классы, что и словоформы), но служебные части речи несопоставимы с европейскими.

Итак, основная единица японской традиционной лингвистики, *го*, по своим лингвистическим свойствам отлична от словоформы, представления о которой в традиционной японской лингвистике нет. Описания, ориентированные на слово как основную единицу и на *го* как основную единицу, несоизмеримы друг с другом. В то же время нельзя считать, что слово и *го* не имеют никаких соответствий между собой. Есть все основания полагать, что для носителей японского языка именно *го*, а не, как правило, неизвестная им словоформа является центральной психолингвистической единицей. Так же как для построения психологически адекватных моделей русского или другого флективного языка нельзя обойтись без выделения слов, так и для построения психологически адекватных моделей японского языка нельзя обойтись без выделения *го*.

Все сказанное выше не означает, что мы отрицаем универсальность психолингвистического механизма мозга. Безусловно, он един по своей природе. Одна из его универсалий, по-видимому, — наличие каких-то единиц, хранящихся в мозгу в виде целых блоков. Вряд ли они могут быть равны, например, предложениям: тогда их количество было бы слишком большим. Но вряд ли они могут быть равны, например, фонемам: тогда процесс порождения высказываний был бы слишком сложным. Оптимум, по-видимому, может достигаться по-разному в зависимости от особенностей строя языка. Нам не представляется удивительным, если в разных языках такие единицы не вполне одинаковы. Нет никаких доказательств

⁶ При изложении взглядов Хасимото сохраняется его морфемное членение, хотя мы в ряде случаев провели бы его по-другому.

в пользу обратного, а данное предположение может быть аргументировано анализом разных лингвистических традиций, а возможно, и исследованием афазий у носителей языков разного строя (эта задача, насколько нам известно, никем еще не ставилась).

Не следует, конечно, считать, что в мозгу носителей языка хранятся только слова, могут храниться и более протяженные единицы (фразеологизмы, клише), а также компоненты сложных слов и т. д. Заметим, что японская лексикографическая традиция не так пуристична, как европейская: отдельными словарными статьями помещаются, как правило, *го*, но также и их четко выделяемые компоненты, фразеологизмы, пословицы и т. д. В лингвистике часто говорят о противопоставлении производимых и воспроизводимых единиц; здесь, в сущности, и идет речь об этом. Важно только иметь в виду, что разграничение таких единиц лишь косвенно связано с их собственно лингвистическими свойствами. Но норма для психолингвистического механизма — слово.

Сопоставление различных лингвистических традиций, как нам кажется, дает основание для следующих выводов: 1) определение слова как единицы языка невозможно, это не лингвистическая, а психолингвистическая единица, слова могут быть неоднородны по своим лингвистическим свойствам; 2) тем не менее слово как психолингвистическая единица имеет тенденцию совпадать с рядом единиц языковой системы, причем с разными единицами в разной степени; 3) степень совпадения слова с единицами языковой системы может быть различна в языках разного строя, эти различия проявляются в национальных лингвистических традициях; 4) для построения психологически адекватных моделей языка необходимо учитывать, с какой из единиц языка в наибольшей степени совпадает слово в данном языке; 5) тем самым психологически адекватные модели могут оказаться несопоставимыми; для целей типологии необходимы другие модели, не рассматривающие единицу, совпадающую со словом, как центральную; 6) модели, исходящие из словоформы как центральной единицы языковой системы, эффективны лишь для некоторых языков; более универсальны модели, ориентированные на другие единицы языка: морфему, синтаксему (минимальную единицу синтаксиса, ср. *бунсэцу*).

«ГРАММАТИКА ПОР-РОЯЛЯ» И СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА (к выходу в свет русских изданий)

В 1660 г. в Париже появилось первое издание «Общей и рациональной грамматики» Антуана Арно и Клода Лансло, известной в истории науки под названием «Грамматика Пор-Рояля». Это последнее название, однако, не принадлежит ее авторам, но оно настолько срослось с рассматриваемым трудом, что одно из русских изданий просто озаглавлено таким образом, а другое имеет гибридное наименование «Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля» [Грамматика 1990; Грамматика 1991]. Грамматика не раз переиздавалась в оригинале, переведена на многие языки, включая японский. Но лишь сейчас она впервые издана по-русски, причем почти одновременно, в конце 1990 г. и в начале 1991 г., появились сразу два ее издания, соответственно в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Московское издание включает в себя перевод и комментарии Н. Ю. Бокадоровой, уже ряд лет активно изучающей французскую лингвистику XVII–XVIII вв., и вступительную статью акад. Ю. С. Степанова. Ленинградское издание осуществлялось под руководством Ю. С. Маслова, к сожалению не дожившего до выхода книги в свет; ему принадлежат перевод (совместно с Е. Д. Панфиловым и М. В. Гординой) и вступительная статья. Переводы выполнялись независимо друг от друга, и в их основу положены разные издания Грамматики (второе в Москве, третье в Ленинграде), имеющие некоторые, но не очень большие различия. Вступительные статьи и комментарии написаны с большим знанием предмета исследования, но имеют несколько разную направленность: в московском издании, особенно во вступительной статье, внимание акцентируется на общекультурологических и филологических аспектах, а ленинградское издание сосредоточено на чисто лингвистической проблематике. В ленинградском издании обширнее комментарии, зато московское издание содержит ценные добавления к тексту Грамматики: отрывки из замечаний к ней Ш. П. Дюкло (XVIII в.) и очерк Н. Ю. Бокадоровой «Традиция издания и комментирования “Грамматики Пор-Рояля” во Франции».

Оба издания выполнены на высоком научном уровне. Однако у читателя-лингвиста, на которого в первую очередь рассчитаны издания, встает закономерный вопрос: имеет ли книга, появившаяся за 12 лет до рождения Петра I, лишь чисто исторический интерес или же проблемы, волновавшие ее авторов, продолжают быть актуальными?

«Граматику Пор-Рояля» один из ее комментаторов справедливо назвал «старой грамматикой, долго имевшей плохую репутацию среди лингвистов, но недавно восстановившей престиж, который она имела в свое время» [Lakoff 1969: 343]. Действительно, эту книгу долго упоминали лишь как образец грамматик, составленных по латинскому эталону. Так писали о ней и крупные лингвисты — О. Есперсен, Л. Блумфилд, Ч. Хоккетт. Как отмечает Р. Лакофф [Ibid.: 343–344], эти лингвисты, скорее всего, и не читали Граматику и судили о ней из вторых рук. Но и несомненно знакомые с ней специалисты оценивали ее не выше. Типично мнение М. А. Бородиной, которая до появления рассматриваемых нами переводов и комментариев была, насколько нам известно, единственным советским лингвистом, специально изучавшим «Граматику Пор-Рояля». «Грамматика Пор-Рояля» в целом оказывается «довольно примитивной», а ее значение в наше время — «лишь историческое» [Borodina 1959: 4].

Репутация книги резко изменилась в 60-е гг. Важнейшую роль в этом сыграли книги Н. Хомского [Chomsky 1966; 1968], одна из которых имеется и в русском переводе [Хомский 1972б]. Н. Хомский очень высоко оценил Граматику, а свою собственную, уже всемирно знаменитую трансформационную концепцию объявил современной, более эксплицитной версией теории Пор-Рояля [Chomsky 1966: 39]. Н. Хомскому ответили специалисты по истории европейской лингвистики [Lakoff 1969; Aarsleff 1970; Breckle 1969]. Они указывали, что Хомский недостаточно знаком с лингвистической традицией; кроме того, они уточнили место «Граматики Пор-Рояля» среди ее предшественников и последователей, но, как заметил В. А. Звегинцев [Звегинцев 1972: 5], почти не коснулись главного для основателя генеративизма — актуальности идей XVII в. для современной науки.

«Грамматика Пор-Рояля», ранее бывшая библиографической редкостью (Н. Хомский не смог найти в американских библиотеках ее английский перевод), с 1966 по 1969 г. была издана, включая репринты, пять раз [Mathiesen 1970]. Интересно, что часть этих изданий готовилась еще до появления книг Н. Хомского, а о сходстве «Граматики Пор-Рояля» с трансформационной лингвистикой, видимо, независимо от него писал и Р. Х. Робинс [Robins 1968: 125]. Тем не менее именно после Н. Хомского исторически не вполне точный термин «картезианская грамматика» прочно вошел в научный обиход. К сожалению, в содержательном очерке Ю. С. Степанова, где исследуются и влияние идей Пор-Рояля на творчество Ж. Расина, и сходство идей авторов «Граматики Пор-Рояля» с концепцией языка П. А. Флоренского, обойдены споры вокруг этой Граматики в лингвистике 60–70-х гг. При этом имя Н. Хомского упомянуто лишь один раз (на с. 36) по частному вопросу со ссылкой не на него самого, а на его последователя. В очерке Ю. С. Маслова по указанному вопросу сказано больше, но тоже кратко. Ю. С. Степанов разбирает лишь одну из затронутых Н. Хомским идей: о влиянии теории Декарта на ход мыслей создателей «Граматики Пор-Рояля». Он считает это влияние очень значительным, следуя тем самым позиции Н. Хомского; точка зрения Ю. С. Маслова на этот счет скорее сходится со взглядами оппонентов

Н. Хомского (Х. Орслефф, Р. Лакофф). В связи с этим рассмотрим некоторые из дискутируемых проблем, исходя из текста «Грамматики Пор-Рояля» (ссылки и цитаты будут даваться по московскому изданию).

Одним из традиционных обвинений по адресу этой Грамматики было отнесение ее к так называемым предписывающим, нормативным сочинениям; в науке XIX и первой половины XX в., когда теоретические и практические исследования строго разграничивались, последние считались принадлежащими как бы к «низшему сорту». В то же время Н. Хомский утверждает, что в «Грамматике Пор-Рояля» нет ничего предписывающего и она имеет только объяснительный характер [Chomsky 1966: 26]. Между тем истина, как это часто бывает, находится посередине. Безусловно, объяснительный характер книги не вызывает сомнений. Один из авторов Грамматики, К. Лансло, в предисловии к ней прямо пишет, что стимулом к ее написанию послужил «путь поиска разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них» (с. 69), и называет род подобных исследований «объяснительными» (с. 70). В большей части Грамматики такой подход последовательно выдерживается: объяснение языковых явлений преобладает и над их описанием (в Грамматике привлекается материал только тех языков, которые уже неоднократно описывались ранее), и над установлением норм. Однако это наблюдается не везде. Так, авторы Грамматики дают явно прескриптивные правила употребления французских местоимений 3-го л. ед. ч. *il*, *elle* в разных синтаксических позициях (с. 124–126). В заключение они пишут: «Для того чтобы хорошо говорить по-французски, мы должны всегда помнить описанное правило. Забвение его приводит к ошибкам в речи, если только, конечно, мы не имеем дела с оборотами, узаконенными обиходом, или же с оборотами, где отклонения от этого правила вызваны рядом причин. Господин де Вожла тем не менее этого правила вообще не рассматривал» (с. 126–127). Показателен также раздел «Два случая, когда вспомогательный глагол *avoir* употребляется вместо глагола *être*» (с. 196–201), где постоянны формулировки типа «следует говорить» и авторы спорят со своими предшественниками К.-Ф. де Вожла и Ф. де Малербом о том, какие обороты речи надо «рекомендовать к употреблению». Заметно, что чем более конкретными вопросами французского языка занимаются А. Арпо и К. Лансло, тем ощутимее предписывающий характер Грамматики.

Безусловно, каждая лингвистическая традиция вырастает из практических задач и на ранних этапах развивается в тесной связи с ними (подробнее см. [Алпатов 1990]). Лишь в рамках европейской традиции в эпоху схоластики стали разграничивать практические и теоретические («философские») грамматики. Традиция «философских» грамматик, не предписывающих и не описывающих, а объясняющих сущность уже известных фактов, продолжала быть живой и во времена «Грамматики Пор-Рояля», многие ее идеи восходят еще к средним векам, что явно недостаточно учтено Н. Хомским, упоминающим об этом лишь вскользь [Chomsky 1966: 97].

Однако ситуация изменилась в XVI–XVII вв., когда латинский язык, хорошо описанный еще в античности и требовавший лишь «философского» объяснения, перестал быть единственным объектом исследования. Перенос внимания на новые европейские языки, в том числе французский, был тесно связан с процессом их нормализации, что вновь сблизило языкознание с практикой. Поэтому перед языковедами XVII в. стояли задачи двоякого рода. Как указывает Н. Ю. Бокадорова, «перед авторами Пор-Рояля лежало необработанное поле, давшее лишь первые ростки нового стиля» (с. 253), т. е. нормы, особенно стилистические, были не до конца сформированы. Однако задачи установления норм во многом уже были решены предшественниками А. Арно и К. Лансло, прежде всего упоминавшимися выше Ф. де Малербом и К.-Ф. де Вожла. Поэтому авторы рассматриваемой Грамматики могли в большей мере, чем их предшественники, вернуться к рассмотрению объяснительной грамматики, занимаясь проблемами нормы лишь там, где позиция Вожла и др. их не удовлетворяла. Позднее, когда норма французского языка окончательно установилась, теоретические грамматики вновь отделились от практических, ставших чисто учебными.

Другой традиционный упрек «Грамматике Пор-Рояля» — в том, что она якобы описывала все языки по латинскому образцу [Есперсен 1958: 48]. Наоборот, Н. Хомский утверждает, будто в этой Грамматике «латынь рассматривалась как искусственный и испорченный язык» [Хомский 1972б: 26]. На деле же «Грамматика Пор-Рояля» отражает переходный этап от следования латинскому эталону к построению теории на основе сопоставления языков; это фактически отмечает Ю. С. Маслов (с. 5).

На ранних этапах развития любой лингвистической традиции ее объектом бывает один язык: язык культуры данного ареала. Для западноевропейского варианта европейской традиции в средние века таким языком был латинский. К своим родным языкам представители традиции того времени, конечно, не могли относиться так же, как античные грамматисты к «варварским» языкам, но они считались «низшими» по сравнению с латынью; недаром употреблявшийся в их отношении термин дал начало слову *вульгарный* в современном значении (Н. Ю. Бокадорова вполне обоснованно отказывается переводить *langues vulgaires* как «вульгарные языки» (с. 261), что не соответствовало бы оригиналу, где это слово не имеет отрицательных коннотаций, и предпочитает описательный перевод «новые языки»; показательно, что тот же перевод без специальной мотивировки выбрали и ленинградские переводчики). Средневековые «философские» грамматики опирались исключительно на материал латыни, зафиксированный, прежде всего, в обширной грамматике Присциана (VI в.).

Эпоха Возрождения привела к расширению языковой базы исследований. Впервые, были заново открыты забытые в Западной Европе в средневековый период два других культурных языка: древнегреческий и древнееврейский. Во-вторых, иначе начали осознаваться «вульгарные» языки, на которых стала создаваться великая литература. Все это привело к идее многообразия человеческих языков

и необходимости их сопоставления, что, как мы уже писали в [Алпатов 1990], было великим достижением европейской традиции, рубежом, который ни одна другая традиция не смогла самостоятельно преодолеть.

Во времена «Грамматики Пор-Рояля» этот рубеж уже был пройден, хотя и не полностью. В ней наряду с латынью постоянно рассматриваются древнегреческий, древнееврейский, родной для авторов французский, родственные ему испанский и итальянский языки. Изредка упоминаются еще «северные», т. е. германские, языки. Говорится и о «восточных» языках, для которых характерно совпадение основы глагола с формой 3-го л. (с. 158); по мнению Н. Ю. Бокадоровой, здесь помимо древнееврейского еще имеется в виду арамейский (с. 264), а по мнению ленинградских комментаторов, те же языки плюс арабский (с. 6). Особо ни один неиндоевропейский язык, кроме древнееврейского, нигде не упомянут. С современной точки зрения количество привлеченных языков и, главное, языковых типов здесь невелико. Н. Хомский считает, что авторы Грамматики проявляют «мало интереса к накоплению данных» [Хомский 1972б: 26]. Однако по сравнению с философскими обобщениями на базе одного языка использование материала нескольких языков в «Грамматике Пор-Рояля» было большим шагом вперед.

Все же полного равенства языков для А. Арно и К. Лансло не существовало: помимо игнорирования языков современных нехристианских народов (хотя миссионерские грамматики для некоторых из них уже существовали), и «северные языки», не восходившие к латыни, явно рассматривались как языки второго сорта. Они не входят в основную базу данных, исходя из которой производятся обобщения; в тех же случаях, когда об их свойствах упоминается, они рассматриваются как нарушающие законы логики. Показателен раздел о глаголе со значением «иметь» как вспомогательном. По мнению авторов, «его употребление трудно объяснить с рациональных позиций» (с. 189). Далее сказано, что обороты речи с этим глаголом, «свойственные всем новым языкам и, скорее всего, ведущие начало от германцев, являются достаточно необычными уже сами по себе» (с. 190). Таким образом, германские языки трактуются не только как недостаточно логичные, но и как источник нелогичности в романских языках.

Ориентация на латинский эталон во многих местах книги очень заметна, и трудно понять, почему этот язык рассматривается как «искусственный и испорченный» в интерпретации Н. Хомского. Иногда такой эталон выдвигается вполне осознанно, что особенно ярко проявилось в главе «О падежах и предлогах». Авторы Грамматики не могли не видеть, что латинская падежная система не имеет в других языках прямого соответствия: «Из всех языков только греческий и латынь имеют падежи имен в полном смысле этого слова» (с. 106). Однако далее говорится о латинской падежной системе и приводятся не только латинские, но и соответствующие им по значению примеры из других языков, прежде всего из французского. В частности, указывается, что во французском языке вокатив выражается опущением артикля, генитив — предлогом *de* и т. д. Что же касается древнегреческого языка, где падежная система отличалась от латинской отсутствием

аблатива, предлагается считать, что «аблатив есть и у греческих имен, хотя он всегда совпадает с дативом» (с. 114). Таким образом, получается, что во всех языках существует одна и та же латинская система падежей, хотя и выражается по-разному; реально эта система устанавливается на основе перевода на эталонный, в данном случае латинский, язык. Такой подход, возникший еще до появления «Грамматики Пор-Рояля», дожил до XX в. (хотя латинский эталон мог со временем заменяться эталоном другого языка, имеющего падежи, например русского). В этой связи интересна, например, китайская грамматика [Иванов, Поливанов 1930] в части, написанной А. И. Ивановым.

Нередко, однако, латинский эталон присутствует и имплицитно. Авторы Грамматики могли просто не осознавать, что описание, выработанное на латинском материале, не вполне подходит для другого языка. Они, например, пытаются строить, исходя из единства письменности, единую систему согласных для латыни и «новых» языков, отмечая, впрочем, особо некоторые звуки, отсутствующие в латыни, вроде *ш* (франц. *ch*, с. 76). Даже имеющие особое написание звуки за пределами этого канонического ряда либо выносятся за систему нормальных человеческих звуков как «трудные для произношения» (древнееврейский *айн*), либо не отделяются от звуков, известных из латинского языка, как «дубль ве» германских языков, признаваемое тем же звуком, что *в*. Французская система гласных и согласных кое в чем отличается от латинской, но многие специфические для французского языка элементы вроде носовых гласных еще не выделены. Как отмечено Н. Ю. Бокадоровой (с. 254), комментатор «Грамматики Пор-Рояля» XVIII в. Ш. П. Дюкло уже описывал французскую звуковую систему более адекватно.

Другой вопрос связан с прилагательными. Трактровка А. Арно и К. Лансло находилась на промежуточном этапе между античной и новой традициями. Согласно первой, существительные и прилагательные объединились в единую часть речи — имя. С XVIII в., однако, существительное и прилагательное различались как две разные части речи. Если в древнегреческом и латинском языках не ощущалось необходимости разграничивать эти слова ввиду морфологической общности (исключая лишь периферийную категорию степеней сравнения), то «новые» языки требовали такого разграничения. «Грамматика Пор-Рояля» содержит компромиссный подход: выделяется только одна часть речи (имя), но имена сразу же подразделяются на два подкласса (с. 93). Указывается на семантические различия этих подклассов, но предпринимается и попытка найти в их значении нечто общее. Поэтому говорится о существовании у слов «ясного» значения, разъединяющего существительные и прилагательные, и объединяющего их «смутного» значения, благодаря которому, например, *rouge* ‘красный’ также «означает “красноту”, неясно указывая на предмет, обладающий этим качеством» (с. 94–95). Безусловно, правомерно искать в этой трактовке глубокий философский смысл, как это делает Ю. С. Степанов (с. 32–34), но, может быть, «ясные» и «смутные» значения, более нигде не появляющиеся в книге, нужны ее авторам лишь для того, чтобы семантически оправдать догматическую идею, согласно которой различие существительных и прилагательных не

столь существенно, как различие имен, глаголов, причастий и наречий, и между значением двух подклассов имен должна быть глубинная связь. Поэтому отчасти права и М. А. Бородина, видевшая в объединении существительных и прилагательных один из признаков «примитивности» Грамматики.

Однако во многих случаях «Грамматика Пор-Рояля» уже представляет собой значительный отход от латинского эталона. Показателен, например, раздел об артикле: «В латыни совсем не было артиклей. Именно отсутствие артикля и заставило утверждать... что эта частица была бесполезной, хотя, думается, она была бы весьма полезной для того, чтобы сделать речь более ясной и избежать многочисленных двусмысленностей» (с. 115). Итак, наличие в «новых» языках черт, отсутствующих в латыни, может рассматриваться с точки зрения соответствия языка логике и как регресс (вспомогательные глаголы со значением «иметь»), и как прогресс (артикли). Эталоном в последнем случае явно служит французский язык: «Обиход не всегда согласуется с разумом. Поэтому в греческом языке артикль часто употребляется с именами собственными, даже с именами людей... У итальянцев же такое употребление стало обычным... И мы, французы, иногда подражаем подобному обиходу, но только в именах чисто итальянских... Мы не ставим никогда артикля перед именами собственными, обозначающими людей» (с. 119–120). Можно отметить и короткую главу о наречиях, где, исходя из того факта, что латинские наречия нередко соответствуют сочетаниям имени с предлогом в «новых» языках, делается вывод, что наречие вовсе не обязательно для языка (с. 146). Есть разделы (например, о междометиях), где приводятся примеры только из французского языка.

Итак, «Грамматика Пор-Рояля» далеко не соответствует латинскому эталону, как это утверждали О. Есперсен и др., хотя и не столь свободна от него, как это представляется Н. Хомскому. Отход от латинского эталона мог давать разные результаты. Одним из них иногда становился простой переход к иному эталону, в качестве которого обычно выступал родной язык исследователя. По этому пути пошли в XVIII–XIX вв. авторы большинства практических описаний «экзотических» языков. Поскольку наука XIX в. была исключительно исторической, данный тип описания был единственно возможным, и лишь возвращение к синхронной лингвистике на новой основе в начале XX в. ограничило использование такого подхода областью учебных грамматик. Показательна уже упоминавшаяся нами китайская грамматика [Иванов, Поливанов 1930], где под одной обложкой сосуществуют две эпохи развития науки.

Критикуя описания языков разного строя в категориях какого-то одного языка, будь то латинский, французский или английский, лингвисты XX в. (особенно первой его половины) нередко возлагали ответственность за становление такого типа описания на «Грамматику Пор-Рояля». Но даже отвлекаясь от того факта, что первые миссионерские грамматики появились примерно за столетие до издания этого труда, такое обвинение можно считать верным лишь отчасти. Конечно, как мы видели, авторы Грамматики постоянно обращаются то к латинскому, то

к французскому эталону. Это было неизбежно на тогдашнем уровне накопления фактов. Иногда в Грамматике даже не учитываются в достаточной мере известные авторам факты. Хотя неоднократно упоминаются явления древнееврейского языка, включая и явления типа изафета (с. 110), они почти нигде не заставляют авторов как-то изменять общий подход.

Тем не менее концепция «Грамматики Пор-Рояля» далеко не сводится к контаминации латинского и французского эталонов. Неоднократно в Грамматике говорится об общей логической основе языков, от которой конкретные языки отклоняются в той или иной степени. При этом к этой основе один и тот же язык может быть ближе в одном отношении и дальше в другом. Как мы видели, латинский и французский языки оценивались по разным параметрам неодинаково. Иногда более близкими к эталону могли считаться и другие языки, даже восточные: «То, что мы называем третьим лицом глагола, фактически является основой глагола... как это можно наблюдать во всех восточных языках» (с. 158); такой случай, кажется, единственный во всей книге. Однако если эталон для сравнения языков, их логическая основа не совпадает ни с одной конкретной языковой системой, то встает вопрос о том, что же такое эта основа и как она строится. В самой «Грамматике Пор-Рояля» этот вопрос нигде эксплицитно не ставится и ответа на него не дается. Ответить на него попытался (если не считать явно неадекватного ответа у О. Есперсена и др.) лишь Н. Хомский, посчитавший, что мы имеем здесь дело с явлением, которое он называл глубинной структурой [Chomsky 1966: 34; Хомский 1972б: 28].

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо кратко рассмотреть исторические предпосылки «Грамматики Пор-Рояля». Сама по себе идея о «глубинных», логических основаниях, стоящих за явлениями языка, была для того времени далеко не новой и восходила к средневековым схоластам, прежде всего к школе модистов (XIII–XIV вв.) [Robins 1951: 78–92; 1968: 74–89]. Не удовлетворяясь чисто описательным подходом к языку, модисты пришли к выводу, что каждое языковое явление должно иметь философское (логическое) обоснование, что структура языка отражает структуру мысли. Тем самым именно они впервые разграничили, выражаясь современным языком, поверхностные и глубинные структуры, а авторы «Грамматики Пор-Рояля» лишь следовали многовековой традиции. Однако поскольку модисты интересовались только одним латинским языком, постулируемое ими соотношение между поверхностными и глубинными структурами оказывалось взаимно однозначным. Надо учитывать и то, что сама логика Аристотеля, на которую опирались модисты при установлении общих категорий, была отражением структуры древнегреческого языка, о чем справедливо писали Э. Бенвенист [Бенвенист 1974: 104–114] и Р. Х. Робинс [Robins 1968: 87], а древнегреческий и латинский языки типологически очень близки. Поэтому в большинстве случаев (исключая синтаксис, в развитие которого модисты внесли большой вклад) авторы «философских» грамматик ограничивались комментированием грамматики Присциана и приписыванием каждому зафиксированному там явлению

«глубинного» объяснения. Как указывает Р. Х. Робинс, в чем-то их подход даже был шагом назад по сравнению с античностью, поскольку они старались «философски», а на деле семантически объяснить любое формальное явление, например род существительных [Robins 1951: 84]. При этом именно модисты выдвинули впервые в мировой науке важнейший тезис о принципиальном единстве языков мира [Robins 1968: 76–77]. Каждый из модистов помимо латыни знал и свой родной язык и имплицитно учитывал это знание, осознавая сходство этого языка с латинским и рассматривая культурно обработанный и детально описанный латинский язык как язык, адекватно отражающий структуру мысли.

Традиция, идущая от модистов, не прерывалась вплоть до написания «Грамматики Пор-Рояля», но подверглась значительной модификации. Н. Хомский считал, что эта Грамматика принципиально отличается от своих предшественниц тем, что появилась после «картезианской революции» [Хомский 1972б: 30]. Однако его оппоненты вполне убедительно показали, что многое из того, что Н. Хомский считает «картезианством», существовало у грамматистов, работавших до Декарта, особенно у Ф. Санчеса, грамматика которого была опубликована еще в 1587 г. [Lakoff 1969: 356–363; Aarsleff 1970: 573]. Как указывает Р. Лакофф [Lakoff 1969: 347], роль Декарта в формировании идей «Грамматики Пор-Рояля» заключалась прежде всего во влиянии на идейный климат эпохи (ср., впрочем, приводимые в предисловии Ю. С. Степанова (с. 19–20) данные о развитии идей Декарта в других работах А. Арно). Но, безусловно, первостепенное значение для авторов «Грамматики Пор-Рояля», как и для их ближайших предшественников, имело осознание того, что латинский язык вовсе не является единственным языком культуры. Старая идея о существовании общей логической основы всех языков не только сохранилась, но и укрепилась благодаря ознакомлению с большим числом языков; однако представление о том, что такая основа является латинской, стало преодолеваться, хотя, как мы видели, далеко не полностью. Поэтому, как указывает Р. Х. Робинс [Robins 1968: 123], авторы «Грамматики Пор-Рояля» уже не стремились найти обоснование каждой детали в грамматике Присциана. Место, занимавшееся ранее латинским языком, не занял в полной мере и французский. Эталон оказался отделенным от конкретных языковых систем, что, безусловно, сближает «Грамматику Пор-Рояля» с хомскианством.

Сама по себе идея о единой логической основе для языков во времена «Грамматики Пор-Рояля» была столь обычной, что не требовала особых доказательств. Например, в Грамматике говорится о возможности «изменять естественный порядок слов» (с. 209) без доказательств существования такого порядка и даже без его описания. Поэтому и Н. Хомскому, и поддерживающим или критикующим его ученым приходится судить о представлениях авторов Грамматики по косвенным данным, причем наиболее показательными оказываются периферийные с точки зрения самих А. Арно и К. Лансло разделы: об относительных местоимениях, наречиях, о фигурах конструкций, в частности об эллипсисе, и т. д. Ни один современный комментатор «Грамматики Пор-Рояля» не прошел мимо

анализа фразы *Dieu invisible a créé le monde visible* ‘Невидимый Бог создал видимый мир’, приводимой авторами Грамматики для объяснения свойств относительных местоимений. В связи с этим они указывают, что придаточное предложение, куда входит относительное местоимение, может составлять часть субъекта или атрибута главного предложения, а это заставляет их перейти к анализу соотношения предложения с суждением. Разбирая в связи с этим приведенную выше фразу, А. Арно и К. Лансло пишут: «В моем сознании проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) *что Бог невидим*; 2) *что он создал мир*; 3) *что мир видим*. Из этих трех предложений второе является основным и главным, в то время как первое и третье являются придаточными... входящими в главное как его составные части; при этом первое предложение составляет часть субъекта, а последнее — часть атрибута этого предложения. Итак, подобные придаточные предложения часто присутствуют лишь в нашем сознании, но не выражены словами, как в предложенном примере. Но часто мы выражаем эти предложения в речи. Для этого и используется относительное местоимение» (с. 130).

Такое высказывание действительно кажется очень современным, если отвлечься от архаических для нашей эпохи терминов вроде «суждение». Авторы «Граматики Пор-Рояля» здесь четко различают поверхностную и глубинную или, в других терминах, формальную и семантическую структуры. Отталкиваясь от объяснения поверхностных явлений французского языка (в данном разделе Грамматики речь идет только об одном этом языке), они переходят к описанию их семантики, не имеющей прямых формальных соответствий. Еще в XVII в. они пришли к тем же выводам, что в современные лингвисты, указывающие, что в предложении *Невидимый Бог создал видимый мир* содержатся три предиката со своими актантами.

В некоторых других местах книги говорится о синонимии языковых выражений, из которых одно признается более соответствующим логике (хотя остается неизвестным, идет ли речь о полном соответствии), а другое может употребляться вместо него ради «желания людей сократить речь» (наречия вместо сочетания имени с предлогом, с. 146) или для изящества речи (добавление излишних по смыслу слов, с. 209). Добавление слов (плеоназм) вместе с эллипсисом и изменением «естественного порядка слов» рассматривается в числе «фигур конструкций», о которых говорится: «По отношению к грамматике они, безусловно, представляют собой ее нарушения, но в отношении языка они выступают его украшением, а подчас открывают нам его совершенство» (с. 209–210). При этом и в отношении наречий, и в отношении «фигур конструкций» за исходную принимается структура французского языка: «Наверное, не существует языка, который использовал бы фигуры меньше, чем наш французский язык, ибо он особенно чтит ясность в выражении мыслей, предпочитая обороты наиболее естественные» (с. 211–212). Именно в такого рода высказываниях Н. Хомский видит аналог трансформационных правил [Chomsky 1966: 35]. Подобный аналог им признается и в связи с трактовкой причастий [Ibid.: 43]. Конечно, говорить в таких случаях о «трансформационных

правилах» — явная модернизация, но определенное сходство здесь есть. Впрочем, о синонимии некоторых исходных и неисходных выражений говорилось тем или иным образом едва ли не всегда. В этой связи можно указать на явление эллипсиса, с античности рассматривавшееся именно так.

Говоря о недостатках «Грамматики Пор-Рояля», Н. Хомский пишет, что в ней нет ясного понимания различия между абстрактной структурой предложения и самим предложением [Chomsky 1966: 58]. Это, конечно, так. Логическая структура понимается у А. Арно и К. Лансло как языковая, но из известных им структур языков отбираются далеко не все. Какие-либо критерии для отбора определенных структур в грамматике отсутствуют; их авторы, скорее всего, исходили из интуиции носителей французского языка, кое-где корректируя ее сопоставлением французского языка с другими¹.

До конца XVIII в. традиции «Грамматики Пор-Рояля» оставались актуальными, особенно во французской науке [Бокадорова 1987]. При этом описание французского языка становилось адекватнее и освобождалось от латинского эталона, а общий подход к языку в своей основе сохранился; это хорошо видно из включенных в московское издание отрывков из сочинения Ш. П. Дюкло. Но открытие санскрита и общее усиление историзма в европейской науке привели к формированию в начале XIX в. новой научной парадигмы — сравнительно-исторической. Идеи «Грамматики Пор-Рояля» временно оказались на периферии языкознания (во Франции меньше, чем в других странах). Ученых XIX в. не удовлетворяли ни невнимание авторов универсальных грамматик к конкретным фактам, ни отсутствие какого-либо историзма в их работах (например, во всей «Грамматике Пор-Рояля» при многочисленных сопоставлениях французского языка с латинским ни разу даже не сказано о происхождении второго от первого; вряд ли А. Арно и К. Лансло этого не знали, но для них это не было существенно, оба языка рассматривались на одной временной плоскости). Идея сопоставления языков в XIX–XX вв. приняла совершенно иной характер, и даже типология надолго стала исторической дисциплиной. В большей степени традиции универсальных грамматик переняли практики: педагоги, миссионеры, во многом, однако, упростив их, вовсе перестав отделять, в отличие от авторов «Грамматики Пор-Рояля», универсальные свойства языка от категорий своего родного языка. «Грамматика Пор-Рояля» стала восприниматься сквозь призму такого рода неадекватных описаний, что и привело к ее несправедливым оценкам у лингвистов первой половины XX в. Новое возвращение к синхронной лингвистике поначалу не привело к оживлению интереса к универсальным грамматикам не только из-за указанного выше изменения в представлениях о них, но и из-за значительно расширившейся базы фактического

¹ Не нашлось таких критериев и в генеративной лингвистике при всем ее формальном аппарате. Едва ли не большая часть работ по конкретным языкам, например японскому, в рамках этой концепции посвящена спорам о том, какие явления следует относить к глубокой структуре и какие — нет.

материала. Стало очевидным, что теория языка не может строиться на материале лишь индоевропейских языков Европы.

В то же время в науке XIX в. и первой половины XX в. во многом установилось представление о тождестве формальных и семантических структур, отчасти произошло (конечно, на более высоком уровне) возвращение к аналогичным представлениям модистов. Н. Хомский излишне категоричен, говоря, будто наука того времени изучала только поверхностные структуры и к языку как средству выражения мысли подходила лишь там, где глубинная структура совпадает с поверхностной [Chomsky 1966: 51]. Об автономности семантики в том или ином виде говорили многие. Можно вспомнить и идеи О. Есперсена, и «понятийные категории» И. И. Мещанинова. В некоторых случаях несовпадение формальных и семантических структур было общепризнанным: всегда, например, различали семантические роли подлежащего в активных и пассивных конструкциях. Но мысль о том, что в предложениях *Я читаю* и *Я болею* значение подлежащего неодинаково, часто отвергалась, а у нас после 1950 г. даже признавалась марристовской. С другой стороны, каждое формальное явление получало семантическую интерпретацию. А. А. Холодович, вспоминая в 1971 г. свою написанную в конце 40-х гг. докторскую диссертацию, указывал: «В диссертации все наши усилия были направлены на то, чтобы “примирить” синтаксис с семантикой и увидеть за каждым синтаксическим пируэтом его семантический аналог» [Холодович 1971: 132]. Это касалось, конечно, не только синтаксических исследований. Всего несколько лет назад нам пришлось услышать во время обсуждения лингвистической работы в Институте востоковедения АН СССР выступление, где было сказано, что цель семантики — давать соответствующую интерпретацию формальным явлениям языка. При этом не учитывалось, что «обобщенные семантические представления являются лингвистической фикцией — эквивалентом грамматических классик в языковом сознании носителей языка» [Леонтьев 1965: 20]. Наряду с этим некоторые лингвистические направления, особенно в США, вообще пытались обойтись без семантики.

Независимо от отношения к концепции Н. Хомского, в частности к понятию глубинной структуры, нельзя не признать, что он был первым ученым, четко и последовательно заявившим об автономии семантического уровня и предложившим разработанный научный аппарат для его описания. И закономерно, что в полемике с ближайшими предшественниками он обратился к «Грамматике Пор-Рояля», где имплицитно содержится представление о такой автономии. Пусть даже эта Грамматика не столь уникальна в своем роде, как это утверждал Н. Хомский, но зато она является хорошим образцом такого подхода.

Идея автономии семантики в последние десятилетия стала одной из основополагающих в лингвистике: без нее семантика как особая дисциплина не могла бы развиваться. И нельзя считать, что ее разделяют лишь хомскианцы. Показателен здесь пример советской лингвистики, где по ряду причин хомскианская модель в ее классическом виде почти не разрабатывалась, но идея неоднозначного соответствия между семантическими (глубинными) и формальными (поверхностными)

структурами получила значительное развитие. Много сделали для развития этой идеи И. А. Мельчук и его последователи, разрабатывавшие модель «Смысл ↔ Текст». Если их можно считать генеративистами в широком понимании этого термина, то вряд ли сюда может быть причислен, например, А. А. Холодович, который вслед за приводившимися выше словами самокритики писал: «Теперь мы решительно отказываемся от этой идеи, приняв то более естественное воззрение, согласно которому несколько синтаксических деревьев могут иметь одно и то же значение и что предложению “Он зятанут в нелепый мундир” семантически абсолютно тождественно предложение “Он зятанут в нелепость мундира” и даже, разумеется, в японском “Он зятанут в мундир и нелепость”², хотя от второй и третьей синтаксических структур к семантике путь не прямой. Но иначе и быть не может. В противном случае синтаксис просто совпал бы с семантикой и один из этих терминов оказался бы лишним» [Холодович 1971: 132].

Но такое высказывание прямо перекликается с идеями «Грамматики Пор-Рояля» (речь, конечно, не идет о непосредственном влиянии). Там также говорится о семантическом тождестве формально различных конструкций, путь от которых к семантике может быть более или менее прямым (мы отвлекаемся от того, что в «Грамматике Пор-Рояля» речь чаще идет о морфологии, чем о синтаксисе, и семантика предстает в логической оболочке). Не менее актуальны (не только для хомскианцев) и идеи сочетания в предложении нескольких предикатов (не обязательно обозначенных глаголами), активно развивающиеся в современной лингвистике [Типология 1985].

Многое в «Грамматике Пор-Рояля» принадлежит истории. Вряд ли какое-либо значение, кроме чисто исторического, может иметь, например, классификация звуков французского языка или глава «О новом способе, облегчающем обучение чтению на разных языках». Однако, как это весьма часто случается, многие идеи книги, пусть даже высказывавшиеся ее авторами попутно и вскользь, оказываются на новом витке развития науки актуальными и плодотворными. Такова «Грамматика Пор-Рояля», и Н. Хомский весьма своевременно привлек к ней внимание лингвистов. Русские издания Грамматики несколько запоздали по сравнению с пиком интереса к ней на Западе, но в то же время прошедшие два с лишним десятилетия показали, что внимание к труду А. Арно и К. Лансло было не случайным. Русские переводы помогут нашему читателю отказаться от предрассудков, все еще связанных с представлениями о «Грамматике Пор-Рояля», и почерпнуть из нее актуальные для нашего времени идеи. И можно только поблагодарить переводчиков и авторов предисловий за осуществленный на высоком научном уровне полезный труд.

² Речь идет о дословной передаче древнеяпонской синтаксической конструкции.

МАХМУД КАШГАРСКИЙ И КОКУГАКУСЯ

Важное значение в современной лингвистике придается изучению лингвистических традиций, отличных от европейской. Такое изучение помогает отличить общие свойства языка от типологических особенностей языков Европы, сравнить способы описания языка, выработавшиеся на различном материале. Мне уже приходилось писать об этом [Алпатов 1990].

Особый случай — применение методов и схем, выработанных в рамках разных традиций, к одному и тому же или сходному языковому материалу. Такой случай чаще всего связан с описанием того или иного языка — арабского, санскрита, китайского и др. — на основе, с одной стороны, национальной, с другой — европейской традиции. Примеров описания одного и того же языка в рамках разных традиций, отличных от европейской (единственной традиции, поставившей перед собой на определенном этапе задачу универсального охвата языков мира), почти нет. Однако могут быть случаи, когда такого рода описания появляются для разных, но типологически сходных языков. Алтайские языки, судя по работам последнего времени [Старостин 1991], представляют собой и генетическую общность, но для нас сейчас важно именно типологическое сходство между ними, признаваемое, по-видимому, всеми лингвистами.

Многие алтайские языки впервые были описаны лишь в рамках европейской традиции. Однако в разных частях обширного алтайского ареала, в разное время и без всякой связи друг с другом появлялись их описания иного рода. В данной статье рассматриваются лишь два опыта такого типа: известный труд Махмуда Кашгарского (XI в.) — тюркский словарь «Диван лугат аттурк» и сочинения японских грамматистов школы кокугакуся («национальных ученых») XVIII и первой половины XIX в. Помимо этого существовали описания монгольского языка в рамках тибетского варианта индийской традиции, оригинальные сочинения по корейской фонетике. Анализ этих трудов должен, очевидно, стать предметом особого исследования.

Безусловно, между Махмудом Кашгарским и кокугакуся имеется немало существенных различий, значимость которых для нас не одинакова. Для наших целей не столь существенен тот факт, что Махмуд Кашгарский писал за семь веков до первых кокугакуся. Несколько большее значение имеет то обстоятельство, что его труд остался единственным в своем роде, а кокугакуся составили влиятельную школу, действовавшую в течение столетия (на некоторые различия между

кокугакуся будет указано дальше). Но важнее всего — различия традиций, обусловленные не разницей в языковом строе, а отнесенностью к различным культурным ареалам. Тюркские народы ко времени Махмуда Кашгарского уже входили в сферу арабо-мусульманской культуры. Япония ко времени формирования школы кокугакуся уже более тысячи лет развивалась под китайским влиянием. Различие культур проявлялось и во влиянии различных лингвистических традиций.

Помимо влияния разных традиций, различным был сам характер такого влияния. Объяснялось это прежде всего культурными, но в какой-то степени и лингвистическими причинами. Тюркские народы, приняв мусульманство, не могли выйти за пределы арабской культуры. Как бы эти народы ни оценивали свои языки, они не могли считать свой язык более культурным и совершенным по сравнению с языком Корана. Иная ситуация была в Японии XVII–XIX вв., когда спорили между собой ученые китайской и национальной школ (кангакуся и кокугакуся). Кокугакуся были оппозиционны к китайской культуре, буддизму и конфуцианству, отстаивали национальную культуру и национальную религию — синтоизм. Видный представитель этой школы Мотоори Норинага (1730–1801) заявлял не о равенстве японского языка с китайским и санскритом, а о его превосходстве над ними. Поэтому кокугакуся могли быть более независимы от китайской традиции, чем Махмуд Кашгарский — от арабской.

Но могли играть роль и другие факторы. Китайский язык почти лишен морфологии, а имеющиеся в нем грамматические элементы могут быть описаны в словаре. Поэтому в китайской традиции не сложилась грамматика как особый научный жанр. Однако для японского языка с развитой морфологией такой подход был неудобен, и кокугакуся самостоятельно создали грамматику. В арабской же традиции с самого начала сложились и грамматика, и лексикография, поэтому ее применение к тюркским языкам не приводило к столь большим трудностям.

Если сравнить подход к своим языкам у Махмуда Кашгарского и кокугакуся, то можно заметить определенные сходства. Среди них есть как общие для всех или большинства традиций, так и более специфичные. Описание языка в обоих случаях синхронно, фактор времени и исторические изменения почти не замечаются; правда, кокугакуся, в отличие от Махмуда Кашгарского, имели возможность сравнивать памятники на своем языке на протяжении тысячи лет и как-то замечали имеющиеся там языковые различия, однако однозначно оценивали их как «порчу языка». Во всех традициях господствовало представление о языке как о чем-то законченном и едином, созданном высшими силами (Аллахом или синтоистскими божествами) и переданном людям, которые могут лишь испортить этот дар: забыть слово или его значение и т. д. или же перенять слова чужих языков. Отсюда во многих традициях стремление к этимологии как к попытке восстановить этимон, т. е. исходное, «правильное» значение. Отсюда и представления Махмуда Кашгарского об иранизированных или тибетизированных диалектах как «нечистых» и «неправильных», и попытки кокугакуся изгнать китаизмы из японского

языка. Идеи историзма появились лишь в европейской традиции при переходе к Новому времени.

И у Махмуда Кашгарского, и у кокутакуся описание аналитично, т. е. идет от текста как от исходной данности; затем текст членится на единицы, в соответствии которым ставится некоторое значение. Однако преобладание анализа над синтезом свойственно большинству традиций, включая европейскую (из которой оно перешло и в большинство направлений языкознания). Лишь у Панини и других индийских ученых ставилась иная задача: построение канонических текстов по определенным правилам из исходных единиц. Общим для разных традиций является и осознанное представление о норме, о разграничении «правильной» и «неправильной» речи; впрочем, нормализаторские тенденции у кокутакуся выражены сильнее в связи с практическими потребностями.

Из более частных сходств отметим выделение частей речи. Трехклассная система — имя, глагол, частица — свойственна Махмуду Кашгарскому и многим кокутакуся, кроме Тодзэ Гимона (1786–1843), не выделявшего класс частиц. Махмуд Кашгарский заимствовал эту систему в готовом виде у арабов, но она вполне подошла к тюркским диалектам. Кокутакуся же выработали самостоятельно, по крайней мере, понятия имени (тайгэн) и глагола (ёгэн); понятие частицы (тэни-оха) существовало в Японии издавна, со времен заимствования иероглифики: этот класс единиц нельзя было адекватно передать иероглифами; могло играть роль и понятие «пустое слово» в китайской традиции. Близки у рассматриваемых нами авторов и критерии для выделения частей речи: учитывались морфологические и семантические свойства.

Впрочем, существовали различия и по этому параметру. Махмуд Кашгарский нигде не идет дальше трехклассной системы. Большинство же кокутакуся членило один или два из данных классов дальше, лишь морфологически неизменяемые имена не дробились на подклассы (выделение местоимений и числительных в особые классы появилось в Японии, как и на Ближнем Востоке, лишь под европейским влиянием). Большинство кокутакуся делило глаголы на два подкласса: собственно глаголы и единицы, именуемые в европейской японистике «предикативными прилагательными» (данное различие, связанное с морфологией и семантикой, неприменимо к тюркским языкам, где слова с качественным значением близки по свойствам к именам, а не глаголам). Частицы также делились на подклассы, причем разными кокутакуся по-разному.

Однако между Махмудом Кашгарским и кокутакуся были существенные различия, объясняемые либо культурными, либо языковыми факторами, либо и теми и другими. Различия проявляются как в общем подходе, так и в конкретных трактовках. Из различий в общем подходе отметим расхождения, связанные с типом описания и отношением к сопоставлению языков и диалектов своего и чужих этносов.

Как известно, труд Махмуда Кашгарского представляет собой словарь, в котором также содержатся элементы грамматики (в традиционном смысле этого

термина), включающие собственно грамматическую, словообразовательную и фонетическую информацию. Для ученого, впервые разрабатывавшего тему и не имевшего опоры в тюркологической традиции, такой подход был, видимо, естественным. Имеются основания считать словарь главным и абсолютно необходимым типом лингвистического описания, тогда как грамматики играют подчиненную роль. Кокугакуся же строго разделяли два типа описания. При этом лексикография в Японии уже имела многовековую историю, и в этой области языкознания китайское влияние было особенно сильным. Уже существовали и традиции фонетических исследований. Грамматических же описаний до кокугакуся не было, поэтому они сосредоточили свои усилия прежде всего на грамматике; если они занимались фонетикой или лексикографией, они отделяли такие исследования от собственно грамматических.

Также хорошо известно, что Махмуд Кашгарский приводит в своем труде данные по многим тюркским языкам и диалектам, сопоставляя их по ряду параметров. Это дало повод считать его основателем сравнительного метода в языкознании и сопоставлять с компаративистикой Нового времени [Демирчизаде 1972]. Эта характеристика попала даже в известный очерк средневековой лингвистики В. А. Звегинцева [Звегинцев 1960: 19]. В то же время систематических сопоставлений подобного рода у кокугакуся нет. Иногда лишь язык самых древних и авторитетных памятников сопоставляется с более новым и «испорченным», в частности многочисленными китаизмами. Сопоставления между диалектами практически вообще не встречаются, хотя лингвистические отличия японских диалектов часто бывают не меньшими, чем различия тюркских языков между собой. Одна из причин этого — в том, что кокугакуся, отмежевываясь от китайской традиции, сохраняли многие ее представления, в том числе понимание языка прежде всего как письменного. Известный японский лингвист Т. Сибата даже в наши дни отмечает, что если для большинства народов слово — это прежде всего то, что сказано, то для японцев слово — в первую очередь нечто написанное [Shibata 1990b: 42–43]. Этот «культ письма» пришел в Японию из Китая и безусловно был связан с особой сложностью иероглифики. Такое представление усиливалось тем, что в Японии с VIII в. существовала богатая литература и традиции письменного языка (*бунго*), имевшего определенные нормы, развивались с тех пор непрерывно. Для кокугакуся не было вопроса о том, какой из вариантов японского языка следует изучать. Бунго мало менялся со временем и, что самое главное, обслуживал весь японский этнос и не имел региональных вариантов. Прочие формы существования японского языка, территориально ограниченные и не употреблявшиеся на письме, кокугакуся не интересовали.

У тюрков во времена Махмуда Кашгарского ситуация была иной. Письменная традиция не была столь мощной и длительной, как в Японии. Не было литературного языка, обслуживавшего этнос в целом, а части племен письменность вообще была неизвестна. К тому же арабская традиция всегда уделяла большое внимание не только письменному, но и устному языку, поскольку одним из стимулов

ее развития была практическая задача обучения неарабского населения халифата произношению Корана. Иная языковая ситуация и иные культурные влияния заставляли Махмуда Кашгарского обращать внимание именно на устную речь.

Сопоставительный подход в его словаре был не столь уникален, как это иногда представляют. Он встречается и в других лингвистических традициях, для которых характерен интерес к устной речи; а именно таковы все традиции, кроме дальневосточных с их «культом письма». С информацией о том, как говорят разные тюркские народы, у Махмуда Кашгарского вполне сопоставимы сведения о речи ионийцев, дорийцев, эолийцев в древнегреческой литературе или о речи разных бедуинских племен у арабских грамматистов; описания последних, вероятно, служили непосредственным образцом для Махмуда Кашгарского (о сопоставлении диалектов у арабов см., например, книгу А. Мехири [Mehiri 1973: 119–130]). В частности, и у арабских ученых можно встретить разграничение «чистых» и «нечистых» диалектов, важное для Махмуда Кашгарского. Идеи же о Махмуде Кашгарском как о первом компаративисте связаны скорее с неясностями в употреблении терминов «язык» и «диалект» и с переносом на XI в. языковой ситуации позднейшего времени. Понятие «диалект» сформировалось в Древней Греции с этнической точки зрения: диалектные различия — это различия внутри своего этноса, в отличие от языковых различий у разных этносов. Так же трактовали языковые и диалектные различия при иной терминологии и в арабской традиции, включая Махмуда Кашгарского. Но греческие диалектные различия позднее исчезли, арабские сохранились на уровне языковых образований, которые традиционно именуется диалектами, однако у тюрков, не имевших, в отличие от арабов, общего литературного языка и постепенно дробившихся на этносы, разные языковые образования стали именоваться языками.

Однако и Махмуд Кашгарский, и кокутакуся не могли не учитывать и существование других этносов с особыми языками. Однако и здесь сопоставительный подход сильнее выражен у Махмуда Кашгарского. Кокутакуся владели китайским языком и по крайней мере имели представление о санскрите, но в то же время они вспоминали о существовании других языков чаще всего тогда, когда надо было доказать превосходство над ними японского языка (бунго), как это делал упоминавшийся выше Мотоори Норинага. Отметим, что он и другие кокутакуся вполне адекватно понимали китайский язык как (переводя в современные термины) изолирующий язык, лишенный морфологии [Bedell 1968: 137]. Но систематического сопоставления своего языка с китайским или санскритом кокутакуся не проводили, а для описания собственного языка старались выработать собственно японскую систему понятий. Принципиально иной подход у Махмуда Кашгарского: тюркский материал постоянно сопоставляется с арабским языком и описывается в арабских терминах, при этом нередко, особенно в фонетике, выявляются и тюркско-арабские различия.

Ни в том, ни в другом подходе нет особой специфики. Любой неосновной язык традиции описывается, по крайней мере на первых порах, исходя из основного

языка традиции как из эталона. Латинский, а позднее старославянский языки первоначально описывались с опорой на древнегреческий, пали — с опорой на санскрит, новые языки Западной Европы — с опорой на латынь. Махмуд Кашгарский как первый исследователь тюркских языков и как человек мусульманской культуры просто не мог не описывать свои языки, исходя из арабского эталона. Позднее, однако, достаточно развитая традиция может отбросить опору на исходный язык: латинские грамматики уже с I в. до н. э. описывают свой язык независимо от древнегреческого, то же произошло с японским языком во времена кокугакуся. Так могло бы произойти и с тюркскими языками, если бы Махмуд Кашгарский имел равных ему продолжателей.

Большие различия видны и в конкретных подходах. Особенно значительны они в отношении фонетики, где на типологические различия самих языков накладывались еще более коренные различия основных языков традиций: китайского и арабского.

Следует учитывать, что японский язык, достаточно близкий к другим алтайским языкам в грамматике (при некоторых различиях типа «предикативных прилагательных») и во многом — в семантике, сильно отличается от них в фонетике, где значительно влияние австронезийского субстрата: особенно не похожи на алтайские японская структура слога и акцентуация.

В описаниях отличаются уже исходные единицы: согласный звук плюс огласовка — у Махмуда Кашгарского, мора — у кокугакуся. Первая единица взята в готовом виде у арабской традиции, и ее применение к тюркским языкам создает явные трудности. У кокугакуся же исходная единица описания отлична от китайской традиции, где таковая единица — слог, членимый на инициаль и финаль. Например, закрытые слоги составляют одну элементарную единицу для китайской традиции и две — для японской. Общее в обоих случаях — лишь нечеткое различие звука и буквы, свойственное и другим традициям, включая европейскую (кроме индийской, почти не интересовавшейся письменностью). Но Махмуд Кашгарский вынужден был исходить из арабской письменности, а в Японии за много веков до кокугакуся уже существовало (с IX в.) помимо иероглифики национальное письмо — *кана*, где отдельными знаками обозначались, как правило, моры. Уже это давало возможность японским ученым быть более независимыми от китайской традиции, чем Махмуду Кашгарскому — от арабской. Письменность влияла на концепции кокугакуся, но сама структура каны адекватно отражала особенности японской фонетики.

Если лингвистическая традиция описывает грамматическую структуру языка, то перед ней всегда встает вопрос о первичной единице грамматического описания (в привычной для нас терминологии — о слове). Этот вопрос решается весьма различно у исследуемых нами авторов. Для Махмуда Кашгарского, как и для арабской традиции, имеются две исходные единицы: корень и слово. Однако, учитывая различия в строе языков, он трактует тюркский корень, в отличие от арабского, как неизменяемую единицу; по крайней мере, изменения в составе корня не имеют

грамматического значения. Слово может быть равно корню, но может образовываться от него присоединением *харфов*. Термин *харф* оказывается многозначным: это и буква, и особое слово (частица), но также и часть слова [Демирчизаде 1972: 34]. Таким образом, исходной единицей оказывается корень или, что фактически то же самое, первичная форма слова. Здесь Махмуд Кашгарский входит в противоречие с арабской традицией, признающей исходной формой слова форму 3-го л. ед. ч. прош. вр., что для тюркских языков не дает возможности провести для глагола данные принципы описания: соответствующая форма явно аффиксальна и неисходна.

Неисходные формы слова, согласно Махмуду Кашгарскому, собираются из составных частей, то же происходит и с производными словами. Такой подход имеет аналоги в ряде лингвистических направлений XX в., например в американском дескриптивизме, где исходна морфема, а слово получается путем комбинирования морфем. Традиционный же европейский подход здесь иной: слово не членится на составные части, наделенные значением, а неисходные формы слова образуются от исходных путем изменения всего слова (отсюда — традиционные термины «склонение», «спряжение», «словоизменение»). Не раз в лингвистике говорилось о том, что понятия корня и аффикса не были выработаны в европейской науке самостоятельно, а пришли из иных традиций, в том числе арабской; см., например, [Блумфилд 1968: 187].

Самостоятельно выработанный подход кокугакуся принципиально отличается от подхода Махмуда Кашгарского и в целом ближе к традиционному европейскому. Здесь нет различия корня и слова. Имеется лишь одна единица, которую можно считать аналогом слова, хотя ее границы часто не совпадают с границами слов, выделяемых в японском языке по европейским критериям. Имена неизменяемы, к ним могут лишь присоединяться частицы, т. е. особые, хотя и служебные слова. Глаголы изменяемы. Например, у глагола со значением ‘умирать’ имеются финитная форма *shini*, деепричастная — *shini*, причастная — *shinuru*, императивная — *shine*, а также самостоятельно неупотребляемые *shina* и *shinure* (ср. отрицательную форму *shina-zu* и условную — *shinure-ba*); все они представляют собой разные формы спряжения, образуемые изменением всего глагола. Один из кокугакуся — Судзуки Акира (1764–1837) предлагал выделять *-ni*, *-ni*, *-nuru*, *-na*, *-nure* и пр. как отдельные слова. Однако эта точка зрения не стала принятой. При этом все эти формы рассматриваются как равноправные, хотя словарной считалась обычно финитная форма. Элементы типа *-zu*, *-ba*, представляющие собой с европейской точки зрения несомненные аффиксы, рассматриваются как отдельные частицы. Итак, как и в европейской традиции, слова здесь не собираются из компонентов, а образуются изменением всего слова (в арабской науке так трактуются лишь изменения внутри корня, а у Махмуда Кашгарского аналога нет вообще). Словоформы в европейском смысле при таком подходе рассматриваются как единицы, состоящие из нескольких слов. Но полного аналога словоформы ни у кокугакуся, ни даже у их современных последователей нет.

Если по японскому образцу описывать тюркские языки (типологически в данном отношении довольно близкие), то значительная часть аффиксов, в том числе числовые, падежные, временные, оказались бы служебными словами. Однако надо учитывать отсутствие в японском языке сингармонизма, поддерживающего в других алтайских языках цельность словоформ в европейском понимании. Впрочем, некоторые аффиксы рассматриваются японской традицией как части слова: в примере выше *-и, i, -ири, -е*; во многом это следствие того, что эта традиция не делила моры на части и не проводила какие-либо границы между согласным и гласным.

Подводя итоги, отмечу, что, с одной стороны, каждая национальная традиция в той или иной мере основана на особенностях строя своего языка, с другой — на нее может влиять более мощная традиция, основанная на языке иного строя; влияние такой традиции может быть весьма значительным, как у Махмуда Кашгарского, и менее существенным, как у кокугакуся; подробнее о кокугакуся см. [Алпатов и др. 1981: 275–298].

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЛИНГВИСТИКИ XX ВЕКА

Хотя до конца столетия еще осталось несколько лет, по-видимому, уже можно подвести некоторые итоги тому, что было сделано в XX в. в науке о языке. Мы хотим выделить 15 проблем, имеющих, на наш взгляд, первостепенное значение. При этом мы, разумеется, не считаем, что эти проблемы исчерпывают все развитие лингвистики XX в.

1. Реабилитация синхронной (ахронной) лингвистики

Все существовавшее и существующее языкознание в самом общем виде можно свести к ответам на три ключевых вопроса: «Как устроен язык?», «Как функционирует язык?» и «Как развивается язык?» (мы не будем сейчас давать определение языка, подчеркнем здесь, что понимаем его максимально широко, не сводя только к языку в соссюрсовском смысле). Исконно каждая лингвистическая традиция занималась двумя первыми вопросами, и только в XIX в. в силу общенаучного подхода того времени изучение вопроса «Как развивается язык?» стало пониматься как главная задача языкознания. Казалось, что описания языков вне их истории не составляют предмет деятельности ученого, а языкознание — историческая наука. Синхронные грамматики составляли обычно люди, далекие от науки: «культурных языков» — педагоги, методисты, «экзотических языков» — миссионеры, колониальные чиновники, военные и т. д. Бывали, конечно, исключения, не менявшие общей ситуации (выдающийся санскритолог О. Бётлингк в начале своей деятельности, в 1851 г., издал очень хорошую грамматику якутского языка). В начале XX в. в лингвистике произошел коренной перелом, прежде всего связанный с именами Ф. де Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ и их последователей. На более высоком уровне исследователи вернулись к изучению вопросов «Как устроен язык?» и «Как функционирует язык?». Основным объектом изучения и источником материала стали современные языки в их реальном бытовании. Такое положение дел сохраняется и сейчас. Исторические и сравнительно-исторические исследования продолжали развиваться (см. пункт 12), но в целом отошли на периферию лингвистики.

2. От статики к динамике

Для первой половины XX в. была характерна концентрация внимания на вопросе «Как устроен язык?». Этот простой вопрос составляет базу для решения двух других вопросов. Поэтому ограничение объекта исследования было на определенном этапе важным и нужным. Соссюрсовское разграничение языка и речи,

очень скоро (в отличие от противопоставления синхронии и диахронии) принятое и освоенное лингвистами разных школ и направлений, давало возможность отвлечься (полностью или частично) от лингвистики речи и сосредоточиться на статическом изучении языка в сосюрловском смысле (так называемая внутренняя лингвистика). Однако во второй половине XX в., начиная с «хомскианской революции», развивается динамический подход к языку, все более в центр внимания встает вопрос «Как функционирует язык?». Структурные исследования (как и исторические) продолжают и сейчас, и мы ни в коей мере не хотим их недооценивать, но все же самые перспективные и интересные современные исследования осуществляются в областях, связанных с функционированием языка.

3. Лингвистика и другие науки

В начале века лингвистика тесно смыкалась с рядом гуманитарных наук — психологией, литературоведением, историей и др. Нечеткость границ вызвала критику со стороны передовых лингвистов того времени. Сосредоточение на вопросе «Как устроен язык?» в первой половине века (точнее, в течение шести его первых десятилетий) было тесно связано с отграничением лингвистики от других наук. Вопросы функционирования языка и зачастую вопросы лингвистического значения признавались выходящими за пределы науки о языке, для которой устанавливались жесткие рамки. Единственное исключение составляла математика, поскольку она рассматривалась в качестве базы для построения любой науки (см. пункт 4). Благодаря такому подходу активно разрабатывались методы и процедуры лингвистического исследования, метаязык лингвистики. Во второй половине XX в., после «хомскианской революции», произошло новое сближение лингвистики с другими науками на более высокой основе. Это, безусловно, закономерно: в отличие от вопроса «Как устроен язык?» на вопрос «Как функционирует язык?» нельзя ответить при помощи одной лингвистики. Необходимый этап изучения языка «в себе и для себя» уже пройден. В последние десятилетия интенсивно развиваются многие пограничные области, начиная от теории искусственного интеллекта и кончая социолингвистикой, именно там достигаются наиболее интересные результаты. В то же время границы между лингвистикой и другими науками вновь потеряли четкость.

4. Антропоцентризм и системоцентризм

Все лингвистические традиции исконно антропоцентричны (термин А. Вежбицкой): в описании языка отражалась лингвистическая интуиция его носителей. Недостатками традиционного антропоцентризма были нечеткость и непроверяемость описания, перенос представлений носителя языка того или иного (например, флективного) строя на языки с иной структурой (см. пункт 8). В начале XX в. распространился иной подход, который можно назвать системоцентричным (термин Е. В. Рахилиной).

Такой подход, господствовавший в послесосюрловской лингвистике, связан с рассмотрением языка в качестве внешнего объекта, отделенного от исследователя. Вместо интуитивных критериев проверки описания были выдвинуты строгие

критерии, во многом заимствованные у математики. Недостатком системоцентризма была интуитивная неприемлемость многих вполне логичных и обоснованных решений. При переходе же к изучению вопросов, связанных с функционированием языка, произошел возврат к антропоцентризму. Вновь реабилитированы интуиция и интроспекция, человек рассматривается как главный фактор языкового функционирования.

5. Лингвистика и практика

И в этой области мы видим возврат на более высоком уровне к исконному положению дел. Однако в данном случае такой возврат произошел еще в начале века. Все лингвистические традиции возникли в связи с практическими нуждами: обучением языку, комментированием текстов, задачами стихосложения, риторике и т. д. Чисто теоретический подход к языку появился позже, но в XIX в. (во многом в связи с историческим пониманием языкознания) произошло почти полное отделение университетского и академического языкознания от практики. Можно указать лишь на отдельные примеры иного рода (в нашей стране — участие академиков и профессоров в разработке, а позднее реформировании русской орфографии). С тех пор сложилось представление о лингвистике как о науке, погруженной в «седую древность» и далекой от повседневности, в обиходном сознании во многом дожившее до наших дней. Однако уже в начале века положение стало меняться, что явственно было наблюдать в нашей стране (во многом — в связи с общественной ситуацией, особо остро ставившей вопрос о связи науки с практикой); можно вспомнить движение за сближение научной и школьной грамматик в 10–30-е гг., языковое строительство, тесно связанное с разработкой фонологических теорий у Н. Ф. Яковлева и других, исследования по машинному переводу и автоматической обработке информации, стимулировавшие развитие передовых научных методов в 50–60-е гг. Однако такого рода процесс представляет собой общемировое явление. Особую роль играла и продолжает играть информационная революция, постоянно ставящая перед лингвистикой все новые задачи.

6. Изменение объекта исследования

Если в проблематике, описанной выше, мы видим несомненный возврат к традиции на ином уровне, то в отношении специального внимания к тем или иным сторонам языка движение скорее обратно: лингвистика конца века намного решительнее порвала с традицией, чем наука более раннего времени. Традиционно основным объектом описания, в частности, в европейской традиции были фонетика и морфология, имевшие к XX в. многовековую историю. Такое положение сохранилось и в XIX в., хотя тогда в связи с развитием компаративистики усилилось значение фонетических исследований (в виде сравнительной фонетики). Ситуация не изменилась и в структурной лингвистике, где вновь в центре внимания оказалось изучение звуковой стороны языка (в виде фонологии), а также морфологии. Во второй половине века после короткого периода увлечения синтаксисом произошел переход к семантике.

Семантика всегда оставалась на периферии науки о языке. Как ни относиться к Н. Я. Марру, но его слова о науке XIX в.: «Существовали законы фонетики — звуковых явлений, но не было законов семантики» [Марр 1934: 103] — были справедливы. И позже, в 1940 г., М. Н. Петерсон говорил: «Работы по лексикологии писать очень легко. Стоит только выбрать все церковнославянизмы, варваризмы, диалектизмы, вульгаризмы, определить их стилистическое значение — и работа готова. Не меньше 90 % лексикологического материала остается без изучения... Сами “измы” получают значение на фоне основной массы исконно русских слов. Сама же эта масса — не первобытный хаос, а целесообразная организация» [Петерсон 1940: 1]. Однако тогда ученый мог лишь констатировать факт, не предложив способов выявления законов этой организации. Лишь после перехода к изучению вопроса «Как функционирует язык?» лингвистика вплотную смогла заняться изучением основных проблем семантики (на лексическом уровне — перейти от «измов» к упомянутым 90 %). Безусловно, это связано с особой сложностью объекта семантики и с невозможностью ее плодотворного изучения в отрыве от «человеческого фактора». Становление семантики — один из важнейших итогов лингвистики XX в.

7. Изученность языков

Лингвистика XX в. интенсивно развивалась не только вглубь, но ивширь. Количество описанных языков резко возросло по сравнению с предыдущими веками, XX в. в этом отношении не сравним ни с каким другим. Особенно важно, что удалось зафиксировать материал ряда уже исчезнувших или исчезающих языков. К началу века на лингвистической карте мира было много белых пятен, но сейчас их уже намного меньше. В первой половине века было много «лингвистических сенсаций», когда материал вновь описанного языка заставлял пересматривать те или иные общелингвистические положения, но, пожалуй, со времени описания Р. Диксоном в середине 70-х гг. языка дирбал мы уже около двух десятилетий не знаем подобных случаев. Безусловно, мы не думаем, что в будущем не возникнут ситуации, когда языковой материал заставит пересмотреть общепринятые концепции и представления. Однако нам кажется, что скорее это будет происходить за счет переинтерпретации уже известных фактов, в подходе к которым еще немало европоцентризма (см. пункт 8), чем за счет появления ранее абсолютно неизвестного материала.

8. Преодоление европоцентризма

Этот процесс был всерьез осознан языкознанием лишь на грани XIX и XX вв. и продолжался в течение всего столетия, хотя его нельзя считать завершенным. Методика лингвистического описания в европейской науке вырабатывалась на материале ограниченного числа типологически сходных языков и на базе интуиции носителей этих языков. Разграничение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков Европы — весьма сложная задача; в науке происходило и происходит использование европейских представлений о языке для описания языков совсем иного строя. В связи с этим попытка выработки объективных критериев для описания языка в первой половине века и начале второй его половины

(см. пункт 4) сыграла положительную роль. Также важно было упомянутое в предыдущем пункте накопление фактического материала.

Стала ясной неуниверсальность многих традиционных лингвистических понятий (подлежащее, пассив, прилагательное, сложное предложение и т. д.). Накопление фактов и отход от европоцентризма имели разную интенсивность в разные периоды. Эти процессы шли очень активно в первой половине века, когда стояла задача каталогизации сравнительно легко обозримых фонологических и (в меньшей степени) морфологических фактов. В период резкой смены лингвистической парадигмы, особенно в 60-е гг., данные проблемы отошли на второй план: новый подход легче было освоить на материале хорошо знакомых фактов. Но в последнее время интерес к использованию «экзотического» материала вновь резко возрос как в типологии, так и в семантике и в синтаксисе.

9. Освоение лингвистических традиций

Отход от европоцентризма может осуществляться двумя способами: через осмысление фактов в рамках европейской по происхождению науки и через освоение подходов, принятых в других лингвистических традициях: индийской, арабской, китайской, японской и др. Последний процесс также нашел свое отражение в лингвистике XX в., однако в целом он имел для нее периферийное значение. Освоение неевропейских подходов к языку, отражающих как особенности тех или иных культурных ареалов, так и специфику строя тех или иных языков, в большей степени свойственно специалистам по соответствующим языкам, чем лингвистам-теоретикам. В связи с общим повышением интереса к разнообразным культурам человечества можно ожидать, что лингвистика XXI в. сможет учесть наследие лингвистических традиций в большей степени.

10. Развитие типологии

К началу XX в. многим языковедам казалось, что единственной научной классификацией языков является генетическая, а типологические схемы науки XIX в. ушли в прошлое вслед за их стадийными интерпретациями. Однако общий переход к синхронной лингвистике привел к интенсивному развитию типологических исследований. Типология пережила в XX в. два периода активного развития — в начале и в конце века при спаде интереса в середине века. Если в XIX в. типология ограничивалась сферой морфологии, то уже в начале XX в. появились фонологическая и синтаксическая типологии; появились многоаспектные классификации, понятие языка-эталона. В конце века типология охватила и содержательную сторону языка; типология из описательной в основном дисциплины все более превращается в объяснительную; причинно-следственные отношения между языковыми явлениями становятся центральной типологической проблемой.

11. Нерешенные проблемы

В отношении ряда проблем, уже известных науке XIX в. (а то и в более раннее время), лингвистика XX в. не смогла существенно продвинуться. Это относится

к происхождению языка, связи языка и мышления, национальным картинам мира (отраженный в языке «дух народа», по гумбольдтианской терминологии) и др. В случае происхождения языка это связано с недостаточностью материала, имеющегося в распоряжении науки. В отношении других проблем фактов много, но ввиду особой сложности объекта наука не смогла выработать необходимый концептуальный аппарат для их решения. XX в. смог лишь предложить ряд любопытных, но недоказанных и неопровергнутых гипотез, вроде гипотезы лингвистической относительности. В этот ряд можно поставить и проблему причин лингвистических изменений. Неспособность лингвистики XIX в. решить эту проблему была одной из причин перехода в начале XX в. к новой научной парадигме. Однако и лингвистика XX в. не смогла значительно продвинуться в решении данной проблемы, хотя был накоплен значительный фактический материал и были предложены важные идеи вроде принципа экономии. Все эти проблемы остаются лингвистике XXI в. (Мы, конечно, не хотим сказать, что все остальное было решено в XX в., но именно в этих вопросах особенно ясно чувствуется отсутствие или недостаточность продвижения.)

12. Компаративистика в XX в.

Как уже было сказано (см. пункт 1), сравнительно-историческое языкознание в XX в. не занимало в лингвистике столь важного места, как в XIX в. Однако развитие компаративистики продолжалось, она обогатилась новой методикой: внутренняя реконструкция — в начале века, глоттохронология — в его середине. Однако в целом методика, выработанная наукой XIX в., сохранила свою значимость и подтвердила ее на гораздо большем материале. В целом же компаративистика значительно развилась не столько «вглубь», сколько «вширь». К началу XX в. компаративистика почти исключительно ограничивалась рамками индоевропейских языков. К настоящему же времени существуют сравнительные фонетики, сравнительные грамматики, этимологические словари для многих языковых семей. Начиная с пионерских исследований В. М. Иллича-Свитыча и других по ностратике в 50–60-е гг. начался новый этап сравнительно-исторического языкознания — реконструкция макросемей.

Последние три пункта связаны с распространением науки о языке на земном шаре.

13. Распространение лингвистики европейского типа

Современная наука о языке, генетически восходящая к античности и средневековой Европе, еще к концу XIX в. ограничивалась, за редкими исключениями, европейским культурным ареалом. В течение XX в. эта наука стала по-настоящему мировой, распространившись как среди народов, не успевших выработать языковую традицию (Тропическая Африка, Сибирь), так и в странах, где язык уже как-то описывался в рамках той или иной традиции, отличной от европейской. Сейчас уже весьма велико количество языков, для которых существуют грамматики и/или словари, созданные их носителями. Особенно следует отметить интенсивное развитие

европеизированной лингвистики в КНР и других китайоязычных странах (а первая китайская грамматика европейского типа появилась в Китае лишь в 1898 г.) и создание собственной науки о языке у большого числа народов на территории бывшего СССР.

14. Судьба лингвистических традиций

В условиях экспансии науки европейского типа (а все, что говорилось выше, относится исключительно к ней) такая судьба не была счастливой. Китайская традиция почти исчезла. В Индии и арабских странах европейская и традиционная науки о языке сосуществуют, практически не смешиваясь друг с другом, но традиционная наука (по-видимому, уже на протяжении нескольких веков) не показывает какого-либо творческого развития, имея эпигонский характер. Наиболее успешной для развития национальной традиции оказалась ситуация в Японии. Хотя там сейчас уже нет неевропеизированного языкознания, но еще с конца XIX в. произошел синтез национальной и европейской традиций и выработался своеобразный подход к языку, нашедший выражение как в общенаучных принципах (приведших, в частности, к появлению школы «языкового существования»), так и в понимании звуковых единиц языка, слова и т. д.

15. Центры мировой лингвистики в XX в.

К началу XX в. лингвистика (особенно центральный ее раздел — компаративистика) считалась «немецкой наукой». Германия рассматривалась как центр мировой науки, другие страны (не всегда справедливо) — как ее периферия. Переход к структурализму изменил эту ситуацию. Между двумя мировыми войнами не существовало единого мирового центра лингвистики и ведущего международного языка. Имелось несколько значительных центров в таких странах, как Франция, Швейцария, Дания, Чехословакия, СССР, США; Германия отошла на периферию. После Второй мировой войны мировой центр лингвистики стал перемещаться в США, завершился этот процесс в результате «хомскианской революции». С этого времени лингвистика, как и ряд других наук, выглядит в мировом общественном мнении (опять-таки не всегда справедливо) как «американская наука», большинство новых перспективных направлений науки о языке (по крайней мере, тех из них, которые имеют мировое распространение) возникает в США, а роль английского языка в мировой лингвистике еще значительнее, чем роль немецкого языка в начале века. В отличие от «германского» периода развития лингвистики, когда в разных странах существовали четко выраженные национальные варианты, в «американский» период происходит определенная нивелировка этих вариантов, которые подстраиваются под понятийный аппарат, выработанный носителями английского языка. Из европейских стран национальные особенности, пожалуй, в наибольшей степени сохранились во Франции. Максимальные отличия от общего стандарта наблюдаются либо там, где сохраняются черты неевропейского происхождения (Япония, см. пункт 14), либо в странах, сохранявших до недавнего времени обособленность от западного мира (бывший СССР и страны-наследники).

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИКИ

Предлагаемые читателю заметки не следует рассматривать как связное изложение некоторой историко-лингвистической концепции. Автор хотел лишь высказать достаточно разрозненные мысли, появившиеся в его голове в связи с чтением им в МГУ и РГГУ курса «История лингвистических учений» и подготовкой к печати одноименного учебника, изданного в 1998 г. Речь будет идти только о лингвистике, одной из самых древних наук, существующей уже более двух тысячелетий, хотя, вероятно, кое-что из рассматриваемого нами может относиться и к истории науки вообще. Мы будем излагать наши разрозненные замечания в тезисной форме.

1. Тематика лингвистики неуклонно расширяется. Если рассмотреть историю непрерывно продолжавшейся в течение более двух тысяч лет европейской лингвистической традиции, ставшей затем получившей мировой характер наукой о языке, то очевидно постоянное появление новых тем и проблем. Хотя многие важнейшие проблемы языкознания восходят к античности, но очень многое появилось позже, достаточно сказать, что в античной и средневековой лингвистике еще не было идеи разграничения общих свойств «языка вообще» и частных свойств конкретного языка (впервые появилась у модистов в XIII–XIV вв.), идеи сравнения языков (появилась в эпоху Возрождения), идеи развития языка и исторического подхода к языку (появилась в XVIII в., окончательно оформилась в начале XIX в.) и многого другого. Не говорим уже о проблемах, поставленных в XX в., вроде лингвистических аспектов диалога человека с машиной.

2. Ни одна лингвистическая проблема не исчезает. Те или иные проблемы могут объявляться несуществующими, могут уйти на дальнюю периферию науки или на какое-то время «впасть в спячку», но через какое-то время они вновь появляются, хотя к ним могут начать подходить совсем не таким образом, как ранее. Весь XIX в. аксиомой считалась ненаучность «неисторичных» исследований языка. И всё же хотя бы необходимость описывать языки, «не имевшие истории», не позволяла отказаться от чисто «описательных» работ. И не только дилетанты вроде миссионеров или офицеров колониальных войск, но и дипломированные ученые иногда «грешили» ими. И выдающийся санскритолог О. Бётлингк в 1851 г. издал якутскую грамматику. Более того, и при обращении к теории невозможно было стопроцентно выдерживать требование «историзма». В столь последовательно проникнутом этим требованием труде, как «Принципы истории языка»

Г. Пауля, есть целые главы, например «Классификация частей речи», где ведется чисто синхронный анализ (на равных правах латинский язык сопоставляется с современным немецким!). С конца XIX в. научная лингвистика наложила табу на изучение проблемы происхождения языка ввиду невозможности здесь проверить ту или иную гипотезу. Затем в течение столетия это табу нарушал лишь принципиальный борец с академическими правилами игры, дилетант Н. Я. Марр и подпавшие под его влияние ученые вроде Н. Ф. Яковлева. Однако в последние годы интерес к данной проблеме вновь стал наблюдаться, см. книгу [Landaberg 1988]¹. Проблема, которую сейчас называют проблемой языковых картин мира, поставленная В. фон Гумбольдтом, была достаточно популярна в XIX в. (Х. Штейнталь, И. П. Минаев и др.), а потом также объявлена «ненаучной». Лишь непрофессионал Б. Уорф снова ее поставил в 30-е гг. XX в., а теперь ею занимаются уже многие. Напомним, что и типология, и любая классификация языков, кроме генетической, в эпоху младограмматизма отлучались от науки. Наконец, Ф. де Соссюр, выдвинув тезис о произвольности знака, вывел за пределы научной лингвистики проблему символической связи звучания и значения. Но и позже появлялись достаточно любопытные работы вроде изданной в 70-е гг. книги А. П. Журавлева [Журавлев 1975], а Р. Якобсон считал и эту проблему вполне серьезной. Пожалуй, лишь две проблемы, когда-то активно обсуждавшиеся в европейской и других лингвистических традициях, «не реабилитированы»: проблема «правильности имен» и связанная с ней проблема языковой магии. Автору этих заметок не хотелось бы всё же считать их проблемами лингвистической науки. А за пределами науки они обсуждаются и могут резко оживляться, как это происходит в нашей стране в последнее десятилетие. Достаточно вспомнить многократные и многолетние рассуждения А. И. Солженицына на тему «Бог шельму метит» или частые в начале 90-х гг. попытки связать злоключения Санкт-Петербурга в XX в. с потерей городом «настоящего имени» (см., например: Независимая газета. 4 февраля 1993).

3. Тем не менее в разные периоды одни проблемы выходят на передний план, а другие забываются. Часто такое движение «по спирали» связано с общенаучной сменой парадигм. Так, в течение всего XIX в. историзм считался необходимым свойством любой науки, по крайней мере всех гуманитарных наук и даже некоторых естественных (дарвинистская биология, актуалистская геология). И лингвистика сосредоточилась на вопросе «Как развивается язык?», до XVIII в. находившемся вне науки о языке (языковые изменения либо игнорировали, либо рассматривали как «порчу языка»). А вопросы «Как устроен язык?» и «Как функционирует язык?» отошли на задний план. Их изучение именовалось «описательной лингвистикой», которой отводилось в лучшем случае место «нижнего этажа» науки о языке (Г. Пауль, ранний И. А. Бодуэн де Куртене). Вторая половина XIX в. во всех науках стала эпохой позитивизма. Установление его господства

¹ См. также рецензию на нее: [Севастьянов 1992].

в языкознании поначалу не изменило его исторической направленности, но привело к отказу от любой проблематики, выходящей за пределы регистрации и первичного обобщения фактов (происхождение языка, картины мира, язык и мышление и пр.). Соссюровская лингвистика формировалась в полемике с позитивистской лингвистикой, но глубинная связь структурализма с позитивизмом была очень значительной, о чем справедливо писали В. Н. Волошинов, М. М. Бахтин, а в недавнее время Б. М. Гаспаров. Но в центр науки о языке после Ф. де Соссюра был поставлен вопрос «Как устроен язык?», а историческая лингвистика отошла на периферию. При этом и изучение наиболее сложного вопроса «Как функционирует язык?» в большинстве школ структурализма (исключение — пражцы и американские этнолингвисты) выводилось за пределы лингвистики. Сохранявшиеся постулаты позитивизма требовали обращаться, прежде всего, к тем проблемам, которые легче всего поддавались строгим методам, отсюда всеобщий для структуралистов интерес к фонологии. Впрочем, здесь структуралисты следовали за младограмматиками, специализировавшись на изучении звуковых переходов; как ни относиться к Н. Я. Марру, но он был прав, говоря, что в науке XIX в. «существовали законы фонетики — звуковых явлений, но не было законов семантики» [Марр 1934: 103]. Отказ от изучения семантики довели до крайности поздние дескриптивисты типа З. Харриса. Но «хомскианская революция» была важна уже тем, что Н. Хомский выдвинул на первый план вопрос «Как функционирует язык?» и снял многие привычные для структурализма ограничения проблематики. Пусть сам Н. Хомский больше поставил новые проблемы, чем решил их, но плотина была прорвана. Теперь в лингвистике явно лидируют семантика и типология, а изучение формальных моделей языка, еще недавно считавшееся самым «передовым», отошло в тень, как и фонологические исследования. Влиятельные еще на памяти автора этих заметок дешифровочный подход в духе З. Харриса и глоссематика теперь выглядят тупиковыми направлениями лингвистики. Но исходя из опыта прошлого, нельзя поручиться, что когда-нибудь эти работы не будут продолжены, разумеется по-новому.

4. Из лингвистики неустрашим «человеческий фактор». Одно из проявлений движения науки о языке по спирали — чередование подходов к языку «изнутри» и «извне». Исконно любой лингвистической традиции был свойствен так называемый антропоцентризм (термин, сейчас связываемый с работами А. Вежбицкой, но встречающийся еще у И. А. Бодуэна де Куртенэ). Лингвисты сначала неосознанно, а позднее, как, например, В. фон Гумбольдт, и осознанно учитывали интуитивное знание языка его носителями, выступая сами в качестве информантов. После установления господства позитивизма распространился иной подход, иногда называемый системоцентристским; см. [Рахилина 1989]. Он основан на рассмотрении языка не изнутри, а извне, по образцу естественных наук. Уже И. А. Бодуэн де Куртенэ утверждал, что «антропоцентризм — предрассудок» [Бодуэн 1963: 17], а крайней точки системоцентризм достиг в дешифровочном подходе, при котором

идеалом считалось наблюдение высказываний на неизвестном языке и выявление закономерностей в повторяемости и сочетаемости звуков. После «хомскианской революции» произошло возвращение к антропоцентризму на более высоком уровне. Впрочем, интуицию реально никогда не могли изгнать из лингвистики. Ее выгоняли в дверь (запрещалась интроспекция), но она возвращалась в окно, через реакцию информанта.

Харрис писал: «Привлекая критерий реакции слушателя, мы тем самым начинаем ориентироваться на “значение”, обычно требуемое лингвистами. Нечто подобное, видимо, неизбежно, во всяком случае, на данной ступени развития лингвистики... Впрочем, данные о восприятии слушающим высказывания или части высказывания... контролировать легче, чем данные о значении» [Harris 1960: 20]. Теперь ясно, что последняя идея была иллюзией. Сейчас же лингвистика стала совсем другой. На одном из наших занятий в МГУ весьма сильная студентка заявила, что не понимает идеи З. Харриса, но, возможно, его работа неудачно переведена. Оказалось, что она всё поняла адекватно, но не поверила в то, что вообще такой подход, игнорирующий значение, возможен. Для современных студентов лингвистика — это, прежде всего, изучение весьма тонких нюансов семантики в тесной связи с интуицией говорящего. 30 лет назад представления были иными.

5. В лингвистике чередуются периоды расширения и сужения тематики.

Любая наука может развиваться «вширь» и «вглубь», и часто один из видов движения преобладает. Например, первая половина XIX в. была активным периодом расширения лингвистической проблематики: формируется сравнительно-историческое языкознание, возникает типология, активизируется изучение проблем языка и мышления, ставится вопрос о языковой картине мира и т. д. С 50–60-х гг. и в еще большей степени с 70–80-х гг. XIX в. проблематика резко сужается: чуть ли не единственным научным методом начинает считаться сравнительно-исторический. Но такое сужение дало возможность окончательно отшлифовать этот метод, безусловно единственный строгий и точный в науке о языке того времени. Ф. де Соссюр, сняв запрет на изучении синхронии, в то же время резко сузил рамки лингвистических исследований, но по иным основаниям. Лингвистика современной Ф. де Соссюру эпохи, ощущая слишком узкие рамки компаративистики, часто пыталась раздвинуть эти рамки за счет областей, пограничных с историей, психологией, этнографией (показательна, например, школа «слов и вещей»); границы лингвистики стали размываться. Но Ф. де Соссюр, введя разграничение языка и речи (показательно, что в отличие от разграничения синхронии и диахронии его приняли довольно легко очень многие лингвисты), ввел лингвистику в более или менее строгие границы того, что он назвал изучением языка, или внутренней лингвистикой. И такое сужение также дало возможность за несколько десятилетий отшлифовать структурные методы изучения языка. Эти рамки иногда пытались еще более сузить, как это было в дескриптивизме или по-иному в глоссематике, иногда старались расширить, как это делали прагматики или Е. Д. Поливанов. Но ограничение тематики изучением языка в соссюрковском смысле было на определенном этапе

необходимым. «Хомскианская революция» в конечном итоге сняла это ограничение даже там, где Н. Хомский не собирался это делать (он, например, считал социолингвистику полезной для образовательных программ, но банальной для теории). Сейчас лингвистика скорее расширяет свою тематику, при этом ее границы вновь стали размытыми. Несомненно, в периоды сужения проблематики развиваются методы лингвистических исследований, а наука о языке стремится к обособлению от других наук; в периоды ее расширения усиливается интеграция лингвистики с другими науками, а строгость методов понижается (однако не за счет снижения строгости уже разработанных методов, см. следующий пункт).

6. Развитие лингвистических методов — однонаправленный процесс. Этим оно сходно с развитием лингвистической проблематики, но отличается от спиралеобразного развития лингвистической теории. Уже разработанные методы остаются в арсенале языкознания, хотя их шлифовка идет в разные эпохи с разной скоростью и что-то может отойти на периферию. Сравнительно-исторический метод, доведенный до совершенства младограмматиками, продолжал давать результаты и в течение всего XX в., хотя основное развитие теории шло вне компаративистики. Структурные методы (дистрибуционный метод, выделение оппозиций) стали большим шагом вперед в развитии лингвистики, сколь бы ни казались сейчас устарелыми многие теории структуралистов. И Н. Хомский, для которого неприемлема «убогая и совершенно неадекватная концепция языка, выраженная Уитни и Соссюром и многими другими», не мог отрицать достижений структурной лингвистики, которая «подняла точность рассуждений о языке на совершенно новый уровень» [Хомский 1972б: 32]. Впрочем, структуралистская методика возникла не на пустом месте: она уточняла и эксплицировала методы, неосознанно известные еще александрийцам, строившим парадигмы склонения и спряжения. Новый подход к старой проблеме на новом витке спирали всегда основывается на ранее разработанных методах, в том числе и возникших на совершенно ином материале. Еще в 1940 г. М. Н. Петерсон писал, что среди лексики русского языка изучена в основном периферия: «церковнославянизмы, варваризмы, диалектизмы, вульгаризмы», а «90 % лексикологического материала остается без изучения», хотя «основная масса исконно русских слов» — «не первобытный хаос, а целесообразная организация, законы которой и должна вскрывать лексикология» [Петерсон 1940: 1]. С тех пор лингвистика и занялась изучением этих законов, к которым раньше просто нельзя было подступиться из-за неразработанной методики. При этом, особенно на первых порах, широко использовались методы, выработанные на ином материале (оппозиции, компонентный анализ и пр.). Наконец, сейчас лингвистика начинает подступаться и к проблемам, когда-то поставленным В. фон Гумбольдтом, озарения которого долго не были подкреплены каким-либо «работающим» методом. Как справедливо заметил Б. М. Гаспаров, «несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились» [Гаспаров 1996: 21]. Во многом

это положение сохраняется и сейчас. Но всё же к разработке этих идей на более строгом уровне начинают подступаться, казалось бы, совсем с неожиданных сторон, например через изучение искусственного интеллекта.

7. В развитии лингвистики участвуют и ученые, придерживающиеся господствующих взглядов, и маргиналы. Во все эпохи бывали люди, писавшие по проблемам языка, находившиеся вне господствующей в соответствующее время традиции. Такие люди либо игнорировали или не знали эту традицию, либо пытались с ней спорить, чаще без внешнего успеха. Однако потом их идеи оказывались востребованными последующим развитием лингвистики. Эти маргиналы обычно либо бывают людьми, находящимися вне профессионального языкознания, часто без лингвистического образования, либо работают в периферийных с точки зрения развития научной парадигмы странах. В XIX в. именно непрофессиональные лингвисты иногда предвосхищали идеи структурной лингвистики, достаточно вспомнить П. К. Услара. В период господства структурализма наиболее интересные выступления против него появлялись также на периферии того или иного рода. Известная книга В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина «Марксизм и философия языка» (пока что всё известное о процессе ее создания дает основания считать ее сочинением двух авторов) написана непрофессиональными лингвистами (они даже не знали, что Р. О. Шор — женщина!), но именно здесь было показано, что структурализм не может ответить на вопрос «Как функционирует язык?». Другой пример — книга японского лингвиста М. Токиэда «Kokugogaku-genron» (1941), где отстаивался антропоцентризм в изучении языка. Эта книга оказала большое влияние на развитие лингвистики в своей стране, но японская лингвистика совсем не была известна вне Японии. И примерно в это же время непрофессионал Б. Уорф вновь поставил проблемы, «закрытые» позитивистским языкознанием. Наконец, и Ф. де Соссюр, безусловно профессиональный лингвист, был до некоторой степени маргиналом. Тогда еще лингвистика во многом считалась немецкой наукой, а будущий автор «Курса общей лингвистики» долгие годы воспринимался как неудачник, ярко дебютировавший «Мемуаром», а потом почти ничего не печатавший. Так что нельзя игнорировать идеи, появляющиеся «со стороны», в том числе и по всем параметрам вроде бы дилетантские, хотя, конечно, во-первых, значимость таких идей обычно осознается постфактум, во-вторых, среди дилетантов гораздо больше людей, ничего не давших науке, а то и принесших ей вред, как Н. Я. Марр.

8. Европейское языкознание — не единственное. Долгое время европейская лингвистическая традиция была не самой развитой, лишь с XVI–XVII вв. она вырвалась вперед. В некоторых странах получился удачный синтез собственной и европейской науки (успешнее всего, по-видимому, в Японии), в других этого не произошло. В то же время нельзя отрицать того влияния, которое иные традиции оказали на европейскую науку. Можно вспомнить понятие корня и (по мнению ряда авторитетных ученых, включая Л. Блумфилда) идею членимости слова

на значимые части, заимствованные у семитских народов, понятие сандхи, взятое из индийской традиции. Однако многое в традициях, сложившихся за пределами европейской цивилизации, еще предстоит освоить.

В заключение автор считает своим приятным долгом отметить ту помощь и поддержку, которую оказывал ему в преподавании курса «История лингвистических учений» и в подготовке учебника А. Е. Кибрик. Без его постоянно благожелательного отношения учебник, вероятно, никогда бы не был написан.

КОМПАРАТИВИСТИКА, ЕЕ КРИТИКИ И ГЕРОИ

Хорошо известно, что сравнительно-историческое языкознание — одна из самых развитых областей науки о языке, представленная большим числом трудов. Метод компаративистики изошрен и очень строг, а результаты впечатляют. Реконструкция форм и слов, которые затем были обнаружены во вновь открытых памятниках, — замечательное подтверждение верности этого метода, которое может быть сопоставлено с открытием планеты Нептун «на кончике пера». Важно и то, что за почти два столетия существования компаративистики ее основные принципы продолжали и продолжают оставаться плодотворными. XX век значительно расширил горизонты сравнительно-исторического языкознания, но какого-либо существенного пересмотра этих принципов не произошло. Глоттохронология, внутренняя реконструкция и другие добавки к традиционной методике расширили ее возможности, но не поколебали главные положения, из которых исходили еще ученые первой половины XIX в.

Примером может служить одна из последних статей нашего крупнейшего компаративиста Сергея Анатольевича Старостина (1953–2005). В ней перечисляются действительно впечатляющие успехи современной российской компаративистики, уже дошедшей до уровня, позволяющего подойти к единому праязыку для всех языков Старого Света, «скорее всего, существовавшему 14–15 тыс. лет назад в районе Ближнего Востока» [Старостин 2004: 436]. При этом прямо говорится, что основа для этого — «классический сравнительно-исторический метод», который «позволяет реконструировать незасвидетельствованные праязыковые состояния» [Там же: 435].

В то же время нельзя не отметить, что сравнительно-историческая теория всегда заметно отставала от сравнительно-исторического метода. Компаративная теория в значительной части сводится к нескольким положениям, из которых имплицитно исходили все ученые, начиная с Боппа, но четко сформулированы они были Августом Шлейхером в 50–60-е гг. XIX в. Главное из них — идея так называемого родословного древа. Она основана на выделении двух однонаправленных процессов: языки развиваются от первоначального единства к множеству, а исследователь идет в обратном направлении: от множества языков-потомков к единому праязыку (языку-основе). Согласно концепции родословного древа, языки лишь расходятся и никогда не сходятся, а контакты между языками могут как-то повлиять на развитие языков, но не могут изменить ни для одного языка его исходную принадлежность к той или иной семье и группе.

В вышеупомянутой статье С. А. Старостина дается такое определение: «Семья — это генетическая общность языков, имеющая не менее 15–20 % совпадений в области базовой лексики, в то время как макросемья — это такая же генетическая общность, но с меньшим числом совпадений» [Старостин 2004: 434]. То есть то же «родословное древо», но спроецированное в большую древность, чем эпоха индоевропейцев. Никакое скрещение языков не предусмотрено, как его не предусматривал и А. Шлейхер.

Реальные достижения компаративного метода трудно было оспаривать, но его теоретические основы еще в XIX в. многими считались уязвимыми. Об этом писал еще в 1908 г. выдающийся швейцарский лингвист А. Сеше: «Лингвистика фактов сумела самостоятельно пробиться к самым замечательным открытиям. Теоретическая наука лишь следовала за ней. Эта регулярность фонетических законов, эта проверенная эмпирически и так удачно использованная грамматистами гипотеза нуждалась в рациональном обосновании. Такая попытка была предпринята, но и здесь проявилось отставание теории от практики, и следует признать, что эта попытка так до сих пор и не увенчалась успехом. И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли» [Сеше 2003: 43].

Предложенное Шлейхером «рациональное обоснование», т. е. теоретические принципы сравнительно-исторического метода, не раз подвергалось критике. Три наиболее известные в нашей стране попытки опровержения этих принципов принадлежали И. А. Бодуэну де Куртенэ, Н. Я. Марру и Н. С. Трубецкому. Разумеется, эти имена для нас сейчас не стоят рядом. Двое из них внесли бесспорный вклад в науку, вклад Марра (исключая некоторые конкретные работы по Кавказу) многие полностью отвергают. Впрочем, и Бодуэн де Куртенэ, ученый очень широких интересов, менее всего получил признание как компаративист. Понимание языкового развития у каждого из этих ученых было различным, но в критике господствовавшей до начала XX в. научной парадигмы у них оказывалось немало общего.

Концепция родословного древа была одним из постоянных объектов критики Бодуэна де Куртенэ на протяжении более полувека. Так, в работе «Обозрение славянского языкового мира» (1884) ученый писал: «Распадение языков происходит не так просто, как это себе представляют... Дело обстоит совершенно не так. Ведь в двух отдаленных точках одной и той же обширной языковой области могут возникать совершенно независимо друг от друга одни и те же тенденции и в результате развиваются совершенно схожие, но генеалогически абсолютно независимые различия. Далее: возможно, например, что в одной и той же первоначально единой языковой области А развиваются некоторые диалектные нюансы В, С, D и т. д. Позже, однако, может случиться, что, например, какая-то часть С под влиянием известных обстоятельств разовьется в такой говор, который будет отличаться не только от В и D, но и от другой части С в большей степени, чем эта последняя от В и D. Никто не будет отрицать, что развившийся из русского языка кяхтинский китайско-русский диалект отличается от русского языка больше, чем

сам русский язык от других славянских. Возникший на верхненемецкой языковой основе еврейско-немецкий язык идиш отличается от верхненемецкого больше, чем этот последний от других немецких или даже других германских диалектных групп. Во всяком случае, нельзя отрицать огромного влияния этнографического смешения, с одной стороны, и эмиграции и других случаев этнографической изоляции — с другой... поскольку дело обстоит так, следует совершенно отказаться от якобы точной генетической классификации языков и удовлетвориться точной характеристикой отдельных языков и языковых семей» [Бодуэн 1963, 1: 131–132].

В работе «Языкознание, или лингвистика XIX века» (1901–1904) сказано: концепция родословного древа «не выдерживает критики, так как, с одной стороны, исходит из предположения, что язык существует вне человека, а с другой, не учитывает сложности явлений языка» [Бодуэн 1963, 2: 7]. Отказ от концепции родословного древа и от волновой концепции он здесь же оценивает как «освобождение от власти знахарей и филинов всех мастей, освобождение от различных предрассудков, даже самых благородных и ученых на вид» [Там же].

Именно концепция родословного древа оценивалась как главный тормоз в изучении истории языков; в работе 1910 г. «Классификация языков» Бодуэн де Куртенэ писал: «Разумеется, я отдаю решительное предпочтение т. н. “теории волн” перед “теорией родословного древа”» [Там же: 187], хотя и она оценивается критически. И в одной из последних работ, «Проблемы языкового родства», вышедшей через год после его смерти, ученый повторил свою точку зрения: «Наивно провозглашаемая теория “родословного древа” основывается на предположении, что язык является существом типа животного или растения» [Там же: 343]. Он всегда считал, что эта теория логически связана с натуралистическим подходом к языку, свойственным Шлейхеру.

Главным недостатком компаративистики Бодуэн де Куртенэ считал неучет факта смешения языков. Свою статью 1901 г. он полемически назвал «О смешанном характере всех языков». Разумеется, он не отрицал (в отличие от Н. Я. Марра после 1923 г.) расхождений языков, а степень смешанности в разных языках, согласно его взглядам, могла быть разной. Но Бодуэн де Куртенэ постоянно указывал на пиджины и креольские языки, исходя из широкого их понимания. Помимо приведенной выше цитаты отметим еще одно его высказывание из статьи «О задачах языкознания» (1889): «Особую группу при классификации языков составляют смешанные языки... В том же ряду стоят такие консолидированные, определившиеся уже языки, как: еврейско-немецкий говор, китайско-русский язык в Кяхте и Маймачине или китайско-английский на южном побережье Китая и т. д. На эти языки мы смотрим свысока, презрительно называя их “жаргонами”, но не следует забывать, что подобные жаргоны иногда вырастают в очень уважаемые и могучие языки. Достаточно назвать английский язык. Вообще мы имеем право сомневаться в чистоте очень многих языков» [Бодуэн 1963, 1: 216].

В статье «О смешанном характере всех языков» Бодуэн де Куртенэ писал: «Обыкновенное понимание “сравнительной грамматики славянских языков” или

же «сравнительной грамматики ариоевропейских языков» основывается на предположении чистоты языков, на предположении, что жизнь языков состоит в беспрерывном и невозмутимом течении по разным направлениям одного и того же первоначального состава, без постороннего вмешательства... Многие... считают положение о безусловной чистоте языков чуть ли не догматом языкознания» [Бодуэн 1963, 1: 366]. На сущность традиционного подхода не влияет число заимствований: сколько бы ни выделялось романских элементов в английском языке, его продолжают считать германским. Однако, как подчеркивает Бодуэн де Куртенэ, «нет и быть не может ни одного чистого, не смешанного языкового целого» [Там же: 367]. Уже у ребенка, как он указывает, происходит смешение языков взрослых. Пусть в каких-то (далеко не во всех) языках один из источников смешения более значим, чем другие, но отказ от признания смешения языков, согласно Бодуэну де Куртенэ, — сильное упрощение реальности.

В уже упоминавшейся статье «Языкознание, или лингвистика XIX века» ученый попытался прогнозировать, какой будет наука о языке в начинавшемся тогда XX в. При высоком проценте оправдавшихся предсказаний (см. об этом [Алпатов 2003]) прогнозы ученого, связанные со сравнительно-историческим языкознанием, оказались наименее точными. Из трех прогнозов, безусловно, сбывлся лишь один: о том, что отыщутся новые родственные связи между языками. Однако данный прогноз в отличие от двух других не содержал чего-либо принципиально нового. Речь шла о количественном расширении того, что делалось в XIX в., и об экстраполяции уже существовавших тенденций.

Два других прогноза не сбылись. В одном из них говорилось о будущем принципиальном изменении «взгляда на сущность межъязыкового родства» [Бодуэн 1963, 2: 17]. Исходя из приводившихся выше высказываний ученого, можно предполагать, что Бодуэн де Куртенэ имел в виду признание смешения языков и отказ от постулата о родословном древе. В те времена он не был одинок в попытках устранения этого постулата; одним из конкурентов концепции родословного древа была упоминаемая им теория волн. Но данный постулат действует и в XXI в.

Другое предсказание звучит так: «Понятие “звуковых законов” должно быть окончательно отброшено языкознанием и заменено его психологическим эквивалентом» [Бодуэн 1963, 1: 17]. Бодуэн де Куртенэ в те годы был далеко не одинок в критике этого понятия. Прямолинейные идеи Шлейхера и раннего периода младограмматизма о законах, не знающих исключений, перенесенные из естественных наук, слишком явно расходились с реальностью. Так называемые диссиденты индоевропеизма во главе с Г. Шухардтом много положили сил на то, чтобы опровергнуть эти идеи. Бодуэн де Куртенэ также всегда был их противником. Как раз вопрос о понятии языкового закона (не только звукового, но в более широком плане) стал главным пунктом разногласий между Бодуэном и Н. В. Крушевским. Уже в статье памяти Крушевского (1888) Бодуэн де Куртенэ писал, что «звуковых законов нет и не может быть» [Там же: 196], а покойного ученика обвинял в том, что он «как из рукава, сыплет “законами”» [Там же: 189].

Вряд ли можно сказать, что Бодуэн де Куртенэ предложил какую-либо альтернативную программу компаративных исследований. Для него было важно лишь показать необоснованность концепции родословного древа, по его мнению сильно упрощавшей реальные процессы развития языков, и указать на широко им понимавшиеся пиджины и креольские языки, развитие которых особенно явно не соответствовало этой концепции.

Н. Я. Марр никогда не владел сложной компаративной методикой, в чем даже не было его вины: Восточный факультет Петербургского университета не обучал ей. Но он поначалу принимал постулаты компаративистики. Однако уже в ранний период его деятельности ему был свойствен интерес к проблеме смешения (скрещения) языков. Хотя во многом он подогревался априорными соображениями и заранее установленными результатами (например, эта проблема служила для него средством установить вопреки результатам компаративистов родство грузинского и армянского языков), но поначалу его подход был близок к идеям Бодуэна де Куртенэ и других ученых, не принимавших концепцию родословного древа. Как указывает западный исследователь Марра, идея скрещения, позволявшая связать чуть ли не любой язык с кавказскими, стала в дальнейшем лейтмотивом всей его деятельности [Thomas 1957: 21].

После 1923 г. Марр выдвинул «новое учение о языке», одним из центральных пунктов которого был полный отказ от концепции родословного древа и утверждение прямо противоположного тезиса — развития языков от первоначального множества к единству. Он утверждал: «Ныне нет ни одного не скрещенного языка» [Марр 1936: 65]. Или: «Даже так называемые новые языки отнюдь не являются перерождениями древних языков, и только; в возникновении новых видов громадную роль играли не учитываемые бесписьменные языки» [Там же: 188–189]. То есть идеи, выдвинутые Бодуэном де Куртенэ, доведены до крайности.

При всей фантастичности идей Марра даже один из самых последовательных его критиков признал, что никто пока что не может опровергнуть его тезис о первоначальном множестве языков [Серебренников 1983: 265–266]. Разумеется, когда Марр говорил о том, что он поставил теорию компаративистики с головы на ноги, заменив принцип расхождения языков на принцип их схождения, он доводил идеи критиков родословного древа до абсурда. Но когда его последователи во главе с И. И. Мещаниновым избрали путь компромисса между марризмом и «нормальной наукой», то они закономерно пришли к компромиссной точке зрения и здесь. Мещанинов в качестве примера расхождения языков приводил отношение между языками Дагестана и хиналугским и удинским языками в Азербайджане: последние сохраняют материальное сходство с дагестанскими языками в тюркском окружении, а объяснять это сходство вторичным схождением было бы слишком неубедительно. Однако он сохранял марровское движение языков от множества к единству как основной принцип [Мещанинов 1934: 12]. Другой последователь Марра писал: родство — результат схождения, хотя «расхождение тоже имело место» [Цукерман 1941: 61].

Даже критики Марра признавали, что в полемике с младограмматизмом он часто бывал прав [Thomas 1957: 142]. Он верно указывал на многочисленные проблемы истории языка, принципиально не решавшиеся в рамках компаративистики: происхождение языка, строение первобытного языка, причины языковых изменений, историческая семантика. Безусловно, он ощущал и слабость концепции родственного древа. Отмечал он и то, что сам изоциренный компаративный метод мешал выходу за его рамки; см. высказывание о том, что зашедшим слишком далеко индоевропейцам «трудно возвратиться, не разбив вдребезги своих кумиров» [Марр 1937: 144]. Но его попытки предложить решение всех этих проблем себя не оправдали.

В те же годы к критике компаративной теории пришел и Н. С. Трубецкой, в ряде исследований успешно работавший в рамках традиционной компаративистики. Но в одной из последних своих статей, «Мысли об индоевропейской проблеме» (1937), он выразил решительное несогласие с компаративной теорией. Отметим, что первая часть статьи, посвященная данным проблемам, оказалась в дальнейшем развитии лингвистики менее востребованной, чем широко известная вторая ее часть с попыткой определить общие типологические черты индоевропейских языков.

Трубецкой на примере индоевропейских языков подвергал сомнению стандартное понимание языкового родства вообще. Он писал: «Предположение о едином индоевропейском праязыке нельзя признать совсем невозможным. Однако оно отнюдь не является безусловно необходимым, и без него прекрасно можно обойтись... Для объяснения закономерности языковых соответствий вовсе не надо прибегать к предположению общего происхождения языков данной группы, так как такая закономерность существует и при массовых заимствованиях одним языком у другого» [Трубецкой 1987: 45]. «Нет, собственно, никакого основания, *заставляющего* предполагать единый индоевропейский праязык, из которого якобы развились все индоевропейские языки. С таким же основанием можно предполагать и обратную картину развития, то есть предполагать, что предки индоевропейских ветвей первоначально были непохожи друг на друга и только с течением времени благодаря постоянному контакту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизились друг с другом, однако без того, чтобы совпасть друг с другом. История языков знает и дивергентное, и конвергентное развитие. Порою бывает даже трудно провести грань между этими двумя видами развития» [Там же: 46].

В качестве конкретного примера Трубецкой приводит албанский язык. «Значительная часть его словаря состоит из романских элементов, и грамматический строй его сильно напоминает строй романский. Но в то же время язык этот не стал вполне романским и сохраняет еще очень большое число элементов, не объяснимых при помощи латинского. Так как латинский язык хорошо известен по памятникам, и, кроме того, имеются живые романские языки, языковеды оказываются в состоянии в значительной степени распутать клубок романских и нероманских элементов албанского языка, хотя это и сопряжено с большими

затруднениями. Но если бы в распоряжении ученых находилось только несколько “полуроманских” языков вроде албанского, то, применяя к этим языкам сравнительный метод, выработанный индоевропейским языкознанием, пришлось бы восстанавливать их “праязык”. Причем нероманские элементы этих языков пришлось бы либо оставлять необъясненными, либо объяснять при помощи сложных и искусственных комбинаций, которые непременно отразились бы на восстановленном “праязыке”... “Праязык”, несомненно, восстановить удалось бы, но он, разумеется, не соответствовал бы никакой реальности» [Трубецкой 1987: 47].

Таким образом, возможны два предположения, объясняющие причины сходства индоевропейских языков: дивергенция единого праязыка и конвергенция (т. е. скрещение) первоначально не родственных языков (эти предположения не исключают друг друга: разошедшиеся языки могут вторично сойтись). «Между тем до сих пор при обсуждении “индоевропейской проблемы” учитывается только предположение чисто дивергентного развития из единого индоевропейского праязыка. Благодаря этому одностороннему подходу все обсуждение проблемы попало на совершенно ложный путь... Стали рассуждать о местожительстве, культуре и расе индоевропейского “пранарода”, между тем как этот пранарод, может быть, никогда и не существовал» [Там же: 48]. И далее Трубецкой предлагает чисто типологическое понимание индоевропейских языков, упомянутое нами выше.

Оказывается, что Трубецкой, в отличие от Марра прекрасно владевший компаративным методом, отвергает постулаты сравнительно-исторического языкознания не менее радикально, чем Марр. При таком понимании родства языков вся изощренная методика компаративистов и все опыты выяснения прародины индоевропейцев, их культуры и т. д. оказываются в лучшем случае интеллектуальной игрой, в худшем случае — опасным заблуждением. Если Марр пытался дать альтернативу компаративистике, то Трубецкой фактически вообще «закрывал» проблемы, связанные с реконструкцией ненаблюдаемых лингвистических объектов. Если соотношение двух противоположных процессов подвержено множеству случайностей и может быть каким угодно, то нет возможности применить какой-либо строгий метод. Типологическое же понимание языкового родства сводит диахронию к синхронии. Выражаясь языком Марра, Трубецкой дошел до того, что «разбил кумиров» сравнительно-исторического языкознания.

Бывали и попытки синтеза идей Марра и Трубецкого (не обязательно под прямым влиянием обоих). В комментариях к данной работе Трубецкого Вяч. Вс. Иванов сближает его идеи с идеями Д. В. Бубриха о конвергентном происхождении индоевропейских и финно-угорских языков, высказывавшимися в 40-е гг. [Там же: 415, 501]. А в это время Бубрих находился под значительным влиянием «нового учения» Марра.

В целом же, говоря о критиках компаративистики, стоит обратить внимание на наблюдение, недавно сделанное В. А. Дыбо: «Различные теоретические манифесты относительно приобретенного родства, типологического родства, сомнения в существовании праязыков обычно идут от специалистов, не занимавшихся

сравнительной грамматикой или занимавшихся лишь интерпретацией ее данных» [Дыбо 2004: 127].

Это замечание по сути верно, хотя требует некоторых уточнений. На него можно было бы возразить тем, что и Н. С. Трубецкой, с вышеупомянутыми идеями которого В. А. Дыбо спорит, и даже Н. Я. Марр (до начала 20-х гг.) работали в этой области (И. А. Бодуэн де Куртенэ, исключая начальный период деятельности, больше занимался «интерпретацией»). Но дилетанта Марра можно не брать в расчет; к тому же для него реконструкция всегда была не целью, а средством доказать заранее заданные идеи (об исконном единстве грузин и армян, великом прошлом яфетидов и пр.). А Трубецкой, занимаясь в числе прочего и компаративистикой, всегда интересовался множеством других лингвистических (и не только лингвистических) проблем. Скажем, общие типологические черты индоевропейских языков и любой другой семьи в понимании С. А. Старостина (будь то черты языкового союза или черты, возникшие независимо) — вопрос, который никогда не будет ставить «нормальный» компаративист. Закономерно, что В. А. Дыбо отмечает в рассматриваемой нами статье: «Родственные языки могут не иметь никакого особого сходства в синтаксических отношениях, ни подобия в принципах морфологического построения, ни специфического внешнего сходства фонетических систем» [Там же: 125]. Типология, как указывает он же, может использоваться для последующей интерпретации и верификации реконструкций, но «не может иметь запретительного значения по отношению к результатам компаративистской процедуры, если она внутренне безупречна» [Там же: 128]. То есть лингвисты иных специальностей (или сами компаративисты, если они хотят выйти за рамки основной сферы деятельности) могут использовать материал компаративистики, но реконструкция компаративиста основана только на сравнительно-историческом методе и на идее родословного древа.

Несколько утрируя, можно сказать, что компаративист и лингвист иных специализаций — две разные научные профессии. Компаративист, приняв без доказательств постулаты своей науки, затем тратит многие годы на накопление и просеивание материала и на шлифовку методики. Вопросы общей теории языка или типологии обычно его интересуют мало, зато он имеет мощный метод, позволяющий получать интереснейшие результаты. Компаративистике обычно учатся со студенческих лет, и лингвисты иного профиля, заинтересовавшиеся этой дисциплиной в зрелом возрасте, почти всегда остаются в ней дилетантами. Любопытно, что японская наука, хорошо освоив и структурализм, и генеративизм, так и не смогла за полтора столетия воспринять азбучные положения компаративистики, не взяв некоторый психологический барьер (скажем, идея о несвязанности родства со структурным сходством так и не прижилась в этой стране). К концу XIX в. компаративистика почти вытеснила на периферию науки иную лингвистику; видимо, не случайно, что И. А. Бодуэн де Куртенэ одновременно боролся и с таким вытеснением, и с постулатами компаративистики. А успех идей Ф. де Соссюра, как мы уже писали [Алпатов 2005в], был обусловлен и тем, что они

открывали путь лингвистической деятельности, не связанной рамками (а также и знанием) сравнительно-исторического метода.

Конечно, бывают ученые (в их числе был и Н. С. Трубецкой; нельзя не вспомнить также Э. Бенвениста, Е. Куриловича и др.), которые успешно совмещают две профессии, а знание структурных и генеративных методов может что-то подсказать и не раз подсказывало компаративистам. Однако разрыв очевиден.

Но в течение всего XX в. концепция родословного древа, несмотря на столь, казалось бы, убедительную критику, устояла. Более того, в наши дни попыток спорить с ней, пожалуй, даже меньше, чем в конце XIX и в первой половине XX в., а для отечественной науки они малохарактерны.

Вопрос об адекватной методу компаративной теории, однако, далеко не решен. Наши крупнейшие компаративисты затрагивают его лишь в немногих публикациях [Старостин 1999: 10]; см. также учебник [Бурлак, Старостин 2005]. Особо остановимся на статье В. А. Дыбо, где он специально подвергает критике идеи Н. С. Трубецкого. В. А. Дыбо пишет: «Объективно эти теоретические манифесты (критиков классического сравнительно-исторического языкознания. — В. А.) появляются в результате гиперболизации какой-либо одной стороны в сложном процессе развития языка и языковой жизни вообще, особенно проблем, поставленных лингвогеографией... или проблем языкового смешения. Причем в этом случае выдвигается тезис, что всякий язык является смешанным и все части языка, и заимствованные, и исконные части, рассматриваются как генетически равноправные. Объективно такая точка зрения приводит к отказу от сравнительно-исторического метода» [Дыбо 2004: 127].

В. А. Дыбо приходит к следующему выводу: «Именно формальный характер восхождения от языковых фактов к праязыковой реконструкции придает ей непреложность факта, для которого не нужно никакой “общей платформы” ни у археологов, ни у лингвистов, ни специальных доказательств» [Там же: 128]. Такой вывод, несомненно, соответствует точке зрения любого профессионального компаративиста (не всегда, конечно, эксплицитно выражаемой и даже не всегда осознаваемой). Однако В. А. Дыбо ставит вопрос о специальных доказательствах в связи с критикой идей Н. С. Трубецкого [Там же: 130–134]. Он выдвигает четыре аргумента против этих идей: необоснованность идеи Трубецкого о типологических сходствах родственных языков; неправомерное рассмотрение им языка как «абсолютно детерминированной системы»; чистую априорность допускаемой им возможности того, что «на низких ступенях развития» языков все могло быть по-особому; и, наконец, принципиальную возможность отграничить заимствования от исконной лексики. Три аргумента из четырех, сами по себе убедительные, не связаны непосредственно с проблемой верности гипотезы родословного древа и с признанием или непризнанием смешанных языков. С ней связан последний аргумент.

Об этом в статье сказано: «Зачем умозрительно предполагать несколько “полуроманских” языков вроде албанского, если подобная ситуация наблюдается

в языках Юго-Восточной Азии, в которых массивные корпуса китайских заимствований никак не заставляют реконструировать общий “сино-корейско-японово-вьетнамо-тайский праязык”, а не китайские элементы этих языков оставлять необъясненными, либо объяснять при помощи сложных и искусственных комбинаций, как предполагает Н. С. Трубецкой для “полуроманских” языков типа албанского. Китайские заимствования в этих языках надежно вычлениются... но никак не мешают изучать исконные элементы систем этих языков» [Дыбо 2004: 132].

Представляется, что данный пример не говорит ни за, ни против идей Трубецкого. Например, китайские заимствования в японском языке действительно «надежно вычлениются» (не только лингвистами, но и обычными носителями языка), но их заимствованный характер не вызывает ни у кого сомнений. Даже японские лингвисты, не знающие азов компаративистики, хорошо понимают, что при изучении родственных связей японского языка китаизмы надо исключать. Китайский слой лексики в основном состоит из книжных слов, обычно сложных. Даже слова, как будто относящиеся к основному словарному фонду, чаще являются терминами (*сердце* как медицинский термин, *человек* как название биологического вида и пр.). Никогда этот многочисленный слой лексики не заставлял никого «оставлять необъясненными» «некитайские элементы» японского языка (японская традиция, наоборот, игнорирует китаизмы). А Н. С. Трубецкой обращал внимание на гораздо менее явные случаи.

Другой пример, специально разбираемый В. А. Дыбо, — история латинского языка, в которой, как он указывает, нет оснований видеть смешение с другими италийскими. Но опять-таки это история одного конкретного языка, не являющаяся аргументом в пользу того, что так будет во всех случаях. Однако в пользу точки зрения, отстаиваемой В. А. Дыбо, говорит то, что на современном уровне развития компаративистики (чего, по-видимому, еще не было во времена Трубецкого и тем более Бодуэна) сложное происхождение многих языков оказывается возможным объяснить без ущерба для концепции родословного древа. Для японского языка проблема состояла не в трактовке китаизмов, а в разграничении внутри слоя, традиционно считающегося исконным, алтайской и австронезийской лексики и в определении того, какой слой исконен на самом деле. В XX в. была очень распространена (и в Японии существует до сих пор) трактовка японского языка как смешанного алтайско-австронезийского. Однако в книге [Старостин 1991] было показано, что алтайский слой лексики исконен, а австронезийский слой — нет.

При этом многие аргументы «интерпретаторов» компаративистики Бодуэна де Куртенэ, Трубецкого и даже Марра вовсе не опровергнуты. Наиболее явный случай — креольские языки, которые часто вспоминал Бодуэн и на значение которых для опровержения концепции родословного древа специально указывал Г. Шухардт [Шухардт 1950]. Когда в нашей стране в начале 50-х гг. было восстановлено в правах сравнительно-историческое языкознание, вопрос об этих языках сразу вызвал трудности. Показателен спор между С. Б. Бернштейном и А. Б. Долгопольским. Первый из них утверждал, что компаративисты могут

игнорировать эти языки как «неполноценные» «жаргоны», а второй считал, что наиболее известные из них — это обычные индоевропейские языки германской или романской группы [Долгопольский 1955]. Первая точка зрения легко опровергается широким функционированием ряда креольских языков (некоторые из них уже стали государственными). Однако в ней присутствует интуитивное представление о том, что они не могут рассматриваться в компаративистике на тех же основаниях, как другие языки той семьи или группы, куда относится так называемый язык-лексификатор (язык, откуда взято большинство лексики). Существует ли сравнительная грамматика германских языков, куда на равных правах с английским, верхненемецким, нижненемецким, готским, фарерским и т. д. включались бы ток-писин, крио, пиджин-инглиш и др.? Более того, и упомянутый И. А. Бодуэном де Куртенэ идиш, а также африкаанс явно не рассматриваются компаративистами как «нормальные» германские языки.

И это не случайно. Об особенностях креольских языков, восходящих к предшествующим им пиджинам, их современный исследователь В. И. Беликов пишет: «Нарушение строго закономерных звуковых корреспонденций — явление хорошо известное сравнительно-историческому языкознанию. Но в тех случаях, когда преэминентность языковой традиции в истории языка не вызывает сомнений, такие факты не носят массового характера и находят объяснение во взаимовлиянии родственных языковых традиций при их контактировании, регулярные же соответствия пронизывают весь словарный состав языка. Иное дело — связь креола с лексификатором, осуществляемая лишь через тонкий слой в несколько сот слов, присутствовавших в пиджине» [Беликов 2001: 27].

В другой публикации тот же автор указывает: «Фонетические соответствия между языком-лексификатором и радикальным креолом (языком, не подвергавшимся вторичному влиянию лексификатора. — В. А.) далеки от регулярности» [Беликов 2006: 57]. Важно и такое положение, не соответствующее традиционной компаративной методике, исходящей из первичности показательной для установления родства базовой лексики: «В развивающемся пиджине нужда в обозначении культурных артефактов может возникнуть раньше, чем появились стандартные способы именованья многого из того, что компаративисты вполне обоснованно относят к базисной лексике» [Там же: 59]. При образовании пиджина происходят и не предусмотренные в компаративистике семантические сдвиги, затем закрепляемые в креолах. Это происходит потому, что «создатели пиджина, весьма приблизительно восприняв форму некоторой частотной единицы целевого языка, наполняли ее столь же приблизительно с точки зрения лексификатора семантикой» [Там же: 58]. Свои положения автор иллюстрирует примерами. Все это не соответствует тому, с чем привыкли работать компаративисты.

В. И. Беликов делает следующие выводы: «Даже если рассматриваемые соответствия целиком регулярны... говорить о закономерном родстве франкокреольских языков с французским или англокреольских языков с английским в том смысле, как мы говорим о родстве романских языков с латынью или русского или

польского с праславянским, нельзя» [Беликов 2001: 27]. «Романокреольские (германокреольские и т. п.) языки не являются подлинно романскими (германскими и т. п.)» [Там же: 29]; см. также [Беликов 1991; Беликов 2006: 57–64].

Но история англокреольских языков или даже языка идиш известна, а про многие языки мы просто достоверно не знаем, были ли они в своей основе креольскими, выросшими из пиджина, или нет. Даже гипотеза происхождения индоевропейских языков, предложенная Н. С. Трубецким, при иной терминологии, основана на предположении о возможности существования чего-то вроде первоначального пиджина (точнее, нескольких пиджинов). А, как указывает В. И. Беликов, «при сугубо синхронном анализе креол оказывается по сути неотличим от традиционных диалектов, возникающих при дивергенции непрерывной языковой традиции языка-лексификатора» [Беликов 2006: 52].

В итоге В. И. Беликов делает вывод: «Реконструкции праязыковых состояний и их последующей эволюции обоснованы далеко не так бесспорно, как это обычно считается: чем более отдаленным является родство языков, тем меньше шансов на то, что мы имеем дело исключительно с дивергентными моделями развития, постулируемыми традиционным сравнительно-историческим языкознанием» [Беликов 2001: 29; Беликов 2006: 79]. Но постулат о том, что «мы имеем дело исключительно с дивергентными моделями развития», — это то же самое, что концепция родословного древа.

«Нормальные» компаративисты знают, что пиджины и креолы вызывают дополнительные трудности. Как указывают С. А. Бурлак и С. А. Старостин, «при генеалогическом изучении пиджинов и креольских языков складывается совершенно особая ситуация, поскольку они возникают как бы “с чистого листа” и не связаны ни с одним из языков непрерывной лингвистической преемственностью» [Бурлак, Старостин 2005: 66]. В связи с этим признается, что «пиджины и креольские языки могут исказить результаты сравнительно-исторических исследований» [Там же: 67]. Но несмотря на все это, авторы данной книги считают неоправданным признавать «двойную генетическую принадлежность» данных языков, поскольку «заимствования (на разных уровнях языка) могут происходить при любых контактах, и попытки определить, какого их количества уже достаточно для признания двойной (тройной, четверной и т. д. — по числу интенсивных контактов?) генетической принадлежности, как кажется, не могут иметь успеха. Поэтому при определении родственных связей пиджинов и креольских языков мы исходим из принципов... обеспечивающих одинаковый подход ко всем языкам без исключения» [Там же: 66]. Однако представляется, что ситуация все-таки сложнее, а приводимая выше аргументация требует более детального рассмотрения.

Другой случай, когда коррективы к концепции родословного древа уже стали обычным делом, представляют собой отношения между наиболее близкими друг к другу языками и между диалектами (как известно, строгих лингвистических критериев для разграничения языка и диалекта не существует). Например, А. Я. Шайкевич пишет: «Такой (дивергентный. — В. А.) путь сравнительно редок.

Обычно диалекты, разграничиваясь в один период, снова сближаются впоследствии» [Шайкевич 1995: 206]; см. также [Беликов 2001: 28]. Такое сближение не предусматривается концепцией родословного древа, но вполне допускается, согласно И. А. Бодуэну де Куртенэ. Учитывая такие процессы, А. А. Зализняк указывает: «Традиционное представление о монолитном правосточнославянском языке, дальнейшее развитие которого характеризовалось только дивергенцией, является по меньшей мере упрощенным; в действительности здесь значительную роль играли также конвергентные процессы» [Зализняк 1985: 114].

Итак, проблемы, поднимавшиеся еще Бодуэном де Куртенэ более столетия назад, продолжают оставаться актуальными. И тем не менее концепция родословного древа жива и здорова. Все значительные достижения компаративистики в XX в., начиная от доказательства индоевропейской природы хеттского языка и кончая ностратикой, основаны на ней. А построить сколько-нибудь равноценную методику на основе концепции конвергенции и «смешанного характера всех языков» так и не удалось. Теоретические идеи Бодуэна де Куртенэ были вроде бы разумными, но как на их основе работать с массами языкового материала, осталось неясным. Альтернатива Марра оказалась неудачной. Трубецкой же вообще снимал всю проблему с повестки дня, хотя великолепные результаты, полученные компаративистами, столь впечатляющи, что «разбивать кумиров» мало кому хочется. Наоборот, в XX в. традиционная компаративная методика была еще более усовершенствована.

Одна из возможных трактовок данной ситуации может быть следующей. Родословное древо — это не краеугольный камень теории, а методическое правило, до некоторой степени (до какой, не всегда ясно) идеализирующее реальность; для разных языков эта идеализация, видимо, различна. Лингвисты имеют изощреннейшую методику движения в сторону схождения языков, но не могут двигаться в сторону их расхождения. На первом этапе следует исходить из презумпции верности данного правила, но идеализация может оказаться слишком значительной и далее приходится вводить коррективы. Показательно, что на первом этапе изучения языковой группы (семьи, макросемьи) родословное древо строго постулируется. В XIX в. так делали индоевропеисты, а сейчас этот этап проходит ностратика (см. приведенное нами в самом начале высказывание С. А. Старостина о «классическом методе» как основе всех ее построений). Потом же на этапе более детального анализа начинается корректировка; этот этап, на котором сейчас находится славистика или романистика, отражен, например, в приведенном выше высказывании А. А. Зализняка. Иногда, однако, корректировок, как в случае с пиджинами и креольскими языками, с самого начала требуется столь много, что компаративисты пока по-настоящему не охватили их своим методом.

Вопрос о «специальных доказательствах» родословного древа совершенно не важен и неинтересен для профессиональных компаративистов, хотя может обращать на себя внимание лингвистов, смотрящих на родство языков извне, начиная с теоретиков и кончая авторами грамматик креольских языков. У компаративистов

есть весомый аргумент (на который опирается и В. А. Дыбо в упомянутой статье). У С. А. Бурлак и С. А. Старостина опровержение идей Н. С. Трубецкого (И. А. Бодуэн де Куртэнэ не упоминается) дано так: «Анализ реальных, а не умозрительных примеров языкового взаимодействия... убеждает в том, что при языковых контактах... из двух контактирующих языков один всегда оказывается доминирующим и претерпевает лишь небольшие, по сравнению с подчиненным языком, изменения. При этом общие черты, возникшие в результате контактов, очень четко отличаются от общих черт, унаследованных от единого языка-предка... Таким образом, имеются все основания утверждать, что языковое родство не может быть приобретено в результате конвергентных процессов» [Бурлак, Старостин 2005: 156].

Но даже если предположить, что в любом пиджине один из контактирующих языков явно доминирует (это, по крайней мере, еще требует доказательств), данная аргументация по сути является чистым обобщением по индукции. Если во всех рассмотренных нами и нашими предшественниками конкретных примерах дело обстоит данным образом, значит, так есть и будет всегда. Это — чисто эмпирическое подтверждение теоретического положения без какого-либо объяснения его причин. На это как раз и обратил внимание А. Сеше в приведенном в начале статьи высказывании, не потерявшем силу и через сто лет. Впрочем, компаративисты (в отличие, скажем, от типологов), унаследовав эмпиризм и чисто индуктивную процедуру исследования от XIX в., не имеют необходимости их менять, поскольку, перифразируя известное высказывание, можно сказать, что для «настоящих» компаративистов их учение верно, потому что оно всесильно.

Все же противники компаративной теории не могли ничего предложить взамен ее, кроме общих построений и правдоподобных рассуждений. Это фактически отмечает и В. А. Дыбо в связи с тем, что Н. С. Трубецкой не смог сказать ничего конкретного об образовании индоевропейского языкового союза, кроме выделения нескольких разрозненных типологических сходств, которые, как отмечал Э. Бенвенист, могут встретиться и в языках иных семей.

И возникает предположение, отличное от того, что было высказано выше: «родословное древо» — не просто методическое правило, а нечто действительно фундаментальное (например, связанное с закономерностями изменений в психолингвистическом механизме человека). В этом плане интересно высказывание Т. Дикона (на которое наше внимание обратила С. А. Бурлак) о том, что при двуязычии разные языковые системы локализируются в разных центрах мозга [Deason 1997: 114]. Но объяснить причины того, почему многие языки расходятся, но не сходятся, современная наука пока не может. Также неясна и степень всеобщности этой эмпирически замеченной еще в XIX в. закономерности. Если пиджины и креолы «не связаны ни с одним из языков непрерывной лингвистической преемственностью», то эта закономерность может быть не применима (по крайней мере, полностью) к ним. Может быть, родословное древо — модель лишь одного, но самого важного из путей развития языков. Безусловно, необходимы исследования всего этого.

В заключение кратко остановимся и на понятии закона. Сейчас оно уже не имеет столь глобального значения, как во времена младограмматиков, но столь же неустранимо из компаративистики, как и представление о родословном древе. Из элемента теории (что было очень уязвимо для критики) оно превратилось в чисто методическое правило. Это — некоторый идеал (как, возможно, и понятие родословного древа). Ясно, что законы могут иметь исключения, но компаративист должен исходить из презумпции поиска законов, не знающих исключений. На их основе объясняется максимум фактов, а затем уже приходится думать, как объяснять то, что никак не подпадает под действие законов. Об этом хорошо сказал еще в 1933 г. В. И. Абаев: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» [Абаев 1933: 8]. Опять-таки критики понятия звукового закона во многом бывали правы, но, как и в случае с родословным древом, «работающей» альтернативы ему выработать не удалось.

Даже враждебный к сравнительно-историческому языкознанию Н. Я. Марр признавал: «Я прекрасно знаю, какие благородные, самоотверженные работники лингвисты-индоевропейцы» [Марр 1934: 1]. Критики компаративистики исходят из логики и здравого смысла, а ее герои, невзирая на, казалось бы, разумные их аргументы, получают вопреки им значительные и интересные результаты, подтверждаемые эмпирически.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ФАКТОВ И СОЗДАТЕЛИ ТЕОРИЙ

Задачи любой науки, непосредственно познающей мир (философию и математику оставим в стороне), можно на самом общем уровне разделить на два класса. Это, во-первых, получение и первичное исследование нового фактического материала, во-вторых, обобщения, построение объяснительных теорий. А наука делается людьми, и кому-то может быть ближе одна задача, а кому-то другая.

Тот факт, что одни ученые преуспели (или не преуспели) в обнаружении фактов, а другие — в обобщениях (кто-то сразу и в том, и в другом), разумеется, может иметь разные причины, и склонности человека — лишь одна из них. Они важны, но не всегда могут реализоваться. Ученый может попасть в научную среду, где ценится совсем не то, к чему он склонен, тогда ему придется либо приспосабливаться к приоритетам окружающих, либо идти на конфликты и обрекать себя на одиночество в профессиональной сфере. Наконец, нельзя не учитывать и разный уровень индивидуальных способностей, возможность или невозможность получения должной подготовки и многое другое.

Мы ограничимся здесь филологическими науками, прежде всего лингвистикой, а также востоковедением (об истории которого мы уже писали [Алпатов 1994б]); разумеется, востоковедение — не единая наука, а комплекс смежных дисциплин, сейчас значительно разошедшихся. Конечно, мы не имеем в виду, что лингвистика и востоковедение в интересующем нас аспекте отличаются от других наук. В основном мы будем говорить об ученых России, наука которой при всех исторических особенностях своего развития, безусловно, всегда имела и имеет мировую основу.

В самой истории мировой науки, включая русскую, мы видим постоянную смену приоритетов. Едва ли не в каждой дисциплине чередуются периоды интенсивной работы теоретической мысли и следования устоявшимся канонам, открытия новых фактов и стремления переосмыслить то, что уже известно. И в одни периоды (конечно, при прочих равных условиях) легче работать тому, кто склонен к «подготовке фактического материала», а в другие эпохи ценятся любители обобщать. Как правило, первые выходят на авансцену в спокойные периоды развития уже сложившейся науки, вторые — на самых ранних этапах формирования той или иной дисциплины и в эпохи смены научных парадигм. Играют роль и воздействия извне, и общий «климат эпохи». Эпоха классической немецкой философии, появления клеточной теории и дарвинизма

способствовала теоретизированию во многих науках, а господство позитивизма подняло в цене любителей сбора фактов.

Русское востоковедение вышло за пределы чисто практического изучения восточных языков в первой половине XIX в. Тогда чуть ли не каждым вопросом приходилось заниматься впервые, а владение материалом еще было недостаточным. Зато один и тот же человек мог изучать сразу чуть ли не весь известный к тому времени Восток. Один из первых петербургских профессоров востоковедения О. И. Сенковский (известный также и как журналист и писатель) занимал в университете сразу кафедры арабского и турецкого языка, изучал также китайский, маньчжурский, монгольский и тибетский языки [Каверин 1966: 20, 36]. Про профессора И. Н. Березина, принадлежавшего уже к следующему поколению, воспитанный в совершенно иных традициях И. Ю. Крачковский впоследствии писал: «Типичный представитель “героического” периода нашего востоковедения, когда можно было объединять специальные знания по меньшей мере в трех областях — тюркологии, арабистике, иранистике, а частично в монголоведении» [Крачковский 1958: 90]. Крупнейший востоковед поколения Березина академик В. П. Васильев знал монгольский, татарский, китайский, маньчжурский, тибетский языки и санскрит [Бартольд 1977: 76].

При такой широте ученые легко переходили к обобщениям, обычно основанным на небольшом количестве отрывочных и часто произвольно трактуемых фактов. О. И. Сенковский, например, исходя из звукового сходства слов *лехи* и *лезгини*, пришел к выводу о том, что польская шляхта — не славяне, а потомки завоевателей-кочевников [Каверин 1966: 25]. В. П. Васильев легко сопоставлял китайский язык с индоевропейскими, верил в египетское происхождение китайских иероглифов и считал, что мир делится на разделенные полосой безжизненных пустынь Запад и Восток, которые никогда не поймут друг друга [Бартольд 1977: 622–624].

Широта и в охвате явлений, и в постановке общих проблем естественно переходила в дилетантство. Сенковский, по замечанию его биографа Вениамина Каверина, «знал так много языков, что, казалось, не знает ни одного» [Каверин 1966: 21]. А о Березине и других ученых его поколения впоследствии скажет С. Ф. Ольденбург: «Поражает та легкость, с которой пытаются делать широкие обобщения, не имея в своем распоряжении достаточно фактического материала, который, однако, нетрудно было бы найти» [Ольденбург 1918: 539]. Но поиски фактического материала мало занимали ученых «героического периода». Впрочем, им иногда приходилось заниматься и такими вещами, как публикация памятников. И востоковеды следующего периода видели главные заслуги, например, И. Н. Березина (наряду с постановкой задач на будущее) именно в этом [Бартольд 1977: 756].

Большую часть XIX в. такие подходы господствовали и в науке о языке. Немецкая наука, связанная с именами Августа и Фридриха Шлегелей, В. фон Гумбольдта, Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Шлейхера, выдвигала широкие теории. Достаточно

назвать идею стадий развития языка, отражающих стадии развития человеческого мышления. Но и сравнительно-историческое языкознание, гораздо в большей степени опиравшееся на конкретный языковой материал, тогда любило делать обобщения о прогрессе и регрессе языков и связи языка с культурой. Все это распространялось и на русских последователей. Уже в 80-е гг. XIX в. профессор И. П. Минаев, объединявший в себе востоковеда-индолога и буддолога с лингвистом-теоретиком (позже такое совмещение стало невозможным), развивал на материале многих языков те же стадийальные идеи. Например, из «символического значения» гласных (т. е. из выражения ими грамматического значения) в семитских языках И. П. Минаев выводил «символизм», господствующий в духовной жизни семитов и проявляющийся, в частности, в их монотеизме [Минаев 1883/1884: 260–262]. Выдвигал он и идеи о связи строя языка и языкового родства с расой, «антропологическими типами» [Там же: 217].

Но уже в те годы, когда Минаев читал свой курс, приоритеты стали меняться. Установившееся господство позитивизма требовало, с одной стороны, более тщательного изучения фактов, с другой — отказа от всякой «метафизики», под которой понимались любые теории, которые нельзя проверить фактами. Распространилось «преклонение перед “фактом”, понятием... как что-то незыблемое и устойчивое», по выражению В. Н. Волошинова [Волошинов 1995: 218].

В лингвистике господствующим направлением стала немецкая школа младограмматиков, которой следовали и в России. Вот как сопоставлял (в 1933 г.) лингвистику первой половины («науку основоположников») и конца XIX в. (прежде всего, младограмматики) ученый последующей эпохи В. И. Абаев: «Наука основоположников — это наука восходящего класса со всеми свойственными такой науке качествами: смелостью мысли, широтой размаха, высокоразвитой способностью обобщения. Напротив, вся последующая лингвистика... это — наука нисходящего класса со свойственной такой науке неудержимой склонностью к трусливому и бескрылому крохоборству. И когда речь идет о буржуазном наследстве, для нас В. Гумбольдт и Фр. Бопп безусловно выше и ценнее Бругманна или Мейе, так же как в философии Гегель выше Вундта, в литературе Гёте выше Метерлинка, в музыке Бетховен выше Штрауса. При всех своих заблуждениях “старик” обладали достаточной широтой и глубиной философской мысли, чтобы воспринять язык как некое *единство*, единство формы и содержания, обладающее специфическими свойствами и закономерностями... Они были в полном смысле мыслителями, а не цеховыми катедер-грамматиками. Они не боялись ставить “основные” вопросы, когда их приводил к этому ход исследования. Младограмматики же попросту испугались трудностей, и, чтобы избежать их, они заявили, что фундаментальные вопросы, над которыми вдумчиво и смело работала мысль основоположников, вовсе не существуют или, во всяком случае, не являются предметом лингвистики» [Абаев 2006: 18]. Абаев при этом признает, что «основоположники» бывали неаккуратны в обращении с фактами и иногда даже вопиюще им противоречили, а младограмматики могли их в этом поправлять.

Это взгляд извне. А вот взгляд изнутри. Не самый консервативный среди русских языковедов позитивистского типа А. И. Томсон писал Б. М. Ляпунову уже в 1928 г.: «Об общих вопросах имеет право рассуждать только тот, кто сам годами барахтался в разрешении частных вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов» (цит. по [Робинсон 2004: 153]).

Безусловно престижным стало «барахтаться в частных вопросах», именно это стало считаться основой науки. К этому в гуманитарных науках добавлялся принцип историзма, господствовавший и раньше. Считалось, что истинно научное исследование обязательно должно быть историческим, а изучение современного положения стран Востока или новых языков может быть лишь «описательным». И в языкознании, и в востоковедении сочетание этих двух принципов привело к гипертрофированному господству филологии, извлекавшей информацию из древних письменных текстов.

Университетское языкознание и литературоведение в те годы обязательно основывалось на самостоятельном филологическом анализе памятников. К деятельности такого филолога применимы слова Маяковского о поэзии: «Та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды». Интерпретация добычи либо занимала второстепенное место, либо вообще считалась чем-то не очень научным. Позитивизм достигал у этих ученых максимальных размеров.

По воспоминаниям Ю. Н. Тынянова, один из академиков-филологов в 1910-е гг. (скорее всего, В. Н. Перетц) называл всех, кто занимается литературой от XVIII в. и позже, «тру-ля-ля». Здесь этап «добычи радия» занимал немного времени или не требовался вообще, поэтому занятия близкими по времени сюжетами казались традиционным филологам чем-то «легковесным» и не требующим профессионализма; для Тынянова и его друзей, создавших ОПОЯЗ (среди них были и лингвисты, и литературоведы), позиция «стариков» уже казалась прошлым науки. В области древнерусской литературы или истории русского языка первичный филологический этап исследований, этап предложения конъектур, восстановления протографа, исправления ошибок писцов и т. д. занимал столь много времени, что люди, проделавшие этот этап, просто не понимали значимости изучения, скажем, поэтики этой литературы: это для них могло быть только «тру-ля-ля». И собственно литературоведческое, а не филологическое изучение древнерусской литературы началось лишь в середине XX в., с работ Д. С. Лихачева.

В востоковедении также наступило господство филологии. Ученые сузили как количество одновременно изучаемых стран и языков (после В. П. Васильева и И. П. Минаева уже никто не мог изучать и Китай, и Индию), так и проблематику. Показательно, что в этот период, в отличие от предыдущего, русские востоковеды почти перестали ездить в изучаемые страны, а если кто-то, как молодой Н. Я. Марр, ездил, то в поисках рукописей. Современность совсем ушла из активного обихода. Типичная фигура данного периода, например, арабист Н. А. Медников, о котором его ученик И. Ю. Крачковский писал: «Мы видим образцовый, почти безукоризненный перевод арабских текстов, острый и детальный анализ отдельных авторов,

особенно в выяснении вопроса об их взаимоотношениях, сопоставление их показаний в виде таблиц, немало помогающих наглядности вывода. Наряду с таким тонким анализом мы находим и сознательный отказ от каких бы то ни было обобщений или широких выводов, на которые автор не считает себя уполномоченным самим состоянием материала и его разработки» [Крачковский 1958: 198]. В главном своем труде «Палестина» Медников сначала хотел дать обзор источников, их переводы и исторический очерк, но потом решил ограничиться первыми двумя задачами [Там же: 199]. Другой видный востоковед тех лет, гебраист П. К. Коковцов, «всегда старался исходить только из первоисточника» [Там же: 524]. Поскольку расширившийся к тому времени объем знаний уже не позволял владеть «первоисточником» на нескольких языках, то такое ограничение могло вести только к отказу от любых обобщений и от сопоставительных исследований.

Разумеется, для ученых, склонных к «подготовке фактического материала» и к «добыче радия», такая обстановка была очень благоприятна. Их уникальные знания (и славистика, и востоковедение тогда были «штучными науками»), работоспособность при небольшой по объему научной отдаче (ведущие российские востоковеды тех лет не писали или редко писали книги, удовлетворяясь немногочисленными статьями и докладами) вызывали к ним почтение. Как пишет, явно этому сочувствуя, современный петербургский автор, «в те годы востоковеды работали не спеша, материал для небольшой статьи иногда обрабатывали и обдумывали по нескольку лет. Зато и результаты впечатляли» [Васильков 1995: 237–238]. А ученым, склонным к обобщениям, бывало труднее. Их принимали в научном сообществе, когда они демонстрировали свое умение работать в господствующей парадигме. Но их уход в теорию и суждения «с чужих слов» не приветствовались.

В лингвистике наиболее ярким примером ученого, шедшего наперекор сложившейся традиции, был И. А. Бодуэн де Куртенэ, человек исключительно широких интересов (от причин языковых изменений до «блатной музыки» как примера сознательного создания языка), теоретик высокого класса. В Петербургском университете в начале XX в. он создал школу, состоявшую из ученых того же склада. Но филологам его подходы не были близки; из-за этого (а также из-за левых политических взглядов) крупнейший тогда в России теоретик языка так и не стал академиком.

В востоковедении стремиться к обобщениям было еще труднее. Подтверждение этому — противоречивая судьба самого теоретичного из русских востоковедов того времени — Н. Я. Марра. Он умел работать так, как было тогда положено востоковеду, и выдвинулся находками и публикациями древнегрузинских и древнеармянских памятников (а также ценными по результатам археологическими раскопками). Но его влекли тайны мировой истории и общие закономерности развития человеческого языка (темы, табуированные в позитивистской науке). О характере Марра лучше всего сказал его близкий ученик В. И. Абаев: у Марра «синтез решительно преобладал над анализом, обобщения над фактами» [Абаев 2006: 97]; при активности «творческого центра», «в котором рождаются идеи», у Марра был

ослаблен «центр торможения», «в котором эти идеи подвергаются строгой критической проверке, контролю, селекции» [Абаев 2006: 98]. Кстати, можно у Марра найти некоторое сходство с О. И. Сенковским, В. П. Васильевым и другими учеными раннего периода, но обстановка и уровень знаний к тому времени изменились.

Если бы Марр попал в среду близких ему по складу ученых, то, может быть, эти недостатки как-то бы нейтрализовались. Но петербургские востоковеды конца XIX — начала XX в., с одной стороны, не интересовались теоретическими проблемами, волновавшими Марра, с другой — не считали себя вправе критиковать его построения, поскольку он оперировал материалом кавказских языков, а что-либо писать по «чужим» языкам и культурам правила их поведения запрещали. Все это усугубляло ситуацию. Как пишет В. И. Абаев, «грузинский язык, армяно-грузинская филология, яфетическое языкознание, учение о языке “в мировом масштабе” — таковы основные этапы этой неудержимой научной экспансии» [Там же: 88]. На каждом следующем этапе компетентность ученого резко уменьшалась, а аппетиты росли, и все более Марр уходил в дебри фантазий (подробнее см. нашу книгу [Алпатов 1991a]).

Новый виток развития науки стал обозначаться в России (как и на Западе) во втором десятилетии XX в., окончательно выявившись в нашей стране после Октября, когда к научным изменениям добавились общественные. Новые тенденции обозначились сразу в двух отношениях. Во-первых, стало отменяться требование обязательного историзма, и наметился интерес к современности. Во-вторых, резко возросло стремление строить теории или переносить в одну область науки теории, выработанные для иных целей. В лингвистике манифестом нового этапа стал «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра (появился в 1916 г.), в литературоведении в России сложилась формальная школа (большинство представителей которой были в той или иной степени учениками И. А. Бодуэна де Куртенэ). В русском востоковедении уже после русско-японской войны наметился интерес к современности и к нетрадиционным темам, вроде народной культуры. А среди популярных теорий, распространявшихся в России, а затем и в СССР в разных науках, можно назвать и концепцию О. Шпенглера, и фрейдизм, и, разумеется, марксизм, тогда, безусловно, интересовавший многих. Среди ученых нового поколения и нового склада отметим и востоковеда Н. И. Конрада, сразу обратившегося к современной японской культуре, и начинавшего с японистики ученика И. А. Бодуэна де Куртенэ Е. Д. Поливанова, и Н. С. Трубецкого, чьи идеи, включая евразийские, сформировались, как показывает его переписка [Letters 1994: 18], еще до его эмиграции.

В наше время ученые, склонные к фактографии, иногда доказывают, что старые добрые позитивистские исследования в России прекратились лишь под давлением извне. Археолог А. А. Формозов писал в 90-е гг.: «Я был воспитан в уважении к традициям русской науки конца XIX — начала XX в., позитивистской по духу. Я убежден, что эти традиции были порваны и растоптаны после революции» [Формозов 1995: 226]. Однако для отказа от этих традиций имелись не только внешние, но и внутренние причины; отходить от них стали и на Западе (в языкознании более

явно, чем в европейском востоковедении, где груз прошлого оказался существенным). В нашей стране, разумеется, после 1917 г. эти процессы значительно ускорились.

Из сложившихся ученых старшего поколения на «новые рельсы» перешли немногие, и самой заметной фигурой стал давно вышедший за пределы старой парадигмы Н. Я. Марр, единственный член Императорской академии наук, в конце концов вступивший в партию большевиков. Языковеды же старой научной парадигмы не принимали новые научные подходы, причем по нескольким причинам. Им не по душе были и отход от углубленного изучения древних памятников в сторону сюжетов, которые один из них назвал «Тру-ля-ля», и склонность к обобщениям без подтверждения положений самостоятельно собранными эмпирическими фактами. Богатый материал о взглядах и настроениях таких ученых содержит книга М. А. Робинсона [Робинсон 2004], вводящая в научный оборот их переписку.

В 1926 или 1927 г. в рукописном отделе Исторического музея в Москве академик А. И. Соболевский, увидев совсем молодого коллегу П. С. Кузнецова, приветствовал его «словами: “Хорошими вещами занимаетесь, молодой человек! Желаю вам успеха!”», поскольку «молодежь в то время мало занималась древними рукописями» [Кузнецов 2003: 179]. Но ученые новой парадигмы если и интересовались рукописями, то не как объектом исследования, как это было для Соболевского, а в качестве источника сведений по исторической фонологии русского языка, их влекла интерпретация, чуждая «старикам».

Ученые старой школы резко и политически, и научно оценивали Н. Я. Марра. Для А. И. Томсона «большинство сопоставлений Марра» заставляют «только жалеть об исписанной бумаге» [Робинсон 2004: 169–170]. Столь же неприемлемы были для них идеи лингвистов-новаторов. А. И. Томсон в 1934 г. писал Б. М. Ляпунову про Н. С. Трубецкого и польского ученого В. Дорошевского: «Что это все означает? Искание новых путей? Которые, однако, заведомо избегают углубления. По-моему, лишь одно: слабосилие. Не могут больше преодолевать подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков, особенно по сравнительному языковедению, и потому вместо углубления пускаются или в историческое фантазерство — маразм (видимо, намек на марристов. — В. А.), или в игру — рассуждения без истории, классификации и пр. ...Очевидно, силы истощены. Вместо изучения реальных фактов — высокопарное беззастенчивое переливание из пустого в порожнее» (цит. по [Робинсон 2004: 175]).

«Игра», «переливание из пустого в порожнее» — это то же самое «тру-ля-ля». А критикуя научных противников, А. И. Томсон фактически перечисляет принципы, которым он верен: необходимость собственного «изучения накопившихся данных», длительность «подготовительной работы», обязательный исторический подход и опора на «сравнительное языковедение», словом, работа с «накопившимися данными», но по-старому. А вот для вышеупомянутого В. И. Абаева (ученика Н. Я. Марра, но в 30-е гг. уже шедшего своим путем) «широта и глубина мысли» — как раз то, что Томсону казалось «слабосилием» и «легковесностью». Зато

единственно приемлемый для Томсона научный метод оценивается Абаевым как «бескрылое крохоборство». По его мнению, адекватное описание фактов не обязательно связано с их более адекватным объяснением, что полностью противоречило самой сути подхода Томсона и его единомышленников. Однако, отказываясь от «бескрылого крохоборства», «дух времени» мог вести к противоположной крайности полного противоречия фактам, что постоянно происходило у Марра в 1920–30-е гг.

Нельзя, однако, считать, что «проблемность» была свойственна лишь ученым чисто советского типа. Вот, например, академик Н. И. Конрад, который в конце жизни, в 60-е гг., нередко воспринимался гуманитариями новых поколений как олицетворение классической дореволюционной науки. Но, не походя на многих своих современников культурой, знаниями и опорой на традиции, он значительно отличался и от классиков востоковедения конца XIX — начала XX в. За долгую жизнь он, например, не опубликовал ни одной рукописи, а если обращался к древним японским и китайским памятникам, то использовал их современные комментированные издания. Многие его работы посвящены современности, но и там, где речь шла о былых эпохах, он постоянно проводил параллели с современностью или совсем недавним прошлым. Конрад постоянно строил общие концепции, сначала для Японии и Китая, в частности концепцию японского феодализма, а затем на все более широком материале. Конрад был последним у нас востоковедом, профессионально занимавшимся одновременно Китаем и Японией, но он с 30-х гг. снял для себя табу позитивизма не писать ни о чем «с чужих слов» и начал сопоставлять самые разные страны и культуры, в том числе те, языками которых он не владел. В разные годы он то сопоставлял китайского историка Сыма Цяня с греческим историком Полибием [Конрад 1965], то строил сопоставительную типологию жанров в средневековых литературах Запада и Дальнего Востока [Конрад 1935], то, наконец, предложил и развивал во многих публикациях 50–60-х гг. широкую концепцию «восточного Ренессанса», связав между собой явления литературы Китая VII–VIII вв., Ирана и Средней Азии X–XIII вв. и Европы XIII–XVI вв.

Шли годы. Конфликт ученого-фактографа и ученого-теоретика в чем-то стал сглаживаться. В языкознании определенную роль здесь сыграло выступление И. В. Сталина в 1950 г., развенчавшее более не соответствовавшее конъюнктуре учение Марра и реабилитировавшее русскую дореволюционную науку о языке, прежде всего позитивистскую. «Материализмом в языкознании было объявлено то, что раньше называли “буржуазной наукой”» [Звегинцев 1989: 20]. После этого уход в историческое изучение языков уже не считался пороком. Но со второй половины 50-х гг. опять начался период активного выдвижения новых лингвистических теорий, связанный со ставшими в это время проникать к нам западными идеями структурализма, а позднее генеративизма.

Вместе с тем помимо завуалированного марксистскими фразами возвращения к фактографии существовала и непрерывная традиция заниматься только ею, весь советский период заметная у гуманитариев разных специальностей в Ленинграде.

Этот город был главным центром русской науки до революции, традиции там были сильнее, чем где бы то ни было. Традиция заниматься конкретными фактами, ценить знание языков, особенно древних, и источников и не строить общие концепции, не основанные на «первоисточниках», там никогда не умирала и существует поныне. Вспоминается, как в 1977 г. на I Международном симпозиуме по восточным языкам востоковедов социалистических стран в Москве выступал крупнейший ленинградский тюрколог академик А. Н. Кононов. Он наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал, что каждый тюрколог должен за свою жизнь издать и прокомментировать хотя бы один памятник, тогда он получит отпущение грехов и может заниматься другими сюжетами. Московский ученый вряд ли бы сказал такое.

Но как бы ни менялись теории, они в большинстве своем приближают нас к истине, пусть не полностью и с разных сторон (хотя бывают и тупиковые направления, вроде марризма). А сбором и первичной обработкой фактов наука не в состоянии ограничиться: она неизбежно опирается на некоторую теорию, пусть это не всегда осознает исследователь. Бывают периоды, когда наука временно сосредоточена на конкретном фактическом материале и на шлифовке методов его получения. Но неизменно наступают времена кризиса и перелома, когда необходим прорыв в теории, нередко приобретающий характер научной революции, когда не всегда нужно искать новые факты, достаточно по-новому интерпретировать то, что известно. Словом, на первый план в развитии науки выходит то описание, то объяснение. Между тем одни ученые по складу характера любят одно, другие — другое. И споры теоретиков и фактографов вечны. В таких спорах может родиться истина, нельзя только считать собственные склонности и привычные традиции чем-то незыблемым и единственно верным.

ОТКУДА ПРОИСХОДЯТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ?

Все мы с детства знаем, что язык — это множество слов, которые составляют предложения, что слова разделяются на части речи, что, кроме того, слова членятся на звуки и на слоги. Какие-то представления об этом имеются у каждого человека, но окончательное знание о единицах языка современные люди получают в школе. Например, слова мы на письме разделяем пробелами, умеем их склонять и спрягать, можем пользоваться словарями. Деление текста на слова обычно бывает очевидно: мы хорошо знаем, что во фразе *Книга лежит на столе* — четыре слова. Всё это относится не только к родному, но и к изучаемым нами иностранным языкам. Русское *слово*, как и английское *word*, французское *mot* и др., — самая очевидная единица языка.

Об этом не раз писали ученые. Видный отечественный лингвист П. С. Кузнецов (1899–1968) указывал: «Слово (применительно к любому языку) представляет собой едва ли не единственную единицу, представление о которой имеет любой говорящий, даже неграмотный, чего нельзя сказать... о других, значимых единицах, больших и меньших слова» [Кузнецов 1964: 75]. Великий швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857–1913) утверждал, что «слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка» [Соссюр 1977: 143]. Отмечу и высказывание выдающегося русского ученого XIX в. А. А. Потебни (1835–1891): «Только слово имеет в языке объективное бытие» [Потебня 1958: 26]. И Ф. де Соссюр, и А. А. Потебня отмечали объективность существования слова.

Но не случайно и упоминание трудностей у Ф. де Соссюра. Известно, что определений слова, которые были бы общеприняты и всех удовлетворяли, не существует. Лингвист И. Е. Аничков в середине XX в. обнаружил у 33 ученых им лингвистов 34 разных определения слова [Аничков 1997: 228–229]. А потом всё чаще стали высказываться сомнения даже в принципиальной возможности такого определения. Академик Д. Н. Шмелев писал в 70-х гг. XX в.: «Уже предложено бесчисленное количество определений слова, которые существенно отличаются друг от друга и редко использовались кем-нибудь, кроме (да и то не всегда) самих их авторов.... Сама возможность появления приемлемой для большинства лингвистов дефиниции слова представляется, по крайней мере сейчас, довольно сомнительной» [Шмелев 1973: 35]. С тех пор мало что изменилось.

Первое определение слова предложил еще Аристотель в IV в. до н. э., однако дефиниции слова в современном смысле появились сравнительно недавно, на грани XIX и XX вв. Ранее определения этого термина бывали крайне неопределенными, что, однако, никак не мешало выделять слова в привычных языках. Наши устойчивые интуитивные представления о слове не требуют его строгих определений; конечно, в Европе играли роль и традиции отделения слов пробелами.

К концу XIX в. однако ситуация стала меняться по двум причинам. Во-первых, методы науки о языке становились строже и точнее. Во-вторых, в научный оборот вводился материал всё новых языков, по строю отличных от языков Европы. Традиции слитного и раздельного написания для бесписьменных языков и даже для ряда языков, имеющих письменность, не было (в Китае или Японии пишут без пробела), интуиция носителя иного языка помогала мало, и надо было искать строгие критерии выделения слов.

Одним из первых ученых, предлагавших такие критерии выделения слов в тексте (устном или письменном), стал выдающийся лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929). В 1904 г. ученый показал, что предложение может члениться двумя способами: с фонетической и морфологической точки зрения. При первом членении, основанном на критериях ударения, паузы и др., выделяются, в частности, фонетические слова, которые либо равны слову в привычном смысле, либо больше его: *на столе* — одно фонетическое слово. При втором членении выделяются единицы трех уровней: «сложные синтаксические единицы», «простые синтаксические единицы» («семасиологически-морфологические слова») и морфемы (минимальные значимые единицы). Предложение *На то щука в море, чтоб карась не дремал* делится на две сложные синтаксические единицы: *На то щука в море* и *Чтоб карась не дремал*. Затем выделяются пять «семасиологически-морфологических слов»: *на то, щука, в море, чтоб не дремал, карась* и далее тринадцать морфем [Бодуэн 1904: 534–535]. Традиционному понятию слова здесь соответствуют две единицы, и ни одна из них не совпадает полностью со словом в традиционном смысле: например, *в море* — одно фонетическое слово и одно «семасиологически-морфологическое слово», которое сразу делится на три морфемы: предлог, корень и окончание.

Ближайший последователь Ф. де Соссюра Шарль Балли (1865–1947) в книге «Общая лингвистика и вопросы французского языка» (1932) также предложил вместо единого слова выделять две единицы, но несколько иные. Это семантема (лексическое слово), «знак, выражающий чисто лексическое простое или сложное понятие», и синтаксическая молекула, состоящая из семантемы плюс «грамматические знаки», позволяющие ей функционировать в предложении. Во французском языке эти понятия обычно совпадают: *loup* ‘волк’ — сразу то и другое, но латинский язык «топит семантему в молекуле»: *lupus* ‘волк’ — молекула, состоящая из семантемы *lup-* и окончания [Балли 1955: 315–316]. Применив эти идеи к русскому языку, получим, что *окно* — молекула, а *окн-* — семантема. А служебные слова не попадут ни в тот, ни в другой класс.

Два признака для слова выделял в статье 1952 г. и известный советский лингвист Александр Иванович Смирницкий (1903–1954). Один из этих признаков — цельнооформленность: наличие единого грамматического показателя, относящегося ко всему слову. Например, в звуковом комплексе *седобородый* показатель *-ый* относится ко всему комплексу, тем самым это слово, а в комплексе *седая борода* такого показателя нет, значит, это не слово, а два слова. Другой признак — идиоматичность: наличие у комплекса единого значения, не сводимого к сумме значений компонентов: не всякий пишущий человек — *писатель*, и не всё, что идет при помощи пара, — *пароход*. Однако А. И. Смирницкий указывал, что эти два признака могут не совпадать в обе стороны: то же слово *седобородый* не идиоматично, а *железная дорога* обладает признаком идиоматичности, но не признаком цельнооформленности. В итоге он пришел к выводу, что слова должны выделяться по цельнооформленности, а идиоматичность выделяет некоторую другую единицу [Смирницкий 1952: 197].

У всех трех авторов традиционное понятие слова распадается на два, выделяемые по разным критериям. Скажем, фонетические критерии использовал из троих лишь И. А. Бодуэн де Куртенэ. На основе значения (семантики) выделили одну из двух единиц Ш. Балли и А. И. Смирницкий, а у И. А. Бодуэна де Куртенэ семантические признаки учитываются лишь в комплексе с другими. «Семантема» Ш. Балли и идиоматичная единица у А. И. Смирницкого — одно и то же по сути, но не по границам: Смирницкий писал, что идиоматичность присуща слову или словосочетанию, но слово с лексической точки зрения — это *окно*, *окна*, *окну*, а не *окн-*, поскольку *окн-* — не слово, а только, по его выражению, «обрубок» [Смирницкий 1955: 14]. Синтаксические критерии учитывали И. А. Бодуэн де Куртенэ и Ш. Балли, но (по крайней мере, напрямую) не А. И. Смирницкий. На месте слова может выделяться и более двух единиц. Видный китаист и лингвист-теоретик Сергей Евгеньевич Яхонтов в начале 60-х гг. по убедительным основаниям предложил выделять их пять [Яхонтов 1963].

Наряду с такими «плюралистическими» определениями слова бывали и «монистические», исходившие из одного основополагающего признака. Одно из определений такого рода принадлежало знаменитому американскому лингвисту Леонарду Блумфилду (1887–1949). Он в книге 1933 г. предложил определять слово как «минимальную свободную форму» [Блумфилд 1968: 187], т. е. как минимальную звуковую последовательность, способную быть отдельным высказыванием (скажем, репликой в диалоге). Близкую точку зрения независимо от него высказал в своей грамматике японского языка (1930) и видный советский языковед Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938): «Слово есть... тот комплекс... который может быть употреблен — при тех или иных условиях — в качестве целой фразы, но который в свою очередь уже не разложим на части, способные фигурировать в качестве целой фразы» [Плетнер, Поливанов 1930: 144–145]. Оба ученых исходили здесь из синтаксических критериев.

В отличие от традиционных определений слова с такими определениями можно было работать, однако их последовательное применение могло приводить

к трудностям. Не раз приводился (в том числе Е. Д. Поливановым в упомянутой работе) пример диалога: — *Вам чай с сахаром или без?* — *Без*, как будто свидетельствующий о том, что, согласно данному подходу, *без* — слово. Но произнести в том же контексте в качестве реплики противопоставленный ему предлог *с* явно затруднительно. А американский этнолог и лингвист Франц Боас (учитель Л. Блумфилда) указывал, что и английское окончание прошедшего времени *-ed* (видимо, в побуквенном произношении) может в определенном контексте стать высказыванием [Боас 1964: 117–118].

Определения Л. Блумфилда и Е. Д. Поливанова более всего расходятся с традицией в отношении служебных слов, которые с трудом становятся высказываниями или не становятся ими вовсе. Для японского языка Е. Д. Поливанов закономерно пришел к выводу, что в нем служебных слов нет (точка зрения, более никем не принятая в японистике). Для русского же языка он указал, что предлог *без*, способный употребляться самостоятельно, находится в промежутке между аффиксами и служебными словами (стало быть, предлог *с* — аффикс), но нигде систематически не пересматривал принятое в русских грамматиках членение на слова. А Л. Блумфилд пришел к явному противоречию: в книге [Блумфилд 1968], несмотря на вышеприведенное определение слова, везде, где он касался родного английского языка, он понимал под словом не «минимальную свободную форму», а нечто иное: последовательность между пробелами в стандартной орфографии.

Вообще служебные слова (по крайней мере, наиболее типичные из них) не попадали под большинство определений слова. Недаром у И. А. Бодуэна де Куртенэ и Е. Д. Поливанова они оказывались частями слов, что не соответствовало традиции. По-видимому, главное свойство служебных слов, отличающее их от аффиксов, — возможность вставки слова между служебным словом и словом, с которым оно непосредственно связано: *на столе — на большом столе*. Такие признаки также могли быть основанием для определения слова. Например, японист другого поколения Игорь Фридрихович Вардуль (1923–1998) предложил такое определение слова: «Вклинение слова в ряд морфем возможно только на стыке морфем, принадлежащих разным словам... Морфема, способная вклиниваться между словами, сама есть слово» [Вардуль 1964: 35]. Естественно, у него границы слов в японском языке иные, чем у Е. Д. Поливанова: часть аффиксов стала словами.

Еще один случай несовпадения тех или иных определений с традициями происходит в идиоматических словосочетаниях. Даже у этимологов нет общепринятой трактовки происхождения слов *зга* и *кулички*, тем более нельзя придать им какое-либо значение в современном языке. *Ничтоже сумняшеся* — вроде бы два слова, первое из которых даже сохраняет ассоциативную связь со словом *ничтожный*, но смысл целого нельзя разложить на смысл частей (если, конечно, не обратиться к старославянскому языку, но это всё же иной язык). Иногда значение слова выделяется лишь остаточно: С. Е. Яхонтов писал, что в словарях записываются фактически не существующие формы именительного падежа *усталь* и *удерж*, хотя реально есть лишь сочетания *без устали* и *без удержу* [Яхонтов 1963: 166].

Примеры показывают, что любые определения слова, связанные с его значением, также не всегда работают.

Еще вопрос — применимость тех или иных определений к тем или иным языкам. Традиция давала возможность Л. Блумфилду или Е. Д. Поливанову быть последовательными при обращении к индейским или японскому языкам, но ограничивала их возможности для их родных языков. Сказывался строй языка. Скажем, признак цельнооформленности А. И. Смирницкого основан на строе русского языка, который, как и латинский, по выражению Ш. Балли, «топит семантему в молекуле», в котором развито склонение и спряжение. Но для французского или английского языка грамматическая оформленность в смысле, принятом в русистике, — не норма, а исключение. А. И. Смирницкий пытался (вместе с О. С. Ахмановой) применять свои идеи не только к русскому, но и к английскому языку, и оказалось, что там с цельнооформленностью дело обстоит хуже. Для последовательностей вроде *stone wall* ‘каменная стена’ не нашлось решающих критериев в пользу того, чтобы сделать окончательный выбор и признать их либо словами, либо словосочетаниями [Смирницкий, Ахманова 1952: 116]. Еще меньше применим критерий цельнооформленности, скажем, к китайскому языку.

Проблема оказывается еще сложнее, если обратиться к лингвистическим традициям за пределами Европы. Так, у китайцев до знакомства с западной наукой единственной единицей лексики было *цзы*. Это слог, за которым закреплено определенное значение (на письме *цзы* соответствует отдельный иероглиф). Эти единицы включались в словари. С европейской точки зрения *цзы*, прежде всего, соответствуют корню. Даже если не признавать в китайском языке существование аффиксации (такая точка зрения распространена, хотя не общепринята), то сложные слова, безусловно, выделяются. Однако промежуточных единиц между *цзы* и предложением не существовало, *цзы* — и корень, и в то же время единица лексики, т. е. слово. А в Японии, несколько огрубляя ситуацию, можно сказать, что национальная лингвистическая традиция и сейчас выделяет в качестве знаменательной единицы то, что мы называем основой слова. Слово (*го*) может состоять из нескольких корней, включать в себя словообразовательные аффиксы, но большая часть выделяемых всеми европейскими японистами аффиксов словоизменения считается отдельными служебными словами. Подробнее см. [Алпатов 2005б: 35–36].

Итак, слово при кажущейся ясности оказывается неуловимым понятием. Все попытки определить его по лингвистическим свойствам оказываются не до конца убедительными. Слово может выделяться по разнородным критериям: фонетическим, морфологическим, синтаксическим, семантическим. Все они имеют некоторую объективную основу и, по-видимому, интуитивно ощущаются как значимые, но имеют определенный разброс между собой и в чем-то не совпадают с традицией. Если морфема или предложение допускают более или менее однозначные определения, то со словом это не так. Вдобавок в других традициях единица, соответствующая слову по значимости (в том числе фиксируемая в словарях), может

не совпадать со словом по лингвистическим свойствам. И если даже лингвист предлагает какое-то определение слова, остается не очевидным, почему именно эта единица «неотступно представляется нашему уму как нечто центральное в механизме языка», по выражению Ф. де Соссюра. И как быть с его «объективным бытием», по А. А. Потебне?

Тогда встает закономерный вопрос: а нужно ли нам вообще слово? Такой вопрос поставила американская лингвистика в 30–40-е гг. XX в. Уже дескриптивное направление, господствовавшее в то время в науке о языке США, ставя задачу описывать язык максимально строго и формально, придало слову второстепенное значение по сравнению с морфемой, а некоторые его представители пытались обойтись без слова. С конца 50-х — начала 60-х гг. на смену дескриптивизму пришло новое направление — генеративизм, лидером которого много лет является Н. Хомский. В нем задача описания языка сменилась задачей его объяснения, но подход к слову не изменился.

И в дескриптивизме, и в генеративизме используется так называемая грамматика непосредственно составляющих, отличная от привычной для России грамматики зависимостей, в которой слова соединяются стрелками, обозначающими синтаксическую связь. Грамматика непосредственно составляющих несколько напоминает членение И. А. Бодуэна де Куртене: здесь также предложение делится на составные части вплоть до морфем. Но имеется одна существенная разница: каждый раз производится бинарное членение той или иной последовательности на части, связанные грамматически. Предложение сначала делится на группу подлежащего (подлежащее с зависимыми от него словами) и группу сказуемого (всё остальное), потом от группы сказуемого отчленяется группа прямого дополнения и т. д. На первых шагах выделяются компоненты, связанные синтаксически, но затем на таких же правах могут выделяться и части слов, связанные морфологическими связями. Особый уровень слов при таком подходе оказывается излишним, а в грамматиках Н. Хомского и его последователей нет морфологического уровня, который еще был у дескриптивистов: морфология включается в синтаксис.

Такой тип исследований, основанный на идее о том, что основополагающие отношения в языке — синтаксические, а морфология — просто часть синтаксиса, сейчас широко распространен. Однако далеко не все лингвисты его принимают, особенно за пределами США. И сами американские ученые, даже используя его в теоретических исследованиях, обычно основанных на анализе английских примеров, могут поступать иначе, исследуя конкретные языки. Например, одним из первых дескриптивистов, предлагавших обходиться без слова, был Бернард Блок; однако в его грамматике японского языка есть раздел, посвященный критериям членения на слова [Bloch 1970: 1–24].

Проблема слова может быть обойдена, но она не перестает существовать. И представляется, что путь к ее разрешению лежит не в «чистой» лингвистике, где трудности не преодолены, что явно не случайно, а в исследованиях механизмов речи.

До последнего времени науке непосредственно была доступна лишь часть этих механизмов, прежде всего голосовой аппарат. Процессы, происходящие в мозгу, не поддавались прямому наблюдению, а без их изучения любые лингвистические исследования представляют собой лишь их модель, оторванную от реальности. Существенные данные, однако, дают исследования афазий (речевых расстройств) и детской речи.

В области изучения афазий большой материал получил еще в годы Великой Отечественной войны выдающийся советский исследователь А. Р. Лурия (1902–1977). Занимаясь восстановлением речевых функций у больных, контуженных на фронте, он выделил несколько типов афазий. Одну из них он назвал «телеграфный стиль». Вот как такой больной пытался пересказать содержание фильма: «Одесса! Жулик! Туда... Учиться... Море... Во... Во-до-лаз! Армена... Па-роход... Пошло... Ох! Батум! Барышня... Эх! Ми-ли-цинер... Эх!.. Знаю!.. Кас-са!.. Денег. Эх!.. Папиросы. Эх!.. Знаю!.. Парень... Пиво... Усы... Эх... Денег» [Лурия 1947: 91]. Можно видеть, что словарный запас у таких больных сохранялся, но был нарушен механизм сочетания слов, они могли говорить лишь словами-предложениями. У них терялась и способность склонять и спрягать слова, делить их на составные части, в том числе на звуки [Там же: 84, 86, 90]. Слово превращалось в цельную, не членимую единицу. Впрочем, наравне со словами могли функционировать и терявшие членимость хорошо известные больному до ранения словосочетания. Например, он мог назвать свою должность на фронте *начальник радиостанции* [Там же: 43].

При другой афазии — сенсорной — речь выглядит иначе: «Мне прямо сюда... и всё... вот такое — раз. Я не знаю... вот так вот... И уже не знаю... Когда я тут — и никак... ничего... никак... Сейчас ничего... а то — никак... Я когда-то... ох-ох-ох! Хорошо! А сейчас никак» [Там же: 133]. Сочетание слов не нарушено, но словарный запас сохранился лишь в небольшой части. Остаются наиболее абстрактные слова, союзы, предлоги, местоимения, могут также сохраниться и наиболее часто произносимые слова и целые фразы. Больной произносил и понимал фразу *Смерть немецким захватчикам!*, но не улавливал слово *смерть* [Там же: 213].

Любопытны и проводившиеся в начале 80-х гг. в Ленинграде исследования Д. Л. Спивака [Спивак 1986], изучавшего процесс выхода из строя языкового механизма при инсулиновой терапии (лечение больных шизофренией большими дозами инсулина, приводящее к временной потере сознания). Важно подчеркнуть, что эти больные вне опытов нормально владели речью. Получалась как бы искусственная афазия, которую можно было дозировать и исследовать на различных этапах. На всех этапах сохранялись слова, хотя словарный запас постепенно уменьшался (у некоторых больных в числе наиболее долго сохраняемой оказывалась нецензурная лексика), а умение склонять и спрягать утрачивалось. Членимость слов исчезала, и на определенном этапе грамматические отношения в предложении начинали передаваться порядком слов.

В последнее время активно работает петербургский коллектив во главе с Т. В. Черниговской (теперь уже ставший и международным), наряду с экспериментальным исследованием афазий ведущий и непосредственные исследования речевых механизмов мозга. Эти исследования также подтверждают центральную роль слова в порождении речи: «Можно говорить о “слоях”, составляющих язык: это *лексикон* — сложно и по разным принципам организованные списки лексем, словоформ и т. д.; *вычислительные процедуры*, обеспечивающие грамматику (морфологию, синтаксис, семантику и фонологию), механизмы членения речевого континуума, поступающего извне, и прагматика» [Черниговская 2010: 631]. Как сказано в одной из публикаций данного коллектива, среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания, не оставляя глагол морфологически неформленным» [Черниговская и др. 2009: 15]. Разумеется, это относится не только к глаголам, но и к именам.

Весь этот материал полностью соответствует выводу, который сделал А. Р. Лурия: «Основным динамическим единством нормальных артикуляторных процессов является слово» [Лурия 1947: 84]. Это подтверждают и исследования детской речи, когда сначала возникают слова, а потом уже они начинают комбинироваться и члениться.

Слова как норма хранятся в памяти человека и в большинстве случаев в процессе речи берутся в готовом виде. Это не исключает возможности хранения в памяти более протяженных единиц от словосочетаний вроде *начальник радиостанции* до целых текстов (молитвы, стихи, текст воинской присяги и т. д.). Механизмы хранения исходных единиц и их комбинирования отделены друг от друга, в связи с чем при разных видах афазий один механизм может выходить из строя при сохранении другого. Единицы, хранимые в мозгу, не обязательно должны быть совершенно однородными по своим свойствам, это и обеспечивает разброс между разными лингвистическими определениями слова.

Но все эти исследования, которые в последнее время активно ведутся в разных странах, подтверждают то, что в качестве догадок высказывали многие ученые разного времени. Представляется, что именно так следует понимать приводившиеся выше слова Ф. де Соссюра о том, что слово «представляется нашему уму как нечто центральное в механизме языка», и А. А. Потебни: «Только слово имеет в языке объективное бытие». Добавлю и высказывание еще одного крупного отечественного лингвиста Л. В. Щербы (1880–1944): слова — «кирпичи, из которых строится наша речь» [Щерба 1964: 314]. Он в связи с этим указывал: «Что такое “слово”? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному» [Там же: 314]. Если понятие слова строго связывать с его структурными особенностями, то это высказывание уязвимо для критики: как писал А. И. Смирницкий, «если “слово” будет совершенно разными единицами в разных языках, то почему вообще эти разные единицы можно называть словом?» [Смирницкий 1952: 183]. Но если понимать под словом психолингвистическую единицу, свойства которой могут быть разными в зависимости от строя языка, то подход Л. В. Щербы, безусловно, правомерен.

Чисто лингвистическими методами, без обращения к механизмам мозга правомерность вышеприведенных высказываний доказать не удалось, но они все-таки верны. Именно с этой точки зрения важно и противопоставление воспроизводимых и производимых единиц языка, введенное А. И. Смирницким [Смирницкий 1954: 4–6]: воспроизводимые единицы используются носителями языка в готовом виде, а производимые конструируются; слова, как правило, воспроизводимы, словосочетания и предложения производимы, хотя бывают исключения, связанные с идиоматичностью некоторых словосочетаний и предложений. Его же высказывание о том, что слово — не «обрубок», относятся сюда же: «обрубок» — метафора, отражающая наши психолингвистические представления. Л. В. Щерба и А. И. Смирницкий прямо не апеллировали к психике, поскольку в лингвистике их времени это было не принято, но, по сути, они близко подошли к психолингвистическому пониманию слова.

Если же обратиться к языкам народов, создавших собственные лингвистические традиции, то оказывается, что и там роль, аналогичную роли слова в наших языках, выполняют единицы, которые принято считать первичными. Исследования японской детской речи показывают, что у детей формируются именно *go*, см. их обзор в статье «О психологической адекватности основных понятий европейской и японской лингвистической традиции» в настоящем сборнике.

Но и для менее экзотических, с нашей точки зрения, языков ситуация может отличаться от ситуации в синтетических языках (русский, латинский и др.). Видный французский лингвист А. Мейе (1866–1936), говоря о грамматическом строе древних индоевропейских языков, писал: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен... Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменительными элементами... В латинском языке для значения “волк” нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus, lupo, lupum, lupi, lupō, lupōs, lupōrum, lupis*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием... Все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше — другие позже, обнаружили склонность упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» [Мейе 1938: 426–427]. В результате во французском языке есть лишь слова, а не «совокупности форм». То есть морфологический тип, при котором слова изменяются, для французского ученого — «крайне сложный» и «неясный» прием. Автор комментариев к русскому изданию книги А. Мейе Р. О. Шор справедливо пишет: «Как понимание структуры отдельного слова... так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка — языка синтетического строя — тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка — языка аналитического строя» [Шор 1938: 500].

Представляется, что и идеи Ш. Балли, для которого естественно совпадение единицы лексики с основой слова, основаны на французском эталоне, с точки зрения которого строй латинского языка — отклонение. И иначе смотрел на язык,

например, А. И. Смирницкий, для которого основа слова — «обрубок», а цельнооформленность — важное и закономерное свойство слова. Для носителей русского языка норма — грамматически оформленное слово, в структуру которого нормально должны входить окончания, а совпадение слова с основой (скажем, у наречия или междометия) — исключение. Исследования афазий это подтверждают. На этом основана и русская лингвистическая традиция в отличие от французской (последняя традиция первоначально исходила из иного, латинского эталона, но потом стала рассуждать иначе). А исследования афазий в английском языке (по строю близком к французскому) приводят к выводу, что регулярные формы прошедшего времени с элементом *-ed* (который принято считать аффиксом) производятся, а не воспроизводятся (нерегулярные формы, однако, воспроизводятся) [Черниговская и др. 2009: 14]. Выше приводился пример Ф. Боаса, видимо не имеющий русских аналогов. Таким образом, и в европейских аналитических языках базовая единица близка к основе, как и в японском языке, хотя грамматические аффиксы и отдельные слова здесь традиционно различаются.

Помимо проблемы выделения слов, другой «вечной» проблемой науки о языке является проблема классов слов, т. е. частей речи. Отмечу, что эта проблема лишь частично связана с проблемой выделения слов: от того, как мы проведем границы слов, может измениться классификация служебных слов, но, например, глаголы в японском языке выделяются и в японской традиции, и в европейской японистике, хотя границы глаголов там проводятся по-разному.

В Европе выделять части речи начали в античное время. Во II в. до н. э. появилась классификация из 9 частей речи (сначала для древнегреческого языка, потом была перенесена на другие языки), сохранившаяся до сих пор с некоторыми модификациями, главными из которых были разделение когда-то единого класса имен на имена существительные, прилагательные и числительные и объединение в один класс глаголов и причастий. Слова делились, прежде всего, на основе их морфологии; Марк Теренций Варрон (Рим, I в. до н. э.) определял имена как слова, которые склоняются и не спрягаются, тогда как глаголы спрягаются и не склоняются, причастия склоняются и спрягаются, а наречия не склоняются и не спрягаются [История 1980: 240].

Традиционная система частей речи в целом подходит к русскому языку, хотя по частным вопросам у русистов идут споры: некоторые ученые выделяют неканонические части речи (категория состояния, аналитическое прилагательное), другие нет, а ряд слов вообще не попадает ни в один привычный класс (скажем, *Да*, *Нет*). Используется она и для западных языков, хотя там мало что сохранилось от когда-то богатого склонения и спряжения. Но в языках иного строя всё может быть не так. Японские прилагательные не склоняются, зато, как и глаголы, изменяются по временам и наклонениям, а в китайском или вьетнамском языках нет ни склонения, ни спряжения.

Часто считается, что части речи должны выделяться по значению: существительные обозначают предметы, животных или людей; прилагательные обозначают

признаки; глаголы обозначают действия или состояния и т. д. Но так называемые абстрактные, в большинстве отглагольные имена вроде *работа*, *бег*, *прогулка*, *репутация* имеют глагольные значения, хотя их формальные свойства — именные. В русском языке *богатый* — прилагательное, *болеть* (*горло болит*) — глагол, а *много* — особый класс, часто именуемый категорией состояния. Но в японском языке *totu* ‘богатый’ — глагол, а *itai* ‘болеть’ и *ooi* ‘много’ — прилагательные. Распределение слов по частям речи только по значению без опоры на формальные признаки вряд ли может быть строгим, реально в таких случаях обычно исходят не столько из значения, сколько из перевода на эталонный (скажем, русский или английский) язык. А самые явные из формальных признаков — морфологические — в разных языках выделяют разные классы слов, а в некоторых языках не выделяют их совсем.

В целом более универсальны синтаксические признаки, в соответствии с которыми слова делятся на классы в зависимости от того, в какой синтаксической функции они типично выступают. Взяв для простоты традиционные понятия, можно определить, что существительные — слова, типично используемые в функции подлежащего и дополнения, глаголы — в функции сказуемого, прилагательные — в функции определения. Такой подход к частям речи особенно часто применяется к языкам, для которых не применимы морфологические критерии, вроде китайского [Драгуновы 1937]. Однако не всегда легко определить, какая функция наиболее типична для данного слова, а для некоторых языков, например для древнекитайского, есть точка зрения, согласно которой там любое слово может иметь любую функцию со стандартным изменением значения (скажем, *собака* — *собачий* — *быть собакой* или *исполнять функции собаки*) [Старостин 2007]. В таких языках не удастся выделить части речи, кроме, может быть, выделения самостоятельных и служебных слов.

Что касается национальных лингвистических традиций, то у них, с одной стороны, были сходства (например, везде, кроме Китая, отделяли имя от глагола), с другой стороны, заметны и различия. Например, в арабской традиции выделяют лишь имя, глагол и частицу, а в Китае разграничивали лишь «полные» и «пустые» слова, что более или менее совпадает с противопоставлением знаменательных и служебных слов. Прилагательные выделили в отдельную часть речи лишь в Европе и Японии, но в Европе это разновидность имени, а в Японии разновидность глагола. Все эти различия, разумеется, связаны со строем соответствующего языка [Алпатов 2005б: 38–40].

Среди работ, посвященных теории частей речи, особо выделяется опубликованная еще в 1928 г., но не до конца оцененная статья уже упоминавшегося Л. В. Щербы [Щерба 1957]. Вот его основные положения: «Самое различие “частей речи” едва ли можно считать результатом “научной” классификации слов... В вопросе о “частях речи” исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-нибудь ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой

системой... Едва ли мы потому считаем *стол*, *медведь* за существительные, что они склоняются, скорее мы потому их склоняем, что они существительные» [Щерба 1957: 63–64]. Последняя формулировка не означает чисто семантическое понимание частей речи: она указывает, что наречия и прилагательные имеют одинаковое значение, различаясь формально [Там же: 72]. Морфология, синтаксис и семантика — лишь опознавательные знаки для классификации по частям речи.

Но как понимать формулировку: «навязываются самой языковой системой»? «Ученые и умные» классификации, отвергаемые ученым, тоже основаны на каких-то свойствах языковой системы, но Л. В. Щерба подчеркивает, что их может быть много, но «истинная» классификация одна. По-видимому, Л. В. Щерба (начинавший деятельность как сторонник психологического подхода к языку, но потом пытавшийся от него отойти и всё время к нему возвращавшийся) понимал под «навязыванием» влияние со стороны психолингвистического механизма: носители языка ощущают неоднородность слов, хранящихся в их памяти, и опознают их как принадлежащие к тем или иным группам — частям речи.

Позже эти идеи некоторыми лингвистами прямо связывались с психолингвистикой: «Слова, являющиеся по соображениям лингвистов, подтверждаемым психологами и психофизиологами, теми языковыми единицами, которые хранятся в памяти, во многих (а может быть, и во всех) современных языках в той или иной мере специализированы в своих грамматических функциях. Естественно поэтому предположить, что одно из членений тотального множества слов языка на подмножества для облегчения и ускорения их поиска в памяти основывается на этой грамматической специализации слов» [Супрун 1965: 17].

Исследования афазий и детской речи в целом действительно подтверждают эти слова, хотя не всё тут ясно. При афазии, в которой нарушаются способы хранения слов, но сохраняется словарный запас, теряется способность к выделению частей речи, но сохраняется способность классифицировать слова по значению [Лурия 1947: 71–74]. А по данным Д. Л. Спивака, при уменьшении запаса слов появляется заместительная лексика, дублирующая каждую часть речи. На последних стадиях распада лексики все прилагательные заменялись на *этот самый*, глаголы — на *делать*, наречия — на *нормально* [Спивак 1986: 19].

Итак, первостепенное значение понятий слова и частей речи (как и ряда других традиционных понятий языкознания) для науки о языке обусловлено ролью, которую оно играет в деятельности речевых механизмов мозга. Изучение этих механизмов уже дало важные результаты, но многие вопросы требуют специального рассмотрения.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИНГВИСТА

Обычно считается, что тот или иной язык в идеале должен описываться на основе некоторых общих принципов и методов, единых для каждого исследователя. На деле это, конечно, не всегда так. Хорошо известно, что различия в описаниях могут быть обусловлены различиями теоретических и методологических концепций, разделяемых их авторами. Реже обращают внимание на различия, связанные с таким, казалось бы, далеким от научности фактором, как влияние языка, на котором пишет свои работы лингвист и который обычно совпадает с материнским языком исследователя. Но не обязательно: если такого совпадения нет, возможно влияние сразу двух языков. Впрочем, вопрос этот требует дополнительного обсуждения.

Влияние особенно явно в случае, когда традиции описания языка развивались независимо друг от друга. Каждая исконная лингвистическая традиция исходила из строя своего языка. Китайская традиция не знала грамматики как жанра исследования, а грамматические явления, если и фиксировались, описывались с помощью словарей («словари пустых слов»). Не было в ней также, например, понятий имени и глагола, присутствовавших во всех других традициях, включая отделившуюся от китайской японскую. Всё это естественно объясняется строем изолирующего китайского языка. Жесткая структура арабского консонантного корня стала причиной выделения корня как одной из базовых единиц с самого начала существования арабской традиции, тогда как античные и средневековые европейские грамматисты обходились без понятия корня, как и аффикса (подробнее об этом см. [Алпатов 1990; 2005б: 9–41]). Но к этому вопросу я еще вернусь. Конечно, не все особенности традиций можно объяснить строем языков, лежавших в их основе: санскрит и древнегреческий язык типологически сходны, но соответствующие традиции значительно различаются. Однако данный фактор, безусловно, значим.

Влияние базового языка может быть связано не только с особенностями его строя. Япония, уже обладая к началу европеизации (50–60-е гг. XIX в.) развитой лингвистической традицией, затем довольно быстро освоила идеи и методы европейской описательной грамматики. Позже в этой стране без значительных трудностей прижились структурализм и генеративизм. Историческое языкознание в той его части, которая занимается анализом письменных памятников, также получило

в Японии значительное развитие: и здесь можно было опираться на давние традиции. Но уже полтора столетия там с большим трудом идет освоение сравнительно-исторического языкознания. Методика сравнения языков и установления регулярных соответствий всегда приживалась с трудом, а генетическая общность постоянно смешивалась с типологическим сходством. Причины этого понятны. Сама языковая ситуация в Европе способствовала как массовому двуязычию, так и стремлению сопоставлять материальные сходства в языках, что закономерно привело к формированию индоевропеистики. А в Японии, долго не контактировавшей с внешним миром, сама идея сравнения языков появилась очень поздно. И японский язык, близкие родственники которого давно исчезли, не имеет явных материальных сходств ни с одним языком. Эти сходства с большим трудом выясняются лингвистами (пожалуй, единственный язык, где такие сходства очевидны любому носителю языка, — английский, но, разумеется, это результат недавних заимствований).

Поэтому действительно трудно освоить сложнейший лингвистический метод, исходя из японского языка как точки отсчета. Сейчас, впрочем, в японской лингвистике есть всё, включая индоевропеистику, но это вторичное явление. А ведущие исследователи генетических связей японского языка по-прежнему работают вне Японии.

Однако различия базового языка могут проявляться и внутри науки, генетически восходящей к античной традиции. Ограничимся расхождениями между русским и некоторыми другими вариантами европейской традиции.

Автор данной статьи однажды столкнулся с такой ситуацией. Для зарубежного издания я решил предложить английский перевод статьи по японской грамматике, ранее публиковавшейся по-русски. В ней важную роль играло деление слов на *знаменательные* и *служебные*. Перевод этих терминов вызвал трудности, и для первого термина я в одном из словарей нашел ранее мне не известный эквивалент *autosemantic words*. Редактор издания в ответ прислал письмо, где требовал не просто убрать нетрадиционный термин, но исключить само понятие. Сделать это означало писать новую работу, и статья на английском языке так и не вышла. У нас понятия знаменательного и служебного слова проходят в школе, а англоязычный вариант европейской традиции обходится без них. Несамостоятельные слова иногда обобщенно называют *particles*, но чаще так именуют более узкий класс слов, а подвести под этот термин, скажем, артикли и тем более вспомогательные глаголы трудно. Для другого же класса принятого эквивалента вообще нет.

Отмечу, что японская и китайская традиция здесь ближе к русской, чем к англоязычной. До европеизации Японии вообще не было общего термина для слова, а были два термина для знаменательных и служебных слов, соответственно *kotoba* и *tenioha*. (Ср. *полные слова* и *пустые слова* в китайской традиции.) Но и после появления в конце XIX в. обобщающего термина деление слов на два класса играет во многих японских концепциях основополагающую роль. Например, один из крупнейших японских лингвистов XX в. Токиэда Мотоки выделял две сферы

языка: выражение действительности и выражение субъективных чувств говорящего (см. [Токиэда 1983: 102–110]). Само это разделение встречалось и у других лингвистов, например диктум и модус у Ш. Балли; но если у Балли каждая из сфер имеет разнообразные средства выражения, то у Токиэда они жестко связываются со знаменательными и служебными словами.

На английский язык трудно перевести привычные для нас термины вроде *знаменательное слово* или *придаточное предложение*, но и на русский язык не легче перевести *phrase* или *clause*. *Фраза* и *phrase* — не одно и то же, а *clause* можно перевести разве что как *клауза*; последний термин сейчас уже стал появляться в русскоязычных работах, особенно типологических, но это не внедрение нового термина, а перенос на русскую почву понятия из иной традиции. Подобные случаи сейчас стали довольно частыми, но это уже лингвистический аспект глобализации. И все перечисленные термины не являются специфическими для какого-либо направления, с ними носители соответствующих языков знакомятся еще в школе, и их могут использовать лингвисты, придерживающиеся разных теоретических взглядов.

Еще пример. Существуют два основных способа представления синтаксической структуры предложения: грамматика составляющих (скобочная запись) и грамматика зависимостей (деревная запись). Каждый из способов имеет плюсы и минусы, в ряде работ они систематически сопоставляются (см., например, [Тестелец 2001: 101–105]). Но имеется еще один аспект, на который внимание автора статьи еще в 60-е гг. обратил А. Н. Журинский, талантливый лингвист, к сожалению не во всём успевший реализоваться в своих публикациях; см. о нем [Алпатов 1992; От авторов 1994].

Хорошо известно, что в ряде стран Запада, включая страны английского языка, давно господствует грамматика составляющих, тогда как в нашей стране она не получила большого распространения, но уже второе столетие развивается грамматика зависимостей [Тестелец 2001: 106]. Деревья зависимостей на Западе часто именуют графами Теньера, а их использование всегда связывают с именем этого французского ученого. Между тем Л. Теньер был славистом, бывал в СССР, знал русскую традицию и взял идею деревьев зависимостей именно оттуда, о чем на Западе обычно не упоминают. У нас же такие деревья использовались и в школьном обучении. Такой подход удобен при свободном порядке слов: при изменении порядка дерево остается таким же. Однако грамматика составляющих, имея ряд преимуществ, требует усложнения правил в случае так называемых разрывных компонентов, когда наиболее тесно синтаксически связанные слова далеко отстоят друг от друга, а структуры, отличающиеся лишь порядком, если он свободен, должны трактоваться по-разному. Как когда-то говорил А. Н. Журинский, носитель русского языка, прежде всего, обращает внимание на синтаксические связи, маркируемые согласованием и управлением, не считая релевантным порядок слов, а носитель английского языка исходит, прежде всего, из порядка, не имея часто опоры в согласовании и управлении. Для носителей английского языка

по сравнению с носителями русского языка более существенно представление о корреляции между степенью синтаксической и линейной близости слов.

Знаменит пример грамматически правильного предложения у Н. Хомского *Colorless green ideas sleep furiously*. Его буквальный перевод на русский язык трудностей не представляет, хотя его чаще переводят с изменением порядка слов: не *Бесцветные зеленые идеи спят яростно*, а *Бесцветные зеленые идеи яростно спят*: оба порядка сохраняют грамматическую правильность, но порядок с препозицией обстоятельства более естествен. Но Хомский тут же приводит пример грамматически неправильного предложения, полученный преобразованием того же предложения: *Furiously sleep ideas green colorless*. Слова поставлены в обратном порядке. Но дословный русский перевод и здесь оказывается грамматически правильным, поскольку правила порядка слов существенно иные (пусть базовый порядок слов SVO тот же самый), зато чтобы сделать русское предложение грамматически неправильным, достаточно заменить одну фонему (или букву), скажем *спят* на *спит*. Разумеется, нельзя отрицать общелингвистический смысл понятия грамматической правильности (сформулированного еще в XIII в. модистами, изучавшими типологически близкий русскому латинский язык). Но уже представления о причинах ее нарушения могут быть у носителей русского и английского языков разными. Н. Хомский всегда приводит только примеры из английского языка, считая, что всё то, что верно для английского языка, верно и для языка вообще. Но случайно ли, что до сих пор, насколько мне известно, нет сколько-нибудь полной порождающей грамматики для какого-либо славянского или классического языка, т. е. для языка со свободным порядком слов?

Еще одна область — типология порядка слов. Едва ли не все американские исследования в этой области, включая широко известную работу Дж. Гринберга [Гринберг 1970], основаны на понятии базового порядка слов, т. е. такого порядка членов предложения, который в языке либо единственно возможен, либо, если допустимы перестановки, встречается чаще всего. При таком подходе русский и английский языки почти по всем параметрам оказываются в одном классе SVO, хотя не только лингвисты, но и все носители каждого из этих языков, которым приходится учить другой из них, знают, насколько различен в них порядок слов, прежде всего, степенью строгости. А единственная известная мне типология порядка слов, основанная, в первую очередь, именно на степени строгости, предложена не в США, а в СССР; речь идет о типологии А. А. Холодовича [Холодович 1966]. Правда, такая типология, возможно не случайно, осталась лишь на уровне общих предложений и не была, в отличие, скажем, от типологии Гринберга, применена к конкретным языкам. Тем не менее различие подходов очевидно, и трудно его объяснить чем-либо, кроме подспудного влияния базового языка.

Теперь обратимся к работе, казалось бы относящейся к совершенно другой области лингвистики. Это давно отнесенная к лингвистической классике книга А. Мейе «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков». В ней, в частности, говорится о структуре индоевропейского слова: «Индоевропейский

морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен. Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменительными элементами: во французском языке есть слово *piéd* “нога”, а в индоевропейском были лишь именит. падеж единств. ч. **rōts*... родит.-отложит, падеж единств. ч. **pedé/ós*, именит. падеж множеств. ч. *ródes* и т. д. Иначе говоря, “слово” со значением “нога” не выступало отчетливо... В латинском языке для значения “волк” нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus, lūpe, lupum, lupī, lupō, lupōs, lupōgum, lupis*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием. Итак, все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше — другие позже, обнаружили склонность упростить или даже вовсе упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» [Мейе 1938: 426–427].

А. Мейе, рассуждая о морфологической и синтаксической структуре индоевропейского праязыка, на деле часто описывал структуру наиболее древних известных нам языков индоевропейской семьи, более всего древнегреческого. Но нам сейчас важнее, что Мейе писал по-французски, в расчете на франкоязычного читателя и исходил из структуры этого языка как эталона. Описываемый морфологический тип требует для читателей книги специальных пояснений и характеризуется как «чрезвычайно своеобразный», связанный с «неясностью» выражения значений. По сравнению с этим упразднение словоизменения, происходившее якобы во всех индоевропейских языках, пусть с разной скоростью, выглядит как естественное явление. Разумеется, Мейе знает о сохранении «богатого склонения» в славянских языках [Там же: 437], но об этом упомянуто лишь вскользь.

Показательно, что Р. О. Шор, автор примечаний к русскому изданию А. Мейе, специально отмечает: «Как понимание структуры отдельного слова... так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка — языка синтетического строя — тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка — языка аналитического строя... В этом нетрудно убедиться, сопоставляя русские переводы с греческими примерами в этой части книги» [Шор 1938: 500]. То есть представление о слове у французских и русских читателей книги разное, а строй древнегреческого языка (как и латыни и санскрита) гораздо легче освоить русскому, чем французскому.

Представление о слове, «являющемся лишь в сочетании со словоизменительными элементами», отразилось и в античной традиции, где не было понятий корня и аффикса, а образование форм, отличных от первичных (косвенных падежей, форм глагола, исключая 1-е л. ед. ч. презенса), рассматривалось как изменение всего слова (под словом понималась первичная форма). Появление понятий корня и аффикса в европейской традиции обычно связывается с первой в Европе грамматикой древнееврейского языка И. Рейхлина (начало XVI в.), т. е. с влиянием иной традиции. Традиционный подход (иногда именуемый моделью «слово — парадигма» [Robins 1982: 31]) в русском языкознании до некоторой степени сохранился

до сих пор, хотя обычно выступает вместе с более поздним подходом (модель «морфема — слово»). Школьная формулировка «слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания» отражает более новый подход, но и древняя традиция остается живучей. Это показывает как внутренняя форма употребляемых по сей день античных терминов *склонение*, *спряжение*, *словоизменение*, так и поныне встречающиеся в традиционной русистике формулировки о том, что лексическое и грамматическое значения присущи не основе и аффиксу соответственно, а слову в целом. На основе материала афазий есть основания считать, что традиционный подход психологически наиболее адекватен [Головастиков 1980].

В английской или французской традиции модель «слово — парадигма», видимо, уже не существует даже в отношении тех случаев, где словоизменение еще сохранилось. Об этом косвенно свидетельствуют и формулировки А. Мейе. Еще в большей степени наталкивает на такую мысль распространение в англоязычной лингвистике грамматики составляющих на отношения не только между словами, но и между морфемами внутри слова. И у дескриптивистов, и у генеративистов разложение предложения на непосредственно составляющие обычно доходит до уровня морфемы, а слово либо выступает как промежуточная единица, либо не выделяется вообще. Такой подход несовместим с идеей образования, например, косвенных падежей как изменения целого слова. Отечественной науке (исключая случаи прямого заимствования американских концепций) такой подход не свойствен.

Указанные различия могут проявляться при описании не только базового языка, но и иных языков, в том числе языков иного строя. Рассмотрим лишь один пример: трактовку приименных, в частности, падежных грамматических показателей в японском языке.

Японский язык — в основном агглютинативный с некоторыми чертами флективности, проявляемыми исключительно в предикативных частях речи (глаголе, предикативном прилагательном, связке). Имена (существительные, включая числительные и большинство местоимений, в том числе личные) сочетаются с большим количеством чисто агглютинативных, т. е. не связанных с варьированием на морфемных стыках грамматических элементов, синтаксически не самостоятельных и не имеющих отдельного ударения. Среди этих элементов сразу по нескольким основаниям выделяется особый подкласс элементов, по функциональным свойствам издавна получивших в русской и западной японистике название падежных. По значению и употреблению могут быть выделены показатели именительного, винительного, дательного, родительного, а также совместного и нескольких локативных падежей.

Функциональные характеристики падежных показателей в японском языке не вызывают больших разногласий, а если вызывают, то примерно те же, что и для русского языка (например, в японистике, как и в русистике, есть и сторонники, и противники концепции семантического инварианта для каждого падежа). Но споры шли (скорее здесь можно уже употребить форму прошедшего времени)

о формальном статусе падежных элементов: являются ли они отдельными словами или аффиксами. Как известно, в русской традиции этот вопрос определяет и многое другое: для большинства отечественных лингвистов разные решения этого вопроса автоматически влекут за собой то или иное решение вопроса о категории падежа. Если эти показатели (или хотя бы часть из них) — аффиксы, то такая категория существует; если это отдельные, пусть служебные слова, то ее нет, и можно выделять лишь послеложные конструкции. И следующий шаг: грамматическая категория — всегда система, а в случае множества конструкций со служебными словами система обычно уже не обнаруживается. Возможно, этот фактор наряду с другими мог воздействовать на Е. Д. Поливанова, взгляды которого я рассматриваю ниже.

Впрочем, данная проблема ни для японской науки, ни для западной японистики никогда не была существенной. В Японии национальные представления о слове довольно своеобразны (см. [Алпатов 1979: 25–31]), но это своеобразие в большей степени проявляется в трактовке предикативных синтагм, а система имени, по японским представлениям, устроена достаточно просто: имеется неизменяемое слово, к которому присоединяются по определенным правилам служебные слова разных классов, также неизменяемые. Как уже говорилось, понятие служебного слова играет важную роль в японской традиции. Именные аффиксы словоизменения не предусмотрены, хотя именные словообразовательные аффиксы признаются.

Такая же трактовка всегда безраздельно господствовала и продолжает господствовать и в западной науке (где в области изучения современного японского языка всегда ведущую роль играла лингвистика англоязычных стран). Специалисты, привыкшие в своих собственных языках «довольствоваться словами, вовсе неизменяемыми», без труда опознали такие же слова в чужом языке. В англоязычной традиции данные служебные слова либо называют *particles*, либо разделяют на *particles* и *postpositions*.

Сложнее обстояло дело в нашей стране. Русская японистика сложилась позднее, чем на Западе, и на первом этапе значительно зависела от западных подходов. Оттуда было заимствовано и представление о приименных служебных словах, формулировавшееся без доказательств. Эта трактовка встречалась во всех дореволюционных работах и дожила до 1930-х гг. Одним из последних трудов, где она присутствовала, была книга [Холодович 1937], опережавшая в некоторых отношениях свое время, но оказавшаяся традиционной по данному вопросу.

Основателем научного (а не господствовавшего до того чисто практического) изучения японского языка в России стал Е. Д. Поливанов. И он впервые выдвинул идею именного словоизменения в этом языке, сначала в ранней книге [Поливанов 19176] на диалектном материале, а наиболее развернуто — в принадлежащих ему разделах грамматики [Плетнер, Поливанов 1930]. Поливанов впервые поставил в теоретическом плане вопрос о границах слова в японском языке и решил его иначе, чем во всей существовавшей до него японистике.

Поливанов писал: «Для отличения слова от части слова, с одной стороны, и от словосочетания, с другой, — существует общий для всех языков критерий, выражающийся в следующей синтаксической характеристике слов: *слово есть потенциальный тититит фразы*, т. е. тот комплекс (— сочетание звуков и, может быть, единый звук), который может быть употреблен — при тех или иных условиях коммуникации — в качестве целой фразы, но который в свою очередь уже не разложим на части, способные фигурировать в качестве целой фразы» [Плетнер, Поливанов 1930: 144–145]. Отсюда вывод: «Вот почему при делении японской фразы на слова у нас нет никакой возможности считать за отдельные слова ни суффиксы склонения (так называемые “частицы”)... ни основы, стоящие перед этими суффиксами... — несмотря на то, что та же основа..., употребленная без суффикса, бесспорно, является самостоятельным словом» [Там же: 145]. Дополнительными признаками (в ранней книге они считались основными) признаются фонетические: акцентуационная несамостоятельность данных элементов, а для показателя именительного падежа также наличие в его начале звука *η*, невозможного в начале слова [Там же: 146–147]. Основываясь на всех этих признаках, Е. Д. Поливанов фактически отрицал существование служебных слов в японском языке, хотя некоторые классы служебных слов в традиционном понимании (союзы, модально-экспрессивные частицы) особо выделял как «синтаксические суффиксы», заслуживающие «самостоятельного рассмотрения (на правах особой части речи)», поскольку они присоединяются к разным частям речи и семантически связаны с целым предложением [Там же: XXXXII–XXXXIII]. Впрочем, в части грамматики, написанной другим автором, «синтаксические суффиксы» без всяких оговорок названы служебными словами [Там же: 124–131]. Однако и О. В. Плетнер, находившийся под сильным влиянием идей своего соавтора, последовательно исходил из наличия падежного склонения.

Сами по себе вышеприведенные критерии выделения слов предлагались в те же годы не только Поливановым и не только в СССР. При этом они далеко не всегда столь последовательно применялись к изучаемым языкам, особенно к языкам с устойчивой традицией деления на слова. И у Поливанова я не знаю работ, где они бы последовательно применялись к русскому языку, хотя и в японской грамматике он прямо называет русский предлог *без*, способный в некоторых случаях к самостоятельному употреблению, единицей, промежуточной между аффиксами и словами [Там же: 145]. Стало быть, русские предлоги, лишённые этой способности, Поливанов считал префиксами. Применение такого подхода привело бы к сложностям. Сколько дополнительных грамматических категорий пришлось бы выделить тогда для русских существительных? Зато для японского языка подход Е. Д. Поливанова хорошо совмещался с представлениями носителя русского языка. Ибо и для этого языка «слово являлось лишь в сочетании со словоизменительными элементами», хотя все-таки Е. Д. Поливанов не мог не отметить частую возможность японской именной основы выступать самостоятельно.

Идеи Поливанова (даже в годы, когда он считался «врагом») преобладали в советской японистике. Большую роль в этом сыграл Н. И. Конрад, долго остававшийся наиболее влиятельным исследователем Японии в нашей науке; он перенял эти идеи и распространил их на большой материал [Конрад 1937]. Они нашли отражение у всех наших японистов — теоретиков и практиков в 40–50-х гг.; особенно важны были грамматические очерки Н. И. Фельдман [Фельдман 1950; 1951].

Принял данный подход и А. А. Холодович. Приняв его последним, он и придерживался его дольше всех: вплоть до смерти в 1977 г. (см. посмертную книгу [Холодович 1979]), когда этот комплекс идей начал уже пересматриваться. Впрочем, если ядро данной концепции — падежное склонение — всегда устойчиво сохранялось, то в отношении других грамматических элементов трактовки могли меняться. Если Е. Д. Поливанов придерживался, как к ней ни относиться, строгой и последовательной концепции, то у некоторых других японистов аффиксы и служебные слова всё больше стали разграничиваться на основе русских переводов. «Синтаксические аффиксы» Е. Д. Поливанова, соответствующие русским союзам и частицам, уже всегда относились к служебным словам, а Н. И. Фельдман отнесла к отдельным словам и так называемые ограничительные частицы, вроде *dake* 'только', *nado* 'и так далее', хотя они вклиниваются между именной основой и падежными показателями. Получалось, что отдельное слово находится между основой и аффиксом, а это не допускается. Впрочем, такой подход (помимо перевода) мог основываться и на интуитивном представлении о том, что признание нескольких десятков ограничительных частиц аффиксами привело бы к резкому усложнению японской парадигмы.

Точка зрения о наличии именного словоизменения в японском языке была на новом этапе отвергнута в начале 60-х гг. японистами нового поколения И. Ф. Вардулем и И. В. Головинным (см. особенно [Вардуль 1964: 33–36]). Это не было простым возвратом к описаниям начала века уже потому, что их позиция не постулировалась, но аргументировалась. Согласно И. Ф. Вардулю, «из факта просодической несамостоятельности» японских падежных показателей (ганио) «можно заключить только, что ганио служебны» [Там же: 34]. Но зато «между предшествующим знаменательным комплексом и ганио вклиниваются служебные слова», следовательно, ганио — послелогои [Там же: 36].

Данная точка зрения к 70-м гг., когда сошло со сцены старшее поколение японистов, стала у нас преобладающей, она перешла и в учебную литературу. К настоящему времени идею падежного словоизменения в японском языке высказывает, кажется, лишь один специалист — А. В. Солнцев (см. [Солнцев 1986]). При этом от выделения в японском языке падежа как грамматической категории отказываться не стали.

На основе чисто лингвистических критериев японские падежные и другие приименные показатели действительно оказываются отдельными словами, если только не понимать слово как фонетическое слово. Е. Д. Поливанов исходил из критериев, которыми не принято пользоваться для большинства языков,

в том числе для русского. Но зато его подход хорошо совмещался с русскими интуитивными представлениями, в соответствии с которыми слово — прежде всего единица со сложной структурой, членимая на значимые части, а нечленимые слова (по крайней мере, знаменательные), вроде *кино* или *завтра*, — исключения. Однако для носителей самого японского языка представления оказываются иными. Интуитивные представления носителей английского или французского языка также могли присутствовать, когда они выделяли японские падежные показатели как слова, но в данном случае их представления оказывались более адекватными.

Разумеется, не следует думать, что более адекватными не могут быть представления носителей русского языка. По-видимому, как раз такой случай — трактовка японских согласных фонем.

В отечественной японистике общепринято выделение для японского языка палатализованных и непалатализованных фонем. Как и в русском языке, оно проходит через всю систему согласных; по данному признаку в позиции начала слога противопоставлены все согласные фонемы, кроме йота (и гортанной смычки, выделение которой не общепринято). Перед *a*, *u*, *o* это противопоставление фонематично: *каку* ‘каждый’ — *кяку* ‘гость’, *гофу* ‘амулет’ — *гёфу* ‘рыбак’ и т. д. Примеры здесь приведены в наиболее известной и употребительной из кириллических транскрипций — «поливановской транскрипции», предложенной Е. Д. Поливановым в 1917 г. В ней данное противопоставление отражено тем же способом, что принят для его передачи в русской орфографии. Первым систему фонем японского языка, включающую палатализованные, установил опять-таки Поливанов, хотя стихийно написания вроде *Кюсю* встречались и до него. И после этого в отечественной японистике никто не подвергал и не подвергает сомнению ни существование данного класса фонем, ни его отражение в транскрипции.

Однако в западной, по крайней мере в англоязычной, науке всё иначе. Это хорошо видно в самой традиционной, разработанной еще во второй половине XIX в. американским миссионером Дж. К. Хэпбёрном латинской транскрипции, до сих пор имеющей наибольшее распространение. В ней японская палатализация отражена двояким образом. Дело в том, что в японском языке мягкие губные и заднеязычные отличаются от парных твердых лишь палатализацией, но у зубных палатализованных также имеет место более заднее место образования. Хэпбёрн был практиком и не имел понятия о явлении палатализации, поэтому японские палатализованные он закономерно воспринял в соответствии с интуитивными звуковыми представлениями носителя английского языка: у зубных он ощутил лишь дополнительный, не имеющий, по Поливанову, фонемного характера более задний призвук (обозначив *s'* как *sh*; *t'* как *ch*; *dz'* как *j*), а губные и заднеязычные воспринял как сочетание с йотом (обозначенным как *y*). Отсюда в транскрипции *s'aku* ‘мера длины’ он записал как *shaku*, а *kaku* ‘гость’ — как *kyaku* (ср. *сяку* и *кяку* у Поливанова). И так пишут по сей день, а большинство западных японистов на основании этой транскрипции описывают и японскую фонологию. Транскрипция Хэпбёрна недостаточно научна и в ряде других случаев, имея,

однако, одно существенное преимущество, особенно в наши дни: она хорошо соответствует звуковым представлениям носителей английского языка.

Если говорить не о транскрипции, а о передаче японских слов в русском языке, то можно выделить три хронологических слоя. Это самый ранний, дореволюционный, когда транслитерировались написания западных языков, где тогда уже пользовались транскрипцией Хэпбёрна (*джиу-джитсу*, *шимоза* — название взрывчатого вещества, использовавшегося японцами в русско-японской войне), слой советского времени, когда японисты довольно строго соблюдали поливановскую транскрипцию, и самый новый слой, когда заимствования приходят, как правило, через английский язык. Отсюда разнობой: ср., с одной стороны, *джиу-джитсу* и *дзюдо*, где первый компонент по происхождению тот же самый, с другой стороны, появившиеся в последние годы дублеты вроде *суси* — *суши*, *Хитати* — *Хитачи*, иногда снимающие омонимию в языке-источнике: гора — *Фудзи*, но фотопленка — *Фуджи*.

С написаниями, происходящими из английского языка, бороться крайне трудно, но все-таки звуковые представления носителей русского языка больше соответствуют наиболее простому и системному описанию японских фонем, чем представления носителей английского языка. (Подробнее о разных отражениях японской палатализации см. статью «Сасими или сашими?» в настоящем сборнике.)

Разумеется, я не хочу преувеличивать роль интуитивных представлений о «нормальном устройстве языка» в развитии лингвистики. Санскрит типологически близок к древнегреческому языку, но первичным в индийской традиции (в отличие от античной) было именно понятие корня. Идеи о слове как потенциальном минимуме фразы выдвигал не только Е. Д. Поливанов в СССР, но и Л. Блумфилд в США. И все-таки когда мы видим, что в России плохо приживается грамматика составляющих, а в странах английского языка грамматика зависимостей, что падежное склонение обнаруживалось только в русской японистике, а западная наука не склонна выделять для японского языка твердые и мягкие согласные, то можно прийти к выводу о существенности этих интуитивных представлений.

ЛИНГВИСТИКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Размышления над статьей К. Ф. Седова «Языкознание. Речеведение. Генристика»

Мне хочется откликнуться на статью К. Ф. Седова, опубликованную в шестом выпуске «Жанров речи», издания, уже получившего у нас немалую известность. Статья поднимает очень существенные проблемы, связанные со статусом языкознания как науки, с историей его развития, с особенностями этого развития в наше время. Многое из сказанного в статье представляется очень верным и обоснованным, я согласен с главными ее выводами, по некоторым вопросам хочется поспорить с ее автором. К сожалению, безвременно ушедший от нас К. Ф. Седов уже не сможет мне ответить. Но ученый продолжает жить в науке, пока актуальными остаются исследуемые им вопросы, и думается, что здесь мы имеем как раз такой случай.

К. Ф. Седов пишет в начале статьи: «За последние три десятилетия облик науки, которую мы традиционно называем языкознанием, существенно изменился... Изменились очертания границ лингвистики, представления о ее предмете, происходит ломка ее внутренних перегородок, перестройка всего ее старого и добротного здания. Первопричиной, толчком, который запустил процесс трансформации общего пространства науки о языке, стало смелое и энергичное вторжение некоторых ученых-языковедов в смежные области знания. Из науки кастовой, усилия которой были направлены на имманентное описание внутриязыковых отношений, лингвистика сейчас превращается в науку, которая все более решительно устремляется в жизнь, возвращая себе статус гуманитарной (от *homo* — человек) области знаний. В этом смысле сбываются пророчества Бодуэна де Куртенэ, предсказавшего, что со временем “языковые обобщения будут охватывать все более широкие круги и все более соединять языкознание с другими науками: с психологией, с антропологией, с социологией, с биологией”» [Седов 2012: 1].

Здесь можно согласиться почти со всем, кроме лишь приписывания «кастовости» всей ранее существовавшей науке о языке: «описание внутриязыковых отношений» тоже имело и имеет немало выходов в жизнь, начиная с конструирования алфавитов и кончая автоматической обработкой информации. Но общая тенденция указана верно. В ее констатации, впрочем, автор статьи не одинок. Вот что, например, двадцать лет назад писал А. Е. Кибрик: «Лингвистика последних

десятилетий характеризуется... неуклонным расширением сферы своего влияния: от фонетики — к фонологии, от морфологии — к синтаксису и затем — к семантике, от предложения — к тексту, от синтаксической структуры — к коммуникативной, от языка — к речи, от теоретического языкознания — к прикладному. То, что считается “не лингвистикой” на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным. В целом он направлен в сторону снятия априорно постулированных ограничений на право исследовать такие языковые феномены, которые до некоторой степени считаются недостаточно наблюдаемыми и формализуемыми и, следовательно, признаются непознаваемыми. И каждый раз снятие очередных ограничений дает новый толчок лингвистической теории, конкретным лингвистическим исследованиям. Обнаруживаются новые, не замечавшиеся ранее связи, обогащается и вместе с тем упрощается представление о языке» [Кибрик 1992: 20].

Между двумя приведенными высказываниями, на первый взгляд, есть различие. А. Е. Кибрик учитывает более широкий круг явлений, включая и находящиеся в рамках «внутриязыковых отношений», а К. Ф. Седов сводит весь процесс к «появлению коммуникативной лингвистики, лингвистики речи в ее многоликих формах, будь то лингвистическая прагматика, теория речевых актов, социолингвистика или лингвистика дискурса» [Седов 2012: 2]. То есть из того, о чем пишет А. Е. Кибрик, выделяется лишь часть. Однако если исключить из второго списка уже давно завершившееся движение от фонетики к фонологии, то представляется, что это различие на деле не столь велико.

Всякая наука о языке, в конечном итоге, отвечает на три вопроса: «Как устроен язык?», «Как изменяется язык?» и «Как функционирует язык?», большей частью, разумеется, сосредоточиваясь на каком-то одном из них. Устройство языка наиболее наглядно представляется человеку, а два других вопроса невозможно решать без тех или иных представлений об этом устройстве. И все лингвистические традиции, в том числе европейская традиция от древних греков до «Грамматики Пор-Рояля», решали именно вопрос об устройстве языка, имевший, особенно на ранних их этапах, и практическое значение: обучение «правильному языку»¹. Лишь в XVIII в. был поставлен вопрос: «Как изменяется язык?», весь XIX в. в связи с общим интеллектуальным климатом эпохи он был основным для науки о языке. Однако в первой половине XX в., начиная с «Курса» Ф. де Соссюра, на первый план вновь вышел вопрос об устройстве языка, который стал рассматриваться на более высоком уровне, обогатившись развитыми, исследовательскими методами. Ограничение

¹ К. Ф. Седов, следуя идеям книги В. Н. Волошинова, при выявлении генезиса лингвистики языка на первый план выдвигает другую задачу: «изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках» [Седов 2012: 5]. Такая задача, безусловно, также существовала, но, как правило, появлялась позднее. В. Н. Волошинов как раз, помимо филологических предпосылок, указывал и на «педагогические» [Волошинов 1995: 289], которые, как я уже писал [Алпатов 2005а: 22], в целом были более важными.

объекта науки языком в смысле Ф. де Соссюра было оправданным для того этапа развития лингвистики: оно позволило продвинуться в изучении, по выражению А. Е. Кибрика, «достаточно наблюдаемых и формализуемых феноменов».

Самый сложный и, в конечном итоге, самый важный вопрос о функционировании языка до недавнего времени был изучен намного хуже других. Существенные идеи высказывал В. фон Гумбольдт, но у этого мыслителя при теоретическом богатстве не было и тогда еще и не могло быть какого-либо исследовательского метода. Дальше продвинулась здесь наука первой половины XX в.; парадоксальным образом Ф. де Соссюр, игнорировавший речь, самим ее противопоставлением языку способствовал тому, что эксплицитное понятие речи стало привлекать к себе больше внимания. К. Ф. Седов называет ряд имен отечественных ученых того времени: М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, В. М. Жирмунского, Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, Л. В. Щербы, Л. П. Якубинского [Седов 2012: 7]. Необходимо к ним добавить и имена зарубежных лингвистов: А. Сеше, К. Бюлера, А. Гардинера, Э. Сепира, Р. Якобсона (особенно в поздний период), Э. Бенвениста и др. Однако «направленность на имманентное описание внутриязыковых отношений», безусловно, долгое время преобладала. Многие направления лингвистики (особенно последовательно глоссематика) строили модели языка, оторванные от реальности и подчиняющиеся лишь внутренним закономерностям. Однако такие модели либо не могли быть применены к языковым фактам, либо могли быть использованы в фонологии и отчасти в морфологии, но не в отношении более высоких уровней языка, особенно семантики.

К. Ф. Седов, разумеется, отвел «лингвистике языка», приравненной им к «дескриптивному изучению языков», место одной из областей современной лингвистики [Там же: 5], хотя иногда проявлял излишнюю эмоциональность, что видно и в словах о кастовости, и в подчеркивании ее происхождения от «изучения мертвых языков». И вряд ли стоило ссылаться здесь на «вмешательство сил далеких от науки», в результате которого «в языкознании произошло воцарение лингвоцентрического (системоцентрического) направления, во главу угла ставившего изучение языка как имманентной структуры» [Там же: 7]. Как когда-то во всех бедах дореволюционной науки обвиняли «политику царизма», так и теперь стало принято апеллировать к аналогичным аргументам, только применительно к другой эпохе. Но если традиция, заложенная перечисленными К. Ф. Седовым учеными, «на время пресекалась» [Там же], то какие «далекие от науки силы» мешали использовать их идеи? Большинство языковедов из его списка занимали видное место в научном «истеблишменте» (из восьмерых — три академика), и почти все если и имели неприятности от этих сил при жизни, то были признаны после смерти. Если какие-то их идеи не использовались, то не из-за запретов и в большинстве случаев не из-за незнания. Из наследия предшественников всегда выбирают то, что в данное время представляется актуальным, а представления об актуальности меняются. Главное — то, что «воцарение лингвоцентрического (системоцентрического) направления» (как и последующий отказ от него) было общемировым

процессом, о чем я уже писал в статье 1993 г. «Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку» (см. в настоящем сборнике).

Особое место здесь, однако, занимает высоко оцениваемая в статье книга «Марксизм и философия языка» (1929), действительно надолго забытая в нашей отечественной науке. Но и это произошло все-таки не из-за специального вмешательства каких-то сил, а прежде всего из-за несоответствия ее идей основному направлению лингвистики того времени и в СССР, и за рубежом. Отмечу, что К. Ф. Седов всецело исходит из распространенной гипотезы о М. М. Бахтине как единственном авторе книги, подписанной именем В. Н. Волошинова (это имя в статье не упоминается), хотя гипотеза все-таки не доказана [Алпатов 2005б: 94–110]. Важнее, однако, другое: в статье (как и во многих других работах) идеи этой книги и бесспорных работ М. М. Бахтина 50-х гг. рассматриваются в качестве единой концепции, хотя между ними есть существенные различия. Достаточно сказать, что в книге 1928 г. исследование языка в смысле Ф. де Соссюра вообще отвергается, а в статьях 50-х гг. признается необходимым, хотя и недостаточным.

Интерес к «Марксизму и философии языка» (первым у нас о книге вспомнил в 60-е гг. А. А. Леонтьев, затем в начале 70-х гг. — В. В. Иванов, но прославилась книга, прежде всего, на Западе) появился, когда окончательно выявился кризис структурализма, а лингвисты обратились к более широкой тематике. Об этом кризисе фактически пишет и К. Ф. Седов. В мировой науке было предложено два основных пути выхода из данного кризиса. Исторически первым и наиболее четко оформленным из них был генеративизм Н. Хомского и его последователей (не упоминаемый в статье). Он снял ряд ограничений, принятых в структурализме, и отверг изучение языка в отрыве от говорящего на нем человека. Однако генеративизм, как и структурализм, сосредоточен на рассмотрении «формализуемых феноменов», обращая главное внимание на закономерности усвоения языкового механизма (компетенции). Генеративизм, прежде всего, нацелен на вечные, неизменные свойства языка, в основном понимаемые как синтаксические свойства. Ограничения стали иными, но тоже достаточно жесткими.

Другой путь выхода из кризиса связан с обращением к функционированию языка. Исключительно об этом пишет К. Ф. Седов и в основном об этом — А. Е. Кибрик (исключая упоминание фонологии). Если генеративизм при частных различиях более или менее един, то эти направления современной лингвистики не составляют какого-либо единства и весьма разнообразны и по предмету исследования, и по используемым методам. Как обобщающий термин для их обозначения чаще всего используется термин «функционализм».

Возможно широкое и узкое понимание функционализма. При широком его понимании к функционализму относятся разнообразные направления современной лингвистики, так или иначе изучающие функционирование языка и использование его человеком, в том числе прагматика, теория речевых актов, теория речевых жанров, исследование языковых картин мира и т. д. При узком понимании функционализм включает в себя лишь направления, преимущественно занимающиеся

традиционной лингвистической тематикой (типология, грамматическая и лексическая семантика и др.), но подходящие к ней по-новому, с учетом того, что ранее игнорировалось в лингвистике языка. Далее речь будет идти о функционализме в широком понимании.

К. Ф. Седов справедливо пишет: «В статьях и книгах по лингвистике все чаще звучит мысль о “человеческом факторе в языкознании”, об антропоцентрическом полюсе в общем континууме науки о языке» [Седов 2012: 2]. Ведущими процессами современной науки о языке он считает, «во-первых, — это перемещение фокуса восприятия с языка как системного образования на индивидуального “человека говорящего” — личности, которая изучается в свете наиболее важных “человеческих” познавательных процессов — способности говорить и мыслить, и вследствие этого, во-вторых, — переключение внимания на процесс и результат коммуникации» [Там же].

В целом соглашаясь с последним утверждением, хочется внести в него одно уточнение. В формулировке К. Ф. Седова ее второй пункт — не вполне следствие из первого: коммуникация не сводится к «индивидуальному человеку говорящему», она предполагает деятельность как минимум двух человек, вступающих во взаимодействие. «Индивидуальный человек говорящий» — это скорее «идеальный говорящий-слушающий» Н. Хомского, рассматриваемый с точки зрения его языковых способностей, а не коммуникации; хотя он именуется в том числе и как слушающий, но традиция генеративизма мало обращает внимания на процессы восприятия речи. Ср. критику «индивидуалистического субъективизма» школы К. Фосслера у В. Н. Волошинова, главным недостатком которой признавался «индивидуализм», игнорирование роли слушающего и социального взаимодействия. Современная же лингвистика речи стремится учитывать все стороны коммуникации, к чему еще в 30-е гг. призывал А. Гардинер, а в 50-е гг. — М. М. Бахтин.

К. Ф. Седов делит современную лингвистику на четыре дисциплины: лингвистику языка, лингвистику речи, психолингвистику и лингвопоэтику. Я в качестве особой дисциплины выделил бы еще нейролингвистику, анализ речевых механизмов мозга, методы и научная база которой отличны от психолингвистических. Здесь, начиная с пионерских работ А. Р. Лурия в 30–70-х гг., эти проблемы уже несколько десятилетий активно исследуются как раз в нашей стране; сейчас центром таких исследований является петербургский коллектив во главе с Т. В. Черниговской. Стремление современной науки о языке выяснить, что происходит «на самом деле», в этой дисциплине выступает в наиболее прямом виде. Спорно и безоговорочное включение у К. Ф. Седова социолингвистики в рамки лингвистики речи, это вопрос я рассмотрю ниже.

Среди четырех дисциплин К. Ф. Седов специально рассматривает две: лингвистику речи (коммуникативную лингвистику) и психолингвистику. Если выделение психолингвистики в отдельную дисциплину уже общепринято, то вопрос о лингвистике речи содержит в себе много неясного. Автор статьи пишет: «На сегодняшний день эта отрасль языкознания выглядит наименее упорядоченной

в смысле четкости определения ее границ, предмета, задач, методов, основных категорий и т. п. Отчасти это связано с тем, что в ее пространстве плохо уживаются отпрыски разных научных корней: с одной стороны — это ветви таких импортных экзотических растений, как прагмалингвистика, теория речевых актов, социолингвистика, а с другой — отростки от мощной корневой системы отечественной науки» [Седов 2012: 6].

Я не считаю плодотворным столь оценочное противопоставление «импортных растений» и «мощной корневой системы» (тем более что термин «социолингвистика» в позднесоветское время стал ассоциироваться скорее с сугубо отечественными подходами). Развитие теории речи — мировое явление. Но связь этой неупорядоченности со столкновением различных национальных традиций, включая российскую, несомненна, а направления англоязычной лингвистики в наши дни нередко вытесняют все остальные. Однако дело, разумеется, не только в этом.

Позволю себе здесь процитировать собственную публикацию: «У исследователей, даже принадлежащих к одной научной школе, очень мало единства, а научные направления довольно быстро сменяют друг друга. Пережили расцвет и стали угасать теория речевых актов и прагматика, то же, возможно, происходит и с теорией речевых жанров²... зато стала влиятельной когнитивная лингвистика... Создается впечатление, что ученые ищут более или менее одну и ту же истину, подступаясь к ней с разных сторон, разочаровываются в одной попытке и предпринимают новую» [Алпатов 2011: 130]. Речь и коммуникация разными направлениями изучаются под разным углом зрения. Но отмеченная К. Ф. Седовым неупорядоченность бесспорна, а существенные различия разных направлений часто трудно охарактеризовать.

Сам автор статьи принадлежал к направлению исследователей речевых жанров, основывающихся на идеях, высказанных М. М. Бахтиным в начале 50-х, но ставших известными лишь в 70-е гг. Это направление (генристика) более всего развивается в России и малоизвестно в англоязычных странах; в его рамках осуществлено уже немало исследований, описанных, в частности, в книге В. В. Дементьева [Дементьев 2010]. И в данной статье генристика развивается в теоретическом плане: интересны вводимые здесь понятие гипержанра [Седов 2012: 10], разграничение нормативных и ненормативных жанров [Там же: 13] и др.

Но на примере теории речевых жанров ясно видно, что ее объект относится, согласно вышеприведенной формулировке А. Е. Кибрика, к «феноменам, которые до некоторой степени считаются недостаточно наблюдаемыми и формализуемыми». Современная наука уже не считает их, как когда-то, непознаваемыми и активно стремится их познать. Однако эти феномены в настоящее время не имеют для своего изучения строгих методов, сопоставимых по строгости со сравнительно-историческим методом, методами структурной фонологии или генеративно-

² По данному вопросу у российских исследователей речевых жанров имеются разногласия: К. Ф. Седов спорил с высказанной В. Н. Дементьевым точкой зрения о стагнации жанровых исследований, считая их по-прежнему перспективными [Седов 2012: 10].

го синтаксиса. Это относится и к теории речевых жанров, где, в частности, нет сколько-нибудь строгих критериев, позволяющих отграничить два жанра от разновидностей одного и того же жанра. Например, в статье К. Ф. Седова упомянут отдельный «жанр *разборки при автомобильной микроаварии, вызванной столкновением машин*» [Седов 2012: 14], относимый к новым, только формирующимся жанрам (хотя соответствующая ситуация существует уже не одно десятилетие). Однако как доказать, что это именно отдельный жанр, а не разновидность, скажем, жанра ссоры? Но отсутствие привычной для лингвиста строгости относится не только к генристике, но и к языковым картинам мира, к современной семантике и т. д. И ученые все более сомневаются в принципиальной возможности создания таких методов.

Я застал времена, когда в отечественной лингвистике признаком «прогрессивности» считались идеи о том, что все в этой науке подлежит математизации и формализации, а если этот процесс еще не завершен, то его окончательный успех — вопрос времени («силы далекие от науки» чаще противодействовали, чем способствовали таким взглядам). Иную точку зрения признавали «реакционной». Одним из «реакционеров» тогда считался В. И. Абаев, который в статье, впервые опубликованной в 1960 г., писал: «В языке переплетаются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают в конечном итоге структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй — чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика — вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис... Роковым для новейшего языкознания оказалось то, что ценнейшее открытие — учение о фонеме — в результате ложного и гипертрофированного развития переродилось в схоластическую доктрину, которую затем пытались сделать универсальной теорией языка. Между тем фонетика, как чисто знаковая система, где есть только отношения, но нет значений, занимает в языкознании периферийное и очень специфическое положение. Морфология, а тем более лексика с этой стороны коренным образом отличаются от фонетики, и перенесение туда принципов фонологии практически почти бесплодно» [Абаев 2006: 103].

Где-то В. И. Абаев полемически заострял свою позицию, например говоря о периферийности фонологии (но не случайно эта центральная для науки первой половины XX в. дисциплина отошла на ее периферию в его последние десятилетия). И разумеется, он не касался лингвистики речи, хотя указание на «соотносимость с элементами объективной действительности» подходит и сюда. Но он поставил казавшийся тогда еретическим вопрос, связанный не только с границами применимости еще влиятельных для 1960 г. структурных методов, но и с границами формализации лингвистического знания.

Действительно, формализованные методы изучения языка, разумеется активно развивавшиеся и в последние полвека (прежде всего, в генеративизме),

по-прежнему касаются лишь того, что В. И. Абаев полностью или частично связывал со знаковой системой. Кстати, и исторически первый строгий лингвистический метод — сравнительно-исторический — является методом фонетической (во многом фонологической) реконструкции. Разумеется, компаративистика занимается не только этим, но точные методы в сравнительной грамматике касаются лишь восстановления фонетического облика грамматических показателей, а все остальное, особенно компаративная семантика, на порядок менее строго. А структурная семантика, в основном, как правильно заметил В. И. Абаев, переносила на область лексики фонологические методы (компонентный анализ, семантические множители и пр.), что в чем-то продвинуло семантические исследования, но не очень значительно. Новые области исследований, свойственные функционализму в широком понимании, и упоминаемые, и не упоминаемые К. Ф. Седовым, не отличаются активным использованием формальных методов. Снижение степени формализации заметно у многих лингвистов, давно работающих в науке (яркий пример — Ю. Д. Апресян, начиная с 70-х гг.). Современные исследования по лингвистике речи или по семантике (что хорошо видно в отечественных работах) не обладают или, по крайней мере, вряд ли обладают свойством, обязательным для естественных наук, — воспроизводимостью: два исследования на одном материале должны независимо друг от друга давать одинаковый результат. А полвека назад и для лингвистики выдвигалось такое требование.

Безусловно, могут раздражать субъективность и произвольность выводов, в некоторых областях современной лингвистики (например, в исследованиях языковых картин мира) иногда прямо-таки возводимые в культ. И хотелось бы иметь какие-то критерии выделения жанров. Но как бы мы ни старались избегать крайностей, у нас (пока?) нет иных критериев проверки, кроме так называемого здравого смысла, т. е. данных опыта и интуиции, в том числе языковой. Например, анализ конкретного материала у отечественных исследователей речевых жанров мало похож на структурный анализ текстов в лингвистике, но очень напоминает анализ в менее строгих науках, особенно в литературоведении. Ср. не лишнее оснований замечание Р. О. Шор В. Н. Волошинову о том, что в его книге при обращении к материалу несобственной прямой речи происходит «подмена объекта изучения языка изучением художественного слова» [Шор 1929: 154]. Но и исследование литературного произведения, и выявление жанровых характеристик текста, и семантический анализ (например, в рамках Московской семантической школы) могут быть убедительны (или неубедительны) в зависимости от степени интуитивной приемлемости. Можно ли со временем здесь выработать формальные критерии? Прав ли В. И. Абаев, принципиально отрицавший эту возможность? Не знаю, но пока развитие функциональной лингвистики или литературоведения (исключая стиховедение) не движется в этом направлении, а продвинутая в формализации генеративная лингвистика занята иными сюжетами, исходя, в частности, из постулата о центральном положении синтаксиса в механизме языка.

Но существует еще одна проблема, по которой хотелось бы поспорить с К. Ф. Седовым: это современное состояние лингвистики языка и соотношение лингвистики языка с лингвистикой речи.

Прежде всего, вызывает возражение уже упоминавшееся отождествление лингвистики языка и «дескриптивного изучения языка» у К. Ф. Седова. Такое отождествление, конечно, было свойственно лингвистике на многих ее этапах, достигнув максимума в ряде направлений структурной лингвистики (не только в дескриптивизме). Однако задача объяснительного подхода к языку, впервые поставленная еще «философскими грамматиками» схоластов XIII–XIV вв., а в близкое к нам время провозглашенная Н. Хомским, в последние десятилетия стала центральной. Она постоянно ставится и до некоторой степени решается многими направлениями современной лингвистики, как в рамках генеративизма, так и в пределах функционализма (в широком и узком смысле), применительно к самым разным проблемам, включая и традиционные проблемы языкознания.

Вот лишь один пример. Как пишет в уже упоминавшейся книге 1992 г. А. Е. Кибрик, «на смену безраздельного господства... КАК — типологии приходит *объяснительная* ПОЧЕМУ — типология, призванная ответить не только на вопросы о существовании, но и о причинах существования / несуществования тех или иных явлений» [Кибрик 1992: 29]. При этом имеется в виду объяснение вполне традиционных для лингвистики языка явлений, например порядка аффиксов в словоформе. Но такое объяснение требует выхода за пределы языка в смысле Ф. де Соссюра, прежде всего учета «обстоятельств *использования* языка человеком» [Там же: 29], а это, в обычных терминах, уже речь.

Стирание некогда казавшихся ясными границ между языком и речью особенно заметно в семантике, которая впервые стала полноценным объектом лингвистических исследований, лишь сблизившись с изучением прагматики и/или теории речевых актов. Показательно, что в нашей стране ведущая семантическая школа, связанная с именами Н. Д. Арутюновой, Е. В. Падучевой и их учеников, одновременно является и школой прагматики и теории речевых актов.

Ранее семантика ограничивалась, как правило, лишь семантикой отдельных грамматических категорий и отдельных слов. При этом далеко не вся лексика поддавалась анализу, о чем еще в 50-е гг. писал А. И. Смирницкий: «Лексиколог подробно останавливается на архаизмах, выискивает различные окаменелости... но о скромных исконных словах данного языка, издавна выражавших в нем такие простые, но вместе с тем существенные понятия, как “видеть”, “лежать”, “стоять”, “ходить”, “делать”, “красный”, “синий”, “огонь”, “вода”, “дерево” и т. п., лексиколог обычно говорит очень немного (если вообще говорит что-нибудь) и то лишь мимоходом... А между тем, разумеется, если такие наиболее широко распространенные и часто употребительные слова оставлять без внимания, то нечего и думать о действительной характеристике данной лексики, о выявлении ее существенных особенностей» [Смирницкий 1955: 6–7]. Об этом же писал еще раньше М. Н. Петерсон [Петерсон 1940: 1]. Совсем плохо поддавались семантическому

анализу самые употребительные и, казалось бы, простые слова вроде наречий или частиц. Еще хуже обстояло с семантикой предложения, не поддававшейся строгому анализу.

Затем подход изменился и в отечественной, и в зарубежной лингвистике. Как указывают Н. Д. Арутюнова и Е. В. Падучева, «прагматизация значения имела далекоидущие последствия: значение высказывания стало считаться неотделимым от прагматической ситуации, а значение многих слов начали определять через указание на коммуникативные цели речевого акта... Значение слова стало рассматриваться в связи с коммуникативной направленностью речевого акта, то есть как орудие, посредством которого мы совершаем действие... Этот подход нашел отражение в определении значения оценочных слов» [Арутюнова, Падучева 1985: 13]. Еще более необходимо обращение к коммуникации при изучении семантики словосочетания и предложения.

Тем самым функционализм возвращается к исконно свойственному науке о языке антропоцентризму, отказываясь от распространенного в XX в. и осуждаемого К. Ф. Седовым системоцентризма, рассмотрения языка по образцу объектов естественных наук. Разграничение же языка и речи, в прошлом сыгравшее полезную роль (как и жесткое разграничение синхронии и диахронии), все более теряет свою жесткость (что, разумеется, не означает полную идентичность данных явлений). Лингвист должен обращаться к функционированию языка, с учетом которого изучается и его строение.

В той же работе А. Е. Кибрика выдвигаются постулаты функциональной лингвистики, среди которых такие: «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен “на самом деле”»; «Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» [Кибрик 1992: 19–20]. И многое из того, что имеет такое отношение, еще полвека назад казалось лежащим за пределами лингвистики. А содружество лингвистов с учеными-гуманитариями других специальностей, о котором еще в 30-е гг., когда господствовало стремление к автономизации лингвистики, писал Э. Сепир, сейчас приобретает особое значение. На все эти процессы совершенно справедливо обращает внимание К. Ф. Седов, но они затронули и лингвистику языка.

Остается еще один более частный, но важный вопрос: положение социолингвистики среди лингвистических дисциплин. Хотя ряд важных идей, касающихся функционирования языка в обществе, высказывался еще в 20–30-е гг., в том числе в СССР, но активное развитие современной социолингвистики началось лишь во второй половине XX в. Если посмотреть на исследования, которые в последние десятилетия относили к социолингвистическим, то заметно одно противоречие. С одной стороны, их объект имеет очевидную общность; везде затрагиваются проблемы, касающиеся связи языка и общества. С другой стороны, методы и результаты этих исследований явно различны. Сюда относят и изучение социально обусловленного речевого поведения, коммуникативной компетенции носителей языка, но также и изучение языковой политики или языковых конфликтов;

см. разнообразные темы, рассмотренные в учебнике В. И. Беликова и Л. П. Крысина [Беликов, Крысин 2001]. Одни сюжеты, безусловно, относятся к лингвистике речи, другие нет. Отнесение к социолингвистике только первых, что, по-видимому, имел в виду К. Ф. Седов, противоречит сложившейся традиции употребления этого термина. В. И. Беликов и Л. П. Крысин определяют предмет своей дисциплины очень широко: «Объект социолингвистики — язык в его функционировании» [Там же: 18]. Кроме того, указывается, что имеются случаи, когда «социальное внедряется в ткань языка и является компонентом строения языковых единиц» [Там же: 17]. При таком понимании социолингвистика поглощает всю лингвистику речи и часть лингвистики языка, однако остается еще значительная часть социолингвистической проблематики, не попадающей ни туда, ни туда: это хотя бы вышеупомянутые языковая политика и языковые конфликты.

Конечно, можно так определить понятия, что любое вербальное и невербальное общение будет отнесено к социальным явлениям. Однако все разнообразие данных проблем трудно свести к одному знаменателю. В том числе несомненно различие, например, общих правил ведения диалога, связанных с универсальными закономерностями поведения, и налагаемых на эти правила ограничений, обусловленных особенностями данного общества. Постулаты Грайса, пресуппозиции, перформативы и пр. понятия современной лингвистики речи — не социолингвистические в обычном смысле, поскольку они действуют в любых обществах. Но невозможность в ряде обществ употребить имя мужа или обязательность в японском диалоге указаний на социальную иерархию собеседников при отсутствии такой обязательности в русском или английском диалоге подлежат ведению социолингвистики (но и лингвистики речи тоже). Но то же самое относится и к лингвистике языка: формулы этикета (в ряде языков имеющие и грамматическое выражение), мужские и женские языки и пр. — под разным углом зрения предмет и социолингвистики, и лингвистики языка. Возможно, нечто аналогичное может быть найдено и для психолингвистики.

Таким образом, оказывается, что противопоставление социолингвистики другим лингвистическим дисциплинам не находится в одном ряду с той классификацией, которую, например, предложил К. Ф. Седов на стр. 5 статьи. Возможно, это он и имел в виду, но принятое им решение включить ее в лингвистику речи тоже вызывает возражения. Социолингвистика выделяется не по тематике и тем более не по методам, а по интерпретации: исследуемое явление относится к языку и/или речи, но либо может быть объяснено социальными причинами, либо из него делаются социологические выводы. Два этих случая требуют разных методов и дают разные результаты. В 70-х гг. один из наших ведущих социолингвистов Л. Б. Никольский предлагал разграничить две дисциплины: соответственно социолингвистику и лингвосоциологию; в последней «изучаются социальные явления и процессы через их языковые отражения, а язык рассматривается в ряду факторов, оказывающих воздействие на функционирование и эволюцию общества» [Никольский 1976: 131]. Это разграничение не нашло поддержки, и сам

Л. Б. Никольский впоследствии от него отказался. Однако оно представляется разумным³. А после формирования социолингвистики в нашей стране в 60–70-е гг. у нас более всего занимались именно изучением лингвосоциологии, в целом это сохраняется и сейчас. К лингвосоциологическим проблемам (вроде соотношения роли русского и эстонского языков в современной Эстонии) социолингвистика не может сводиться. Однако, исходя из вышеупомянутой тенденции неуклонного расширения объекта лингвистики, и их не стоит исключать из числа лингвистических.

Статья К. Ф. Седова затрагивает еще один аспект, уже выходящий за пределы лингвистики, поскольку имеет общенаучное значение. В ней говорится: «Идея тотального понимания как главной миссии гуманитарного знания в нашей науке все чаще подменяется идеей толерантности — терпимости к чужой точке зрения. Но без активного противопоставления своей правды правде другого, без стремления посмотреть на мир глазами собеседника толерантность порождает равнодушие, где законы приличия предполагают вместо понимания терпеливое и вежливое пережидание, “когда закончит говорить оппонент”. Толерантность подобного толка ведет к полнейшей концентрации, научному эгоцентризму, когда ученые разного уровня, подобно гоголевской Коробочке, простодушно исключают из своего кругозора достижения ученых из соседних научных пространств. Все это создает парадоксальную ситуацию, где научный диалог превращается в полифонию, где различные голоса существуют независимо друг от друга. На место горячих споров, конфликтных (в хорошем смысле этого слова) дискуссий пришла вялотекущая толерантность, где за плохо скрываемым неприятием чужого мнения просвечивает неприязнь к новым подходам и страх перед свежими идеями» [Седов 2012: 4].

С этими словами я, безусловно, согласен. К ним я бы еще добавил одно. В последние десятилетия по миру распространился так называемый постмодернистский взгляд, отрицающий существование истины, в том числе научной, по сути признающий право высказывать какие угодно взгляды. Вот что писал, например, литературовед В. Руднев: «В конце XX в. труды Марра постепенно стали реабилитировать... Это происходило при смене научных парадигм, при переходе от жесткой системы структурализма к мягким системам постструктурализма и постмодернизма, где каждой безумной теории находится свое место» [Руднев 1999: 189]. И справедливо осужденная К. Ф. Седовым равнодушная толерантность тесно связана с признанием равенства научно обоснованных и безумных теорий, с отращиванием к поискам истины, рождаемой в спорах. Статья покойного автора, где-то спорная, будит мысль, заставляет думать. И уже в этом ее ценность.

³ В отношении методологических различий между лингвосоциологией и «обычной» лингвистикой, включая социолингвистику, показательно, что все попытки создать марксистскую лингвистику, очень активные в СССР в 20-е и отчасти в 30-е гг., потерпели неудачу, тогда как в лингвосоциологии марксистские идеи вполне успешно применяются (больше за рубежом, чем у нас), о чем я уже писал [Алпатов 2005а: 187–201, 365–372], правда не разграничивая социолингвистику и лингвосоциологию.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Проблема, вынесенная в название доклада, к настоящему времени довольно сильно скомпрометирована. В советское время, более всего в конце 1940-х — начале 1950-х гг., не раз писали, что только советское языкознание, вооруженное все-сильным методом, развивается в правильном направлении, тогда как в лингвистике Запада господствуют «духовное оскудение и маразм», как было сказано в передовой статье самого первого номера «Вопросов языкознания» [Задачи 1952: 6]. Сейчас буквально так уже не пишут, но особенности русской науки могут выводить из особенностей русского взгляда на мир, выраженного, например, в русской идеалистической философии. В наши дни могут писать и нечто похожее, но с иной оценкой. Например, у историка Б. С. Илизарова в статье о выступлении И. В. Сталина по вопросам языкознания: «К 50-м годам советская гуманитарная наука была наглухо изолирована от остального мира и под присмотром партийного аппарата вынуждена была вращаться в кругу давно устаревших идей» [Илизаров 2003: 186].

При противоположных оценках в обоих случаях научные различия выводятся из идеологических. Но нет единой «русской идеологии» (как и американской, китайской и т. д.). Кроме того, постулируется полный разрыв между лингвистикой в СССР и в остальном мире, которого на деле никогда не было. Наука о языке советского периода при всех особенностях развивалась в том же направлении, что и в странах Европы и Америки.

Я, разумеется, не утверждаю, что идеология не оказывает никакого влияния на развитие языкознания в той или иной стране. Но это влияние, иногда очевидное (например, в случае марксизма), иногда опосредованное, не может определять особенности всей науки страны даже в определенный период времени.

Тем не менее особенности русской (точнее, русскоязычной) лингвистики существуют, как и особенности англоязычной лингвистики. Но определяются они, прежде всего, особенностями строя базового языка (русского, английского и др.). Об этом еще полвека назад писали А. А. Зализняк и Е. В. Падучева: «Естественно... что, когда лингвист переходит от описаний родного языка к построению общей теории языка, основные понятия построенной им теории часто сохраняют тесную связь с фактами, которые хорошо представлены в его родном языке» [Зализняк, Падучева 1964: 7].

Русский национальный вариант европейской лингвистической традиции в основном начал формироваться в XVIII в. (В. Е. Адодуров, В. Г. Третьяковский,

М. В. Ломоносов). Поначалу в нем имело место сильное влияние греко-латинского эталона; например, М. В. Ломоносов рассматривал по античному образцу имя как единую часть речи, но ученые XIX в. уже выделяли существительные и прилагательные, поскольку в русском языке они склоняются по-разному. Постепенно выработывался эталон, основанный на строе русского языка, к концу XIX в. он уже окончательно сложился. Аналогичные процессы шли с разной скоростью в английском, французском и других вариантах европейской лингвистической традиции, но поскольку русский язык, сохранивший развитое словоизменение, типологически ближе к классическим языкам, чем английский или французский, то русский вариант традиции в целом изменился меньше по сравнению с античным.

Можно привести немало примеров влияния строя базового языка на лингвистическое описание. Начну с примера из области фонологии. Общеизвестно, что в фонологической системе русского языка важнейшее место занимает противопоставление согласных фонем по наличию — отсутствию признака палатализации (мягкости). Этот признак не особенно част в языках мира, в том числе его на фонологическом уровне нет во многих европейских языках, включая английский. Но есть серьезные основания относить к языкам с палатализацией японский. В России, начиная с Е. Д. Поливанова, такая точка зрения господствует и отражается в кириллической транскрипции японских слов. Однако англоязычные японисты не замечают мягких согласных и трактуют разные элементы единой системы по-разному. Некоторые из японских палатализованных согласных имеют также более заднюю артикуляцию, которая воспринимается в России как дополнительный, а в США как основной признак. Отсюда последовательностям *ся*, *тя* в кириллической транскрипции Е. Д. Поливанова соответствуют *sha*, *cha* в стандартной латинице. Отсюда разницей в современном русском языке, когда одновременно встречаются непосредственные заимствования из японского (*суши*, *Хитати*) и заимствования через посредство английского (*суши*, *Хитачи*). Если же звуки различаются только палатализацией, то носители английского языка слышат сочетания с йотом: *мя*, *кя* в кириллице и *туа*, *куа* в латинице. В англоязычной японистике однотипные противопоставления рассматриваются то как противопоставления фонем, то как противопоставления фонем их сочетаниям с йотом. Носителям языка, где нет палатализации, ее услышать трудно, тогда как для носителей русского языка ее выделение представляется естественным (см. статью «Сасими или сашими?» в настоящем сборнике).

То же можно видеть и в области грамматики. В 1903 г. знаменитый французский индоевропеист А. Мейе писал: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен... Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменяемыми элементами... В латинском языке для значения “волк” нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus*, *lure*, *lupum*, *lupī*, *lupō*, *lupōs*, *lupōrum*, *lupīs*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием... Все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше — другие позже, обнаружили склонность упразднить

словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» [Мейе 1938: 426–427]. То есть для лингвиста — носителя французского языка неизменяемое слово — норма, а развитое словоизменение — «своеобразный» и «сложный» тип.

Однако автор комментариев к русскому изданию 1938 г. книги А. Мейе Р. О. Шор по этому поводу справедливо писала: «Как понимание структуры отдельного слова... так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка — языка синтетического строя — тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка — языка аналитического строя» [Шор 1938: 500]. Для носителей русского языка тут нет неясного.

Русские представления здесь иные. Их выразил, например, А. И. Смирницкий в 1950-е гг.: «Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок. Слово *окно*, как лексема, как единица словаря, есть все же *окно* или, в известных случаях, *окна*, *окну*, *окна*, но не *окн-*» [Смирницкий 1955: 14]. «Обрубок» — не лингвистический термин, но он точно передает интуицию носителя русского языка, для которого «неоформленное» слово ощущается как нарушение нормы или, по крайней мере, как исключение, свойственное либо периферийной лексике, либо служебным словам, которые как бы и не совсем слова. Отмечу, что А. И. Смирницкий по лингвистической специализации был германистом и много занимался как раз английским языком, но в общелингвистических работах исходил из русского эталона.

Подобные представления отразились, например, в русской японистике. В русской традиции принято считать, что любая грамматическая категория, включая падеж, определяется, как сказано в русской грамматике 1970 г., «совокупностью словоформ (парадигмой)» [Грамматика 1970: 317]. То есть хотя бы некоторые из падежей того или иного языка должны выражаться внутри именной словоформы.

Японская падежная система вполне соответствует данному названию с точки зрения функции падежей, однако споры вызывал вопрос о трактовке падежных показателей: это отдельные слова или аффиксы. Японская национальная традиция, как и англоязычная японистика, всегда считает их отдельными словами, для чего есть серьезные основания (они в некоторых случаях могут отделяться от существительных). Но если падежные показатели — слова, то с традиционной русской точки зрения в японском языке нет грамматической категории падежа, есть только послеложные конструкции. Но всё выглядит иначе, если признать японские падежные показатели аффиксами, что и сделал тот же Е. Д. Поливанов в 1930 г. [Плетнер, Поливанов 1930: 145–146]. Эта точка зрения существовала только в российской японистике, одно время была господствующей, но во второй половине XX в. была оставлена.

При рассмотрении японского языка разные привычки носителей русского языка вступают в противоречие: в «нормальном» языке должны быть, с одной стороны, падежи, с другой — грамматическое оформление слова. То и другое совмещалось в концепции падежного словоизменения, которая никогда не приходила в голову

англоязычным японистам. Однако понятие падежа в японском языке устояло ценой отказа российских японистов от общелингвистического определения падежа, слишком ориентированного на особенности языков с развитым словоизменением. Для лингвиста, исходящего (может быть, и бессознательно) из русского языка как точки отсчета, кажется естественным случай, когда и в исследуемом языке слово «оформлено», имея в своем составе грамматические аффиксы. Если же такого аффикса нет, то более естественным может казаться трактовка его отсутствия как нуля, чем как совпадения слова с основой.

Два приведенных примера из области японистики показывают, что базовый язык, ощущаемый как эталон «нормального» языка, может дать (в рассматриваемом случае одному и тому же исследователю — Е. Д. Поливанову) и верную, и неверную подсказку. Со временем влияние национальной традиции может ослабевать, как это произошло с трактовкой японских падежей. Но признания палатализации в англоязычной японистике не произошло (за отдельными исключениями): слишком мало там знают российскую лингвистику и русский язык.

Различия видны и в синтаксисе. Известны два основных способа представления синтаксической структуры предложения: грамматика зависимостей и грамматика составляющих. В англоязычной лингвистике структура предложений обычно представляется в рамках так называемой грамматики составляющих, восходящей к Л. Блумфилду. Предложение при таком подходе делится на части, у большинства лингвистов деление на каждом шагу бинарно. В наиболее частом случае двусоставного предложения оно делится на составляющие: обычно это *nominal group* и *verbal group*; если эти составляющие состоят из нескольких слов, они, в свою очередь, делятся на две части, и т. д.; в результате получаются составляющие разных рангов. Часто разложение на составляющие идет дальше границ слова и независимо от них, доходя до морфем (корней и аффиксов). Такая схема наглядно представляется в виде скобок, каждая пара скобок включает составляющую, пары скобок вкладываются друг в друга, но не пересекаются.

В российской науке такое представление до недавнего времени не было принято, его место обычно занимает так называемая грамматика зависимостей, с которой в России знакомятся еще в школе. В этом случае предложение понимается как состоящее из слов и синтаксических отношений между ними. Выделяется главное слово (сказуемое и/или подлежащее), от него проводится стрелка к зависимым членам предложения, далее к зависимым членам второго ранга, и т. д. Предложение предстает как совокупность слов и синтаксических связей между ними, а их порядок существенной роли не играет. На Западе такое представление синтаксических структур иногда называют «графами Теньера», поскольку их употреблял французский лингвист Л. Теньер в посмертно изданной книге [Tesnière 1959]; см. также ее русский перевод [Теньер 1988]. Отмечу, что он был славистом, изучал работы русских лингвистов и мог использовать их идеи.

Грамматика зависимостей принципиально не меняется при перемене порядка слов, что, вероятно, соответствует привычкам людей, для которых родной

язык — русский. Но грамматика составляющих исходит из того, что составляющие в норме должны быть непрерывны, что, видимо, естественно для носителей английского языка, для которых существенно представление о корреляции между степенью синтаксической и линейной близости слов. Свободный порядок слов требует усложнения грамматики составляющих. С другой стороны, грамматика зависимостей требует обязательного членения текста без остатка на слова, что не всегда легко сделать. В грамматике же составляющих можно обойтись без обязательного выделения слова; видимо, с этим связана тенденция ряда современных лингвистов понизить слово в ранге или исключить это понятие [Haspelmath 2011].

В этом проявляется различие строя базовых языков: «Ясно, что русский язык, с относительно свободным расположением слов, менее удобно анализировать по непосредственным составляющим, чем английский; аналогично, для английского языка понятие дерева зависимостей является менее естественным, чем для русского» [Зализняк, Падучева 1964: 7]. По-видимому, грамматика зависимостей кажется естественной носителям русского языка, где слова обычно четко выделяются, их грамматические функции очевидны благодаря их «оформленности», а их порядок почти всегда свободен. Но грамматика составляющих естественнее для носителей английского языка с жесткими правилами словесного порядка и менее ясными границами слов. Здесь в отличие от русского языка слова часто получают синтаксическую роль лишь в зависимости от места в предложении.

Далее следует рассмотреть традиционную синтаксическую терминологию. Трудно дать стандартный и общепонятный английский перевод для привычных в России терминов *знаменательное слово*, *служебное слово*, *словосочетание*, *главное предложение*, *придаточное предложение*. Мне однажды не удалось напечатать за рубежом английский вариант уже публиковавшейся по-русски статьи о японском языке: в ней важную роль играло деление слов на *знаменательные* и *служебные*, но редакция международного сборника потребовала исключить не термины, но сами понятия, что означало бы написать другую статью. Синтаксически самостоятельные слова могут называть *particles* или *clitics*, но можно ли так называть, скажем, вспомогательные глаголы? А русский термин *частица* уже по значению, чем *particle*. Общего же термина для самостоятельных слов, не являющихся *particles* или *clitics*, в английском варианте традиции просто нет.

С другой стороны, до недавнего времени не имели точного русского эквивалента англоязычные термины *phrase* и *clause*. Первый из них — не то же самое, что *фраза* в русской традиции: *фраза* — более или менее — то же самое, что *предложение*, но *phrase* может быть словосочетанием и даже словом. Русскому термину *словосочетание* точнее всего соответствует как раз *phrase*, но не наоборот: словосочетание не может равняться одному слову. Такой подход, с точки зрения носителя русского языка, стирает важное различие между словом и словосочетанием. А термины *sentence* и *clause* покрываются термином *предложение*, не будучи синонимами: *sentence* может состоять из нескольких *clause*, но не наоборот. Термин *clause* близок

к русскому *придаточному предложению*, но не идентичен ему: сложносочиненное предложение делится на *clauses*, но не на придаточные предложения. Наконец, термину *главное предложение*, как и термину *знаменательное слово*, нет принятого эквивалента в английском языке.

Таким образом, мы имеем два ряда терминов: *sentence — clause — phrase — word* и *предложение — словосочетание — слово*. Точного соответствия нет. Правда, в самое последнее время в некоторых школах российской лингвистики распространился термин *клауза*, но это уже прямое влияние англоязычной традиции, всё более становящейся международной.

И дело не просто в терминах. Для носителя русского языка синтаксис — это, прежде всего, согласование и управление, выражаемые словоизменением. Такое представление естественно отражается и в том, что компонентами предложения признаются слова (любые или только знаменательные), но не словосочетания. Однако носитель английского языка, по-видимому, не привык находить опору в формах слов, тогда как их порядок для него почти всегда важен, а синтаксически наиболее тесно связанные компоненты в норме должны и стоять рядом. Поэтому русская традиция пошла по пути грамматики зависимостей и по пути разграничения главных и придаточных предложений, а англоязычная — по пути грамматики составляющих и выделения *phrase*.

Наконец, русский вариант европейской традиции устойчиво сохраняет представление о центральной роли слова среди единиц языка. Оно было таковым во всей европейской традиции тогда, когда она исходила из греческого и/или латинского эталона. Однако в западноевропейских вариантах традиции с XX в. слово начало отходить на задний план; позже оно стало вообще исчезать. Показательны включение морфологии в состав синтаксиса в генеративизме и некоторых других направлениях западной лингвистики и идея М. Хаспельмата о едином морфосинтаксисе. Но в русском варианте это встречается много реже.

Последняя особенность, по-видимому, имеет психолингвистические корни. Еще в 1940-е гг. А. Р. Лурия, изучая речевые расстройства у носителей русского языка, отметил, что речь у них на любом этапе афазии остается словесной. При моторной афазии больные (в случае, если у них не нарушен процесс артикуляции) сохраняют способность произносить изолированные слова и не теряют словарный запас, но не могут произносить их сочетания; на уровне отдельных слов происходит и восприятие.

Речь таких больных состоит из отдельных слов (звуковой облик которых обычно не искажается), причем служебные слова не употребляются, используются (кроме отдельных штампов) лишь формы именительного падежа единственного числа (реже именительного падежа множественного числа) существительных, инфинитива и 1-го лица единственного числа настоящего времени глаголов. Больные данным видом афазии не могут правильно разложить слово на звуки и на морфемы, теряется возможность склонять и спрягать [Лурия 1947: 76–77, 90–91]. К таким же выводам приходят и современные исследователи.

Исследования детской речи также подтверждают, что «в подавляющем числе случаев слова не производятся, а воспроизводятся, т. е. извлекаются из памяти в готовом и (если иметь в виду слова с членимой основой) собранном виде» [Цейтлин 2009: 58]. «Бесфлексийное использование слов вообще невозможно», а представления о морфемах, «умение вычленять в составе словоформ значащие части» формируются намного позже [Там же: 61].

Опыты с носителями русского языка показывают, что для них базовая единица, прежде всего словоформа, почти всегда включающая аффиксы в свой состав. «В русском языке операции с флексиями задействованы всегда; иными словами, даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформленным» [Черниговская 2013: 168].

Но для английского языка ситуация оказывается иной. На том этапе, когда русские дети говорят «замороженными словоформами», англоязычные дети говорят основами; у них отсутствуют не только служебные слова, которых на соответствующей стадии еще нет и у русских детей, но и аффиксы, абсолютно необходимые в русской речи [Цейтлин 2000: 84; 2009: 112]. Исследования афазий, проведенные Т. В. Черниговской и ее сотрудниками, приводят к выводу: в нем регулярные формы прошедшего времени с элементом *-ed* (который принято считать аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом виде (воспроизводятся). Нерегулярные формы неправильных глаголов, однако, воспроизводятся [Черниговская 2013: 167]. Исследователи афазии и детской речи часто выделяют «независимые механизмы порождения этих двух видов паттернов, согласно которым регулярные глаголы выводятся в соответствии с символическими правилами, а нерегулярные извлекаются из памяти целиком» [Там же: 151]. Однако «все эти гипотезы разрабатывались на материале английского языка, в котором имеется только один регулярный класс (глаголов. — В. А.) и отсутствует сильно развитая морфологическая система. Очевидно, что они не могут полностью применяться к языкам с более развитой морфологической системой» [Там же: 172]. «Можно предположить, что резкое противопоставление регулярного и нерегулярного механизмов в русском языке не является продуктивным» [Там же: 173].

Итак, многие различия вариантов европейской лингвистической традиции могут получить психолингвистическое объяснение. Носители любого языка имеют в своем распоряжении лексикон (набор базовых единиц) и правила порождения из них предложений (при афазиях бывает, что один из этих механизмов выходит из строя). Однако в русском языке базовые единицы сложнее по своему составу, чем в английском (и, по-видимому, во французском, о чем косвенно свидетельствуют рассуждения А. Мейе). Процесс порождения предложений для английского языка в основном сводится к соположению базовых единиц на основе правил порядка, а в русском языке, помимо синтаксических механизмов, имеются и морфологические, порождающие не базовые словоформы. При моторной

афазии, которую описал А. Р. Лурия, больные одновременно не могли сочетать и изменять слова. В прошлом, по-видимому, и английский язык, имевший развитое словоизменение, обладал морфологическими механизмами, теперь в них уже нет необходимости, а формы неправильных глаголов, реликт бывшего словоизменения, хранятся в памяти в готовом виде. Многие из вышеупомянутых отличий национальных вариантов традиции могут прямо или косвенно вытекать отсюда.

Если лингвист исследует чужой для него язык, то он сознательно или чаще бессознательно выбирает решение, более естественное с точки зрения родного языка, а дальнейший анализ может его подтвердить или не подтвердить. Русский язык всегда лежал в основе лингвистических теорий, создававшихся в русской науке. Даже лингвисты, специально не занимавшиеся этим языком, как германист А. И. Смирницкий, в первую очередь опирались на его данные. В то же время за пределами России он мало учитывался при построении теорий (исключение составляли игравшие важную роль в мировой лингвистике XX в. эмигранты из России и изредка слависты вроде Л. Теньера). В последнее время английский язык стал возводиться в ранг всеобщего эталона, тогда особенности русского языка вроде свободного порядка слов рассматриваются как отклонения от базовых принципов языка или вообще игнорируются. Однако остается проблема разграничения общих свойств языка, поставленная еще в XVII в. в «Грамматике Пор-Рояля»; здесь может помочь сопоставление национальных лингвистических вариантов.

ДВА ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА

В мировой науке о языке за более чем два тысячелетия ее развития, разумеется, выдвигалось и продолжает выдвигаться бесчисленное множество теорий, концепций, методов исследования материала. И все-таки, как мне кажется, всё это многообразие отражает ограниченное количество некоторых базовых, не всегда осознаваемых подходов к языку человека. Эти подходы могли иметь разные формы, имели разную популярность в разные эпохи, но можно проследить их историю.

1. Два спора

Свой анализ я хочу начать с обсуждения двух полемик между лингвистами, происходивших с интервалом в два десятилетия в разных странах, в различном научном и культурном контексте, но, как мне кажется, имевших определенное сходство. Первая полемика была в журнале «Language» (США) в 1943–1944 гг. между самым знаменитым американским лингвистом того времени Л. Блумфилдом (1887–1949) и ученым — эмигрантом из Германии Л. Шпитцером (1887–1960), на русском языке она подробно описана в посмертно опубликованной статье известного советского лингвиста и литературоведа Г. О. Винокура (1896–1947) [Винокур 1957]. Вторая полемика — это спор в журнале «Вопросы языкознания» между советскими лингвистами В. И. Абаевым (1900–2001) и П. С. Кузнецовым (1899–1968) [Абаев 1965; Кузнецов 1966]. Отмечу, что в обоих случаях спорили ровесники или почти ровесники, но они принадлежали к разным научным направлениям, и накал полемики был высоким.

Л. Шпитцер, принадлежавший к школе «эстетического идеализма», писал о своих оппонентах, что они «не хотят видеть, что ученый, исследующий язык, одновременно является и просто человеком, воспринимающим и чувствующим, как все другие». Они резко разобщают лингвиста как исследователя и лингвиста как особь, имеющую право на «неофициальные частные мнения»; они игнорируют «творческую силу языка». Этим они «капитулируют перед современной умственной дезинтеграцией, перед духовным распадом» [Винокур 1957: 63]. Кроме всего прочего, Л. Шпитцер заявлял, что занимается изучением «души писателя» по ее отражениям в языке, и критиковал своих оппонентов за «излишний интерес к фонетике и морфологии».

Л. Блумфилд рассуждал иначе: «Анимистическая и телеологическая терминология вроде mind (разум), consciousness (сознание), concept (понятие) и т. д.

не приносит пользы, а наоборот, приносит много вреда лингвистике, как и всякой другой науке» [Винокур 1957: 62]. Изучать следует лишь язык как таковой. В другой работе 1936 г. он писал, что предмет изучения в лингвистике — «шум, производимый органами речи» [Белый 2012: 14].

Г. О. Винокур выступал в этой полемике как бы в роли третейского судьи; он до конца не солидаризируется ни с одной стороной, но все его симпатии на стороне американского коллеги: Л. Блумфилд «более близко держится почвы языка». Спор с такими, как он, по мнению Винокура, «должен быть и будет непосредственно лингвистическим», а Л. Шпитцер «в своих стилистических штудиях (которые он сам считает для себя основными) вообще не есть лингвист» [Винокур 1957: 70]. Замечу, что Г. О. Винокур как раз много занимался стилистикой, но понимал ее иначе: Л. Шпитцер изучал индивидуальные стили (особенно писателей), а Г. О. Винокур коллективные стили (деловой, научный, бытовой, поэтический и т. д.). И надо отметить, что и для Л. Блумфилда, и для Г. О. Винокура границы лингвистики — нечто строго очерченное, куда фонетика и грамматика входят, а изучение сознания, понятий, «души писателя» нет. К этому вопросу я дальше вернусь.

Второй спор происходил на страницах московского журнала «Вопросы языкознания» в середине 1960-х гг., где тогда прошла дискуссия, открытая в 1965 г. статьей В. И. Абаева (цитируется по изданию [Абаев 2006]). В это время в советском языкознании друг другу противостояли, прежде всего, структурализм и так называемая традиционная лингвистика, представители которой чаще всего были близки по взглядам к немецкой школе младограмматиков (конец XIX — начало XX в.) и ее русским последователям (Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов и др.). В. И. Абаев причислялся к традиционалистами, однако он одновременно критиковал и структурализм, и младограмматизм; в последнем он отвергал «отход от широких обобщений», «сосредоточение на формальной стороне языка» и считал (в отличие от чуть ли не всех своих коллег), что «структурализм — детище младограмматической школы» [Там же: 114]. Еще резче у него критика структурной лингвистики: «Сущность структурализма не в системном рассмотрении языка, а в дегуманизации языкознания путем его предельной формализации» [Там же: 115]. Особую его неприязнь вызвало высказывание датского лингвиста Х. Ульдалля о необходимости устранить человека из науки о языке [Там же: 118]. Отвергал он также выделение в качестве отдельной дисциплины математической лингвистики, находя в ней «скрещение псевдолингвистики с псевдоматематикой» [Там же: 118].

«Лингвистический модернизм», начавшийся у младограмматиков и достигший предела в структурализме, В. И. Абаев считал лишь частью духовного кризиса, «общего процесса дегуманизации культуры». «Какую бы гуманитарную область мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции формализма и антигуманизма: в философии, социологии, истории, литературоведении» [Там же: 115] (отмечу, что среди немногих ученых, стоящих на правильных позициях, он называет не слишком часто тогда упоминавшегося А. Ф. Лосева). То же он выделяет

и в современном западном искусстве. Ср. слова Л. Шпитцера о «капитуляции перед духовным распадом».

Ход дискуссии закономерно привел к коллективному осуждению В. И. Абаева. Такую точку зрения в журнале высказали более десятка специалистов (при отсутствии сторонников В. И. Абаева). Самым ярким было выступление П. С. Кузнецова, к тому времени работавшего на кафедре структурной и прикладной лингвистики МГУ.

Тон профессора (как и его оппонента) был крайне резким: «клевета», «профанация», «кривое зеркало»; оппонент был обвинен в невежестве: «Разве можно считать лженаукой все то, что просто не понимаешь?» [Кузнецов 1966: 72]; «Следовало бы лучше знать и лингвистику, и математику» [Там же: 71]. Он, естественно, отвергал обвинения в «дегуманизации», защищая науку о языке XX в.: «Любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять» [Там же: 69]. Разумеется, П. С. Кузнецов защищал и математизацию лингвистики. Структурализм он рассматривал как высший по сравнению с младограмматизмом этап развития науки, но и у младограмматиков были заслуги, поскольку и они стремились к строгости подхода, тогда как В. И. Абаев зовет нас вернуться к еще более ранним временам В. фон Гумбольдта, к началу XIX в. [Там же: 64–65]. Для П. С. Кузнецова же главное в науке о языке — «строгость и логика» [Там же: 74]. Для него, как и для других участников той дискуссии (отмечу, что некоторые из них, как Ю. В. Рождественский, позднее изменили точку зрения), не было принципиальной разницы между естественными и гуманитарными науками. Так же рассуждал и Л. Блумфилд.

2. «Абстрактный объективизм» и «индивидуалистический субъективизм»

В обоих вышеуказанных спорах мы видим два разных и несовместимых друг с другом взгляда на язык. Об этих двух взглядах еще в конце 1920-х гг. писал ленинградский философ языка В. Н. Волошинов (1895–1936); авторство его книги часто приписывают его другу М. М. Бахтину (1895–1975), убедительных доказательств этого нет, но какие-то идеи могли быть подсказаны Бахтиным.

В. Н. Волошинов выделял в развитии мировой науки о языке два ведущих направления: «абстрактный объективизм» и «индивидуалистический субъективизм». К первому направлению автор книги отнес основателя структурной лингвистики Ф. де Соссюра и (с оговорками) младограмматиков. Ему, согласно В. Н. Волошинову, свойственны следующие черты. «1) *Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и неперекаемая для него.* 2) *Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы.* Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию. 3) *Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными)...* Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи. 4) *Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь*

случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм... Между системой языка и ее историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу» [Волошинов 1995: 270–271].

Всё это более или менее соответствует подходам, сторонниками которых были Л. Блумфилд, Г. О. Винокур и П. С. Кузнецов, хотя иногда у В. Н. Волошинова они подаются в утрированном виде: никто из лингвистов, разумеется, не считал язык «неизменной системой». Однако верно, что дихотомия синхронии и диахронии в той жесткой форме, которую придал ей Ф. де Соссюр, позволяла отвлекаться от языковых изменений и всякой истории (о чем В. Н. Волошинов и говорит в пункте 4). Язык понимается как «замкнутая система», что действительно было свойственно структурализму, в той или иной степени стремившемуся к «автономности» своей науки, к чисто лингвистическим подходам. В пункте 3 речь идет о концепции произвольности знака, исключавшей из сферы лингвистики всякий звуковой символизм. Язык рассматривается как коллективное, а не индивидуальное явление, что также было свойственно большей части направлений структурализма, начиная от Ф. де Соссюра (некоторые структуралисты игнорировали эту проблему, но никому не был свойствен «индивидуалистический» подход). Наконец, В. Н. Волошинов подчеркивает, что «объективизм» выявляет закономерности, существующие в мире независимо от человеческого сознания. А не только П. С. Кузнецов и другие советские лингвисты, но и Л. Блумфилд называл свой метод материалистическим (вспомним его слова о «шуме, производимом органами речи»). В 1929 г. структурализм лишь начинал свое развитие, но многие базовые его черты В. Н. Волошинов отметил верно, хотя позднее ряд ученых, в целом работавших в его рамках, могли что-то здесь менять. Например, Л. Ельмслев пришел к выводу о том, что лингвист сам строит свой объект по формальным правилам независимо от реальности.

«Индивидуалистический субъективизм» В. фон Гумбольдта и его последователей характеризуется так «1) *Язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания..., осуществляемый индивидуальными речевыми актами.* 2) *Законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы.* 3) *Творчество языка — осмысленное творчество, аналогичное художественному.* 4) *Язык как готовый продукт... как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемый лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию» [Там же: 260–261].*

Хотя о «застывшей лаве» писал В. фон Гумбольдт, но в основном здесь описывались идеи современных автору книги его последователей: упоминавшегося выше Л. Шпитцера и его учителя К. Фосслера; именно они, например, занимались аналогиями между языковым и художественным творчеством, см. слова Шпитцера о «душе писателя» (о каких-либо отношениях между В. Н. Волошиновым и В. И. Абаевым ничего не известно, хотя оба в 1920–1930-е гг. работали в Ленинграде).

Из двух направлений автор книги отдает предпочтение «индивидуалистическому субъективизму», а «абстрактный объективизм» решительно отвергается. Само

существование языка в смысле Соссюра подвергается сомнению: «Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка — продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях непосредственного говорения» [Волошинов 1995: 281–282]. Такая абстрактная система «уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций» [Там же: 298]. Этот неадекватный подход, свойственный большинству лингвистов начиная с античности, исключая лишь последователей Гумбольдта, вырабатывался с практическими целями: «расшифровывания чужого мертвого языка» (имеется в виду филология) и «научения ему» [Там же: 298]. Правила склонения или спряжения полезны при обучении чужому языку, но ничего не дают для «понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении» [Там же: 298]. Направление, созданное В. фон Гумбольдтом, критикуется лишь по более частным вопросам, прежде всего за недостаточную разработку проблем речевого общения и диалога.

О книге В. Н. Волошинова забыли вскоре после ее появления, но с 1970-х гг. она стала популярна как в нашей стране, так и за рубежом, переведена на многие языки, что, как дальше будет показано, не было случайным.

3. Антропоцентризм и системоцентризм

Уже в более близкое к нам время, в 1989 г., появилась статья Е. В. Рахилиной, сейчас известного лингвиста, тогда только начинавшей свою деятельность. Здесь были противопоставлены два подхода к изучению языка, названные антропоцентричным и системоцентричным.

Е. В. Рахилина писала: «С точки зрения этого (антропоцентричного. — В. А.) подхода язык есть прежде всего инструмент общения для человека. И всякое понятие, пусть даже обозначающее некоторый конкретный предмет, обязательно отражает не просто этот предмет как таковой, а отношение к нему человека» [Рахилина 1989: 46–47]. Такой подход исходит из того, что «человек достаточно творчески (метафорически) использует язык как инструмент, им же созданный для отражения этого антропоцентричного мира» [Там же: 50].

Однако «есть и другой подход к языку, который можно назвать системоцентричным. В отличие от антропоцентричного подхода, приближающего лингвистику к психологии и философии, он пытается сблизить ее с естественными науками в их современном понимании. Согласно этому подходу, язык есть некоторая почти независимая от нас функциональная система. Лингвист изучает ее законы, носитель языка им подчиняется» [Там же]. «Сама же идея о том, что язык следует рассматривать как систему со своими внутренними законами, и есть то, что сближает лингвистику с такими естественными науками, как физика или биология» [Там же].

В статье обсуждается важный вопрос: какие результаты дает каждый из подходов. «Серьезные достижения словоцентричным подходом были получены в фонологии, морфологии, типологии (синхронной и диахронической)» [Там же: 51].

Но «в семантических исследованиях нельзя обойтись без учета личности носителя языка» [Рахилина 1989: 51].

Е. В. Рахилина указывала, что «антропоцентризм и системоцентризм порождают два совершенно разных подхода к языку» [Там же]. Это сходно с различием двух направлений у В. Н. Волошинова. Но если тот (как и другие рассмотренные выше лингвисты) признавал лишь один из подходов к языку, то Е. В. Рахилина заканчивает статью словами: «Истина лежит посередине» [Там же]. Оба подхода нужны, но для разных целей.

4. В. фон Гумбольдт и Ф. де Соссюр

В вышеописанных спорах всегда в той или иной мере, прямо или косвенно учитывались значительно различавшиеся между собой взгляды классиков мировой науки о языке Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835) и Фердинанда де Соссюра (1857–1913). Хотя в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра имя В. фон Гумбольдта не было названо, нет сомнений в том, что он по данным вопросам спорил с великим предшественником.

В. фон Гумбольдт писал: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (*ergon*), а деятельность (*energeia*)... Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли. В подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности... По разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и уловить только в связанной речи... Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа» [Гумбольдт 1984: 70].

Противоположной была точка зрения Ф. де Соссюра: «Язык не деятельность говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим» [Соссюр 1977: 52]. В другом месте «Курса» сказано: «Языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом: общество принимает язык таким, какой он есть» [Там же: 104]. Деятельность говорящего швейцарский ученый относил к сфере речи, которая в его концепции специально не рассматривалась; важно было лишь отделить ее от сферы языка, на которую обращалось всё внимание.

Очевидно, что, говоря о «готовом продукте», Ф. де Соссюр имплицитно спорил с немецким мыслителем. Его подход расчленял язык именно на «слова и правила», что затем (как, впрочем, и до него) делали многие лингвисты.

5. Аналогия и аномалия

Оказывается, что споры о подходах к языку существовали не только в XIX–XX вв., но даже в древнем и средневековом мире. В античности несколько столетий шла дискуссия между «аналогистами» и «аномалистами». Александрийские

ученые, окончательно создавшие в III–II вв. до н. э. европейскую лингвистическую традицию, были аналогистами, пергамская школа придерживалась противоположных взглядов. Спор затем распространился и на Рим, где он был подробно рассмотрен аналогистом Марком Теренцием Варроном (I в. до н. э.).

Аналогисты основывались на представлении о языке как системе четких правил, в идеале не знающих исключений; недаром свой метод пропорций они взяли из математики. Они устанавливали пропорцию: если в языке есть АВ, АГ и БВ, то должно быть и БГ (а если оно не найдено, то мы можем его сконструировать). «Аналогистам важно было доказать, что... упорядоченность, симметрия, регулярность присущи самой природе языка» [Перельмутер 1980: 213]. Варрон «всякого рода неправильности считал результатом неразумного обращения с языком, результатом порчи языка... Аномалии, согласно Варрону, должны быть исправлены» [Шубик 1980: 242].

Аномалисты же (Секст Эмпирик и др.) «придерживались мнения, что наличие в речи всякого ряда аномальных форм, различных исключений из правил отнюдь не вредит языку, не препятствует взаимопониманию» [Перельмутер 1980: 212]. Поэтому они считали, что язык нельзя подчинить правилам, а норму языка можно вывести лишь из живого обихода.

Похожие споры происходили и среди арабских ученых VIII–IX вв. Там сложились две основные грамматические школы в городах Басра и Куфа. «Между ними разгорелась острая полемика по вопросам арабской грамматики. Разногласия между ними были обусловлены различными теоретическими предпосылками, господствовавшими в этих двух центрах. Басрийцев часто называют аналогистами, куфийцев — аномалистами... Отклонение от строго установленных норм басрийцы считали искажением языка. Куфийцы более свободно подходили к нормам литературного арабского языка» [Ахвледзиани 1981: 55–56].

Следует отметить, что хотя оба направления там и там были влиятельными, но авторы наиболее значительных и повлиявших на традицию в анализе конкретного материала (александрийцы, Варрон в Риме, Сибавейхи (Сибавайхи) в арабском мире) сочинений были аналогистами. «В целом позиция александрийцев была гораздо более плодотворной для развития науки о языке, именно благодаря их усилиям были установлены правила склонения и спряжения, разработаны формальные аспекты морфологии греческого языка» [Перельмутер 1980: 213–214]. И это, разумеется, не было случайно.

6. Два взгляда на язык

Итак, уже более двух тысячелетий идет спор двух течений в науке о языке, которые В. Н. Волошинов назвал «абстрактным объективизмом» и «индивидуалистическим объективизмом», а Е. В. Рахилина «антропоцентризмом» и «системоцентризмом». Одно течение критикует другое за то, что оно игнорирует «личность носителя языка» и не учитывает, что лингвист «одновременно является просто человеком», в ответ следуют обвинения в «анимистической и телеологической терминологии» и нежелании изучать «систему со своими внутренними законами». Разумеется, не всегда лингвисты говорили об этих различиях и часто совмещали

в той или иной мере оба подхода. Эти подходы, как правило, не в чистом виде, можно проследить начиная с глубокой древности.

Как только люди в разных культурах и с разными целями начали изучать свой язык, они не могли не осознавать, что «многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все предстает перед нами обескураживающим хаосом, который мы должны возвести к единству человеческого духа» [Гумбольдт 1984: 69]. Необходимо было искать в сложном многообразии наблюдаемых явлений речи некоторые постоянные, стабильные, повторяющиеся единицы и структуры, воспроизводимые разными людьми одинаково или с незначительными вариациями, от которых можно отвлечься; единицы и структуры фиксируются в грамматиках и словарях. Так неосознанно поступали еще в древности. Парадигмы склонения и спряжения, уже строившиеся четыре тысячи лет назад в Вавилоне, были «расчленением языка на слова и правила». Так же поступали александрийцы и Варрон. В синтаксисе весь хаос конкретных связей научились сводить к ограниченному набору отношений, прежде всего субъектно-объектных и атрибутивных. Концепция членов предложения в Европе окончательно сформировалась к XVI в. Хаос мог увеличиваться, если новый фактический материал не подтверждал разработанные способы описания, но далее происходило упорядочение хаоса через разработку более универсальной теории. Лингвисты так поступали всегда, Ф. де Соссюр и Л. Блумфилд лишь эксплицировали этот подход.

В. Н. Волошинов справедливо возводил для Европы истоки «абстрактного объективизма» к античности. Однако вряд ли он был прав, когда считал, что история «индивидуалистического субъективизма» началась с В. фон Гумбольдта, хотя тот действительно впервые четко и последовательно сформулировал его принципы. Авторы «традиционных» грамматик и словарей явно или чаще неявно понимали, что «одновременно являются просто людьми», и постоянно использовали интуицию и интроспекцию, а то, что называется лингвистической интуицией, это, по сути, неосознанное влияние психолингвистического механизма человека. Например, и в европейской лингвистической традиции, и в выросшей из нее лингвистической науке всегда (по крайней мере, до второй половины XX в.) центральным было понятие слова. Однако до конца XIX в., когда стал господствовать системоцентрический подход, вовсе не было попыток установить строгие критерии выделения слов (как и частей речи), объяснить, каким образом текст делится на слова. Предполагалось, что мы как носители языка уже знаем, какие в нем есть слова и на какие классы (части речи) они подразделяются. То есть неосознанно обращались к психолингвистическому механизму носителей языка, где, как показывают современные исследования, имеются лексикон и набор операций с его единицами. А многочисленные попытки строго определить слово приводили к интуитивно неприемлемым результатам, см. статью «Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку» в настоящем издании.

В течение многих веков различные лингвистические традиции совмещали оба подхода. Идея В. Н. Волошинова о том, что формулирование правил нужно

было только для обучения чужому языку и толкования текстов на нем, верна лишь отчасти. Ряд традиций, включая европейскую традицию в эпоху эллинизма (в Александрии), сформировался в целях обучения неродному для большинства населения языку культуры. Но правила были нужны и для родного языка. Как я указывал выше, не только лингвист, но любой человек бессознательно использует синтаксические и морфологические правила обращения с лексиконом, а лингвист строит модель таких правил. Идеи В. Н. Волошинова о фиктивном характере языка в смысле Ф. де Соссюра были все-таки максималистскими. Но использование правил совмещалось с интуитивными и интроспективными подходами.

Однако уже к началу XIX в., когда в Европе значительно выросло количество изучаемых языков (и, может быть, стало влиять развитие естественных наук), обнаружился уклон в сторону правил и предписаний, отмеченный В. фон Гумбольдтом. Кроме того, правила формулировались эксплицитно, а антропоцентричная составляющая не осознавалась.

«Расчленение языка на слова и правила» не без оснований можно было считать «мертвым» подходом, но на его основе могут быть получены результаты; практическое же применение глубоких идей В. фон Гумбольдта всегда было проблематично. Их дальнейшая судьба довольно точно охарактеризована современным их последователем: «Несмотря то, что идеи сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились» [Гаспаров 1996: 21].

Это не значило, что направление, основанное В. фон Гумбольдтом, никем не развивалось. Выше упоминались К. Фосслер, его ученик Л. Шпитцер и испытывший их влияние В. Н. Волошинов. Но их работы в основном сводились к двум типам. Либо это чисто теоретические, во многом философские сочинения, как книга Волошинова, в которой анализ конкретного материала — самая слабая часть, либо завоевание «плацдармов» в областях, которые лингвистика правил игнорировала. Большинство лингвистов XIX–XX вв., как и древние аналогисты, изучали «упорядоченность, симметрию, регулярность» в языке, Ф. де Соссюр считал язык коллективным явлением, а индивидуальные особенности отдельных людей (если угодно, аномалии) не считались у его последователей темой для изучения. И именно здесь (в частности, в исследовании индивидуальности писателя по языковым данным, которое отстаивал Л. Шпитцер в полемике с Л. Блумфилдом) школа К. Фосслера достигла наибольших успехов. Отмечу, что из этой школы вышла более у нас известная среди социологов и историков, чем среди лингвистов книга В. Клемперера о языке Третьего рейха: это также анализ разного рода отклонений от правил немецкого языка, которые затем внедрялись в массовое сознание и из индивидуальных становились коллективными.

Но в основном лингвистика двух этих веков, несмотря на предостережения В. фон Гумбольдта, изучала язык не как деятельность, а как систему правил. Особенно уклон в эту сторону возобладал, когда влияние классической немецкой философии, крупнейшим представителем которой в области философии языка

был В. фон Гумбольдт, сменилось господством позитивизма. Такой подход сохранялся и при смене тематики. В годы, когда ведущей дисциплиной стало сравнительно-историческое языкознание, обратившееся к новой тогда теме — реконструкции праязыков, выработался самый строгий для того времени лингвистический метод. Эта строгость дошла до очень высокого уровня у уже упоминавшихся младограмматиков. Характерно, что эту строгость и формализованность равно признали непримиримые противники В. И. Абаев и П. С. Кузнецов, разойдясь в ее оценках.

Но максимум «абстрактный объективизм», или системоцентризм, достиг в структурной лингвистике, что заметил В. Н. Волошинов, хотя к моменту публикации его сочинения она еще не достигла вершины развития. Разные направления структурной лингвистики имели серьезные различия во взглядах (скажем, Л. Блумфилд, с одной стороны, и близкие по взглядам Г. О. Винокур и П. С. Кузнецов — с другой). Но в данном пункте они сходились.

Считалось, что лингвистика должна основываться исключительно на собственно лингвистических методах. Особенно последовательны были дескриптивисты и глоссематики. Л. Ельмслев писал в 1953 г.: «Лингвистика должна попытаться охватить не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*» [Ельмслев 2006: 32]. Слова Л. Блумфилда о «шуме» как единственном объекте изучения уже приводились. Границы между лингвистикой и «не лингвистикой» понимались как нечто строгое и раз и навсегда заданное. Науками, связь с которыми необходима для лингвистики, признавали лишь математику (дающую методологию для всех наук) и семиотику (более общую дисциплину, в которой лингвистика — частный случай). С середины XX в. началась интенсивная математизация структурной лингвистики, затем нашедшая продолжение в генеративизме.

Структурализм претендовал на универсальную применимость ко всему, что есть в языке (по крайней мере, в языке в смысле Ф. де Соссюра). Однако на деле разные уровни языка изучались не в равной степени. В 20–40-е гг. XX в. на первый план вышла фонология, ставшая полигоном выработки структурных теорий и методов. На примере наиболее простого и обозримого уровня языка это легче всего было сделать. Меньше занимались морфологией, еще меньше синтаксисом, а если начинали ими заниматься, то чаще всего переносили на них методы, разработанные на материале фонологии.

Семантика всегда, начиная с античности, привлекала внимание исследователей, но была самой неразвитой областью лингвистики, что, безусловно, было связано с особой сложностью объекта. В структурализме именно здесь были наименьшие достижения, и отставание семантики стало особенно заметным. В дескриптивной лингвистике даже наблюдались попытки вовсе исключить изучение значения из науки о языке [Харрис 1960: 155]. Такая точка зрения была крайней, но она отражала общую тенденцию.

Наиболее серьезные критики структурализма обсуждали вопрос о границах применимости его методов. Тот же В. И. Абаев в 1960 г. писал: «В языке переплета-

ются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают в конечном счете структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй — чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика — вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис». Поэтому перенесение принципов фонологии в другие области, особенно в лексику, «практически почти бесплодно» [Абаев 2006: 103]. Сказанное сходно с тем, о чем через тридцать лет напишет (без какого-либо влияния данной работы) Е. В. Рахилина.

Концом периода структурализма в науке США обычно считается 1957 г., когда Ноам Хомский (р. 1928) выпустил книгу «Синтаксические структуры». Однако в других странах временные границы могли быть другими. В том числе в СССР именно 1960-е гг. были периодом триумфа структурализма.

Любопытное отражение этого триумфа за пределами лингвистики — ранняя повесть братьев Стругацких «Попытка к бегству» (1962); см. ее анализ в интересующем нас аспекте в книге Е. В. Вельмезовой [Вельмезова 2014: 337–382]. В повести люди из коммунистического общества XXIII в., один из которых лингвист, попадают на чужую планету, и перед ними встает проблема общения с инопланетянами, лингвист ее успешно решает. Творит эти чудеса не какой-то гениальный профессионал, а самый обычный структурный лингвист. Разумеется, было естественно полагать, что деятельность, казавшаяся реализуемой в ближайшем будущем, через три столетия станет рутинной.

В это время структурная лингвистика в СССР, как и в других странах, уже не замыкалась в теоретических проблемах, но осваивала машинный перевод и другие практические области. Важным аргументом в пользу структурного подхода было народно-хозяйственное значение. Ожидавшийся переворот в прикладных областях должен был подтвердить стремление структуралистов тех лет сделать лингвистику точной наукой на основе математических методов и вывести ее из сферы гуманитарных дисциплин. Сомнения в возможности такого выведения, высказанные в дискуссии 1965 г. В. И. Абаевым, были названы «мракобесием». Однако надежды того времени оправдались лишь частично. Алгоритмы автоматического перевода существуют и практически используются, но обойтись без редактирования человеком получаемых текстов до сих пор не удается.

А в мировой лингвистике тем временем распространялась генеративная (порождающая) лингвистика Н. Хомского и его приверженцев. В нашей стране основные работы этого ученого 50–60-х гг. были достаточно оперативно переведены [Хомский 1962; 1972а; 1972б], но столь большого, как в ряде других стран, влияния его идеи не оказали.

Н. Хомский сохранил строгий, формализованный подход к объектам исследований, активно применял математические модели. Однако он совсем иначе

по сравнению со структурализмом поставил задачи науки о языке, объявив лингвистику «особой ветвью психологии познания» [Хомский 1972б: 12]. «Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систем правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении» [Хомский 1972а: 10]. «Противопоставление, вводимое мною, связано с сосюрровским противопоставлением *языка и речи*; но необходимо отвергнуть его концепцию языка как только систематического инвентаря единиц и скорее вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов» [Там же: 10]. Сам термин «порождение» Н. Хомский взял у В. фон Гумбольдта. Еще цитата: «Возникает необходимость обратиться к некоторому совершенно новому принципу... Этот новый принцип имеет “творческий аспект”, который яснее всего наблюдается в том, что может быть названо “творческим аспектом использования языка”, т. е. специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе “установленного языка”, языка, который является продуктом культуры» [Хомский 1972б: 17].

Таким образом, Н. Хомский вновь обратился к антропоцентризму и поставил задачу изучать язык вместе с говорящим на нем человеком, учитывая его творческую деятельность. Впрочем, критики Н. Хомского отмечают и имеющуюся у него непоследовательность: в его теории «в конечном счете, сводится всё к тем же описательным процедурам и ставит своей целью дать описание абстрактной структуры лингвистической компетенции — в идее, но не в исполнении взаимодействующей с другими видами психического поведения человека» [Звегинцев 1996: 33–34]. То есть, испытал влияние В. фон Гумбольдта, Н. Хомский опять-таки предложил новый вариант конструирования «мертвого продукта научного анализа», пусть усовершенствованный по сравнению с прежними вариантами. Центральное место в его теории занимает синтаксис, а семантика осталась на периферии.

Однако после появления теории Н. Хомского наука стала выходить и за рамки, им установленные. В наше время ситуация в науке о языке во многом иная, чем в 50–60-е гг. XX в. Структурная лингвистика уже в прошлом, генеративизм продолжает развитие, сохраняя основные принципы. Но распространение также получили разные направления так называемой функциональной лингвистики. В России она сейчас развивается наиболее интенсивно. У нас ее принципы, пожалуй, наиболее четко выразил А. Е. Кибрик (1939–2012) в статье, впервые опубликованной в 1983 г. [Кибрик 1992: 20].

Среди функционалистов мало кто считает лингвистику точной или естественной дисциплиной, наоборот, усилился преодолевшийся в структурализме гуманитарный компонент. Изучение устройства системы языка, к которому сводились задачи структурной лингвистики, признано недостаточным, и лингвисты стремятся к изучению реального функционирования языка. Активно исследуются, например, роль языка в познании мира, общественное функционирование языка, коммуникативный аспект языка, проблемы диалога и др. Сложились такие дисциплины, как теория

речевых актов, прагматика, дискурсный анализ; изучаются жанры речи. Развивается и социолингвистика, изучающая функционирование языка в обществе. Лингвистика сближается с самыми разными, преимущественно гуманитарными науками; развиваются пограничные дисциплины — социолингвистика, нейролингвистика, поэтика и др. Границы между лингвистикой и «не лингвистикой» стали всё более неопределенными. «То, что считается “не лингвистикой” на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс экспансии нельзя считать законченным» [Кибрик 1992: 20]. В связи с этим чаще стали вспоминать идеи книги «Марксизм и философия языка». Иначе, чем ранее, в последнее время расставляются приоритеты. Ушла на периферию науки о языке фонология, в центре внимания впервые оказалась семантика. В отличие от генеративизма, отводящего ей подчиненное положение по сравнению с синтаксисом, современная функциональная лингвистика отстаивает главную роль значения. «Как содержательные, так и формальные свойства в значительной степени предопределены семантическим уровнем» [Там же: 21]. Полемизируя с «самоограничением, доведенным до абсурда» у З. Харриса и др., А. Е. Кибрик пишет: «Можно было бы, нарочито утрируя, сказать прямо противоположное: в лингвистике ничего (или почти ничего) нет, кроме проблемы значения» [Там же: 20]. И в функционализме изучение этой проблемы впервые стало приоритетным.

Особенно надо отметить комплекс дисциплин, исследующих функционирование языка «на самом деле», ранее часто выводившихся за пределы лингвистики. Если функционирование голосового аппарата изучается в экспериментальной фонетике со второй половины XIX в., то главная составляющая — мозг — постоянно оставалась наименее исследованной. Теперь уже активно разворачиваются как косвенные (данные афазий, детской речи), так и прямые исследования речевых механизмов мозга, в том числе в нашей стране. Изучение механизмов мозга — «не лингвистика» с точки зрения научных взглядов недавнего прошлого, когда считали важным учитывать лишь «шум, производимый органами речи», и не заходили в «черный ящик». Но теперь произошла смена приоритетов. «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен “на самом деле”» [Там же: 19].

Тематика функциональной лингвистики неуклонно расширяется. Но при этом по сравнению с предшествующим периодом снизился уровень научной строгости (речь сейчас не идет об экспериментальных исследованиях). Провозглашавшаяся ранее полная математизация лингвистики стала подвергаться сомнению. «Далеко не все языковые явления поддаются описанию с помощью правил-предписаний... Все это заставляет усомниться в универсальности алгоритмического способа мышления и строить деятельностьную модель на принципе *неполной детерминированности*» [Там же: 33].

Однако всё чаще мы наблюдаем иную крайность. Начинается, как мне представляется, «забегание вперед», стремление перепрыгнуть через необходимые этапы анализа, не выработав какой-нибудь метод. Ищут связь языка с нравственными категориями, выявляют по языковым данным отношение к жизни носителей русского или английского языка и др. Речь уже идет не только о «душе писателя»,

изучавшейся Л. Шпитцером, а о душе целого народа. Я не говорю, что такие проблемы лежат вне науки о языке, но пока для их решения нет разработанного метода. А расширение границ лингвистики не означает, что она может поглотить чуть ли не всю гуманитарную проблематику. Но где эти границы? Пока что от «объективизма» лингвистика перешла к крайнему субъективизму (не обязательно индивидуалистическому).

Пока в функциональной лингвистике мы имеем «поле, на котором выделяют... с одной стороны, ряд нетривиальных, содержательных, *красивых* теоретических моделей, с другой — определенное множество образцов... прокомментированного материала» [Дементьев 2013: 31]. «Самыми оригинальными и интересными... оказываются, как правило, чисто дедуктивные, постулатные модели, которые могут быть очень красивы сами по себе, но при этом не имеют большого отношения к особенностям конкретного материала и возможностям его непротиворечивой оценки» [Там же: 42]. Будут ли в будущем построены модели, опирающиеся на материал?

7. Заключительные замечания

Итак, можно говорить о том, что в истории науки о языке постоянно идет борьба стремления к строгому изучению объекта по образцу естественных наук, с опорой на наблюдаемые факты, и желания рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность. Другой же подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но ограниченные результаты. Ему свойственно стремление к проведению строгих границ, обособлению лингвистики от других наук, рассмотрению объекта как замкнутой системы, ограничению задач своей науки относительно узким кругом, будь то сравнение родственных языков и реконструкция праформ или же структурный анализ фонологии и морфологии. В конечном счете, он стремится к упорядочению. В противоположность ему подход, связываемый с именем В. фон Гумбольдта, стремится к расширению любых рамок, междисциплинарным исследованиям, постановке глобальных задач, при этом часто без сколько-нибудь строгого метода. В какой-то мере можно считать, что он увеличивает хаос. Наше время — скорее эпоха движения в такую сторону.

Еще несколько десятилетий назад казалось, что лингвистика приближается по степени строгости и математизированности к естественным наукам и полностью формализованная теория языка — дело близкого будущего. Через какое-то время наметилась противоположная крайность: лингвистика, особенно в нашей стране, начинает напоминать далекие от какой-либо строгости гуманитарные дисциплины. Оба подхода неустраимы из развития науки, хотя в разные эпохи на первый план может выходить то один, то другой из них. Может быть, их существование необходимо для развития науки. Истина вряд ли находится «посередине», скорее мы имеем дело с принципом дополнительности, введенным в физику Н. Бором и перенесенным на лингвистику Р. Якобсоном.

ЛИТЕРАТУРА

- Абаев 1933 — *Абаев В. И.* О «фонетическом законе» // *Язык и мышление.* I. М.; Л., 1933.
- Абаев 1965 — *Абаев В. И.* Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке // *Вопросы языкознания (ВЯ).* 1965. № 3.
- Абаев 2006 — *Абаев В. И.* Статьи по теории и истории языкознания. М., 2006.
- Аванесов 1936 — *Аванесов Р. И.* Второстепенные члены предложения как грамматические категории // *Русский язык в школе.* 1936. № 4.
- Алпатов 1973 — *Алпатов В. М.* Категории вежливости в современном японском языке. М., 1973.
- Алпатов 1977 — *Алпатов В. М.* Элементы старописьменного языка в системе современного японского литературного языка // *Вопросы японской филологии.* 4. М., 1977.
- Алпатов 1978 — *Алпатов В. М.* Об особенностях японской лингвистической традиции // *ВЯ.* 1978. № 4.
- Алпатов 1979 — *Алпатов В. М.* Структура грамматических единиц в современном японском языке. М., 1979.
- Алпатов 1980 — *Алпатов В. М.* Система местоимений 1-го и 2-го лица в современном японском языке // *Теория и типология местоимений.* М., 1980.
- Алпатов 1984а — *Алпатов В. М.* О семантике последовательностей *-тэ оку, -тэ миру, -тэ симау* // *Новое в японской филологии.* М., 1984.
- Алпатов 1984б — *Алпатов В. М.* Понятие слова в европейской и японской традиции // *Слово в грамматике и словаре.* М., 1984.
- Алпатов 1985 — *Алпатов В. М.* Англоязычные заимствования и американизация японской массовой культуры // *Японская культура и НТР.* М., 1985.
- Алпатов 1987а — *Алпатов В. М.* О деятельности Объединенного института культуры радио- и телепередач // *Вестник МГУ. Серия журналистики.* 1987. № 1.
- Алпатов 1987б — *Алпатов В. М.* О специфике японских словарей // *Язык и культура. Новое в японской филологии.* М., 1987.
- Алпатов 1988 — *Алпатов В. М.* Япония: язык и общество. М., 1988.
- Алпатов 1990 — *Алпатов В. М.* О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы) // *ВЯ.* 1990. № 2.
- Алпатов 1991а — *Алпатов В. М.* История одного мифа. М., 1991. 2-е изд. М., 2004.
- Алпатов 1991б — *Алпатов В. М.* К вопросу о типологии оформления морфемных стыков // *Морфема и проблемы типологии.* М., 1991.
- Алпатов 1992 — *Алпатов В. М.* Памяти Альфреда Наумовича Журина // *Восток.* 1992. № 2.
- Алпатов 1993 — *Алпатов В. М.* Социолингвистическая ситуация в Японии XVII–XX вв. // *Диахронная социолингвистика.* М., 1993.

- Алпатов 1994а — *Алпатов В. М.* Новые дискуссии о будущем японской письменности // Ежегодник «Япония. 1991–1992». М., 1994.
- Алпатов 1994б — *Алпатов В. М.* Периодизация отечественного востоковедения // Восток. 1994. № 1.
- Алпатов 1997 — *Алпатов В. М.* 150 языков и политика: 1917–1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 1997.
- Алпатов 1999 — *Алпатов В. М.* Языковой аспект современного японского национализма // Япония: мифы и реальность. М., 1999.
- Алпатов 2000 — *Алпатов В. М.* О прогнозах в лингвистике и социолингвистике // Язык: теория, история, типология. Памяти В. Н. Ярцевой. М., 2000.
- Алпатов 2003 — *Алпатов В. М.* Япония: язык и общество. 2-е изд. М., 2003.
- Алпатов 2005а — *Алпатов В. М.* Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.
- Алпатов 2005б — *Алпатов В. М.* История лингвистических учений. 4-е изд. М., 2005.
- Алпатов 2005в — *Алпатов В. М.* Соссюр — Сеше — Бодуэн — Крушевский // Актуальные вопросы японского и общего языкознания. Памяти И. Ф. Вардуля. М., 2005.
- Алпатов 2006 — *Алпатов В. М.* О латинизации русского языка // Микроязыки. Языки. Интеръязыки: сборник в честь ординарного профессора Александра Дмитриевича Дуличенко. Тарту, 2006.
- Алпатов 2011 — *Алпатов В. М.* Рецензия на: *Дементьев В. В.* Теория речевых жанров. М, 2010 // Вопросы языкознания. 2011. № 4.
- Алпатов и др. 2008 — *Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлеская В. И.* Теоретическая грамматика японского языка. Кн. 1. М., 2008.
- Алпатов и др. 1981 — *Алпатов В. М., Басс И. И., Фомин А. И.* Японское языкознание VIII–XIX вв. // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
- Алпатов, Крючкова 1980 — *Алпатов В. М., Крючкова Т. Б.* О мужском и женском вариантах японского языка // Вопросы языкознания. 1980. № 3.
- Аничков 1997 — *Аничков И. Е.* Труды по языкознанию. СПб., 1997.
- Античные 1936 — *Античные теории языка и стиля.* М., 1936.
- Апресян 1966 — *Апресян Ю. Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
- Аристотель 1978 — *Аристотель.* Сочинения. Т. 2. М., 1978.
- Арутюнова 1964 — *Арутюнова Н. Д.* Дескриптивизм // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Арутюнова, Падучева 1985 — *Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В.* Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Архив — Архив РАН, фонд 468 (Н. М. Каринский), опись 1, ед. хр. 210.
- Ахвледiani 1981 — *Ахвледiani В. Г.* Арабское языкознание средних веков // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
- Базелл 1972 — *Базелл Ч.* Лингвистическая типология // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Балли 1955 — *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
- Бартольд 1977 — *Бартольд В. В.* Сочинения. Т. 9. М., 1977.
- Баскаков 1966 — *Баскаков Н. А.* Тюркские языки // Языки народов СССР. Т. 2. М., 1966.
- Бахтин 1996 — *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х годов. М., 1996.

- Бахтин 2010 — *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. Т. 4 (2). Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 2010.
- Башинджагян 1937 — *Башинджагян Л. Г.* Институт языка и мышления имени Н. Я. Марра // Вестник АН СССР. 1937. № 11.
- Беликов 1991 — *Беликов В. И.* Компаративистика и креольские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. М., 1991.
- Беликов 2001 — *Беликов В. И.* Креольские языки и их европейские «клетки» // Рос. франкофония. 2001. № 2.
- Беликов 2006 — *Беликов В. И.* Конвергентные процессы в лингвогенезе: дис. в виде науч. доклада ... док. филол. наук. М., 2006.
- Беликов, Крысин 2001 — *Беликов В. И., Крысин Л. П.* Социолингвистика. М., 2001.
- Белый 2012 — *Белый В.* Леонард Блумфилд. Арад, 2012.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Блонский 1935 — *Блонский П. Я.* Память и мышление. М., 1935.
- Блумфилд 1968 — *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968.
- Боас 1964 — *Боас Ф.* Введение к «Руководству по языкам американских индейцев» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1964.
- Бодуэн 1904 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Язык и языки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 81. СПб., 1904.
- Бодуэн 1963 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1, 2. М., 1963.
- Бокадорова 1987 — *Бокадорова Н. Ю.* Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. Структура знания о языке. М., 1987.
- Бокарев, Климов 1967 — *Бокарев Е. А., Климов Г. А.* Иберийско-кавказские языки // Языки народов СССР. Т. 4. М., 1967.
- Будагов 1971 — *Будагов Р. А.* Язык, история и современность. М., 1971.
- Булыгина, Крылов 1990а — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Падеж // Лингвистический энциклопедический словарь. М, 1990
- Булыгина, Крылов 1990б — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Флексия // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Булыгина, Крылов 1990в — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Флективность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Бурлак 2011 — *Бурлак С.* Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М., 2011.
- Бурлак, Старостин 2005 — *Бурлак С. А., Старостин С. А.* Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.
- БЯРС 1970 — Большая японско-русский словарь. Т. 1–2. М., 1970.
- Ваншенкин 1998 — *Ваншенкин К.* Писательский клуб. М., 1998.
- Вардуль 1961 — *Вардуль И. Ф.* О спряжении в современном японском языке // Китай, Япония. История и филология. М., 1961.
- Вардуль 1964 — *Вардуль И. Ф.* Очерки потенциального синтаксиса японского языка. М., 1964.
- Вардуль 1968 — *Вардуль И. Ф.* О глаголе *суру* в японском языке // Японская филология. М., 1968.

- Вардуль 1977 — *Вардуль И. Ф.* Основы описательной лингвистики (синтаксис и супрасинтаксис). М., 1977.
- Васильков 1995 — *Васильков Я. В.* Только об одном востоковеде (гебраист Михаил Николаевич Соколов, 1890–1937) // In *memoiam*. Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995.
- Вахтин 1994 — *Вахтин Н. Б.* Словоизменительная морфема и грамматическая категория: эскимосские формы с двойным временем // *Изв. РАН. Сер. лит. и яз.* 1994. Т. 53. № 4.
- Век 1990 — Век XX и мир. Журнал. М., 1990.
- Век 1991 — Век XX и мир. Журнал. М., 1991.
- Вельмезова 2014 — *Вельмезова Е. В.* История лингвистики в истории литературы. М., 2014.
- Виноградов 1945 — *Виноградов В. В.* Великий русский язык. М., 1945.
- Виноградов 1952 — *Виноградов В. В.* Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков) // *Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию*. М., 1952.
- Виноградов 1972 — *Виноградов В. В.* Русский язык. 2-е изд. М., 1972.
- Виноградов 1978 — *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
- Винокур 1957 — *Винокур Г. О.* Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике // *Вопросы языкознания*. 1957. № 2.
- Винокур 1959 — *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Волошинов 1995 — *Волошинов В. Н.* Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.
- Габучян, Ковалев 1968 — *Габучян Г. М., Ковалев А. А.* О проблеме слова в свете фактов арабского литературного языка // *Арабская филология*. М., 1968.
- Гаврильчик 1995 — *Гаврильчик Вл.* Изделия духа. СПб., 1995.
- Гао 1955 — *Гао Мин-кай.* Проблема частей речи в китайском языке // *ВЯ*. 1955. № 3.
- Гаспаров 1996 — *Гаспаров Б. М.* Язык. Память. Образ. М., 1996.
- Головастиков 1980 — *Головастиков А. Н.* К проблеме психологической адекватности моделей русского словоизменения // *Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980)*. М., 1980.
- Головнин 1986 — *Головнин И. В.* Грамматика японского языка. М., 1986.
- Горнфельд 1898 — *Горнфельд А.* Писемский // *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*. Т. 46. СПб., 1898.
- Грамматика 1952–1954 — *Грамматика русского языка*. Т. I–II. М., 1952–1954.
- Грамматика 1970 — *Грамматика современного русского литературного языка*. М., 1970.
- Грамматика 1990 — *Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля*. М., 1990.
- Грамматика 1991 — *Грамматика Пор-Рояля*. Л., 1991.
- Граудина и др. 1976 — *Граудина Л. К., Ицкович В. А., Калакуцкая Л. П.* Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.
- Григорьев 2006 — *Григорьев В. П.* Светлое будущее «инговых форм» в русском поэтическом языке // *Художественный текст как динамическая система: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В. П. Григорьева*. 19–22 мая 2005 г. М., 2006.
- Гринберг 1963 — *Гринберг Дж.* Квантитативный подход к морфологической типологии языков // *Новое в лингвистике*. Вып. 3. М., 1963.

- Гринберг 1970 — *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970.
- Гринфилд 1984 — *Гринфилд П. М.* Информативность, пресуппозиция и семантический выбор в однословных высказываниях // Психолингвистика. М., 1984.
- Грищенко, Федоренко 2000 — *Грищенко Н., Федоренко А.* Примеры влияния американского варианта английского языка на формирование русского компьютерного сленга // Американские исследования. Ежегодник. Минск, 2000.
- Гумбольдт 1984 — *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Гуревич 2005 — *Гуревич Т. М.* Человек в японском лингвокультурном пространстве. М., 2005.
- Даль 2009 — *Даль Э.* Возникновение и сохранение языковой сложности. М., 2009.
- Дементьев 2010 — *Дементьев В. В.* Теория речевых жанров. М., 2010.
- Дементьев 2013 — *Дементьев В. В.* Коммуникативные ценности русской культуры. Категория персональности в лексике и прагматике. М., 2013.
- Демирчизаде 1972 — *Демирчизаде А. М.* Сравнительный метод Махмуда Кашгари // Советская тюркология. 1972. № 1.
- Добиаш 1882 — *Добиаш А. В.* Синтаксис Аполлония Дискола. Киев, 1882.
- Добротворский 1875 — *Добротворский М. М.* Аинско-русский словарь. Казань, 1875.
- Долгопольский 1955 — *Долгопольский А. Б.* Против ошибочной концепции «гибридных» языков (о креольских наречиях) // Ученые записки 1 МГПИИЯ. Т. VII. М., 1955.
- Драгунов 1952 — *Драгунов А. А.* Исследования по грамматике китайского языка. М.; Л., 1952.
- Драгуновы 1937 — *Драгуновы Е. и А.* Части речи в китайском языке // Советское языкознание. Т. 3. Л., 1937.
- Дыбо 2004 — *Дыбо В. А.* Язык — этнос — археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы. М., 2004.
- Дьяконова 1985 — *Дьяконова Е. М.* Текст и интерпретация текста. Психология и социология чтения в Японии // Япония: культура и общество в эпоху НТР. М., 1985.
- Ельмслев 2006 — *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка. М., 2006.
- Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
- Ждан, Гохлернер 1972 — *Ждан А. Н., Гохлернер М. М.* Психолингвистические механизмы усвоения грамматики родного и иностранных языков. М., 1972.
- Журавлев 1975 — *Журавлев А. П.* Фонетическое значение. М., 1975.
- Задачи 1952 — Задачи советского языкознания в свете трудов И. В. Сталина // Вопросы языкознания. 1952. № 1.
- Зализняк 1967 — *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк, Падучева 1964 — *Зализняк А. А., Падучева Е. В.* О связи языка лингвистических описаний с родным языком лингвиста // Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964.
- Зализняк, Падучева 1975 — *Зализняк А. А., Падучева Е. В.* К типологии относительного предложения // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975.
- Звегинцев 1960 — *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.

- Звегинцев 1972 — *Звегинцев В. А.* Предисловие // *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972.
- Звегинцев 1989 — *Звегинцев В. А.* Что происходило в советской науке о языке? // *Вестник АН СССР.* 1989. № 2.
- Звегинцев 1996 — *Звегинцев В. А.* Мысли о лингвистике. М., 1996.
- Зиндер 1969 — *Зиндер Л. Р.* К итогам дискуссии о русской орфографии // *ВЯ.* 1969. № 6.
- Иванов, Поливанов 1930 — *Иванов А. И., Поливанов Е. Д.* Грамматика современного китайского языка. М., 1930.
- Илизаров 2003 — *Илизаров Б. С.* Почетный академик Сталин против академика Марра. К истории дискуссии по вопросам языкознания в 1950 г. // *Новая и новейшая история.* 2003. № 5.
- История 1980 — *История лингвистических учений. Древний мир.* Л., 1980.
- Каверин 1966 — *Каверин В.* Барон Брамбеус. М., 1966.
- Касевич 2006 — *Касевич В. Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания // *Касевич В. Б.* Труды по языкознанию. СПб., 2006.
- Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон С. Д.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.
- Квантитативная 1982 — *Квантитативная типология языков Азии и Африки.* Л., 1982.
- Кетский 1968 — *Кетский сборник.* Лингвистика. М., 1968.
- Кибрик 1977 — *Кибрик А. Е.* Опыт структурного описания арчинского языка. М., 1977. Т. 3.
- Кибрик 1992 — *Кибрик А. Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик и др. 1977 — *Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянная И. П.* Опыт структурного описания арчинского языка. Т. I. М., 1977.
- Киэда 1958–1959 — *Киэда М.* Грамматика японского языка. Т. 1–2. М., 1958–1959.
- Кларк, Кларк 1984 — *Кларк Г., Кларк Е.* Как маленькие дети употребляют свои высказывания // *Психолингвистика.* М., 1984.
- Климов 1977 — *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
- Кодзасов, Кривнова 2001 — *Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф.* Общая фонетика. М., 2001.
- Компас — *Компас.* Бюллетень ИТАР-ТАСС.
- Конрад 1935 — *Конрад Н. И.* Предисловие // *Восток.* Сб. 1. Литература Китая и Японии. М., 1935.
- Конрад 1937 — *Конрад Н. И.* Синтаксис японского национального литературного языка. М., 1937.
- Конрад 1945 — *Конрад Н. И.* О государственной латинице в Японии // *Труды Московского института востоковедения.* Вып. 3. М., 1945.
- Конрад 1948 — *Конрад Н. И.* Вопросы языка в послевоенной Японии // *Вестник АН СССР.* 1948. № 6.
- Конрад 1952 — *Конрад Н. И.* О китайском языке // *ВЯ.* 1952. № 3.
- Конрад 1954 — *Конрад Н. И.* О литературном языке в Китае и Японии // *ВЯ.* 1954. № 3.
- Конрад 1959 — *Конрад Н. И.* О «языковом существовании» // *Японский лингвистический сборник.* М., 1959.
- Конрад 1960 — *Конрад Н. И.* О литературном языке в Китае и Японии // *Труды Института языкознания АН СССР.* Т. 10. М., 1960.
- Конрад 1965 — *Конрад Н. И.* Полибий и Сыма Цянь // *Вестник древней истории.* 1965. № 4.

- Конрад 1972 — *Конрад Н. И.* Запад и Восток. М., 1972.
- Коротков 1968 — *Коротков Н. Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
- Корчагина 1975 — *Корчагина Т. И.* Проблемы омонимии в современном японском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. н. М., 1975.
- Корчагина 1984 — *Корчагина Т. И.* Омонимия в японском языке. М., 1984.
- Косолапов 2003 — *Косолапов Н. А.* О месте геополитики в эпоху глобализации // Восток. 2003. № 4.
- Костомаров 1995 — *Костомаров В. Г. В. В.* Виноградов о русском языке как явлении мировой культуры // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1995. № 3.
- Красная 1930 — Красная газета. Л., 1930.
- Красухин 2004 — *Красухин К. Г.* Введение в индоевропейское языкознание. М., 2004.
- Крачковский 1958 — *Крачковский И. Ю.* Сочинения. Т. 5. М.; Л., 1958.
- Крестовский 1997 — *Крестовский В.* В дальних водах и странах. Книга вторая. М., 1997.
- Крылов 1969 — *Крылов Н. А.* Несколько замечаний об интерфиксации // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 1969. № 341. С. 155.
- Крылов 1982 — *Крылов С. А.* Некоторые уточнения к определениям понятий словоформы и лексемы // Семиотика и информатика. Вып. 19. М., 1982.
- Кузнецов 1961 — *Кузнецов П. С.* О принципах изучения грамматики. М., 1961.
- Кузнецов 1964 — *Кузнецов П. С.* Опыт формального определения слова // ВЯ. 1964. № 5.
- Кузнецов 1966 — *Кузнецов П. С.* Еще о гуманизме и дегуманизации // ВЯ. 1966. № 4.
- Кузнецов 2003 — Воспоминания П. С. Кузнецова // Московский лингвистический журнал. 2003. № 7/1.
- Курилович 1962 — *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
- Лаврентьев 1966 — *Лаврентьев Б. П.* Китайская иероглифика и китайские заимствования в общественной жизни современной Японии. Дис. ... канд. филол. н. М., 1966.
- Лаврентьев 1982 — *Лаврентьев Б. П.* Самоучитель японского языка. М., 1982.
- Лайонз 1978 — *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Ларин 1937 — *Ларин Б. А.* Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Л., 1937.
- Ленин 1961 — *Ленин В. И.* Собрание сочинений. 5-е изд. Т. 18. М., 1961.
- Леонтьев 1965 — *Леонтьев А. А.* Фиктивность «семантического критерия» при определении частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965.
- Лопатин 1977 — *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
- Лурия 1946 — *Лурия А. Р.* О патологии грамматических операций // Известия АПН РСФСР. 1946. Вып. 3.
- Лурия 1947 — *Лурия А. Р.* Травматическая афазия. М., 1947.
- Лурия, Юдович 1956 — *Лурия А. Р., Юдович Ф. Я.* Речь и развитие психических процессов у ребенка. М., 1956.
- Майтинская 1955 — *Майтинская К. Е.* Венгерский язык. Ч. I. М., 1955.
- Мамудян 1985 — *Мамудян М.* Лингвистика. М., 1985.
- Маркс, Энгельс 1957 — *Маркс К., Энгельс Ф.* Собрание сочинений. 2-е изд. Т. 8: Революция и контрреволюция в Германии. М., 1957.
- Март 1930 — *Март Н. Я.* К реформе письма и грамматики // Русский язык в советской школе. 1930. № 4.
- Март 1934 — *Март Н. Я.* Избранные работы. Т. III. М; Л., 1934.

- Марр 1936 — *Марр Н. Я.* Избранные работы. Т. II. М.; Л., 1936.
- Марр 1937 — *Марр Н. Я.* Избранные работы. Т. IV. М.; Л., 1937.
- Маслов 1990 — *Маслов Ю. С.* Вид // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Под редакцией и с примечаниями Р. О. Шор. М., 1938.
- Мейланова 1966 — *Мейланова У. А.* Лезгинский язык // Языки народов СССР. Т. IV. М., 1966.
- Мельчук 1997 — *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. I. Слово. М., 1997.
- Мещанинов 1934 — *Мещанинов И. И.* Проблема классификации языков в свете нового учения о языке. Речь в годовом собрании Академии наук СССР. 12.II.1934. Л., 1934.
- Мещанинов 1945 — *Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945.
- Мещанинов 1948 — *Мещанинов И. И.* Глагол. М.; Л., 1948.
- Мещеряков 1991 — *Мещеряков А. Н.* Древняя Япония: культура и текст. М., 1991.
- Миками 1983 — *Миками Акира.* Застой в исследовании грамматики // Языкознание в Японии. М., 1983.
- Милитарёв 1983 — *Милитарёв А. Ю.* Вступительная статья // *Майзель С. С.* Пути развития корневого фонда семитских языков. М., 1983.
- Минаев 1883/1884 — Общее языкознание. Лекции, читанные проф. Минаевым студентам Петербургского университета в 1883/84 году. Литографированное издание. СПб., б.г.
- Молодяков 1997 — *Молодяков В. Э.* Консервативная революция в Японии: идеология и политика. Дис. ... д-ра политич. н. М., 1997.
- Морфологическая 1963 — Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963.
- Нгуен 1985 — *Нгуен Куанг Хонг.* Общий принцип и разные подходы к выделению основных единиц языка (Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской лингвистической традиции) // ВЯ. 1985. № 1.
- Неверов 1966 — *Неверов С. В.* Иноязычные слова в общественно-языковой практике современной Японии. Автореферат дис. ... канд. филол. н. М., 1966.
- Неверов 1975 — *Неверов С. В.* Вопросы построения информационных текстов вещания на японском языке // Тезисы докладов V конференции по японской филологии. М., 1975.
- Неверов 1982 — *Неверов С. В.* Общественно-языковая практика современной Японии. М., 1982.
- Невский 1972 — *Невский Н. А.* Айнский фольклор. М., 1972.
- Неуступны 1967 — *Неуступны И. В.* Иноязычные фонологические элементы в японском языке (проблемы фонологии и языковой политики) // Языковая ситуация в странах Азии и Африки, М., 1967.
- Нещименко 2001 — *Нещименко Г. П.* Динамика речевого стандарта современной вербальной публичной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. 2001. № 1.
- Никольский 1976 — *Никольский Л. Б.* Синхронная социолингвистика (теория и проблемы). М., 1976.
- Никольский, Яковлев 1949 — *Никольский В. К., Яковлев Н. Ф.* Основные положения материалистического учения Н. Я. Марра о языке // Вопросы философии. 1949. № 1.
- Новое 1972 — Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972.

- Обзор 1965 — Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии. М., 1965.
- Ольденбург 1918 — *Ольденбург С. Ф.* Валентин Алексеевич Жуковский // Известия Российской Академии наук. Серия 6. Т. 12. Пг., 1918.
- Основные 1964 — Основные направления структурализма. М., 1964.
- Основы 1975–1976 — Основы финно-угорского языкознания. Т. 1–2. М., 1975–1976.
- От авторов 1994 — От авторов // Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике. Памяти А. Н. Журина. М., 1994.
- Охотина 1965 — *Охотина Н. В.* Морфемная структура слов языка суахили как основа разграничения частей речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965.
- Панов 1969 — *Панов М. В.* О наложении морфем // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 1969. № 341.
- Панов 1971 — *Панов М. В.* Об аналитических прилагательных // Фонетика, фонология, грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971.
- Панов 1990 — *Панов М. В.* История русского литературного произношения. М., 1990.
- Панов 2007а — *Панов М. В.* Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007.
- Панов 2007б — *Панов М. В.* Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // *Панов М. В.* Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007.
- Пауль 1960 — *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
- Пашковский 1955 — *Пашковский А. А.* Словообразование в современном японском языке // Краткие сообщ. Ин-та востоковедения. Вып. XII. М., 1955.
- Пашковский 1959 — *Пашковский А. А.* Классификация японских сложных слов // Японский лингвистический сборник. М., 1959.
- Пашковский 1963 — *Пашковский А. А.* Слитные именные словосочетания в японском языке // Японский язык. М., 1963.
- Пашковский 1968 — *Пашковский А. А.* Синтагматические границы слова в японском языке // Японская филология. М., 1968.
- Перельмутер 1980 — *Перельмутер И. А.* Философские школы эпохи эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
- Петерсон 1940 — *Петерсон М. Н.* К вопросу о построении лексикологии // Русский язык в школе. 1940. № 6.
- Пешковский 1923 — *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точки зрения на язык // Русский язык в школе. Вып. I. М., 1923.
- Пешковский 1925 — *Пешковский А. М.* Понятие отдельного слова // *Пешковский А. М.* Сборник статей по языкознанию. М., 1925.
- Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном отношении. 7-е изд. М., 1956.
- Пильняк 1935 — *Пильняк Б.* Камни и корни. М., 1935.
- Плетнер, Поливанов 1930 — *Плетнер О. В., Поливанов Е. Д.* Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.
- Поливанов 1917а — *Поливанов Е. Д.* О русской транскрипции японских слов // Труды японского отдела Императорского общества востоковедения. Вып. 1. Пг., 1917.
- Поливанов 1917б — *Поливанов Е. Д.* Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. Пг., 1917.

- Поливанов 1924 — *Поливанов Е. Д.* Вокализм северо-восточных японских говоров // Доклады АН СССР. Серия В. 1924. Июль — сентябрь.
- Поливанов 1927 — *Поливанов Е. Д.* О литературном (стандартном) языке современности // Родной язык в школе. Кн. 1. М., 1927.
- Поливанов 1928а — *Поливанов Е. Д.* Русский язык сегодняшнего дня // Литература и марксизм. 1928. Кн. 2.
- Поливанов 1928б — *Поливанов Е. Д.* Рец.: *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи // Родной язык и литература в трудовой школе. 1928. № 3.
- Поливанов 1931 — *Поливанов Е. Д.* За марксистское языкознание. М., 1931.
- Поливанов 1968 — *Поливанов Е. Д.* Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Поспелов 1954 — *Поспелов Н. С.* Учение о частях речи в русской грамматической традиции. М. 1954.
- Потебня 1958 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.
- Правдин 1983 — *Правдин М. Н.* Словарное толкование, научность и здравый смысл // ВЯ. 1983. № 6.
- Прокофьев 1937 — *Прокофьев Г. Н.* Ненецкий (юрако-самоедский) язык // Языки и письменность народов Севера. Т. I. М.; Л., 1937.
- Рахилина 1989 — *Рахилина Е. В.* О концептуальном анализе в лексикографии А. Вежбицкой // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.
- Ревзин 1967 — *Ревзин И. И.* Метод моделирования и типология славянских языков. М., 1967.
- Ревзин, Юлдашева 1969 — *Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д.* Грамматика порядков и ее использование // ВЯ. 1969. № 1.
- Ревзина 1974 — *Ревзина О. Г.* Некоторые проблемы универсалий (по материалам XI Международного конгресса лингвистов) // «Народы Азии и Африки». 1974. № 3.
- Реформатский 1967 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М., 1967.
- Робинсон 2004 — *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004.
- Рождественский 1969 — *Рождественский Ю. В.* Типология слова. М., 1969.
- Розенцвейг 1972 — *Розенцвейг В. Ю.* Языковые контакты, М., 1972.
- Руднев 1999 — *Руднев В. П.* Словарь культуры XX века. М., 1999.
- Русский 1996 — *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)*. М., 1996.
- Севастьянов 1992 — *Севастьянов О. Ф.* Рец. на: *The genesis of language. A different judgement of evidence / Ed. By Landsberg M. E.* Berlin; New York; Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1988. 278 p. // ВЯ. 1992. № 1. С. 158–160.
- Седов 2012 — *Седов К. Ф.* Языкознание. Речеведение. Генристика // Жанры речи. Вып. 6. М., 2012.
- Селищев 2003 — *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) // *Селищев А. М.* Труды по русскому языку. Язык и общество. М., 2003.
- Семантические 1982 — Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Семенас 1992 — *Семенас А. Л.* Лексикология современного китайского языка. М., 1992.
- Сепир 1934 — *Сепир Э.* Язык. М., 1934.
- Серебренников 1952 — *Серебренников Б. А.* Об устойчивости морфологической системы языка // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. М., 1952.

- Серебренников 1983 — *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
- Сеше 2003 — *Сеше А.* Программа и методы теоретической лингвистики. М., 2003.
- Скаличка 1967 — *Скаличка В.* О грамматике венгерского языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Слобин 1984 — *Слобин Д.* Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика. М., 1984.
- Смирницкий 1952 — *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (проблема «отдельности слова») // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
- Смирницкий 1954 — *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (Проблема «тождества слова») // Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. IV. М., 1954.
- Смирницкий 1955 — *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
- Смирницкий 1956 — *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956.
- Смирницкий, Ахманова 1952 — *Смирницкий А. И., Ахманова О. С.* Образования типа *stone wall, speech sound* в английском языке // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. II. М., 1952.
- Смирнов 1890 — *Смирнов Д. Д.* Руководство к изучению японского языка. СПб., 1890.
- Солнцев 1986 — *Солнцев А. В.* Аффиксы в современном японском языке. Дис. ... канд. филол. н. М., 1986.
- Солнцева 1963 — *Солнцева Н. В.* Теория факультативности и проблемы немаркированной формы глагола // Спорные вопросы грамматики китайского языка. М., 1963.
- Солнцева, Солнцев 1965 — *Солнцева Н. В., Солнцев В. М.* Анализ и аналитизм // Аналитические конструкции в языках различных типов. М.; Л., 1965.
- Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Спальвин 1933 — *Спальвин Е. Г.* Японский разговорный язык, концентры I–II. Токио; Харбин, 1933.
- Спивак 1980 — *Спивак Д. Л.* Искусственно вызываемые состояния измененного сознания (на материале инсулинотерапии) и их лингвистические корреляты // Физиология человека. 1980. № 1.
- Спивак 1983 — *Спивак Д. Л.* Язык в условиях измененных состояний сознания // ВЯ. 1983. № 5.
- Спивак 1986 — *Спивак Д. Л.* Лингвистика измененных состояний сознания. Л., 1986.
- Сталин 1950 — *Сталин И. В.* Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950.
- Старостин 1991 — *Старостин С. А.* Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991.
- Старостин 1999 — *Старостин С. А.* О доказательстве языкового родства // Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М., 1999.
- Старостин 2004 — *Старостин С. А.* Современное положение дел в макрокомпаративистике // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы. М., 2004.
- Старостин 2007 — *Старостин С. А.* Заметки о древнекитайском языке // *Старостин С. А.* Труды по языкознанию. М., 2007.
- Стернин 1999 — *Стернин И. А.* Некоторые жанровые особенности мужского коммуникативного поведения // Жанры речи. Вып. 2. Саратов, 1999.

- Суник 1966 — Суник О. П. Общая теория частей речи. М.; Л., 1966.
- Супрун 1965 — Супрун А. Е. Грамматические свойства слов и части речи // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965.
- Сыромятников 1965 — Сыромятников Н. А. Становление новояпонского языка. М., 1965.
- Сыромятников 1971 — Сыромятников Н. А. Система времен в новояпонском языке. М., 1971.
- Сыромятников 1972 — Сыромятников Н. А. Древнеяпонский язык. М., 1972.
- Сыромятников 1975 — Сыромятников Н. А. Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках? // ВЯ. 1975. № 3.
- Сыромятников 1978 — Сыромятников Н. А. Развитие новояпонского языка. М., 1978.
- Сыромятников 1983 — Сыромятников Н. А. Классический японский язык. М., 1983.
- Танидзаки 1984 — Танидзаки Дзюнъитиро. Мать Сигэмото. М., 1984.
- Теньер 1988 — Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
- Тестелец 2001 — Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Типология 1985 — Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
- Тихонов 1965 — Тихонов А. Н. Части речи — лексико-грамматические разряды слов // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965.
- Токиэда 1983 — Токиэда Мотоки. Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983.
- Трубецкой 1987 — Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме // Избранные труды по филологии. М., 1987.
- Успенский 1965 — Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1965.
- Успенский 1985 — Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- Фант 1965 — Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М., 1965.
- Фельдман 1950 — Фельдман Н. И. Грамматический очерк // Русско-японский словарь. М., 1950.
- Фельдман 1951 — Фельдман Н. И. Краткий очерк грамматики современного японского языка // Немзер Л. А., Сыромятников Н. А. Японско-русский словарь. М., 1951.
- Фельдман 1957 — Фельдман Н. И. Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях // Лексикографический сборник. 1. М., 1957.
- Фельдман 1958 — Фельдман Н. И. Предисловие // Киэда М. Грамматика японского языка. Т. 1. М., 1958.
- Фельдман 1960 — Фельдман Н. И. Японский язык. М., 1960.
- Фирсов 1985 — Фирсов Б. М. Средства массовой коммуникации Японии в контексте распространения культуры и информации // Япония: культура и общество в эпоху НТР. М., 1985.
- Фомин 1959 — Фомин А. И. Из истории японского языкознания (Учение о частях речи у токугавских филологов) // Японский лингвистический сборник. М., 1959.
- Формозов 1995 — Формозов А. А. О книге Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене // Российская археология. 1995. № 3.
- Фрумкина 1984 — Фрумкина Р. М. Предисловие // Психолингвистика. М., 1984.
- Харрис 1960 — Харрис З. Метод в структуральной лингвистике (раздел «Методологические предпосылки») // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.

- Хауген 1972 — Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1972.
- Хоккетт 1970 — Хоккетт Ч. Ф. Проблема языковых универсалий // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970.
- Холодович 1937 — Холодович А. А. Синтаксис японского военного языка. М., 1937.
- Холодович 1946а — Холодович А. А. Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке // Ученые записки ЛГУ. № 69. Серия филологических наук. Вып. 10. Л., 1946.
- Холодович 1946б — Холодович А. А. Очерки по японскому языку. 1. О так называемом «репрезентативном множественном» в японском языке // Ученые записки ЛГУ. № 69. Серия филологических наук. Вып. 10. Л., 1946.
- Холодович 1954 — Холодович А. А. Очерк грамматики корейского языка. М., 1954.
- Холодович 1966 — Холодович А. А. К типологии порядка слов // Филологические науки. 1966. № 3.
- Холодович 1967 — Холодович А. А. О типологии речи // Историко-филологические исследования. М., 1967.
- Холодович 1971 — Холодович А. А. Некоторые вопросы управления в японском языке // Вопросы японского языка. М., 1971.
- Холодович 1979 — Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
- Хомский 1962 — Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Хомский 1972а — Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Хомский 1972б — Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
- Храковский 1977 — Храковский В. С. Принципы типологического описания содержательных грамматических функций // Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания». Ч. 2. М., 1977.
- Храковский, Володин 1986 — Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.
- Хрестоматия 1973 — Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973.
- Цейтлин 2000 — Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.
- Цейтлин 2009 — Цейтлин С. Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М., 2009.
- Цукерман 1941 — Цукерман И. И. Проблемы нового учения о языке и задачи советского языкознания // Сов. наука. 1941. № 4.
- Черниговская 2010 — Черниговская Т. В. Мозг и язык: врожденные модели или обучающая сеть? // Научные сессии общих собраний Российской академии наук. 2002–2009. М., 2010.
- Черниговская 2013 — Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. М., 2013.
- Черниговская и др. 2009 — Черниговская Т. В., Гор К., Свистунова Т. Н., Петрова Т. Е., Храковская М. Г. Ментальный лексикон при распаде языковой системы у больных с афазией: экспериментальное исследование глагольной морфологии // ВЯ. 2009. № 5.
- Чуев 1991 — Чуев Ф. Сталин и его окружение (последняя встреча с Молотовым) // Мужество. 1991. № 4.
- Шайкевич 1995 — Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику. М., 1995.

- Шаляпина 1991 — *Шаляпина З. М.* Грамматика и ее соотношение со словарем при словоцентрическом подходе к языку (на опыте формализованного лингвистического описания) // ВЯ. 1991. № 5.
- Шахматов 1952 — *Шахматов А. А.* Из трудов по современному русскому языку (Учение о частях речи). М., 1952.
- Шмелев 1973 — *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
- Шор 1929 — *Шор Р. О.* Рецензия на: *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка // Русский язык в советской школе. 1929. № 3.
- Шор 1938 — *Шор Р. О.* Комментарии: *Мейе А.* Введение к сравнительное изучение индоевропейских языков / Под редакцией и с примечаниями Р. О. Шор. М., 1938.
- Шубик 1980 — *Шубик С. А.* Языкознание Древнего Рима // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
- Шухардт 1950 — *Шухардт Г.* К вопросу о языковом смешении // *Шухардт Г.* Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
- Щерба 1915 — *Щерба Л. В.* Восточно-лужицкое наречие. Т. 1. Пг., 1915.
- Щерба 1957 — *Щерба Л. В.* О частях речи в русском языке // *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Щерба 1964 — *Щерба Л. В.* Очередные проблемы языковедения // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1964.
- Энциклопедический 1984 — Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984.
- Языкознание 1983 — Языкознание в Японии. Сборник переводов. М., 1983.
- Якобсон 1985 — *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985.
- Яковлев 1930 — *Яковлев Н. Ф.* За латинизацию русского алфавита // Культура и письменность Востока. Кн. VI. Баку, 1930.
- Якубинский 1951 — *Якубинский Л. П.* Из истории имени прилагательного // Доклады и сообщения ИЯ АН СССР. 1951. № 1.
- Янсон 1968 — *Янсон Р. Д.* Служебные слова при имени существительном в бирманском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. н. Л., 1968.
- Яхонтов 1963 — *Яхонтов С. Е.* О значении термина «слово» // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963.
- Яхонтов 1965а — *Яхонтов С. Е.* Древнекитайский язык. М., 1965.
- Яхонтов 1965б — *Яхонтов С. Е.* Понятие части речи в общем и китайском языкознании // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1965.
- Яхонтов 1978 — *Яхонтов С. Е.* Классы глаголов и падежное оформление актантов // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
- Aarsleff 1970 — *Aarsleff H.* The history of linguistics and professor Chomsky // Language. 1970. V. 46. № 3.
- Akasu, Asao 1993 — *Akasu Kaoru, Asao Kojiro.* Sociolinguistic factors influencing communication in Japan and in the United States // Communication in Japan and in the Unites States. New York, 1993.
- Alpatov 1987 — *Alpatov V.* On intuitive and research approaches to the language studies // 8 International Congress of logic, methodology and philosophy of science. Abstracts of papers. М., 1987.
- Alpatov 1993 — *Alpatov V. M.* Are the Altaic languages agglutinative? // Proceedings of the XXXIII PIAC. Budapest, 1993.

- Aston 1896 — *Aston W. G.* A short grammar of the Japanese language. Nagasaki, 1896.
- Balet 1899 — *Balet C.* Grammaire Japanese. Langue parlée. Tokyo, 1899.
- Bedell 1968 — *Bedell G. D.* Kokugaku grammatical theory. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology, 1968.
- Bendix 1966 — *Bendix E. R.* Componential analysis of general vocabulary: The semantic structure of a set of verbs in English and Japanese. The Hague; London, 1966.
- Bloch 1970 — Bernard Bloch on Japanese. New Haven; London, 1970.
- Bolinger 1968 — *Bolinger D.* Aspects of language. New York; Chicago; San Francisco; Atlanta, 1968.
- Borodina 1959 — *Borodina M. A.* Zagandienia logiki i gramatyki w Grammairu générale et raisonnée Port-Royalu // Kwartalnik neofilologiczny. 1959. T. VI. № 3. S. 236.
- Breckle 1969 — *Breckle H. E.* Rec: *Chomsky N.* Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalist thought. New York; London, 1966 // Linguistics. 1969. V. 49.
- Bungei 1979 — Bungei (журнал). Tokyo, 1979.
- Bunken 1977, 1978 — Bunken-geppoo (бюллетень). Tokyo, 1977, 1978.
- Chamberlain 1886 — *Chamberlain B. H.* A Simplified Grammar of the Japanese language. Yokohama, 1886.
- Chew 1973 — *Chew J. J.* A transformational analysis of modern colloquial Japanese. The Hague; Paris, 1973.
- Chew 1978 — *Chew J. J.* Standard Japanese and the Hiraka dialect: A case of linguistic convergence // Descriptive and Applied Linguistics. V. XI. Tokyo, 1978.
- Chomsky 1966 — *Chomsky N.* Cartesian linguistics: A chapter in the history of rationalist thought. New York; London, 1966.
- Chomsky 1968 — *Chomsky N.* Language and mind. New York; London, 1968.
- Coyaud 1971 — *Coyaud M.* Rudiments de grammaire japonaise. Paris, 1971.
- CSGS 1974 — Chiiki-shakai no gengo-seikatsu. Tokyo, 1974.
- Dale 1986 — *Dale P.* The myth of Japanese uniqueness. London; Sydney; Oxford, 1986.
- Deacon 1997 — *Deacon T.* The symbolic species: The co-evolution of language and the brain. New York; London, 1997.
- Doi 1976 — *Doi Toshio.* The study of language in Japan. A historical survey. Tokyo, 1976.
- Edwards 1994 — *Edwards J.* Multilingualism. London; New York, 1994.
- Egawa 1973 — *Egawa K.* Tsuruokashi ni okeru gengo-seikatsu-choosa-nenreibetsu-shuukeihyoo // Linguistic Discourse Proceeding, 1973. 11.
- Eigo 2007 — Eigo-temboo. ELEC Bulletin. 2007. 115.
- Endoo 1977 — *Endoo O.* Gendaigo no kanoo hyoogen // Kokubun. 1977. 47.
- Endoo 1995 — *Endoo Hachiroo* (ed.). Nihonjin no eigo, gaikokujin no nihongo. Tokyo, 1995.
- Fairclough 1989 — *Fairclough N.* Language and power. London; N. Y., 1989.
- Fuji 2007 — *Fuji Yasunari.* Tell me about when you were hitchhiking: The organization of story initiation by Australian and Japanese speakers // Language in Society. 2007. V. 36. № 2.
- Fujita 1982 — *Fujita Masaharu.* “Mizu ga nomitai” ka “mizu o nomitai” ka // Jimbunka-kyoouiku-kenkyuu. Tsukuba, 1982. IX.
- Fukuda 1956 — *Fukuda (Tamura) Suzuko.* Ainugo no dooshi no koozo // Gengo-kenkyuu. 1956, 30.
- Fukuda 1960 — *Fukuda (Tamura) Suzuko.* Ainugo-saru-hoogen no jodooshi // Minzokugaku-kenkyuu. 1960. V. 24 (4).

- Fukuda 1990 — *Fukuda Eiichi, Fukuda Yuuji*. Nichibei no kokusaika to gengo sootaisei. Tokyo, 1990.
- Galinsky 1983 — *Galinsky M. C.* Observations on terminology in Japan // Journal of the International Network for Terminology. 1983. 7.
- Garcia 1995 — *Garcia O.* Spanish language loss as a determinant of income among Latinos in the United States // Power and Inequality in Language Education. Cambridge, 1995.
- Gekkan 1977 — Gekkan. Jitsuyoo-gendai-kokugo (бюллетень). Tokyo, 1977.
- Gendai 2005–2006 — Gendai zasshi no goi choosa 1994 nen hakkoo 70 shi KKK. V. 1–2. Tokyo, KKK, 2005–2006.
- Gengo 1983, 1984 — Gengo (журнал). Tokyo, 1983, 1984.
- Gengo-seikatsu 1984 — Gengo-seikatsu (журнал). Tokyo, 1984.
- Gospel 1950 — The Gospel in many tongues. London, 1950.
- Gottlieb 2005 — *Gottlieb N.* Language and society in Japan. Cambridge, 2005.
- Greenberg 1957 — *Greenberg J. H.* Essays in Linguistics. Chicago, 1957.
- Grootaers 1977 — *Grootaers W. A.* The linguistic role of a provincial city in Japan // Sophia Linguistica. V. 3. Tokyo, 1977.
- Grootaers 1982 — *Grootaers W. A.* (with *T. Shibata*)¹. Dialectology and sociolinguistics: A general survey // Lingua. 1982. Vol. 57 (2–4).
- Gudykunst 1993 — *Gudykunst W. B.* Preface // Communication in Japan and in the United States. New York, 1993.
- Haguenauer 1951 — *Haguenauer Ch.* Morphologie du Japonais moderne. Vol. 1. Paris, 1951.
- Hanashikotoba 1963 — Hanashikotoba no bunkei. 2. Tokyo, 1963.
- Harada 1966 — *Harada T.* Outlines of modern Japanese linguistics. Tokyo, 1966.
- Harada 1982 — *Harada T.* Kokugo 1 no kambun no shidoo ni tsuite // Kanji-kambun. 1982. 27.
- Harris 1960 — *Harris Z. S.* Structural Linguistics. Chicago, 1960.
- Hartmann 1952 — *Hartmann P.* Einige Grundzüge des japanischen Sprachbaues. Heidelberg, 1952.
- Hashimoto 1934 — *Hashimoto S.* Kokugohoo-kenkyuu. Tokyo, 1934.
- Hashimoto 1946–1969 — Hashimoto-hakase-choosakushuu. V. I–XI. Tokyo, 1946–1969.
- Haspelmath 2011 — *Haspelmath M.* The indeterminacy of word segmentation, and the nature of morphology and syntax // Folia Linguistica. 2011. V. 45 (1).
- Hattori 1967 — *Hattori Shiro.* Descriptive linguistics in Japan // Current Trends in Linguistics. V. 2. The Hague; Paris, 1967.
- Hattori 1971 — *Hattori Shiroo.* Ainugo no “atsu”, “atataka”, “tsumeta”, “samu” nado o arawasu “keiyoooshi” // Kindaichi-hakase-beiju-kinen-ronshuu. Tokyo, 1971.
- Hayakawa 1982 — *Hayakawa Katsuhirou.* Yooji gengo ni okeru tagobun dankai no koosatsu // Gakudai-kokubun. 25. Oosaka, 1982.
- Hayakawa 1984 — *Hayakawa Katsuhirou.* Iku doogo no hyoogengaku // Hyoogen-kenkyuu. 40. Nagoya, 1984.
- Hayakawa 2001 — *Hayakawa Haruko.* “Utsukushii josei” to “tatakau danse” no hookoku sekai // Onna to kotoba. Tokyo, 2001.

¹ Диалектологическая часть очерка принадлежит одному В. Гротерсу, социолингвистическая — обоим авторам.

- Hinds 1976 — *Hinds J.* Aspects of Japanese discourse structure. Tokyo, 1976.
- Hoffmann 1868 — *Hoffmann J. J.* A Japanese grammar. Leiden, 1868.
- Honda 1977 — *Honda Kyooji.* Nihongo no joshi “o” to hennyuu; soshite sekibun ni tsuite // Shizuoka-daigaku-kyooyoobu-kenkyuu-hookoku. 1977, 13.
- Honna 1995 — *Honna N.* English in Japanese society: Language within society // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Hoosoo-bunka 1983, 1984 — Hoosoo-bunka. Журнал. Tokyo, 1983, 1984.
- Hoosoo-kenkyuu 1984 — Hoosoo-kenkyuu. Журнал. Tokyo, 1984.
- Hosono 1983 — *Hosono Tetsuto.* Kyootsuugo no fukyuu // Kotoba no kenkyuu. 2. Nagano, 1983.
- Imai 1980 — *Imai Tadashi.* Kokugo ni okeru kanji no ummei // Ube-tanki-daigaku-gakujutsu-hookoku. 1980. 16.
- Inoue 1981 — *Inoue Fumio.* Shonai-hoogen no *g* daturaku ni miru keitai-henka no kindaiishi // Area and Culture Studies. 31. Tokyo, 1981.
- Inoue 1982 — *Inoue Fumio.* Higashi-nihon no “shinhoogen” // Area and Culture Studies. 32. Tokyo, 1982.
- Inoue 1983 — *Inoue Fumio.* A note of recent changes of dialect near Tokyo // Area and Culture Studies. 33. Tokyo, 1983.
- Inoue 1984 — *Inoue Fumio.* Gendai-higashi-nihon no *bei* no bumpu to henka // Area and Culture Studies. 34. Tokyo, 1984.
- Ishii 1983 — *Ishii Masako.* Kokoosei no keigo no chooha // Nihongo-kenkyuu. 6. Tokyo, 1983.
- Ishino 1971 — *Ishino H.* Gendaigo no ra to tachi // Gengogaku-ronsoo, 1971, 11.
- Iwasaki 2002 — *Iwasaki Shoichi.* Japanese. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Johnson 1993 — *Johnson F. A.* Dependency and Japanese socialization. Psychoanalytic and anthropological investigations to Amae. New York; London, 1993.
- Jorden 1962 — *Jorden E. H.* Beginning Japanese. Baltimore, 1962.
- Juen Ren 1968 — *Juen Ren Chao.* A grammar of spoken Chinese. Berkeley; Los Angeles; London, 1968.
- Kabashima 1983 — *Kabashima T.* Daisan no henkakuki o mukaeta nihongo // Nihongo no 21 seiki. Nihongo ga kawaru ka. Tokyo, 1983.
- Kamei 1984 — *Kamei Takashi.* Shitsugoshoo no chookakuteki bunrikai jikkenrei to bunkenteki koosatsu // Sophia Linguistica. V. XVII. Tokyo, 1984.
- Kanaoka 1984 — *Kanaoka Toshiko.* Kokoosei no kotoba to kokugo-gakuryoku // Koochi-dai-kokubun, 15. Koochi, 1984.
- Kannoo 1978 — *Kannoo Ken.* Hoosoo-yoogo-iikae no konjaku // Bunken-geppoo. 1978. № 6.
- Kannoo, Mogami 1981 — *Kannoo Ken, Mogami Hizaya.* Korekara no hoosoo to “Akusento-jiten” (I) // Bunken-geppoo. 10. Tokyo, 1981.
- Kashiwamura 1983 — *Kashiwamura Shizuko.* Kokugoka-gakushoo-goi ni kansuru kenkyuu // Gogaku-bungaku, 1983, 21.
- KHS 1978 — Kenkyuu-hookoku-shuu. V. 1. Tokyo, 1978.
- Kimura 1983 — *Kimura Masahide.* Kotoba no hyojoo // Kotoba no kenkyuu. 2. Nagano, 1983.
- Kimura 1984 — *Kimura Hideki.* Jiten-hyoogen no fukushiteki-yoohoo ni suite, chuugokujin-gakushuusha ni totte no nammon kara // Nihongo-kyooiku. 49. Tokyo, 1983.
- Kindaichi, Chiri 1936 — *Kindaichi Kyosuke, Chiri Mashiho.* Ainugo-gaisetsu. Tokyo, 1936.
- Kindaichi 1957 — *Kindaichi Haruhiko.* Nihongo. Tokyo, 1957.
- Kinoshita 1983 — *Kinoshita Junji.* Kotoba to furusato // Kokugo-tsuushin. 1983. 5.

- KK 1965 — *Kyootsuugoka no katei* (Hokkaidoo ni okeru oyako-sandai no kotoba). Tokyo, 1965.
- Kobayashi 1984 — *Kobayashi Junko*. Nihongo no joshi *wa, ga* to birumago no joshi *ha, ka* no taishoo-kenkyuu // Nihongo-kyooiku. 1984. 54.
- Kokugo 1973 — *Kokugo-chuujiiten* (словарь). Tokyo, 1973.
- Kokugogaku 1955 — *Kokugogaku-jiten* (словарь). Tokyo, 1955.
- Koojien 1969 — *Koojien* (словарь). Tokyo, 1969.
- Koo 1983 — *Koo Haikeng*. Chuugokujin-gakushuusha ni yoku mirareru goyooohan-kakujoshi, kakarijoshi, setsuzokujoshi nado o chuuhin ni // Nihongo-kyooiku. 49. Tokyo, 1983.
- Kooza 1972 — *Kooza-kokugoshi*. V. 6. Buntaishi, gengo-seikatsu-shi. Tokyo, 1972.
- Kotoba 1980 — *Kotoba no kenkyuu*. 1. Tokyo, 1980.
- Koyano 1979 — *Koyano T.* Gendai-nihongo-kanoo-hyoogen no imi to yohoo // Oosaka-gaikokugo-daigaku-gakuhoo. 1979. V. 45.
- Kuno 1973 — *Kuno Susumu*. The structure of the Japanese language. Cambridge (MA); London, 1973.
- Kurashima 1997 — *Kurashima Nagamasa*. “Kokugo” to “kokujiten” no jidai. Sono rekishi. V. 1–2. Tokyo, 1997.
- Kusakabe 1977 — *Kusakabe F.* Joshi no imi-taikei // Gengo. 1977. 6.
- Kusanagi 1977 — *Kusanagi Y.* Nihongo-keiyoo-hyoogen no imi // Bungei-gengo-kenkyuu. 1977. 2.
- Kyogoku 1984 — *Kyogoku Okikazu*. Furigana-hyooki ni tsuite // Kyooiku-gakubu-kiyoo. 44. Nagano, 1984.
- Lakoff 1969 — *Lakoff R.* Rec.: Grammaire générale et raisonnée / Ed. by Brekle H. E. 1–2. Stuttgart, 1966. // Language. 1969. V. 45. № 2.
- Landberg 1988 — *Landberg M. E.* (ed.). The genesis of language: A different judgement of evidence. Berlin; New York; Amsterdam, 1988.
- Lange 1890 — *Lange R.* Lehrbuch der japanischen Umgangssprache. Stuttgart; Berlin. 1890.
- Letters 1994 — Letters and other materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912–1945 / Ed. by J. Toman. Ann Arbor, 1994.
- Lewin 1969 — *Lewin B.* Abriss der japanischen Grammatik. Wiesbaden, 1969.
- Loveday 1982 — *Loveday L.* The sociolinguistic of learning and using a non-native language. Oxford; New York; Toronto; Sydney; Paris; Frankfurt, 1982.
- Loveday 1996 — *Loveday L.* Language contact in Japan. A Social-Linguistic History. Oxford, 1996.
- Martin 1975 — *Martin S. E.* A reference grammar of Japanese. New Haven; London, 1975.
- Mathiesen 1970 — *Mathiesen R.* Rec.: *Arnault A., Lancelot C.* Grammaire générale et raisonnée Port-Royal / Ed. by Brekle H. P. 1–2. Stuttgart, 1966; Rec.: Grammaire générale et raisonnée 1660 by Lancelot C. and Arnault A. Menston, 1967; Rec.: A general and rational grammar. 1753 by Lancelot C and Arnault A. / Transl. by Nigent T. Menston, 1968; Rec.: Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Réimpression de l'édition de Paris, 1846, Genève, 1968; Rec.: Oeuvre de Messire A. Arnault. 1–43. Bruxelles, 1964–1967 // Language. 1970. V. 46. № 1.
- Matsumoto 1980 — *Matsumoto Katsumi*. Nihongo o kangaeru // Jimbun-shakai-kagaku-kenkyuu. 18. Tokyo, 1980.
- Matsushita 1930 — *Matsushita Daisaburoo*. Hyoojun-nihon-koogohoo. Tokyo, 1930.
- Matsuyama 1983 — *Matsuyama Ichizoo*. Kanji-kyooiku no jittai to sono taisaku // Kana no hikari. 4. Tokyo, 1983.

- Matthews 1974 — *Matthews P. H.* Morphology. Cambridge, 1974.
- Mehiri 1973 — *Mehiri A.* Les theories grammaticales d'Ibn Jinni. Tunis, 1973.
- Miller 1967 — *Miller R. A.* The Japanese language. Chicago; London, 1967.
- Miller 1971 — *Miller R. A.* Japanese and other Altaic languages. Chicago; London, 1971.
- Miller 1982 — *Miller R. A.* Japan's modern myth. The language and beyond. New York; Tokyo, 1982.
- Minegishi 1985 — *Minegishi C. H.* Frequency of nominal markers in the speech of a Japanese child and its caretakers: a case study // Descriptive and Appl. Linguistics. 1985. Vol. 18.
- Mizuno 1984 — *Mizuno M. S.* Causatives in universal grammar. 4. Some remarks on case marking // Nanzan-tanki-daigaku-kiyoo. 12. Tokyo, 1984.
- Mizutani 1981 — *Mizutani O.* Japanese: The spoken language in Japanese life. Tokyo, 1981.
- Morioka 1972 — *Morioka K.* Gendai no gengo-seikatsu // Kooza-kokugoshi. V. 6. Tokyo, 1976.
- Morita 1976 — *Morita Ryookoo.* Bunkei ni tsuite // Kooza-nihongo-kyooiku. 1976. 12.
- Muraki 1972 — *Muraki S.* Shu no buntairon no kokoromi // Linguistic Discourse Proceeding, 1972. 10.
- Murasaki 1978 — *Murasaki K.* Sakhalin Ainu (Asian and African grammatical manual), No. Hz. // Asia Africa gengo bunka kenkyuujo. Tokyo gaikokugo daigaku, 1978.
- Murayama 1974 — *Murayama Shichiroo.* Nihongo no gogen. Tokyo, 1974.
- Murata 1984 — *Murata Kooji.* Nihon no gengo hattatsu kenkyuu. Tokyo, 1984.
- Nagayama 1963 — *Nagyama I.* Kjkugo-ishiki-shi no kenkyu. Tokyo, 1963.
- Nakajoo et al. 1983 — *Nakajoo O., Nakada T., Kigawa Yu.* Bamen-henka ni tomonau go no torikae // Jimbungakuhoo. 160. Tokyo, 1983.
- Nakajoo et al. 1984 — *Nakajoo Osamu, Nakada Toshio, Kigawa Yukio.* Chihooshotoshi ni okeru shakaiigengogakuteki-shosei ni kansuru // Toodai-ronkyuu. 21. Tokyo, 1984.
- Nakamura 1984 — *Nakamura Naoshiti.* Tadashii nihongo // Kokugo no kyooshi. 1984. 9.
- Neustupný 1978 — *Neustupný J.* Post-structural approaches to languages. Tokyo, 1978.
- Neustupný 1984 — *Neustupný J.* Nihongo-kyooiku to nijuu-bunka-kyooiku // Nihongo kyooiku. 1984. 49.
- NHK-nempoo 1978 — NHK-nempoo (ежегодник NHK), Tokyo.
- Nihon 1972–1973 — Nihon-bumpoo-kooza. Hinshibetsu. V. 1–10. Tokyo, 1972–1973.
- Nihon 1971 — Nihon-bumpoo-daijiten (словарь). Tokyo, 1971.
- Nihongo 1963–1965 — Nihongo no rekishi. V. 1–7. Tokyo, 1963–1965.
- Nihongo 1990 — Nihongo. 3. Tokyo, 1990.
- Nomoto 1975 — *Nomoto K.* How much has been standardized over the past twenty years? // Language in Japanese Society. Tokyo, 1975.
- Oda 2007 — *Oda Masaki.* "Chikyuugo" to shite no eigo // Eigo temboo. ELEC Bulletin. 2007. № 115.
- Ogino 1983 — *Ogino Tsunao.* Yamanote to shitamachi ni okeru keigo-shiyoo no chigai // Gengo-kenkyuu. 84. Tokyo, 1983.
- Ogura, Aizawa 2007 — *Ogura Hideki, Aizawa Masao.* Gendai-zasshi 70 shi ni okeru kanji no shiyoo-jittai no jooyoo-kanji hyoo kokugo-shisaku e no koopasu-katsuyoo ni muketa kisochoosa (Kanji Use in Seventy Contemporary Magazines and Jooyoo Kanji: a Preliminary Study for the Applications of Text Corpora to Japanese Language Policy) // Nihongo-kagaku. 2007. 22.
- Oki 1980 — *Oki Hiroko.* Kyootsuugo to hoogen no sekkaku // Kotoba no kenkyuu. 1. Tokyo, 1980.

- Oohashi 1984 — *Oohashi Sumiko*. Hanashikotoba no honjaku ni tsuite // Soogoo-bunka-kenkyuu-jo-kiyoo. V. 1. Kyooto, 1984.
- Ookubo 1984 — *Ookubo Ai*. Yooji-gengo no kenkyuu. Koobun to goi. Tokyo, 1984.
- Passin 1980 — *Passin H*. Japanese and the Japanese: Language and culture change. Tokyo, 1980.
- Pennycook 1995 — *Pennycook A*. English in the world. The world in English // Power and Inequality in Language Education. Cambridge, 1995.
- Poriwaanofu 1976 — *Poriwaanofu E. D*. Nihongo-kenkyuu. Tokyo, 1976.
- Robins 1951 — *Robins R. H*. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe with particular reference to modern linguistic doctrine. London, 1951.
- Robins 1968 — *Robins R. H*. A short history of linguistics. Bloomington; London, 1968.
- Robins 1982 — *Robins R. H*. A short history of linguistics. New York; London, 1982.
- Rodriguez 1825 — *Rodriguez J*. Eléments de la grammaire japonaise, traduite par M. C. Landresse. Paris, 1825.
- Romanization 1977 — The Romanization of Japanese writing: Hepburn vs Kunrei System Controversies. Tokyo, 1977.
- Rose-Innes 1937 — *Rose-Innes A*. Conversational Japanese for beginners. Vol. 2. Yokohama, 1937.
- Rosny 1856 — *Rosny L. de*. Introduction à l'étude de la langue japonaise. P., 1856.
- Ross 1979 — *Ross J. A*. Language and the mobilization of ethnic identity // Language and Ethnic Relations. Oxford; New York, 1979.
- Saint-Jacques 1960 — *Saint-Jacques B*. Analyse structurale de la syntaxe du japonaise moderne. Paris, 1960.
- Satoo 1974 — *Satoo Hisao*. Nenga-hagaki no hyoogen // Kokubungaku-kahoo. 1974. № 3.
- Satoo 1982 — *Satoo Takaji*. Kantoo-hokubu ni okeru "shinhoogen" // Gogaku to bungaku. 21. Maebashi, 1982.
- Satoo 1984 — *Satoo Hisao*. Nenga-hagaki no hyoogen. 3. Urawa, 1984.
- Seward 1968 — *Seward J*. Japanese in Action. New York; Tokyo, 1968.
- Shibata 1975 — *Shibata T*. On some problems in Japanese sociolinguistics: Reflection and project // Language in Japanese Society. Tokyo, 1975.
- Shibata 1990a — *Shibata T*. Aru gairaiogun ga teichaku-suru made // Nihongo. 1990. 7.
- Shibata 1990b — *Shibata T*. Nihongo no saigo no kabe wa kanji-shiyoo // Nihongo. 1990. 1.
- Shibatani 1982 — *Shibatani M*. Japanese grammar and universal grammar // Lingua. 1982. Vol. 57 (2/4).
- Shibatani 1990 — *Shibatani M*. The Languages of Japan. Cambridge, 1990.
- Shimbun 1984 — *Shimbun-kenkyuu*. Журнал. Tokyo, 1984.
- Shimizu 1983 — *Shimizu Midori*. Yooji no hoogen-shiyoo ni kansuru kenkyuu // Kokubun-kenkyuu to kyooiku. 6. Nara, 1983.
- Shin-meikai 1972 — *Shin-meikai-kokugo-jiten* (словарь). Tokyo, 1972.
- Shinkawa 1979 — *Shinkawa S. H*. English "at", "in", "on" and "by" compared with Japanese de, ni and o // English and Japanese in contrast. N. Y., 1979.
- SKGKKK 1970 — *Shakai-koozoo to gengo ni tsuite no kisooteiki-kenkyuu*. V. 2. Tokyo, 1970.
- Skutnabb-Kangas 1983 — *Skutnabb-Kangas T*. Bilingualism or Not. The Education of Minorities. Clevedon, 1983.
- Soogoo 1972 — *NHK-soogoo-hoosoo-bunka-kenkyuujo*, 1972.
- Soranishi 1971 — *Soranishi Tetsuroo*. Eigo, nihongo. Tokyo, 1971.

- Sotoyama 1993 — *Sotoyama Shigehiko*. Gairaigo o ukeireru shinri // Gairaigo. Tokyo, 1993.
- Stanlaw 2004 — *Stanlaw J.* Japanese language: Language and culture contact. Hong Kong, 2004.
- Sugito 1983 — *Sugito Miyoko*. Nagasakiken-miemura ni okeru Poriwaanofu // Oosaka-shooin-joshi-daigaku-ronshuu. 20. Oosaka, 1983.
- Sugito, Okumura 1984 — *Sugito Miyoko, Okumura Ayako*. Oya no hoogen-akusento ga kodomo no akusentokata no hatsuwa ni ataeru eikyoo // Oosaka-shooin-joshi-daigaku-ronshuu. 21. Oosaka, 1984.
- Suzuki 1975 — *Suzuki T.* On the twofold phonetic realization of basic concepts: In defence of Chinese characters in Japanese // Language in Japanese Society. Tokyo, 1975.
- Suzuki 1976 — *Suzuki Shinobu*. Gen'in, riyuu o arawasu joshi no igo // Nihongo-gakko-ronsoo. 3. Tokyo, 1976.
- Suzuki 1978 — *Suzuki T.* Japanese and the Japanese. Tokyo; New York; San Francisco, 1978.
- Suzuki 1987 — *Suzuki Takao*. Reflections on Japanese language and culture. Tokyo, 1987.
- Suzuki 2006 — *Suzuki Takao*. Kotoba no chikara. Tokyo. 2006
- Takada 2007 — *Takada Tomokazu*. Kanji to kakikoe // Nihon-gogaku. 2007. 11.
- Takahashi 1981 — *Takahashi K.* On the semantics of causatives in Japanese // Descriptive and Appl. Linguistics. 1981. Vol. 14.
- Takemoto 1982 — *Takemoto Shozo*. Cultural implications and culture contrasts between Japanese and English // International Review of Applied Linguistics. T. XV. Heidelberg, 1982.
- Tamura 1967 — *Tamura S.* Studies of the Ainu language // Current trends in linguistics. V. 2. The Hague; London, 1967.
- Tamura 1970 — *Tamura S.* Personal affixes in the Saru dialect of Ainu // Studies in general and oriental linguistics. Tokyo, 1970.
- Tamura 1972 — *Tamura Suzuko*. Ainugo-saru-hoogen no ninshoo no shuurui // Gengo-kenkyu. 1972. 61.
- Tanaka 1984 — *Tanaka N.* Nihongo no naka no "Katakana-eigo" // Gengo-seikatsu. 1984. № 8.
- Tanaka 1990 — *Tanaka K.* "Intelligent elegance". Women in Japanese advertising // Unwrapping Japan. Society and Culture in Anthropological Perspective. Manchester, 1990.
- Tanaka 2004 — *Tanaka Lidia*. Gender, language and culture: A study of Japanese television interview discourse. Amsterdam; Philadelphia, 2004.
- Tesnière 1959 — *Tesnière L.* Elements de syntaxe structurale. Paris, 1959.
- Thomas 1957 — *Thomas L. L.* The linguistic theories of N. Ya. Marr. Berkeley; Los Angeles, 1957.
- Tobin 1992 — *Tobin J. J.* Introduction: Domesticating the West // Re-Made in Japan. Everyday Life and Consumer Taste in a Changing Society. New Haven; London, 1992.
- Togeby 1949 — *Togeby K.* Qu'est du'un mot? // Travaux du cercle linguistique de Copenhague. V. V. 1949.
- Tokieda 1954 — *Tokieda Motoki*. Nihon-bumpoo. Koogohen. Tokyo, 1954.
- Tollefson 1991 — *Tollefson J. W.* Planning language, planning inequality. New York, 1991.
- Tomoda 1978 — *Tomoda Etsuko*. Ga/no-kootai-henkei ni tsuite // Musashino-joshi-daigaku-hiyoo. 1978. 10.
- Toodoo, Kondoo 1960 — *Toodoo Akiyasu, Kondoo Mitsuo*. Kambun-gaisetsu, nihongo o sodateta mono. Tokyo, 1960.
- Toyoda 1972 — *Toyoda Kunio*. Nihon no kokugo-seisaku no mondai // Gengo-seikatsu. 1972. 9.
- Trnka 1964 — *Trnka B.* On foreign phonological features in present-day English // On honour of Daniel Jones. London, 1964.

- Trudgill 1983 — *Trudgill P.* Sociolinguistic: An introduction to language and society. London, 1983.
- Tsukamoto 1993 — *Tsukamoto Kunio.* Gairaigo koozui ni ukabu hookoo // Gairaigo. Tokyo, Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Tsunoda 1978 — *Tsunoda Tadanobu.* Nihonjin no noo. Tokyo, 1978.
- Umagaki 1961 — *Umagaki Minoru.* Nichiei-hikoo-gogaku-nyuumon. Tokyo, 1961.
- Umezu 1983 — *Umezu Akito.* Kanji-shiyoo ni kansuru shoosa-kenkyuu. 6. Tsukuba, 1983.
- Wada 1979 — *Wada Kayoko.* Nanyo-hoogen ni okeru taiguu-hyoogen no ikkoosatsu // Koochi-joshidai-kokubun. 15. Koochi, 1979.
- Wada 1982 — *Wada Sh.* Japanese existential and adjectival construction // Koobe-gaidai-ronsoo. 1982. T. 33 (4).
- Watanabe 1958 — *Watanabe M.* Shi to ji // Zoku-nihon-bumpoo-kooza. V. 1. Tokyo, 1958.
- Wierzbicka 1985 — *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
- Yamada 1937 — *Yamada Yoshio.* Kokugoshi, mojihen. Tokyo, 1937.
- Yamada 1943 — *Yamada Yoshio.* Kokugogakushi. Tokyo, 1943.
- Yamada, Sustainbaagu 1983 — *Yamada Jun, Sustainbaagu Danii D.* Yomi no gakushuu wa dono gengo tan'i kara hajimerubeki ka // Dokushoo-kagaku. V. 27 (2). Tokyo, 1983.
- Yamamoto 1995 — *Yamamoto M.* Bilingualism in International Families // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Yokota 1984 — *Yokota Mitsugi.* Tookyoo-shitamachi-kishitsu to sono kotoba-shiron // Tookyoo-seitoku-tanki-daigaku-kiyoo. 17. 1984.
- Yoshikawa 1974 — *Yoshikawa Taketoki.* "Te miru" no imi to sore no jitsugen-suru jooiken // Nihongo-gakkoo-ronshuu. 1974. 2.
- Yoshimura 1981 — *Yoshimura Yumiko.* Dooongo no yojoo // Nihongo to nihon-bungaku. 1. Tsukuba, 1981.

SUMMARY

Japanese

LEXICOLOGY OF JAPANESE

The course of the lexicology of Japanese lectured in the Far East State University (Vladivostok) in 1975, 1978 and 1983 is published here. The course envelopes many important fields of the lexicology of Japanese: structure of the lexical system, types of lexical meanings, paradigmatic and syntagmatic relations, synonymy, polysemy, idiomatic, word-formation, borrowings, types of dictionaries and so on.

ON THE CORRELATION OF PRIMORDIAL AND BORROWED ELEMENTS IN THE SYSTEM OF JAPANESE

The system of Japanese includes three classes of units: primordial (including ancient borrowings), Chinese borrowings (connected with the Chinese characters) and European (mainly English) borrowings. Three classes are differentiated very clearly; the belonging of a unit to one of the classes is realized not only by linguists but also by usual speakers. Every class has some phonetic, graphic, morphological and stylistic peculiarities. These peculiarities are analyzed in the article.

ON THE MARKERS OF PLURALITY AND THE CATEGORY OF NUMBER IN THE MODERN JAPANESE

The markers of plurality in Japanese (*tachi*, *ra* etc.) have two meanings: the meaning of the usual plurality (A + B + C and so on) and the meaning of the representative plurality (A and the others). The expression of the usual plurality is not obligatory but the representative plurality is always marked by these particles and so this category can be considered the grammatical one.

WHAT IS ADJECTIVE IN JAPANESE?

There are three classes of words named adjectives in Japanese. The most significant class is the class of the so-named predicative adjectives (*takai* 'high' and so on). They are similar to verbs: there are no syntactical differences between them and verbs; they have some morphological peculiarities but their paradigm is a reduced verbal paradigm. The semantic border between them and the stative verbs is not clear. It is rationally to consider them a subclass of the verbs. The traditional interpretation of them as adjectives is based only on the translation of the most typical "predicative adjectives" into European languages. The invariable attributives (*iwayuru* 'so-named' and so on) are not alike the European adjectives either although they are similar to Russian analytic adjectives (*стоп* 'stop' in *стоп-кран* 'stopcock'). The so named nominal adjectives such as *shizuka* 'calm' are closer to the standard notion of adjectives.

THE STATUS OF THE MAIN FORMS OF EXISTENCE IN JAPANESE

The theme of the article is the correlation of different forms of existence in the contemporary Japan. The standard Japanese language is known to all the population of the country but it is not mean the disappearance of dialects and other variants of Japanese. The opposition “own — alien” is very significant in the Japanese culture and it is convenient to use different idioms in the different situations. Nowadays the “language for aliens” is standard Japanese and the “language for close” is a dialect or a regional variant of Japanese. The Japanese dialects are stable functionally but their linguistic features are changing under the influence of the standard language.

VARIATION OF CASES IN MODERN JAPANESE

Some case markers in Japanese allow variations. Meanings of them can be equal or very similar. The theme of the article is the study of types of these variants: neutralization of the semantic differences, contrast of markers with broad and narrow meaning, stylistic differentiation etc.

VARIATION OF THE JAPANESE LANGUAGE IN CONNECTION WITH THE TYPES OF THE LINGUISTIC EXISTENCE

The article develops ideas of one of the articles of A. A. Kholodovich. The system of many languages consists of different subsystems, their peculiarities are connected with the types of the linguistic existence. One of the types of the linguistic existence is a channel of communication: oral or written. The role of the Chinese characters leads to more significant differences between oral and written variants of Japanese in comparison with languages with alphabetic script. Besides the system of Japanese consists of some variants; its choice depends upon the quantity and the quality of interlocutors. The interlocutor can be a definite person or persons as in the oral conversation. In the other situations the speaker does not know anything about his or her interlocutor (newspaper information, fiction etc.), the third situation is possible if the precise characteristics of interlocutors are known but several parameters are set: public speech, publicity and so on. Japanese with its developed system of forms of politeness has significant variation in this respect.

NON-STANDARD ASPECTUAL CATEGORIES IN MODERN JAPANESE

There are some verbal categories in Japanese that has not correspondences in the European languages. The attempts to explain them on the basis of the Russian aspect were unsuccessful but these categories can be named aspectual in the broad sense. They are expressed by the auxiliary verbs *oku*, *miru*, *shimau*. The *oku* and *miru* forms mean that the action is necessary for the preparation to the other more important action (*miru* forms have the additional component of the receiving of some information). The *shimau* forms mean a significant and usually undesirable change of the situation.

ON THE PSYCHOLOGICAL ADEQUACY OF THE BASIC CONCEPTS OF THE EUROPEAN AND JAPANESE LINGUISTIC TRADITIONS

Japan is one of not many countries that elaborated an independent linguistic tradition. Some features of it differ from the European tradition even now. One of the points of difference is the concept of word. The Japanese tradition possess a basic unit of grammar (*go*) compared to word in the European linguistics but the linguistic features of word and *go* are not equal. It is possible that the causes of it are psycholinguistic ones: they are connected with the way of keeping the linguistic units in the brain. This hypothesis is confirmed by the data of Russian and Japanese studies of aphasia and children's speech.

SASIMI OR SASHIMI?

There are some different practical transcriptions of Japanese. The best transcription is the Cyrillic transcription elaborated by E. D. Polivanov in 1917. It is based on the phonological principles and is adapted to the habits of Russian speakers. However the most widespread transcription in the world is the Latin transcription elaborated by J. C. Hepburn in the XIX century. It is not phonological and has many shortages but it is adapted to the habits of English speakers. The other Latin transcriptions are almost excluded from the use. The sound form of the borrowings from Japanese in Russian depends on the way of borrowing: the direct borrowings from Japanese (*суси, Хитаму* etc.) reflect the Polivanov's transcription but the borrowings via English (*суши, Хитачи* etc.) reflect the Hepburn's transcription.

ARE THERE CASES IN JAPANESE?

Some grammatical elements in Japanese are functionally similar to case markers but they can be characterized as particles but not as the endings of nouns. However the usual definitions of the category of case in Russia envisage that at any rate a part of cases must be expressed by the inflection. From this point of view there are no cases in Japanese. A way out of this situation was accepted by E. D. Polivanov who formulated the conception of the case inflection in Japanese. This conception existed only in Russia where it was popular during some time but then it was given up. Probably the traditional definitions of case and some other grammatical categories are too connected with the typological peculiarities of Russian and it is not rationally to connect these categories with the existence of inflection in some language.

Theory of language

ON THE DIFFERENT MEANINGS OF THE TERM "FACULTATIVITY"

The term "facultativity" was wide-spread in the Soviet linguistic publications. However this term is used as the name for different phenomena of language. They are: optional expression in view of optional meaning, ellipsis, lack of expression as the characteristic of a subsystem, obligatory lack of expression under some conditions.

ON TWO APPROACHES TO THE SINGLING OUT THE BASIC UNITS OF LANGUAGE

There are two approaches to the singling out the basic units of linguistic: word-centric and not word-centric. The first approach exists in the European tradition from its sources. The analysis begins from the singling out words, than a scholar can go to morphemes, word-combinations, sentences and other units. The limits of words are set beforehand, any definition of word is not necessary. The other approach appeared at the beginning of the XX century: I. A. Baudoin de Courtenay, Ch. Bally, L. Bloomfield and others. In that case word is only one of units of language and not the basic one; definitions of word and establishment of its limits are necessary. The not word-centric approach is more universal, it is more convenient for the aims of typology. The word-centric approach is not purely linguistic, it is connected with psycholinguistic notions of speakers; it permits to approach the building of psychologically adequate models of language.

TO THE TYPOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE AINU LANGUAGE

The Ainu language possesses many non-standard peculiarities that are not usually taken into account in the typological studies. Besides many features of the nominative structure Ainu

shows some features of the active structure investigated by G. A. Klimov. Maybe such features bring Ainu together with some American languages. Usually there are some rare peculiarities in Ainu. For instance its verbs have three classes of affixes: affixes of subject in transitive verbs, affixes of object in transitive verbs and affixes in intransitive verbs.

ON THE DEFINITION OF THE CONCEPTS “INFLECTED LANGUAGES” AND “AGGLUTINATIVE LANGUAGES”

The traditional typological classification of languages singles out isolated, agglutinative and inflected languages. This classification has many defects but it is wide-spread during two centuries; apparently it reflects some essential characteristics of languages. There are many attempts of definitions of the concepts of this classification. In the article more one attempt is undertaken. It is based on the existence of three classes of grammatical elements of language: affixes, formants and form-words (particles). Some languages have all three classes of elements, some languages have only one or two classes. It is possible to single out eight classes of languages on the base of this features, five classes for them really exist.

ON DIFFERENT APPROACHES TO THE SINGLING OUT THE PARTS OF SPEECH

The question of the essence of parts of speech is one of the eternal questions of linguistics equally with the question of word. It is well-known that no one point of view is generally accepted and the problem is not solved. The existed bases of the classifications of parts of speech can be semantic, morphological, and syntactic; some classifications are based on intuition. The traditional singling out the parts of speech was also based on intuition. Probably two tasks: the task of description the languages in uniform terms and the task of psychological adequacy of description, can't be solved at the same time. These procedures do not contradict but supplement each other.

ON THE ANTHROPOCENTRIC AND SYSTEMOCENTRIC APPROACHES TO LANGUAGE

There are two approaches to the object of study in linguistics that we can name anthropocentric and systemocentric approaches (terms proposed by E. V. Rakhilina). The word-centric and not word-centric are their particular cases. The first approach is primary; it existed in all the linguistic traditions. The task of a scholar in this approach is understanding and description of notions of a native speaker, the role of texts (oral or written) is subordinate. He or she does not discover the system of language; he or she masters it primordially. The systemocentric approach brings linguistics together with natural sciences. A scholar studies his or her object independently of its speakers. The initial position of the analysis is a set of texts; the strict formulation of procedures is necessary. Two approaches do not deny but supplement each other. The division of the universal features of language from typological peculiarities of the language of a scholar is possible only by the systemocentric approach but the anthropocentric approach is necessary for the practical lexicography, for the learning of mother tongue.

ONCE MORE ON INFLECTION, AGGLUTINATION AND ISOLATION

There are many definitions of inflection, agglutination and isolation. However the initial positions of such definitions are not linguistic phenomena but typical languages: Chinese as the standard isolated language, Ural-Altai as the standard agglutinative languages, Latin or Russian as the standard inflected languages. A scholar knows some features of these language and

then define their characteristics. Usually three classes of languages are disposed on a scale, the agglutinative languages are in the middle of this scale. I think that the typically inflected languages are the grammatical languages with developed morphology; the typically isolated languages are lexical languages, their grammar comes to syntax; the disposition of the agglutinative languages is intermediate.

PROGNOSES AND RECONSTRUCTION

There are two diachronic ways in linguistics: prospective and retrospective ones. The retrospective way is developed in the comparative linguistics, the prospective way is developed only in the presence of the written texts. The linguistic prognoses existed and exist, they are based on analogy with the past or on the extrapolation of data of the past. A priori in the field of the comparative linguistics two ways are possible: retrospective way from many descendant languages to the ancestor languages, retrospective way from one descendant to many ancestors, prospective way from one ancestor to many descendants, prospective way from many ancestors to one descendants. However linguistics has a very developed method only for the first way, methods for all the other ways do not exist.

STRUCTURE OF ORAL AND WRITTEN TEXTS

Even now many linguists mix up two different oppositions: “oral — written” and “bookish — colloquial”. They suppose that all written texts are bookish and all oral texts are colloquial. However oral bookish texts (lectures, speeches etc.) and written colloquial texts (unofficial notes etc.) exist too. Many differences of oral and written texts are connected with their bookish or colloquial peculiarities: for instance initials and quotation marks in written texts. Nowadays written colloquial texts became more wide-spread in connection with the development of Internet and SMS. Many specific differences between oral and written texts exist in Japan because of use of the Chinese characters and the system of forms of politeness.

PROBLEM OF WORD AND PSYCHOLINGUISTICS

Word is the central unit of linguistics founded on the European tradition. However the definition of word and its singling out are very difficult. The comparison of the European tradition with the other ones shows that every tradition has some basic unit but its peculiarities and criteria for its singling out can be different. Every tradition including the European one is based on the intuition of speakers, i.e. on some influence of their psycholinguistic mechanism, but this influence is not realized. It is expedient to go beyond the limits of the “pure” linguistics for the decision of the problem “What is word?” and investigate the question of the psycholinguistic foundations of word. The study of aphasia and children’s speech gives indirect but very significant data for the understanding of this question. These data show that there are three mechanisms in the human brain: the lexical mechanism of the keeping of basic units (words), the syntactic mechanism of its combination and the morphological mechanism of transformation (inflection) of the basic units. This difference reflects the fundamental opposition of grammar and lexicon. The units of lexicon are kept in the memory as ready parts of discourse but the other units are built in the process of speech. The concept of word is the model of the unit of lexicon; its peculiarities can be different depending on the system of language of tradition.

Sociolinguistics

STANDARD LANGUAGE IN RUSSIA AND JAPAN (EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS)

The history of Russia and Japan is not similar but there were some similarities in it that influenced the sociolinguistic processes in these countries. In both countries the traditional linguistic situation when people use dialects in the everyday life but write in a special language different of them (Old Church Slavonic in Russia, Bungo in Japan) preserved longer than in Europe: to the beginning of the XVIII century in Russia, to the second half of the XIX century in Japan. The beginning of the Europeanization in these countries demanded the creation of the new standard language on the colloquial basis. The different stages of formation and development of these languages in comparison with each other are studied in the article.

STANDARD OF LANGUAGE IN THE MODERN JAPAN

The standardization of the language in Japan began since the 12th century but till the second half of the 19th century it was exclusively the standardization of the Old Japanese language (Bungo). The standard of the Modern Japanese language was elaborated during the Meiji period (1868–1912). This standard was spread mainly through school education up to the time of the World War II; the written standard was elaborated in details but the standard of the pronunciation was not strict. The situation changed after the war. The language education is now carried out primarily through teaching of the standard oral speech. The role of school education is now important but the part played by the mass media (especially TV) is even more significant. The main sources of the language standard are the Ministry of Education and the radio and television company NHK. The modern standard is flexible and changes according to various conditions. Attempts of standardization of dialects also exist.

AMERICANIZATION OF JAPANESE AND RUSSIAN SOCIETY ACCORDING TO THE DATA OF THE LANGUAGES

Every language can give some data for the study of social and cultural processes. For instance the political and cultural contacts and influences are reflected in the processes of borrowing and in the spreading of languages outside their territory. The political, economical and cultural expansion of the USA involves the world spreading of English and mass borrowings from English in the other languages. However until the 1980th the spreading of English both in the USSR and in Japan was not very significant. This phenomenon had mainly external reasons in the USSR and internal reasons in Japan. Now the spreading of English is increasing in Russia but not in Japan. In spite of it the number of borrowings from English in Japanese is significant. However they constitute an isolated stratum in Japanese, the majority of them is connected with two spheres: high technologies and prestige consumption. The quantity of English borrowings in Russian is less than in Japanese but they more easily penetrate to the kernel of the language.

GLOBALIZATION AND THE DEVELOPMENT OF LANGUAGES

The linguistic aspect of globalization is connected with the spread of English as the world language. The process of globalization is far from completion but at its final points the situation, similar to the situation in multilingual countries, is likely to take shape: English assumes the role of national languages and other national languages are reduced to the position of regional tongues. Under such circumstances the role of minor languages tends to diminish in spite of

different programs aimed at saving them and the native speakers of those languages are to find themselves at a serious disadvantage. Such processes will entail social and ethnic conflicts.

TO THE QUESTION OF THE LINGUISTIC REFORMS

There were many linguistic reforms in many countries but not all of them were successful. One of the reasons of this is connected with the fact that not the linguistic phenomena yield to reforms. E. D. Polivanov wrote that it is impossible to reform phonetics and morphology because they are mastered in the unconscious age. The most flexible fields of language are orthography and vocabulary because they can be mastered during the whole life. The orthography is more conservative than the language, for instance English and French orthographies do not correspond with the pronunciation. However there were no serious attempts to overcome this lack of correspondence. Psychological reasons promote the conservation of the traditional orthography but its change is usual at the time of revolutions and social changes. The reform of the Russian orthography was prepared in 1904 but was accomplished only after the revolution. The analogous reform of the Japanese orthography was prepared before the Second World War but was accomplished only at the time of the American occupation. The attempt of the reform in the USSR in 1964 was not successful because at this calm time people did not want to learn again.

MASS CONSCIENCE AND LANGUAGE

Every people have mass notions about their native languages. This language is mainly estimated as the best language although its appraisals can change under the influence of political and other situations. The appraisals of the Japanese language in Japan were connected with some specific phenomena: the insular location of Japan, coincidence of nation and language, lack of close cognate languages. Therefore the Japanese people attached great importance to it. However in the beginning of the process of Europeanization and after the defeat in the Second World War ideas of the “backwardness” of the Japanese language were popular. Nevertheless the sensation of the possession of the unique gift — the Japanese language — helped the Japanese people to overcome the post-war difficulties. They consider their language as a part of their culture which is too difficult for foreigners. Such ideas are not typical in Europe including Russia. The high appraisals of the own language were typical in Russia too since M. V. Lomonosov in the XVIII century to the academician V. V. Vinogradov in 1945 but at the 1990th the ideas of “backwardness” of it became wide-spread.

“STYOB” YESTERDAY AND TO-DAY (REFLECTIONS ON YU. L. VOROTNIKOV’S ARTICLE)

The theme of Yu. L. Vorotnikov’s paper is the opposition between official Soviet discourse and the so-called “styob”. The situation with official discourse seems to be more complicated than the one described by Yu. L. Vorotnikov: that kind of discourse used to have different subsystems and genres. The Soviet discourse went back to the emotional, bookish discourse of Russian revolutionaries which after the revolution got interwoven with the discourse of pre-revolutionary offices. Later its emotional character began disappearing and the Soviet discourse became a set of obsolete cliches. Styob, which appeared in the 1960s — 1970s, was opposed to those cliches and was often connected with negation of all values of Soviet society. The content of that discourse was mainly destructive, its positive values were basically limited to the use of physiological themes and obscene words that were taboo in the Soviet discourse. The styob discourse was aggressive

and, after 1991, it became semi-official. However, contrary to Yu. L. Vorotnikov's opinion, I think that the Soviet discourse continues to exist up till now.

TO THE PROBLEM OF THE HIERARCHY OF LANGUAGES

The article considers different types of multilingualism and monolingualism in the modern world. The article dwells upon the correlation between multilingualism and monolingualism and the change of a monolingual society into a multilingual one, with its own language hierarchy.

History of linguistics

ON THE CONCEPT OF WORD IN EUROPEAN AND JAPANESE TRADITIONS

It is notorious that the central unit of the linguistic tradition since the antique grammars is word. In the many linguistic works the word is considered as an indefinable notion. Attempts of definitions of the words are made only from the beginning of the 20th century but they were not successful. However the words of the European languages are singled out almost identically in spite of the different theoretical conceptions. The linguistic features of the main unit of the Japanese tradition (exists since XVIII–XIX centuries), *go*, are not the same as the features of the word in the European tradition. It is reasonable to consider that just *go* is the main psycholinguistic unit for the Japanese and word is such unit for the speakers of Russian and some other languages.

PORT-ROYAL GRAMMAR AND THE MODERN LINGUISTICS (TO THE PUBLICATION OF THE RUSSIAN EDITIONS)

The Port-Royal grammar published in France in 1660 is printed in Russian translation only now. This grammar had a bad reputation for many years but nowadays it became popular in many countries, and many linguists including N. Chomsky writes about it. The authors of this grammar raised strictly the problem of the differentiation of the common basis of all the languages and specific characteristics of languages.

MAHMUD KAŠGARI AND KOKUGAKUSHA

The study of non-European linguistic traditions is the important task of the history of linguistics. This study helps to distinguish common features of languages from typological peculiarities of the European linguistics. There are two classes of non-European descriptions of the Altaic languages: the Turkic dictionary by Mahmud Kašgari (XI century) and the studies of the Japanese scholars of the Kokugaku school (XVII–XIX centuries). Their approaches to language, its resemblances and distinctions are studied in the article.

PRELIMINARY RESULTS OF THE LINGUISTICS OF THE XX CENTURY

Linguistics of the first half of the century was in general concentrated on the question "How is the language organized?". However, in the second half of the century a more difficult question "How does the language function?" has become the focus of the linguists' attention. The question "How does the language develop?" has been less important in the XX century (in contrast to the XIX century). The main process of the development of linguistics in the earlier part of the century was its emancipation from the other disciplines, especially the humanities; elaboration of strict research procedures based on formal, verifiable criteria was significant. Now the situation has changed: we are witnessing intensive development of many borderline branches of science;

rehabilitation of intuition and introspection and denial of the rigid algorithm approach became perceptible in linguistics. The main fields of linguistic research until the 60-ies and the 70-ies were traditional fields of phonology and morphology. Then the centre of attention moved to semantics which had not been systematically studied before. The empirical basis of linguistic research has broadened considerably. In this respect the XX century is incomparable with the previous centuries. The broadening of the empirical basis of linguistic research has led to considerable decrease in the degree of europocentrism in the studies, although this process is not over yet.

SOME NOTICES ON THE HISTORY OF LINGUISTICS

We can single out some general regularities in the history of linguistics (some of them are probably common for other sciences too). The new problems appear constantly but no one problem disappears. However the old image of the spiral development is right: in every epoch some problems develop actively and other problems become marginal or even exclude from the science but then they can revive. For instance the problem of the origin of language were very popular in the XVIII century and in the first half of the XIX century but it was recognized unscientific at the positivism time; now it is reviving again. All the linguistics up to the XVIII century was not historical one but in the XIX century the only historical linguistics was considered as the scientific one; in the XX century the study of the modern languages became predominate. Phonology was the predominate field of the theoretical linguistics in the first half of the XX century, now it became marginal but the role of the experimental phonetics is growing.

COMPARATIVE LINGUISTIC STUDIES, THEIR CRITICS AND HEROES

In the paper are analyzed different approaches to the problems and methods of comparative linguistics. The author quotes the arguments of both of their proponents and of their opponents (the names of I. A. Baudouin de Courtenay, N. Ya. Marr and N. S. Trubetsky should be mentioned among the latter). It is stressed in the paper that the basic idea put forward by comparative linguists –the genealogical tree of languages — is the point of the bitterest discussions.

INVESTIGATORS OF FACTS AND CREATORS OF THEORIES

Two problems — collection of facts and general conclusions, construction of theories — are essential for any sciences studying the world. Some scholars are inclined to solve the first problem, while the others are disposed to take up the second one. In the history of science we see a constant change of priorities. Periods of intense theoretical thought, aspiration for a new understanding of the well-known information take turns with those of following established canons and accumulation of new facts. In this article is considered the place and role of scholars of both types in the field of linguistics and oriental studies of the 19th and 20th centuries.

WHERE DESCEND THE BASIC CONCEPTS OF LINGUISTICS FROM?

We know from the childhood that the language is a set of words, words constitute sentences, words divide into parts of speech and so on. Word seems to be the most evident unit of language. However there are no generally accepted definitions of word. All the attempts to define it by its linguistic properties are not convincing. There are numerous criteria for the singling out words and it is not clear what criterion is the most important. Word is not linguistic but psycholinguistic notion. Words are kept in the brain as the basic units and are used in the process of speech.

LINGUISTIC DESCRIPTION AND COMPETENCE OF A LINGUIST

The difference of the linguistic descriptions can be caused not only by conceptual difference but by the influence of the language of their author. This influence is especially evident in the case of the primordial linguistic traditions (European, Arabic, Chinese etc.) but it is possible in the different national versions of the European tradition (Russian, English etc.).

LINGUISTICS YESTERDAY AND TO-DAY

The predominant tendency in the development of linguistics in the middle of the XX century was the aspiration to the full formalization and the mathematical approach to language. Many linguists believed that the full formalization of linguistics would be realized in the near future. Linguistics was considered as the immanent science, while the study of the connections between linguistics and other sciences excluded from the immediate tasks of the science. Now the aims and aspirations of the European (especially Russian) linguistics changed. The functioning of language became the basic task of linguistics; semantics, typology, connections between language and culture, national world outlook, moral categories are in the centre of attention. The degree of formalization descended and many ideas of the modern linguistics are impossible to prove.

THE PECULIARITIES OF RUSSIAN LINGUISTICS

Basing on the basic language structure influence on the linguistic description, the author shows the peculiarities of the linguistic descriptions of phonological and morphological systems, lexicology and syntax performed by the Russian linguists.

TWO APPROACHES TO THE STUDY OF LANGUAGE

There are two approaches to language in the history of linguistics. One of them aims at the strict description of its object after a pattern of natural sciences, with the support of strictly fixed facts. The second approach aims at the study of language together with the speaking person, takes into account intuition, introspection and creative abilities of people. The first approach reached its peak in the structural linguistics; it yields indisputable but limited results. The second approach was formulated by W. von Humboldt; its constant defects are lack of strictness and arbitrariness. We can see different modifications of the controversy of these approaches in the history of linguistics: arguments of analogists and anomalists in antiquity, analogous arguments in the caliphate, numerous discussions in the XX century: V. N. Voloshinov against F. de Saussure, L. Bloomfield — L. Spitzer, P. S. Kuznetsov — V. I. Abaev and so on.

Статьи, включенные в сборник, ранее публиковались:

- О соотношении исконных и заимствованных элементов в системе японского языка // ВЯ. 1976. № 6. С. 87–95.
- О показателях множественности и категории числа в современном японском языке // Японское языкознание. М.: Наука, 1979. С. 47–59.
- Что такое прилагательное в японском языке? // Японское языкознание. М.: Наука, 1979. С. 38–47.
- Статус основных форм существования в японском языке // Функциональная стратификация языков. М.: Наука, 1985. С. 85–96.
- Падежное варьирование в современном японском языке // Языки мира. Проблемы языковой вариативности. М.: Наука, 1990. С. 130–138.
- Вариативность японского языка в связи с типами языкового существования // Типология и грамматика. М.: Наука, 1990. С. 60–66.
- Нестандартные видовые категории в современном японском языке // Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 28–34.
- О психологической адекватности основных понятий европейской и японской лингвистической традиции // Лингвистическая полифония. Сборник в честь юбилея профессора Р. К. Потаповой. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 67–77.
- Сасими или сашими? // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 722–731.
- Есть ли в японском языке падежи? // Языки стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Материалы X Международной конференции. М.: ИД Ключ — С, 2012. С. 17–24.
- О разных значениях термина «факультативность» // Восточное языкознание. Факультативность. М.: Наука, 1982. С. 7–12.
- О двух подходах к выделению основных единиц языка // ВЯ. 1982. № 6. С. 66–73.
- К типологической характеристике айнского языка // ВЯ. 1983. № 5. С. 81–86.
- Об уточнении понятий «флективный язык» и «агглютинативный язык» // Лингвистическая типология. М.: Наука, 1985. С. 92–101.
- О разных подходах к выделению частей речи // ВЯ. 1986. № 4. С. 37–46.
- Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // ВЯ. 1993. № 3. С. 15–26.
- Еще раз о флексии, агглютинации и изоляции // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 3. С. 34–45.
- Прогностика и реконструкция // Проблемы лингвистической прогностики. Вып. 4. Воронеж: ВГУ, 2007. С. 4–12.
- Структура устного и письменного текста // Русская речь. 2011. Саратов: Наука, 2011. С. 78–84.
- Проблема слова и психолингвистика // Вопросы психолингвистики. 2016. № 2 (28). К 70-летию Н. В. Уфимцевой. С. 26–35.
- Литературный язык в Китае и Японии (Опыт сопоставительного анализа) // ВЯ. 1995. № 1. С. 93–116.
- Норма языка в современной Японии // Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М.: Институт языкознания РАН, 1996. С. 229–249.
- Американизация японского и русского общества по языковым данным // Российские востоковеды в память о М. С. Капице. Очерки, исследования, разработки. М.: Муравей, 2001. С. 304–315.

- Глобализация и развитие языков // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. Вып. 2. М., 2004. С. 117–122.
- К вопросу о языковых реформах // Вопросы филологии. 2010. № 1. С. 16–20.
- Массовое сознание и язык: Япония и Россия // Культура и искусство. 2011. № 3 (3). С. 15–25.
- Стёб вчера и сегодня (размышления о статье Ю. Л. Воротникова) // Вопросы филологии. 2011. № 3. С. 10–14.
- К проблеме иерархии языков // Вестник Московского городского педагогического университета. 2012. № 1 (9). С. 45–52.
- О понятии слова в европейской и японской традициях // Слово в грамматике и словаре. М.: Наука, 1984. С. 21–29.
- Грамматика Пор-Рояля и современная лингвистика (к выходу в свет русских изданий) // ВЯ. 1992. № 2. С. 57–68.
- Махмуд Кашгарский и кокутакуся // Восток. 1995. № 1. С. 68–73.
- Предварительные итоги лингвистики XX века // Вестник МГУ. Серия филологии. 1995. № 5. С. 84–92.
- Некоторые заметки по истории лингвистики // Типология и теория языка. От описания к объяснению. К 60-летию Александра Евгеньевича Кибрика. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 19–25.
- Компаративистика, ее критики и герои // Вопросы филологии. 2006. № 2 (23). С. 6–14.
- Исследователи фактов и создатели теорий // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2008. № 2. С. 3–11.
- Лингвистическое описание и языковая компетенция лингвиста // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2010. № 1. С. 20–27.
- Лингвистика вчера и сегодня. Размышления над статьей К. Ф. Седова «Языкознание. Речеведение. Генристика» // Жанры речи. 8. Памяти К. Ф. Седова. Саратов; М.: Апокриф, 2012. С. 109–122.
- Особенности русской лингвистики // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Ч. I. М.: МГИМО-университет, 2015. С. 10–21.
- Два подхода к изучению языка // История и современность. 2016. № 1. С. 198–220.
- Курс лекций «Лексикология японского языка» и статья «Откуда происходят основные понятия языкознания?» публикуются впервые.

Научное издание

Владимир Михайлович Алпатов

ЯПОНИСТИКА. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА.
СОЦИОЛИНГВИСТИКА. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

2-е издание

Корректор О. Круподер
Ведущий редактор В. Столярова
Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой
Оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 15.11.2017. Формат 70х100/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion.
Усл. печ. л. 41,92. Тираж 300. Заказ №

Издательский Дом ЯСК
№ государственной регистрации 1147746155325
Языки славянской культуры
№ государственной регистрации 1037739118449.
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ООО «ИТДГК «Гнозис»»
Розничный магазин «Гнозис» (с 10:00 до 19:00)
Турчанинов пер., д. 4, стр. 2. Тел.: +7 499 255-77-57
itdgkgnosis@gmail.com

Оптовый отдел
Ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313. Тел.: +7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru, vk.com/gnosisbooks



Владимир Михайлович Алпатов
родился в 1945 г., окончил филологический
факультет МГУ в 1968 г.

В 1968–2012 гг. работал в Институте
востоковедения АН СССР / РАН,
с 2012 г. в Институте языкознания РАН
(директор в 2012–2017 гг.).

Доктор филологических наук
(с 1984 г.), профессор (с 2000 г.),
член-корреспондент РАН (с 2008 г.).